

ACTA SLAVICA ESTONICA XVII.

Труды по русской и славянской филологии.

Литературоведение, XII.

Тарту, 2023

Тартуский университет
Отделение славистики
Кафедра русской литературы

ACTA SLAVICA ESTONICA XVII

Труды по русской и славянской филологии
Литературоведение XII

TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS

Acta Slavica Estonica XVII. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение XII. Ответственный редактор Любовь Киселева. Тарту, 2023. 467 с.

Международная редколлегия серии “Acta Slavica Estonica”:

И. Абисогомян (Эстония), Д. Бетеа (США), А. Дуличенко (Эстония),
Л. Киселева (Эстония), Е.-К. Костанди (Эстония), И. Кюльмоя (Эстония),
А. Лавров (Россия), М. Мозер (Австрия), В. Мокиенко (Россия),
А. Мустайоки (Финляндия), Т. Степанищева (Эстония), В. Храковский (Россия)

Все статьи и публикации настоящего тома
прошли предварительное рецензирование

All manuscripts were peer reviewed

Ответственный редактор: Л. Киселева
Технический редактор: С. Долгорукова
Оформление обложки: К. Паалитс

Managing editor: L. Kisseljova
Technical editor: S. Dolgorukova
Cover design: K. Paalits

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Издательского совета Тартуского университета
This publication was made possible by the financial support
of the Publishing Board of the University of Tartu*

© Статьи: авторы, 2023

© Составление: Кафедра русской литературы Тартуского университета, 2023

ISSN 2228-2335 (print)

ISBN 978-9916-27-438-5 (print)

ISSN 2228-3404 (pdf)

ISBN 978-9916-27-439-2 (pdf)

Tartu Ülikooli Kirjastus / University of Tartu Press
www.tyk.ee

В июле 2023 года кафедра русской литературы торжественно отмечала юбилеи двух своих коллег

*Романа Григорьевича Лейбова и
Татьяны Николаевны Степанищевой.*

Они трудятся на кафедре не один десяток лет и достойно представляют лотмановскую школу и лотмановскую кафедру. Они уже вписали свои имена в историю кафедры, но впереди еще долгий путь. Мы желаем дорогим коллегам сил, творческой работы, преодоления всех препятствий на тернистом филологическом пути.

Fortunam et felicitatem ad multos annos!

Многая лета!

Многая лета!

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей	9
-----------------------	---

I

Статьи

Сергей Зенкин. Семиотика и диалектика (Опыт Юрия Лотмана)	15
Любовь Киселева. Место Карамзина в эволюции историко-литературной концепции Ю. М. Лотмана	29
Лариса Петина. Эмблематика «наградного» суперэкслибриса в контексте системы образовательных институций России (XVIII век)	48
Татьяна Степанищева. Поэма «О счастья» в авторской биографии Анны Буниной (сюжет и контекст)	73
Михаил Велижев. «Апология безумного» Петра Чаадаева: редакции и контексты	99
Александр Долинин. Гибель Помпеи в русской поэзии XIX века: тексты и контексты. Статья первая	113
Роман Лейбов. Две заметки о двойной бездне	137
Леа Пильд. О литературном контексте некрасовской цитаты у Кузмина	153
Мария Боровикова. Цикл М. Цветаевой «Стихи к Сонечке» (1919)	170
Роман Войтехович. Метаморфозы красоты: от Эллис до некрасивой девочки	191
Екатерина Вельмезова. Лингвистика и ее история, отраженная в поэзии: сборник Сергея Бирюкова «Универсум»	202

II

Публикации

Из переписки З. С. Паперного с Ю. М. Лотманом и З. Г. Минц / Вступительная заметка, подготовка текста и комментарии В. Отяковского	221
Спецкурс Ю. М. Лотмана о декабристах. Неавторизованные конспекты лекций, прочитанных в Тартуском университете / Вступительная заметка, публикация и комментарии Л. Ки селевой	244
Статья З. Г. Минц о романе Достоевского «Идиот» / Вступительная заметка, публикация, обратный перевод статьи с эстонского Л. Пильд	391
Статья З. Г. Минц о Сологубе / Вступительная заметка, публикация, обратный перевод статьи с эстонского М. Боровиковой	416
Указатель имен	439
Kokkuvõtted	454
Сведения об авторах	462
About the Contributors.....	464

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

2023 год на кафедре русской литературы богат юбилеями.

В этом году исполнилось 65 лет с момента возобновления серии «Трудов по русской и славянской филологии» в составе Ученых записок Тартуского университета. Как вспоминал Ю. М. Лотман:

Проведенный в 1958 году в Москве первый в СССР конгресс славистов сделан предлогом, благодаря которому мы получили согласие Клемента на издание целого тома. Это был первый выпуск «Трудов по русской и славянской филологии» — так мы назвали новую серию. Одновременно мне удалось пробить выход монографии, посвященной жизни и творчеству А. С. Кайсарова. Этот труд отнял у меня много времени и сил, но вернее сказать — не отнял, а подарил мне очень много действительно счастливых минут. Так начались тартуские издания по славистике¹.

Итак, в 1958 г., благодаря поддержке ректора Тартуского университета Ф. Д. Клемента, вышел первый том «Трудов». Затем тома выходили в среднем раз в два года; сначала они содержали работы как по литературоведению, так и по лингвистике, но восьмой том в 1965 г. вышел уже с подзаголовком «Литературоведение». В 1964 г. к первой прибавились новые кафедральные серии Ученых записок — «Блоковский сборник», «Труды по знакомым системам», с 1990 г. — совместная с финскими коллегами “*Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia*” (первый ее том вышел в 1989 г. в Хельсинки, второй через год — в Тарту)².

«Учзапы», как коллеги называли их между собой, были важнейшей страницей истории кафедры. За свое существование они претерпели много злоключений и пертурбаций³. Со временем их сложная и запутанная история станет головоломкой для библиографов.

¹ Лотман Ю. М. Не-мемуары // Лотмановский сборник, I, М., 1995. С. 47. Лотман упоминает свою первую монографию: Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени // Ученые записки Тартуского гос. университета. 1958. Вып. 63.

² Кратко эта история излагалась в предисловии к сб.: Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение <Новая серия>. III: К 40-летию «Тартуских изданий». Тарту, 1999. С. 7.

³ Как писал Ю. М. Лотман: «Зара Григорьевна, Борис Федорович <Егоров> и я договорились о таком принципе: на каждый выпуск смотреть как на последний. Действительно, мы всегда исходили из возможности полного разгрома и ликвидации издания. От этого, с одной стороны, напряженная интенсивность работы, с другой — иногда нарушение стройности композиции; в статью приходилось вставлять то, что в более спокойных условиях можно было бы превратить в отдельную публикацию» (Лотман Ю. М. Не-мемуары. С. 47). Хотя Юрий Михайлович

Во второй половине 1970-х гг. тогдашнее университетское издательство начало ограничивать объем сборников (это была всесоюзная кампания по экономии бумаги), в результате количество страниц в них сократилось почти вдвое. Затем вступило в силу новое требование — выпуски должны стать тематическими! Приходилось выкручиваться и изобретать обтекаемые названия. В результате 31-й литературоведческий том вышел в 1979 г. под заглавием «Типология русской культуры и проблемы русско-эстонских литературных связей». Одновременно был запрещен отдел публикаций, приходилось камуфлировать публикации новых материалов под статьи. В результате публикация З. Г. Минц писем Блока к Мережковскому и Гиппиус была оформлена как статья и получила заглавие «А. Блок в полемике с Мережковскими»⁴.

После 32-го выпуска (1981) почему-то прекратили нумерацию (сохранилась только общая нумерация Ученых записок), так что последующие тома (1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1987а, 1988, 1990) уже не имели серийного порядкового номера. Зато увеличилась частота их выхода, что несколько компенсировало сокращение объема⁵.

Наступивший экономический кризис, а затем и развал СССР фактически прекратили издательскую деятельность. Однако при первой же возможности кафедра выпустила в 1993 г. 12-й «Блоковский сборник», посвященный скончавшейся 25 октября 1990 г. Заре Григорьевне Минц, инициатору этой серии. Он был отпечатан в Москве издательством ТОО «ИЦ-Гарант» благодаря дружеской поддержке его директора Д. С. Ицковича, хотя местом издания обозначен Тарту. Это было первое наше издание в новых условиях независимой Эстонии.

В 1994 г. «Труды по русской и славянской филологии» были возобновлены как «новая серия». Теперь уже не существовало Ученых записок Тартуского университета, серия стала выходить как самостоятельное издание.

пишет о семиотических изданиях, но «Труды» также часто находились под угрозой. Отдел публикаций вызывал постоянные нарекания, а тираж 645-го тома Ученых записок (Проблемы типологии русской литературы: Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение) был полностью уничтожен и заново отпечатан в 1985 г. только после изъятия статьи с упоминанием «криминального» имени Н. С. Гумилева.

⁴ См.: Ученые записки Тартуского ун-та. 1981. Вып. 535: Блоковский сборник. 4. С. 116–222.

⁵ Содержание «Трудов по русской и славянской филологии» за первые 33 года существования отражено в издании: Труды по русской и славянской филологии и семиотике кафедры русской литературы Тартуского университета: 1958–1990: Указатели содержания. Тарту, 1991. С. 14–35, а также на сайте «Рутения» <https://www.ruthenia.ru/document/437769.html>. За эти годы вышло 33 литературоведческих тома (считая с восьмого, когда серия разделилась на лингвистическую и литературоведческую).

Было опубликовано семь выпусков «Трудов» (1994–2009), отдельно продолжали издаваться «Блоковский сборник» и “*Studia Russica*”, в 2000 г. возобновились «Пушкинские чтения в Тарту»⁶.

В 2012 г. по инициативе университета были образованы новые серии научных трудов, наша получила наименование “*Acta Slavica Estonica*”. Она теперь объединяет все сборники, издающиеся кафедрой («Труды по русской и славянской филологии», «Блоковский сборник», “*Studia Russica*”, «Пушкинские чтения»), и их издания чередуются с лингвистическими и славистическими выпусками. В этом случае мы сохранили преемственность с нумерацией «новой серии», поэтому настоящий том — это 12-й выпуск «Трудов по русской и славянской филологии. Литературоведение» (и пятый в рамках “*Acta Slavica Estonica*”)⁷.

28 октября с. г. мы отметили грустную юбилейную дату — 30 лет со дня кончины Юрия Михайловича Лотмана. Кроме традиционного посещения кладбища состоялся круглый стол «Ю. М. Лотман в нашей жизни», в котором приняли участие преподаватели из Таллинна и Тарту, студенты, гости. Предыдущий год, 2022-й, был ознаменован столетием Лотмана и большим международным конгрессом «Семиосфера Лотмана», прошедшим 25–28 февраля в Таллинне и Тарту. К сожалению, торжество прошло совсем не так, как ожидалось, т. к. накануне, 24 февраля, в годовщину независимости Эстонской Республики, началась агрессия России против Украины. Трудно передать то шоковое состояние, в котором находились участники конгресса. Была принята резолюция в поддержку Украины.

С этого момента все научные мероприятия кафедры русской литературы неизменно начинаются со слов солидарности с борющимся украинским народом. Не стал исключением и традиционный Лотмановский семинар 26–28 февраля 2023 г. Статьи настоящего сборника — это во многом отголосок двух последних конференций.

Стало хорошей традицией уделять значительное место в «Трудах» наследию Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц. Эти материалы обрамляют и настоящий том. Открывается он статьей Сергея Зенкина «Семиотика и диалектика (Опыт

⁶ «Труды по знаковым системам» с 1998 г. выпускаются институтом философии и семиотики Тартуского университета.

⁷ Все издания кафедры с 1993 г. помещены на кафедральной странице <https://ruslit.ut.ee/pub.php>. Если суммировать тома, вышедшие в рамках Ученых записок (33 литературоведческих, считая с восьмого, когда серия разделилась на лингвистическую и литературоведческую) и напечатанные в новых сериях, то получится 45 выпусков, включая данный, дважды юбилейный.

Юрия Лотмана)». Автор анализирует то, каким образом и в каком смысле Лотман использует в своих теоретико-семиотических работах понятие диалектики, и то, какое значение он ему придавал.

Любовь Киселева останавливается на эволюции историко-литературной концепции Лотмана и на месте в ней Карамзина, которым исследователь занимался со студенческих лет в течение всей жизни. Анализируются причины, побудившие Лотмана-студента предпочесть семинар Н. И. Мордовченко семинару Г. А. Гуковского. В статье показано также, как менялся образ «лотмановского Карамзина» в разные периоды эволюции ученого.

Завершающий сборник раздел публикаций содержит неавторизованные конспекты двухлетнего спецкурса Ю. М. Лотмана о декабристах, прочитанного в Тартуском университете в 1973–1975 гг., они подготовлены к печати и откомментированы Л. Киселевой.

Публикация Валерия Отяковского писем Зиновия Паперного к Лотманам возвращает читателей к событиям 1970–1980-х гг. и в особенности к знаменитой Третьей блоковской конференции 1975-го г. (воспроизводятся программа и пародия З. С. Паперного, имевшая тогда широкое хождение в филологических кругах).

Большую ценность представляют и впервые публикуемые на русском языке две статьи З. Г. Минц, которые из-за утраты оригинала пришлось обратно переводить с эстонского — о романе «Идиот» (1975; подготовлена Л. Пильд) и о Ф. Сологубе и романе «Мелкий бес» (1987; подготовлена М. Боровиковой).

Вернемся к разделу статей. В работе ученицы Лотмана Ларисы Петинной «Эмблематика “наградного” суперэклибриса в контексте системы образовательных институций России (XVIII век)» анализируются гербовые суперэклибрисы на наградных книгах, которые выдавались учащимся Московского университета, Горного кадетского и Сухопутного шляхетного кадетского корпусов. Проведенный анализ смысловых значений гербовых эмблем позволяет понять их семантическую природу и находить вербальные соответствия эмблематическим изображениям.

Статья Татьяны Степанищевой, посвященная малоизученному «дидактическому стихотворению» Анны Буниной «О счастье» (1810), раскрывает важную страницу в стремлении поэтов в России к профессионализации поэтического труда. Буниной, как показывает автор, не удалось выйти из системы литературного патронажа, однако статья, рассматривающая поэтику текста, подключает к скудной источниковедческой базе биографии Буниной важный резерв — отношения с двором императрицы Марии Федоровны.

В статье Михаила Велижева вводятся в научный оборот новые источники, позволяющие уточнить дату создания и само название сочинения П. Я. Чаадаева «Апологии безумного».

В работе Александра Долинина «Гибель Помпеи в русской поэзии XIX века: тексты и контексты» дан аналитический обзор «помпейской» темы в русской поэзии на протяжении 80 лет (1821–1901). Выделено две линии, условно — «шиллеровская» и «эсхатологическая». Материал оказался столь обширен, что Долинин дал работе подзаголовок «статья первая», сделал заявку на продолжение темы.

Роман Лейбов в «Двух заметках о двойной бездне» рассматривает историю понятия *бездна* в русском языке и в русской поэтической традиции. Описывается меняющаяся семантика лексемы, прослеживается поэтический образ от *небесной бездны* у Ломоносова до *двойной бездны* у Тютчева и его развитие у Достоевского, Фета и Л. Толстого.

Леа Пильд на примере одного текста М. Кузмина из цикла «Вожатый», где ею обнаружена цитата из стихотворения Некрасова «Влас», демонстрирует как общие закономерности некрасовской рецепции в литературе русского модернизма, так и индивидуальный смысл, который вкладывает в обращение к Некрасову Кузмин.

В статье «Цикл М. Цветаевой “Стихи к Сонечке” (1919)» Мария Боровикова рассматривает сам цикл и незавершенные поздние стихотворения, посвященные актрисе С. Голлидэй. Прослежена их связь с «Повестью о Сонечке» 1937 г., с традицией жестокого романса и испанской народной песенной поэзией, известной Цветаевой по переводам К. Бальмонта (1911 г.), а также ориентация самих текстов на структуру песенного дуэта.

Стихотворение Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка» (1955) становится предметом рассмотрения в статье Романа Войтеховича «Метаморфозы красоты: от Эллис до некрасивой девочки». В статье раскрывается многослойность проблематики текста и роль литературной традиции для понимания центрального вопроса «что есть красота». В дополнение к прецедентам из поэзии Надсона и Боратынского выявляется ряд «отрицательных мадригалов» в поэзии Шекспира, Лермонтова, Анненского. Образ просвечивающего сосуда сопоставляется с образностью И. С. Тургенева и Д. С. Мережковского. Важный для символизма в целом концепт «просвечивания» связан с романтической проблематикой «невывразимого» (у В. Жуковского), что, как стремится показать автор, может трактоваться как девственное и детское.

Завершает статейный раздел статья Екатерины Вельмезовой «Лингвистика и ее история, отраженные в поэзии: сборник Сергея Бирюкова “Универсум”», посвященная вышедшей в 2022 г. поэтической книге известного современного поэта и филолога С. Е. Бирюкова. Как показано в статье, содержание сборника отражает интеллектуальный путь его автора, получившего филологическое образование и известного своими исследованиями поэтического языка. Обращается внимание на интерес С. Бирюкова к проблемам многоязычия, создания и разрушения языка, взаимосвязи лингвистики и семиотики, ставится вопрос об имплицитной концепции языка самого автора книги «Универсум».

Завершая обзор издания, вернемся к самой первой его странице, где содержится наше поздравление коллегам, авторам и членам редколлегии “Acta Slavica Estonica” Татьяне Степанищевой и Роману Лейбову. Поздравляем и с выходом монографий⁸. Это — радостная страница уходящего трудного года. Пусть радость свершения придаст им сил продолжать кафедральную традицию конференций и научных сборников — даст Бог, на долгие годы.

⁸ Лейбов Роман. Поэма Пушкин «Граф Нулин»: Опыт комментированного чтения. Тарту, 2023; Степанищева Татьяна. Поэма Пушкина «Братья разбойники»: Комментарий. Тарту, 2023.

СЕМИОТИКА И ДИАЛЕКТИКА (Опыт Юрия Лотмана)

СЕРГЕЙ ЗЕНКИН

В статье исследуется многозначность понятия «диалектика» в научном творчестве Юрия Лотмана. Это понятие, входившее в терминологию догматического марксизма, иногда служило знаком идеологической лояльности; но во многих других случаях Лотман наделял «диалектику» оригинальным и значительным смыслом. Важнейшие составные части, из которых складывалась семантика понятия: диалектика как тотальность (в отличие от позитивистского «механического конгломерата»), диалектика как энергетический процесс (особенно в стиховедении, в развитие «диалектики ритма» по Андрею Белому), диалектика как металепис — обращение внешнего и внутреннего, будь то в отдельном тексте или в развитии целой культуры.

Ключевые слова: Юрий Лотман, диалектика, теория литературы, теория культуры, тотальность, энергия, металепис.

Sergey Zenkin. Semiotics and dialectics (Yuri Lotman's experience)

The article examines the polysemy of the concept of “dialectics” in the scholarly works of Yuri Lotman. This concept, being a part of the terminology of dogmatic Marxism, sometimes served as a sign of ideological loyalty, but in many other cases Lotman gave the concept an original and significant meaning. The most important components that formed the semantics of the concept are dialectics as a totality (as opposed to the positivist “mechanical conglomerate”), dialectics as an energetic process (especially in studies of verse, in line with Andrei Bely’s “dialectics of rhythm”), dialectics as metalepsis – the inversion of external and internal, whether in a single text or in the development of an entire culture.

Keywords: Yuri Lotman, dialectics, theory of literature, theory of culture, totality, energy, metalepsis.

О диалектике в научной мысли Юрия Лотмана энергично заявил Михаил Гаспаров в своем эссе, первоначально озаглавленном «Лотман и марксизм» (1996): «Лотман относился к марксистскому методу серьезно, к идеологии же — так, как она того заслуживала» [Гаспаров 2009: 191]. Диалектический ход мысли он усматривал в динамике художественного текста, где

и аллитерации, и ритмы, и метафорика, и образы, и идеи сосуществуют, тесно переплетаясь друг с другом, ощутимы только контрастами на фоне друг друга <...>. Это и есть структура текста, причем структура диалектическая — такая, в которой все складывается в напряженные противоположности. Главная же диалектическая противоположность, делающая текст стихотворения живым, в том, что этот текст представляет собой поле напряжения между нормой и ее нарушениями [Гаспаров 2009: 193]¹.

Несколькими годами позднее, в предисловии к книге Ким Су Квана, прямо озаглавленном «Диалектика Лотмана», Гаспаров выделял в теориях последнего ряд диалектических антиномий: наука – искусство, линейное – пространственное, условность – наглядность, анализ – синтез, текстовое – внетекстовое и т. д. [Гаспаров 2003: 6–7]. Со своей стороны, Наталья Автономова считала гаспаровский вывод о «диалектике Лотмана» преувеличенным и признавала у Лотмана лишь «элементы стихийной диалектики», указывая, что он «во многом следовал Карнапу, а тем самым и программе логического позитивизма, прямо противоположной (гегелевской) диалектике» [Автономова: 351]. Эта завязавшаяся было дискуссия не получила дальнейшего развития; ниже мы попытаемся продолжить ее, уточняя содержание понятия «диалектика» у Лотмана и в основном опираясь на употребление этого слова в его главных текстах.

1. Диалектика как идеологический сигнал. В Советском Союзе диалектику считали неотъемлемой частью официально-догматической версии марксизма, что компрометировало ее в глазах ответственных ученых. Несмотря на это — и несмотря на свое вообще недоверчивое отношение к априорному философскому мышлению, — Юрий Лотман воспринимал ее серьезно и стремился практиковать в своих работах. Не задаваясь таким вопросом эксплицитно, он создавал свою практическую версию диалектики, которая должна работать в семиотике культуры.

Вместе с тем ссылки на диалектику в его текстах нередко имели, наряду с собственно научной, также и дополнительную, оправдательно-идеологическую коннотацию. Так, в большом предисловии Лотмана к изданию работ Яна Мукаржовского, подготовленному им в 1970 г. вместе с Олегом Малевичем, несколько раз упоминалось понятие «диалектика»: «Сама категория структуры трактуется Мукаржовским диалектически как иерархия связей...», «соотношение элементов и целого понимается не как механическая сумма, а в качестве диалектического единства» [Лотман 2018: 358, 360].

¹ Сразу отметим повторяющуюся у Гаспарова идею «напряжения», она еще встретится нам в дальнейшем.

Проект издания тогда не осуществился: после «пражской весны» и советской интервенции 1968 г. все чехословацкие интеллектуалы, включая лояльного Мукаржовского, находились под подозрением у советской цензуры. В 1990 г., когда власть КПСС уже сходила на нет, Лотман заново вычитал свою статью и, в числе прочих поправок, вычеркнул слово «диалектический» в этих двух местах (правда, оставил его в нескольких других)²: с изменением политического режима частые отсылки к фразеологии диамата, которые раньше могли служить средством «положительной характеристики» издаваемого чехословацкого ученого, стали выглядеть анахронизмом.

Такую фразеологию можно найти и в других текстах Лотмана. Она заметнее всего там, где слово «диалектика» и его производные сопровождаются окказиональным синонимом — словом «сложность»: «... отношения между этими тремя компонентами значительно более диалектически сложны» [Лотман 1998а: 40], «Это создает сложную диалектичность художественных явлений...» [Лотман 1972: 50], «Сложная диалектика слияния и противопоставления...» [Там же: 79], «Сложная диалектика условного и безусловного...» [Лотман 1996: 255], «вместо механического <...> сложный, диалектически противоречивый процесс» [Лотман 1998а: 140–141], «Раскрытие сложной диалектики наполнения этого “я”...» [Там же: 153], «... раскрывает сложную диалектику отношений поэтического “я” и “души родной”» [Там же: 168], «диалектически сложная аналогия» [Там же: 275], «Возникновение таких диалектически сложных явлений, как рифма...» [Там же: 277]. «Сложная диалектика» была штампом советского идеологизированного дискурса, включая дискурс научно-теоретический.

Тем не менее идеологическая коннотация никогда не исчерпывает у Лотмана всего значения слова «диалектика», и он прямо заявлял, что в этом слове имеет в виду нечто большее, чем знак политической лояльности. В одной из статей 1967 г. он писал: «Методологической основой структурализма является диалектика», — и тут же уточнял: «Не та диалектика, которая заключается в произнесении общих философских формул-заклинаний и забывается за дверью, лишь только дело доходит до самого исследования» [Лотман 2018: 71]³.

² См. примечания к [Лотман 2018], где воспроизведен первоначальный текст статьи Лотмана; окончательный же текст был опубликован в составе двухтомника Яна Мукаржовского, вышедшего в свет только в 1994 г.

³ Опять-таки показательна редакционная судьба этого пассажа: его вторая часть, где автор отмежевывался от беспринципного употребления термина «диалектика», была исключена при публикации статьи в журнале «Вопросы литературы».

2. Диалектика как тотальность. Большинство употреблений понятия «диалектика» приходится у Лотмана на 60-е гг., когда он стал заниматься *теорией литературы*. В книгах об истории литературы это понятие почти отсутствует — например, его нет ни разу в трех книгах о Пушкине и Карамзине. Редко оно встречается и в работах по семиотике культуры, написанных в 70–80-х гг.; так, 1 том «Избранных статей», посвященный именно теоретической семиотике культуры, содержит всего четыре его употребления и еще одно — в чужой цитате; во 2 и 3 томах, содержащих в основном историко-литературные работы, слово фигурирует чаще, но главным образом как характеристика *чужого мышления*, то есть в роли исторического объекта, а не орудия собственной мысли ученого: «схоластическая диалектика», «диалектика Руссо», «античные диалектики» [Лотман 1993а: 36, 70; Лотман 1993б: 341]. Слово однажды попадает в книгу «Внутри мыслящих миров» и также однажды — в книге «Культура и взрыв», причем опять-таки при пересказе чужих теоретических идей: «... концепция решительных качественных переломов в развитии языка, выдвинутая Н. Я. Марром и подчерпнутая из гегелевских законов диалектики» [Лотман 1992а: 216].

В основном же понятие «диалектика» применяется Лотманом в трех книгах по поэтике: «Лекции по структуральной поэтике» (1964)⁴, «Структура художественного текста» (1970) и «Анализ поэтического текста» (1972), а также в ряде статей тех же лет. Характерно, что в последней названной книге «диалектика» 13 раз фигурирует в первой, общетеоретической части и ни одного разу — в конкретных разборах текстов, образующих вторую часть. Несколько раз она упоминается также в «Семиотике кино» (1973), главным образом в рассуждениях о художественной условности фильма. Итак, диалектика для Лотмана — это изначально инструмент теоретического описания не культуры в целом, не того или иного ее языка, а *текста*, причем именно художественного текста, то есть конечного, завершенного семиотического объекта. В сосюрловских терминах, она служит для анализа не «языка», а «речи», конкретных художественных высказываний.

Свою поэтику сам Лотман называл «структуральной», обосновывая этот метод в статье «О принципах структурализма в литературоведении» (напечатанной под названием «Литературоведение должно быть наукой», 1967), в энциклопедической статье «Структурализм в литературоведении» (1967–

⁴ Понятие диалектики — не без идеологически-оправдательной функции — упомянуто уже на первой странице этой книги: «О том, что понятие структуры есть категория диалектическая, все более ясно говорят философы Советского Союза, стран народной демократии и за рубежом» [Лотман 1994: 17]. За этой фразой в сноске следует ряд библиографических ссылок, в том числе на статью Леви-Стросса «Структура и диалектика» (1956).

1972), которая так и не вышла в «Краткой литературной энциклопедии», несмотря на две серьезные авторские доработки. Структурализм вызывал неприязнь у коммунистических идеологов, с ним пытались полемизировать, ссылаясь именно на диалектику — например, упрекая его в «недиалектическом противопоставлении логического и исторического, “синхронного” и “диахронического” аспектов исследования» [Крутоус: 16], то есть, собственно, в попытках изучать внутреннее устройство текста, вынося за скобки «диахроническое», историко-литературное измерение, лучше контролируемое марксистской догматикой. Лотман, однако, находил диалектику именно во внутренней структуре текста. «Само понятие структуры может быть диалектично» [Лотман 2018: 307], — указывал он во внутренней рецензии на энциклопедическую статью Дмитрия Сегала и Юрия Сенокосова «Структурализм» (1968–1969), неявно подразумевая уже упомянутую статью Клода Леви-Стросса «Структура и диалектика».

Лотмановская диалектика текста иногда сближается с унаследованным от критики XIX в. понятием «органического единства», то есть глубинной взаимосвязи, а не простого соположения частей. Так Лотман определял объект структуральных исследований, и в невнимании к «единству» он иногда упрекал формалистическую теорию текста:

Текст, с точки зрения С<труктурализма>, составляет не механический конгломерат «приемов», «элементов» или «мотивов», а органическое единство [Там же: 233].

Основной порок так называемого «формального метода» — в том, что он зачастую подводил исследователей к взгляду на литературу как на сумму приемов, механический конгломерат [Там же: 320].

Органическая целостность — не совсем структурное и не совсем диалектическое единство. От структуры она отличается реальной, а не абстрактной природой своих составных частей [Серио]; между этими частями имеет место согласованное, неконфликтное взаимодействие, тогда как диалектика предполагает противоречие, единство и борьбу противоположностей. Органическая целостность объясняет *взаимодействие*, но не *развитие*, характеризует способ существования целостного единства, но не способ его трансформации. Уточняя идею целостности, Лотман чаще называет ее не «органической», а «функциональной», возводя это понятие опять-таки к теории русских формалистов, особенно Тынянова. В отличие от «приема», замкнутого в себе механизма, каждому элементу соответствует определенная *функция*, благодаря которой элемент превосходит себя, вступая в отношение с целым. Это и открывает, по Лотману, диалектический взгляд на вещи:

При этом соотношение элементов и целого понимается не как механическая сумма, а в качестве диалектического единства [Лотман 2018: 360].

...метафизическое понятие «прием» заменяется здесь диалектическим — «структурный элемент и его функция» [Лотман 1998а: 110].

...заменить метафизическое представление о «приеме» как основе искусства диалектическим понятием художественной функции [Лотман 1972: 17].

Таким образом, метафизическое понятие «прием» заменяется диалектическим — «структурный элемент и его функция» [Там же: 31].

Утверждая функциональную целостность структур, Лотман, однако, не распространяет такую идею дальше, на метод изучения этих структур. Литературный текст обладает собственной тотальностью, но отсюда не делается вывод о тотализирующем характере его познания — как это описывал, например, Жан-Поль Сартр в «Критике диалектического разума»:

Диалектика, если она существует, может быть только тотализацией конкретных тотализаций, производимых множеством отдельных тотализирующих инстанций [Sartre: 132].

В случае литературы «конкретными тотализациями» будут, по-видимому, тексты. У Лотмана заявлено об их целостном, структурном характере, но эта характеристика не распространяется на деятельность их исследователя; последний, в терминах Сартра, реализует в своей работе не «диалектический», а «аналитический разум».

3. Диалектика как энергия. Неординарным источником лотмановской диалектики была книга Андрея Белого «Ритм как диалектика» (1929), цитируемая в «Анализе поэтического текста»⁵ и не раз упоминаемая в других работах. О влиянии этой книги косвенно свидетельствует то, что большинство упоминаний диалектики у Лотмана приходится именно на стиховедческие разделы его монографий. Несколько примеров связи «диалектика – стих»:

Рифма диалектична по своей природе [Лотман 1998а: 129].

Вторая строфа, раскрывающая тему «беспокойства» как важнейшего признака живого, развивающегося мира и адекватной ему — подвижной, диалектической точки зрения [Там же: 132].

Таким образом, вместо механического «повторения одинаковых элементов» — сложный, диалектически противоречивый процесс: выделение различия

⁵ «Из всех исследователей, занимавшихся стиховедением, пожалуй, именно Андрей Белый первым ясно почувствовал диалектическую природу ритма» [Лотман 1972: 46]. Ниже, на с. 48 — еще одна ссылка на книгу Белого.

через обнаружение сходства, с одной стороны, и раскрытие общего в глубоко отличном, казалось бы, с другой [Лотман 1998а: 140–141].

Раскрытие сложной диалектики наполнения этого «я» — один из основных аспектов стихотворения <Вознесенского. — С. 3.> [Там же: 153].

Подобное понимание отношения поэзии и прозы позволяет диалектически взглянуть на проблему границы этих явлений и эстетическую природу пограничных форм типа *vers libre* [Лотман 1972: 29].

... стиховая структура выявляет не просто новые оттенки значений слов — она вскрывает диалектику понятий... [Там же: 46].

Мы на каждом шагу убеждаемся в том, что поэтическая структура — прекрасная школа диалектики [Там же: 51].

Рифма — один из наиболее конфликтных, диалектических уровней поэтической структуры [Там же: 61].

Андрей Белый обосновал различие двух понятий — подвижного, вариативного стихотворного ритма и устойчивого метра — и путем сложных подсчетов пытался создать нечто вроде дифференциального исчисления стиховой ритмики. Вычерчиваемые им ритмические «кривые» стихотворных текстов выражали «производную» от функции, показывающей ритмическую вариативность строк: величина производной тем выше, чем сильнее различаются между собой соседствующие строки по реальной (а не условно-метрической) расстановке ударений и пауз. Возникающее при этом динамическое взаимодействие строк Андрей Белый как раз и называл «диалектикой»:

Градация строчных вариаций (стихотворение — тема в вариациях) и есть живая диалектика, где повторы суть повторы когда-то данной *темы*, контрасты — *анти-темы*, а взаимодействие их в ухе — синтез... [Белый: 88].

Это взаимодействие происходит наподобие физического обмена энергией: ...сумма ударов и интервалов в некоем теоретическом целом в замкнутой системе строки постоянна; интервал — потенциальная энергия строки; удар — кинетическая <...> принцип ритма строки — в принципе превращения энергий... [Там же: 56–57].

Такую имманентную энергетику, образующуюся благодаря чередованию «потенциальных» и «кинетических» моментов, можно найти в теориях Лотмана, и не только в теории стиха. Так, концепция «культуры и взрыва», развитая в одноименной книге 1992 г., имела, конечно, прецеденты в мировой философии истории — начиная по крайней мере с теории сменяющихся друг друга «органических» и «критических» эпох, которую сформулировали

в начале 1830-х гг. французские сенсимонисты [Изложение учения Сен-Симона]. Но, предложенная филологом, исследователем русского стиха, она приводит на память чередование сильных и слабых слогов в протяженности поэтического текста.

Идя дальше Андрея Белого, Лотман исследовал энергетический/диалектический процесс не только внутри текста, но и в его семиотическом окружении. В «Структуре художественного текста» в специальной главке «Энергия стиха» он локализует «энергетический момент текста» в его отношениях с контекстом:

Текст функционирует в отношении к определенной системе запретов, ему предшествующих и вне его лежащих. Однако запреты эти неодинаковой силы. Одни обладают для данной системы абсолютным характером и не могут быть преодолены. Тем самым снимается возможность семантического эффекта от их преодоления <...>. На другом полюсе будут находиться факультативные ограничения <...>. В зависимости от структурной маркированности запретов как сильных или слабых нарушение их будет обладать различной структурной активностью, требовать различного *напряжения мысли*, а вся система — соответственно получать различную энергетическую характеристику [Лотман 1998а: 192].

В этом фрагменте нет слова «диалектика», зато здесь, как и не раз в этой части книги Лотмана, возникает важное понятие «напряжение», фигурирующее и в статье о Яне Мукаржовском:

Принципы чешского структурализма — подчеркивание сложных диалектических отношений между конструктивными рядами текста, внутренней напряженности как закона существования структуры... [Лотман 2018: 366].

Разработка понятия структурного напряжения составляет одно из важнейших завоеваний чешского структурализма [Там же: 371]⁶.

Напряжение есть не что иное, как равновесие двух сил — притяжения и отталкивания между элементами структуры:

... все свои качества, всю свою определенность любая часть текста получает в соотнесении (сравнении и противопоставлении) с другими его частями и с текстом как целым. Характер этого акта соотнесения диалектически сложен: один и тот же процесс соположения частей художественного текста, как правило, является одновременно и сближением — сравнением, и отталкиванием — противопоставлением значений [Лотман 1998а: 135].

⁶ Здесь же, чуть ниже, Лотман цитирует Мукаржовского: «Норма — это скорее энергия, чем правило» [Лотман 2018: 371].

Как мы помним, понятие «напряжение» дважды подряд употреблял и Михаил Гаспаров, объясняя диалектику Лотмана.

Напряжение — это энергетическое выражение *противоречия*, причем противоречия физического, то есть присущего изучаемому объекту (художественному тексту), но не (само)познающему духу, как в классической гегелевской диалектике. Структурная поэтика Лотмана не ставит вопроса о том, как диалектические напряжения внутри текста разрешаются вне его — например, в сознании читателя (проблема, которой озаботилась в те же годы немецкая рецептивная эстетика). Диалектика не только констатирует имеющиеся противоречия, но и выясняет, как они преодолеваются в развитии. Лотман же хоть и пишет о «преодолении», но не противоречий, а «запретов», которое происходит в самом тексте, как будто без участия субъекта. Это напоминает не столько диалектическое преодоление противоречия, «сняемого» на более высоком уровне развития, на новом этапе тотализации (Сартр)⁷, сколько недиалектический акт *трансгрессии*, о которой в 50–60-е гг. стали активно размышлять философы. Жорж Батай в 1957 г. определял трансгрессию как ритуальное преступление закона: она «*снимает запрет, не уничтожая его*» [Батай: 512]⁸. Анализ этой идеи предпринял Мишель Фуко в своей статье о Батае «Предисловие к трансгрессии» (1963), где противопоставлял трансгрессивное отрицание диалектическому (см.: [Foucault; Зенкин]). Лотман, вряд ли вникавший в эту философскую дискуссию, происходившую во Франции, фактически описывает именно трансгрессию: условное, ограниченное нарушение текстом запрета, которое «снимает его, не уничтожая».

4. Диалектика как металепис. Кроме статичного «напряжения», диалектика у Лотмана может обозначать и подвижное *взаимобращение* между противоположными началами. Одно такое замечание сделано в связи с книгой Андрея Белого о ритме:

Именно в работах Белого, с его органическим чувством диалектики, были особенно ощутимы тенденции, с одной стороны, к выделению противоречий между текстом и системой, а с другой — к снятию этого противоречия путем установления эквивалентности между ними [Лотман 1972: 46].

⁷ Понятие диалектического «снятия» (нейтрализации противоречия) изредка встречается у Лотмана, например, в «Анализе поэтического текста»: «Установив сложную систему отношений между «я» и «оно» («поколение»), Лермонтов в следующей части стихотворения резко ее упрощает, объединив субъект и объект единым «мы». Сложная диалектика слияния и противопоставления себя и своего поколения оказывается снятой» [Лотман 1972: 79].

⁸ Здесь еще сохраняется гегелевское понятие «снятия» (*Aufhebung*; у Батая французский глагол *lever*).

Здесь «текст», в данном случае конкретная конфигурация стихового ритма, противопоставлен не «контексту», а «системе» — абстрактной метрической схеме стиха, с которой текст соотнобразится, но и беспрестанно от нее отстает. Текст и система соотносятся как внешнее и внутреннее, актуальное и виртуальное: текст манифестирован на бумаге или в произнесении, а система присутствует лишь в памяти автора и реципиента (благодаря чему эти люди могут понимать друг друга). Говоря о «снятии противоречия», Лотман фактически имеет в виду нейтрализацию сосюровских оппозиций «язык – речь» и «парадигма – синтагма». Парадигма — это виртуальный ресурс, из которого языковой субъект делает выбор, а синтагма — актуальный результат этого выбора, то есть производимый им текст. В художественной речи их противопоставление оборачивается эквивалентностью:

Первая <ось> дает набор возможных структурных элементов и типы их отношений (систему), вторая раскрывает последовательности (текст). Диалектика отношения этих осей в художественном тексте была раскрыта Р. Якобсоном [Лотман 2018: 234].

Лотман имеет в виду статью Якобсона «Лингвистика и поэтика» (1960), где художественный эффект текста (его «поэтическая функция») определяется взаимодействием двух осей, по которым он организуется, как «проецирование принципа эквивалентности с оси селекции на ось комбинации» [Якобсон 1975: 204]⁹. Первая из этих осей — внутренняя по отношению к субъекту, то есть ментальная (или «внешняя» по отношению к тексту), а вторая — внутритекстовая и внешняя по отношению к субъекту. Совмещение этих осей в художественном тексте допустимо соотнести с одним из терминов современной нарратологии — с понятием *металепсиса*, то есть взаимопроникновения внутреннего мира произведения, где живут его персонажи, и внешнего мира автора и читателя.

Динамическое соотнесение текста с «внетекстовыми структурами» (или «системой») характеризуется у Лотмана понятиями «минус-приема» и «значимого отсутствия»:

Таким образом, метафизическое понятие «прием» заменяется здесь диалектическим — «структурный элемент и его функция». А представление о границе стиха и прозы начинает связываться не только с реализацией в тексте тех или иных элементов структуры, но и с их значимым отсутствием <...> физики

⁹ Якобсон и сам охотно ссылался на диалектику в своей теории языка; см., например, его высказывание, процитированное Леви-Строссом в «Структуре и диалектике»: «Связь статики и динамики — это одна из основных диалектических антиномий, составляющих самую суть языка» [Якобсон 1985: 132].

закономерно говорят о «тяжелых» и «легких» дырках. С аналогичными явлениями приходится считаться и стиховеду [Лотман 1998а: 110].

Внетекстовые структуры взаимодействуют с внутритекстовыми, образуя «диалектику “писательского” и “читательского” взгляда на литературный текст» [Там же: 42]. Они находятся в сознании читателей или кинозрителей. В «Семиотике кино» (1973) Лотман так объясняет двойственность художественной условности:

Двуплановость восприятия художественного произведения приводит к тому, что чем выше сходство, непосредственная похожесть искусства и жизни, тем, одновременно, обостренное должно быть у зрителя чувство условности. Почти забывая, что перед ним произведение искусства, зритель и читатель никогда не должны забывать этого совсем. Искусство — явление живое и диалектически противоречивое. А это требует равной активности и равной ценности составляющих его противоположных тенденций [Лотман 1998б: 302].

Соответственно и культура в целом, формируя и отражая двойственную зрительскую установку, колеблется между двумя отношениями к условному знаку:

Отождествление знака и лжи и борьба с ними <...> протекает параллельно с апологией знаковой культуры, борьбой за ее развитие. Конфликт этих двух тенденций — одно из устойчивых диалектических противоречий человеческой цивилизации [Там же: 296].

В этом пункте, где «текст» взаимодействует с «системой», диалектика художественного текста перерастает у Лотмана в диалектику культуры. В ней тоже имеется «полярность» между внутренним и внешним, взаимообмен «внешней культуры» и культуры «внутренней». Многие лотмановские антиномии культуры имеют характер напряжений, совмещающих две противоположные функции: сообщение и познание, коммуникацию внешнюю и внутреннюю и т. д., — которым соответствуют внутренние напряжения культуры и мышления: дискретные и континуальные коды, левое и правое полушария головного мозга и т. д. Однако в некоторых текстах такое раздвоение описывается уже не как типологическая дихотомия, осуществляемая аналитиком, а как активный процесс, идущий в самой культуре:

Это вызывает к жизни два встречных процесса. С одной стороны, нуждаясь в партнере, культура постоянно *создает собственными усилиями* этого «чужого», носителя другого сознания, иначе кодирующего мир и тексты. <...> С другой стороны <...> чтобы общаться с внешней культурой, культура должна интериоризировать ее образ внутрь своего мира. Процесс этот неизбежно диалектически противоречив: внутренний образ внешней культуры обладает

языком общения с культурным миром, в который он инкорпорирован [Лотман 1992б: 117].

Спонтанный процесс саморазвития культуры описан и в работах по поэтике — таков, например, предполагаемый генезис *сюжета*, снимающего противопоставление двух досюжетных семиотических объектов — «мифа» и «анекдота»; или образование художественной прозы после поэзии:

Итак, художественная проза возникла на фоне определенной поэтической системы как ее отрицание. Сказанное позволяет нам взглянуть диалектически на проблему границ поэзии и прозы [Лотман 1998а: 108].

Последняя гипотеза, высказанная в «Структуре художественного текста», трудно поддается исторической проверке, но в ней Лотман выводит свою диалектику искусства на диахронический уровень, где она начинает звучать совсем по-гегелевски, как философия (художественной) истории, развивающейся по принципу «отрицания отрицания».

Итак, диалектика — по крайней мере постольку, поскольку она прямо называется этим именем, — работает у Лотмана прежде всего в поэтике, особенно в теории стиха. Чаще всего она ограничена статической моделью функциональной целостности и энергетического «напряжения», однако динамика проникает в анализ отношений между текстом и контекстом («системой»), порой принимающих форму металептического обращения.

Вероятно, причина такого особого наклона, какое принимает диалектика у Лотмана, заключена в специфике объектов, с которым он имеет дело, а именно *знаковых систем*. Казалось бы, его диалектику текста/контекста, актуальной синтагмы / виртуальной парадигмы можно было бы распространить и на понятие знака: соссюровский знак тоже соединяет актуальный, чувственно осязаемый объект (образом которого является означающее знака) и соответствующее ему виртуальное понятие (означаемое). Их различие до какой-то степени подобно — хотя, конечно, не тождественно — различию предмета и абстрактной сущности. Однако, в отличие от феноменов и ноуменов философии, знак возникает не спонтанно, а по социальной конвенции; его субъективное начало — даже не конкретный субъект речи, а целое общество, установившее систему языка. Поэтому, как можно заключить, знак является недиалектическим объектом: диалектика объясняет необходимые, а не условные процессы и отношения.

В отличие от западной теоретической семиотики (у Пирса или Барта) и от философии имени (у имяславцев, аналитических философов), в работах Лотмана мало размышлений о знаке как таковом. Он исследует более

сложные комплексы, создаваемые из знаков, — слова, стихотворные строки, тексты¹⁰. Здесь, в зоне свободного знакового творчества, создаются динамические структуры, обособленные от общего пространства знаковой деятельности и переживаемые как эстетические объекты, пронизанные энергетическими напряжениями. Их обособленность сама носит динамический и, можно сказать, диалектический характер: она возникает благодаря установлению и *постоянному нарушению* (трансгрессии) границ — между текстом и не-текстом, между внутренним и внешним пространством, в конечном счете между объектом и субъектом. На этом уровне компетенция диалектики заканчивается, и для анализа более общих структур культуры Лотман применяет уже иные модели — не столько диалектические, сколько *типологические*. Диалектика работает здесь лишь иногда — в гипотетически реконструируемой истории отношений между поэзией и прозой или в идее продуктивной тернарной культурной модели, которую поздний Лотман противопоставляет застойной дуальной (например, в заключении книги «Культура и взрыв»)¹¹.

Скомпрометированная в Советском Союзе многолетним господством марксистской догматики, подвергнутая критике в 1960-х гг. западными философами (Фуко, Деррида), диалектика сохраняет у Лотмана операциональную ценность благодаря сужению сферы ее применения и, соответственно, смысловой редукции этого понятия до «напряжения». Не подхваченная другими исследователями, его попытка восстановить в правах диалектику остается серьезным вкладом в теорию знаковых систем.

Литература

Автономова: Автономова Н. С. Ю. М. Лотман, переходящий в память // Юрий Михайлович Лотман / Под ред. В. К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2009. С. 338–369.

Батай: Батай Ж. Эротика / Перевод Е. Гальцовой // Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 488–705.

Белый: Белый А. Ритм как диалектика и «Медный всадник». М.: Федерация, 1929.

Гаспаров 2009: Гаспаров М. Л. Ю. М. Лотман: наука и идеология [Лотман и марксизм] // Юрий Михайлович Лотман / Под ред. В. К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2009. С. 191–200.

Гаспаров 2003: Гаспаров М. Л. Диалектика Лотмана // Ким Су Кван. Основные аспекты творческой эволюции Ю. М. Лотмана. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 5–10.

¹⁰ О тексте как преимущественном объекте Лотмана см.: [Золян: 13–58].

¹¹ Его рассуждения сопоставимы с колебаниями теоретической семиотики между бинарным (у Соссюра) и тернарным (у Пирса) определением знака.

Изложение учения Сен-Симона: Изложение учения Сен-Симона / Под общей ред. В. П. Волгина. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1947.

Зенкин: *Зенкин С. Н.* Послесловие к трансгрессии // *Логос*. 2019. Т. 29. № 2. С. 51–63.

Золян: *Золян С. Т.* Юрий Лотман: О смысле, тексте, истории. М.: ЯСК, 2020.

Крутоус: *Крутоус В. П.* Дискуссионные проблемы структурно-семиотических исследований в литературоведении и искусствознании // *Структурализм: «за» и «против»*. М.: Прогресс, 1975. С. 3–26.

Лотман 1972: *Лотман Ю. М.* Анализ поэтического текста: Структура стиха. Л.: Просвещение, 1972.

Лотман 1992а: *Лотман Ю. М.* Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992.

Лотман 1992б: *Лотман Ю. М.* Избранные статьи. Т. 1. Таллин: Александра, 1992.

Лотман 1993а: *Лотман Ю. М.* Избранные статьи. Т. 2. Таллин: Александра, 1993.

Лотман 1993б: *Лотман Ю. М.* Избранные статьи. Т. 3. Таллин: Александра, 1993.

Лотман 1994: *Лотман Ю. М.* Лекции по структуральной поэтике (1964) // Ю. М. Лотман и Тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 17–263.

Лотман 1996: *Лотман Ю. М.* Внутри мыслящих миров. М.: Языки русской культуры, 1996.

Лотман 1998а: *Лотман Ю. М.* Структура художественного текста (1970) // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство СПб., 1998. С. 13–285.

Лотман 1998б: *Лотман Ю. М.* Семиотика кино и проблемы киноэстетики (1973) // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство СПб., 1998. С. 287–372.

Лотман 2018: *Лотман Ю. М.* О структурализме: Работы 1965–1970 годов / Под ред. И. А. Пильщикова. Таллин: изд-во ТЛУ, 2018.

Серио: *Серио П.* Структура и целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе 1920–30 гг. М.: Языки славянской культуры, 2001.

Якобсон 1975: *Якобсон Р. О.* Лингвистика и поэтика / Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 193–230.

Якобсон 1985: *Якобсон Р. О.* Принципы исторической фонологии [1931] // Якобсон Р. О. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 116–132.

Foucault: *Foucault, M.* Préface à la transgression // *Foucault M. Dits et écrits 1954–1988*. Т. I. Gallimard, 1994. P. 233–250.

Sartre: *Sartre, J.-P.* Critique de la raison dialectique. Paris : Gallimard, 1960.

МЕСТО КАРАМЗИНА В ЭВОЛЮЦИИ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ Ю. М. ЛОТМАНА

ЛЮБОВЬ КИСЕЛЕВА

В статье рассматриваются этапы научной деятельности Ю. М. Лотмана и место в ней Н. М. Карамзина. Показана эволюция «лотмановского Карамзина». Интерес к писателю возник у Лотмана еще в студенческие годы. Анализируются причины, побудившие Ю. М. Лотмана-студента предпочесть семинар Н. И. Мордовченко семинару Г. А. Гуковского. Доказывается, что причина кроется в различных подходах к творчеству и личности Карамзина у потенциальных руководителей — профессоров Ленинградского университета. Хотя Лотман и восхищался Гуковским как ярким и блестящим ученым, но научный метод сдержанного и точного Н. И. Мордовченко оказался ему ближе. Школа, пройденная в студенчестве, оказала существенное влияние на научный путь Лотмана.

Ключевые слова: Ю. М. Лотман, эволюция подхода к Карамзину, Лотман-студент, выбор руководителя, Н. И. Мордовченко, Г. А. Гуковский.

Ljubov Kisseljova. The place of Karamzin in the evolution of the historical and literary ideas of Yu. M. Lotman

The article deals with the stages of Yuri Lotman's scientific activity and the place that was given to Karamzin throughout his research career. It shows the evolution of "Lotman's Karamzin". Lotman's interest in Karamzin arose during his student years. The reasons that prompted Lotman as a student to prefer the seminar of Nikolai Mordovchenko to Grigori Gukovsky's are analysed. It is proved that the reason lies in different approaches to the work and personality of Karamzin among Lotman's potential supervisors – professors of Leningrad University. Although Lotman admired Gukovsky as a brilliant scholar, the research method of the restrained and precise Mordovchenko was closer to him. The school he went through as a student had a significant impact on Lotman's path as a scholar.

Keywords: Yuri Lotman, evolution of his approaches to Karamzin, Lotman as a student, choice of supervisor, Nikolai Mordovchenko, Grigori Gukovsky.

Ю. М. Лотман выбрал Карамзина в качестве объекта исследования в 1947 г. студентом третьего курса Ленинградского университета и остался верен

ему всю жизнь. В те времена, да и в последующие годы — можно сказать до начала 1960-х гг., изучение Карамзина не приветствовалось, в советском литературоведении он однозначно трактовался как консерватор и монархист. После новаторской статьи Б. М. Эйхенбаума 1916 г. [Эйхенбаум] именно работы Лотмана в наибольшей мере способствовали возрождению интереса к Карамзину, и, главное, в них был разработан новый образ — сложного и даже противоречивого писателя и человека, занимающего выдающееся место в русской культуре не одними своими текстами, но и своей личностью. На тщательном анализе творчества — не только литературного, но и жизненного ученый продемонстрировал, как Карамзин всю жизнь менялся, сохраняя при этом единство личности, и такой подход составил новацию по отношению и к статье Эйхенбаума, и к трудам Г. А. Гуковского и Н. И. Мордовченко (см. ниже), где об эволюции не говорилось.

Лотман взял на вооружение слова: «Мы еще не вчитались в Карамзина, потому что неправильно читали», «обычный историко-литературный метод подведения художника под общие схемы умонастроения той или другой эпохи ложен» [Там же: 213]. Не менее важным оказалось и указание одного из основателей формальной школы на философские основы новой карамзинской поэтики и на то, что его сознательно выработанные идеи «... могут быть интересны и для современного теоретика, разрабатывающего проблему поэтического языка, в отличие его от практического». Карамзиним, заключал ученый, «утверждаются особые законы и приемы поэтической речи, ненужные для практической» [Там же: 211–212]¹. Как очевидно для всех, знакомых с работами Ю. М. Лотмана о Карамзине, их автор последовательно прошел этапы исследования всех аспектов творческой деятельности Карамзина: идеологических взглядов, поэтики и жизнестроительства, роли в истории русской культуры.

Было неоднократно замечено, Карамзин, как и Пушкин под пером Лотмана, стал его своеобразным *alter ego*, неотделимым от его личности; это — «лотмановский Карамзин»². Наша задача показать, как менялся лотмановский

¹ Эйхенбаум писал в то время, когда Карамзин, пройдя периоды читательских восторгов, поклонения, интенсивной полемики вокруг его имени, затем официальной канонизации, выпал из актуального чтения. По наблюдению С. Ф. Платонова в замечательной речи 1911 г., Карамзина не читают «иначе, как в курсе истории литературы. Они <школьники. — Л. К.> улыбаются над теми красотами, которые когда-то трогали и умиляли; им надо “объяснять Карамзина”, ибо часто они сами его уже не понимают» [Платонов: 231]. Эйхенбаум подошел к изучению поэтики Карамзина в период формирования формального метода, и именно с этой точки зрения он его интересовал.

² С этим можно отчасти согласиться, с той лишь оговоркой, что это характерно для любого яркого и концептуального ученого.

Карамзин вместе со своим исследователем, и тут мы будем выделять не этапы творчества писателя (это сделал Лотман в своей новаторской работе «Эволюция мировоззрения Карамзина» [Лотман 1957])³, а этапы эволюции исследователя. Конечно, их выделение достаточно условно, между ними нет непроходимой границы, следующий этап формируется в рамках предыдущего, так что можно говорить лишь об основной траектории:

- 1950-е гг. — Лотмана интересует, в основном, история идей и общественного движения, в этом ключе и Карамзин изучается как идеолог и политик: впервые — в кандидатской диссертации 1952 г. (автореферат [Лотман 1951]), затем в статье [Лотман 1957].
- 1960-е гг. — Лотмановский период структуральной поэтики отражается и в подходе к Карамзину, в центре — Карамзин-поэт [Лотман 1966].
- 1970-е гг. — Лотмановский период типологии и семиотики культуры. Карамзину посвящается капитальная статья (фактически монография) о «Письмах русского путешественника», написанная в соавторстве с Б. А. Успенским, в которой рассматривается вопрос о сложном соотношении исторической и художественной реальности и новый образ «русского путешественника». Статья эта, вышедшая в 1980-е гг. [Лотман – Успенский 1984], писалась в 1970-е гг. параллельно с другой статьей объемом в монографию — о полемике по вопросам языка [Лотман – Успенский 1975], где уделяется место и позиции Карамзина.
- 1980-е гг. — Лотмановский период семиосферы. В области изучения Карамзина — это идея жизнестроительства, построения биографии по законам художественного текста: Карамзин творит Карамзина [Лотман 1987].

Разумеется, мы не ставим своей задачей подробно охарактеризовать это движение исследовательской мысли, остановимся коротко на каждом из этапов, а затем вернемся к началу пути и постараемся определить генезис интереса Лотмана к Карамзину и его ориентиры на этом самом раннем этапе.

Итак, первый этап — 1950-е годы — это исследование идеологической позиции Карамзина, что вписывается в общий контекст лотмановских работ того периода, когда центр интересов ученого составляет литературно-общественная борьба на примере Радищева, Кайсарова, круга «Дружеского литературного общества» и др.⁴ Одним из важных тезисов является

³ Заметим сразу, что идея эволюции была им высказана еще в кандидатской диссертации, где третья глава так и называется — «Эволюция мировоззрения Карамзина».

⁴ Характерны и заглавия работ: «Из истории литературно-общественной борьбы 80-х годов XVIII века: А. Н. Радищев и А. М. Кутузов» (1950), «Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени» (1958), «К характеристике мировоззрения

одновременное воздействие на Карамзина разных по своей направленности философских систем, в частности масонской и просветительской идеологий, и попытка выстроить некую собственную систему, эклектическую по природе, примиряющую разные точки зрения. Отношение к Французской революции — один из важных сюжетов статьи. В отличие от Гуковского, считавшего это отношение однозначно отрицательным (см. ниже), Лотман характеризует живой интерес Карамзина к эпохальному событию и положительное к нему отношение вплоть до момента казни Людовика XVI. Лотман подробно описывает кризис, пережитый Карамзиным в 1793 г., результатом которого стали усилившийся скептицизм, представление о релятивности истины [Лотман 1957: 137], о внешнем мире как отражении внутреннего состояния человека. Однако для концепции Лотмана важно замечание о том, что философский субъективизм был формой неприятия Карамзиным действительности. Что касается «Вестника Европы», то здесь главной новацией статьи явился анализ политического раздела и вскрытие карамзинского метода выборочного перевода-переделки⁵ публикаций из иностранных источников [Там же: 151–155]⁶, направленного на полемику с либеральными устремлениями первых лет царствования Александра I⁷.

Конечно, в статье 1957 г. (написана она была не позднее второй половины 1956 г., ибо сборник был сдан в набор 5 марта 1957, а до этого должен был пройти всевозможные комиссии и утверждения) налет социологизма еще чувствуется, особенно когда речь идет о социальной концепции Карамзина начала 1800-х гг.:

Очевидна классово-дворянская сущность понимания общей пользы <...> вопрос о реальных классовых интересах подменяется рассуждениями о свойствах человеческой природы вообще, а вооруженное подавление помещичьим государством крестьянских масс во имя классового эгоизма дворян объявлялось единственным и бескорыстным средством борьбы с эгоизмом людей <...> [Там же: 146] и т. д.

В. Г. Анастасевича: (Из истории общественной мысли первой четверти XIX в.» (1958), «Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель» (1959) и др.

⁵ Более чем через три десятилетия после статьи Лотмана О. Б. Кафанова составила полную библиографию карамзинских переводов в «Вестнике Европы» [Кафанова 1991], но в своей статье [Кафанова 1986] она не касается анализа переводов статей политического раздела. Однако лучшую библиографию переводов с указанием оригиналов и их источников см.: [Сводный каталог: 193–215].

⁶ Этот анализ был проведен Лотманом еще в курсовой работе за третий курс, вызвавшей восхищение научного руководителя Н. И. Мордовченко (см. ниже), и в несохранившейся статье, написанной на ее основе и одобренной к печати [Лотман 1995: 34].

⁷ Этот анализ А. Шёнле в относительно недавней статье счел не во всем убедительным [Шёнле: 192, сноска 15], но доказательств не привел.

Именно в этом месте закономерно возникает сопоставление с позицией Радищева. Однако подобных пассажей в большой статье очень немного, и уже в следующих работах Лотман окончательно изживает подобный метаязык. В них продолжена та линия первой статьи, которая касается выраженных в «Вестнике» разочарования в природе человека, а также бонапартизма Карамзина, его оппозиции политическому курсу Александра.

Однако уже в конце 1950-х гг. параллельно с интерпретацией идей и мировоззрений у Лотмана развивается интерес к поэтике текста, к метрике и ритмике, к комментированию стихов (это заметно в подготовленном Лотманом издании стихотворений А. Ф. Мерзлякова [Мерзляков 1958]⁸). То, что было манифестировано в «Лекциях по структуральной поэтике» 1964 г., было подготовлено предшествующей творческой эволюцией ученого. В издании «Полного собрания стихотворений» Карамзина [Лотман 1966], готовившемся параллельно с «Лекциями» (договор подписан в январе 1963 г. — см. письмо к Егорову [Лотман. Переписка 2018: 114], хотя издание вышло только в 1966 г.), новый подход нашел полное выражение.

Во вступительной статье «Поэзия Карамзина» дается целостный очерк жизни и творчества писателя, подробно характеризуется его мировоззрение (потом Лотман почти дословно повторит эту характеристику в статье «Политическое мышление Радищева и Карамзина и опыт Французской революции» [Лотман 1990]), а также восприятие его личности и деятельности на разных этапах развития русской культуры. И все же в центре теперь — анализ поэтики, для которой характерно, по определению Лотмана, неуклонное стремление к простоте, выбор непоэтичных предметов, отказ от метафор, прозаизация стиха (в отличие от поэтизации прозы), создание маски скромного, не очень даровитого поэта, отказывающегося от рационального объяснения противоречивого мира (идея маски найдет более полное выражение на следующем этапе эволюции лотмановского Карамзина). Ряд положений статьи тесно связан с той характеристикой общей ситуации в русской поэзии конца XVIII – начала XIX вв., которую Лотман дал в антологиях «Поэты начала XIX в.» (1961) и «Поэты 1790–1810-х годов» (1971). Несколько по-разному выраженные, эти идеи принадлежат к коренным убеждениям Лотмана относительно динамики историко-культурного процесса и роли в нем отдельных произведений и писательских индивидуальностей⁹.

⁸ Том был сдан в набор в конце 1957 г., т. е. готовился не позднее 1956 г.

⁹ Акцент на динамике, на механизмах литературного процесса, который был столь свойствен работам Лотмана, сближает его с подходом Гуковского, о котором сам Лотман писал в статье «Двойной портрет»: «... от переживавшего тогда свой расцвет формализма Гуковского отличал интерес именно к процессу, к динамической системе» [Лотман 1995а: 61].

В статье «Поэзия Карамзина» эта мысль звучит так: «... культура — это не только определенное количество результатов, достижений, которыми пользуются все, а литература — не просто сумма гениальных произведений, выдержавших испытание временем. Живая культура — это движение, связывающее прошедшее с будущим», «главную массу составляют писатели и книги, быстро забываемые потомками» [Лотман 1966: 5].

Для Лотмана было важно показать, что негениальная поэзия Карамзина полна открытий, которыми пользовались поэты следующих поколений, а общий масштаб его деятельности гораздо выше и шире его литературных достижений. Мы можем смело утверждать, что, с одной стороны, лотмановский анализ механизмов культурного процесса вписывается в тот этап его научной эволюции, который следует назвать периодом типологии и семиотики культуры, а с другой — теоретические идеи 1970-х гг. были подготовлены и вырабатывались в 1960-е гг., в частности, на материале поэзии Карамзина.

Эпоху в лотмановской карамзиниане составляет работа над изданием «Писем русского путешественника» совместно с Б. А. Успенским, а в части текстологии — с Н. А. Марченко. Как явствует из переписки Лотмана с Успенским, замысел издания оформился у них параллельно с работой над «Происшествием в царстве теней, или Судьбиной русского языка» Семена Боброва и написанием совместной статьи (фактически — монографии) «Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры»¹⁰. Эта работа началась в 1971 г. и продолжалась четыре года.

Первый издательский договор на издание «Писем русского путешественника» был заключен в феврале 1974 г. Потом шла долгая полемика о текстологических принципах издания¹¹, подготовка рукописи, редакторская работа, так что том в серии «Литературных памятников» был сдан в набор 15 июня 1982, а вышел в свет лишь в 1984. Масштабная статья Лотмана и Успенского «“Письма русского путешественника” Карамзина и их место в развитии русской культуры» и издание в целом — с комментариями и приложениями — является монографическим исследованием. За десятилетие работы над этим памятником оформился и новый этап творческой эволюции Лотмана, который можно назвать периодом семиосферы. Статья «О семиосфере» вышла из печати в том же 1984 г., что и «Письма русского

¹⁰ 1 июня 1971 г. Успенский спрашивает Лотмана, получил ли он Боброва [Лотман. Переписка 2008: 181]. Текст был найден Успенским в библиотеке МГУ. Опубликовано: [Лотман – Успенский 1975].

¹¹ Они были изложены в статье: [Лотман и др. 1981].

путешественника», но была написана, видимо, не позднее начала 1982 г.¹², т. е. идеи формулировались на рубеже 1970–80-х гг., как раз когда завершалась работа над книгой.

Почти сразу после выхода в свет тома «Писем русского путешественника» Лотман получает заказ на написание книги о Карамзине в серии «Писатели о писателях». Об интенсивной работе над ней Лотман сообщает в письмах Егорову и Успенскому летом 1985 г. и приводит предварительное заглавие «Карамзин — автор Карамзина» [Лотман. Переписка 2018: 579]. К этому времени уже была готова почти половина объема книги, которая под заглавием «Сотворение Карамзина» была сдана в набор в ноябре 1986 г. и подписана к печати летом 1987 г.

Эти две итоговые работы имеет смысл рассматривать вместе, потому что в «Сотворении Карамзина» образ Карамзина-путешественника и его трансформация в художественный образ «русского путешественника» занимают большое место. Одна из главных идей обеих работ — это сложное соотношение художественной и исторической реальности. Образ автора, который Карамзин создает не только в «Письмах», но и в других текстах, с одной стороны — автобиографический (и это вводило в заблуждение как современников, так и исследователей, отождествлявших путешественника с Карамзиным), однако, с другой — переплетенный с художественным вымыслом, выражающий творческую программу Карамзина, его концепцию литературы и художественного творчества. Со стремлением разделить автора и его героя связана, как нам представляется, идея Лотмана о несовпадении маршрутов русского путешественника и реального Карамзина. Хотя ученый и подчеркивал гипотетический характер своих построений, он был глубоко убежден в том, что из Швейцарии Карамзин ездил на две недели в революционный Париж. Эта гипотеза впоследствии не подтвердилась. На архивном материале дневников Шарля Бонне было документально доказано, что автор «Писем русского путешественника» находился в Швейцарии все то время, какое обозначено в тексте [Gellerman]¹³. Гипотеза, тем не менее, свидетельствует

¹² Дело в том, что 17-й выпуск «Трудов по знаковым системам», где она была напечатана, был сдан в набор 31 августа 1982, подписан к печати 12 апреля 1983, следовательно, был сдан в издательство Тартуского университета в конце 1981 г. (не позднее начала 1982 г.).

¹³ Светлана Геллерман была выпускницей Лотмана, занимавшейся в его семинаре и защитившей в 1982 г. под его руководством дипломную работу. Она слушала спецкурс по Карамзину, который Лотман читал студентам отделения русской филологии в 1979/1980 уч. г. и в котором гипотеза о «скрытом» парижском визите была впервые ясно выражена (в спецкурсе 1970/71 уч. г. встречался только намек, но он свидетельствует о том, что идея сформировалась в сознании исследователя достаточно давно). См.: [Лотман 2022].

об исследовательском увлечении и одновременно о настойчивом поиске доказательств построения «Писем» по законам художественного текста.

Идея того, что личность Карамзина и ее значение в русской культуре не сводятся к сумме созданных им текстов, высказывалась Лотманом, как уже упоминалось, еще в 1960–1970-е гг., но теперь он развернул на материале всего жизненного и творческого пути Карамзина мысль о том, что биография может строиться под воздействием литературных моделей. Для исследователя это явилось продолжением принципов, выработанных в статье «Декабрист в повседневной жизни» 1975 г. и положенных им в основу биографии Пушкина 1981 г. Мысль о том, что человек является творцом своей судьбы и что импульсом к этому жизнестроительству становится искусство, относилась к числу внутренних убеждений и переживаний Лотмана и имела глубоко личный характер.

Завершив круг краткого и потому поверхностного разговора о разработке Лотманом карамзинской темы, обратимся к началу пути, когда в студенческие годы он впервые обратился к Карамзину, когда определял свой путь в науке и выбирал между семинарами Гуковского и Мордовченко.

Лекции Гуковского по истории русской литературы XVIII века Лотман посещал еще школьником, в 1938/1939 уч. г., учась в 10 классе (см. об этом: [Лотман 1995а: 61]), и можно без особой натяжки предположить, что профессор излагал творчество Карамзина в том ключе, в котором писал о нем в своей книге [Гуковский 1938] и в учебнике [Гуковский 1939]¹⁴. С некоторыми дополнениями глава учебника была повторена в пятом томе академической «Истории русской литературы» [Гуковский 1941]. Когда Лотман после войны восстановился в университете на втором курсе, лекции по русской литературе XVIII века читал уже П. Н. Берков, но его Ю. М. Лотман почти не успел послушать, т. к. восстановился 3 декабря 1946 г., т. е. в самом конце семестра, а экзамен сдавал Г. П. Макогоненко 6 января 1947, конечно, по учебнику Гуковского¹⁵. Весной 1947 г. Лотман слушал лекции Н. И. Мордовченко

¹⁴ В 1999 г. учебник был переиздан со вступительной статьей А. Л. Зорина [Зорин], где подробно освещена концепция Гуковского, касающаяся русской литературы XVIII в., прослежена связь учебника со статьями автора конца 1920-х гг. (о них см. также: [Осповат К.]) и описана причина последующей эволюции ученого — его искреннее увлечение марксизмом и возникшие в этой связи сложности и т. д. Далее мы не ставим своей задачей всесторонне охарактеризовать историко-литературные взгляды Гуковского, остановимся лишь на частном случае — его интерпретации личности и творчества Карамзина.

¹⁵ Ссылаюсь на копию зачетной книжки Лотмана-студента, которая хранится в его студенческом деле в архиве Ленинградского университета. Копия была любезно предоставлена мне Н. Ю. Образцовой, приношу ей свою искреннюю благодарность.

по истории русской литературы первой половины XIX в. и сдавал ему экзамен 13 июня 1947 г. Совершенно очевидно, что Мордовченко не мог избежать в лекциях разговора о Карамзине и говорил о нем в том духе, в каком тогда же писал в докторской диссертации, защищенной в 1948 г., а изданной с большим опозданием в 1959 г. в виде книги «Русская критика первой четверти XIX века». Как известно, книга начинается с большого введения «Карамзин и его роль в истории русской критики» [Мордовченко: 17–56]¹⁶. Так что к тому времени, когда на третьем курсе, осенью 1947 г., надо было выбирать семинар и научного руководителя, взгляды на Карамзина обоих ученых были Юрию Михайловичу хорошо известны.

Сам Лотман в «Не-мемуарах» объяснял свой выбор так:

Общим кумиром студентов был Г. А. Гуковский. Я продемонстрировал самостоятельность и не пошел к Гуковскому. А записался к тогда еще числившемуся молодым профессором¹⁷ и не пользовавшемуся такой популярностью Н. И. Мордовченко. Но у Мордовченко, который занимался Белинским, я взял тему по Карамзину — то есть по теме Гуковского [Лотман 1995: 34].

Но рискнем предположить, что были и другие причины — более, так сказать, научного характера¹⁸.

Для начала напомним, что оба преподавателя были почти ровесниками: Гуковский (1902–1950) был на два года старше Мордовченко (1904–1951), но пути в науке у них были разные. Если старший окончил Петроградский университет в 1923 г., был оставлен на кафедре в качестве научного сотрудника и через год поступил в аспирантуру при университете, одновременно начав преподавать в Институте истории искусств (1924–1930), то младший, будучи провинциалом, учился сначала в Рязанском институте народного образования и только потом, с 1925 по 1929 гг., уже в Ленинграде, в том же Институте истории искусств. Соответственно, Мордовченко мог считаться не только учеником формалистов, Ю.Г. Оксмана, но и учеником Гуковского.

Академическая карьера Гуковского развивалась стремительно. В 1928 г. он защитил кандидатскую диссертацию, в 1937 — докторскую. Как отметил Ю. М. Лотман в своей статье «Двойной портрет», Гуковский в предвоенные

¹⁶ Это введение Лотман впоследствии охарактеризовал как главу и добавил, что его «композиционная вынесенность» «подчеркивает его ключевое значение» [Лотман 2003: 70]. В нем, поясняет Лотман, Мордовченко «расставлял акценты в строгом соответствии с исторической истиной, определяя тем самым и историческую направленность, и, так сказать, научную атмосферу своего труда» [Там же]. Глава о Карамзине и книга «Русская критика первой четверти XIX века» в целом отчетливо контрастировали с основным направлением тогдашней науки.

¹⁷ Заметим, что на тот момент Мордовченко не был ни профессором, ни даже доктором наук.

¹⁸ Об этом со слов Лотмана вспоминает и Б. Ф. Егоров [Егоров: 38].

годы «был самым молодым из профессоров филфака» Ленинградского университета [Лотман 1995а: 60]. Параллельно с университетской карьерой (где он в разные годы был зав. кафедрой и деканом) он занимал множество разных должностей (и мы перечисляем далеко не все из них): с 1929 по 1949 гг. был научным сотрудником Пушкинского дома, где с 1934 возглавлял созданную им группу по изучению русской литературы XVIII в., заведовал кафедрой литературы Ленинградского института усовершенствования учителей и сектором Ленинградского отделения Академии педагогических наук, а после войны был еще и профессором Московского гос. пединститута. Карьера Мордовченко была куда более медленной: кандидатскую диссертацию он защитил в 1938 г., а докторскую только в 1948 г.; с 1934 г. был сотрудником Пушкинского дома и преподавал в Ленинградском университете; профессором и зав. кафедрой стал в 1949 г. (после увольнения Гуковского).

Но с точки зрения обстоятельств выбора Лотманом семинара важно было то, что в 1947 г. Гуковский Карамзиным уже не занимался, переключившись на XIX век, на Пушкина и Гоголя. Мордовченко же как раз подробно писал о нем в докторской диссертации¹⁹. Правда, в том же 1947/48 учебном году Мордовченко читал студентам спецкурс по Белинскому. Лотман тоже его слушал и сдал зачет 31 мая 1948 г., тогда же, когда и по семинару по «Евгению Онегину», о котором впоследствии писал:

В 1947/48 учебном году Н. И. Мордовченко объявил в Ленинградском университете специальный семинар по «Евгению Онегину», участником которого посчастливилось быть автору этих строк. Замысел семинара, видимо, отражал некоторые черты плана монографии, рисовавшегося в уме ученого. Участникам семинара были розданы темы — отдельные главы пушкинского романа в стихах. Предполагалось, что каждый докладчик напишет монографию по одной главе <...> Роман Пушкина должен был быть показан как противоречивое единство <...> [Лотман 2003: 73].

Нетрудно убедиться, что от этого студенческого семинара протянулась потом линия к классическим трудам Ю. М. Лотмана по «Евгению Онегину» — от статьи, опубликованной в 1960 г., «К эволюции построения характеров в романе “Евгений Онегин”»²⁰, затем небольшой книги 1975 г. «Роман в стихах Пушкина “Евгений Онегин”»: Спецкурс: Вводные лекции в изучение

¹⁹ Таким образом, говорить о том, что Карамзин — это «тема Гуковского», а Мордовченко, мол, занимался Белинским, можно только относительно.

²⁰ От завершения статьи до ее публикации прошло по крайней мере три года, ибо Лотман вспоминал, что передал ее Б. В. Томашевскому в Пушкинском доме незадолго до кончины ученого, т. е. летом 1957 г. [Лотман 1995а: 56–57].

текста» до знаменитого комментария 1980 г. «Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”».

Тема, избранная Лотманом на третьем курсе в том семинаре Мордовченко, который был связан с написанием курсовой работы, — «Карамзин в “Вестнике Европы”» — находилась в русле занятий научного руководителя — историка критики. Н. И. Мордовченко этим журналом специально не занимался, поэтому и дал студенту тему, которую сам подробно не разрабатывал (обратим внимание, что Лотман пишет «взял тему», т. е. выбрал из предложенных руководителем). Об этой курсовой работе Мордовченко восторженно отозвался в письме к своему учителю Ю. Г. Оксману от 18 декабря 1948 г., когда студент писал уже следующую работу — «Карамзин и масоны»: «Ю. Лотман — участник моего семинара, необыкновенно талантливым и одаренным юноша, каких я еще никогда не встречал. Он занимается масонами, Карамзиным, Радищевым, но сейчас — больше всего масонами. Прошлогодний доклад Лотмана о карамзинском “Вестнике Европы” меня совершенно потряс» (цит. по: [Егоров: 41–42]). Уже упоминалось выше, что написанная на материале курсовой работы статья была сдана в печать в сборник «XVIII век» и пропала после ареста Гуковского, скорее всего, в недрах КГБ [Егоров: 41].

Не только тема курсовой работы Лотмана третьего курса, но и курсовой следующего года — «Карамзин и масоны» — была вполне в духе Мордовченко, который более подробно, чем Гуковский, остановился в своей монографии на периоде жизни Карамзина в масонском доме. Только тему дипломной работы «Радищев в “Беседующем гражданине”», защищенную 12 мая 1950 г. на «отлично», можно было бы назвать более «гуковской», но в июле 1949 г. автор основополагающих трудов о Радищеве был арестован и менее чем через год погиб в тюрьме.

Обратимся теперь к концептуальным различиям в подходе к Карамзину Мордовченко и Гуковского и постараемся показать, что, на наш взгляд, именно подход первого оказался ближе Лотману-студенту.

Когда через 40 лет после событий, которые нас интересуют, Лотман писал о Гуковском в статье «Двойной портрет», то, несмотря на общий приподнятый тон и высокую характеристику преподавателя²¹ и ученого, названного

²¹ Лотман полагал, что Гуковский гораздо полнее раскрывался в своих лекциях, чем в печатных трудах: «Гуковский обладал совершенно несравненным чувством стиля, оттенки которого в анализируемом стихотворении он передавал слушателям и анализом, и интонацией, которая была важнейшим элементом его лекторского мастерства. Печатный облик его работ — книг и статей — совершенно бессилён передать шарм свободной непредсказуемости его устных выступлений»; «Память его была изумительна» [Лотман 1995а: 61]. Напомним, что 60-летию

«генератором идей»²², он не мог пройти мимо особенностей научной манеры Гуковского, которые явно не были ему близки: «... часто многочисленные реальные факты литературной истории получают упрощенно-схематическое, а иногда и просто неточное истолкование» [Лотман 1995а: 63]; «Его Гоголь не должен был писать “Выбранные места...”» [Там же: 64]. Несколько вольный подход к фактам был полной противоположностью методу Мордовченко. В статье о своем учителе Лотман выявил в так называемом «эмпиризме» Мордовченко «не отказ от концептуирования, а наиболее последовательную реализацию разделяемой ученым теоретической доктрины», подчеркивая при этом, что «богатство и надежность фактических сведений, глубокая научная честность давно уже сделали труды Н. И. Мордовченко авторитетным пособием, источником надежных сведений и тщательно выверенных концепций» [Лотман 2003: 68–69]²³.

Итак, надежность фактического материала, не допускающая натяжек, противопоставляется блестящим, стимулирующим, но порой неточным построениям. Такие выводы делает зрелый Лотман, в студенческие годы они вряд ли были столь для него отчетливы; тем не менее выбор был сделан в пользу Мордовченко.

Если опять-таки очень суммарно изложить концепцию Карамзина по Гуковскому, то ретроспективно легко увидеть в ней много противоположного тому, что и как писал потом о Карамзине Лотман²⁴. У Гуковского (судя по

со дня рождения Гуковского был посвящен пятый выпуск «Трудов по русской и славянской филологии» (1962), а 15-летию со дня его смерти было посвящено заседание студенческой научной конференции в апреле 1965 г. и соответствующая заметка Лотмана в университетской газете: In memoriam // Tartu Riiklik Ülikool. 1965. 2. apr. Проникновенные строки Лотман посвятил Гуковскому-преподавателю и в своих воспоминаниях [Лотман 1993: 471–474]. Там же см. характеристику Н. И. Мордовченко [Там же: 472–473].

²² «Томашевский одним взмахом своей аналитической мысли, укрепленной обширной эрудицией, рассеивал научные иллюзии, которые увядали в его руках, как проколотые шарики. Но как генератор идей, он не мог сравниться с Гуковским. И это мы почувствовали по его первой (по трагическому стечению судеб оказавшейся последней) итоговой монографии о Пушкине, там, где автору потребовалась концептуальность, ему пришлось *volens nolens* учесть идеи Гуковского» [Лотман 1995а: 63].

²³ «Светлой памяти Николая Ивановича Мордовченко» посвящена первая монография Лотмана «Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени» [Лотман 1958].

²⁴ Гуковского особенно интересуют переключки мировоззрения и поэтики Карамзина и его прямого предшественника (в интерпретации исследователя) М. Н. Муравьева, с которым, в первую очередь, он Карамзина сопоставляет. Гуковского интересует не столько отличие, сколько преемственная связь, отсюда и название его главы «У истоков русского сентиментализма» в [Гуковский 1938]. Лотмана, в первую очередь, интересует то, что отличает Карамзина от предшественников.

его печатным работам) ощущается несколько покровительственное отношение к исследуемому автору. Если Эйхенбаум в статье 1916 г., прекрасно, конечно, Гуковскому известной, но на которую он не ссылается²⁵, писал о Карамзине как о серьезном мыслителе, то Гуковский представляет Карамзина слабovolьным и добропорядочным эстетом, прячущимся от действительности в эстетизированный мир «приятных» эмоций и психологических переживаний, чуждающимся реальной жизни и ее жгучих социальных проблем, испугавшимся Французской революции. Отсюда постоянное противопоставлению Радищеву²⁶ и концепция двух сентиментализмов — демократического, даже революционного (который называется также предреализмом) и консервативного, дворянского (именуемого и предромантизмом). Карамзин — это «человек, сумевший прожить свою жизнь размеренно и благоразумно», у него «менялись — в связи с ходом политических событий — конкретные политические или тактические суждения, но основа была неизменной и достаточно явной» [Гуковский 1941: 65]. Автор не видит разницы между автобиографическим героем и самим писателем, хотя высоко оценивает стилистическое, жанровое, языковое новаторство Карамзина, но все же на каждой странице подчеркивает его ограниченность:

Карамзин был выдвинут дворянской культурой в качестве противоядия против «революционной заразы», шедшей с Запада и свившей себе гнездо в России, против тех классовых групп и идейных течений, которые подняли голос в книге Радищева [Гуковский 1938: 298].

Он начал свою деятельность как консерватор и кончил ее консерватором же [Там же: 304].

Исконный либерализм сумароковской школы, сильно поколебленный катастрофическими событиями 1770–1780-х годов, крестьянской войной и потемкинской реакцией в России, американской революцией и нарастанием революционной ситуации во Франции, все же не утерял окончательно своего обаяния для Карамзина. <... > Он с самой юности усвоил правила независимости мысли и поведения русского писателя, культивировавшиеся в кругах учеников Сумарокова [Гуковский 1939: 498].

По Гуковскому, Карамзин — наследник либерализма сумароковской школы, Хераскова, именно отсюда якобы вытекает свойственная ему независимость мысли и поведения. Карамзин критикует политику Александра I, но

²⁵ Видимо, не случайно, поскольку в конце 1930-х гг. не могло быть запрета на цитирование историко-литературного труда Эйхенбаума, коллеги Гуковского по Пушкинскому дому и университету. Об их сложных взаимоотношениях и конфликтах см.: [Осват К.].

²⁶ У Мордовченко такое противопоставление сделано белло.

это не меняет его общей исторической пассивности: «Несчастье Карамзина заключалось в том, что ему не за что было бороться» [Гуковский 1938: 305], и эта мысль повторена в работах 1939 и 1941 г.

Конечно, Гуковский не был бы Гуковским, если бы у него не было глубоких наблюдений над поэтикой прозы и поэзии Карамзина (например, анализ стихотворения «Два голоса», которое через много лет будет важно для Лотмана). Тем не менее, хотя для Гуковского «Радищев и Карамзин, — каждый по-своему, — стоят в преддверии XIX в. <... > От обоих тянутся непосредственно нити в пушкинское время», но «Радищевский путь — это путь подъема, дерзновенного восхождения на неизведанные высоты человеческой свободы. Карамзин — это уход от жизни, увядающая воля, воспоминание о благородных традициях и скорбь об утере жизненных идеалов». Искусство Карамзина — это «тонкое, хотя и дряхлеющее искусство» [Там же: 312]²⁷.

Думается, что даже не столько социологический подход, которым в 1940-е гг. трудно было кого-то испугать, а эта покровительственно-ироническая интонация не устроила Лотмана-студента, который хотел заниматься Карамзиным. В отличие от Гуковского, стремившегося создать марксистскую концепцию процесса развития русской литературы от начала XVIII в. до Горького, Н. И. Мордовченко такой идеей не задавался.

Глава о Карамзине в его монографии затрагивает, казалось бы, частный, хотя и важный аспект — «Карамзин и его роль в истории русской критики», но на самом деле в ней дана целостная характеристика деятельности Карамзина²⁸. Подчеркнем мысль: «В историю русской критики Карамзин входит не только своими критическими статьями и рецензиями, но самым направлением своего творчества» [Мордовченко 1959: 17]. Социологический язык сведен у Мордовченко к минимуму, он пытается остаться внутри литературных и эстетических категорий. Нет речи о дворянской ограниченности, о боязни Французской революции. У Мордовченко не существует ни дворянского, ни революционного сентиментализма, если и говорится о борьбе и полемике, то между сентиментализмом и классицизмом. В раннем «масонском» периоде Карамзина он подчеркивает все те моменты, которые будут потом важны для Лотмана. Хотя никакой полемики с Гуковским в книге нет, имеется даже цитата из пятого тома «Истории русской литературы», но по сути подход Мордовченко противостоит социологическому пафосу Гуковского.

²⁷ Та же мысль затем повторена в последующих работах автора.

²⁸ О фундаментальном значении этой главы Лотман пишет в своей цитировавшейся выше статье о Мордовченко [Лотман 2003: 70].

Полемика между двумя исследователями возникла на защите докторской диссертации Мордовченко 8 апреля 1948 г., где Гуковский выступал одним из официальных оппонентов. Защита происходила в драматической атмосфере уже начавшейся кампании по борьбе с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом, в ходе которой уже тогда были подвергнуты критике двое из оппонентов — Б. В. Томашевский и Г. А. Гуковский (через год он был уволен со всех постов и арестован; смерть последовала в Лефортово 15 апреля 1950 г.). Валерий Отяковский, исследовавший дело о защите [Отяковский]²⁹, цитирует выступления защищающегося и оппонента. Гуковский в комплиментарной рецензии упрекал Мордовченко в преувеличении роли Карамзина «для развития русской литературной мысли», в недооценке роли литературы XVIII в. и (что, заметим, было совсем не безобидно) в отвержении результатов, добытых «наукой за последние десятилетия <т. е. советской наукой. — Л. К.>», в возвращении к представлениям об особом «карамзинском» периоде литературы». Гуковский и на защите развивал свои излюбленные идеи о двух сентиментализмах: дворянском консервативном/реакционном Карамзина и революционном Радищева, о которых шла речь выше. Эти определения Мордовченко ранее в частном письме, которое цитирует Отяковский, назвал чепухой, но на защите в ответе оппоненту выразился осторожнее: «Я думаю, что и эта концепция носит — мягко выражаясь — умозрительный характер», и далее вскрыл ее социологическую природу и связь с ленинской теорией двух путей развития русского капитализма³⁰.

В главе «Карамзин и его роль в истории русской критики» в диссертации и потом в монографии Мордовченко имеются ссылки на статью Эйхенбаума, речь С. Ф. Платонова, книгу М. Розанова о Якобе Ленце. Именно у Мордовченко Карамзин вырастает в значительную и самостоятельную фигуру, не требующую извиняющих оговорок и вызывающую к себе уважение. Думается, что эта серьезная интонация и привлекла Лотмана-студента к подходу Мордовченко.

Зато в кандидатской диссертации, защищенной Лотманом 31 марта 1952 г., потребовался подход Гуковского, причем социологизм был еще более

²⁹ На данный момент неоконченная статья В. Отяковского — самое глубокое исследование биографии Н. И. Мордовченко, написанное на архивном материале, с учетом всех печатных работ, в том числе и известного труда П. А. Дружинина «Идеология и филология», где о Мордовченко сказано много важного. Сердечно благодарю В. Отяковского за возможность ознакомиться и использовать его работу.

³⁰ Смелый ответ не повлиял на результаты защиты, совет единогласно проголосовал за присуждение Мордовченко ученой степени доктора филологических наук, что в тогдашних условиях можно считать почти чудом. ВАК оказался более осмотрительным и тянул с утверждением степени.

усилен в соответствии с требованиями политического момента. Сама формулировка темы — «А. Н. Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Карамзина» — выглядит почти цитатой из Гуковского, если не задаваться вопросом, когда мог Радищев вступить в борьбу с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Карамзина³¹. По горькой иронии истории не только цитировать, но и упоминать имя самого крупного исследователя Радищева было в тот момент невозможно. Особенно автореферат, который не раскрывает, а скрывает содержание диссертации³² (даже названия глав в нем не перечислены!³³), переполнен социологическими формулировками. Вполне понятно, что официальные оппоненты П. Н. Берков и А. В. Предтеченский, университетские преподаватели Лотмана, знавшие его студентом, оценивали работу не по автореферату и даже не по тому языку описания, который использован и в диссертации, а по богатству фактического материала и по глубине его анализа. Но след Гуковского в кандидатской диссертации Лотмана все же значителен.

Итак, на наш взгляд, предпочтение, оказанное Лотманом-студентом семинару Мордовченко, следует объяснять не только желанием сделать эффектный жест. Он имел уже достаточное представление о том, как смотрят на Карамзина, с одной стороны, Гуковский и, с другой, Мордовченко. Самостоятельность, в конечном итоге, выразилась в предпочтении подхода. «Скрытая» концептуализация Мордовченко была Лотманом-студентом высоко оценена. Впоследствии в работе над «Письмами русского путешественника» и в «Сотворении Карамзина» (конечно, и во многих других

³¹ Заглавие обнажает искусственность конструкции. Напомним, что автор «Путешествия из Петербурга в Москву» был арестован 30 июня 1790 г. и посажен в крепость, когда автор «Писем русского путешествия» находился в Европе. Издание «Московского журнала» началось в 1791 г., а Радищев до 1799 г. находился в Сибири, вернулся в европейскую часть только в 1799 г. и 12 сентября 1802 г. покончил с собой. В конце XVIII – начале XIX вв. его занимали совершенно другие проблемы. Как раз Карамзин, как полагал Лотман, откликнулся на смерть Радищева заметкой в «Вестнике Европы» «О самоубийстве» [Лотман 1957: 155].

³² Как мягко сказано в комментариях к фрагментам кандидатской диссертации, помещенным в первом томе так пока и не состоявшегося собрания сочинений Лотмана, автореферат «лишь формально и далеко не полностью отражает содержание диссертации и в значительно большей мере, чем сама диссертация, следует канонам официального литературоведения» [Лотман 1998: 440].

³³ Перечислим их: Глава 1. Радищев в борьбе с дворянским идеализмом 80-х годов XVIII века; Глава 2. Мироззрение Радищева; Глава 3. Эволюция мироззрения Карамзина; Глава 4. Радищев и Карамзин в первые годы XIX века; Глава 5. Радищев в борьбе за демократическую эстетику. Многие положения диссертации были почти дословно повторены в последующих работах Лотмана вт. пол. 1950-х – 1960-х гг.

трудах) Лотман использовал метод реконструкции, который считал главным методологическим принципом Н. И. Мордовченко. В отличие от глубоко «скрытой» концептуализации Мордовченко, Лотман прямо называет «Сотворение Карамзина» «романом-реконструкцией» (слово «роман» здесь является данью издательским требованиям, точнее было бы сказать «исследование-реконструкция»). Так в методологии зрелого Лотмана актуализировался его ранний опыт, полученный в школе Н. И. Мордовченко.

Литература

Гуковский 1938: *Гуковский Г. А.* Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л., 1938.

Гуковский 1939: *Гуковский Г. А.* Русская литература XVIII века. Учебник для высших учебных заведений. М., 1939.

Гуковский 1941: *Гуковский Г. А.* Карамзин // История русской литературы: В 10 т. Т. V. Ч. 1: Литература первой половины XIX века. М.; Л.: 1941.

Егоров: *Егоров Б. Ф.* Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., 1999.

Зорин: *Зорин А. Л.* Григорий Александрович Гуковский и его книга // Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. Учебник. М., 1999.

Кафанова 1986: *Кафанова О. Б.* Переводы Н. М. Карамзина в «Вестнике Европы» // Проблемы метода и жанра. Вып. 12. Томск, 1986. С. 100–116.

Кафанова 1991: Библиография переводов Н. М. Карамзина в «Вестнике Европы» (1802–1803) / Сост. О. Б. Кафанова // XVIII век. Сб. 17. СПб., 1991. С. 249–283.

Лотман 1951: *Лотман Ю. М.* А. Н. Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Карамзина: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тарту, 1951.

Лотман 1957: *Лотман Ю. М.* Эволюция мировоззрения Карамзина (1789–1803) // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1957. Вып. 51. С. 122–166 (Труды историко-филологического факультета).

Лотман 1958: *Лотман Ю. М.* Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1958. Вып. 63.

Лотман 1966: *Лотман Ю. М.* Поэзия Карамзина // Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Ю. М. Лотмана. М.; Л., 1966 (Библиотека поэта. Большая серия).

Лотман 1981: *Лотман Ю. М.* Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг.: (К генезису исторической концепции Карамзина) // XVIII век. Л., 1981. Сб. 13: Проблемы историзма в русской литературе: конец XVIII – нач. XIX в. С. 102–131.

Лотман 1987: *Лотман Ю. М.* Сотворение Карамзина. М., 1987 (Писатели о писателях).

Лотман 1988: *Лотман Ю. М.* Колумб русской истории // Карамзин Н. М. История Государства Российского. М., 1988. Кн. 4.

Лотман 1988а: *Лотман Ю. М.* «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века // Литературная учеба. 1988. № 4. С. 88–95.

Лотман 1990: *Лотман Ю. М.* Политическое мышление Радищева и Карамзина и опыт Французской революции // Великая французская революция и русская литература: [Сб. ст.]. Л., 1990.

Лотман 1993: *Лотман Ю. М.* «Просматривая жизнь с ее начала...»: Воспоминания // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.

Лотман 1995: *Лотман Ю. М.* Не-мемуары // Лотмановский сборник. 1. М., 1995.

Лотман 1995а: *Лотман Ю. М.* Двойной портрет [Томашевский и Гуковский; Азадовский и Пропп: два подхода; <Эйхенбаум>] // Лотмановский сборник. 1. М., 1995.

Лотман 1998: *Лотман Ю. М.* Русская литература и культура Просвещения. М., 1998 (Лотман Ю. М. Собрание сочинений. Т. 1).

Лотман 2003: *Лотман Ю. М.* Николай Иванович Мордовченко: Заметки о творческой индивидуальности ученого // Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003.

Лотман 2022: Спецкурсы Ю. М. Лотмана по творчеству Н. М. Карамзина: Неавторизованные конспекты лекций, прочитанных в Тартуском университете / Вступ. заметка, публ. и коммент. Л. Киселевой // Acta Slavica Estonica XIV: Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение XI. К 100-летию Ю. М. Лотмана. Тарту, 2022.

Лотман и др. 1981: *Лотман Ю. М., Толстой Н. И., Успенский Б. А.* Некоторые вопросы текстологии и публикации русских литературных памятников XVIII века // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1981. Т. 40. № 4.

Лотман. Переписка 2008: *Лотман Ю., Успенский Б.* Переписка: 1964–1993 / Сост. О. Кельберт, под ред. Б. А. Успенского. М., 2008.

Лотман. Переписка 2018: *Лотман Ю. М., Минц З. Г. – Егоров Б. Ф.* Переписка: 1954–1993. СПб., 2018.

Лотман – Успенский 1975: *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры: («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва) / Публ., вступ. ст. и коммент. // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1975. Вып. 358. С. 168–322 (Труды по русской и славянской филологии. [Т.] 24: Литературоведение).

Лотман – Успенский 1984: *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника / Изд., подгот. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984 (Литературные памятники).

Мерзляков 1958: *Мерзляков А. Ф.* Стихотворения / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Ю. М. Лотмана. Л., 1958.

Мордовченко: *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959.

Осповат К.: *Осповат К. А. Гуковский в 1927–1929 гг.: к истории «младоформализма»* // Тыняновский сборник. Вып. 13. М., 2009.

Отяковский: *Отяковский В.* Постмладоформалист: заметки о биографии и методе Николая Мордовченко (Рукопись).

Платонов: *Платонов С. Ф.* Речь, произнесенная в собрании 18 июля 1911 г., по случаю открытия памятника Н. М. Карамзину в с. Остафьево // Остафьевский архив князей Вяземских. Т. V. Вып. 2. СПб., 1913.

Сводный каталог: Сводный каталог сериальных изданий России (1801–1825). Т. 1: Журналы (А–В). СПб., 1997.

Шёнле: *Шёнле Андреас.* Н. М. Карамзин в свете экономических теорий (1802–1803) // Карамзин-писатель / Под ред. Н. Д. Кочетковой, А. Ю. Веселовой, Р. Бодэна. СПб., 2018.

Эйхенбаум: *Эйхенбаум Б. М.* Карамзин // Эйхенбаум Б. М. О прозе: Сборник статей / Сост. и подгот. текста И. Ямпольского, вступ. ст. Г. Бялого. Л., 1969.

Gellerman: *Gellerman, S.* Karamzine à Genève: Notes sur quelques documents d'archives concernant les "Lettres d'un Voyageur russe" // Fakten und Fabeln. Schweizerisch-slavische Reisebegegnung vom 18. bis zum 20. Jahrhundert / Hrsg. M. Bankowski et al. Basel; Frankfurt a. M., 1991. S. 73–90.

ЭМБЛЕМАТИКА «НАГРАДНОГО» СУПЕРЭКСЛИБРИСА В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНСТИТУЦИЙ РОССИИ (XVIII ВЕК)

ЛАРИСА ПЕТИНА

В статье рассматриваются гербовые суперэкслибрисы Императорского Московского университета, Горного кадетского корпуса и Сухопутного шляхетного кадетского корпуса на наградных книгах. Анализ смысловых значений гербовых эмблем в разных сферах применения позволяет понять их семантическую природу, а также находить вербальные соответствия эмблематическим изображениям. Характер использования гербовых суперэкслибрисов устанавливается в контексте наград и наградных знаков отличия, а также в связи с наградной функцией книги, под влиянием которой формируется и особый медальный вид наградных экземпляров.

Ключевые слова: суперэкслибрис, эмблема, символические атрибуты, герб, корпоративный герб, книга, награда, знаки отличия, медаль, Императорский Московский университет, Горный кадетский корпус, Сухопутный шляхетный кадетский корпус.

Larisa Petina. Emblematics of the “award” super ex-libris in the context of the system of educational institutions in Russia (XVIII century)

The article deals with the armorial super ex-libris of the Imperial Moscow University, the Mining Cadet Corps and the Land Gentry Cadet Corps on books given as awards. Analysis of the semantic meanings of armorial emblems in different areas of application allows to understand their semantic nature and, in addition, to find verbal correspondences to emblematic images. The nature of the use of the armorial super ex-libris is established in the context of awards and award marks of insignia, as well as in connection with the award function of the book, under the influence of which the special medal design of award copies is formed.

Keywords: armorial super ex-libris, emblem, symbolic attributes, coat of arms, corporate coat of arms, book, award, insignia, medal, Imperial Moscow University, Mining Cadet Corps, Land Gentry Cadet Corps.

В учебных и воспитательных заведениях императорской России уже со второй половины XVIII в. книга широко применялась в качестве поощрения, а также памятного знака. Для наградных экземпляров заказывались особые переплеты, в оформлении которых использовались гербовые орлы с эмблемами

учреждений. Гербовые изображения учреждений, или так называемые корпоративные гербы, размещались обычно на передней крышке переплета по центру, т. е. на позиции суперэкслибриса, однако знаком книговладения не являлись. Их принято обозначать все тем же термином «суперэкслибрис» в значении, указывающим исключительно местоположение на поверхности переплета, и рассматривать отдельно от книжных владельческих знаков.

Статус книги как наградного знака отличия, свидетельствовавшего об успехах в учебе, был официально закреплен в 1786 г. в «Уставе народным училищам». В пояснении к разделу «Ободрения ученикам» было записано: «Прилежные ученики провозглашаются и получают в награждение книги» [Устав 1786: 35]. В Уставе была прописана и торжественная церемония «провозглашения», а также внешний вид и примерные надписи на знаковых подарках:

...раздают каждому из сих отличившихся по учебной книге в хорошем переплете за собственноручным подписанием Директора Народных училищ, что она такому то именно подарена за оказанные успехи, прилежание и благонаравие... [Там же] (курсив оригинала. — Л. П.).

Сохранились наградные книги с гербовыми суперэкслибрисами Императорского Московского университета, Горного Кадетского корпуса и Сухопутного шляхетного кадетского корпуса. Среди корпоративных гербов следует рассматривать также суперэкслибрисы Главного инженерного училища и Ярославского Демидовского высших наук училища. Однако книги с гербами названных училищ можно отнести к наградным лишь предположительно из-за крайне скудных сведений о сохранившихся экземплярах¹.

1.

В качестве главной награды для студентов и «благородных учеников» Московского университета уже в 1756 г. были учреждены золотые и серебряные медали [Шевырев: 14; Букатина-Дараган: 244–249, 259], другим престижным знаком отличия стала книга. Так, известный дипломат Яков Иванович Бугаков (1743–1809) в годы своего обучения в университете «ежегодно

¹ Гербовый суперэкслибрис Главного инженерного училища воспроизведен в каталоге книжных знаков Смоленской областной универсальной библиотеки [Донская, Михалик: 42–43, № 16], а также в базе данных книжных памятников Национальной библиотеки Республики Карелия [Книжные памятники]. Экземпляр с аналогичным суперэкслибрисом выявлен также в Национальной библиотеке Эстонии (RR). См.: [Recueil]. Герб Демидовского училища известен по рисунку штампа, воспроизведенному в монографии П. А. Дружинина [Дружинин: 103 (ил. XXV)].

награждался то книгой, то медалью» [Букатина-Дараган: 247]. Украшать наградные книги гербом Императорского Московского университета начали, по-видимому, вскоре после его основания. Обычай этот, как отмечают авторы первой публикации суперэкслибриса, сохранялся до первой четверти XIX в. [Кашутина, Сапрыкина: 37]. В каталогах книжных знаков и редких публикациях на эту тему есть сведения о наградных экземплярах с датами выхода 1758, [1765], 1766². Наградные книги помимо тисненного золотом гербового суперэкслибриса на задней крышке переплета имели пояснительную надпись «За прилежание»³.



Наградной экземпляр книги с гербом Императорского Московского университета
[Ломоносов 1765]

Герб Московского университета заключен в овальную цветочную рамку, в центре которой помещен двуглавый орел с московским гербом на груди, увенчанный тремя императорскими коронами. Орел — гербовый символ

² Для наград отбирались труды российских и западноевропейских ученых. Предпочтение отдавалось изданиям типографии Московского университета, что очевидно диктовалось финансовыми соображениями, однако репертуаром только этой типографии выбор книг не ограничивался. В числе наградных книг Московского университета известны: 1. популярное сочинение по классической литературе немецкого филолога и богослова Иоганна Августа Эрнести (1707–1781) “*Initia doctrinae solidioris*” (Lipsiae: Wandler, 1758) [«Орлы и львы»: 35]; 2. «Сокращенная география» ([М.]: Печ. при Имп. Моск. ун-те, 1766) немецкого ученого Антона Фридриха Бюшинга (1724–1793), содержащая в том числе три главы «о географии вообще, о Европе и о Российской Империи» в переводе Ивана Долинского [Ушакова: 92]; 3. Второй том второго издания «Собрания разных сочинений в стихах и в прозе» М. В. Ломоносова ([М.]: Печ. при Имп. Моск. ун-те, [1765]) с датой на тит. л.: 1759 [Лившиц: 240; Ломоносов 1765]. Еще один наградной экземпляр этого же тома с Риторикой Ломоносова был вручен будущему первому директору Императорского Царскосельского лицея В. Ф. Малиновскому [Долгова: 24].

³ Латунный штамп-матрица суперэкслибриса с гербом Императорского Московского университета хранится в Москве в Государственном Историческом музее, воспроизведен в монографии П. А. Дружинина [Дружинин: 71 (ил. XII), 84].

государства и знак монаршего благоволения, подтверждающий официальный государственный статус учреждения. В арматуре герба изображены широко известные символические атрибуты наук и искусств: кадуцей, лира, посох Асклепия, глобус земли, циркуль в комбинации с угольником. В данном случае вся эта гербовая атрибутика является визуализацией понятия «университет», смысл которого профессор элоквенции Антон Алексеевич Барсов (1730–1791) раскрыл в своей речи на открытие Императорского Московского университета 26 апреля 1755 г. следующим образом:

...самое слово Университет <...> не иное что есть, как место определенное и посвященное наукам и учению: так что назвавши Университет его именем, в мысли и понятии представлять должно все собрание потребных в жизни человеческой наук, весь круг просвещающего разум учения [Барсов: 8].

Символические атрибуты «потребных в жизни человеческой наук» имеют обобщающий смысл и отмечают прежде всего области знаний, связанные с социально-гуманитарными, механико-математическими и естественными науками. При желании за условными обозначениями наук можно рассмотреть и более конкретные значения, например, перечень предметов, введенных в программу университетского обучения первоначально на трех факультетах: философском, юридическом и медицинском. Так, кадуцей, атрибут Меркурия, символ купцов и торговли, а также древнейшая эмблема мирного решения споров, указывает на *юриспруденцию* и *политику*; лира как эмблема поэзии и, шире, гуманитарной образованности обозначает *красноречие* и *историю*; посох Асклепия отсылает к медицине и вводит в смысловую парадигму *анатомию* и *химию*; глобус земли (эмблема наук, связанных с природой) рядом с циркулем и угольником (в данном контексте это знаковые изображения математических наук), — в совокупности представляют научные дисциплины, изучение которых велось в рамках предмета *натуральной истории* [Шевырев: 13].

Особое смысловое значение имеет эмблема, помещенная в центре, на переднем плане и составленная из трех расположенных по вертикали символических предметов: восьмилучевого круга, лежащего на раскрытой книге, из-под которой частично выступает транспортир. Круг с пересекающимися в центре восьмью лучами — один из древнейших образов мироздания, «символизирует периоды циклических проявлений материального мира» [Купер: 141]; раскрытая и сдвинутая по диагонали книга с условным обозначением шрифта (текста) является прямым изображением Священного писания и

его эмблемой [Похлебкин: 189]; транспортир, предмет из арсенала древнейших инструментов ученого, в данном случае символизирует науку как способ познания мира.

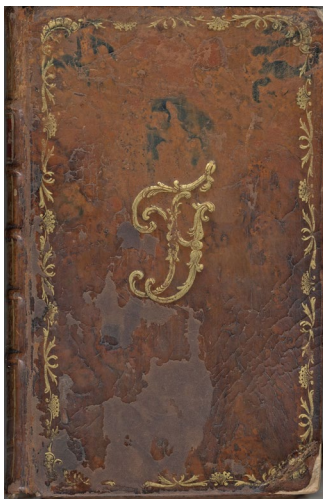
Идею эмблематической триады можно сформулировать по-разному: 1. Мир, данный человеку (Натура) — есть Божественное Откровение, понять которое помогает наука. 2. Божественный мир открывается человеку в книгах Священного писания и в устройстве мира видимого, которое постигается трудом ученых.

Нельзя не отметить, что оба варианта прочтения согласуются с представлениями и образными высказываниями Ломоносова: 1. о мире как Божественном Откровении, явленном через Природу («... натура есть некоторое Евангелие, благовествующее неумолчно творческую силу, премудрость и величество. Не токмо небеса, но и недра земные поведуют славу Божию» [Ломоносов 1954: 617]) и 2. двух книгах, данных Создателем роду человеческому, — Природе и Библии. Первая книга — это «видимый сей мир, им созданный», изучать законы которого призваны «физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных, в натуру влияющих действий». Вторая книга — Священное писание, толкователями которой являются святые отцы Церкви, «великие церковные учителя» [Ломоносов 1955б: 375]. Рассуждения Ломоносова о двух книгах наилучшим образом передают смысл эмблемы и могут рассматриваться в качестве ее развернутого толкования. Однако наиболее адекватной вербальной формой для передачи образно-концептуального смысла эмблемы является девиз, а также подобные ему сентенциозные фразы, в которых образное высказывание «свернуто» в лаконичную форму. В качестве девиза гербовой эмблемы Московского университета можно было бы предложить пояснительную надпись, сочиненную Ломоносовым к проекту аллегорической композиции титульного листа задуманного им философского труда о «системе всей физики», где символически представленные науки прославляют гармонию Природы утверждением: «Все согласуется (Congruunt universa)» [Ломоносов 1952: 494–495, 591].

У нас нет прямых указаний на то, что Ломоносов был автором либо участвовал в разработке эмблематической композиции университетского герба, однако его проекты иллюминаций [Павлова] и медалей [Щукина: 40], а также опыты в книжном оформлении [Копанев] дают некоторые основания так думать. Однако более вероятным автором гербовой эмблемы является упоминавшийся выше профессор элоквенции Антон Барсов, ученик и последователь Ломоносова, филолог, математик и философ, знавший и, видимо, разделявший идеи своего учителя.

2.

В Горном кадетском корпусе практика награждения книгами прослеживается с 80-х гг. XVIII в., т. е. еще со времен Горного училища. В 1785 г. воспитаннику училища Петру Чернышеву (1765–?), впоследствии успешному горному инженеру Олонецких заводов, «за прилежание» был вручен капитальный труд по минералогии доктора философии и медицины Шведской королевской академии в Упсале Иогана Готшалька Валлериуса⁴ (1709–1785). На передней крышке наградного экземпляра помещен тисненый золотом буквенный суперэклибрис (ГУ), выполненный в каллиграфической манере, на задней — надпись о заслугах по образцу наградных книг Московского университета⁵.



Наградной экземпляр книги с буквенным суперэклибрисом Горного училища [Валлериус]

- ⁴ Труд И. Г. Валлериуса, переведенный на русский язык неизвестным российской Берг-коллегии президентом Иваном Шлаттером, числился в списке основных учебных пособий, приобретенных в 1774 г. И. И. Хемницером для Горного училища [Гольденберг: 63, 118]. Экземпляр книги, принадлежавший П. Чернышеву, хранится в Национальной библиотеке Эстонии. См.: [Валлериус].
- ⁵ Судя по записям на передних форзацах, данный экземпляр сменил нескольких владельцев. Записи тщательно зачеркнуты и читаются фрагментарно. «Минералогия» И. Г. Валлериуса была вручена Петру Чернышеву «1785 года января 7 дня», а уже через год «1786 года мая <нрзб.> дня Петром Чернышевым подарена Платону Озерецковскому». Оба владельца были выпускниками Санкт-Петербургского Горного училища. Петр Петрович Чернышев окончил училище в 1786 г., выпущен в службу подпоручиком в Горную экспедицию при Олонецкой казенной палате [Заблоцкий]. Платон Озерецковский завершил обучение годом позже, в 1787 г. в чине шихтмейстера XIII класса (младший горный офицер, в военной табели о рангах равный чину подпоручика) [Список лиц: 747]. Позднее книга оказалась у А. Г. Бобринского в библиотеке его Оберпаленского замка и вместе с другими книгами этого собрания была приобретена Национальной библиотекой Эстонии [Петина: 20].

Вполне возможно, что идея буквенного изображения училища была подсказана формуляром Горного устава 1774 г., текст и оформление которого разрабатывал лично его первый директор Михаил Федорович Соймонов (1730–1804). Заглавный лист рукописи украшала аллегорическая композиция, прославляющая основательницу Горного училища, замыкал текст эмблематический знак учреждения: обелиск, окруженный инструментами «с насеченными в медалионе словами: “Г. У.” и с надписью под ними: “в пользу отечества”»⁶ [Гольденберг: 61, 64].

Аллегория заглавного листа была представлена в образе юноши («питомца» училища), лежащего в окружении математических, горных и заводских инструментов и освещенного сиянием лучей, исходящих от вензелевого имени Екатерины II. Смысл изображения пояснял девиз на ленте в руках парящего Меркурия: «Сия и вас просвещает»⁷ [Там же: 61]. Нельзя не отметить, что сочиненный М. Ф. Соймоновым аллегорический сюжет вместе с девизом был использован на лицевой стороне первой наградной медали, учрежденной для воспитанников Горного училища «по экзамене 1775 г. июня. 28. д.» [Собрание: 47, № 173 (Табл. XXXIV)]⁸. Медаль чеканилась по случаю годовщины официального открытия училища, отметить юбилейную дату предполагалось публичным экзаменом и награждением лучших учеников. Раздача первых медалей состоялась однако двумя годами позже, «по экзамене 1777 года, июля 29 дня», который, по свидетельству историка корпуса, «произведен с большим торжеством, и был, кажется, в сем отношении первым и последним, до 1805 года» [Соколов: 19].

⁶ С одобрения Берг-коллегии формуляр устава поручено было переписать «хорошим письмом» канцеляристу А. Терскому, рисунки, девизы и рамки оформлял берггешворен И. Богданов. В 1781 г. Устав, «писанный на александрийской бумаге, переплетенный под золотым обрезаем и оклеен зеленой тафтой, подписанный как его превосходительством, так и прочими Берг-коллегии членами», значился в реестре имущества Горного училища среди наиболее ценных предметов [Гольденберг: 64, 71–72].

⁷ Историки корпуса отмечают ошибку в передаче девиза, должно быть: «Сия и вас просвещает» [Соколов: 20; Гольденберг: 61].

⁸ Медальное изображение аллегории имеет ряд отличий: юный воспитанник, которому парящий Меркурий указывает на вензель, запечатлен стоя, а девиз располагается по окружности над вензелем императрицы. Дата основания училища, выбитая на лицевой стороне в обресе («основано июн. 28. д. 1774. г.»), установлена не по указу об учреждении Горного училища от 21 октября 1773 г., подписанному Екатериной II, а по времени зачисления в училище первых студентов. Дата первого экзамена показана на оборотной стороне медали, там же помещен еще один аллегорический сюжет на тему «обучение отрока премудростям рудного дела»: женская фигура в античном одеянии ведет юношу к шахте, из которой горнорабочий выносит руду. Сверху по окружности надпись: ДОСТОЙНОМУ, внизу — инициал медальера Иоганна Георга Вехтера: W [Собрание: 47, № 173 (Табл. XXXIV)]. См.: Список монограмм медальеров [Шукина: 253].

Начиная с 1805 г. в Горном кадетском корпусе публичные экзамены проводились ежегодно и всегда торжественно. По окончании экзаменов стало правилом поощрять воспитанников «за успехи в науках и добрую притом нравственность, сверх книг и других вещей, как было прежде, также золотыми и серебряными медалями» [Соколов: 29]. Раздача медалей и других наград отличившимся ученикам проходила «при звуке труб и литавров» [Там же: 94].

Медали Горного кадетского корпуса, сделанные по образцу первых медалей Горного училища, вручались старшим ученикам. Ученики нижних (кадетских) классов за добрый нрав и прилежную учебу чаще всего получали книги. Специально для наградных целей в библиотеке корпуса из учебных пособий и других сочинений, накопившихся от приобретенных в разные времена частных собраний, был создан дублетный фонд. К 1830 г. в нем насчитывалось 2823 экземпляра [Там же: 104].

Переднюю крышку наградных экземпляров украшали тисненые золотом надпись «за прилежание и благонравие» и гербовый суперэкслибрис.



Наградной экземпляр книги с гербовым суперэкслибрисом Горного кадетского корпуса [Karamzin]

Для оттиска использовался круглый штамп-матрица гербовой печати Горного кадетского корпуса с сопроводительным текстом в три строки: ПЕЧАТЬ ГОРНАГО / КАДЕТСКАГО / КОРПУСА. Двуглавый орел на печати/суперэкслибрисе изображен в стиле ампир с вытянутыми по горизонтали и опущенными крыльями, под одной императорской короной и с заостренной книзу формой щита на груди. В лапах орла символические атрибуты горного дела: расположенные крестообразно молот и кирка. Из характерных ампирных украшений в правой лапе орла оставлен только пучок молний.

Так называемый «ампирный» орел появился в российской государственной эмблематике в первое десятилетие царствования Александра I [Хорошкевич: 45–46]. В середине 1820-х гг. данный тип изображения державной птицы начал широко использоваться на монетах, печатях, предметах военной амуниции и пуговицах [Низовский: 9]. Тогда же ампирный вид получил гербовый суперэклибрис на книгах Академической библиотеки в Санкт-Петербурге [Дунаева: 19]. Вероятнее всего в середине 20-х гг. XIX в. был изготовлен и гербовый штамп Горного кадетского корпуса с «ампирным» орлом и «горной арматурой». Логично предположить, что штамп вышел из употребления в 1833 г. после преобразования и переименования Горного кадетского корпуса в Горный институт, который уже через год был заново переименован в Институт Корпуса горных инженеров. Таким образом, использование печати/суперэклибриса ограничивалось сравнительно небольшим периодом, охватившим промежуток между 1824/1825 и 1833 г.⁹ Отметим, что хронологические границы этого периода совпадают со временем управления генерал-лейтенанта Егора Васильевича Карнеева (с 1824 по 1834 г.), с именем которого связана одна из самых блистательных страниц в истории корпуса [РБС: 531–532; Левенсон: 8].

В гербе Горного кадетского корпуса визуальнo представлен и государственный статус учреждения (двуглавый орел), и его учебный профиль (эмблема горного дела), общий смысл гербовой эмблемы однозначно читается как «государево горное дело». Именно в этом значении эмблематический знак используется на казенной печати. Будучи помещен на переплеты наградных книг, он получает дополнительную смысловую нагрузку, становится наградным знаком отличия, наделяя тем же «наградным» качеством и гербовый суперэклибрис. В середине 60-х гг. XIX в. изображение гербовой эмблемы официально утверждается в качестве отличительного знака выпускников Института Корпуса горных инженеров и принимает вид так называемого нагрудного «академического» значка¹⁰. Результатом такого

⁹ Известный историк литературы и мемуарист Павел Васильевич Анненков (1813–1887) в бытность свою воспитанником Горного кадетского корпуса «за отличное прилежание, успехи и благонравие» награждался книгами с гербовым суперэклибрисом в 1825, 1826 и 1827 гг. В надписях, собственноручно подписанных управляющим (директором) корпуса Егором Васильевичем Карнеевым (1773–1849), отмечены учебные предметы, в которых преуспел ученик, а также даты вручения книг [Долгова: 24; Ивашкина: 23–25]. В 1826 г., например, П. В. Анненков получил французское издание первого тома «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (Paris, 1819. Т. 1) [Ивашкина: 23; Karamzin].

¹⁰ Ср. описание знака об окончании Института Корпуса горных инженеров: «Серебряный академический знак, к которому добавлены в нижней части, под хвостом орла серебряные скрещенные молот — слева и кирка — справа» (утв. 20.06.1866) [Патрикеев, Бойнович: 19].

разнопланового и разноформатного использования гербового знака является появление новых смысловых оттенков, которые только усиливают его главную, номинативную функцию, помогая безошибочно соотносить условное изображение учреждения с его названием¹¹.

С 30-х гг. XIX в. эмблема с «накрест положенными молотом и киркой» становится знаком Горного департамента. «Горная арматура» находит применение в официальной символике ведомства на пуговицах форменных мундиров горных инженеров, а также офицеров, чиновников и учащихся офицерских классов Горного института [Низовский: 70–71]). В качестве графического знака отрасли фигурирует и в оформлении обложек ведомственного «Горного журнала»¹².

3.

В Сухопутном шляхетном кадетском корпусе традиция «загербованных» книжных наград берет начало, по-видимому, с середины 60-х гг. XVIII в., т. е. со времен генерал-директорства Ивана Ивановича Бецкого (с 1765 по 1773 г.). Книги вручались регулярно в течение достаточно продолжительного времени. Судя по датам на известных нам переплетах, обычай этот продержался до 30-х гг. XIX в.¹³

Об одном из таких награждений вспоминал в своих записках Сергей Николаевич Глинка (1776–1847). Описывая годы, проведенные в стенах корпуса, автор иронизировал по поводу любовного романа, который он получил в десятилетнем возрасте и который заставил его юное сердце испытать нешуточные волнения. Упоминание о возрасте позволяет датировать вручение подарка 1785 г.:

Совпадение значений гербовых эмблем на наградных книгах и нагрудных отличительных знаков позволяет устанавливать между ними типологические связи.

¹¹ О смысловых трансформациях знаковых систем культуры см. в книге Ю. М. Лотмана «Культура и взрыв» [Лотман 1992].

¹² На обложках «Горного журнала» эмблема появляется во 2-й половине XIX в. См., к примеру, обложки за 1855 (№ 4), 1859 (№ 10, 12), 1860 (№ 8), 1873 (№ 1), 1874 (№ 1/2), 1875 (№ 1, щит с гномами и «горной арматурой»).

¹³ См., к примеру, наградной экземпляр книги «La salle de récréation, ...» (СПб., 1791), составленный директором корпуса графом Ф. Е. Ангальтом из Библиотеки Российской Академии наук с гербовым суперэклибрисом Сухопутного кадетского корпуса и датой 1828 [СК I: № 2436 (БАН Инв. № 2295)]. См. также экземпляр сокращенного словаря басен Давида-Этьена Шюффена (1703–1773) «Dictionnaire abrégé de la fable ou de la mythologie, ...» ([S. l.], 1777) с аналогичным суперэклибрисом и датой вручения 1830 из собрания Национальной библиотеки Эстонии. См.: [Choffin].

Перевод Клевеланда печатан был в корпусной типографии. Вероятно переводчик не сполна заплатил, отчего и удержаны были несколько экземпляров. Куда же их деть? Включить в список подарков и для блеска натиснуть золотые орлы на переплетах; а потом при торжественной выкличке, сопровождаемой звуками труб, подарить роман Сергею Глинке за прилежание и благонравие¹⁴ [Глинка: 53].

Ирония по поводу романа аббата Прево была вызвана еще и тем, что книга, на страницах которой бушевали «исступленные страсти», была присуждена Сергею Глинке Советом корпуса «за отличие в катехизисе» [Там же: 52].

Гербовый суперэклибрис Сухопутного кадетского корпуса с «золотыми орлами на переплете» отличался богатым эмблематическим содержанием или, пользуясь выражением Ю. М. Лотмана, «высокой степенью семиотической насыщенности» [Лотман 1992: 81]¹⁵. На груди орла вместо московского герба помещен корпусный герб, который «изображает Меркуриев жезл и шпагу, наложенные один на другую крестообразно» [Висковатов: 98]. В правой лапе орел держит символические эмблемы воинской доблести и славы: знамена и шпагу, повернутую острием вверх, в левой — атрибуты военно-инженерных наук: циркуль, линейку и прибор, напоминающий секстант¹⁶. Гербы в военно-учебных заведениях устанавливались по примеру полковых знаков отличия и украшали официальные символы учреждения: знамена, штандарты, мундиры. Зная это, можно понять и происхождение гербовой эмблемы наградных книг.

Впервые герб корпуса появился на знаменах, пожалованных Анной Иоанновной в 1732 и 1733 гг. Три знамени получили фузилерные роты (одно белое и два желтых), в конную роту был дан серебряный глазетовый штандарт. По углам полотнищ в красных флагах (наугольниках) располагались вензеля

¹⁴ Речь идет о 9-ти томном сочинении Антуана-Франсуа Прево д'Экзиля (1697–1763) «Философ аглинской, или Житие Клевеланда, побочного сына Кромвеллева, самим им писанное и с аглинского на французской а с французского на российской язык переведенное» ([СПб.]: печ. в Сухопутн. Шляхетн. кадет. корпусе, 1760–[ок. 1785]. 9 т.). С. Н. Глинка упоминает «корпусную типографию», а также год издания наградной книги (1762), что указывает на 2-й том сочинения аббата Прево [Глинка: 52]. Переводчиком романа С. Н. Глинка ошибочно называет Харламова. Первые два тома в этом издании были переведены С. А. Порошиным [СК II: № 5622]. Имя Евсигнея Саввича Харламова (1734–1785) как переводчика романов попало на страницы мемуаров не случайно. Он перевел целый ряд романов с французского, которые в 1760-х гг. за свой свет печатал в типографии Сухопутного кадетского корпуса.

¹⁵ Гербовый суперэклибрис впервые был опубликован в 1902 г. в первом печатном каталоге русских книжных знаков [Верещагин: рис. 14].

¹⁶ Угломерный измерительный прибор, использовался в астрономии и мореходстве, известен в разных модификациях под названием октант, квадрант и секстант (секстан). В русской традиции его называли по имени английского изобретателя «Гадлеевым квадрантом» [Лупанова: 35–39].

императрицы, посередине — черный двуглавый орел, увенчанный тремя императорскими коронами с корпусным гербом на груди (перекрещенные кадуцей и шпага)¹⁷ и надписью над коронами: «От обоих истинное шляхетство». Под орлом воинская арматура (композиция из знамен, пушки, трубы, барабана и проч.), а также учебные приборы [Висковатов: 15; Знамена; Крылов: 106; Первый: 170]. В описании знамени образца 1732 г. из собрания Государственного Эрмитажа, приводится латинская надпись, сохранившаяся фрагментарно на обороте желтого полотнища: “... *oque ... bilitas*” [Первый: 170]. Целиком надпись выглядит следующим образом: *utroque vera nobilitas* и в переводе на русский язык повторяет приведенный выше знаменный девиз¹⁸. Во времена Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны заменялись лишь вензеля царствующих особ, эмблема со скрещенными жезлом и шпагой оставалась на знамени и в период царствования Павла Петровича.

Изобразительным вариантом знаменного (знамённого) герба является гербовая эмблема, украшавшая медную бляху гренадерских шапок Кадетского корпуса с 1732 по 1762 г. «В центре композиции находился герб Российской империи — двуглавый орел, увенчанный тремя императорскими коронами; в левой лапе орел держал шпагу или меч, в правой — раскрытую книгу» [Татарников, Юркевич: 25]. (Отметим в скобках, что книга в гербовой эмблеме гренадерских шапок изображалась вертикально, выступая традиционным знаком просвещения [Там же: 23 (ил.)]). Слева от герба располагалась воинская арматура, справа — атрибуты учености (книги, линейки, циркули, квадрант и проч.). В композицию были включены также вензелевые имена императриц (Анны Иоанновны, позднее Елизаветы Петровны) и разъясняющий эмблему латинский девиз: “*marte et arte*” (силой и искусством), который занимал нижний край налобника¹⁹ [Там же].

¹⁷ Эскиз эмблемы разрабатывался в Департаменте Герольдии по запросу Военной коллегии в 1732 г. [Первый: 41]. В изображениях гербовой эмблемы вместо шпаги встречается также рыцарский меч. Существует разница в символике и смысловых нюансах меча и шпаги, однако следует признать и наличие общих смысловых значений (воинская доблесть и сила, военное поприще и др.), которые допускают и объясняют эту взаимозаменяемость. См. описание герба с мечом на корпусном знамени образца 1785 г. [Крылов: 106]. Меч фигурирует и в эмблеме, украшавшей фронтон здания Кадетского корпуса [Первый: 41]. Ср. также описание корпусного герба в монографии Н. Н. Мельницкого: «венки из лавра и пальмы, а внутри его Меркуриев жезл и рыцарский меч, положенные один на другой крестообразно» [Мельницкий: 71].

¹⁸ Целиком латинская фраза “*Utroque vera nobilitas*” помещена на наградной медали конца XVIII в., опубликованной в «Собрании русских медалей». См.: [Собрание: 60, № 242 (Tabl. XLV)]. Подробнее об этой медали речь пойдет ниже.

¹⁹ Популярный рыцарский девиз встречается в разных вариантах в альбомных записях XVII в. Ср., к примеру, памятный автограф полковника Александра Лесли (“*Arte ac Marte*”), оставленный им в 1632 г. в альбоме Ганса Арпенбека [Петина 2014: 64]. В альбоме Эрнста Бринка девиз

Нетрудно заметить, что на эмблеме гренадерских шапок в новых сочетаниях представлен весь набор основных изобразительных символов корпусного знамени. Однако вместо эмблематической пары «шпага и кадуцей» в гербе гренадерской шапки использовался ее графический синоним — «меч и книга». Такая замена позволяла усилить смысловое значение шпаги как воинской силы, а кадуцей как символического атрибута образованности. Именно эти значения зафиксированы и в гербовом девизе, который, по сути, является точным переводом эмблемы с графического языка на словесный — «силой и искусством», что напрямую согласуется с наблюдением Ю. М. Лотмана о смысловой связи, создающей между эмблемой и девизом отношения взаимной переводимости [Лотман 1997: 417].

Очевидно, что гербовый суперэкслибрис с эмблемой корпуса и соответствующей арматурой также является отсылкой к корпусному знамени. Эмблематическая пара на груди орла говорит о двойном назначении учебного заведения, призванного готовить «младое шляхетство» к государственной службе как военной (шпага), так и гражданской (кадуцей). Меркуриев жезл, совмещая такие понятия как юриспруденция, политика, дипломатия и торговля, указывает на статскую службу. Шпага, введенная в эмблему, является не только знаком воинской чести, но и символом дворянского сословия, что отмечено и в названии корпуса.

Арматура гербового суперэкслибриса представлена в несколько упрощенном виде, отчасти это объясняется небольшим форматом книжного блока и особенностями тиснения на коже многопредметных композиций. Арматура лаконично поясняет смысл основной эмблемы, изображая «наглядно» как воинскую службу, так и «воинскому искусству потребные науки». В указе об учреждении корпуса кадетов, подписанном Анной Иоанновной 29 июля 1731 г., к таковым, в частности, причислялись: арифметика, геометрия, рисование, фортификация, артиллерия, «шпажное действо» и верховая езда. Там же отмечалась необходимость политического и гражданского обучения, для чего назначено было иметь в корпусе «учителей чужестранных языков, истории, географии, юриспруденции, танцевания, музыки и прочих полезных наук»²⁰ (цит. по [Висковатов: 109–110]).

“Arte et Marte” сопровождается рисунком, изображающим господина, одна половина которого представлена в образе солдата, другая — в образе ученого, запись датирована 1607 г. См.: [Ernst Brinck].

²⁰ Соответствие эмблемы, раскрывающей назначение Кадетского корпуса как учебного заведения, тексту указа Анны Иоанновны, отмечено Е. И. Игнатевой в аннотации к фрагменту корпусного герба, бывшему на фронте дворца А. Д. Меншикова [Первый: 41].

В эмблематике герба кроме образовательных установок привилегированного учебного заведения прочитывается также идея государственной службы как основного предназначения «благородного юношества». Мысль о том, что на любом поприще служба государю и Отечеству достойна «истинного шляхетства» закреплена вербально в гербовом девизе на знамени корпуса: «От обоих истинное шляхетство».

При Анне Иоанновне основные символы гербовой эмблемы появились на мундирах как отличительный знак форменной одежды конных кадет. Для верховой езды поверх обыкновенного мундира кадетам так называемой рейтарской роты полагались суконные супервесты (безрукавки со шнуровкой на боку) с черными двуглавыми орлами, которые нашивались на спине и на груди. «Орел держал в одной лапе шпагу, а в другой Меркуриев жезл, пожалованные в герб корпуса императрицей Анной Иоанновной» [Крылов: 63].

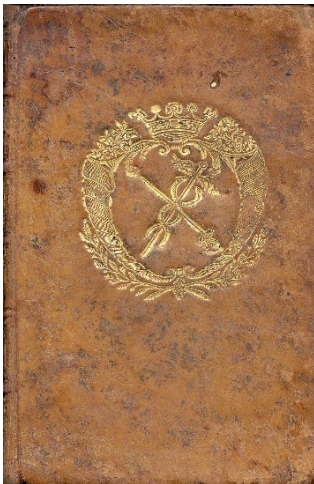
Во времена Елизаветы Петровны эмблему знаменного герба стали использовать как герб учреждения. Впервые крестообразно положенные меч и кадуцей под рыцарским шлемом были установлены на фронтоне здания осенью 1745 г. в ходе перестройки Меншиковского дворца [Трубинов: 62; Первый: 41]. Графический знак представлял учреждение сразу в нескольких визуально-смысловых планах: крупным планом было показано назначение учебного заведения и его дворянский статус, на общем плане просматривалась идея о подлинном призвании дворянского сословия — служить государю и Отечеству «силой и умением».

В царствование Екатерины Алексеевны Сухопутный шляхетный кадетский корпус поступил в собственное ведение императрицы и получил статус «Императорского». Преобразования в структуре и управлении корпусом, начатые его главным директором И. И. Бецким, ставили своей целью обеспечить и поддерживать это высокое звание. «Твердые правила, по которым назначено было принимать, воспитывать и обучать юношество благородное» генерал-директор сформулировал в новом Уставе и подробно обосновал в «Разсуждениях, служащих к новому установлению Шляхетнаго кадетскаго корпуса ...» [Устав 1766; Разсуждения]. Важным средством воспитания автор реформы считал поощрение кадет, о чем свидетельствует детально, с учетом возрастных групп, разработанная система наград и разнообразных знаков отличия, а также особый порядок их вручения²¹.

²¹ По Уставу 1766 г. кадеты разделялись на пять возрастов: первый от 5 до 9 лет; второй от 9 до 12; третий от 12 до 15; четвертый от 15 до 18; пятый от 18 до 21 года [Висковатов: 39; Мельницкий: 67].

На одном из таких отличительных знаков было размещено изображение гербовой эмблемы со шпагой и кадуцеем. Знак вручался кадетам, получившим за успехи на экзаменах медали: в 5-м возрасте золотые, в 4-м — серебряные. Медальный знак «из лаврового венка и внутри онаго Корпуснаго герба» имел вид золотых и серебряных нашивок разной величины (соответственно достоинству и размерам медалей), которые предписывалось носить «в бытность в Корпусе на кафтанах» [Устав 1766: 20; Висковатов: 41]. Медальные и другие наградные знаки отличия («разноцветные банты и звезды», по выражению С. Н. Глинки) были в употреблении с 1767 по 1796 г., их внешний вид известен по литографированному изображению 1850 г. [Первый: 76].

Еще одним знаковым обозначением награды стали тисненные золотом гербовые суперэкслибрисы, украшавшие, как правило, коричневые цельнокожаные переплеты. Следует различать два основных вида: малый — с корпусным гербом «в венке из лавра и пальмы» (он встречается под дворянской короной и без нее) и большой — с российским двуглавым орлом и корпусным гербом на груди. Один из экземпляров с малым гербовым суперэкслибрисом под дворянской короной и в нарядной рамке из перевитых лент принадлежал Алексею Григорьевичу Бобринскому (1762–1813) и был вручен ему, скорее всего, по выходе из корпуса в 1782 г. вместе с малой золотой медалью²².



Наградной экземпляр книги с малым гербом Сухопутного шляхетного кадетского корпуса [Lomonossov]

²² А. Г. Бобринский был награжден французским изданием «Древней Российской истории» М. В. Ломоносова. Экземпляр с гербовым суперэкслибрисом и буквенным штампом: Ex Lib. Alex. Bobr* находится в Национальной библиотеке Эстонии. См.: [Lomonossov]. Малая золотая медаль А. Г. Бобринского хранится в Государственном Эрмитаже, воспроизведена в каталоге юбилейной выставки, посвященной Первому Кадетскому корпусу [Первый: 46].

Вполне вероятно, что имелись смысловые различия в наградных значениях большого и малого гербовых знаков, но какие именно пока неясно. Можно говорить лишь о том, что малый гербовый суперэклибрис хронологически предшествовал большому. Кроме того, с появлением на передней крышке золотого державного орла с арматурой гербовая эмблема «в венке из пальмы и лавра» перемещалась на заднюю крышку переплета, где в качестве знака отличия выполняла функцию надписи о заслугах.



Наградной экземпляр книги с большим и малым гербом
Сухопутного шляхетного кадетского корпуса [Choffin]

Типовые надписи на переплетах наградных книг («за прилежание», «за прилежание и благонравие», «за благонравие и успехи» и др.) напрямую соотносятся с надписями целого ряда наградных медалей: «за службу и храбрость» (1772), «за службу» (1787), «за верность» (1789) и т. п. [Дуров, Можейко: 118, 119, 121]. В качестве ближайшего прототипа можно рассматривать специальную наградную медаль, введенную по инициативе И. И. Бецкого в 1764 г. для кадетских корпусов и предназначавшуюся для ношения на кадетском форменном мундире. Медаль, как утверждают специалисты по фалеристике, существовала только при Екатерине II. На аверсе в овале был изображен вензель императрицы под императорской короной, на реверсе располагалась надпись: «За прилежность и хорошее поведение» [Кузнецов, Чепурнов: 68; Рихтер].

В оформлении наградных книг следует отметить еще одну отсылку к медалям. Речь идет о двухсторонней форме книги, которая позволяла размещать

гербовые изображения и наградные надписи соответственно на лицевой (аверсе) и оборотной (реверсе) сторонах переплетных крышек. Именно такой медальный вид получили наградные экземпляры с гербами и надписями Императорского Московского университета и Сухопутного кадетского корпуса.

По образцу медалей на переплетах наградных экземпляров указывались не только даты вручения, о чем уже шла речь выше, но и имена награжденных. Именные книжные награды имели хождение, по-видимому, только в Сухопутном кадетском корпусе²³.

Особое, в нашем случае медальное, оформление книг, а также подчеркнутая торжественность, с которой проходило их вручение, свидетельствуют о достаточно высоком месте, отведенном книге в иерархии наград, учрежденных для «ободрения» учащихся.

Для понимания наградного статуса книги необходимо иметь общее описание этой наградной иерархии. Причем среди ее обязательных элементов следует рассматривать не только сами награды, но и церемониал, сопровождавший их вручение и получавший реализацию в публичных награждениях. Порядок проведения публичных награждений регламентировался уставами учебных заведений и должен был осуществляться «с приличною важною» [Устав 1766: 20]. Правила эти неукоснительно соблюдались, что подтверждают описания наградных церемоний, проходивших в кадетских корпусах во второй половине XVIII в.²⁴ Например, о парадной раздаче медалей, состоявшейся 19 августа 1787 г. в Артиллерийском и Инженерном кадетском корпусе, в подробностях сообщалось на страницах «Санктпетербургских Ведомостей». Кадетам, «отличившимся успехами в науках и поведением»

²³ См., к примеру, сочинение Антуана-Анри Жомини (1779–1869) «Разсуждение о великих военных действиях, или Критическое и сравнительное описание походов Фридриха и Наполеона» (СПб.: В типографии Шнора, 1809. 7 ч.), на каждом из томов которого оттиснут большой гербовый суперэкслибрис Кадетского корпуса с именем владельца: АЗАНЧЕВСКИЙ (?) и датой: 1814. Экземпляры книги хранятся в Национальной библиотеке Эстонии (Инв. № R/V 1202–1208). На передней крышке экземпляра из научной библиотеки Саратовского государственного университета под гербом оттиснуто имя владельца и дата: Носковъ 1824 (название книги, к сожалению, не указано). См.: [Книжные знаки]. Аналогичные именные книжные награды имеются также в Библиотеке Российской Академии наук и в Российской национальной библиотеке.

²⁴ Традиция публичных торжеств по случаю вручения наград сохранялась в военно-учебных заведениях императорской России и в течение последующего столетия. Ср., к примеру, наградную раздачу книг, проходившую в Александровском малолетнем Царскосельском кадетском корпусе в 1840-х гг., о которой писал в своих воспоминаниях воспитанник корпуса Владимир Георгиевич фон Бооль (1835–1899): «По окончании годовых занятий лучшим ученикам назначались подарки, состоявшие из книг. <...> Раздача производилась в присутствии многочисленной публики, приглашенной из Петербурга, и каждому мальчику вручались подарки при звуках труб и литавр, игравших туш» (цит. по: [Кадеты: 164]).

наградные медали вручали «сами Их Императорские Высочества <...> при производстве пушечной пальбы, играни на трубах и литаврах»²⁵ (цит. по: [Мельницкий: 103]).

Не менее торжественным было присуждение наград воспитанникам Сухопутного шляхетного кадетского корпуса, состоявшееся 17-го апреля 1775 г. [Описание: 205–211]. Неизвестный автор «на основании современных записок и официальных известий» восстановил церемонию награждения в мельчайших подробностях и временной последовательности:

На торжество съезжались «знатныя обоего пола особы, почетное дворянство и купечество. Посетители, в сопровождение двух швейцаров, входили в залу, у дверей которой, по сторонам, стояли два часовых из кадет пятого возраста, в гренадерской парадной форме». В 4 часа появлялись члены Совета, за ними «при звуках музыки следовали кадеты по возрастам и становились в назначенных местах в стройном порядке» [Там же: 205].

В статье поименно названы награжденные воспитанники старших возрастов, кадеты, выступавшие с приветственными речами, а также важные персоны, вручавшие награды. Для нас особое значение имеет детальное описание самих наград и наградных знаков отличия, розданных на церемонии в том числе и воспитанникам младших возрастов.

Опираясь на этот и другие источники, можно составить достаточно полное представление о бывших в употреблении «знаках отличности», их цветовой дифференциации и, в целом, о наградной системе Сухопутного кадетского корпуса и ее иерархической структуре.

На верхней ступени этой наградной лестницы находились медали для ношения в петлице форменного мундира, а также настольные медали разных степеней (малая, средняя и большая) и достоинств (золотые и серебряные), на нижней — разноцветные ленты, имевшие цветовые степени отличия (желтый, красный и зеленый). Медали предназначались кадетам старших возрастов, шелковые «банты и звезды» раздавались питомцам младших возрастных групп. Книги с оттиснутыми на переплетах «наградными»

²⁵ Впервые раздача медалей Артиллерийского и Инженерного кадетского корпуса «отличнейшим» кадетам состоялась 23-го июня 1785 г. [Мельницкий: 99]. «Медали эти были серебряные, вызолоченные, с изображением на лицевой стороне вензеля Императрицы и с надписью на обороте: "за прилежность и благонравие"; их носили в петлице, на серебряной, вызолоченной цепочке» [Там же; Рихтер]. Устав медалей, изданный в 1784 г. в Санкт-Петербурге отдельной книжкой, определял условия ее получения, а также преимущества, «соединенные с сим знаком отличности» [О преимуществах]. Единственный зарегистрированный в настоящее время экземпляр первого издания Устава хранится в Москве в Государственной публичной исторической библиотеке [СК II: № 4760].

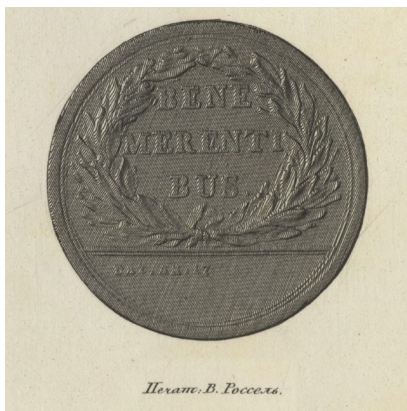
суперэклибрисами находилась, видимо, где-то посередине этого ряда, рядом с математическими и другими инструментами²⁶, и вручались воспитанникам начиная с 3-й возрастной группы [Описание: 207–208].

В дополнение к приведенным выше наградам Сухопутного кадетского корпуса следует назвать еще одну наградную медаль. Она известна по единственной публикации в «Собрании русских медалей», изданных Археографической Комиссией в 1841 г. Составители каталога поместили ее в конце павловского царствования [Собрание: 60, № 242 (Табл. XLV)]. Медаль крайне редкая, судя по всему, была пробной и в тираж не пошла. Кроме того, опубликована с неверной атрибуцией: озаглавлена как медаль, предназначавшаяся «Для награды кадетов Морского Шляхетного Корпуса», однако дана с описанием знаменного герба, арматуры и латинским девизом Сухопутного шляхетного кадетского корпуса²⁷. В медальную композицию был включен также девиз гербовой эмблемы гренадерских шапок. Гравированное изображение, выполненное для издания Николаем Менцовым (1817–1849), в точности соответствует приведенному в каталоге описанию. На оборотной стороне медали выбита надпись, характерная для наградных настольных медалей учебных заведений конца XVIII – начала XIX вв.²⁸ [Там же].

²⁶ Инструменты и разнообразные учебные приборы широко использовались в наградной практике военно-учебных заведений, в частности, в Главном инженерном училище [Максимовский: 58 2-й паг.], в Горном [Соколов: 29] и Морском кадетских корпусах. В 1804 г. 13 лучших по наукам гардемарин Морского кадетского корпуса в качестве высочайшего подарка получили секстаны английской работы [Веселаго: 174]. Среди наградных знаков отличия, предложенных Ломоносовым для публичных награждений гимназистов в «Проекте регламента Академической гимназии 1758 г.», математические приборы по сравнению с книгой имели более высокий наградной статус, что говорит о предпочтении, которое Ломоносов отдавал приобретению практических навыков. Будущие награды перечислены им в порядке возрастания значимости и состояли из 1) красиво переплетенных книг, 2) математических приборов и 3) серебряных медалей, «которые раздаются перед всем собранием с упоминанием об оказанных успехах» [Ломоносов 1955а: 504].

²⁷ Гербовая эмблема Морского шляхетного корпуса, пожалованная Елизаветой Петровной в 1752 г., выглядела следующим образом: скрещенные градшток, руль и шпага эфесом вниз с золотой короной на острие [Веселаго: 145; Белавенец: 1]. В. фон Рихтер, ссылаясь на публикацию данной медали в «Собрании русских медалей», ошибочно описывает ее с гербом Морского кадетского корпуса [Рихтер].

²⁸ Ср. надписи на золотых и серебряных медалях Сухопутного кадетского корпуса: «Достигшему», «Достигающему», «Успевающему» [Рихтер; Кузнецов, Чепурнов: 68–69; Первый: 47]. См. также надписи на наградных медалях для студентов Императорского Московского университета: «DIGNISSIMO» (Достойнейшему) [Букатина-Дараган: 259, № 1] и воспитанников Горного училища: «Достойному» [Собрание: 47, № 173 (Табл. XXXIV)].



Наградная медаль с изображением на аверсе знаменного герба
Сухопутного шляхетного кадетского корпуса [Собрание: 60, № 242 (Табл. XLV)]

Ср.:

Лиц. ст. UTROQUE VERA NOBILITAS (В обоих истинное благородство). Российский двуглавый орел на воинских снарядах и принадлежностях наук. На груди его щит с положенными крестообразно мечем и кадуцеем. Внизу: MARTE ET ARTE (Оружием и искусством).

Об. BENE MERENTIBUS (Вполне заслуживающим). В трех строках в лавровом венке.

В обрезе: DAT. AN. 17... (дана лета 17 --) [Собрание: 60, № 242] (курсив оригинала. — Л. П.).

Не касаясь ошибок атрибуции и обстоятельств создания медали, отметим, что в контексте рассмотренных выше наградных знаков сам факт появления знаменного герба Кадетского корпуса в медальном формате выглядит логичным, поскольку смысловые и визуальные соответствия гербовых эмблем и медалей были уже обозначены и представлены в медальных знаках отличия и гербовых суперэклибрисах, оформленных в медальном виде. В медальном изображении наградное значение гербовой эмблемы не только получило зримое воплощение, но и удвоилось за счет наградной функции самой медали. С помощью двойного девиза усилены были и смысловые нюансы образительных символов гербовой эмблемы.

В основе рассмотренных выше наградных и отличительных знаков Сухопутного кадетского корпуса лежит изображение знаменного герба, которое в значительной степени определяет семантику гербового суперэклибриса прежде всего как отличительного знака. Свое дополнительное, наградное значение суперэклибрис приобретает в результате наградной функции книги, что получает и визуальное отображение в медальном оформлении наградных

экземпляров. Важно отметить, что наградные медали, в том числе медали для кадетских корпусов, учреждались в качестве «знаков чести» [О преимуществах: 3–4]. Внешний вид наградной книги своим медальным видом не только подчеркивал ее особый статус, но и устанавливал прямые смысловые соответствия между книгой как знаковым подарком и медалью как знаком чести, включая таким образом в категорию «знаков чести» и книжные награды.

Ключом к пониманию семантики рассмотренных выше гербовых знаков стали идеи о смысловой природе знаковых систем культуры, высказанные Ю. М. Лотманом в книге «Культура и взрыв» [Лотман 1992]. Для прочтения гербовой эмблематики, а также установления значений гербовых знаков плодотворной оказалась разработанная Лотманом концепция смыслового пространства взаимосвязанных семиотических систем, а также идеи, связанные с семантическими трансформациями знаков в разных контекстах и функциональных значениях, идеи, в значительной степени определившие направление настоящего исследования и трактовку привлеченного к изучению материала.

Литература

Барсов: *Барсов А. А.* Речь о пользе учреждения Императорского Московского университета, при открытии онаго 1755 года Апреля 26 дня, ... // Собрание речей, говоренных в Имп. Московском университете, при разных торжественных случаях, коллежским советником, красноречия публичным и ординарным профессором, ... Антоном Барсовым. М.: Унив. тип., у Н. Новикова, 1788. С. 4–14.

Белавенец: *Белавенец П. И.* О знаменах и гербе Морского кадетского корпуса. [СПб., 1901].

Букатина-Дараган: *Букатина-Дараган Г. Е.* Медали, нагрудные знаки и жетоны Императорского Московского университета // Нумизматический сборник. Ч. 13: Новейшие исследования в области нумизматики. М., 1998 (Труды Государственного исторического музея: Вып. 98). С. 243–287.

Валлериус: *Валлериус Иоган Готшалък.* Минералогия или Описание всякаго рода руд и ископаемых из земли вещей, ... с немецкаго на российской язык переведенное действительным статским советником, Берг коллегии президентом и Монетной канцелярии главным судьей Иваном Шлагтером. В Санктпетербурге: при Императорской Академии наук, 1763. RR Шифр: RVC-763/Валлериус.

Верещагин: *Верещагин В. А.* Русский книжный знак. СПб., 1902.

Веселаго: *Веселаго Ф. Ф.* Очерк истории Морского кадетского корпуса с приложением списка воспитанников за 100 лет. СПб., 1852.

Висковатов: *Висковатов А.* Краткая история Первого кадетского корпуса. СПб., 1832.

Глинка: *Глинка С. Н.* Записки Сергея Николаевича Глинки. СПб., 1895.

Гольденберг: *Гольденберг А. А.* Михаил Федорович Соймонов (1730–1804). М., 1973.

Долгова: *Долгова А. И.* Наградные книги в собрании Всероссийского музея А. С. Пушкина // XIII научно-практическая конференция «Музейные библиотеки в современном обществе: Книга как подарок. История и истории». 19–21 апреля 2016 года: Тезисы докладов. М., 2016. С. 23–24.

Донская, Михалик: *Донская Н. В., Михалик О. М.* Книжные знаки в фонде Смоленской областной универсальной библиотеки: иллюстрированный каталог. Смоленск, 2006.

Дружинин: *Дружинин П. А.* Геральдический суперэклибрис: источниковедческое исследование. М., 2014 (Геральдика и редкая книга: В 2 т. / Под ред. М. Ф. Румянцевой. Т. 1).

Дунаева: *Дунаева Ю. А.* Отражение истории Российской империи на переплетах книг, хранящихся в отделе БАН при ЗИН РАН // Петербургская библиотечная школа. 2015. № 4 (52). С. 16–23.

Дуров, Можейко: *Дуров В. А., Можейко И. В.* Русские наградные медали: (вторая половина XVIII в.) // Вопросы истории. 1973. № 12. С. 114–122.

Заблоцкий: *Заблоцкий Е. М.* Материалы по личному составу горного ведомства: Личный состав Уральских горных заводов. Классные чины. [Электронный ресурс]. — URL: <http://russmin.narod.ru/bioUral.html>

Знамена: Знамена кадетских корпусов: (Справка из архива Музея «Родной Корпус») // Военная быль. 1952. № 1 (Март). [Электронный ресурс]. — URL: <http://lepassemilitaire.ru/Znamena-kadetskix-korpusov/>

Ивашкина: *Ивашкина А. Ю.* Книги и судьбы: Владельческие книжные знаки в собрании отдела редких книг и рукописей дворца книги — Ульяновской областной научной библиотеки имени В. И. Ленина: Каталог. Ульяновск, 2014.

Кадеты: Кадеты, гардемарины, юнкера: мемуары воспитанников военных училищ XIX века / Сост., подгот. текста и примеч. Г. Г. Мартынова. М., 2012.

Кашутина, Сапрыкина: *Кашутина Е. С., Сапрыкина Н. Г.* Эклибрис в собрании Научной библиотеки Московского государственного университета: Альбом-каталог. М., 1985.

Книжные знаки: Книжные знаки в фонде ЗНБ СГУ. Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевича Саратовского государственного университета. [Электронная база данных]. — URL: <http://library.sgu.ru/index.php?page=project>

Книжные памятники: Книжные памятники Карелии: Галерея эклибрисов. [Электронная база данных]. — URL: <http://monuments.library.karelia.ru/>

Копанев: *Копанев Н. А.* Книжный оформитель Михайло Ломоносов // Наука из первых рук. 2011. № 4 (40). С. 55–65.

Крылов: *Крылов В. М.* Кадетские корпуса и российский кадеты. СПб., 1998.

Кузнецов, Чепурнов: *Кузнецов А. А., Чепурнов Н. И.* Наградная медаль: В 2 т. М., 1995. Т. 1. 1701–1917.

Купер: *Купер Дж.* Энциклопедия символов. М., 1995 (Серия «Символы». Кн. 4).

Левенсон: *Левенсон А. Б.* Краткая история Горного Института // Юбилейный сборник 1773–1923. Л., 1926. С. 5–20.

Лившиц: *Лившиц А. А.* Прижизненные издания М. В. Ломоносова и их владельцы: (из фондов научной библиотеки Московского Государственного университета. им. М. В. Ломоносова) // Новое о Ломоносове: Материалы и исследования: К 300-летию со дня рождения / Сост., отв. ред. С. С. Илизаров. М., 2011. С. 235–241.

Ломоносов 1765: *Ломоносов М. В.* Собрания разных сочинений в стихах и в прозе коллежского советника и профессора Михайла Ломоносова. Второе издание с сочинительскими исправлениями. [М.]: Печатано при Императорском Московском Университете, [1765]. Кн. 2 [Риторика] (На тит. л. дата: 1759). Экземпляр Библиотеки Московского государственного университета. Инв. № 290940.

Ломоносов 1952: *Ломоносов М. В.* [Заметки к «Системе всей физики» и «Микрологии»] / Пер. Я. М. Боровского // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 3: Труды по физике и химии, 1753–1765. М.; Л.: АН СССР, 1952. С. 491–501.

Ломоносов 1954: *Ломоносов М. В.* Первые основания металлургии или рудных дел // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 5: Труды по минералогии, металлургии и горному делу, 1741–1763. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 397–631.

Ломоносов 1955а: *Ломоносов М. В.* Проект регламента Академической гимназии. 1758 марта 24 – мая 27 // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 9: Служебные документы. 1742–1765 гг. М.; Л.: АН СССР, 1955. С. 477–523.

Ломоносов 1955б: *Ломоносов М. В.* Явление Венеры на Солнце, наблюдаемое в Санктпетербургской императорской Академии Наук мая 26 дня 1761 года // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 4: Труды по физике, астрономии и приборостроению, 1744–1765 гг. М.; Л., 1955. С. 361–376.

Лотман 1992: *Лотман Ю. М.* Культура и взрыв. М., 1992.

Лотман 1997: *Лотман Ю. М.* Между эмблемой и символом // Лотмановский сборник. 2. М., 1997. С. 416–423.

Лупанова: *Лупанова Е. М.* «Секстанты положено иметь на всех кораблях, фрегатах, корветах...»: «Гадлеев квадрант» в русском флоте XVIII века // Военно-исторический журнал. 2016. № 10. С. 35–39.

Максимовский: *Максимовский М.* Исторический очерк развития Главного инженерного училища. 1819–1869. СПб., 1869.

Мельницкий: *Мельницкий Н. Н.* Сборник сведений о военно-учебных заведениях в России (Сухопутного ведомства). Т. 1. Ч. 1. СПб., 1857.

Низовский: *Низовский А. Ю.* Русские форменные пуговицы 1797–1917 гг. М., 2008.

Описание: Описание торжественного присуждения наград воспитанникам Императорского Сухопутного шляхетного кадетского корпуса // Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений. СПб., 1848. Т. 74. № 294. С. 205–211.

О преимуществах: О преимуществах к получению медали за прилежание и доброе поведение. [СПб.]: Печ. при Арт. и инж. шляхет. кадет. корпусе, 1784. 12 с.; 4°.

«Орлы и львы»: «Орлы и львы соединились...»: геральдическое искусство в книге: каталог выставки. СПб., 2006.

Павлова: Павлова Г. Е. Проекты иллюминаций Ломоносова // Ломоносов: сб. статей и материалов. IV. М.; Л., 1960. С. 219–237.

Патрикеев, Бойнович: Патрикеев С. Б., Бойнович А. Д. Нагрудные знаки России: трехтомник: [альбом-каталог]. [Т. 1]. М.; СПб., 1995.

Первый: Первый кадетский корпус во дворце Меншикова: К 275-летию основания: Каталог выставки. СПб., 2007.

Петина 2014: Петина Л. И. “Album Amicorum” Ганса Арпенбека: об особенностях альбомного многоязычия // Лотмановский сборник. 4. М., 2014. С. 61–79.

Петина 2005: Петина Л. И. Собрание книг графа А. Г. Бобринского в замке Оберпален: из истории поместных библиотек Эстонии XVIII века // Альманах библиофила. М., 2005. Вып. 29. С. 9–36.

Похлебкин: Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики. М., 2006.

Разсуждения: Разсуждения служащая руководством к новому установлению Шляхетного кадетского корпуса, сколько принадлежит до воинской части онаго. [Санктпетербург]: [Печ. при Сенате], [сентября 30 дня 1766].

РБС: Русский биографический словарь: [В 25 т.]. СПб., 1897. [Т. 8]: Ибак-Ключарев. С. 531–532.

Рихтер: Рихтер В., фон. Медали кадетских корпусов в царствование императрицы Екатерины II // Военная быль. 1952. № 1 (Март). [Электронный ресурс]. — URL: <http://lepassemilitaire.ru/medali-kadetskikh-korpusov/>

СК I: Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке. 1701–1800. Л., 1986. Т. 3.

СК II: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800. М., 1964. Т. 2: К–П.

Собрание: Собрание русских медалей, изданное по выс. повелению Археографической комиссии. Вып. 3 / [Ред. С. Строев]. СПб., 1841.

Соколов: Соколов Д. И. Историческое и статистическое описание Горного кадетского корпуса. СПб., 1830.

Список лиц: Список лиц, окончивших курс в Горном Институте с 1773 по 1923 год // В память столетия юбилея Горного института в Петрограде. 1773–1923. М., 1923. С. 655–763.

Татарников, Юркевич: Татарников К. В., Юркевич Е. И. Сухопутный шляхетный кадетский корпус, 1732–1762: обмундирование и снаряжение. М., 2009.

Трубинов: Трубинов Ю. В. Дворец Меншикова и территория Первого Кадетского корпуса в середине XVIII в. // Петровское время в лицах. 2001: сб. науч. статей. СПб., 2001. С. 60–66.

Устав 1766: Устав Императорского Шляхетного сухопутного кадетского корпуса: [Дан в Санктпетербурге сентября 11 дня, 1766 года]. СПб., 1766.

Устав 1786: Устав народным училищам в Российской империи, уложенный в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1786.

Ушакова: *Ушакова Г. А.* Книжные знаки в фондах Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина: Каталог. Ч. 1. Суперэкслибрисы. Нижний Новгород, 2009.

Хорошкевич: *Хорошкевич А. А.* Символы русской государственности. М.: Изд-во Московского ун-та, 1993.

Шевырев: *Шевырев С. П.* История императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею ординарным профессором русской словесности и педагогики Степаном Шевыревым: 1755–1855. М., 1855.

Щукина: *Щукина Е. С.* Два века русской медали: медальерное искусство в России 1700–1917 гг. М., 2000.

Choffin: *Choffin, David-Etienne.* Dictionnaire abrégé de la fable ou de la mythologie, : Pour l'intelligence des Poètes, de l'Histoire fabuleuse, des Tableaux, des Statues, des médailles etc. [S.l. : s.n.], 1777. RR Inv. nr. R/V 7828. На тит. л. синий прямоугольный штамп: *Bibl. d. alterth.forsch. Gesellsch. zu Pernaui.*

Ernst Brinck: Album Amicorum van Ernst Brinck. Den Haag, KB [Koninklijke Bibliotheek]. Ms. 135. M 86. P. 174. [Электронный ресурс]. — URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arte_et_Marte_door_Wijts_in_Album_Amicorum_van_Ernst_Brinck.jpg

Karamzin: *Karamzin, Nikolai.* Histoire de l'empire de Russie / par M. Karamsin ; traduite par MM. St.-Thomas et Jauffret. Paris: de l'imprimerie de A. Belin, 1819. Т. 1. Экземпляр Ульяновской областной научной библиотеки имени В. И. Ленина. Шифр: РФ(И)17.

Lomonossov: *Lomonossov, Mihhail.* Histoire de la Russie, depuis l'origine de la nation Russe, jusqu'à la mort du Grand-Duc Jaroslaws Premier / Traduite de l'Allemand, par M. E. A Paris; A Dijon, 1769. RR Inv. nr. R/V 5595. Экземпляр с буквенным штампом: Ex Lib.Alex.Bob1*.

Recueil: Recueil de la Société Polytechnique, ... / Sous la direction de M. J.-G.-V. de Moléon. Paris, 1834. Ser. 2. V. 1. RR.

ПОЭМА «О СЧАСТИИ» В АВТОРСКОЙ БИОГРАФИИ АННЫ БУНИНОЙ (СЮЖЕТ И КОНТЕКСТ)

ТАТЬЯНА СТЕПАНИЩЕВА

Статья посвящена малоизученному «дидактическому стихотворению» Анны Буниной «О счастии» (1810). В первой части статьи рассматривается место поэмы в авторской биографии Анны Буниной. Поэтесса пыталась превратить сочинительство в источник заработка, однако в России начала XIX века не существовало еще развитого литературного рынка; кроме того, для девицы-дворянки многие возможности авторской реализации были мало реальны. Поэтому Бунина опиралась на устаревающую традицию литературного патронажа, адресуя свои сочинения представителям царской семьи. Поэма «О счастии» была посвящена вдовствующей императрице Марии Федоровне. Во второй части статьи поэма рассматривается в контексте «Павловской идиллии», которую выстраивала императрица в своей резиденции. Фоном для интерпретации является творчество Державина, важнейшего для Буниной поэта-предшественника, а также другие литературные тексты, связанные с Павловском. Автор предлагает гипотезу о соотносительности поэмы Буниной с воспитанием младших сыновей императора, которым ведала их мать.

Ключевые слова: Анна Бунина, «О счастии», литературный патронаж, императрица Мария Федоровна.

Tatiana Stepanishcheva. The poem “On Happiness” in the biography of Anna Bunina as an author (story and context)

The article deals with Anna Bunina's little-studied “didactic poem” “On Happiness” (1810). The first part of the article considers the place of the poem in the author's biography. The poetess tried to turn writing into a source of income, but in early 19th-century Russia there was no developed literary market yet; besides, for a noblewoman many opportunities for authorial fulfilment were unrealistic. Therefore, Bunina relied on the archaic but still existing tradition of literary patronage, addressing her works to representatives of the royal family. The poem “On Happiness” was dedicated to Dowager Empress Maria Feodorovna. In the second part of the article, the poem is examined in the context of the “idyll of Pavlovsk” that Maria Feodorovna built in her residence. The background for interpretation is the work of Derzhavin, the most important predecessor poet for Bunina, as well as other literary texts related to Pavlovsk. The author proposes a hypothesis about the correlation of Bunina's poem with the upbringing of the Emperor's younger sons in which their mother was assiduously engaged.

Keywords: Anna Bunina, “On Happiness”, literary patronage, Empress Maria Feodorovna.

Портрет Анны Петровны Буниной в галерее русских писателей начала XIX века находится, очевидно, не на самом видном месте. Если на него и падает свет, то отраженный — от других, более значимых фигур. Например, в книге О. А. Проскурина «Литературные скандалы пушкинской эпохи» Бунина является в главе «Бедная певица», посвященной литературно-полемическому контексту арзамасской речи С. С. Уварова [Проскурин: 152–187]. «Отпевая», как было заведено в «Арзамасском обществе безвестных людей», «беседную покойницу» Бунину, Уваров метил выше — в ее покровителя и «наставника», главу «халдеев Беседы» адмирала А. С. Шишкова. Поэтому сама Бунина остается в исследовании фигурой второстепенной (и страдательной), так как автора интересуют прежде всего перипетии борьбы «арзамасцев» и членов Беседы любителей русского слова, и в связи с этим — сложившийся в глазах литературных противников полемический образ «бедной певицы». В сходном амплуа Бунина появляется на полях авторских биографий К. Н. Батюшкова и В. К. Кюхельбекера, которые оставили отзывы о ее стихотворных сочинениях, более или менее критические.

Иначе рисуется облик Буниной в исследованиях женского писательства. Эти работы, сами зачастую полемически заостренные, ставят задачу восстановить истинный масштаб и законное место поэтессы в истории русской словесности. Важнейшим сюжетом в них становится стремление Буниной к творческой и писательской эмансипации; см., напр., [Vowles: 62; Rosslyn 1996; Rosslyn 1997] и др.

Действительно, жизненный путь Буниной примечателен на фоне современных ей российских сочинительниц. Провинциальная дворянка, она начала самоучкой писать стихи в тринадцать лет, в 27 — дебютировала в московском журнале «Иппокрена, или Утехи любословия». В юности Бунина, видимо, неоднократно бывала в Москве¹, поэтому, получив наследство после смерти отца, она сначала перебралась туда, а в 1802 г. переехала

¹ К. Я. Грот в биографическом очерке возводит именно к этому времени первоначальное знакомство Буниной с московским культурным обществом: «... до 25-летнего возраста Бунина не только посещала Москву, но, по всей вероятности, и жила там по зимам, и если по условиям своего положения не могла систематически восполнять пробелы своего образования, все же пользовалась всем для удовлетворения своих литературных влечений. А по семейным связям и отношениям она могла иметь к тому возможности и случаи. <...> все четыре родственные семьи (Усовы, Бунины, Бланки и Семеновы), в своих представителях двух поколений, были в конце 18 и начале 19-го века в некоторой мере причастны к литературному движению и жизни высшей интеллигенции тогдашней Москвы. Неудивительно, что таланты и вкусы юной А. П. имели возможность так или иначе постепенно развиваться и изощряться, когда она на время попадала в Москву (а, вероятно, иногда и заживалась там) и соприкасалась с ее литературными сферами, знакомясь и чтением, и лично, с их выдающимися представителями» [Грот].

в Петербург, где служил ее брат. Там девица Бунина поселилась одна (что решительно расходилось с обычаями дворянской жизни) и предалась учению, на которое вскоре ушло ее невеликое наследство. Легальных возможностей заработка для молодой незамужней дворянки в начале XIX века существовало крайне мало, но они для Буниной не годились: идти в гувернантки означало потерять недавно обретенную независимость, а к рукоделию она питала неприязнь. Оставалась словесность — упражнение «благородное», хотя далеко не надежное в качестве источника дохода. Но Бунина уже выступала в печати и не без оснований надеялась на поддержку родных и знакомых в столице. В течение более чем десяти лет она печатала свои сочинения, пока болезнь не принудила ее отступить. Других источников дохода, кроме литературных, у Буниной не было, однако профессиональной писательницей она все же не стала.

Автор вступительной статьи к самому полному на сегодняшний день изданию стихов Буниной М. А. Нестеренко отметила, что профессионализация — не вполне точное определение карьерной траектории сочинительницы:

Бунина шла наперекор сложившимся обстоятельствам, проявляя завидное упорство в стремлении стать профессиональным литератором. Литература становится для нее делом всей жизни <...> она <...> пытается сделать сочинительство источником своих доходов. Последнее ей не удается, поскольку литература как социальный институт в этот период только формируется. Буниной приходится прибегать к покровительству высоких сановников и вдовствующей императрицы [Нестеренко 2016: 13–14].

Действительно, на рубеже первых десятилетий XIX в., в конце 1800-х и в 1810-е годы, когда Бунина печатала свои сочинения, жить за счет продажи тиражей русские писатели не могли:

Рынок не мог содержать писателя, историческая роль книгопродавца для художественной литературы началась только в 20-х годах XIX века. <...> писатели, находящиеся на службе у двора и пользовавшиеся покровительством мецената, не были профессиональными писателями. <...>

Конечно, еще и в екатерининскую эпоху были примеры, когда литературный труд оплачивался единовременным денежным вознаграждением. <...>

Само собой разумеется, что эти денежные меценатские вознаграждения не могли быть материальной базой для писателя [Гриц, Тренин, Никитин: 73, 79–80].

Литературный рынок начал складываться лишь в 1830-е годы. В начале века относительно неплохо могли зарабатывать издатели журналов и переводчики популярной жанровой литературы, вроде «радклифианы»; однако отсутствие института авторского права мешало последним управлять публикациями

и, соответственно, контролировать доход. Сочинительство на досуге, ради удовольствия было, с одной стороны, обусловлено особенностями российской культурной экономики; с другой стороны — получало обоснование через романтическую идею эмансипации писателя². Однако расширение читательской аудитории, рост популярности писателей и накопление ими «социального капитала» актуализировали вопрос о его возможной конвертации, т. е. ставили вопрос об оплате писательского труда. Начало XIX в. — время, когда практика «вознаграждений» за литературный труд постепенно замещалась оплатой. Бунина, издавая в конце 1800-х и в 1810-х гг. свои книги, получала доход не от их рыночной продажи, а через подарки, пособия и пенсии — что можно определить как традиционный патронаж, практику, известную по биографиям русских литераторов предшествующего столетия³.

Освоение практик и ролей, характерных для европейских культурных институтов (здесь мы говорим о литературных прежде всего), в послепетровской России шло небыстро и было фрагментарным. Российский культурный ландшафт не благоприятствовал акклиматизации традиций, для которых было недостаточно местной почвы. Особенно проблематичной в этом отношении была сама роль писателя, его социокультурный статус. Однако во второй половине XVIII в. *покровительство*⁴ со стороны августейшей фамилии, вельмож и высокопоставленных чиновников сочинителям стало частью культурного обихода, входило в «горизонт ожиданий» начинающего литератора, конечно, прежде всего — живущего в одной из столиц. Сейчас мы можем описывать покровительство, патронаж как практику уже в начале XIX в. устаревшую, архаическую — особенно рассуждая о профессионализации как факторе развития «благородной независимости», писательской эмансипации. Однако она продолжала существовать:

Подарки табакерок и перстней, бывшие в эпоху Екатерины естественным следствием натуральной литературной экономики, казалось бы, должны были исчезнуть ко времени Александра I, когда литература окончательно вошла в торговую фазу.

Тем не менее традиция оказалась сильнее [Гриц, Тренин, Никитин: 78].

² Очевидно, такие представления существовали не только в рамках романтического направления, однако в интересующую нас эпоху они начинают связываться именно с ним. Отметим, что освоение этих интерпретационных инструментов может предшествовать освоению собственно романтической поэтики.

³ Практика издания сочинений «по подписке» также является вариантом патронажа, в котором роль патрона распределена между более или менее многочисленной группой подписчиков (своего рода «миноритарных патронов»), далеко не все из которых знакомы с сочинителем, в отличие от классического «патрона».

⁴ Это определение, как нам кажется, более подходит для последующего изложения, так как российский вариант культурного патронажа отличался от «классического».

Бунина, таким образом, входя в литературу, попадала в пространство традиции, которая продолжала работать, несмотря на некоторую свою архаичность. И начинающей стихотворице ее устойчивость была на руку. Традиционные сценарии культурного поведения в переходную эпоху могут приобретать своеобычное значение — гарантии, опоры, ясного вектора в туманной перспективе; что, однако, не исключает амбивалентного или даже конфликтного восприятия таких сценариев, в случае литературы, например — напряженной рефлексии сочинителя о месте «писателя в обществе» (ср. название известной статьи В. А. Жуковского 1808 г. [Жуковский: 393–401]) и об отношениях с «патроном» и вообще властью. Особенно вероятно совмещение притяжения и отталкивания для маргинальных субъектов, пытающихся включиться в культурное производство, но ограниченных в своей инициативе социальным происхождением, статусом или полом. Бунина, принадлежавшая к привилегированному сословию, дворянка, но из провинции и без состояния, к тому же «девица», как ее аттестовали согласно правилам этикета, — была вынуждена пользоваться всякой возможностью безотносительно ее новизны или архаичности, чтобы войти в литературу, точнее — получить признание в качестве сочинительницы. Возникавшие при этом противоречия между сценарием, обусловленным традицией и обстоятельствами, и формирующейся личной позицией, самоощущением независимого индивида, влияли на авторское поведение Буниной и отражались в ее литературных текстах.

Одним из таких произведений, показательных как для частной писательской биографии, так и для литературной истории в целом, является, по нашему предположению, обширное «дидактическое стихотворение» А. П. Буниной «О счастье», выпущенное в 1810 г. Так как оно до сих пор не становилось объектом специального анализа⁵, мы попробуем для начала интерпретировать его в целом и восстановить в первом приближении его историю и культурный контекст.

Придется оговориться, что попытка будет ограничена доступными сейчас материалами: обращение к архивным документам и редким изданиям, находящимся в российских библиотеках, к сожалению, невозможно. Очевидно, что без доступа к архиву Буниной, к архивным собраниям императорского двора (большого и малого) интересующий нас сюжет не может быть

⁵ Примечания к этому «стихотворению», представленные в издании Буниной 2016 г. «Неопытная муза» [Бунина 2016: 501–504], являются, сколько нам известно, единственным опытом анализа, поневоле ограниченными рамками комментария. Кроме примечаний, комментаторы дали сводку вариантов к тексту по рукописи [Там же: 461–468].

восстановлен достаточно полно и основательно. Однако предварительный набросок, как мы постараемся показать далее, имеет смысл и с опорой на имеющиеся источники — как минимум, он позволит понять, насколько мало и избирательно изученными остаются авторские биографии русских писателей и писательниц за пределами «канона».

«Дидактическое стихотворение» «О счастья» было опубликовано вскоре после первой «большой» книги А. П. Буниной — сборника «Неопытная муза», выпущенного летом 1809 г. Сборник включал основной корпус написанных к тому времени текстов и представлял сочинительницу, означенную на титуле А. Б., как поэтессу и переводчицу. Кроме ее собственных стихотворений, в сборник вошел стихотворный перевод «Поэтического искусства» Никола Буало — под заглавием «Наука о стихотворстве». Название сборника было данью литературному этикету: после дебюта Буниной прошло уже десять лет, поэтесса печаталась в журналах обеих столиц; а незадолго до сборника выпустила свой перевод выбранных мест из «Курса изящной словесности» Шарля Баттё — под названием «Правила поэзии», предназначенный «для девиц» и снабженный примерами из русских поэтов.

В абсолютных цифрах публикаций у Буниной было не так много, однако ее известность была обусловлена не только ими. Она входит в литературные круги обеих столиц, включается в писательское сообщество. В Петербурге начинающую писательницу протезировал брат, И. П. Бунин, служивший по морскому ведомству — человек в высшей степени светский, неутомимый в изобретении игр и развлечений, не чуждый также и сочинительства. М. Амелин и М. Нестеренко указывают также на вероятную роль петербургского учителя Буниной, П. И. Соколова, в ее столичных знакомствах [Бунина 2016: 30]. Соколов был известен как ученый, издатель и преподаватель, переводил Гомера, Овидия и Лагарпа, с юности состоял в Российской академии и был ее многолетним секретарем. Московским проводником Буниной стал ее свойственник Борис Карлович Бланк, салонный поэт карамзинской школы, приятель князя П. И. Шаликова.

Важную роль в писательской биографии Буниной сыграл генерал Н. И. Ахвердов, воспитатель в царской семье, учитель великих князей Николая и Михаила. Ахвердов состоял почетным членом Императорской Академии художеств (с 1806 г.), а в 1811 г. стал почетным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. Ахвердов, видимо, инициировал первое обращение поэтессы к вдовствующей императрице Марии Федоровне — с просьбой о поддержке. Как пишет в своих мемуарах (впрочем, не всегда достоверных) Эразм Стогов, дальний родственник Буниной, она составила прошение в стихах, потому что ей так «было легче»;

удивленный Ахвердов попросил лишь немного поправить сочинение и передал его императрице, которая ответила пожалованием сочинительнице 500 рублей.

Это был первый опыт, далее авторская экономика Буниной преимущественно строилась на тех же принципах патронажа. Писательнице покровительствовали Г. Р. Державин и А. С. Шишков, особенно последний (что стало одним из оснований для арзамасской буффонады). Шишков выступал и своего рода «агентом» Буниной при дворе, ходатайствуя за нее. Так что, наконец, пенсии, пожалования и подарки от вдовствующей императрицы Марии Федоровны, императрицы Елизаветы Алексеевны, от самого императора составили основной источник дохода «десятой музы», как поэтессу называли в свете.

Авторская экономика Буниной хотя и вписывалась в традиционные модели отношений покровителя и сочинителя, все-таки останавливала внимание современника впечатляющим масштабом вспомоществований. Эразм Стогов, который в юности был у Буниной домашним человеком (т. е. знал ее достаточно близко), в своих мемуарах несколько заострил удивление свидетеля монарших милостей:

Это письмо стихами доставило Буниной 500 рублей пенсии. Через Ахвердова поднесены стихи государю — Буниной 500 р. пенсии. Оду в. к. Константину Павловичу — Буниной 500 р. пенсии. От кого еще пенсии — не помню. Этот успех ободрил Бунину к стихотворству [Стогов: 52].

В. Росслин посвятила авторской экономике Буниной специальную статью “‘Unchaste Relationship with the Muses’: Patronage, the Market and the Woman Writer in Early Nineteenth-Century Russia” [Rossllyn 1996] (ее материал вошел в монографию [Rossllyn 1997]). Исследовательница описала «случай Буниной» в контексте эпохи, со-противопоставив его судьбам других русских писательниц. Она отметила, что Бунина, нуждаясь в заработке, должна была сочетать старые и новые формы получения дохода, поэтому в ее авторской экономике соединялись — относительно гармонично — традиционный патронаж и рыночные элементы:

Bunina's publishing history shows that while the market for *belles lettres* was becoming established, and because her work appealed not to the mass of readers but only to the few, it was necessary to tap old and new forms of generating income, if income were required, and to work the patronage system, however distasteful this might be, whilst also working for the market. Indeed, the two systems made a harmonious combination. Income from sales augmented her income from patronage. And it was

because she published that she received income from patrons: Bunina was rewarded as an author, and not as a distressed gentlewoman... [Rosslyn 1996: 241].

Однако исследовательница отмечает, что Бунина, несмотря на солидный размер пенсий, все-таки постоянно нуждалась. От императриц и императора она получала пособия в сумме 2500 рублей в год, несколько раз из казны уплачивались ее долги; была оказываема также другая помощь, вроде коляски с лошадьми, чтобы доехать до царской резиденции; в определенной мере оплачивались и расходы на лечение, в том числе за границей. Однако дороговизна и неудобства столичной жизни, а также сложности и неудачи в подготовке к печати своих сочинений (неизбежные в условиях неустойчивой системы книгоиздательства, особенно — для непрофессионала, каким, конечно, являлась «девица Бунина») съедали эти доходы почти полностью. В своей статье Росслин приводит и реплики, которые свидетельствуют о неудовлетворенности Буниной доступными ей моделями авторской экономики; напр., фрагмент из благодарственного письма поэтессы А. С. Шишкову, который ходатайствовал о помощи ей перед императором (датировано 25–28 февраля 1813 г.)⁶:

Счастье мое было бы непомрачаемо, когда бы я могла писать только для собственного своего и других удовольствия, и когда бы знакомство мое с музами было чистое и с корыстью не связанное [Бунина 2016: 525];

а также цитату из письма Ю. А. Нелединского-Мелецкого Е. И. Нелидовой, отправленного 29 декабря 1809 г. из Твери. Находясь там, Нелединский лично познакомился с Буниной, ранее известной ему лишь по письмам, и она, по его впечатлению:

... чувствует себя оскорбленною получением двухсот рублей за книжку, которую она поднесла герцогу Голштинскому. <... > мне кажется, что у нея слишком пыльная голова. Ей неприятно, говорит она, что могут подумать, что она поднесла эту книгу в видах получения денежного подарка [Письма Нелединского-Мелецкого: 2201–2202]⁷.

Эти примеры достаточно ясно указывают, что патронаж был источником внутренних и внешних конфликтов для Буниной, ставил ее в шаткое

⁶ Цитируем этот фрагмент по публикации в новейшем издании [Бунина 2016: 525–527]; В. Росслин приводит цитату в своем переводе по архивной рукописи [Rosslyn 1996: 230].

⁷ Цитируем фрагмент французского письма, который в английском переводе привела Росслин, — по русскому переводу, помещенному в публикации «Русского архива» за оригинальным текстом [Письма Нелединского-Мелецкого: 2187–2188, 2201–2202].

и зависимое положение⁸. Рослин в своей содержательной статье не ставила задачей поиск поэтических текстов, в которых гипотетически могли отразиться эти важные для Буниной темы. Мы попробуем дополнить картину, обратившись к «дидактическому стихотворению» Буниной «О счастья», которое тесно связано с «придворными» эпизодами биографии поэтессы (далее мы будем называть его поэмой — для краткости).

Поэма вышла отдельным изданием в 1810 г., почти сразу после дебютного сборника «Неопытная муза». Комментаторы отмечают, что работа над ней шла в 1808–1810 гг., то есть параллельно собиранию книги. Между ними есть очевидное сходство. Оба издания, подписанные лишь инициалами сочинительницы — А. Б., содержали посвящения императрицам: «Неопытная муза» — императрице Елизавете Алексеевне; «О счастья» — вдовствующей императрице Марии Федоровне, матери императора Александра. Для адресата поэмы авторство не было тайной, так как в 1808 г. по повелению и на счет Марии Федоровны был напечатан бунинский перевод из Шарля Баттё «в пользу девиц»⁹.

Посвящение в поэме очень лаконично:

Ея императорскому величеству,
императрице Марии Федоровне,
с благоговением посвящает
сочинительница [Бунина 2016: 147].

В своем комментарии М. Амелин и М. Нестеренко приводят другой текст посвящения — по автографу поэмы, хранящемуся в РГАЛИ. Он гораздо более пространный:

Ея императорскому величеству, всемилостивейшей государыне, императрице Марии Федоровне.

Всемиловитая государыня!

Стихотворцы во все времена были и есть связаны народным противу их преудбеждением. Они не смеют вполне излить душевных чувствований преданности

⁸ Ср. прим. К. Я. Грота: «Следует заметить, что Бунина, вынужденная обстоятельствами, при всем повышенном чувстве достоинства, ее отличавшим, мириться с таким своего рода *меценатством*, все же в душе переживала его болезненно. Биограф ее Чехов упоминает об одном письме Нелединского-Мелецкого к Нелидовой из Твери, где он познакомился с А. П., о таком ее отношении к денежным пособиям и что такие подарки ставили ее в неловкое положение. Ист. Вестн. 1845, № 14, стр. 172–3» [Грот: прим. 18].

⁹ Книга «Правила поэзии» тоже была означена инициалами, но они скрывали личность переводчицы лишь от читателей, а не от августейшей благодетельницы, которая к тому же распорядилась закупить 225 экземпляров книги для Главного правления училищ. Также была закуплена и «Неопытная муза» — в количестве уже 500 экземпляров.

к своим монархам. Им остается одна награда запечатлеть оные в глубине сердец. Самые монархи не доверяют им, боясь в искренних восклицаниях восторга найти иногда яд лести.

Всемиловнейшая государыня! Бог, читающий в сердцах людей, подобно как в отверстой книге, видит всю чистоту преданности моей к Вам! Благость Ваша и милости ко мне неоднократно обращали меня к лире: ими ободренная, дерзаю повергнуть к стопам Вашим сей слабый плод живейшей благодарности, которая сойдя со мною в гроб, станет у Престола Всевышнего!

Всемиловнейшая государыня!

Вашего императорского величества

Всеподданнейшая

Девушка Анна Бунина [Бунина 2016: 501].

Поэма была набрана именно с этого автографа, полагают комментаторы, но не объясняют отказ от публикации посвящения. Не имея достаточно материала для своих заключений, мы можем лишь строить догадки о причине исключения пространного посвящения из книги.

По первому предположению, причина заключалась в нарушении этикета — действительном или воображаемом. Бунина уже была знакома с придворными обычаями, и ее могли дополнительно осведомить столичные покровители, например, помянутый Н. И. Ахвердов, наставник великих князей Николая и Михаила, или адмирал А. С. Шишков. Но можно предположить, что посвящение, весьма эмоционально написанное и заключающее в себе оттенок упрека (поэты «не смеют» излить свои чувства, так как монархи «не доверяют им»), было снято перед печатанием, что позволило «всеподданнейшей» *девушке Буниной* избежать в обращении излишней экзaggerации, которая могла задеть адресата.

К приличиям и *comme il faut* поэтесса была чувствительна, как видно из одного разговора, переданного Э. Стоговым¹⁰. Точная дата этого диалога неизвестна, вероятно, он произошел в первой половине 1810-х гг.:

...раз, видя, что тетка белится и румянится, я в простоте заметил:

— Вы, тетенька, такая хорошенькая, беленькая и румяная, для чего же вы белитесь и румянитесь?

Она отвечала мне:

— Глупенький, это этикет двора, я могу сконфузиться, побледнеть или покраснеть, тем могу обеспокоить царских особ, а набелившись — я не изменюсь в лице [Стогов: 51].

¹⁰ Степень достоверности при передаче диалога спустя много лет, конечно, переоценивать не приходится; В. Росслин отметила склонность мемуариста “to romanticize” [Rosslyn 1996: 232].

Другое объяснение предложила Е. Э. Лямина в дискуссии после нашего сообщения о бунинской поэме на Лотмановском семинаре в феврале 2023 г. Ее версия представляется вполне основательной: пространное посвящение, по мнению Ляминой, назначалось именно для поднесения императрице, но не для широкой публики; «полный текст» был передан Марии Федоровне, а читатели увидели лишь лаконичский вариант, почти только «знак» дедикации. С благодарностью принимая это объяснение, все-таки оставляем возможность и «этикетного», тем более что первое не противоречит второму.

Награда за поэму о счастье не заставила ждать:

Российская Академия, во уважение дарований г-жи Буниной, сочинительницы многих мелких стихотворений и поэмы в 4-х песнях «О счастья», пригласила ее сего числа <Запись помечена 3 декабря 1810 г. — Т. С.> на торжественное собрание, а император того числа пожаловал ей пенсию 600 р. и на заплату долгов 5000 [Хвостов: 366].

Свидетель, отметивший официальное признание «дарований» Буниной, Д. И. Хвостов, уже был знаком с поэмой — несколько ранее, в ноябре, он получил экземпляр от сочинительницы и оценил подарок:

...г-жа Бунина <подарила> дидактическое стихотворение в 4-х песнях «О счастья». В нем есть прекрасные стихи. Описание сада сельского жителя в 3-й песне и свойство его жены очень хороши, так же в нем находятся некоторые мысли удачные. Слог вообще чист, но местами слаб и есть темные стихи [*Рукой Хвостова Д. И.*: Главная беда, что слог жеманен, ргéсиеух]¹¹ [Хвостов: 364].

В начале января следующего года Хвостов еще раз помянул поэму в записках — косвенно и более критически: «Г. Милонов мне читал свое послание к Буниной, которое прекрасно и лучше ее поэмы» [Там же: 367]. Однако он не подвергал сомнению справедливость награждения Буниной, как это бывало в других случаях. Например, на том же заседании в начале декабря П. И. Соколов, секретарь Академии и учитель Буниной, был награжден за похвальное слово покойному П. Д. Еропкину ста червонцами, присланными «от неизвестной особы (государя императора)», — и Хвостов, не удержавшись, приписал на полях: «но заслужил ли их, не знаю. Слово самое обыкновенное. Без огня и красоты слога, так что каждого прихода священник в состоянии оное сделать» [Там же: 366].

¹¹ Книга, в которой находятся процитированные фрагменты «Записок о словесности», заполнялась преимущественно писарем под диктовку Хвостова, который затем своеручно исправлял и дополнял записи.

Репутация графа Хвостова в истории русской литературы не способствует вниманию исследователей к его оценкам и суждениям. Однако примечательно, что буквально те же фрагменты поэмы выделил поэт совсем другого разряда, признанный лирик К. Н. Батюшков (отмечено в: [Бунина 2016: 501–502]). В августе 1811 г. он писал своему близкому другу и литературному единомышленнику Н. И. Гнедичу:

Что делают все, и в этом числе Бунина, с которой я помирился? Она написала «О счастии». Предмет обильный и важный, слишком важный для дамы. В ее плане нет философии (а предмет философический), нет связи в плане, много чего нет, но зато есть прекрасные стихи. Прочитай конец третьей песни, описание сельского жителя. Это все прелестно. Стихи текут сами собою, картина в целом выдержана, и краски живы и нежны. Позвольте мне, милостивая государыня, иметь счастье поцеловать вашу ручку!

Клянусь Фебом и Шишковым, что вы имеете дарование [Батюшков: 178].

Батюшков, кажется, был пристрастен к Буниной, по меньшей мере пара его эпиграмм метила в нее, так что этот отзыв особенно интересен — не только в свете будущей «арзамасской» истории, но и в авторской биографии самого Батюшкова. Как видно из приведенной реплики, он был задет тем, что Буниной удалось написать сколько-то «прекрасных стихов», и явно не ожидал этого от «дамы». Заметим, что Батюшков в письме избегает жанрового определения бунинского «О счастии», оно косвенно уточняется упоминанием «третьей песни» — и если вспомнить, что автор письма долго пытался добраться до жанрового «пика» поэзии — до поэмы, но так и не преуспел (как и В. А. Жуковский, другой превосходный лирик из первого посткарамзинского поколения), то оценка поэмы Буниной в письме приобретает дополнительные смыслы. Батюшков ревниво и неохотно, но признал достоинство сочинения, написанного «дамой», — пусть не «философское», но поэтическое.

Счастье действительно было «предметом важным» для европейских писателей и философов, и можно вслед за комментаторами [Бунина 2016: 502] указать на несколько самых известных опытов: «Ода к счастью» (в раннем варианте — «Ода на завоевателей») Ж.-Б. Руссо, известная в ряде русских переложений (М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, В. К. Тредиаковского, А. Х. Востокова), стихотворения Г. Р. Державина, В. В. Капниста; прозаический «Разговор о счастии» Н. М. Карамзина и переведенное В. А. Жуковским рассуждение на ту же тему Ж.-Б.-А. Сюара (1809 г.). Однако, как нам представляется, поэма Буниной может быть сближена с ними скорее на уровне темы и обусловленных ее разработкой мотивов (исключением здесь будет

Державин, о нем речь пойдет ниже). Возможно, дальнейшие исследования подтвердят генетические связи, мы же сосредоточимся на самой поэме.

Батюшков заметил, что в плане поэмы «нет связи», вообще «много чего нет», но в разъяснения не вдавался, видимо, полагая адресата достаточно сведущим в правилах поэтической композиции. Поэма Буниной довольно пространна, насчитывает более тысячи стихов, однако попробуем описать развитие темы, движение сюжета — по песням, чтобы проследить развитие плана.

Песнь первая открывается призыванием вдохновения и обращением к счастью:

О счастье! предстань в своих прменных лицах:
В алмазах, в рубищах, в веригах, в багряницах,
И начертась моей во глубине души,
Языка моего ты узы разреши;
Дай внятное ему, некосненно сказанье:
Хочу я возвестить твое существованье [Бунина 2016: 149].

Далее Бунина представляет различные виды счастья, точнее — разные цели, к которым стремятся люди, взыскующие счастья: это слава, власть, богатство, победы и т. д. Люди готовы на лишения и жертвы, но пути, избранные ими, оказываются ложными, счастье ускользает: от жаждущего богатства — к «отшельц[у] на берегу спокойного ручья» [Там же: 151], от «алчного воина» с «гордым духом» — к мирному оратаю, от славолюбца, отказавшегося от «свычк[и] и любв[и]» как от слабости — к мирному семейству, не озабоченному блеском и почестями [Там же: 152–153]. Заблуждения смертных бесконечны, и поэтесса отрекается исчислять их, но не отказывается от описания истинного счастья (чтобы ободрить «юношей», мрачно глядящих в будущее — стихотворение, напомним, дидактическое). Хотя «золотой век», когда все люди были счастливы, объявлен «иносказаньем», «язычников преданьем», его описание — в картине правления Сатурна в Лации — представляет идеал жизненного устройства:

Сатурн был прозорлив, — несуетлавен, благ;
В забавах не тонул, но им и не был враг;
Не возжигал войны, но не бежал Беллоны;
Хранил, в пример рабам, им изданны законы;
Все радости свои в их счастье почерпал,
А счастье с нрава им невинностью сливал [Там же: 154].

Песнь вторая варьирует мотивы второго эпода Горация *Beatus ille qui procul negotiis* (традиционно исключая ироническую концовку про Альфия-

ростовщика) — на что, в частности, указывают повторяющиеся формулы. Первый фрагмент песни (116 стихов) посвящен радостям скромного поселянина: «Блажен любящий труд смиренный селянин...», который счастлив обильным урожаем, наградой за неустанные труды. Он уподоблен «предводителю войск», обзеревающему поле битвы; у обоих «урон добыча превышает», но если воин «ищет беспокойств», то земледелец «ищет наслаждения» — и получает его. Следующий фрагмент (стихи 117–198) представляет доблестного «стража законов», который вершит «правый суд» и жертвует своим покоем ради сограждан. В третьем фрагменте (стихи 199–274) развернуто изображение счастливого, т. е. идеального «монарх[а], как чад, рабов своих любящ[его]». В финале второй песни сочинительница обращается к адресату посвящения:

Но менее ли той <монарха> блаженна в мире часть,
 Которая делит со страждущим напасть!
 Болящим кто бальзам на раны изливает;
 Кто длань невидиму со трона простирает
 В убоги хижины, сквозь мрак, сквозь дым и смрад,
 В них страждущих поит и утоляет глад!
 Кто с добродетелью, как со вредом, таится;
 Везде творит добро — сама никем не зрится;
 Подобясь божеству, сокрытою рукой
 Незапын среди бедств кто блага льет рекой!
 Блажу в безмолвии твой лик я невидимый! [Бунина 2016: 164],

— таким образом соединяя портрет «блаженного монарха» с «невидимым ликом» императрицы-благотворительницы.

Третья песнь, которую некоторые современники сочли наиболее сильной частью поэмы, начинается с проповеди покорности судьбе и умеренности (т. е. отказа от «мирских погибельных смятений»), по выражению автора элегии «Сельское кладбище», тоже трактовавшей тему скромного счастья):

Колико губительно стремленье буйной воли
 К тому, что мощный рок изъял из нашей доли,
 Иль гневно отнял вновь, пославши нам в удел! [Там же: 165].

Описание сельского жителя, привлечшее Батюшкова и Хвостова, следует здесь за притчей о человеке, который заболел от пресыщения и невозможности более чего-то желать. Некий волхв обещает за полгода излечить его, а для того уводит из дома и от семьи. Ежедневно волхв пробуждает «больного» на рассвете и отправляет его «иль с плугом, иль с косой трудиться <...> в поля», а после окончания работ кормит «легкой» сельской пищей. Спустя

четыре месяца такого распорядка «больной» затосковал по своей семье, но волхв отпустил его лишь по истечении оговоренного срока — когда он уже совершенно излечился от сплина и пресыщенности. Упав к ногам волхва, бывший blasé спросил о секрете его «чарованья», и волхв ответил: «Умеренность забав, труды и воздержанье — вот чары все мои», — и далее развернул принципы умеренной и трудовой жизни. Человек сам виновник своих несчастий и создатель счастья¹²:

Не парка терны в наш впрядает краткий век!
Мы сами для себя с обилием их сеем:
Спокойствия бежим, о здравье не радеем.
Ты к счастью рожден, но счастлив не был миг:
Средь нужд и нищеты я счастья достиг.
Под игом роскоши ты пал, собой повержен:
К забавам бережлив, от неги я воздержен.
Унылой праздностью ты скучны длишь часы:
Трудами крылья я даю им и красы [Бунина 2016: 168].

Счастье же состоит в преодолении страстей, покойной совести и презрении ко всякому злу:

Блажен стократно тот, кто навик мог стяжать
Кипучих власть страстей над сердцем умерять!
<...>
В союзе с совестью, собой и всем довольный,
Прилива не страшась житейских ярых волн,
Улыбку светлую где счастья видит он.
Где суетность глупцов, завистливых наветы,
Яд сильного врага, льстецов зловредны меты,
Веселию к нему не возбраняют вход,
Где чистых нравов он вкушает сладкий плод [Там же: 169].

Следующая за этим фрагментом проповедь умеренности и довольства необходимым и полезным:

Доволен тем, что есть, — чужого не желая,
Не обтекает он вселенной в край из края,
Чтоб дивные собрать стран чуждых новизны.
Ни снежной мрамора паросска белизны,

¹² Ср.: «В дидактическом стихотворении Бунина полемизирует в одой Ж.-Б. Руссо «На счастье», в переложении которой некогда соревновались М. В. Ломоносов и А. П. Сумароков. Если у французского поэта счастье слепо <...>, то у Буниной счастье выбирает тех, кто живет естественной жизнью и выполняет свой долг» [Нестеренко: 17].

Ни вечной прочности гранита искрометна,
 Ни хрупких чаш драгих фарфора разноцветна
 Для замков он своих не силится скупить;
 Все пользой он обык, не прихотьюми ценить.
 Покойный, светлый дом, опрятность в нем уборов,
 Сосуды, нужные к потребе не для взоров,
 Устройство всех вещей, порядок, чистота:
 Вот прихотей, — он мнит, — едина красота! [Бунина 2016:169]

— заставляет вспомнить «Мои пенаты» Батюшкова. В этом образце русского «дружеского послания», созданном в 1811–1812 гг., исследователи находят подражание стихотворениям Ж.-Б.-Л. Грессе и Ж.-Ф. Дюси; однако беспорное внимание автора к поэме «О счастии», кажется, позволяет задуматься и о возможном отражении в послании знакомства с ней.

Счастливый поселянин в поэме трудится — создавая удобный для семейства дом и выращивая сад:

Он вкусам общества не рабствует переменным:
 Страхится в собственном своем быть доме пленным.
 Там окна делает, там ложе становит,
 Там лествицу, там стол, там дверь рубить велит,
 Хозяйственные где потребуют их нужды:
 Удобства ищет он, — не вкусы тешить чужды.

Под окнами его тенистый сад шумит:
 Он сам его сажал и сам его растит...

— в чем ему помогают чада и «нежная их мать, его подруга дней», для которой ничтожны «и слава, и чины, и злата рудники», «И (думать так дерзну) короны даже царски / Скудней в ее глазах его малейшей ласки».

Завершается песнь идиллической картиной прекрасного луга, орошенного потоком и осененного деревьями¹³, где счастливец с семейством вкушает отдых после трудов, радуется играм и веселью своих детей, а когда наступает ночь и вдруг гремит гром, он умиленно мыслит: «Мой разум познает / Глас Бога моего», «Блажу судьбы твои непостижимы, темны! / Блажу всемогущую десницу я Твою, / Воззавшую меня от праха к бытию» [Там же: 172–173].

¹³ Приведенный фрагмент было бы интересно рассмотреть в связи с возможным отражением в нем элегической топики и фразеологии В. А. Жуковского, но это — как и особенности освоения Буниной карамзинистской поэтики в целом — требует специального изучения.

Песнь четвертая продолжает сюжет и композицию второй песни (сюжетная связь подкреплена повторением горацанской формулы); в череде счастливых появляется поэт:

Блажен, кто, естества завесу вскрыв священну,
Проникнув дел его пружину сокровенну
И с ним беседует, от шума уклонясь!
Блажен, кто с лирою соединяя глас,
Поет величие Небесных державы,
Поет земных царей, геройство, честны нравы,
В награду лстясь обрести веселый взор друзей:
Неведом в свете он, но чтим в семье своей! [Бунина 2016: 174].

Бунина развертывает описание, видимо уклоняясь в абстрактную идеализацию, но, как представляется, портрет совершенного поэта-гражданина отсылает к Державину, которого она высоко ценила и не раз обращалась к нему в стихах. Почему актуализируется фигура Державина в поэме, обращенной к лицу из царского дома, понятно — «живой классик» в 1800-е гг., он был прежде всего «певцом Фелицы». Однако образ идеального поэта, первый его очерк в начале четвертой песни Бунина конструирует, по нашему мнению, из узнаваемых мотивов совсем не одического стихотворения Державина — из послания «Евгению. Жизнь Званская» 1807 г.; с его горацанской основой и картинами домашней идиллии, которые подсвечены воспоминанием о придворном «искании» и «вольной страсти» в столице [Державин: 326–334].

Предположение подтверждается присутствием в этой части поэмы очевидных отсылок к державинскому «Памятнику» (курсив наш):

Так, добрый гражданин! *Прейдут* хищенны чести,
Погибнут имена в истлевшей хищных персти:
Но *звучная молва*, носяся по градам,
Позднейшим передаст с хвалой тебя векам.
Потомство — судия заслугам беспристрастный!
Его не увлекут собратий виды частны:
Единый дар оно в художниках ценит.
Ты смерть переживешь и будешь знаменит! [Бунина 2016: 175].

Таким образом, «державинский» пласт в поэме далеко не ограничивается переключками со стихотворением «На счастье». Разумеется, для Буниной поэтика Державина в целом была первостепенным источником и ориентиром; однако в поэме «О счастья» актуализировались и конкретные тексты,

их топика и идеология, а также биографическая легенда. Державин для поэтессы, которая в стихах обращалась к особе из царского дома, был, конечно, наиболее актуальным автором — если не «ролевой моделью» (слишком различны были их литературные роли), то «великим предшественником», подражание которому подкрепляло «смелый дух» «робкой певицы», мечущей «дерзки взоры» «к властителям, к царям, к земным богам на трон» [Бунина 2016: 178]. Вместо традиционной формулы скромности Бунина включила в этот фрагмент поэмы притчу о Милоне, наказанном за хвастовство и самонадеянность (ст. 82–116)¹⁴ — едва ли не пародируя прием, — и лишь затем перешла к основной теме последней песни.

Она открывается классическим для оды мотивом: поэтесса просит вдохновения и красноречия, чтобы «петь». Однако предметом воспевания у Буниной становятся «забавы <...> некоей царицы» [Там же: 177] — что вряд ли можно толковать иначе, как реминисценцию характерных авторских приемов в «Фелице»: сопряжение одической топики с «забавным русским слогом», гибридизация оды и сатиры, «встраивание» одописца в комические и бытовые сцены. Бунина, конечно, писала не оду, а «дидактическое стихотворение», однако поэтическое задание — обращение к «царице» в стихах — с неизбежностью выводило ее к самой важной из русских од последней четверти XVIII в. Когда-то «Фелица» произвела жанровую революцию, повторить ее Бунина не пытается, однако извлекает, как нам представляется некоторые приемы, которые использует по-своему.

Прежде всего, в поэме не сталкиваются столь разнородные жанры, как это сделал Державин: Бунина сплетает оду с идиллией. Другая вероятная параллель — фабульная; в последней песне поэмы «дидактика» становится двигателем сюжета. Напомним, что «богоподобная царевна киргиз-кайсацкая орды» у Державина прежде всего воспитательница, просветительница и наставница своих подданных¹⁵. «Монархиня» в поэме Буниной готовит

¹⁴ Можно предположить, что осложнение сюжетной композиции вставными эпизодами могло восприниматься читателями вроде Батюшкова как «отсутствие плана».

¹⁵ Державин, сочиняя «Фелицу», опирался, как известно, на «Сказку о царевиче Хлоре» Екатерины II — написанную для вел. кн. Александра Павловича. Воспитанием старших сыновей Павла Петровича и Марии Федоровны императрица взялась руководить сама, и «Сказка...» была написана ею в 1781 г. с ясной целью: странствие юного царевича Хлора в поисках «розы без шипов, которая не колется» — вариант традиционного для дидактической литературы сюжета «путешествие за знанием/мудростью». Сказка о Хлоре и позднее написанная «Сказка о царевиче Февее» (1783) должны были воспитывать в великих князьях христианскую добродетель, учить подчинять страсти разуму и т. п. В «дидактическом стихотворении» Буниной нет собственно путешествия, но ее аллегорические картины иллюстрируют тот же комплекс

«князю юному», «отроку прелестному», в честь которого «во граде некоем» устраивается пир, необычный подарок:

На пажитях своих, средь жатвы и долин,
Дает веление состроить многи дома,
Скупить сокровища, Церерою несомы,
Сосуды, кошницы, домашний нужный скот,
И все изъемлюще в хозяйстве от забот.

Возникла светла весь под острою секирой.
Как баснословные Девкалион вдруг с Пиррой,
Бесплодные кремни бросая за хребты,
Зрят их, сменных в чад умильной красоты;
Так взор царицы сей, за словом обращенный,
Зрит чистые поля, вдруг стогами сменны,
Зрит паства, житницы и сельску мирну сень [Бунина 2016: 179].

Царица вручает селянам новые дома: «Вот, дети! — говорит, — вам снедь, одежда, кров; / Вот дома, пажити: владейте самовластно»; а затем поручает «светлу весь» и ее жителей сыну:

А ты,
О юноша! Учись напасти знать народа!
Стезя к любви его нам благодсть, не порода.
Се дар, что нежна мать в сей день тебе блюла!
<... >
Да блеска дворского влекущий, светлый вид,
Мой сын! Очей твоих не отвратит от скорбных!
Да с мягких лет своих, невинных и незлобных,
Познаешь сладость ты деяний благих!
Да средь обилия даров всегда земных
Ты станешь вспоминать убогих недостатки,
Им в жертву принесешь пиров утехи кратки [Там же: 180].

Селяне «стоят, незапностью восторга пораженны», но затем слезы растворяют их молчание и благодарность изливается.

Монархиня, деля восторги чад своих,
За уготованну ведет трапезу их:
Сажает, чествует, как братий угощает;
Вкушая с ними снедь, их счастье вкушает.

представлений. Очевидно, поэма «О счастья» может быть сопоставлена с дидактической прозой Екатерины — через державинское посредство.

Так празднован был пир, краснейший из пиров.
 Се торжество, земных достойное богов! [Бунина 2016: 181].

Этот фрагмент, очевидно, является кульминацией пьесы. Рассуждения о видах счастья, картины «золотого века» и идеальной жизни в умеренности и труде ведут именно к этому эпизоду, кажется, не имеющему явных литературных прототипов. «Дидактическое стихотворение», посвященное «предмету важному», по словам Батюшкова, перетекает в идиллические картины и разрешается одой, написанной с оглядкой на «великого предшественника» и с опорой на его ключевые тексты (с магистральной темой места поэта в обществе — для Буниной, очевидно, важной).

Однако оды всегда были стихами «на случай», а поэма Буниной, сколько нам известно, до сих пор не связывалась с какими-либо событиями придворной жизни, что ставит под сомнение предложенную трактовку. Биография поэтессы известна далеко не полно, в ней есть лакуны, а ряд сведений весьма гипотетичен. Но из имеющихся данных и из приведенных цитат (нарочито поэтому пространных) можно, кажется, определить, где находился источник вдохновения Буниной. Это, конечно, жизнь «малого» двора, двора вдовствующей императрицы Марии Федоровны и «павловская идиллия», которую императрица строила много лет и которую, в конечном счете, воспел В. А. Жуковский в стихотворениях середины и второй половины 1810-х гг. Павловская резиденция и парк сложились в единый ансамбль благодаря многолетним усилиям вдовствующей императрицы: она строила в них символически насыщенное пространство «семейного рая» и одновременно памятник семье (фоном ему служила продуманная и выстроенная сельская пастораль). Многочисленные посетители Павловска отмечали исключительную продуманность и смысловую плотность этого пространства, которые ставили в заслугу неустанно заботившейся о своем Павловске Марии Федоровне (см. об этом соответствующие главы книги М. И. Семевского «Павловск: Исторический очерк и описание. 1777–1877» [Семевский: 11–286]). Она занималась не только строительством и внутренним устройством дворца, но и организацией вокруг него идеального хозяйства (не только в видах практических нужд). Ферма, мастерские, окружающие Павловск деревни, училища, инвалидные дома — все это находилось под контролем императрицы и работало под ее попечением. Дети, младшие из великих князей и великие княжны, были также привлечены к трудам матери — это было частью педагогики Марии Федоровны, сентиментальной, но неуклонно-строгой.

Точно локализовать события, отразившиеся в финальной части поэмы Буниной, мы пока не можем. Однако известно, что в 1809 г. началось серьезное

обучение младших великих князей, Николая и Михаила Павловичей, и к ним были приглашены университетские преподаватели, чтобы готовить «юных князей» к будущей великой миссии. В числе этих преподавателей был Андрей (Генрих) Шторх, библиограф и экономист, основатель российской статистики. Еще в 1799 он стал учителем великих княжон, в 1801 г. приглашен чтецом к Марии Федоровне, а в 1809 начал преподавать политическую экономию великим князьям Николаю и Михаилу. В 1803 г. он выпустил сборник своих писем о Павловске на немецком языке [Storch].

Можно предположить, что Мария Федоровна задумала для одного из сыновей своеобразную практику по управлению, оформив ее как передачу под его начало «образцового хозяйства» павловской деревни. Строительство такой «образцовой» деревни по проекту К. Росси (Глазова или Глазово) — более поздний проект, около 1815 г., однако в 1802–1805 гг. в Павловске по распоряжению Марии Федоровны была основана Ферма, как пишет М. И. Семевский, с двойной целью — «улучшение скотоводства соседних деревень <...> и практическое обучение девушек из простого сословия [преимущественно из воспитанниц Воспитательного дома] уходу за домашней скотиной, доенью, сбору молочных скопов, выделке масла, и проч.» [Семевский: 381]¹⁶.

Но этой целью (дидактической) место Фермы в «павловской идиллии» не ограничивалось. Семевский отметил, что она была «любимым местом для прогулок и собраний» павловского общества, вдовствующая императрица проводила на Ферме много времени, занимаясь хозяйством, чтением, рукоделием, принимая гостей. В описании подчеркивается (со ссылкой на мемуары А. Г. Вилламова, сына секретаря Марии Федоровны) «домашняя», патриархально-идиллическая особенность этих приемов, в которых участвовали не только придворные, но и «дети летних обитателей Павловска» (т. е. тех семейств, которые снимали в Павловске дачи):

...Мария Федоровна устраивала при дворе завтраки с танцами (*déjeûners dansants*) или вечеринки, на которых этот маленький люд веселился от души, нимало не стесняясь присутствием императрицы, которая сама поощряла его к тому [Там же: 140].

¹⁶ Семевский перечислил в своем описании убранства залы главного павильона Фермы среди других вещей, принадлежавших Марии Федоровне, книги — вполне характеризующие ее ориентиры при создании символического пространства Павловска: «французский перевод “Георгик” Вергилия, “Идиллии” Геснера, “Сады” Деллия, “Месяцы” [les Moins] Руше, и т. п.» [Семевский: 384].

Ферма и ее быт были устроены так, чтобы подчеркнуть пасторальный, идиллический модус места. П. П. Свињин, конечно, не считается надежным информантом¹⁷, но его описание Фермы, как видится, суммирует самые характеристические ее черты в представлении современников — это рустический парадиз:

Приехавши в Ферму, найдешь на правой руке деревенский домик. Войдя в него, и как бы чародейскою силою почувствуешь себя перенесенным в великолепные палаты. Сюда приезжает Повелительница мест сих, и, слагая венец и порфиру, делается простою хозяйкою. Императрица Мария Феодоровна нередко угощает здесь детей своих и подданных. Ежегодно, по окончании жатвы, накрываются столы в домике и на дворе, созываются все крестьяне и работники и при лице своей Матери торжествуют совершение полевых работ <...>. В горницах, во всех местах поставлены фарфоровые вазы и чаши хрустальные. Их ежедневно наполняют свежим молоком и отсылают по разным павильонам в сад для прогуливающихся, коим предлагается сверх того сыр, масло и белый хлеб. На левой руке находится скотный и птичий двор. Здесь серна и собака бегают вместе, кошка играет с молоденькими фазанами. Смелость и ручность всех находящихся здесь животных припоминают золотой век, когда человек не наводил еще собою им ужаса [Свињин: 47].

Пространство Павловска, выстроенное Марией Федоровной как развернутый символически насыщенный «текст» — как «пространств[о] меланхолии, связанной с семейными воспоминаниями» [Савицкий], — не было изотропным. Наряду с мемориальными локусами, предназначенными для элегических эмоций, в нем находились иные участки, в которых сочетались дидактика с пасторалью, идиллия с назиданием. Заложенные в павловском пространстве смыслы нуждались в истолковании; направляла его сама Мария Федоровна (она довольно много писала — детям, придворным, служащим Павловска), однако необходима была литературная, прежде всего поэтическая экспликация. Прецедентный символический локус находился совсем недалеко, между Павловском и Царским Селом — Александрова дача с садом, спланированной Екатериной для вел. кн. Александра Павловича как иллюстрация «Сказки о царевиче Хлоре»; и ставшая, в свою очередь, объектом поэтической дескрипции в поэме С. С. Джунковского «Александрова, увеселительный сад его императорского высочества благоверного государя и великого князя Александра Павловича»¹⁸.

¹⁷ А. С. Пушкин недаром назвал свою саркастическую «сказку», метившую в Свињина-журналиста, «Маленький лжец».

¹⁸ Распоряжение об устройстве дачи было дано императрицей, но устройством дачи и парка занимались, как отмечает Э. Кросс, великий князь и прот. Андрей Самборский, его духовник и

Дача и сад еще в конце 1780-х перешли во владение гр. Салтыкова и вскоре пришли в запустение, но их облик сохранился в поэме, вышедшей отдельным изданием (с гравюрами) в 1793 и повторно напечатанной в 1794 г. Хотя она не имела литературных достоинств («стихи, даже и для своего времени весьма дубоватые» [Семевский: 83]), и реакция Екатерины на подношение ее неизвестна, но карьера автора после публикации пошла в гору: Джунковский был поставлен учителем английского языка при дочерях Павла Петровича и Марии Федоровны. Очевидно, не стоит искать в сочинении Джунковского источники вдохновения Буниной, да и для Марии Федоровны память о воспитательной политике ее свекрови вряд ли была отрадна¹⁹, однако поэма, воспевавшая императрицу как создательницу совершенного земного сада для «улады мысли и зренья» подданных, а прежде всего — ее детей, очевидно, является необходимым фоном для историко-культурного анализа поэмы Буниной. Для самой поэтессы, как мы старались показать, важнейшим из поэтов-предшественников был Державин, и его «Фелица» важна как прецедентный текст²⁰, но и Джунковский, снабдивший свою поэму об «увеселительном саде» для великого князя пространством посвящением императрице²¹,

законоучитель, известный также пропагандист современных принципов агрономии, выучившийся им в Англии и пытавшийся перенести на русскую почву: “Samborskii’s agricultural pursuits during the rest of Catherine’s reign were of necessity in a minor key, but he took the opportunity to instruct his imperial charges in the delights and comforts of a farmer’s life after the English manner on his estate at Belozerka between Tsarskoe Selo and Pavlovsk; he also assisted Grand Duke Alexander in the laying out of a garden at nearby Aleksandrova. This garden was planned as a representation of Catherine’s allegorical *Skazka o tsareviche Khlore* (“The Tale of Prince Chlorus”, 1781), complete with grotto and temples of Ceres, Felitsa and “The Rose without Thorns” (i. e., Virtue), set among the hills, woods and lake of an English landscape garden. When Dzhunkovskii returned from England, the first task he was given by Samborskii was to write a descriptive poem about the garden which Samborskii presented to the empress in 1794” [Cross 1980: 43]. Об участии Самборского в создании «Александровой» см. подробнее [Cross 1975].

Пользуюсь случаем поблагодарить анонимного рецензента за указание на труды Э. Кросса. Ряд замечаний и рекомендаций рецензента позволили мне заметно дополнить очерк контекста бунинской поэмы.

¹⁹ В 1810 г. поэма «Александрова» была вновь издана в Харькове, однако причины републикации неизвестны, как и дальнейшая судьба издания. До Буниной новое издание, конечно, не успело бы дойти, ее поэма была опубликована летом 1810 г.

²⁰ Державин, который принадлежал к кругу Марии Федоровны (и изобразил ее *Добродой* в стихотворении «Зима» 1805 г.), интересовался ее хозяйственными новациями, в частности прядильной машиной, выписанной Марией Федоровной из Англии, и этот интерес оставил след в его стихах; см. об этом в подробном разборе «Жизни Званской», представленном в монографии Т. Смоляровой [Смолярова: 391, 403–404, 414–415].

²¹ Отметим сопряжение просветительно-дидактической идеи с пространственной метафорикой в посвящении к поэме («увеселительный сад» — для воспитания более, нежели для развлечения; курсив наш): «Счастливая Россия начинает уже во всем своем пространстве вкушать плоды *доброто воспитания*. Великое начало и поразительный пример оного показала ты,

достойн здесь упоминания. Напоследок приведем фрагмент из начала «Александровой», который, как нам видится, подтверждает правомерность соотнесения (курсив наш):

В немногие еще Россия годы
 Вкусила *все возможны счастья роды*.
 Возникнул Росс, любимый Неба сын,
Фелице Божеством во власть врученный,
 И храбрый в друг и в *мыслях просвещенный*
 Из *отрока* явился исполин [Джунковский: 2].

Бунина могла узнавать о событиях в Павловске и сама, и через генерала Ахвердова, учившего младших Павловичей. Ее осведомленность дополнительно подтверждается появлением во второй части «Неопытной музыки» (1812) стихотворения «На случай детского пиршества, бывшего в Павловске 1810 года июня 16 дня» [Бунина 2016: 217–219]. Конечно, поэма «О счастье» не могла быть написана по этому поводу — текст почти в тысячу стихов к тому времени уже готовился к печати или даже был напечатан. Поэтесса взялась за предмет «философический», «слишком важный для дамы» — и развернула его, демонстрируя свои авторские возможности, апеллируя к высокой традиции, от «древних» до «новых», от Горация и Вергилия до Державина. Последний был для нее особенно важен, так как он, «гражданин-поэт», пел царей, не поступаясь своими взглядами — это позволяла делать его специфическая позиция, обращение к «домашней» маске монархини-«Фелицы». Бунина воспела павловские «забавы» Марии Федоровны, окружив их чувствительной «философией счастья», сочетала одический и идиллический регистры, что придает ее поэме двойную перспективу: придворные читатели видят павловскую, «домашнюю», другие — «философскую» и идиллическую, — при этом обе преломляются через «дидактическую» призму (наставление и просвещение — цели и «царицы» в поэме, и «робкой певички»), горацанский принцип соединения «пользы и удовольствия» (*delectare et prodesse*).

Двойственность здесь сыграла дурную шутку с Буниной: ее поэма, соединившая оду и идиллию (почтенные, но неактуальные жанры), быстро

несравненная монархиня, на собственных твоих возлюбленных внуках <...> Александре Павловиче и Константине Павловиче, образовав их наставление достойно царственной крови. Десница Твоя, начертавшая глубокомысленные и прозорливые законы, изобразила в приятных притчах нравственность для напоения душ высоких Твоих воспитанников. Тако самые великие нравоучители, ведая силу притчей, употребляли оные с успехом не токмо в воспитании младенцев, но и в управлении мужей» [Джунковский: б. п.].

устарела. Символическое пространство Павловска нуждалось в другом певце, поющем в другом регистре, сентиментально-элегическом и романтическом. Таким певцом немного позже и стал В. А. Жуковский, написавший «Славянку» и другие «павловские» стихотворения (см. об этом, напр., [Савицкий]). А Буниной достались пенсия и попечительное внимание царской семьи, о ее отношениях с которой известно, очевидно, далеко не все.

Литература

Батюшков: *Батюшков К. Н.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1989.

Бунина 2016: *Бунина А. П.* Неопытная муза: собрание стихотворений / Вступит. ст. М. Нестеренко; сост. и подгот. текста М. Амелина; биогр. хроника и примеч. М. Амелина и М. Нестеренко. М., 2016.

Грот: *Грот К. Я.* Поэтесса Анна Петровна Бунина (К 100-летней годовщине ее смерти 4 декабря 1829 г.). С.-Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 281, оп. 1, д. 12, л. 128, 129, 137–186 / Оцифровка и оформление Е. К. Федорова. https://ostrov.ca/kgrot/ap_bunina.htm

Джунковский: *Джунковский С. С.* Александра, увеселительный сад его императорского высочества благоверного государя и великого князя Александра Павловича. СПб., 1793.

Жуковский: *Жуковский В. А.* Писатель в обществе // Жуковский В. А. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4: Одиссея. Художественная проза. Критические статьи. Письма. М.; Л., 1960.

Письма Нелединского-Мелецкого: Из писем Ю. А. Нелединского-Мелецкого к Е. И. Нелидовой (1797–1809) // Русский архив. 1873. № 11. Стлб. 2172–2202.

Нестеренко: *Нестеренко М. А.* Уроки «Неопытной музы» // Бунина А. П. Неопытная муза: собрание стихотворений. М., 2016.

Проскурин: *Проскурин О. А.* Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000.

Савицкий: *Савицкий С.* Повторение прогулки. «Славянка» В. А. Жуковского в контексте литературы о парках // *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia X: «Век нынешний и век минувший»*: культурная рефлексия прошедшей эпохи: В 2 ч. Ч. 1. Тарту, 2006.

Свиньин: *Свиньин П. П.* Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей. СПб., 1997.

Смолярова: *Смолярова Т.* Зримая лирика. Державин. М., 2011.

Стогов: *Стогов Э. Н. П.* Семенов и А. П. Бунина // *Русская старина*. 1879. № 1.

Хвостов: *Хвостов Д.* Записки / Публ. А. В. Западова // *Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения*. Т. 1. М.; Л., 1938.

Cross 1975: *Cross, A.* Dzhunkovski's "Alexandrova": Putting Samborskii in the Picture // *Study Group on Eighteenth-Century Russia (Newsletter)*. 1975. № 3.

Cross 1980: *Cross, A.* "By the banks of the Thames": Russians in Eighteenth Century Britain. Newtonville, Mass., 1980.

Rosslyn 1996: *Rosslyn, W.* Anna Bunina's 'Unchaste Relationship with the Muses': Patronage, the Market and the Woman Writer in Early Nineteenth-Century Russia // *The Slavonic and East European Review*. Vol. 74. № 2 (Apr., 1996).

Rosslyn 1997: *Rosslyn, W.* Anna Bunina (1774–1829) and the Origins of Women's Poetry in Russia // *Studies in Slavic Language and Literature*, vol. 10. Cambridge, 1997.

Storch: *Storch, H.* Briefe über den Garten zu Pawlowsk, geschrieben im Jahr 1802. St. Petersburg, 1803.

Vowles: *Vowles, J.* The Inexperienced Muse: Russian Women and Poetry in the First Half of the Nineteenth Century // *A History of Women's Writing in Russia* / Ed. by A. M. Barker and J. M. Gheith. Cambridge University Press, 2004.

«АПОЛОГИЯ БЕЗУМНОГО» ПЕТРА ЧААДАЕВА: РЕДАКЦИИ И КОНТЕКСТЫ

МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ

В статье вводятся в научный оборот новые редакции «Апологии безумного» П. Я. Чаадаева. Новонайденные источники позволяют уточнить датировки создания «Апологии» и помогают ответить на вопрос, имеющий более широкое методологическое значение: как датировать текст в тех случаях, когда точное определение времени его появления на свет затруднено? Возможна ли реконструкция исторического контекста, внутри которого текст обретает свою семантику?

Ключевые слова: П. Чаадаев, «Апология безумного», текстология, история политической мысли, реконструкция исторического контекста.

Mikhail Velizhev. “Apology of a Madman” by Peter Chaadaev: the manuscript copies and the historical contexts

The article introduces new manuscript copies of Peter Chaadaev’s “Apology of a Madman”. Newly discovered sources make it possible to clarify the dating of the “Apology” and help answer a question of broader methodological significance: how to date a text when it is difficult to determine the exact time of its appearance? Is it possible to reconstruct the historical context within which the text finds its semantics?

Keywords: P. Chaadaev, “Apology of a Madman”, textual criticism, history of political thought, historical contextualization.

«Апология безумного» Чаадаева — один из самых знаменитых и канонических текстов русской политико-философской традиции XIX в. Между тем степень известности этого сочинения обратно пропорциональна нашим знаниям о нем. «Апология» была впервые опубликована на языке оригинала, по-французски, в 1862 г., уже после смерти Чаадаева, в составе издания его сочинений, подготовленного И. С. Гагариным [Gagarin: 126–152]. Известны две редакции текста, одна из которых, более пространная, так до сих пор и не датирована. Как следствие, контекст чаадаевского высказывания реконструировать почти невозможно. Фундированный комментарий к «Апологии», по сути, отсутствует; множество референциальных

отсылок, которые делает Чаадаев к другим текстам, остаются непроясненными. Даже с русскоязычным названием «Апологии» есть проблемы. Традиционно она именуется «Апологией сумасшедшего», между тем как Д. И. Шаховской, а затем А. Л. Осповат, с полным основанием настаивали, что такой перевод неудачен, поскольку он заставляет проводить параллели между чаадаевским текстом и «Записками сумасшедшего» Н. В. Гоголя (см.: [Шаховской: 367; Осповат 1992: 231]; см. также: [Велижев 2010: 722–723]). Куда более правильно передавать название “Apologie d’un fou” как «Апология безумного» или «Апология безумца» (тем более, что сам Чаадаев именно так порой подписывал свои письма в 1830-е гг.). Этого варианта держимся и мы. В статье мы введем в научный оборот еще одну редакцию «Апологии» и попробуем показать, какие следствия новый вариант может иметь для интерпретации текста.

Итак, на данный момент известны две редакции «Апологии безумного»: «ранняя» и «поздняя» (подробнее см.: [Велижев 2010: 723–724]). Многочисленные различия между версиями носят скорее стилистический характер, за несколькими исключениями: в поздней редакции Чаадаев убрал ряд фрагментов, связанных с обстоятельствами скандала 1836 г., дописал финал, а кроме того, поставил к тексту другой эпитаф¹. Впрочем, о *финале* редакций следует говорить с осторожностью, поскольку обе версии фактически обрываются на полуслове. Ранняя редакция — это копия текста, полученного А. И. Тургеневым от самого Чаадаева в 1837 г.; она была опубликована М. О. Гершензоном по рукописи из Тургеневского архива [Гершензон: 29–40]. Как установил Осповат, 15 апреля 1837 г. Тургенев записал в дневнике: «Опять в <Московский> Архив <Коллегии иностранных дел>, к <А. Я.> Булгакову <...> — и к Чаадаеву, где слышал исповедь его о России и о Петре I» (цит. по: [Осповат: 230–231]). Речь шла о первом варианте «Апологии». Поздняя редакция, для датировки которой мы не располагаем даже косвенными данными, известна лишь по изданию Гагарина 1862 г. Ранняя редакция заканчивается пассажем, посвященным «Ревизору», в поздней Чаадаев разворачивает подробную инвективу против комедии Гоголя. Предположим, что этот фрагмент был написан до 1847 г., поскольку отрицательный отзыв о «Ревизоре» едва ли мог быть дополнен после выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями». На фоне шквальной критики в адрес книги и ее автора Чаадаев, как мы думаем, вряд ли

¹ О новых смыслах, возникающих в связи с переменной эпитафой, см.: [Велижев 2021: 483–492].

бы решил присоединиться к обвинителям Гоголя, благо, автор «Философических писем» был в числе немногих современников, относившихся к «Выбранным местам...» с сочувствием². Таким образом, завершение работы над ранней редакцией следует отнести к середине апреля 1837 г., поздняя, вероятно, была создана в промежутке между 1837 и 1847 гг.

Третья редакция «Апологии» находится в Отделе письменных источников Государственного исторического музея, в фонде «Материалы по истории культуры России XVIII – начала XX веков из коллекции Петра Ивановича Щукина» (ОПИ ГИМ. Ф. 83. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 22–30³). Речь идет о писарском списке, условно датируемом 1840-ми гг. и озаглавленном «Apologie d'un fou. Сочинение Петра Яковлевича Чаадаева». Как текст попал в коллекцию Щукина и по чьему заказу он был скопирован, нам (пока) не известно. Новонайденный текст не совпадает ни с ранней, ни с поздней редакциями «Апологии», фактически представляя из себя промежуточную версию, которая сочетает элементы обоих известных вариантов. В «щукинском» списке отсутствует эпитафия и первая фраза трактата в его поздней редакции («Милосердие, говорит ап. Павел, все терпит, всему верит, все переносит: и так, будем все терпеть, все переносить, всему верить, — будем милосердны» [Чаадаев 2010: 279, 392]. Тем не менее заканчивается текст таким же образом, что и поздняя редакция, то есть указанием на географию России как первостепенный факт, который необходимо учитывать при анализе ее исторической судьбы.

Если мы сопоставим тексты двух уже известных редакций и третий вариант статьи, то выяснится, что в последнем автор приблизительно в 70% случаев следует за поздней редакцией, в 30% — за ранней. Кроме того, имеются отдельные (немногочисленные) случаи, когда Чаадаев вводит вариант, отсутствующий в двух опубликованных прежде версиях. В особенности интересна финальная часть текста, которая наличествует только в поздней редакции «Апологии». Вот так (в оригинале и в переводе) выглядит одно из суждений Чаадаева о «Ревизоре»:

Serait-ce donc que l'esprit sérieux qui aura profondément médité sur son pays, sur l'histoire, sur le caractère du peuple, sera condamné au silence parce qu'il ne pourra pas faire entendre par la bouche d'un histrion le sentiment patriotique qui l'opresse! [Там же: 292];

Неужели же серьезный ум, глубоко размышлявший о своей стране, ее истории и характере народа, должен быть осужден на молчание, потому что он не может

² См.: [Чаадаев 1991: 1, 198–204], письмо к П. А. Вяземскому от 29 апреля и 10 мая 1847 г.

³ В настоящее время мы готовим текст третьей редакции «Апологии безумного» к печати.

устами скomorоха высказать патриотическое чувство, которое его гнетет! ([Чаадаев 2010: 307], с изменениями).

В третьей редакции этот фрагмент выглядит иначе:

Serait-ce donc qu'il n'est permis d'instruire son pays qu'à travers les eclats de rire de la cohue? serait-ce donc que l'esprit sérieux qui aura profondément médité sur sa patrie, sera condamné au silence, parce qu'il ne pourra pas faire entendre par la bouche d'un histrion le sentiment patriotique qui l'opprime?⁴;

Неужели позволено просвещать свою страну только с помощью хохота шумной толпы? Неужели же серьезный ум, глубоко размышлявший о своем отечестве, должен быть осужден на молчание, потому что он не может устами скomorоха высказать патриотическое чувство, которое его гнетет?

Чаадаев усиливает и без того резкий отзыв о комедии Гоголя. Кроме того, он вводит понятие «отечество» (“patrie”), которое, вероятно, выбрано во многом по стилистическим соображениям, поскольку оно позволяет автору не использовать слово «страна» (“pays”) дважды в одном предложении. При всем том, понятие «отечество» гораздо более многослойно, чем понятие «страна». В частности, по этой причине в поздней редакции, где Чаадаев предпочел написать «страна», ему потребовалось уточнение — о «ее истории и характере народа», отсутствующее в представляемом нами списке. Наконец меняется интонация фрагмента. В поздней редакции «Апологии» анализируемое предложение оканчивается восклицательным знаком и выглядит как сильное утверждение. Между тем в третьей редакции в этом фрагменте мы находим два вопросительных знака, причем эффект вопрошания умножен повтором частицы «неужели».

Кроме того, две редакции расходятся в определении русского народа, в утверждении: «мы любим наше отечество еще на манер тех юных народов, которых еще не тревожила мысль, которые еще отыскивают принадлежащую им идею...» [Там же]. В поздней редакции Чаадаев использовал слово “adolescent” [Там же: 292], в третьей — “jeune”⁵. Разница существенна: “adolescent” относится прежде всего к подростковому возрасту и связано с тематикой детства и несовершеннолетия народа, которая, по видимому, прямо восходит к статье И. Канта «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» (1784), где способности самостоятельного суждения выступают главным критерием взросления (см.: [Кант: 26–28]). “Jeune” — гораздо более широкое понятие, которое отсылает уже не к Канту, а скорее

⁴ ОПИ ГИМ. Ф. 83. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 29 об.

⁵ Там же.

к И. Г. Гердеру с его концепцией молодых народов, которые обретут силу в будущем, поскольку они по объективным органическим причинам развиваются медленнее так называемых «цивилизованных» наций [Гердер: 263–264 и др.]. Так выбор имени прилагательного меняет контекст философского прочтения чаадаевского высказывания. Более того, процитированная фраза в третьей редакции заканчивает иначе — Чаадаев вводит эффектный афоризм. Вместо «юных народов, которых еще не тревожила мысль, которые еще отыскивают принадлежащую им идею...» читаем: «юных народов, которых еще не тревожила мысль; мы прекрасно научились служить нашему отечеству руками, но все еще так мало способны быть ему вместо головы...» («ce que nous savons à merveille servir notre patrie de nos bras mais fort peu encore de nos têtes...»⁶).

Третья редакция «Апологии» представляет в наше распоряжение несколько новых афоризмов Чаадаева, однако этим ее функция отнюдь не исчерпывается. Теперь мы можем утверждать, что после 1837 г. автор как минимум дважды возвращался к тексту, перерабатывал его, вносил изменения, искал более точные стилистические решения, дополнял или, наоборот, сокращал отдельные его части. Неясно, какая из редакций — «поздняя» или «третья» — была создана раньше, хотя, вероятнее всего, третью, если можно так сказать, гибридную редакцию следует считать второй по времени создания, а позднюю — третьей. По-видимому, Чаадаев распространял новые редакции текста, поскольку иначе он не оказался бы в распоряжении Гагарина и неизвестного владельца рукописи из щукинского архива. Этот тезис, в свою очередь, приводит нас к более общему методологическому выводу. Тот факт, что Чаадаев продолжал работать над «Апологией» в 1840-е гг., свидетельствует, что по определенным причинам он находил ее по-прежнему актуальной. Мы не знаем, когда именно созданы две поздние редакции, но мы можем попытаться обнаружить историко-политические контексты, наделавшие «Апологию» дополнительными смыслами.

Например, Чаадаев писал уже в ранней редакции «Апологии», созданной, напомним, в апреле 1837 г.:

Но вот является новая школа. Больше не нужно Запада, надо разрушить создание Петра Великого, надо снова уйти в пустыню. Забыв о том, что сделал для нас Запад, не зная благодарности к великому человеку, который нас цивилизовал, и к Европе, которая нас обучила, они отвергают и Европу, и великого

⁶ ОПИ ГИМ. Ф. 83. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 29 об.

человека, и в пылу увлечения этот новоиспеченный патриотизм уже спешит провозгласить нас любимыми детьми Востока. Какая нам нужда, говорят они, искать просвещения у народов Запада? Разве у нас самих не было всех зачатков социального строя неизмеримо лучшего, нежели европейский? Почему не выждали действия времени? Предоставленные самим себе, нашему светлому уму, плодотворному началу, скрытому в недрах нашей мощной природы, и особенно нашей святой вере, мы скоро опередили бы все эти народы, преданные заблуждению и лжи⁷.

В контексте 1837 г. утверждение Чаадаева выглядит некоторой загадкой, которую (как кажется, не вполне успешно) стремились разрешить многие исследователи. Большинство комментаторов ограничивается констатацией того обстоятельства, что речь идет о славянофилах ([Проскурина: 592; Чаадаев 1991: 1, 744]). По мнению З. А. Каменского и М. И. Чемерисской, Чаадаев «фиксирует здесь еще за 2–3 года до этой даты процесс формирования “новой школы”» [Чаадаев 1991, 1: 744], которая сложится к 1839 г. Ш. Кене считал, что Чаадаев имел в виду круг «Московского наблюдателя» во главе с С. П. Шевыревым [Quénet: 264]. Р. Макналли указывал, что Чаадаев подразумевал не только будущих славянофилов, но и официальных публицистов, таких как М. П. Погодин, Н. А. Полевой, А. Ф. Вельтман, С. А. Бурачок и Шевырев [McNally 1969: 253]. В комментарии к сочинениям Чаадаева мы утверждали, что под «новой школой» тот мог иметь в виду группу читателей «Философических писем» — участников салонных дебатов, прежде всего Хомякова и братьев Киреевских, резкость высказываний которых во многом мотивировалась фактом выхода в свет первого письма в «Телескопе» [Велижев 2010: 731]. Подобная интерпретация понятия «новая школа» станет убедительнее, если принять датировку статьи Хомякова «О старом и новом», давно предложенную Н. Н. Мазур, — февраль 1837 г. [Мазур: 185–187]. Впрочем, А. Л. Осповат с основанием датирует обсуждение «О старом и новом» началом 1840 г. [Осповат 2017: 230–231]. Опубликованные и интерпретированные Осповатом документы свидетельствуют, что вне зависимости от того, когда была написана статья (или, вернее, статьи [Велижев 2023: 135–137]) «О старом и новом», в марте 1840 г. Хомяков читал свой текст в московских салонах.

Действительно, если мы поместим «Апологию» в контекст полемик 1840 г., то ее прагматика станет более осязаемой. Хомяков высказывает ряд

⁷ См.: [Чаадаев 2010: 300]; оригинальный текст см.: [Там же: 314].

тезисов, на которые в несколько утрированной форме возражает Чаадаев в «Апологии»⁸:

1) «больше не нужно Запада». В допетровский период российской истории, согласно Хомякову, Запад «был совершенно чужд» России, отсюда следует, что фаза «сознающего себя» возвращения к Древней Руси в современном обществе подразумевает отказ от западного культурного влияния;

2) «надо разрушить создание Петра Великого». Хомяков считал, что Петр «ударил по России, как страшная, но благодетельная гроза», «много ошибок помрачат славу преобразователя России, но ему остается честь пробуждения ее к силе и к сознанию силы». «Эпоха создания государственного», связанная, согласно Хомякову, с деятельностью Петра I, закончилась, «настало для нас время понимать, что человек достигает своей нравственной цели только в обществе, где силы каждого принадлежат всем и силы всех каждому». Последний тезис подразумевает сознательное, а не «случайное» «воскрешение Древней Руси» с «простотой дотатарского устройства областного», с ее «патриархальным бытом», «закона справедливости и любви взаимной», а также с чистотой православной церкви, то есть в сущности уход от той России, которую построил Петр;

3) «надо опять уйти в пустыню». Говоря о развитии восточного христианства, Хомяков писал:

Мысль, <утомленная> тщетною борьбою с внешностью быта общественного и государственного, уходила в пустыни, в обители Египта и Палестины, в горные монастыри Малой Азии и Эллады. Туда-то лучшие, избранные души уносили из круга гражданского красоту своей внутренней жизни, и, удаляясь от мира, которого они не хотели и который не мог им покориться, они избрали поприще созерцания, размышления, молитвы и духовного восторга. В них жило все прекрасное и высокое, все то, что не осуществлялось современным обществом.

Более того, отзыв Чаадаева о славянофилах как «новой школе» оказывается почти полностью созвучен оценкам этого направления мысли в письмах Грановского рубежа 1839 и 1840 гг. Грановский писал Станкевичу 27 ноября 1839 г.:

Ты не можешь себе вообразить, какая у этих людей философия. Главные их положения: запад сгнил и от него уже не может быть ничего; русская история испорчена Петром, — мы оторваны насильственно от родного исторического основания и живем наудачу... вся мудрость человеческая истощена в творении

⁸ Ниже мы цитируем текст статьи (статей) Хомякова «О старом и новом» по изданию: [Хомяков: 11–29]. Об отношениях Чаадаева и Хомякова в целом см.: [McNally 1966].

св. отцов греческой церкви, писавших после отделения от западной. Их нужно только изучать: дополнять нечего, все сказано [Грановский: 369–370].

Можно с осторожностью предположить, что в 1837 г. Чаадаев мог отсылать к устному обсуждению ключевых тезисов первого «Философического письма», преувеличив в полемических целях его влияние. В начале 1840 г. программные утверждения Чаадаева о появлении «новой школы» стали чрезвычайно актуальны. Увидев, что его пророчество сбылось, автор «Апологии», вероятно, вернулся к тексту трактата и вновь отредактировал его. Никаких текстологических оснований относить третью или позднюю редакцию к 1840 г., разумеется, у нас нет, однако изменения в московской интеллектуальной жизни — например, открытие влиятельного салона в доме И. В. Киреевского, где, в частности, происходили дебаты вокруг статей Хомякова — подсказывают, что в этот момент «Апология» могла быть прочитана иначе: в частности, вопросов о том, что такое «новая школа», больше не возникало.

Список «Апологии безумного» из щукинской коллекции ОПИ ГИМ — не единственный случай такого рода. Еще одна версия чаадаевского текста хранится в фонде С. Д. Полторацкого в отделе рукописей РГБ (Ф. 233. К. 12. Ед. хр. 10. Л. 1–12 об.). Перед нами вариант поздней редакции: список Полторацкого приблизительно на 80–85% с ней совпадает. Впрочем, совпадение не является полным. Так, в финале, посвященном гоголевской комедии, имеется целый ряд расхождений с поздними версиями трактата. Например, вместо формулы “patriotisme réfléchi” («разумный патриотизм»), присутствующей в поздней и третьей редакциях, Чаадаев пишет “patriotisme raisonné”⁹. Кроме того, в списке Полторацкого есть целые предложения, которых нет в третьей и поздней версиях. Например, Чаадаев пишет о русском народе:

Поздняя редакция (оригинал): le peuple russe faisait preuve d'une haute sagesse, qu'il reconnaissait ainsi la loi suprême de ses destinées: singulier résultat de deux éléments d'ordre différent, qu'il ne saurait méconnaître sans fausser son être, sans comprimer le principe même de son progress possible [Чаадаев 2010: 292].

Поздняя редакция (перевод): русский народ обнаружил высокую мудрость, так как он признал тем высший закон своих судеб: необычайный результат двух элементов различного порядка, непризнание которого привело бы к тому, что

⁹ ОР РГБ. Ф. 233. К. 12. Ед. хр. 10. Л. 12.

народ извратил бы свое существо и парализовал бы самый принцип своего естественного развития [Чаадаев 2010: 307].

Список Полторацкого: le peuple russe faisait preuve d'une haute sagesse, qu'il reconnaissait ainsi la suprême loi de ses destinées, cette loi qui résulte des combinaisons historiques au milieu desquelles un peuple s'est constitué, qu'il ne saurait méconnaître sans fausser sa nature, sans comprimer le principe de son progrès possible¹⁰.

Перевод: русский народ обнаружил высокую мудрость, так как он признал тем высший закон своих судеб, сей закон служит результатом стечения исторических обстоятельств, в которых сформировался народ, непризнание которого привело бы к тому, что народ извратил бы свою природу, и парализовал бы самый принцип своего естественного развития¹¹.

Мысль Чаадаева остается неизменной, однако высказана она иначе, чем в поздней редакции. Между тем в списке ОПИ ГИМ мы находим еще один вариант этого фрагмента:

Оригинал: le peuple russe faisait acte d'une haute sagesse, qu'il reconnaissait la loi supreme du pays, cette loi qui découle de la nature même des choses, que les peuples ne sauraient méconnaître sans fausser leur être, sans compromettre leur existence...¹².

Перевод: русский народ совершил очень мудрый поступок, так как он признал высший закон страны, высший закон, что вытекает из самой природы вещей, непризнание которого привело бы к тому, что народы извратили бы их бытие и подвергли бы опасности свое существование ...¹³.

Вновь Чаадаев высказывает очень похожий тезис, но с помощью других словесных оборотов. Видно, как автор подбирает выражения, дабы наиболее точно сформулировать свою мысль. Собственно, суть поздних редакций состоит в скрупулезной работе с французским языком, которую он, по видимому, так и не закончил.

Таким образом, становится ясно, что словосочетания «ранняя редакция» или «поздняя редакция» «Апологии безумного» — это понятия весьма относительные. Вернее, если идентичность ранней редакции 1837 г. не подлежит сомнению, то с поздней дело обстоит совсем иначе: существуют как минимум три разных ее варианта, один из которых стал каноническим, по сути, в силу совершенно случайных обстоятельств — благодаря

¹⁰ ОР РГБ. Ф. 233. К. 12. Ед. хр. 10. Л. 12 об.; подчеркивание наше. — М. В.

¹¹ Подчеркивание наше. — М. В.

¹² ОПИ ГИМ. Ф. 83. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 30; подчеркивание наше. — М. В.

¹³ Подчеркивание наше. — М. В.

тому, что Гагарин имел возможность опубликовать в Европе полученную им версию «Апологии». Мы можем констатировать, что в 1840-е гг. Чаадаев регулярно переписывал свое сочинение, и каждый из вариантов текста затем циркулировал в списках.

Между тем копия «Апологии» из фонда Полторацкого датирована. На обложке значится (по-французски) «Апология безумного» Петра Чаадаева. Скопировано в Москве, в субботу, 19 декабря 1842 г.»¹⁴. В левом верхнем углу первого листа рукописи стоит помета «1836». Наконец на последнем листе также находим хронологическое указание: «Закончено в Москве 10 декабря 1845 г.»¹⁵. Указание на 1836 г. очевидно относится к дате первой редакции текста, с характерной небольшой ошибкой, связанной с аберрацией памяти сделавшего запись человека. Далее, текст, законченный в 1845 г., едва ли мог быть скопирован в 1842, поэтому, вероятнее всего, мы имеем дело с ошибкой переписчика: в обоих случаях должна была быть выставлена идентичная дата — либо 1842 г., либо 1845. Учитывая то обстоятельство, что 19 декабря приходилось на субботу именно в 1842 г. (в 1845 г. 19 декабря выпало на среду), скорее всего речь идет именно о 1842 г. Мы предлагаем читать: авторская рукопись (вернее, редакция) закончена в Москве 10 декабря 1842 г., а копия этого текста оказалась окончательно готова 19 декабря 1842 г.

Анализ историко-культурного контекста подкрепляет сделанный только что текстологический вывод. Зимой 1842–1843 гг. в том сегменте московского общества, куда входил Чаадаев, шли бурные дискуссии. В частности, они были посвящены двум статьям Хомякова «О сельских условиях», вышедшим в 6-й и 10-й книге «Москвитянина» за 1842 г. Так, А. П. Елагина писала 29 ноября 1842 г. мужу А. А. Елагину: «Свербеев приехал и великие толки поднимает о статье Хомякова; возми № 10 Моск.<витянина> и прочти»¹⁶. О дебатах у Свербеевых при непосредственном участии автора «Философических писем» сообщал брату находившийся тогда в старой столице Тургенев 15 декабря: «Au lieu d'aller aux plusieurs soirées j'ai passé celle d'hier à discuter de grandes questions littéraires et philosophiques avec Чаадаев, aux pieds de Mme Swerb<eieff> qui comprend et apprécie tout et qui

¹⁴ ОР РГБ. Ф. 233. К. 12. Ед. хр. 10. Л. 1.

¹⁵ Там же. Л. 12 об.

¹⁶ ОР РГБ. Ф. 99. К. 1. Ед. хр. 23. Л. 41 об. – 42; имеется в виду статья «Еще о сельских условиях. Антикритика».

est notre meilleure amie ici-bas” («Вчера я пропустил многочисленные вечера, вместо этого я спорил о великих литературных и философских вопросах с Чадаевым у ног г-жи Сверб<еевой>, которая все понимает и одобряет, она — лучший наш здешний друг») ¹⁷. Вполне возможно, что одним из предметов спора опять же служили тексты Хомякова.

В статьях «О сельских условиях» Хомяков подводил под вопрос о регуляции крестьянского труда историсофскую базу (подробнее см.: [Валицкий: 276–280]). Он аргументировал точку зрения, согласно которой отношения между помещиками и крестьянами прежде всего должны строиться исключительно на обычае: «Нет такой страны, в которой бы люди более или менее не управлялись обычаями; но едва ли есть какая-нибудь часть Европы, в которой обычай был бы так тесно связан со всею жизнью, как в России» [Хомяков: 64]. Хомяков утверждал, что всякое нововведение в России следует соотносить с интуитивным, бессознательным историческим опытом, восходящим к древности, а попытки обратиться к правилам, основанным на рациональном априорном (и заимствованном) знании и писанном законе, откровенно вредны ¹⁸.

Тезисы Хомякова прямо перекликались с ключевыми идеями его статей «О старом и новом», с которыми полемизировал Чаадаев в «Апологии безумного». Прежде всего, речь идет об утверждении, что залогом экономического и культурного процветания современной Хомякову России служит способность ее правительства вернуться к практикам, распространенным в домонгольской Руси и сохранившимся до середины XIX в. в крестьянской среде. Реформы Петра Великого и интенсификация контактов России с Европой объявлялись Хомяковым неактуальными и малопродуктивными. С одним единственным исключением: нынешнее, сознательное и целенаправленное возрождение древних обычаев возможно только в рамках сильного монархического государства, утвердившегося благодаря политике Петра и его преемников. Таким образом, суть петровских преобразований Хомяковым по-прежнему отвергалась, что было совершенно

¹⁷ РО ИРЛИ. Ф. 309. № 950. Л. 200; указано А. Л. Осповатом.

¹⁸ Хомяков отмечал: «Должно признать многие достоинства в самом этом упорстве старины, не легко уступающей нововведениям. Оно служит ручательством в твердости и неизменности быта; а Русский быт, органически возникший из местных потребностей и характера народного, заключает в себе тайну Русского величия. Россия всегда способна к добру, потому что умеет ожидать его от тихого развития своих добрых начал в их государственной полноте, а не рваться к нему с нетерпеливою уверенностью в непреложность временного знания или временных убеждений» ([Хомяков: 64]; см. также другие фрагменты статьи «О сельских условиях» [Там же: 65, 70–71, 73–74] и статьи «Еще о сельских условиях. Антикритика» [Там же: 75–76, 82–83]).

неприемлемо для Чаадаева¹⁹. Вероятно, Чаадаев решил отредактировать «Апологию безумного» в декабре 1842 г. в контексте дискуссий вокруг статей Хомякова «О сельских условиях»: причем он не столько откликнулся на саму проблему отношений между государством, помещиками и крестьянами, сколько подвергал сомнению историческую базу хомяковского рассуждения.

Наконец, *last, but not least*. Благодаря пунктуальности Тургенева мы знаем имена собеседников Чаадаева. Так, 23 декабря 1842 г. Тургенев записал в дневнике:

Заехал к Сверб<ееву> и с ним на почту и к Чаадаеву. Там Росетти, кн<язь> Гагарин, Полтор<ацкий>, Мейендорф, Гарновский [?], Коптев, кн<язь> Мещерский, Герц, Хомяков и пр. Споры кн<язя> Гагар<ина> с Хомяковым за Китай: против англичан. — Парадоксы Хомякова не делают чести его уму — столь просвещенному. <...> К Сверб<еевым> — Полтор<ацкий>, Чаадаев, кн<язь> Гагар<ин> о славянах — не поехал к кн<язю> Гол<ицыну>, и с Сверб<еевым> к Киреевским: Хомяков, кн<язь> Гагар<ин>, Сверб<еев> и пр<очие>. Спор за Китай, за славян и пр. Хом<яков> опять с парадоксами²⁰.

Разумеется, эта запись требует специального комментария — причем уже в связи с рассматриваемым здесь сюжетом. Впрочем, сразу бросается в глаза одно обстоятельство, существенное в контексте нашего разговора: свидетелями и участниками политико-философских дебатов были два человека, в чьих архивах сохранилась рукопись «Апологии безумного»: Полторацкий и Гагарин. Это обстоятельство дополнительно укрепляет нас во мнении, что Чаадаев мог отредактировать свое сочинение именно в ноябре–декабре 1842 г., а затем начать распространять новую редакцию в списках. Конечно, вопрос о точной датировке разных вариантов «Апологии» остается открытым. Впрочем, в качестве итоговой гипотезы рискнем предположить, что третья, гибридная, редакция «Апологии» (ОПИ ГИМ) могла быть создана в 1840 г., редакция из фонда Полторацкого в ОР РГБ — в 1842 г., а поздняя, «гагаринская», редакция представляет собой отредактированную

¹⁹ Ср. отзыв о Москве в 1842 г. В. Ф. Одоевского: «... в Москве живут люди не полурусские, но и не русские, а *православные*, дельные и недельные; одни с фанатизмом роются в рукописях, другие стараются придать разумный смысл философии моих почтенных тетюшек, живущих частью на Покровке, частью на Ордынке, которые нисколько не подозревают такой неожиданной себе чести. Их мысли, речи, деяния — все воплотилось в новое поколение; Запад и все западное предано анафеме, и, как говорит Чаадаев, "Orthodoxie fait des terribles ravages a Moscou" <православие производит ужасные опустошения в Москве>; читаются лишь книги, писанные славянскими буквами, поздравляют друг друга с именинами Кирилла Туровского, многие дамы прочли Карамзина раз шесть сряду» [Одоевский: 104].

²⁰ РО ИРЛИ. Ф. 309. № 319. Л. 190; указано А. Л. Осповатом.

еще позже версию текста, законченную Чаадаевым в промежутке между 1842 и 1847 г.

Литература

Валицкий: *Валицкий А.* В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русско-го славянофильства. М., 2019.

Велижев 2010: *Велижев М. Б.* Комментарий // Чаадаев П. Я. Избранные труды / Сост., вступ. ст. и коммент. М. Б. Велижева. М., 2010. С. 647–942.

Велижев 2021: *Велижев М. Б.* Республиканизм в общественной мысли России первой половины XIX века // *Res publica.* Русский республиканизм от Средневековья до конца XX века / Под ред. К. А. Соловьева. М., 2021. С. 399–505.

Велижев 2023: *Велижев М. Б.* Публичная сфера и политическая мысль: институты полемики в ранней истории западничества и славянофильства // *Институты литературы в Российской империи:* коллект. моногр. / Сост. и отв. ред. А. В. Вдовин и К. Ю. Зубков. М., 2023. С. 131–151.

Гердер: *Гердер И. Г.* Идеи к философии истории человечества. М., 1977.

Гершензон: *Сочинения и письма П. Я. Чаадаева* / Под ред. М. Гершензона. М., 1913–1914. Т. 2.

Грановский: *Т. Н. Грановский и его переписка.* М., 1897. Т. II.

Кант: *Кант И.* Ответ на вопрос... Что такое просвещение? // *Кант И. Собрание сочинений:* В 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 25–36.

Мазур: *Мазур Н. Н.* Жизнь и мировоззрение А. С. Хомякова в «дославянофильский» период: 1804–1837 гг.: дисс. на соиск. уч. ст. канд. филол. наук. М., 2000.

Одоевский: *Одоевский В. Ф.* Заметки о Москве // *Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах.* М., 1994. С. 103–106.

Осват 1992: *Осват А. Л.* Из комментария к текстам Чаадаева (по материалам тургеневского архива) // *Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана* / Отв. ред. А. Мальтс. Тарту, 1992. С. 225–231.

Осват 2017: *Осват А. Л.* Несколько справок о людях и текстах 1830–1840-х гг. // *Замечательное шестидесятилетие. Ко дню рождения Андрея Немзера.* Т. 1. Б. м., 2017. С. 225–242.

Проскурина: *Чаадаев П. Я.* Сочинения / Сост., подгот. текста и коммент. В. А. Проскуриной; вступ. ст. В. А. Мильчиной и А. Л. Освата. М., 1989.

Хомяков: *Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова.* М., 1900. Т. 3.

Чаадаев 1991: *Чаадаев П. Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. / Отв. ред. З. А. Каменский. М., 1991.

Чаадаев 2010: *Чаадаев П. Я.* Избранные труды / Сост., вступ. ст. и коммент. М. Б. Велижева. М., 2010.

Шаховской: П. Я. Чаадаев. Неопубликованная статья / С предисл. и коммент. Д. И. Шаховского // Звенья. М.; Л., 1934. Т. 3–4. С. 364–396.

Gagarin: Œuvres choisies de Pierre Tchadaief, publiées pour la première fois par le P. Gagarin de la compagnie de Jésus. Paris; Leipzig, 1862.

McNally 1966: McNally, R. T. Chaadaev versus Хомjakov in the Late 1830's and the 1840's // Journal of the History of Ideas. Vol. 27 (1966). P. 73–91.

McNally 1969: The Major Works of Peter Chaadaev. A translation and commentary by R. T. McNally. Notre Dame; London, 1969.

Quénet: Quénet, Ch. Tchaadaev et les lettres philosophiques. Contribution à l'étude du mouvement des idées en Russie. Paris, 1931.

ГИБЕЛЬ ПОМПЕИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА: ТЕКСТЫ И КОНТЕКСТЫ Статья первая

АЛЕКСАНДР ДОЛИНИН

Статья представляет собой аналитический обзор «помпейской» темы в русской поэзии на протяжении 80 лет (1821–1901). В русской помпейнаде этого периода выделяются две основные линии. Одна из них восходит к гекзаметрам Шиллера «Помпея и Геркуланум» (Pompeji und Herculanium, 1796), где художнику предложена установка на «оживление» жителей Помпеи и реконструкцию их образа жизни, нравов и вкусов. Ряд поэтов, от Александра Тимофеева до Брюсова, пытались изобразить помпейцев накануне извержения Везувия и тем самым «заселить» «город мертвых». Другая линия, соединяющая историософию с эсхатологией, трактует гибель города как Божию кару за прегрешения или как прообраз конца света. К ней принадлежали в первую очередь М. Дмитриев и неизвестный поэт, подписывавшийся М. П., чей «Последний день Помпеи» (1847) впервые вводится в научных обиход, а завершал ее Мережковский триптихом «Помпея». Особняком стоит «Помпеянка» Мей — единственная в поэзии XIX в. попытка экфрасиса знаменитых помпейских фресок.

Ключевые слова: гибель Помпеи, извержение Везувия, русская помпейнада, Тимофеев, Мей, Мережковский, Брюсов.

Alexander Dolinin. The destruction of Pompeii in Russian poetry of the 19th century: texts and contexts. Part I

The article is an analytical survey of the Pompeian theme in Russian poetry from 1821–1901. It delineates two main trends in the corpus of Pompeian poems of the period. The first derives from Schiller's "Pompeji und Herculanium" (1796) that called for imaginative revival of inhabitants of Pompeii and reconstruction of their way of life, tastes, and manners. Some Russian poets, from Alexander Timofeev to Valery Bryusov, would try to portray Pompeian men and women on the verge of the eruption of Vesuvius and thereby populate "the city of the dead." The second trend combining historiosophy and eschatology interpreted the destruction of Pompeii as God's punishment or an antetype of the last judgement. Its main proponents were Mikhail Dmitriev and an unknown poet whose "The Last Day of Pompeii" (1847) signed with initials M. P. has never been discussed before, while Merezhkovsky's triptych "Pompeii" brought the trend to a conclusion. Apart from both trends, there was Lev Mei's "Pompeian Woman" – the only ekphrasis of Pompeian famous frescoes in Russian poetry.

Keywords: destruction of Pompeii, eruption of Vesuvius, Pompeian theme in Russian poetry, Timofeev, Mei, Merezhkovsky, Briusov.

Гибель большого города принято относить к немногочисленным мировым сюжетам. Разрушенные города в мифологии, фольклоре, исторических преданиях и литературе можно условно разделить на три группы по агентам их разрушения:

1. Города, разрушенные в результате природных катаклизмов — потопов, землетрясений, извержений вулкана и т. п. (классические примеры: ушедшие под воду легендарные Атлантида и Винета, реальные Помпея и Геркуланум и др.).

2. Города, разрушенные завоевателями (Вавилон, Троя, Иерусалим и мн. др. вплоть до Мариуполя; по Борхесу, самый древний из четырех мировых сюжетов).

3. Города, разрушенные по воле Бога за грехи их жителей (Содом, Гоморра и др.).

В русской поэзии XIX в. с ее тяготением к эсхатологии границы между этими группами так или иначе размываются. Для эсхатологического сознания любое уничтожение города может быть интерпретировано как Божия кара и спроецировано на настоящее или будущее, а различные природные катастрофы приобретают общий для всех провиденциальный смысл. В середине XIX в. довольно широкой известностью в России пользовалась «футурологическая» идиллия М. А. Дмитриева «Подводный город», в которой он предрекал, что в некоем отдаленном будущем безбожный Петербург полностью уйдет под воду и даже его нерусское имя будет забыто. Когда постоянная корреспондентка Дмитриева П. М. Бакунина назвала его пророком, он ответил ей стихами: «Я не пророк, я не пророчу / Паденья царств и городов! / Не бойтесь, я не изоручу / Ни дочерей их, ни сынов. / Покуда Божий перст не тронет, / Покуда терпит Бог грехам, / Никто конечно не потонет: / Он запретит своим волнам! / Но кто над бездной, над трясинной, / Тому одуматься — закон! / Вода-ль, огонь ли — все едино, / Винета¹ или Лиссабон! Подводный Йомсбург и Помпея! / Моим свидетелями слов! / Поэт, угадывать не смея, / Предостеречь всегда готов» [Дмитриев: 185]. Для Дмитриева, как мы видим, все природные стихии — вода, огонь, земля, все вызванные ими катастрофы (землетрясения, извержения вулканов, потопа), уничтожающие города, реальные или полумифические, суть карающие орудия Провидения, и та же судьба в любой момент может постичь и современную

¹ М. Д. Чулков в одной из «Славянских сказок» помещает легендарную северную Винету туда, где стоит Петербург: «Во времена древних наших князей, до времен еще великого Кня, на том месте, где ныне Санктпетербург, был великолепный, славный и многолюдный город, именем Винета; в нем обитали Славяне, храбрый и сильный народ» [Чулков: 93].

цивилизацию, которая, подобно ее историческим прототипам, не замечает надвигающуюся казнь. Как писал об этом Дмитриев в более раннем стихотворении («Негодование поэта»): «Но знаю: цирк обсел народ / И ждал — смотреть готов, / Как тигр голодный члены рвет / И лижет кровь бойцов; / А над Помпеей огонь столбом / Уже всходил последним днем!» [Дмитриев: 79].

Сюжет о гибели Помпеи и соседнего Геркуланума пользовался особой популярностью среди поэтов XIX века, как западноевропейских, так и русских, поскольку опирался на все новые и новые открытия археологов и поддавался различным интерпретациям (в том числе, эсхатологическим и проективным). Основную поэтическую традицию начал Шиллер своими гекзаметрами «Помпея и Геркуланум» (*Pompeji und Herculanium*, 1796), получившими широкую европейскую известность. Приведу начало стихотворения в прозаическом переводе М. А. Яковлева, который был напечатан в июльском номере журнала «Новости литературы» за 1824 г. под названием «Геркулан и Помпея (Из Шиллера)»:

Какое чудо совершается? Земля! Мы просили у тебя прохладительного источника; но что извергло нам недра твои? Неужели есть жители в безднах? Неужели под лавою обитают новые племена? Прошедшее! Возвратись! Греки, Римляне! Придите и взирайте: древняя Помпея воскресает и снова зиждется град Геркулесов! [Новости: 26–27]².

Шиллера восхищают древние города, извлеченные из-под земли благодаря счастливой случайности³ и сохранившиеся, как он полагал, в первоизданном виде:

Обширные стогны открылись взорам. Возвышенная, узкая дорожка тянется вокруг домов. Сенистые кровли возносятся над зданиями; чистые комнаты окружают уединенный двор. <... > Посмотрите на сей длинный ряд чистых скамеек; посмотрите, как от пестрых камней летят сверкающие искры. Какою свежестию

² В XIX в. были опубликованы два поэтических перевода стихотворения, И. Крешева (1842) и Ф. Миллера (1845). В 1980-е годы в архиве Жуковского обнаружили и атрибутировали черновик его перевода двадцати двух из пятидесяти шести стихов подлинника, который предположительно датируется 1831 г. [Лебедева: 532–536; Жуковский: 271, 657–658].

³ Шиллер отсылает к анекдоту о том, как был открыт Геркуланум, известному ему по описанию итальянского археолога Никколо Марчелло ди Венути (см.: [Venuti: 54–55]). По-русски этот анекдот был изложен В. И. Классовским в книге «Помпея и открытые в ней древности с очерком Везувия и Геркуланума»: «... случайно открыли Геркуланум следующим образом: маркиз Эммануил д'Ельбеф (d'Elbeuf) построил для себя дворец в Портичи, и, намереваясь отделать его в древнем вкусе, купил в 1711 году несколько превосходных мраморов у крестьянина, который, копая колодезь, вырыл их из земли. Это приобретение побудило маркиза к покупке поля, где водились подобные вещи, и при первом взрытии труда и ожидания его не только вознаградились замечательными находками, но, что гораздо важнее, — открытием, что купленная им недавно сокровищница есть древний Геркуланум» [Классовский: 38–39].

блистает стена, яркими красками покрытая. Но где Художник? Он только что бросил кисть. Роскошные плоды, со вкусом расположенные цветы украшают сии прелестные изображения. Здесь, с полною корзиною крадется Амур; там Гении прохлаждают пурпуровое вино, здесь в неистовом восторге пляшет Вакханка, там другая покоится в сладкой дремоте [Новости: 27].

Шиллер, который не видел Помпею и Геркуланум, полагаясь только на их описания, конечно же, преувеличил сохранность раскопанных городов, но это преувеличение было необходимо, чтобы создать контраст между материальным миром древности и его полным безлюдием и безмолвием. Только поэтическое воображение, полагал он, способно восполнить страшную, пугающую пустоту, не-бытие в буквальном смысле этого слова, способно оживить «города мертвых», и Шиллер хочет воскресить их жителей — актеров, ликторов, судей, торговцев, художников, прекрасных юношей и девушек, мужей и старцев. Вслед за Шиллером, «заселением» Помпеи и Геркуланума различными персонажами, реконструкцией повседневности, будет заниматься почти вся западноевропейская и русская «помпейская» поэзия XIX в.⁴

В русскую поэзию «помпейская» тема входит через переводы и переложения. В 1821 и 1822 гг. харьковский профессор русской литературы и поэт А. В. Скабловский опубликовал поэму «Помпея», которой в отдельном издании дан подзаголовок «Подражание английскому» [Скабловский 1821; Скабловский 1822]. На самом деле это было не подражание, а переложение одноименной поэмы Томаса Баббингтона Маколея (“Pompeii”, 1819), впоследствии знаменитого историка, поэта и политического деятеля, а тогда студента Кембриджа, получившего за нее медаль на университетской выпускной церемонии [Macauley]. Скабловский точно передал композицию и основные образы английского текста, который делится на три смысловых сегмента. В первом описан день перед извержением Везувия: горожане стекаются на праздник «с весельем на душе», прелестные девушки танцуют и поют, суровый воин глядит на них с улыбкой, дети прыгают и бегают, в амфитеатр на спектакль собираются зрители, и никто не чувствует приближение катастрофы, подобно тому, как «белый телец» с позолоченными рогами, влекомый к алтарю, не понимает, что его ведут на закланье. Во втором рассказывается об извержении вулкана и гибели города и его жителей; в третьем — о том, как выглядит раскопанный город сегодня и какие мысли о нем посещают современного человека.

В 1831 г. Иван Покровский перевел недавнее романтическое стихотворение известной тогда французской поэтессы Дельфины Гей (Delphine Gay,

⁴ См. дополняющие друг друга обзоры западной помпеинианы: [Dahl C.; Moormann: 400–409].

в замужестве de Girardin) «Последний день Помпеи» (“Le dernier jour de Pompéi”, 1827), получившее высокую оценку критики. Картина извержения вулкана и гибели города, с которой Гей начинает стихотворение, получилась у Покровского довольно выразительной:

О страх! О лютый день погибели и стона!
Волкан прервал свой сон среди земного лона.
Светила мрачными парами облеклись;
Иссякли родники; утесы потряслись.
Основы городов шатнулись; волны в споре;
И, вздрогнув, острова назад бегут на море;
Труды столетние поправ, громады гор
Выходят из земли и устрашают взор.
Со треском падает Везувия вершина;
Раскатами громов откликнулась пучина;
Вокруг горы венец из молний огневой;
В пространствах воздуха подземной бури вой;
Густою тучею и пепла и дым несутся,
И пламени снопы в эфир из бездны вьются!
<... >
Исторгся бурный ветер на глас подземных сил
И пепел ко вратам Помпеи устремил,
И камни, кажется, извергнутые адом,
На город падают стремглав палящим градом
[Гей: 317]; ср. [Gay: 7–9].

Далее Гей бегло обрисовывает поведение некоторых жителей Помпеи перед неминуемой гибелью — мать, оставляющая дочь ради сына, скупец, который не может спасти свои сокровища, скульптор, гибнущий под тяжестью своих изваяний, актер, в ужасе забывший снять маску ужаса и т. д., — а затем вводит главных персонажей стихотворения, пару влюбленных, встречающихся перед неминуемой смертью, чтобы проститься навсегда.

Через несколько лет после публикации перевода Покровского (точная дата неизвестна) Александр Полежаев начал переводить драматические сцены молодого французского поэта и драматурга Эрнеста Легуве «Гибель Помпеи» (“La mort de Pompéi”, 1832), которым он дал заглавие «Последний день Помпеи» — точно такое же, как у оперы Джованни Пачини “L’ultimo giorno di Pompéi” (1825), упомянутого выше стихотворения Дельфины Гей и, конечно же, знаменитой картины Карла Брюллова. «Гибель Помпеи» состоит из пролога, который строится на развернутом сравнении уничтожения Везувием города с убийством Дездемоны Отелло, шести

сцен — «Везувий и Плиний», «Господин и раб в бане», «Девушка в свадебном наряде и молодой человек», «Потерявшийся ребенок», «Отец и сын», «Некий господин» (монолог либертина и сластолюбца), «Хозяин и раб» — и короткого заключения [Legouvé].

Полежаев успел перевести только пролог (не полностью), первую сцену (диалог олицетворенного Везувия и Плиния-старшего, погибшего во время извержения вулкана) и заключение. В его первом посмертном сборнике было напечатано одно лишь заключение под странным заглавием «Картина» и без указания на то, что это перевод [Полежаев 1842: 65–67]; во втором — к заключению присовокупили вступление без последних строк, поместив текст в раздел «Переводы» под правильным заглавием и с подзаголовком «Из Легуве» [Полежаев 1857: 194–200], и только в советское время перевод был напечатан целиком [Баранов; Полежаев 1987: 429–436]. Из-за этого «Последний день Помпеи» Полежаева/Легуве полностью выпал из литературного контекста 1830–1840-х гг., где он мог бы быть воспринят как параллель к одноименной картине Брюллова и откликам на нее.

Собственно говоря, именно с панегирика Брюллову и его картине начинается вхождение «помпейской» темы в русскую оригинальную поэзию. Его автором был граф Хвостов, написавший и опубликовавший свою оду «Русскому живописцу Брюлову, на картину его, по заказу Анатолия Николаевича Демидова, изображающую последний день Помпеи, 1834 года февраля 23 дня» за полгода до того, как полотно привезли в Россию и выставили в Петербурге, сначала в Эрмитаже, а затем в Академии Художеств. Как установил А. В. Курочкин, источником Хвостову послужила подборка восторженных отзывов итальянских критиков о работе Брюллова, напечатанная почти одновременно в «Библиотеке для чтения» и отдельной брошюрой, изданной Обществом поощрения художеств [Курочкин: 135–137]. В статье, написанной по заказу Общества, итальянский археолог Пьетро Эрколе Висконти отмечал, что Брюллов «почерпнул вдохновение свое» в письмах об извержении Везувия Плиния-младшего (VI, 16, 20), и описывал «ужасное событие», изображенное художником, парафразируя эти письма и ссылаясь на них в примечаниях:

Небо пылает от необычайного и продолжительного блеска громовых молний; Везувий изрыгает свое убийственное пламя; пепел сыплется сухим дождем; камни падают, земля дрожит, здания [в оригинале *monumenti* — *ит.* памятники,

монументы] колеблются: повсюду разрушения, трепет, испуг [Последний день: 120]; ср. [Visconti: P. 8]⁵.

Еще не видевший картину, Хвостов, видимо, боялся попасть впросак и потому в своей оде ограничился дифирамбами художнику-триумфатору и неуклюжей парафразой Плиния:

Везувия несытое жерло
Отверзлося и быстро повлекло
И серный дым густой и камень с треском;
Земля кругом полна багровым блеском,
Колеблется и рыхнет под стопой;
Горючих тел многообразный строй
Теснит сердца и ослепляет очи,
Там жители средь дня мрак видят ночи;
Там вопль и вой младенцев, крики вдов,
Там бледность лиц, смешенье голосов,
Полмертвецы, зря гибели мгновенья,
Спеша ползут от милых мест рожденья.
Там громовой удару вслед удар,
Там молния отлив небес на шар,
Героя лик как жертва бурь ревущих
Обрушился и давит сонм бегущих [Хвостов: 210].

Как ни странно, этим псевдо-экфрасисом поэтические отклики на полотно Брюллова и ограничились, если не считать чернового пушкинского наброска «Везувий зев открыл...», которому будет посвящена вторая статья цикла, и комического «Провинциального подъячего в Петербурге» (1840) молодого Некрасова. Даже Алексей Тимофеев, интересовавшийся живописью и побывавший у Брюллова в римской мастерской⁶, в своем «Последнем дне Помпеи» (1837) картину не вспомнил, а продолжил шиллеровскую традицию «оживления» помпейцев и помпеянок, обреченных на гибель. У него, как и у Дельфины Гей или Легуве, это разные психологические типы, лишенные местного и исторического колорита: заботливый семьянин, «любовник, ночь всю развлеченный / своей мечтой», оболганный кем-то

⁵ Ср. у Плиния: «... падал пепел ... куски пемзы и черные обожженные обломки камней ... Тем временем во многих местах из Везувия широко разлился, взметаясь кверху, огонь <...> От частей и сильных толчков здания шатались. <...> Черная страшная туча <...> разверзалась широкими польхающими полосами, похожим на молнии, но большими» [Плиний: 105–106, 109].

⁶ См его очерк «Русские художники в Риме» (1835), напечатанный в «Библиотеке для чтения» (1835. Т. XI. Отд. III. С. 80–93) и вошедший в третью часть «Опытов» [Тимофеев 1837: III, 249].

старец, скупец, дрожащий над сокровищами, «счастливец-юноша», спешащий «к своей счастливейшей невесте» накануне свадьбы, красавица, примеряющая «уборы дорогие» и мечтающая всех затмить, еще один любовник, который надеется, что вечером «ему отдастся вся она»:

Один обдумывает мщенье,
Другой минуты только ждет,
Над третьим льется наслажденье,
Все — живо, занято, снует ...

В рассказ о тщетных мечтах и надеждах городских жителей, написанный четырёхстопными ямбами, Тимофеев вставляет повторяющееся дактилическое четверостишие:

Грозный Везувий со стоном
В огненном море плавает,
Дрогнул, рассыпался громом,
Пышет, сверкает, ревет.

Тем самым создается контрапункт брэнного, человеческого и вечного, природного, который предваряет ожидаемую, но довольно эффектную концовку:

Но вот туманной, смрадной мглою
Оделся весь небесный свод,
И взвился адом над землею,
И дрогнула земля — народ,
Герои, слуги, колесницы,
Поэт, богач, владыка, жрец,
Больные, рыцари, вдовицы,
Все в беспорядке ... Чу! Конец!
В одном побеге лишь спасенье,
Свой оставляет своего ...
Стоя, ужас, слезы, крик, моленья,
И вдруг — не стало ничего [Тимофеев 1837: I, 99–101].

Стихотворная часть «Опытов» Тимофеева, где был впервые опубликован его «Последний день Помпеи», заканчивалась мистерией или «поэтической картиной» в духе Байрона «Последний день» — о конце света, который сопровождается извержениями вулканов «в разных местах» и, вполне по Плинию, «огнями в виде огромных молний», «серным удушливым дымом» и «голосами хулы и отчаяния» [Там же: 338, 343, 345; Карпов]. Вместе с опубликованным годом позже «Последним разрушением мира» [Тимофеев 1838] они образуют своеобразную эсхатологическую трилогию [Вайскопф:

79–80], где гибели Помпеи отведена роль того, что в христианской типологии называется антитепом или префигурацией новозаветных событий. В данном случае локальная катастрофа становится предвосхищением катастрофы глобальной.

Некоторые отголоски эсхатологической образности, характерной для русского романтизма 1830-х годов (см. [Вайскоф]), можно усмотреть в еще одном полиметрическом «Последний день Помпеи», подписанном М. П. ... и напечатанном в 1847 г. в «Сыне отечества». Четырехстопными хореем неизвестный автор описал беззаботную, беспутную жизнь помпейцев и их гибель, а четырехстопными амфибрахиями — извержение Везувия:

< ... > Всюду, роскошью пестрея,
Ходит, движется народ,
Будто волны бурных вод,
И ликует вся Помпея.
Там, любя кровавый спор,
На толпу кидает взор
В нетерпении гладиатор;
Там витийствует оратор;
Там восторженный певец
Состязал себе венец
Вместе с славою народной.
Там веселою толпой,
Тешась пляской хороводной
Иль пленительной игрой,
Как прелестные вакханки,
Молодые итальянки
Пылких юношей манят;
И за их волшебный взгляд
Сколько споров!... Сколько брани!
Сколько вдруг обильной дани
Для тебя, слепой Эрот...

< ... >

И в небе и долу дым черный клубами.
Как бурное море, он все наводнил.
То гордая спорит земля с небесами:
То страшный Везувий все небо затмил.
Раздалися гулы подземного стона,
И в страхе поверхность земная дрожит,
И лава, подобно волнам Флегетона
Из мрачного зева Вулкана бежит;
И стелется пепел, как туча густая,

Как саван могильный по мертвым холмам,
 И прядают камни, в дыму исчезая,
 К подернутым страшною мглой небесам

 Безнадежно в грозном страхе
 Цепенеющий народ,
 Как отступленник на плахе
 Неизбежной смерти ждет.
 Час настал из тайной урны
 Вынут жребий роковой,
 И — залил Помпею бурный
 Ток кипящий, огневой!...

Однако уничтожение языческого города получало у безымянного автора не столько эсхатологическую, сколько провиденциальную мотивировку, сходную с идеями М. Дмитриева, о которых шла речь в самом начале статьи. Как и Дмитриев, безымянный автор ставит гибель Помпеи в один ряд с истреблением Содома и Гоморры серой и огнем «от Господа с неба»:

Но что ж возмутило земную утробу?
 Прогневалось небо развратом людским?
 Оно ль в наказанье за гордость и злобу
 Таковую погибель назначило им?
 На это Помпея отвечает нам...
 Пройдут поколения, исчезнут народы,
 Но гибель ее передастся векам.
 И живо пробудит она вспоминанье,
 Как в древние годы за страшный порок,
 В пример непокорным, Творец в наказанье
 Содом и Гоморру на гибель обрек...
 И скажет: забыли потомки бывшее —
 И казнь надо мной повторилась опять.
 А снова забудут — и снова святое,
 Правдивое мщенье вас станет карать... [М. П... ...]

Если у Тимофеева, как мы видели, гибель Помпеи — это антитепа, то здесь она — лишь один из исторических «типов», которые могут повторяться в различных странах и обстоятельствах до самого конца времен. Ясно, что типологическая параллель стихотворения обращена к России, которую терзают «пороки безумных страстей»: десница Господа может покарать ее «за гордость и злобу», но, если она образумится, может спасти, как были спасены другие ветхозаветные антитепы — пророки Даниил в пасти львиной и Иона в чреве кита.

Начиная с 1850-х годов, в «помпейской» поэзии наблюдается явный сдвиг от эпоса к лирике, от общего к частному, от коллективного к единичному. Начало этому сдвигу положила «Лампада из Помпеи» (1850) Каролины Павловой, обращенная к светильнику (реальному или воображенному, глиняному или бронзовому, неважно), который нашли на раскопках какого-то дома и, по-видимому, вывезли из Италии в Россию⁷:

От грозных бурь, от бедствий края,
От беспощадности веков
Тебя, лампадка простая,
Сберег твой пепельный покров.

Стоишь, клад скромный и заветный,
Красноречиво предо мной, —
Ты странный, двадцатисотлетний
Свидетель бренности земной!

Светил в Помпее луч твой бледный
С уютной полки, в тихий час,
И над язычницею бедной
Сиял, быть может, он не раз;

Когда одна, с улыбкой нежной,
С слезой сердечной полноты,
Она души своей мятежной
Ласкала тайные мечты.

И в изменившейся вселенной,
В перерожденьи всех начал,
Один лишь в силе неизменной
Закон бессмертный устоял.

И можешь ты, остаток хлипкий
Былых времен, теперь опять
Сиять над тою же улыбкой
И те же слезы озарять [Павлова: 146–147].

Еще Шиллер, «оживляя» Помпею и Геркуланум, призывал: «Поставьте в сей резный подсвечник горящую свечу и прозрачным маслом наполните лампу» [Новости: 24]. Лирическая героиня Павловой, глядя на помпейскую лампаду, воображает ее владелицу — «бедную язычницу» и отождествляет

⁷ 10 декабря 1845 в помпейском доме, носившим тогда имя Николая I и в его присутствии, были вырыты, среди прочих предметов утвари, шесть глиняных ламп [Классовский: 232]. Они были доставлены в Петербург и хранились в особом шкафу кабинета малых бронзовых вещей Эрмитажа [Музей: 209].

себя с ней, с ее «тайными мечтами» и слезами. Возможный подтекст этого стихотворения — «Как должны писать женщины» (1840) графини Ростопчиной, где появляются мотивы и вулкана, и лампы. Идеальной поэтессой, поучала Ростопчина, может быть только «певица робкая», которая таит и скрывает «чувства слишком нежные»,

Чтобы туманная догадок пелена
 Всегда над ропотом сомнений безнадежных,
 Всегда над песнею надежды золотой
 Вилась таинственно; чтоб эхо страсти томной
 Звучало трепетно под ризой мысли скромной;
 Чтоб сердца жар и блеск подернут был золой,
 Как лавою вулкан ...

< ... >

Да, женская душа должна в тени светиться,
 Как в урне мраморной лампы скрытый луч,
 Как в сумерки луна сквозь оболочку туч,
 И, согревая жизнь, незримая, теплится [Ростопчина: 33–34].

На первый взгляд кажется, что Павлова не противоречит своей постоянной сопернице, поскольку тайные чувства двух ее героинь в стихотворении прямо не выражены. Но само сравнение современной женщины с язычницей из Помпеи (города, в котором сексуальные нравы и откровенность эротического искусства выходили далеко за рамки приличий XIX в.) и эпитет «мятежная» намекают на то, что тайные мечты «женщин всех времен» далеко не столь невинны, как принято думать. Тогда «закон бессмертный», о котором говорит Павлова, — это закон неизменности женских чувств и женских желаний, подавляемых как в древнем Риме, так и в имперской России.

Другому помпейскому артефакту — фреске с танцующими (как бы летящими) вакханками посвящена «Плясунья» (1859) Льва Мея.⁸ Сам танец описан в первых двух строфах стихотворения — по сути дела, единственной попытке экфрасиса в «помпейской» поэзии XIX в.:

Окрыленная пляской без рóздыху,
 Закаленная в серном огне,
 Ты, помпеянка, мчишься по воздуху,
 Не по этой спаленной стене.

⁸ О почетном месте «Плясуньи» в поэтическом каноне русского модернизма свидетельствует тот факт, что в 1914 г. Ходасевич включил ее в свою антологию «Русская лирика» [Ходасевич: 227], а Блок в начале 1920-х годов собирался это сделать [Блок: 424]. Мандельштам, по воспоминаниям его жены, из стихов Мея особо выделял «Плясунью» [Мандельштам: 328].

Опрозрачила ткань паутиная
Твой призывно откинутый стан;
Ветром пашет коса твоя длинная,
И в руке замирает тимпан [Мей: 143].

В статье о «Плясунье» Р. Д. Тименчик указал самый важный (и, возможно, единственный) «иконографический и словесный источник меевского стихотворения — описание фресок т. н. “цицероновой виллы”» в цитированной выше книге В. И. Классовского [Тименчик: 288]. На этих фресках небольшого размера, еще в XVIII в. перенесенных из Помпеи в Бурбонский музей в Неаполе, как писал один русский турист, несколько «миленьких танцовщиц или, правильнее, вакханок нарисованы в таких прелестных позах, что изображения их встречаются повсеместно в Неаполе» [Герсеванов: 21]. Пространный пассаж Классовского, полностью воспроизведенный Тименчиком вместе с иллюстрирующими его рисунками двух самых изящных помпейских танцовщиц [Классовский: 144–146; Тименчик: 289–291] на самом деле представляет собой перевод нескольких мест из подробных описаний 14-ти фресок, сделанных итальянским архитектором и археологом Гульельмо Беки (Guglielmo Bechi, 1791–1852) для многотомного иллюстрированного каталога Бурбонского музея [Real Museo: tavole XXXIV–XXXI]. Все ученые ссылки и цитаты Классовский тоже взял у Беки и только в одном примечании решил показать собственную эрудицию, полушутливо заметив:

Замечательно, что эти танцовщицы, и даже почти все молодые красавицы, изображенные в Помпее — *белокурые*. Следуя Овидию (Amor. I. 14, v. 46), можно было бы подумать, что их выписывали из Германии, если б такое неумение ценить несравненных туземок сообразно было с разборчивостью вкуса знатоков-Римлян [Классовский: 328].

Как кажется, Классовский неверно понял указанное им место из «Любвных элегий» Овидия, где речь идет об импорте из Германии не танцовщиц-блондинок, а вошедших тогда в моду светлых волос германских пленных для париков⁹. Овидий укоряет возлюбленную за то, что она красками и горячими щипцами испортила свои чудесные длинные волосы, и ей теперь приходится их остричь и носить парик, пока они не отрастут:

⁹ См.: «... со времени знакомства Римлян с Галлами и Германцами, Римлянкам полюбились волосы гальских и германских женщин; им захотелось иметь такие же волосы, какие у них, т. е. быть блондинками, носить волосы не только светлорусыми, но даже рыжие с золотистым отливом. Мало по малу это сделалось всеобщей модной болезнью женского пола времен императорских. <...> Сколько было употребляемо денег на покупку помад и всякого рода мазей для окраски волос в медный цвет! <...> В том же случае, если помада не успевала истребить

nunc tibi captīvōs mittet Germānia crīnēs;
 tūta triumphātae mūnere gentis eris.
 ō quam saepe comās aliquō mīrante rubēbis
 et dicēs “emptā nunc ego merce probor.
 nescioquam prō mē laudat nunc iste Sygambram;
 fāma tamen meminī cum fuit ista mea” [Ovid: 374 (I, XIV, 45–50)¹⁰].

Ошибочное предположение Классовского, которое он сам же и отверг, Мей, тем не менее, принял на веру. Свою помпейскую танцовщицу он сделал чужестранкой — «тедеской» (*ит. tedesca* — германка), чей «германский дух» — по Гегелю, дух нового мира — навек сохранила воскресшая фреска:

Но не сила Везувия знойная
 Призвала тебя к жизни — легка
 И чиста, ты несешься, спокойная,
 Как отчизны твоей облака.
 Ты жила и погибла тедескою
 И тедескою стала навек,
 Чтоб в тебе, под воскреснувшей фрескою,
 Вечность духа прозрел человек [Мей: 143].

Поэтическая вольность Мея здесь простительна, потому что он не описывает какую-то одну конкретную фреску из четырнадцати, а создает идеальный образ римско-германской «величавой красоты». Детали, названные во второй строфе стихотворения, — прозрачная ткань, призывно откинутый стан, тимпан в руке — встречаются лишь по отдельности на разных фресках¹¹, а длинная коса вообще пришла из славянского фольклора или, на худой конец, из сказки братьев Гримм «Рапунцель».

природного цвета волос, или если волосы были не довольно густы и длинные, то Римлянки совсем обстригали их и решались носить парики. Впрочем, к этому средству прибегали Римлянки в случае самой настоятельной или крайней необходимости <...> хотя уже Овидий говорит о покупных волосах (*crines empti*)...» [Тихонович: 237–238].

¹⁰ Пер. С. Шервинского: «Волосы пленных тебе прислать из Германии могут, / Будет тебя украшать дар покоренных племен. / Если прической твоей залюбуется кто, покраснеешь, / Скажешь: «Любуются мной из-за красоты покупной! / Хвалят какую-нибудь во мне германку-сигамбру» [Овидий: 47].

¹¹ К сожалению, невозможно установить, какие копии фресок или снятые с них гравюры, продававшиеся по всей Европе, мог видеть Мей. М. Волошин, совершивший в 1900 г. путешествие по Италии, побывав в Неаполитанском музее и оставив следующую запись: «Знаменитые помпейские танцовщицы, про одну из которых Мей писал <...> [неточно цитируются две строфы «Помпеянки»]> — сохранились довольно плохо. Масса фабрично-реставрированных копий с них рисуется в разных частях музея, но только почему-то ни один из копиистов не сидит перед оригиналом. На копиях бедные помпейские летунии превращаются в голых жирных розовотельных французенок, задрапированных в какие-то нелепые одеяния разных цветов» [Волошин: 288].

К традиции «воскрешения» помпейских жителей вернулся Брюсов в эротической «Помпеянке» (1901), только формально вышедшей за границу столетия. Стихотворение начинается с обращенного к любовнику-мизийцу монолога некоей опытной «матроны Лидии» (имя, вызывающее ассоциации с одами Горация), которая сгорает от страсти, «забыв, что вся взволнована Помпея, / Что над Везувием лазурь в огне». Обнявшиеся любовники погибают во сне *post coitum*, но века спустя их тела, «как знак бессмертной страсти / Нетленными в объятиях нашли». По Брюсову, память о страстных любовниках должна быть сохранена в веках:

Поставьте выше памятник священный,
Живое изваянье вечных тел,
Чтоб память не угасла во вселенной
О страсти, перешедшей за предел! [Брюсов: 289].

Разумеется, никаких нетленных тел в Помпее не нашли — это декадентская гипербола, приравнявшая всепоглощающую сексуальную страсть к святости, — но в 1826 г. в одном из домов обнаружили скелеты обнявшихся мужчины и женщины [Vechi: 3 отд. пагинации; Dwyer: 18]. По всей вероятности, Брюсов, как и Мей, отталкивался от рассказа об этом всезнающего Классовского:

Если вас утомило сухое исчисление вещей, попадающих под заступ откапывателей, то полюбуйтесь на сцену «верной до гроба» взаимной любви. Помпея богата патетическим; недаром в ней разыгрывалась самая страшная трагедия в мире, обставленная вместо декораций громами, реками лавы и землетрясением, — и главное, заключившаяся в развязке неподдельною смертью актеров: не мудрено, что игра последних становилась на высоту самой пьесы. Мы уже видели остовы матери и детей, встретивших смерть во взаимных нежных объятиях: в одну из позднейших разработок переулка, соседнего с улицею Меркурия, в разрытом наносе нашли еще два скелета, крепко обнявшиеся. По костям погибших видно, что они не одинакового пола, и сверх того, не успели еще, счастливыцы, перешагнуть за пределы розовой юности. Кто были они? По всему вероятно — скорее любовники или молодые супруги, чем брат с сестрою. Впрочем, решайте вопрос по собственному усмотрению, если хотите прослыть антикварием [Классовский: 230].

На иронический вопрос Классовского Брюсов дает однозначный ответ. Он игнорирует указание на возраст обнявшихся и делает своей героиней зрелую женщину, которая пять раз была замужем и имела много любовников, включая императора («Мне первым мужем был купец богатый, / Вторым поэт, а третьим жалкий мим, / Четвертым консул, ныне евнух пятый, / Но

кесарь сам меня сосватал с ним. // Меня любил империи владыка, / Но мне был люб один нубийский раб, / Не жду над гробом: “casta et pudica”, / Для многих пояс мой был слишком слаб»), а предметом ее вождения — молодого стыдливого иноземца, пришлеца из Малой Азии. Их страсть настолько сильна, что стирает возрастные, этнические и социальные различия, даруя им полное пост-оргастическое забытие и некое подобие бессмертия.

Любопытно, что авторы всех разобранных выше текстов писали их, не повидав Помпею и Геркуланум. Непосредственные дорожные впечатления начинают проникать в русскую «помпейскую» поэзию только в конце XIX века и вносят не очень много нового в развитие темы. Н. Минский дважды, с перерывом в десять лет, поднимался на Везувий и посвятил этому два одноименных стихотворения. В более раннем «Везувии» («С трудом дыша, в золу глубоко увязая...», 1881) он смотрит с высоты на «Помпеи труп», чернеющий среди зелени, но судьбу погибшего города оставляет без внимания. Главный герой у него — сам вулкан, «губитель городов», чье ужасное деяние он приветствует, потому что трактует его как аллегория протеста против социального угнетения и буржуазной пошлости: «Счастлив, чей пламень внутренний нашел / Исход наружу, лавой вытекаая» [Минский 1907: I, 102]. В ранней редакции текста слово получал даже сам Везувий, который объяснял, что больше не мог «терпеть тяжелый гнет людей» и отомстил им за вековое рабство [Минский 1888: 30]. Второй, пессимистический, «Везувий» («Мы тяжело и медленно въезжали...», 1891) прямо отвечает на оптимистические упования первого, поскольку выраженные в нем надежды вскоре увидеть извержение общественного Везувия не сбылись:

И вспомнил я: вот ровно десять лет,
 Как молодой волнуемый тревогой,
 Я поднимался этой же дорогой.
 Где чувства прежних дней? Во мне их нет.
 Тогда, я помню, в людях и в природе,
 В созданных красоты, в тени руин,
 Во всем, везде я чуял смысл один,
 Все говорило сердцу о свободе,
 О родине, о святости борьбы.
 Везувий мне являл подобье силы,
 Родящей миру новые судьбы,
 И даже вы, помпейские могилы,
 О мертвом рабстве речь вели со мной.
 Те чувства я воспел в стихах правдивых,
 И отклик, хоть негромкий, но живой
 Они нашли в сердцах вольнолюбивых.

Не бьются больше верные сердца.
 Я видел смерть, я подглядел измену.
 Иное племя вышло нам на смену,
 Мир новых песен просит у певца.
 Кто прав, — Бог весть. Живая кровь застыла
 В сердцах людей — и стала жизнь бледна
 [Минский 1907: III, 59].

Единственным русским посетителем Помпеи, который смог внести значимый вклад в поэтическую помпеиниаду XIX в., оказался Д. С. Мережковский. В 1891 г., после поездки в Италию, он опубликовал триптих «Помпея», написанный шестистопными ямбами с нерегулярной рифмовкой, как у Пушкина в «Анджело», и начинающийся пушкинской реминисценцией (ср. начало «Анджело»: «В одном из городов Италии счастливой...») и самыми частотными пушкинскими рифмами «сладость / радость» (см. о них [Ходасевич: 136–141]):

I

Беспечный жил народ в счастливом городке:
 Любил он красоту и дольней жизни сладость;
 Была в его душе младенческая радость.
 Венчанный гроздьями и с чашею в руке,
 Смеялся медный фавн, и украшали стену
 То хороводы муз, то пляшущий кентавр.
 В те дни умели жить и жизни знали цену:
 Пенатов бронзовых скрывал поникший лавр.
 В уютных домиках всё радовало чувство.
 Начертан был рукой художника узор
 Домашней утвари и кухонных амфор;
 У древних даже в том — великое искусство,
 Как столик мраморный поддерживает Гриф
 Когтистой лапою, свой острый клюв склонив.
 Их бани вознеслись, как царские чертоги,
 Во храмах мирные, смеющиеся боги
 Взирают на толпу, и приглашает всех
 К беспечной радости их благодатный смех.
 Здесь даже в смерти нет ни страха, ни печали:
 Под кипарисами могильный барельеф
 Изображает нимф и хоры сельских дев,
 И радость буйную священных вакханалий.
 И надо всем — твоя приветная краса,
 Воздушно-голубой залив Партенопей!

И дым Везувия над кровлями Помпей,
 Не страшный никому, восходит в небеса,
 Подобный облаку, и розовый, и нежный,
 Блистая на заре улыбкой безмятежной.

II

Но смерть и к ним пришла: под огненным дождем,
 На город падавшим, под грозной тучей пепла
 Толпа от ужаса безумного ослепла:
 Отрады человек не находил ни в чем.
 Теряя с жизнью всё, в своих богов не веря,
 Он молча умирал, беспомощнее зверя.
 Подножья идолов он с воплем обнимал,
 Но Олимпийский бог, блаженный и прекрасный,
 Облитый заревом, с улыбкой безучастной
 На мраморном лице, молениям не внимал.
 И гибло жалкое, беспомощное племя:
 Торжествовала смерть, остановилось время,
 Умолк последний крик... И лишь один горит
 Везувий в черной мгле, как факел Евменид.

III

Над городом века неслышно протекли,
 И царства рушились; но пеплом сохраненный,
 Доныне он лежит, как труп непогребенный,
 Среди безрадостной и выжженной земли.
 Кругом — последнего мгновенья ужас вечный, —
 В низверженных богах с улыбкой их беспечной,
 В остатках от одежд, от хлеба и плодов,
 В безмолвных комнатах и опустелых лавках
 И даже в ларчике с флаконом для духов,
 В коробочке румян, в запястьях и булавках;
 Как будто бы вчера прорыт глубокий след
 Тяжелым колесом повозок нагруженных,
 Как будто мрамор бань был только что согрет
 Прикосновеньем тел, елеем умащенных.
 Воздушнее мечты — картины на стене:
 Тритон на водяном чешуйчатом коне,
 И в ризах веющих божественные Музы;
 Здесь всё кругом полно могильной красоты,
 Не мертвой, не живой, но вечной, как Медузы

Окаменелые от ужаса черты...

А в голубых волнах белеют паруса,
И дым Везувия, красую безмятежной
Блистая на заре, восходит в небеса
Подобный облаку, и розовый, и нежный
[Мережковский 2022: 326–327].

Сам, видимо, того не подозревая, Мережковский повторил трехчастную композицию нескольких давно забытых «помпейских» стихотворений начала века. Первая часть — это рассказ о счастливой жизни «беспечного народа», причем акцент сделан не на нравах, обычаях и языческих верованиях, а на *savoir-vivre* и эстетической наполненности быта. Все упомянутые в первой части артефакты — фрески, мозаики, скульптуры, мебель, домашняя утварь, которые были действительно найдены в Помпее (см. комментарии К. А. Кумпан [Там же: 976]) — создают впечатление жизни, постоянно протекавшей в окружении прекрасного.

Вторая, самая короткая часть тоже открывается пушкинской реминисценцией. В ней всего 14 строк, что не может не напоминать об онегинской строфе, а образ «огненного дождя» и «тучи пепла», падающих на безумевшую от ужаса толпу, перекликаются с черновым отрывком «Везувий зев открыл...» (1835). Мережковскому он мог быть известен только по ранним реконструкциям, например, по чтению П. О. Морозова, которое имело следующий вид:

Везувий зев открыл — дым хлынул клубом, пламя
Широко развилось как боевое знамя;
Земля волнуется... .. с колонн
Кумиры падают! стон
..... .. народ, гонимый страхом,
Под каменным дождем, под воспаленным прахом
Бежит из града вон пожар блеща
Весь город осветил... .. народ [Пушкин: 184].

«Под огненным дождем <...> под грозной тучей пепла» у Мережковского скорее всего восходит к пушкинским «Под каменным дождем, под воспаленным прахом». Кроме того, Мережковский (как, впрочем, и Пушкин) отталкивался от двух писем об извержении Везувия Плиния-младшего, которого он высоко ценил. В эссе о Плинии, вошедшее в сборник «Вечные спутники» (1896), Мережковский включил свой перевод этих писем, назвав их «вдохновенным рассказом», где «чувствуется эстетический восторг,

наслаждение художника, равнодушного к собственной гибели» [Мережковский 2007: 61]. Говоря о поведении людей перед лицом неминуемой гибели, об их мгновенном превращении из беспечных гедонистов в охваченное ужасом «жалкое, беспомощное племя», о потере веры в олимпийских богов, он проецирует на Помпею второе письмо Плиния, где рассказывается о том, как «огромная толпа» пыталась в панике убежать из Мизено — города, находившегося на противоположном берегу Неаполитанского залива и мало пострадавшего во время извержения. «Только что мы остановились, — свидетельствовал Плиний, — как воцарилась тьма, — не такая, как в туманные или безлунные ночи, а как в комнате без окон, когда потушили свет. Слышался вой женщин, плач детей, крики мужчин. <... > Некоторые простирали руки к богам; многие уверяли, что больше нет богов, что теперь наступила вечная, последняя ночь мира» [Там же: 64]. Сравнение пламени Везувия, горящего в черной мгле, с факелом Эвменид (Эриний), богинь возмездия и наказания, «дочерей ночи»¹² — сравнение, которым заканчивается вторая часть, — открывает простор для нескольких интерпретаций. Похоже, Мережковский не исключает трактовку гибели Помпеи как высшей кары за прегрешения, хотя, в отличие от М. Дмитриева или М. П., не уточняет, какие именно.

Мифологической аллюзией заканчивается и описание раскопанного города, увиденного глазами человека XIX века, в третьей части. Уподобление погибшей Помпеи окаменевшей от ужаса Медузе здесь двусмысленно, поскольку по древнегреческому мифу лицо Медузы не только выражало, но и внушало ужас, а в камень превращались те, кто на него смотрел, даже после того, как Тесей отрубил ей голову. Для Мережковского Помпея сегодня есть «труп непогребенный» (ср. выше «Помпеи труп» у Минского), а красота пустынного города — красота могильная. У разных путешественников

¹² О символике факела Эвменид в «Орестее» Эсхила и других древнегреческих трагедиях см.: [Ferrari: 19–24]. Слово сочетание «факел(ы) Эвменид» не редкость в латинской и западноевропейской поэзии, а в поэзии русской впервые появляется в послании Батюшкова «К Тассу» («Позволь, священна тень, безвестному певцу...», 1808). Восхищаясь протезизмом Тасса, Батюшков пишет: «То скиптр в его руках или перун зажженный, / То розы юные, Киприде посвященны, / Иль факел Эвменид, иль луч золотой любви, / В глазах его — любовь, вражда — в его крови» [Батюшков: 84]. Сам Мережковский повторил его в романе «Антихрист. (Петр и Алексей)» (1903–1904), где малое извержение Везувия и землетрясение происходят во время пребывания царевича в Неаполе в сентябре 1717 г. (на самом деле такие извержения отмечались в 1716 и 1718 гг.): «Из Везувия днем валил черный дым, как из плавильной печи, <... > а ночью вздымалось красное пламя, как зарево подземного пожара. Мирный жертвенник богов превращался в грозный факел Эвменид. <... > Город был в ужасе. Вспомнились дни Содомы и Гоморры» [Мережковский 1914: 34].

зрелище хорошо сохранившихся помпейских улиц, интерьеров, вещей, о которых он пишет, вызвало разноречивые чувства. Так, на Гете Помпея, «этот мумифицированный город», после первого посещения произвела «странное, почти неприятное впечатление» (“wunderlichen, halb unangenehmen Eindruck”) [Goethe: 205], но уже день спустя, побывав там вторично, он изменил свое мнение и решил, что не знает ничего более интересного: «Великолепное место, достойное прекрасных мыслей» (“Ein herrlicher Platz, des schönen Gedankens wert”) [Ibid.: 210]. Мадам де Сталь в «Коринне» (1807) писала:

Если стать на уличном перекрестке, откуда виден весь город, сохранившийся почти целиком, то кажется, что кого-то ждешь, что вот-вот должны появиться хозяйева, и эта видимость жизни придает еще больше грусти вечному молчанию. <...> Перед нами история мира, но от минувших эпох остались одни развалины; перед нами следы человеческих жизней, зримых лишь в зареве вулкана, уничтожившего эти жизни; все это навевает глубокую меланхолию [де Сталь: 195].

Мэри Шелли, осматривая «город мертвых» (“a town of the dead”), в воображении заселяла его героями популярнейшего романа Булвера-Литтона «Последние дни Помпеи» (“The Last Days of Pompeii”, 1835), который, по ее словам, «облачил город в более знакомый нам костюм и наполнил его пустынные улицы ассоциациями, усиливающими интерес к нему» [Shelley: 279].

Чувство, которое испытал и выразил Мережковский, больше похоже на то, что Ходасевич потом назовет «помпейским ужасом». Его усугубляет и идиллический неаполитанский пейзаж, заключающий и первую, и последнюю части триптиха. Повтор предупреждает, что ужасная катастрофа может в любой момент повториться, поскольку «и розовый, и нежный» дым Везувия, который в 1891 г. наблюдает поэт, был ровно таким же и летом 79 г. н. э., накануне убийственного извержения.

«Помпея» Мережковского и «Помпеянка» Брюсова завершили две основные линии русской поэтической помпеинады XIX в. — историософскую и «шиллеровскую» — и в то же время подготовили обновление темы в веке Серебряном, когда о Помпее напишут побывавшие в ней поэты. Городецкий и Лозина-Лозинский обратят внимание на так называемые «слепки Фиорелли» в Помпейском музее, Бунин объявит, что Помпея оставила его равнодушным, а С. Соловьев опишет день помпейского туриста и призовет зарыть древние могилы, потому что из них исходит яд блудодействия, разложившего римскую культуру и губящего культуру современную.

Но об этих и других новых мотивах в помпейских стихах XX века речь пойдет в задуманной третьей статье цикла.

Литература

Баранов: *Баранов В. В.* «Последний день Помпеи»: Неизвестный отрывок из перевода Полежаева // Литературное наследство. М., 1956. Т. 60. Кн. 1. С. 598–607.

Батюшков: *Батюшков К. Н.* Полное собрание стихотворений / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. Н. В. Фридмана. М.; Л., 1964.

Блок: *Блок А.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7: Автобиография. Дневники. М.; Л., 1963.

Брюсов: *Брюсов В.* Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1: Стихотворения. Поэмы 1892–1909. М., 1973.

Вайскопф: *Вайскопф М.* Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма. М., 2012.

Волошин: Итальянские заметки М. А. Волошина / Вступ. статья, публикация и коммент. А. В. Лаврова // Максимилиан Волошин. Из литературного наследия. Вып. 1. СПб., 1991. С. 216–301.

Гей: Последний день Помпеи. (Из стихотворений Дельфины Гей) / Пер. И. Покровский // Литературные прибавления к Русскому Инвалиду. 1831. Ч. 2. № 41 (23 мая). С. 317–319.

Герсеванов: *Герсеванов Н.* Путевые впечатления туриста в 1845 году. Неаполь. Статья вторая и последняя // Отечественные записки. 1846. Т. 49. Отд. VIII: Смесь. С. 21–40.

де Сталь: *Сталь Ж. де.* Коринна или Италия / Изд. подгот. М. Н. Черневич. М., 1969.

Дмитриев: *Дмитриев М. А.* Стихотворения. Ч. 1. М., 1865.

Жуковский: *Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Том 2: Стихотворения 1815–1852 годов. М., 2000.

Карпов: *Карпов А. А.* Библейские мотивы в «поэтической картине» А. В. Тимофеева «Последний день» // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. Научный журнал: филология. 2015. Т. 1. № 4. С. 16–25.

Классовский: *Классовский В.* Помпея и открытые в ней древности, с очерком Везувия и Геркуланума / Третье, исправленное и дополненное издание. СПб., 1856.

Куручкин: *Куручкин А. В.* Литературные источники пушкинского наброска «Везувий зев открыл...» // Русская литература. 2023. № 1. С. 134–140.

Лебедева: *Лебедева О. Б.* Эволюция осмысления древнегреческой трагедии в драматургических опытах Жуковского 1820–1830-х гг. // Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. III. Томск, 1988. С. 523–541.

Мандельштам: *Мандельштам Н. Я.* Собрание сочинений: В 2 т. / Сост. С. В. Василенко, П. М. Нерлера и Ю. Л. Фрейдина. Екатеринбург, 2014. Т. 1.

Мей: *Мей А. А.* Избранные произведения / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. К. К. Бухмейер. Л., 1972.

Мережковский 1914: *Мережковский Д. С.* Полное собрание сочинений: В 24 т. Т. V. СПб., 2014.

Мережковский 2007: *Мережковский Д. С.* Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы / Изд. подгот. Е. А. Андрущенко. СПб., 2007.

Мережковский 2022: *Мережковский Д. С.* Собрание сочинений: В 20 т. Т. 1. Кн. 1: Стихотворения и поэмы / Подгот. текста, вступ. статья и примеч. К. А. Кумпан. М., 2022.

Минский 1888: *Минский Н. М.* Стихотворения. Изд. второе. СПб., 1888.

Минский 1907: *Минский Н. М.* Полное собрание стихотворений: В 4 т. Изд. четвертое. СПб., 1907.

М. П.: *М. П...* ... Последний день Помпеи // Сын отечества. 1847. Кн. 7 (июль). Отд. III. С. 1–4.

Музей: Музей Императорского Эрмитажа. Описание различных собраний составляющих музей... СПб., 1861.

Новости: Новости литературы. 1824. Ч. IX (июль).

Овидий: *Овидий.* Элегии и малые поэмы: Пер. с латинского / Коммент. и редакция переводов М. Гаспарова и С. Ошерова. М., 1973.

Павлова: *Павлова К.* Полное собрание стихотворений / Подгот. текста и примеч. Н. М. Гайденкова. М.; Л., 1964.

Плиний: *Плиний-младший.* Письма. I–X / Изд. 2-е, переработ. Подгот. М. Е. Сергеенко, А. И. Доватур. М., 1982.

Полежаев 1842: *Полежаев А.* Часы выздоровления. М., 1842.

Полежаев 1857: *Полежаев А.* Стихотворения. М., 1857.

Полежаев 1987: *Полежаев А. И.* Стихотворения и поэмы. Изд. 3-е / Вступ. статья, сост., подгот. текста и примеч. В. С. Киселева-Сергенина.

Последний день: Последний день Помпеи, картина К. Брюллова // Библиотека для чтения. 1834. № 1. С. 119–138.

Пушкин: Сочинения А. С. Пушкина под редакцией и с объяснительными примечаниями П. О. Морозова. Т. II. СПб., 1887.

Ростопчина: Стихотворения графини Ростопчиной / Изд. второе. Т. II. СПб., 1857.

Склябовский 1821: [*Склябовский [А.В.]*] Помпея. Поэма // Благонамеренный. 1821. № VII и VIII. С. 3–10.

Склябовский 1822: *Склябовский А.* Помпея. Поэма. Подражание английскому; с присовокуплением Послания к Василию Андреевичу Жуковскому. Харьков, 1822.

Тименчик: *Тименчик Р. Д.* Заметки комментатора 6: К истокам русского стихового экфрасиса // Литературный факт. 2018. № 8. С. 285–299.

Тимофеев 1837: *Тимофеев А.* Опыты. СПб., 1837. Ч. I–III.

Тимофеев 1838: *Тимофеев А.* Последнее разрушение мира // Библиотека для чтения. 1838. Т. XXVIII. Отд. I. С. 136–140.

Тихонович: *Тихонович П. В.* Древние Римлянки. Внешняя обстановка древних Римлянок: женское отделение в римском доме; одежда Римлянок, обувь, наряды, украшения, румяны, уборка волос, прислуга и проч. // Пропилеи. Сборник статей по классической древности, издаваемый П. Леонтьевым. Кн. 2, изд. второе. М., 1857. С. 219–260.

Хвостов: Полное собрание стихотворений графа Д. И. Хвостова. СПб., 1834. Т. VII.

Ходасевич: *Ходасевич В.* Поэтическое хозяйство Пушкина // *Ходасевич В.* Пушкин и поэты его времени: В 3 т. Т. I (Статьи, рецензии, заметки 1913–1924 гг.) / Под ред. Р. Хьюза. Oakland, Ca., 1999. С. 105–376.

Чулков: *Чулков М. Д.* Пересмешник, или Славенские сказки. М., 1789. Ч. 1.

Bechi: *Bechi, G.* Relazione degli scavi di Pompei da februario 1824 a tutto dicembre 1826 // [приложение к] Real Museo Borbonico. Vol. II. Napoli, 1825.

Dahl: *Dahl, C.* Recreators of Pompeii // *Archeology*. 1956. Vol. 9, No. 3 (September). P. 182–191.

Ferrari: *Ferrari, G.* Figures in the Text: Metaphors and Riddles in *Agamemnon* // *Classical Philology*. 1997. Vol. 92. No. 1. P. 1–45.

Gay: *Gay, D.* Le dernier jour de Pompéi, Poème, suivi de poésies diverses. Paris, 1829.

Goethe: *Goethes italienische Reise mit Zeichnungen und Bildnissen Goethes besorgt von Hans Timotheus Kroeber.* Erster Band. Leipzig, 1913.

Legouvé: *Legouvé, E.* La Mort de Pompéi // *Legouvé E.* Morts bizarres: poèmes dramatiques suivis de poésies. P., 1832. P. 155–208.

Macaulay: *Macaulay, Th. B.* Pompeii. A Poem which Obtained the Chancellor's Medal at the Cambridge Commencement July 1819.

Moormann: *Moormann, E.* Pompeii's Ashes. The Reception of the Cities Buried by Vesuvius in Literature, Music, and Drama. Boston, Berlin, Munich, 2015.

Ovid: *Ovid.* Heroides. Amores. Second Edition. Harvard University Press (Loeb Classical Library 41), 1986.

Real Museo: Real Museo Borbonico. Volume VII. Napoli, 1831.

Shelley: *Shelley, M.* Rambles in Germany and Italy, in 1840, 1842, and 1843. In two volumes. Vol. II. L., 1844.

Venuti: *Venuti, N. M., Marquis Don di.* Descrizione delle prime scoperte dell'antica città d Ercolano. Roma, 1748.

Visconti: *Visconti, P. E.* L'ultimo giorno di Pompei. Quadro depinto dal sig. Cavalieri Carlo Brulloff... Roma, 1833.

ДВЕ ЗАМЕТКИ О ДВОЙНОЙ БЕЗДНЕ¹

РОМАН ЛЕЙБОВ

В статье представлена попытка проследить один из аспектов истории понятия *бездна* как в русском языке, так и в русской поэтической традиции. Сначала мы кратко опишем меняющуюся семантику этой лексемы, как она представлена в лексикографии, проследив основные сдвиги в семантике слова и покажем, как оно постепенно теряло свои первоначальные церковные коннотации и приобретало в послепетровскую эпоху разговорные употребления. Во-вторых, мы проследим образ *двойной бездны* в литературных текстах. Образ «небесной бездны» впервые появляется в классической оде Ломоносова, написанной в 1743 году. В середине девятнадцатого века Тютчев ввел в обиход поэтическое выражение *двойная бездна*. Эта поэтическая концепция была развита следующим поколением русских авторов, которые предложили свои собственные психологические и моральные интерпретации «двойной бездны».

Ключевые слова: Русская литература, лексикография, поэтическая мифология, «ночная поэзия», «двойная бездна», Ломоносов, Тютчев, Достоевский, Фет, Лев Толстой.

Roman Leibov. Two notes on the double abyss

This paper treats the history of the concept of *bezdna* (abyss) in both the Russian language and Russian poetic tradition. First, I briefly describe the changing semantics of this lexeme as presented by a number of leading dictionaries. I trace the major shifts in the word's semantics and show how it gradually lost its original ecclesiastical connotations and acquired, in the post-Petrine period, colloquial uses. Second, I examine the uses of *bezdna* in a selection of literary discourses. The notion of the 'heavenly abyss' first appeared in Mikhail Lomonosov's classic ode written in 1743. In the mid-nineteenth century, the Romantic poet Fyodor Tyutchev coined the poetic expression *dvojnaya bezdna* (double abyss). This poetic concept was further developed by the next generation of Russian writers who suggested their own psychological and moral interpretations of the 'double abyss'.

Keywords: Russian literature, lexicography, poetic mythology, 'night poetry', 'double abyss', Lomonosov, Tyutchev, Dostoevsky, Fet, Leo Tolstoy.

¹ Английский вариант статьи готовится к изданию в сборнике под ред. М. Паевича. Выражаю признательность Е. Н. Грачевой за обсуждение черновой редакции русского текста.

1. Этимология и лексикография

Этимология русской лексемы «бездна» прозрачна. Согласно этимологическому словарю Фасмера, в котором приводятся параллели с другими славянскими языками, это существительное образовано сочетанием приставки *без-* и существительного *дно*, восходящего к **дъно* [ЭСРЯ: I 144]. Подробности этимологии здесь умалчиваются. По умолчанию предполагается, что существовала праславянская форма слова (противоположная гипотеза, которую можно высказать по этому поводу — калькирование греческой лексемы в церковнославянских текстах). Ср. также статью «Бездоня» в: [ЕСУМ 1982: I, 162] — здесь указано на существование в средневековых памятниках разных форм слова с колебаниями суффиксов и грамматического рода (бездъна, бездъная, бездъниѣ).

Составленный Памвой (Павлом) Бериндой и изданный в Киеве в 1627 г. «Лексикон славеноросский» ставит в соответствие церковнославянскому слову современное украинское «бездоня» и дает синонимические толкования «пропасть», «глубокость», «множество многое вод» и «окнина» [Беринда 1961: 6].

Словарь Срезневского [МСДРЯ 1893] дает нам обширные датированные примеры из памятников. Здесь указанные выше формы существительного рассмотрены по отдельности.

Мы не станем подробно останавливаться на этих данных, поскольку существует современный «Словарь древнерусского языка», учитывающий и дополняющий материалы Срезневского [СДРЯ 1985, I: 116–117]:

БЕЗДЪН|А (42), -Ѧ с.

1. Бездонная пропасть, бездна:

въсходѣи звѣрь ш(т) бездъны и побѣдити и оубыѣтъ ѿю (ѣк тѣс ѡβύσσου)
ГА XIII–XIV, 1876; сѣх бо анѣль свержень бы(с). ѿгоже вы глѣта антихре(с). за
величанье ѿго низъвержень бы(с) с нбсе. и есть в безднѣ ЛЛ 1377, 59 об. (1071);
Всѣ(х) же глѣсы шкончаваѣтъ Павель, глѣа: кто взиде на нб(с)а, Х(с)а свести?
кто ли слѣзе в бездну, Х(с)а възвести? КТур XII сп. XIV, 53; имущи многи
и прекрѣпки лукавы-а дѣхы. тревольны-а стр(с)ти досѣжающа-а како же рещи
до того самого нбси. и низъходящи паки до бездны |||=земны-а. (ѣωс τῶν
ἄβύσσων) ФСт XIV, 182–183;

|||=о подземных водах; о водной пучине:

а ѿже верхоу вода землѣ събрасѣ въ снемъ ѿдинъ и море наре(ч)но бы(с).

а ѿже подъ землю вода оста, бездъна наре(ч)на бы(с), из не-аже како сморци
[в др. сп. смерци] испощаютьсѣ источничи на животь намъ и всѣакои живо-
тинѣ (ἄβύσσος) ГА XIII–XIV, 1836; Бѣ ѿсть...падью нбо измѣри. и пшдншжиѣ

земля. но покрываеѣтъ ю дланию. і сила югѡ хѡдитъ и пѡдъ пѡдъземныхъ. мореи бездныи одиною горъстию налиа. МПР XIV, 3 об.; и тьма върху безны. [так!] а дѣхъ бии ношаше(с) върху воды. ожидаа [в др. сп. ѡживлаа] водноѡ. юство. Пал 1406, 2г; Смотри же жидовине. изрядного сего чудеси. ꙗко сѣкомыи жезлъ несѣкомоѡ море пресѣче. тогда оубо морьскаа без(д)на. видѣ слнце югоже не видѣла николиже. Там же, 125в; ты же || || дн(с)ь въ казни и в работу преданъ бы(с) подъ руки ꙗзыко(м). ихже древле прослави г(с)ь бѣ ты же дн(с)ь поруганию и покору въ ꙗзыцѣхъ. иже древле чермнаго моря. преидоша бездну. Там же, 125–126;

||=ад, место мучения грешников:

югда приходитъ въ глоубиноу зла и не радить. находить бо юму д(о)сада и поношениѡ бездна глоубока и моука вѣчнаа послѣдняяа же юго зрѣть |||| въ дьно адоу. Парем 1271, 256 об. – 257; тамо же юсть тьма кромѣшнаяа и моука бесконечнаяа. ѡгнь шюма. червь неоусыпающии. и бездныи бѣсовьскыа. (τάρταρος) КР 1284, 377б; дѣволъ вомькнетъ тѣа въ без(д)ну и будетъ неоудобъ вы. во адѣ же никто же исповѣсть. ЗЦ к. XIV, 92а;

||=перен.:

ꙗко же бо рече дѣхъ стѣи. судѣ бии бездна многа. (ἄβυσσος) ПНЧ XIV, 118б; то бо е(с) слово о недостижны(х) его судѣ(х). вопье(т) бо и двѣдъ глѣа. судбы твоа бездна многа. с ним же и паве(л) съ страхо(м) и дивленье(м). о неиспытани суди бжьи. ГБ XIV, 86г.

2. Огромное количество, множество:

се неищетна блгость твоа и безднаа челоуколюбѣа. долго терпѣлъ юси на мнѣ. Сбяр XIII, 80; да побѣдитъ множество щедротъ твоихъ съблазнъ моихъ бездноу. Там же, 176.

Примеры приводятся и для однокоренных синонимических лексем:

БЕЗДЪНЫИ (5*) пр. Бездонный:

в съ днь разверзоша(с) вси источници бездныа. и хляби нб(с)ныа ѡ(т)верзошасѣ Пал 1406, 52в;

в роли с. Бездна, бездонная пропасть:

Кроугъ нбсьныи обидохъ юдина. и по глоуби || нѣ бездныаа походихъ [о премудрости] (ἄβυσσων) Изб 1076, 81 об. – 82; тако и бы(с). по образу и по подобью бию създаны(х) поне же наслаждѣ(е) вѣчны(х) блгѣ обѣщаны(х). бесловеснаго ра(д)любостр(с)тиаа въ бездныаа адова. суда вѣчнаго. (εἰς ταμεῖα ἄδου) ФСт XIV, 189г; въ глубину вступати паче. ѡ(т) глубины бездныаа безднуу призываа. (ἄβυσσον ἄβύσσῳ) ГБ XIV, 171г.

БЕЗДЪНЬ|Ю (1*), -А с. Бездна. Перен.:

судбы твоа ꙗко полудне. судбы твоа бездныи много. судбы твоа истинныи и оправданыи вкупѣ. МПР XIV, 12.

Эти древне- и старорусские источники фиксируют (1) преобладание негативной переносной семантики, связанной с inferнальным миром, Адом. Употреблений в прямом значении, так или иначе не осложненным этими коннотациями, среди примеров почти нет. (2) В источниках, связанных с переводами Ветхого Завета, эти ассоциации ослаблены: ср. в примерах Срезневского (стлб. 55), прямо цитирующих второй стих Книги Бытия. Здесь Бездна окрашена в семантику первобытного Хаоса. (3) Как стихия, связанная с Хаосом (но и с Творением), метонимически описывается *водная (морская) бездна*; особое место занимает здесь приведенный Срезневым пример из перевода Хроники Георгия Амартола, где подземная вода, порождающая источники (бездна) противопоставлена морям. (4) Уже в древнерусский период развивается наречное метафорическое значение «множество». Следует отметить, что производные от интересующего нас корня лексемы при этом могут описывать как избыточную полноту божественных атрибутов (се неищетна бл̑гость твоѧ и бѣздына челоуѣколюбѧ?), так и опасности дьявольского соблазна (да побѣдит множество щедротъ твоихъ съблазнѣ моихъ бездыноу) — примеры из ярославского сборника молитв второй половины XIII в.

Конечно, имеющиеся у нас древнерусские источники ориентированы почти исключительно на церковную традицию и тексты Священного Писания (мы намеренно исключаем из рассмотрения сложную перспективу, которую задают в разных церковных традициях толкования этих мест). Тем интереснее случай использования слова «бездна» в старейшей русской летописи — «Повести временных лет». Вопрос о датировке включения этого нарратива в летопись навсегда останется дискуссионным, поскольку хроника дошла до нас в позднейших списках. Так или иначе, в древнейшем варианте (XIV в.) под 1071 годом помещен рассказ, где слово «бездна» встречается в речи персонажей. Два мятежных волхва смущают своим колдовством народ во время голодного бунта. Представитель княжеской власти вступает с ними в теологическую полемику. Кудесники излагают свою концепцию сотворения человека (комментаторы указывают на ее близость к учению богумилов). Окончательный аргумент боярина выглядит так:

Сказал им Янь: «Поистине прельстил вас бес; какому Богу веруете?» Те же ответили: «Антихристу!» Он же сказал им: «Где же он?» Они же сказали: «Сидит в бездне». Сказал им Янь: «Какой это Бог, коли сидит в бездне? Это бес, а Бог на Небесах, восседает на престоле, славимый ангелами, которые предстоят ему со страхом и не могут на него взглянуть. Один из ангелов был свергнут — тот, кого вы называете антихристом; низвергнут был он с Небес за высокомерие свое и теперь в бездне, как вы и говорите; ожидает он, когда сойдет с Неба Бог.

Этого антихриста Бог свяжет узами и посадит в бездну, схватив его вместе со слугами его и теми, кто в него верует <...> [ПВА 2012: 118].

Совершенно очевидно, что слово «бездна» входит в этот отрывок в своем каноническом церковном значении — ад, подземный мир. Дискуссия, конечно, заканчивается торжеством христианства и казнью волшебников.

Следует отметить, что фиксируемое словарем второе значение (множество, огромное количество) применяется исключительно к абстрактным понятиям (соблазны человека, человеколюбие Бога). Оно, несомненно, восходит к ветхозаветным сочетаниям, прежде всего это Пс. 35: 6 (судьбы Твоя бездна многа: человеки и скоты спасеши, Господи); ср. примеры в НКРЯ. К Пслатири восходит и другой фрагмент, встречающийся как устойчивое клише: *бездна бездну призывает* (Пс. 41: 8)².

Реформы Петра I имели одним из следствий радикальную трансформацию русского языка: старославянская его основа в XVIII в. была ослаблена, а позже составила лишь один из второстепенных компонентов стилистики.

В это время появляются первые синхронные словарные проекты. Первый из них — «Словарь Академии Российской» — ориентирован на прескриптивность и фиксирует сложившиеся к концу XVIII – началу XIX столетия представления о лексическом составе нормативного языка. При этом первое издание (1789–1794) стремится представить, в первую очередь, разнообразие *новой* лексики, вошедшей в язык за последние сто лет. Слова *бездна* в нем нет вообще. Во втором издании (1806–1822) зафиксированы три основных значения этого слова: 1) Пропась, чрезвычайная, необъятная глубина <...>. 2) В Св. Писании инде то же значит, что ад и преисподняя <...>. 3) Множество [САР 1806: I, стлб. 128–129]. Для последнего значения приведен пример разговорного употребления вне церковных контекстов: «бездна денег».

Картину реальных словоупотреблений XVIII в. позволяет уточнить «Словарь русского языка XVIII века» (1984):

БЕЗДНА, ы, ж. 1. Беспредельная глубина; морские или земные недра. <...> | Ритор. О бурном, грозном море, морских просторах. <...> ◇ К н я з ь б е з д н ы. Церк.-слав. Сатана, дьявол. Лом. | Перен. и образно. [Кутейкин:] Такой-то де семинарист, из церковничьих дѣтей, убоаясь бездны премудрости, просит от нея об увольнении. Фнв. Недор. 45. <...> || ■ Перен. О том, что заключает в себе нечто гибельное, бедственное. <...> || Безграничное пространство, беспредельность вселенной. <...> ◇ Б. в е ч н о с т и, в е к о в, в р е м е н, м и н у в ш е г о. <...>

² Отметим, что синодальный перевод Библии сохраняет амбивалентность коннотаций лексемы.

2. чего. *Простореч. Очень много; неисчислимое множество чего-л.* [СРЯ XVIII 1984: I, 171].

При сопоставлении с древнерусской картиной заметны два параллельных семантических сдвига: во-первых, антигиперболический перенос «бездны погибели» на жизненные обстоятельства повседневной жизни (приведен пример из романа); во-вторых, расширение значения бездна = множество, позволяющее применить слово к бытовым обстоятельствам («бездна денег», «бездна комплиментов»). Такая тенденция к секуляризации лексикона привела к тому, что в конце века составители нормативного «Словаря русского языка» под ред. Грота вообще исключили значение «ад» из перечня значений, оставив лишь ядерные «пропасть», «пучина» и «множество» [СРЯ Грот 1895: I, стлб. 136].

Мы позволим себе пропустить обзор словарей XIX века, поскольку современный академический словарь дает определения «бездны», в целом совпадающее с описанием словаря XVIII в. (различия касаются скорее языка описания):

БЕЗДНА, ы, ж.

1. Пропасть, глубина, кажущаяся неизмеримой, не имеющей дна. <...> О морской пучине. <...> // О беспредельности неба, вселенной и т. п. о Бездна чего-л., какая-л. Бездна вселенной. <...> // Перен. О бесконечности времени. <...>

2. Перен. О резко выраженных различиях, глубоких расхождениях, противоречиях в чем-л., между кем-, чем-л. о Бездна разделяет кого-, что-л.; бездна (лежит, открылась и т. п.) между кем-, чем-л. <...>

3. Перен. О грозящей кому-л. опасности, гибели. (Быть) на краю бездны, над бездной. <...>

4. Устар. Ад, преисподняя (обычно в поэтической речи). <...>

5. Разг. О большом количестве, множестве кого-, чего-л. о Б е з д н а кого-, чего-л. <...>

~ **Бездна бездну призывает.** Устар. О губительной власти дурных привычек, бессилии противостоять соблазнам. <...> **Бездна премудрости, премудростей.** Шутл. или ирон. О сомнительной ценности и глубине чьих-л. познаний, сведений и т. п. <...> [ССРЛЯ 1991: I, 413].

Описанная выше эволюция значений слова может быть суммирована следующим образом. Во-первых, очевидна изначальная ориентация на переводы ветхозаветных текстов, особое место здесь занимают два псалма, задающие неоднозначность понятия. Во-вторых, наши представления о функциональном распределении слова в разных стилистических регистрах недостоверны вплоть до XVIII в. В-третьих, в новой русской лексикографии зафиксировано проникновение слова в светскую риторiku и даже, возможно, в бытовую речь.

Последнее подтверждается «низкими» жанрами литературы XVIII в. (комедия, роман) и внелитературными жанрами (эпистолярный).

2. Две бездны

В этой части будут рассмотрены некоторые случаи использования интересующего нас слова в новой русской литературе. Мы постараемся указать на преемственность семантического развития темы *двух бездн*.

Среди поэтического наследия Ломоносова особое место занимают две духовные оды — «Утреннее...» и «Вечернее...» размышления о Божием величестве. Оба текста относятся к жанру духовных од нового времени и ориентируются на английскую физико-теологическую поэзию (Pope, Addison), воспринятую через немецкие переводы и подражания [Осповат 2004]. Задача, которую ставит перед собой Ломоносов — подтвердить тезис о непознаваемости Творца, обратившись к естественнонаучным аргументам. Интересующее нас «Вечернее размышление...» целиком посвящено обсуждению тогдашних гипотез о происхождении северного сияния. Оно датировано 1742 годом и впервые опубликовано в «Риторике» Ломоносова (1747). Здесь текст служит примером энтимемы (неполного силлогизма): «*Тварей исследовать не можем, следовательно, и Творец есть непостижим*. Распространить можно идеи о ночи, о мире и о северном сиянии, что учинено в следующей оде» [Ломоносов 1952: 315]. Исследователи указывали на связь традиции физико-теологической поэзии с ветхозаветной традицией (в первую очередь — псалмической: Пс. 18, также ср.: — Иов 38–39).

Стихотворение Ломоносова оказалось исключительно важным для русской традиции. Ода ввела в нее маркированную ритмическую схему (четырёхстопного ямба с мужскими перекрестными рифмами без альтернанса клаузул), а ее ночная тема впоследствии была подхвачена в предромантической и романтической поэзии:

Здесь риторически развернуты основные научные гипотезы происхождения северного сияния, они чередуются в строфах 3, 5 и 8 с вопросами и восклицаниями, демонстрирующими читателю признание неполноты позитивного познания природы. Особое место занимает первая строфа, в которой содержится слово «бездна». Это — экспозиция рассуждения, задающая интонацию и настроение стихотворения (цитируем вариант «Риторики»):

Лице свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень,

Лучи от нас прогнала прочь.
Открылась бездна звезд полна:
Звездам числа нет, бездне дна [Ломоносов 1952: 315].

Как мы помним, традиционное употребление связывало бездну, в первую очередь, с нижним хаотическим миром (*Ад, морская пучина*). Как представляется, у Ломоносова инверсия связана с влиянием другого устойчивого значения слова «бездна», описывающего атрибуты Бога (бездна милосердия, бездна судеб). Впечатляет смелость, с которой Ломоносов применяет это значение не к абстрактным качествам, а к физическому пространству ночного неба. При этом следует иметь в виду еще одно обстоятельство: фонетическое сближение «бездны» и «звезд», впервые манифестированное здесь, станет в дальнейшем устойчивым. Это — специфически русская языковая черта, наша гипотеза состоит в том, что она сыграла свою роль в дальнейшем развитии темы «ночной бездны».

«Ночная поэзия» предромантизма и романтизма захватила Россию в конце XVIII столетия. Особенно значимыми здесь вновь оказались английская и немецкая традиции. «Ночи» (*The Complaint, or Night Thoughts on Life, Death, and Immortality, 1742–1745*) Э. Юнга (E. Young, 1683–1765) были неоднократно переведены на русский язык (с оригинала или с французских/немецких переложений, прозой или стихами)³. Русские масоны начала XIX века активно пропагандировали переводы поэзии Юнга⁴. Основным пафосом новой ночной поэзии становится не ломоносовский одический восторг, но погружение одинокой души в пространство страха, скорби и рефлексии (Юнг писал свои поэмы, переживая смерть супруги и приемных детей). *Night's abyss, soul's abyss and abyss of horror* — вот контексты, в которых появляется это слово у Юнга (и его русских переводчиков)⁵. В рационалистической традиции, к которой примыкает «Рассуждение» Ломоносова, апелляция к Богу призвана была рационалистически примирить религиозное

³ О Юнге в России см.: [Заборов 1964].

⁴ См. подробно: [Топоров 2003].

⁵ Ср. у Юнга, напр.: "How much is to be done? My hopes and fears / Start up alarm'd, and o'er life's narrow verge / Look down – On what? A fathomless abyss; / A dread eternity! how surely mine! / And can eternity belong to me, / Poor pensioner on the bounties of an hour?" [Young 1806: 5]; "There's nought (thou say'st) but one eternal flux / Of feeble essences, tumultuous driv'n / Through Time's rough billows into Night's abyss. / Say, in this rapid tide of human ruin, / Is there no rock, on which Man's tossing thought / Can rest from terror, dare his fate survey, / And boldly think it something to be bom?" [Ibid.: 188]; "And He the central sun, transpiercing all / Those giant generations, which disport, / And dance, as motes, in his meridian ray; / That ray withdrawn, benighted, or absorb'd, / In that abyss of horror, whence they sprung; / While Chaos triumphs, repossess of all / Rival creation ravish'd from his throne?" [Ibid.: 302]."

чувство с текущей неполнотой научного знания о космической бездне (не отменяя, однако, идеи познаваемости мира). В чувствительной поэзии Юнга та же апелляция примиряет скорбящую душу с бездной отчаяния.

Эта новая традиция ночной поэзии продолжается у романтиков, которые трактуют ночную бездну онтологически: как приобщение к тайнам мироздания и человеческой души, перекликающихся друг с другом.

В России новое представление о ночной бездне получило наиболее полное воплощение в лирике Тютчева. Тема космической «бездны» становится одной из поэтических сигнатур этого поэта, одический восторг Ломоносова здесь аккомпанирует ночным страхам Юнга. Тема бездны у Тютчева становится экзистенциальной. Кроме того, ночные стихи Тютчева на тему бездны соотносятся с «Мыслями Паскаля»⁶. Самое главное, что обращение Тютчева к теме бездны приобретает глубокий метафизический характер. Бездна представляет беспредельность инобытия/небытия, открывающегося человеческой душе среди беспредельности ночи. Здесь важны два текста, варьирующие одну тему: «День и ночь» (не позднее 1839) и «Святая ночь на небосклон взошла» (не позднее марта 1850).

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
День — сей блистательный покров —
День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!

Но меркнет день — настала ночь;
Пришла — и с мира рокового
Ткань благодатную покрыва
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами —
Вот отчего нам ночь страшна!

[Тютчев 1965: 98].

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный
Как золотой покров, она свила,
Покров, накинутый над бездной.
И, как виденье, внешний мир ушел...
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен и гол,
Лицом к лицу пред пропастию темной.

На самого себя покинут он —
Упразднен ум, и мысль осиротела —
В душе своей, как в бездне, погружен,
И нет извне опоры, ни предела...
И чудится давно минувшим сном
Ему теперь все светлое, живое...
И в чуждом, неразгаданном ночном
Он узнает наследье родовое.

[Тютчев 1965: 118].

Но к ночной/пространственно-циклической тематике трактовка бездны у Тютчева не сводится. Бездна открывается при обращении к теме времени: индивидуального («Увы, что нашего незнания...», 1854) или исторического («От

⁶ См. об этом [Толстогузов 2008].

жизни той, что бушевала здесь ... », 1871). Она может выступать у Тютчева и как синоним небытия, и как выражение полноты инобытия (о связи образа бездны с этой ключевой тютчевской оппозицией см.: [Лотман 1990]). Особо важным для последующей традиции становится тютчевское словосочетание *двойная бездна* (ср. в другом контексте у Тютчева «на пороге / Как бы двойного бытия»). Это сочетание встречается в эмблематическом стихотворении «Лебедь» (опубл. в 1839):

Пускай орел за облаками
 Встречает молнии полет
 И неподвижными очами
 В себя впивает солнца свет.
 Но нет завиднее удела,
 О лебедь чистый, твоего —
 И чистой, как ты сам, одело
 Тебя стихией божество.
 Она, между двойною бездною,
 Лелеет твой всезрящий сон —
 И полной славой тверди звездной
 Ты отовсюду окружен [Тютчев 1965: 26].

Сходным образом описана стихия сна в другом стихотворении (опубл. в 1830):

Как океан объемлет шар земной,
 Земная жизнь кругом объята снами;
 Настанет ночь — и звучными волнами
 Стихия бьет о берег свой.
 То глас ее: он нудит нас и просит...
 Уж в пристани волшебный ожил челн;
 Прилив растет и быстро нас уносит
 В неизмеримость темных волн.
 Небесный свод, горящий славой звездной,
 Таинственно глядит из глубины, —
 И мы плывем, пылающею бездною
 Со всех сторон окружены [Там же: 29].

Здесь интересно соединение нового, «ломоносовского» космического значения с одним из исходных значений слова, связанных с водной стихией, нижним миром. Отметим, что Тютчев продолжает линию, открытую Ломоносовым: в последнем примере *бездна* рифмуется со *славой звездной*.

Достоевский был поклонником поэзии Тютчева (он даже написал некролог поэту). Для Достоевского как гениального читателя было очевидно

единство поэтического мира Тютчева — с его политическими, метафизическими, моральными и психологическими измерениями. Достоевский использует метафору «двух бездн», следуя психологической тютчевской линии. Классическая трактовка двойной бездны как родовой черты человека, наделенной сверх того национальными русскими обертонами, развернута в последней части «Братьев Карамазовых»:

Обыкновенно в жизни бывает так, что при двух противоположностях правду надо искать посередине; в настоящем случае это буквально не так. Вероятнее всего, что в первом случае он <Дмитрий> был искренно благороден, а во втором случае так же искренно низок. Почему? А вот именно потому, что мы природы широкие, карамазовские, — я ведь к тому и веду, — способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения. Вспомните блестящую мысль, высказанную давеча молодым наблюдателем, глубоко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых, господином Ракитиным: «Ощущение низости падения так же необходимо этим разнузданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства», — и это правда: именно им нужна эта неестественная смесь постоянно и непрерывно. Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент — без того мы несчастны и не удовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, широки, как вся наша матушка Россия, мы всё вместим и со всем уживемся! [Достоевский 1976: 129].

Следует отметить, что приведенный отрывок — выдержка из судебной речи прокурора Ипполита Кирилловича, рассуждения которого построены на вульгарных банальностях того времени и перефразируют (еще не напечатанную) статью Ракитина. Затем тему двух бездн подхватывает еще менее симпатичный адвокат Фетюкович:

Но ведь сами же вы кричали, что широк Карамазов, сами же вы кричали про две крайние бездны, которые может созерцать Карамазов. Карамазов именно такая натура о двух сторонах, о двух безднах, что при самой безудержной потребности кутежа может остановиться, если что-нибудь его поразит с другой стороны [Там же: 159].

Вкладывая формулу *две бездны* в уста столь неприятных персонажей, Достоевский, как нам представляется, не опровергает концепцию, но лишь указывает на ее дискредитацию современной судебной и публицистической риторикой⁷.

Тютчевские тексты представляются нам принципиально важными для трактовки темы. Словосочетание *двойная бездна* стало впоследствии символическим. После того как Владимир Соловьев, Мережковский и другие ранние

⁷ О философских аспектах *бездны* у Достоевского см. [Померанц 2013].

модернисты интерпретировали формулу в мистическом духе *fin de siècle*, она стала одним из ключевых понятий в поэзии и прозе младших символистов, таких как Блок, Белый, Вяч. Иванов. Сама по себе лексема *бездна* становится в лексиконе русского модернизма сигнатурой тютчевской лирики и (с коннотациями, воспринятыми от Достоевского) в духе *fin de siècle* — ключевым словом поэзии символизма. Тютчевская «бездна» становится символом тождественности микрокосма человеческой души и макрокосма мироздания, при этом на первый план выступает амбивалентная природа мира и человеческой психики⁸.

Укажем еще на одну линию развития ломоносовско-тютчевской линии. Она получила развитие в знаменитом и важном для русской традиции стихотворении Фета (1857):

На стог сена ночью южной
 Лицом ко тверди я лежал,
 И хор светил, живой и дружный,
 Кругом раскинувшись, дрожал.
 Земля, как смутный сон немая,
 Безвестно уносила прочь,
 И я, как первый житель рая,
 Один в лицо увидел ночь.
 Я ль несся к бездне полуночной,
 Иль сонмы звезд ко мне неслись?
 Казалось, будто в длани мощной
 Над этой бездной я повис.
 И с замираньем и смятеньем
 Я взором мерил глубину,
 В которой с каждым я мгновеньем
 Всё невозвратнее тону [Фет 1959: 213].

Фет в импрессионистической манере трансформирует точку зрения лирического субъекта. Его герой лежит лицом вверх, при этом ночное небо описывается как бездна. Различие с героем Ломоносова очевидно: чтобы восхититься величиим Бога субъекту ломоносовской речи надо было смотреть снизу вверх (как и положено в оде). Наблюдатель Фета, физически не меняя расположения (*лицом ко тверди я лежал*), метафизически перемещается в пространстве, меняя точку зрения. В первой строфе он созерцает ночную небесную твердь снизу (хотя уже здесь сюжет развертывания текста

⁸ См. об этом: [Гудзий 1930; Сарычева 2016].

предсказан наречием *кругом*). Затем — во второй строфе — (как бы отрываясь от земли), герой видит ночь *в лицо*: это выражение подразумевает равноправие двух персонажей и имплицитно подразумевает представление о стоящем наблюдателе, взгляд которого направлен по горизонтали. Третья строфа завершает поворот на 180 градусов: теперь герой располагается *над бездной*, а ночные светила несутся ему навстречу. Наконец, финальный катрен заставляет героя двигаться навстречу небесной тверди (описанной как водная стихия). Контакт с ночной бездной описан здесь как встречное движение поэта и мироздания, завершающееся переходом от имперфектных форм глаголов к неожиданному финальному презенту (*тону*).

Заключительные строфы ставят лирического субъекта над *бездной* и воспроизводят отождествление космической и водной бездн, встречающееся у Тютчева.

Фет был близким приятелем и одним из любимых поэтов Толстого. Толстой также был поклонником лирики Тютчева. Мотивы этих поэтов прямо отразились в аллегорическом сне, который был пересказан Толстым в постскрипуме к его «Исповеди» (1882, первое русское полное издание с этим фрагментом вышло в 1906). Толстой с присущей ему прямолинейностью наделяет смутные поэтические образы однозначным моралистическим смыслом, апеллируя при этом (как Фет) к телесной моторике и описывая свой сон как квинтэссенцию изложенного в трактате религиозного переживания человека новой эпохи, лишенного опоры в традиционных религиозных переживаниях. Страх перед *нижней бездной* (смертью, индивидуальным небытием) здесь кодирован как физиологическая высотобоязнь. Преодолеть его можно лишь вглядываясь в *верхнюю бездну* (универсальный нравственный закон):

Вижу я, что лежу на постели. И мне ни хорошо, ни дурно, я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежать; и что-то, мне кажется, неловко ногам: коротко ли, неровно ли, но неловко что-то; я пошевеливаю ногами и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на чем я лежу, чего мне до тех пор не приходило в голову. И наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетеных веревочных помочах, прикрепленных к бочинам кровати. Ступни мои лежат на одной такой помочи, голени — на другой, ногам неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать. И движением ног отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее. Но я оттолкнул ее слишком далеко, хочу захватить ее ногами, но с этим движеньем выскальзывает из-под голени и другая помоча, и ноги мои свешиваются. Я делаю движение всем телом, чтобы справиться, вполне уверенный, что я сейчас устроюсь; но с этим движением выскальзывают и перемещаются подо мной еще и другие помочи, и я вижу, что

дело совсем портится: весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко. — Тут только я спрашиваю себя то, чего прежде мне и не приходило в голову. Я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело, и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе.

Я не могу даже разобрать — вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть еще хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновение, и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? — спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на последних, не выскочивших еще из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что я вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: «Заметь это, это оно!» и я гляжу всё дальше и дальше в бесконечность вверху и чувствую, что я успокаиваюсь, помню всё, что было, и вспоминаю, как это всё случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх. И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, я вишу всё так же? И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Всё это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся [Толстой 1957].

Итак, в своей классической «научной» оде Ломоносов ввел мощный поэтический образ ночного неба как *бездны*. У Тютчева бездна удваивается, порождая сочетание *двойная бездна*. Тютчевское слово колеблется между метафорическим и мифологическим смыслами. Его более широкий семантический потенциал реализуется как нравственная аллегория в реалистической прозе, а затем в неомифологических текстах русских символистов. Примечательно, что семантическая трансформация понятия, прослеженная нами, развивает характерное для русской традиции исконно двойное значение лексемы *бездна* в ее первоначальном средневековом употреблении.

Литература и сокращения

Беринда 1961: *Беринда Памво*. Лексіконъ славеноросскій и имень Тлъкованіе. Київ, 1961 (Пам'ятки української мови XVII ст.). <Эл. репринт: Изборник: Історія України ІХ–ХVІІІ. Першоджерела та інтерпретації. litorus.org.ua/berlex/be08.htm [30 сентября 2022]>.

Гудзий 1930: *Гудзий Н. К.* Тютчев в поэтической культуре русского символизма // Известия по русскому языку и словесности Академии наук СССР. 1930. Т. III. Кн. 2. С. 465–549.

Достоевский 1976: *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 15. Л.: Наука, 1976.

ЕСУМ 1982: *Безодня* // Етимологічний словник української мови. Т. I. Київ, 1982. С. 162.

Заборов 1964: *Заборов П. Р.* «Ночные размышления» Юнга в ранних русских переводах // XVIII век. Сб. 6: Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма. М.; Л.: Наука, 1964. С. 269–279.

Ломоносов 1952: *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. VII: М; Л: Изд-во АН СССР, 1952.

Лотман 1990: *Лотман Ю. М.* Поэтический мир Тютчева // Тютчевский сборник. Таллинн: Ээсти Раамат, 1990. С. 108–141.

МСДРЯ 1893: *Бездна* // *Срезневский И.* Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам. Т. I. СПб.: Изд. отд. рус. языка и словесности Императорской Академии наук, 1893. Стлб. 55–56.

Осповат 2004: *Осповат К. А.* Некоторые контексты «Утреннего...» и «Вечернего размышления о Божьем величии» // Study Group on Eighteen-century Russia. Newsletter. 2004. № 32. P. 39–54.

ПВА: Повесть временных лет. СПб.: Вита Нова, 2012. С. 118.

Померанц 2013: *Померанц Г. С.* Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013.

САР 1806: *Бездна* // Словарь Академии Российской. Т. I. СПб.: Имп. Академия Наук, 1806. Стлб. 128–129.

Сарычева 2016: *Сарычева К.* Восприятие Ф. И. Тютчева и А. А. Фета в русской литературной критике 1870-х – 1900-х гг. Тарту, 2016 (Dissertationes philologiae slavicae Universitatis Tartuensis: 36).

СДР 1988: Бездна // *Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)*. Т. I. М.: Русский язык, 1988. С. 116–117.

СРЯ XVIII 1984: *Словарь русского языка XVIII века*. Т. I. Л.: Наука, 1984. С. 171.

СРЯ 1891: Бездна // *Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии Наук*. Т. I. СПб.: Тип. Имп. Академии Наук, 1891. С. 136.

ССРЯ 1988: Бездна // *Словарь современного русского литературного языка*. Т. I. М.: Русский язык, 1988. С. 413.

Толстогузов 2008: *Толстогузов П. Н.* «Бездна» как раздел концептуального словаря поэзии Тютчева // *Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке*. 2008. № 3. С. 18–22.

Топоров 2003: *Топоров В. Н.* «Текст ночи» в русской поэзии XVIII – начала XIX века // *Топоров В. Н.* Из истории русской литературы. Т. II: Русская литература второй половины XVIII века: исследования, материалы, публикации. М. Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. Кн. II. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 157–228.

Толстой 1957: *Толстой А. Н.* Полное собрание сочинений. Т. 23. М.: Гос. изд-во худож. литературы, 1957.

Тютчев 1965: *Тютчев Ф. И.* Лирика. Т. I. М.: Наука, 1965.

Фет 1959: *Фет А. А.* Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1959.

ЭСРЯ 1986: Бездна // *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1986. Т. I. С. 144.

Young 1806: *Young, Edward.* Night Thoughts on Life, Death and Immortality. London: H. Baynes, 1806.

О ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ НЕКРАСОВСКОЙ ЦИТАТЫ У КУЗМИНА

ЛЕА ПИЛЬД

В статье рассматривается случай обращения модернистского поэта Михаила Кузмина к поэзии Николая Некрасова. Цитата из стихотворения Некрасова «Влас» (1855) обнаруживается в первом тексте поэтического цикла Кузмина «Вожатый» (1908). Некрасовский «Влас» принадлежит к «сильным» текстам в русской поэзии. О нем писали многие литературные критики еще при жизни Некрасова, оно входило в школьные хрестоматии второй половины XIX – нач. XX вв. и связано отчетливо с балладной традицией. Вероятно, Кузмин познакомился с ним еще в гимназии и мог знать его наизусть. В статье делается вывод, что цитата из Некрасова вполне вписывается в контекст символистской рецепции поэта, поскольку некоторые русские символисты (Мережковский, С. Соловьев) также обращали внимание на религиозную тему в его поэзии. Однако обращение к Некрасову у Кузмина имеет свой индивидуальный смысл, поэт не идеализирует, подобно Некрасову, религиозность русского народа и его духовную силу, он заменяет в своем стихотворении религиозного Власа на святого Михаила-Архангела, указывая тем самым на средоточие своего по особому понятого «народного мира».

Ключевые слова: Кузмин, Некрасов, стихотворение «Влас», канон русской поэзии, святой Михаил Архангел.

Lea Pild. On the literary context of Nekrasov's quotation in Kuzmin

The article examines the case of the modernist poet Mikhail Kuzmin turning to the poetry of Nikolai Nekrasov. A quotation from Nekrasov's poem "Vlas" (1855) appears in the first text of Kuzmin's poetic cycle "The Guide" (1908). Nekrasov's "Vlas" belongs to the key texts of Russian poetry. Many literary critics wrote about it during Nekrasov's lifetime; it was included in school textbooks of the second half of the 19th and the early 20th century and is clearly related to the ballad tradition. Kuzmin probably had read it in high school and could have known it by heart. The article concludes that the quotation from Nekrasov fits well into the context of the symbolist reception of the poet, since some Russian symbolists (Merezhkovsky, S. Solovyov) also paid attention to the religious theme in Nekrasov's poetry. However, Kuzmin's appeal to Nekrasov has its own individual meaning; the poet does not idealize, like Nekrasov, the religiosity of the Russian people and their spiritual strength; in his poem, he replaces the religious Vlas with St. Michael the Archangel, thereby pointing to the focus of his specially understood "folk worldview".

Keywords: Kuzmin, Nekrasov, poem "Vlas", Russian poetry canon, Saint Michael the Archangel.

На заявленную нами тему работ как будто бы не существует, так как, на первый взгляд, между поэтом-модернистом Михаилом Кузминым и «гражданственным» поэтом XIX в. Николаем Некрасовым нет почти ничего общего. Кузмин не был «поэтом-гражданином» и порицал «гражданственное» направление в русской поэзии. В его опубликованных дневниках фамилия Некрасова не встречается, хотя можно найти имя племянника поэта — Константина Федоровича Некрасова, основавшего в 1911 г. издательство и печатавшего сочинения русских символистов, в том числе, Кузмина¹. Тем не менее, Некрасов появляется в стихах Кузмина спустя некоторое время после знакомства с Вячеславом Ивановым, Блоком, Белым и вхождения в круг Иванова на Башне. Это было время, когда Кузмин переживал целый ряд любовных романов, иногда последовательно, а иногда синхронно. Объектами его влюбленностей были, кроме «ничем не примечательного» Павла Маслова (ему Кузмин посвятил цикл «Любовь одного лета»), будущий муж танцовщицы и актрисы Ольги Глебовой художник Сергей Судейкин (ему посвящен цикл «Прерванная повесть» и одноименный рассказ) и юнкер Инженерного училища Виктор Андреевич Наумов, с которым Кузмин познакомился в мае 1907 г. [Богомолов, Малмстад: 218]. К последнему привязанность Кузмина была особенно сильной, это видно не только по дневниковым записям, но и по количеству посвященных (или обращенных к) Наумову циклов.

В первом сборнике стихов «Сети» (1908) их всего пять: «Ракеты», «Обманщик обманувшийся», «Радостный путник», «Вожатый» и «Струи». Из них нас будет интересовать лирическое единство из семи стихотворений

¹ Имя поэта Некрасова встречается в статье Кузмина «Музыка и революция», опубликованной в № 11 «независимого» еженедельника «Весна» в 1908 г. Здесь Кузмин, местами иронизируя, пытается объяснить, что музыка и революция связаны между собой случайно (так как музыка не может выражать «идеи») и приводит несколько примеров: «Еще разительнее пример русской революции, взявшей, кроме чужих случайных песен на освободительные тексты («Марсельеза», «Варшавянка»), старую бурлацкую песню и марш, под звуки которого до последнего времени хоронили заслуженных генералов («Вы жертвою пали»)). В старину слова Некрасова распевались на мотив из «Лукреции» — и получалось очень недурно. При чем тут музыка?» [Кузмин 2000: 426]. Возможно, здесь подразумевается опера Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа» (1833), которая ставилась в России с 1843 г. Кузмин здесь подчеркивает случайность выбора мелодии для новых текстов и неуместность использования уже существующей песни в иной исторической ситуации, непохожей на предыдущую. Упоминание Некрасова как будто совсем нейтрально, но предложение «При чем здесь музыка?» бросает ответ на предшествующий текст статьи и может быть прочитано как мысль о неуместности музыки как высокого искусства рядом с поэзией Некрасова. Понятие «музыки» здесь подчеркнуто конкретизировано и, видимо, направлено против эстетических утопий Вячеслава Иванова, Белого и Блока, которые рассматривали музыку как метафизическую категорию.

«Вожатый», а, точнее, первое его стихотворение «Я цветы собираю пестрые...» с некрасовской цитатой. Далее мы остановимся на тех литературных контекстах, которые повлияли или могли повлиять на мимолетное, но вполне осознанное обращение Кузмина к стихотворению Некрасова «Влас» (1855).

В поэтическом цикле Кузмина «Вожатый», вошедшем во второй раздел третьей части книги стихов «Сети», появляется мотив «кающегося грешника», который развивался еще в раннем цикле «Духовные стихи» (<1901–1903>)², написанных специально для музыки и основанных на апокрифических сюжетах. Проблематика цикла и его источники объясняются, в частности, тем, что Кузмин был глубоко религиозен, но не принимал форм современного официального православия, интересовался апокрифической литературой и старообрядческой культурой, но вместе с тем подумывал о возможности уйти в «хороший» православный монастырь, где можно было бы забыться, отойти от грешной жизни и покаяться» [Богомолов 1996: 15]. Ноты и слова «Духовных стихов» Кузмин опубликовал в том же 1912 г. и посвятил это словесно-вокальное сочинение поэту и гусарскому корнету Всеволоду Князеву, с которым у него был в то время роман. В предельно краткой рецензии на издание композитор Николай Яковлевич Мясковский пишет:

Бледная, вялая Sol да Re минорная музыка, лишенная какого бы то ни было колорита, силы и выразительности и даже тематически не привлекательная; и это несмотря на то, что автор музыки является одновременно и автором стихов, весьма не лишенных и аромата, и напряженности, и своеобразной мистической окрашенности [Мясковский: 124]³.

Как бы молчаливо соглашаясь с мнением Мясковского, Кузмин публикует «Духовные стихи» отдельно от музыкального текста в первом разделе третьей части книги стихов «Осенние озера» (1912). «Духовным стихам» близок названный выше цикл «Вожатый»: в двух лирических единствах есть общий персонаж — Михаил Архангел, упоминаемый в апокрифах и в народном предании. Этого святого, стоящего, согласно «Откровению Святого Иоанна», во главе небесного воинства, Кузмин считал своим святым и покровителем.

² Публикуя «Духовные стихи», Кузмин скрыл настоящую датировку создания стихотворений и включил их тем самым в контекст своих произведений начала 1910-х гг. Ср.: «Эти произведения были созданы как тексты для музыки в 1901–1903 гг., что заставило Кузмина при публикациях снять даты, чтобы не создавать впечатления явной устарелости» [Богомолов 1996: 720]. О фольклорных источниках этих стихотворений см.: [Там же: 720–721].

³ Текст заметки приведен Н. Богомоловым в: [Кузмин 1996: 720].

В первом стихотворении цикла «Духовные стихи» — «Хождение Богородицы по мукам» (<1901>), — где идет речь идет о посредничестве Богоматери между грешниками и Богом, Михаил Архангел выступает по ее просьбе в роли сопровождающего, а также советчика. Бог пожалел грешников только после третьего обращения Богородицы, когда она собрала многих святых, молящих о прощении:

И припали все святые ангелы,
 Пророки, апостолы,
 Иван Богословец, Христов возлюбленный,
 Пятница, красота христианская, —
 И застонала высота поднебесная
 От их плача-рыдания.
 И услышал их Господь Милостивый,
 И сжалился Он над грешниками:
 Дал им покой и веселие
 От Великого Четверга
 До святых Пятидесятницы [Кузмин 1996: 216].

Всего в цикле пять стихотворений, в основе двух текстов лежит сюжет о раскаявшемся грешнике. В них описываются разные виды греха и разные возможности прощения. Приведем два отрывка. Первый из стихотворения «О разбойнике» (<1902>), написанном шестисложным силлабическим стихом и развивающем мотив раскаяния, которое перевешивает на весах все грехи разбойника⁴:

Жил в фракийских странах
 Лютый—злой разбойник,
 Убивал он, грабил,
 Про Бога не помнил.
 И стали мерзеть уж
 Ему грех, насилье, —
 Тут о Боге вспомнил
 И горько заплакал [Там же: 217].
 <... >

⁴ Сходный отчасти сюжет см. в третьей части (глава «Луковка») романа Достоевского «Братья Карамазовы» (1879–1880), где некая «злющая баба» получает шанс на прощение, когда ангел вспоминает единственный ее добрый поступок при жизни — подаяние нищенке: «А ангел-хранитель ее стоит да и думает: какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу: она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог: возьми ж ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется, и коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь» [Достоевский: 319].

Вспомнили тут что-то Ангелы Господни,
Встрепенули крыльями,
Слетели на землю,
Принесли убрисец,
Слезами смоченный,
Положили в чашку
С Божьим милосердьем.
Дивно виденью!
Неудобь сказанью!
Чашка с грехами
Вверх поднялась⁵ [Кузмин 1996: 218].

В написанном свободным стихом стихотворении «О старце и льве» грешный старец выражает желание чтобы Лев разорвал его в наказание за невольное убийство ребенка. Однако Лев этого не делает, и его поведение отражает волю Бога, не считающего нужным наказывать человека, который раскаялся и готов поплатиться за это жизнью:

И лег старец льву на дороге,
Чтобы пожрал его лютый зверь,
Но лютый лев, зверь рыкающий,
Кротко посмотрел на инок,
Помотал головой косматою —
И прыгнул через старца в темный лес,
И встал старец светел и радостен,
Знать, простил его Господь,
И простило дитя,
Отроча малое [Там же: 217].

Цикл завершается стихотворением «Страшный суд», где равное внимание уделено как «праведным», так и грешным, а само действие отнесено в будущее. Очевидно, что Кузмина занимал сюжет о грешниках не только в литературе, но и переживался в жизни. В поэтических циклах, названных выше, земная (чувственная) любовь противопоставляется чистой, духовной любви. Непросветленное духом чувство рассматривается как греховное, именно такой грех приписывает лирический герой себе.

Грешной является и героиня драматического сочинения Кузмина «Комедия из Гелиополя, или Обращенная куртизанка» (1907), которое начинается кратким вступлением от лица Ангела. Последний стих этого монолога

⁵ В иконографии мотив «взвешивания грехов на весах» связан также с Михаилом Архангелом.

о разных путях к прощению скорее всего отражает взгляды самого автора пьесы, хотя он не лишен иронии (как, впрочем, и вся пьеса):

Вот — город Гелиополь, где живет
 Всепышная блудница Евдокия,
 Стяжавшая грехом себе почет,
 Губя, с душой своей, толпой другие.
 Но вы, друзья, смотрите без соблазна:
К спасенью Небом все ведутся разны [Кузмин 1907].

Здесь появляется образ грешницы, варьирующий сюжет о греховности и вводящий мотив женского любовного греха⁶. Иным в пьесе является и путь к очищению и просветлению («К спасенью Небом все ведутся разны»)⁷. Если учесть, что и Богородица, стоящая в центре приведенного выше фрагмента, — это женский образ, то можно заключить, что Кузмина волновали в начале века женские персонажи не только с точки зрения пресловутой мизогинии, о которой довольно много писали исследователи. Кажется, в литературе еще не отмечалось, что Кузмин в дневнике 1905 г. идеализирует образ своей недавно умершей матери, не связанный с греховностью, но соотносимый то с музыкой и ее созданием, то с мыслью о смерти, то с описаниями быта и природы у Лескова, то с мечтами о «полураскольничьей жизни». Однако этот образ не переходит в стихотворения Кузмина, как можно было бы ожидать:

Неужели нет еще году с 9-го января, с моих именин, когда мама была жива, все крепко стояло на трех китах [Дневник 1905: 37];

... что не ждет мама, милая мама, и не в старой, с солнцем, комнате за прежним роялем пишешь свои вещи [Там же: 40];

Я видел во сне, что мама оказалась живою и снова начинается жизнь на Острове. Хотя, правда, такая жизнь представляется желанной уже в конце пути, после крупных потерь, утрат. Если нужно раз умирать, то как мудро, как вовремя

⁶ В романе Кузмина «Крылья» (1906) мотив женского греха также присутствует. Ср., напр.: «И Ваня машинально слушал рассказы о похождениях этой Вероники Чибо, где сплетались разные имена мужчин и женщин, погибших через нее. — Она — полнейшая негодяйка, — доносился голос Уго, — тип XVI века» [Кузмин 1994: 63]. Здесь же главный герой романа Ваня посещает раскольничий скит, беседует с Марьей Дмитриевной о соотношении греха и любви и сталкивается с отвратительной для него попыткой этой героини его соблазнить [Там же: 51].

⁷ Вероятно, одним из претекстов этой пьесы была повесть Лескова «Прекрасная Аза» (1888), где действие происходит в Александрии. Сюжет повести был заимствован писателем из древнерусского «Пролога».

скончалась мама, не обреченная видеть всего происходящего, не боявшаяся, не получая 1/2 пенсии и т. д. [Дневник 1905: 81];

Нижний, города на Волге, под Москвой, влекут меня неудержимо. И жизнь даже на Острове представляется мне утраченным раем. Наша квартира, окно в передней, мама, читающая или работающая у окна <...> — все как-то кажется милым. О, города, небольшие, с церквями, река весною, уединенная, полураскольничья жизнь с Гришей, иконы. Господи, дай совершенья всему этому [Там же: 104].

Учитывая, что дневник Кузмина является не просто «человеческим документом», но и художественным текстом (см.: [Богомолов 1999]), можно сказать, что Кузмин создает здесь образ матери как средоточия утраченного прошлого. Помимо сильной привязанности к матери, в реальности это связано с тем, что поэт с ее смертью теряет дом и налаженный быт, он начинает мечтать об аналоге утерянного дома или «рая», но мечты не заменяют утраченного. Образ матери у Кузмина начинает соотноситься с его «русской» эстетизированной утопией, с представлением о том, что необходимо жить вместе с любимым человеком (который в известном смысле заменяет маму), в русском провинциальном городе, в деревянном доме у реки⁸. В данном случае Кузмин отчасти близок Мережковскому⁹ и Некрасову как авторам, поэтизировавшим в своих произведениях образ матери¹⁰, и, возможно, это

⁸ Элементом этой утопии, которую Кузмин конструирует и в своих художественных текстах, становится яблоневый сад, символизирующий утраченный «рай» и одновременно процесс познания героем мира в настоящем и возможном будущем. Ср. неоднократное упоминание яблук и «яблочного сада» в романе «Крылья», где этот мотив становится фоном для познающего красоту, веру, любовь и смерть Вани: «...остановился только в саду Сорокиных, где краснели яблоки на редко посаженных яблонях, за спокойной Волгой темнели леса, в траве стрекотали кузнечики, и пахло медом и калуфером» [Кузмин 1994: 35]. Этот же образ встречаем в более позднем стихотворении «“А это хулиганская”, сказала...» (1922), где воспоминания о детстве уже не ассоциируются с образом матери, но связаны с «отцовским домом», центром этого мира: «Кончить вдруг лирически / Обрывками русского быта / И русской природы: / Яблочные сады, шубка, луга, / Пчельник, серые широкие глаза, / Оттепель, санки, отцовский дом, / Березовые рощи да покосы кругом. // Так будет хорошо» [Кузмин 1996: 473].

⁹ Об особенностях образа матери в поэмах Мережковского «Старинные октавы» (1906), а также о его связи с автобиографией поэта см.: [Кумпан 2000: 7–8]. Исследовательница пишет: «Мать поэта Варвара Васильевна, урожденная Чеснокова <...> по всей видимости была существом незаурядным. В ее облике сочетались необыкновенная красота с бесконечной добротой, материнская и супружеская нежность и кротость с твердостью характера <...> В поэзии ранних лет поэт уподобляет матери своих возлюбленных» [Там же: 7].

¹⁰ В 1906 г. выходит поэма Мережковского «Старинные октавы», где лирический герой, за которым часто скрывается сам автор, романтизирует свою мать, характеризует ее в возвышенной тональности, так же, как и Некрасов, видит в ней «мученицу», но, вместе с тем, — Музу. Поэма заканчивается так: «Великого обета не нарушу: / О, мама, скоро я к тебе приду! / Как

одна из причин, почему в широко известной к тому времени брошюре «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893), автор цитирует некрасовское стихотворение «Рыцарь на час» (1862), усматривая близкую ему самому тему в творчестве Некрасова, связавшего образ матери с Родиной:

Родина всю жизнь, до последнего вздоха, сливалась для него с таинственным и чистым видением покойной матери. Это высочайший символ любви к родной земле, какой только есть в русской поэзии:

Треволнения мирского далекая,
С неземным выраженьем в очах,
Русокудая, голубокая,
С тихой грустью на бледных устах,
Под грозой — величаво-безгласная,
Молода, умерла ты, прекрасная,
И такой же явилась ты мне
При волшебной светящей луне.
Да! Я вижу тебя, бледнолицую,
И на суд твой себя отдаю
<... >

И поэт жаждет мученической смерти, чтобы доказать свою любовь к *Ней* — все равно к Матери или к Родине — эти два великих, многострадальных образа для него сливаются. Разве такая поэзия — не религия? [Мережковский 1989: 476].

Интересовался ли Кузмин творчеством Мережковского? Однозначно заключить, что поэт не проявлял к нему интереса и что оно не оставило следа в его произведениях, было бы неверно. Осенью 1905 г. он читает третью часть «Христа и Антихриста» и 24 октября делает запись в дневнике:

Сегодня к Нуруку не пошел, прочитав дома «Петра» Мережковского и играя с детьми в короли. Что-то со мною делается, и мне все хочется плакать или, вернее, выплакаться перед кем-то. Верую я или не верую, я не знаю и временами все отмечаю или верую в трех китов [Дневник 1905: 61].

Отметим, что обычно, когда Кузмин читает неизвестные ему ранее тексты в первый раз и отмечает это в дневнике, то в случае негативного впечатления он почти всегда его фиксирует. В случае же впечатления положительного

погибающий пловец — на сушу, / Стремлюсь к тебе и радуюсь, и жаду: / Душа обнимет родственную душу, / В твоих чертах любимых я найду, — / Как разрешишь ты все земные узы, — / Черты моей богини — вечной Музы» [Мережковский 2000: 582]. Несомненно, что между поэмой Мережковского и образом матери в стихах Некрасова существует преемственность.

чаще не высказывается. Судя по настроению и мыслям, которые сопутствовали чтению или возникли позже, чтение «Петра» в очередной раз вызвало у Кузмина возвращение к состоянию неопределенности в вопросах веры. Однако третья часть трилогии Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей» не могла не привлечь Кузмина в первую очередь описанием жизни раскольников, темой альтернативной религиозности, которая была столь близка ему самому.

Впоследствии Кузмин как литературный критик дважды обращался к сочинениям Мережковского. Первая рецензия написана в 1911 г., опубликована в № 2 «Аполлона» за этот год и посвящена «Собранию стихотворений» Мережковского, вышедшему в 1910 г. Здесь Кузмин отчетливо проговаривает, что Мережковский — не поэт («гладкий неприятной гладкостью, бледный и недостаточно выразительный стих»; «... поэзия Мережковского несколько старит этого нашего современника, принадлежа всецело по корням и даже приемам к поэзии Полонского, Фофанова и более всего Надсона») ¹¹ [Кузмин 2000: 92]. Впрочем, автобиографическая поэма «Старинные октавы», которую мы только что упомянули в примечании, вызывает у Кузмина вполне положительный отклик: «Прозаизм, разговорность и некоторая естественная вялость совершенно не вредят «Старинным октавам» [Там же: 93]. Вторая рецензия «Царевич Алексей» написана в 1919 г., это отзыв на театральную постановку в Большом драматическом театре. Пьеса была создана на основе той части трилогии, которую Кузмин читал в октябре 1905 г. Здесь также высказывания критика не совсем однозначны. Хотя Кузмин остро критикует Мережковского за мышление антитезами и «примитивность» художественных приемов, он тем не менее отмечает одаренность драматурга:

Из действительно трагической судьбы царевича трагедии не получилось, а получилась литературная, очень талантливая, несколько примитивная пьеса, изобилующая сильными местами и сценическими эффектами [Там же: 571].

Таким образом, несмотря на довольно резкие высказывания, Кузмин признает талант Мережковского, его умение выстраивать драматический конфликт в пьесе и (если вспомнить предыдущую рецензию, о которой шла речь выше) умение писать поэмы в соответствии с требованиями времени. Судя по тону двух рецензий, Кузмин скорее всего осознает масштаб Мережковского-прозаика в русской модернистской литературе. В первой рецензии он

¹¹ Тем не менее, в 1898 г. Кузмин опубликовал роман на слова стихотворения Мережковского «Успокоение» (1893) (см.: [Богомолов, Маллстад: 83; Дмитриев: 154–158]).

перечисляет периоды его творческой эволюции: «эстетический», «религиозный», «религиозная общественность», что может указывать на хорошее знание произведений автора прозаической трилогии «Христос и Антихрист». При этом в процитированных статьях многое не высказывается Кузминым прямо, например, то, что к концепции «религиозной общественности» Мережковских он относится с неприязнью [Богомолов, Малмстад: 100–101]. Однако последнее не закрывало путь к восприятию близких Кузмину тем или черт поэтики в произведениях Мережковского. Одной из близлежащих тем могла стать тема «религиозного» Некрасова. Некрасову отдали в своем творчестве дань многие писатели-модернисты, которые были современниками Кузмина. Помимо Мережковского, — это Блок, Белый, Гумилев и др. Последний считал «Власа» «эпически-монументальным» стихотворением¹². Поэтому не столь удивительно обращение к нему Кузмина. Но для Блока, как хорошо известно, самой важной у Некрасова была тема социального страдания, для Белого — проза повседневности и возможность проекции некрасовских стихов на собственную автобиографию [Лавров: 112], но не религиозные мотивы. Кузмин же выбирает текст отчетливо религиозной проблематики.

Первенство среди модернистов в осмыслении Некрасова как религиозного поэта принадлежит Мережковскому, который в работе «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893) указал на «подлинного» Некрасова, противопоставляя свою трактовку мнению «реалистических критиков»:

... есть другой Некрасов — великий и свободный поэт, который помимо своей воли творил «не для житейского волнения, не для корысти, не для битв», Некрасов — идеалист, Некрасов, как более или менее все русские люди, — мистик, Некрасов, верующий в божественный и страдальческий образ распятого Бога, самое чистое и священное воплощение духа народного. Он тоже имел силу, как Достоевский и Л. Толстой, любить русскую землю мировую, всечеловеческую любовью [Мережковский 1989: 474].

Иллюстрируя этот вывод Мережковский приводит фрагмент из поэмы Некрасова «Тишина» (1856), где лирический герой, как бы вживаясь в народное религиозное чувство, посещает храм и молится о прощении:

¹² На вопрос анкеты К. Чуковского 1919 г. «Какие стихотворения Некрасова Вы считаете лучшими?» Гумилев ответил: «Эпически-монументального типа: “Дядя Влас”, “Адмирал вдовец”, “Генерал Федор Карлыч фон Штубе”, описание Тарбагата в “Дедушке”, “Княгиня Трубецкая” и др.» [Некрасов 1988].

Войди! Христос наложит руки
 И снимет волею святой
 С души оковы, с сердца муки
 И язвы с совести больной...
 Я внял... я детски умилился...
 И долго я рыдал и бился
 О плиты старые челом,
 Чтобы простил, чтоб заступился
 Чтоб осенил меня крестом
 Бог угнетенных, бог скорбящих,
 Бог поколений, предстоящих... [Мережковский 1989: 475].

Рецензируя «некрасовскую» книгу стихов Андрея Белого «Пепел» (1909), младший символист Сергей Соловьев писал:

Характерно, что поэт видит в России все, что видел Некрасов, все, кроме храма, о камни которого бился головой поэт народного горя. «Скудного алтаря», «дяди Власа», «апостола Павла с мечом» нет в книге Андрея Белого. Это — озлобленный Некрасов «Последних песен» и «Кому на Руси жить хорошо» (цит. по: [Лавров: 260]).

Автор рецензии указывает на те тексты, которые были процитированы или упомянуты Мережковским в работе «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» как основные, самые главные с точки зрения зарождения нового литературного направления — символизма («Рыцарь на час», «Тишина») и добавляет от себя стихотворение «Влас».

Вернемся к первому стихотворению («Я цветы собираю пестрые...») из цикла «Вожатый». Михаил Архангел представлен здесь как воин на поле боя, поразивший врага, и, как следует из второй строфы, его подвиги находятся в согласии с действиями «сестер», прядущих кудель, другими словами, парок — богинь судьбы. «Некрасовская цитата» находится в первом стихе последней строфы («Ты пойдешь стопою смелою»):

Я цветы собираю пестрые
 И плету, плету венок,
 Опустились копья острые
 У твоих победных ног.
 Сестры вертят веретенами
 И прядут, прядут кудель.
 Над упавшими знаменами
 Разостался дикий хмель.

Пронеслась, исчезла конница,
 Прогремел, умолкнул гром.
 Пала, пала беззаконница —
 Тишина и свет кругом.

Я стою средь поля сжатого.
 Рядом ты в блистаньи лат.
 Я обрел себе Вожатого —
 Он прекрасен и крылат.

*Ты пойдешь стопою смелюю,
 Поведешь на новый бой.*

Что захочешь — то и сделаю:

Неразлучен я с тобой [Кузмин 1996: 100].

Стихотворение (подобно многим другим текстам в третьей части книги «Сети») тематически и образно связано с видениями Кузмина конца 1907 – начала 1908 гг., которые он записывал в дневнике (см.: [Богомолов 1995: 128–129]). Кузмин прибег к помощи Анны Рудольфовны Минцловой¹³, чтобы обрести в Викторе Андреевиче Наумове, который не был увлечен поэтом, подлинного возлюбленного и найти таким образом высокую, чистую любовь (см.: [Богомолов, Малмстад: 218–221]). В результате сильного воздействия личности Минцловой на Кузмина и мистических сеансов на Башне Иванова у поэта начинаются видения, которые он, помимо дневниковых записей, переносит и в свои стихи. Приведем только один пример. 29 декабря 1907 г. Кузмин записывает в дневнике:

Днем видел ангела в золот<исто->коричневом плаще и золот<ых> латах с лицом Виктора и, м<ожет> б<ыть>, князя Жоржа. Он стоял у окна, когда я вошел от дев. Длилось это яснейшее видение секу<нд> 8 [Дневник 1905: 438]¹⁴.

Облик архангела двойтся: иногда это лицо Наумова, а иногда — князя Жоржа — бывшего любовника Кузмина.

В цитированном выше стихотворении из цикла «Вожатый» архангелу принадлежат латы и крылья — один из самых частотных образов-символов в творчестве Кузмина. Текст включает в себя параллели с упомянутым стихотворением Некрасова 1855 г. «Влас», который принадлежит к «сильным» текстам в русской поэзии. О нем писали многие литературные критики еще при жизни Некрасова, оно входило в школьные хрестоматии второй половины XIX – нач. XX вв. и связано отчетливо с балладной традицией. Вероятно,

¹³ А. Р. Минцлову Кузмин впоследствии изобразил в двух своих рассказах: «Покойница в доме» и «Двойной наперсник».

¹⁴ См. также: [Богомолов 1999а:150].

Кузмин познакомился с ним еще в гимназии и мог знать его наизусть. Таким образом цитата из Некрасова вполне вписывается в контекст символистской рецепции поэта¹⁵.

Сюжет о «кающемся грешнике» занимает важное место и в поэзии Некрасова. Как хорошо известно, сюжет развивается в поэме «Кому на Руси жить хорошо» (1866), где поэт обращается к образу грешного разбойника («О двух великих грешниках»). Однако для Кузмина важна другая поэма — «Коробейники», так как метрическая и рифменная структура стихотворения «Я цветы собираю пестрые ...» из цикла «Вожатый» сходна не только с ритмикой некрасовского «Власа», но и с «Коробейниками». Эти тексты написаны четырехстопным хореем с перекрестной рифмовкой; рифма в нечетных стихах — дактилическая, в четных — мужская. Два некрасовских текста объединяются также мотивом «кающихся грешников», что делает их близкими целому ряду стихотворений Кузмина, о которых мы говорили выше¹⁶. Ср. фрагмент из «Коробейников», где грешников оказывается естественным образом больше, чем в стихотворении «Влас» (сами коробейники с их непременно обманом покупателей и их убийца лесник):

— В день теперя не отплюешься,
 Как еще прощает бог:
 Осквернил уста я ложию —
 Не обманешь — не продашь! —
 И опять на церковь божию
 Долго крестится торгаш. —
 Кабы в строку приходились!
 Все-то речи продавца,
 Все давно бы провалились
 До единого купца ... [Некрасов 1982: 61];
 <...>:
 Коли ты уж с нами встретился,
 Должен честью проводить. —

¹⁵ В то же время в символистском журнале «Весы», где в 1906 г. начинает печататься Кузмин, нет почти ни одного специального материала о Некрасове. Единственным символистом, кто писал о Некрасове в этом журнале, был Андрей Белый в статьях «Апокалипсис в русской поэзии» [Весы 1905: 11–28] и «Настоящее и будущее в русской литературе» [Весы 1909: 59–86], где Некрасов был инкорпорирован в общее движение русской поэзии XIX – начала XX вв. и занимал там одно из главных мест как поэт «хаоса». В интерпретации Белого Некрасов — «поэт-гражданин», чья «гражданственность должна утвердиться на дионисическом стержне» [Весы 1905].

¹⁶ Коробейники не каются в грехах прямо, но как видно из приведенной выше цитаты, один из них думает о Боге и возможном наказании за обман.

А лесник опять наметился.
 — Не шути — «Чаво шутить!»
 Коробейники отпрянули,
 Бог помилуй — смерть пришла!
 Почитай что разом грянули
 Два ружейные ствола.
 Без словечка Ванька валится,
 С криком падает старик...
 В кабаке бурлит, бахвалится
 Тем же вечером лесник... [Некрасов 1982: 75].

Сходство метрического рисунка, рифмовки и мотивов между «Власом» и «Коробейниками» очевидно, но, как известно, только два фрагмента из поэмы Некрасова «ушли в народ», т. е. стали народными песнями (первый отрывок начинается со слов: «Ой, полна, полна коробушка...» и заканчивается словами: «Без сердечного дружка»; второй отрывок начинается со слов «Хорошо было детинушке...» и заканчивается стихом: «На дне моря сосчитать»). Как первый, так и второй фрагменты народной песни «Коробушка» строятся на развитии любовного сюжета¹⁷. Однако все, что касается ловкого обмана покупателей коробейниками и убийства коробейников лесником, в народный вариант песни не вошло. Именно в 1906–1907 гг.¹⁸, когда Кузмин создавал интересующий нас цикл, некрасовский текст, переименованный в «Коробушку» и положенный на музыку, приобретает особую популярность. Трудно себе представить, чтобы Кузмин, окончивший петербургскую гимназию и проучившийся три года в консерватории, не знал этого текста. Но, видимо, его привлек не любовный сюжет, а мотив прегрешения. Как уже говорилось, в первом стихе последней строфы стихотворения

¹⁷ См.: [Песни: 637–639]. См. также комментарий В. Е. Гусева к публикации первого отрывка: «В песенниках — с конца XIX в. (“Новый песенник”, составил М. И. Ожегов, Киев, 1894). Мелодия — трансформация венгерского танца “Чардаш”. Песней стал отрывок из 1-й главы поэмы. Вошла в репертуар всех слоев населения, исполнялась также с эстрады (обычно оканчивается словами “Распрячься ты, рожь высокая, тайну свято сохрани”). Известны переработки — сатирические и агитационные песни — предреволюционных лет и советского времени: “Ой, полна, полна коробушка, есть Эсеры и ЭсДе...”, “Ой, полна, полна коробушка у любого богача, а у бедного рабочего ни кола и ни двора...”, “Ой, полна, полна коробушка, есть “Безбожник”, “Крокодил” ... и т. п.» [Там же: 1038]. Второй отрывок комментируется так: «В песенниках — с конца XIX в. (“Новый песенник”, составил М. И. Ожегов, Киев, 1894). Музыка Петерсона (“Тоска Катеринушки”, Киев, 1888). Песней стал отрывок из 5-й главы. Популярна до настоящего времени с народной мелодией. В устной передаче часто оканчивается словами: “Ты женись, женись на мне”» [Песни: 1039].

¹⁸ О важности этого текста Некрасова для А. Блока и А. Белого в середине 1900-х гг. см.: [Успенский: 164–178].

Кузмина, то есть в «сильном» месте текста, обнаруживается реминисценция из восемнадцатой строфы некрасовского «Власа»:

Полон скорбью неутешною,
Смуглолиц, высок и прям,
Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам [Некрасов 1982: 154].

Ср. у Кузмина:

Ты пойдешь стопою смелюю,
Поведешь на новый бой.
Что захочешь — то и сделаю:
Неразлучен я с тобой [Кузмин 1996: 180–181].

Однако необходимо сказать и о другой возможной причине цитирования Некрасова. Вся книга стихов «Сети» нацелена на то, чтобы утвердить в русской поэзии тему гомоэротической любви или, другими словами, ввести ее в поэтический канон. Для привлечения широкого читателя к поэзии Кузмина была необходима связь с литературной поэтической традицией, хотя бы полемическая. Некрасов поэтизирует религиозное чувство своего героя «из народа» и силу его духа, но персонаж Кузмина, архистратиг, просто своим появлением снимает с лирического героя тяжесть греха, как бы обещающая на дальнейшем его пути свое покровительство. В отличие от Некрасова, Кузмин не мифологизирует, не возвышает «народ» и не любит его подвигами, хотя для него важно, что Михаил Архангел — герой фольклорных произведений и, следовательно, часть особо понятого Кузминым «народного мира». Вместе с тем мотив «кающегося грешника» и его относительно высокая частотность в поэзии Кузмина начала и середины 1900-х гг., позволяют сделать предположение, что известный фрагмент из «Поэмы без героя» Ахматовой — «Маска это, череп, лицо ли — / Выражение злобной боли / Что лишь Гойя смел передать. / Общий баловень и насмешник — / Перед ним самый смрадный грешник — Воплощенная благодать...» [Ахматова 1976: 358], который исследователи связывают с Кузминым [Тименчик: 4–10], возможно продиктован не только стремлением автора поэмы дать этическую оценку поведению Кузмина, но и напомнить знающему читателю, что Кузмин в своей поэзии неоднократно обращался к образу кающегося грешника¹⁹, идентифицировал его с лирическим героем, однако это,

¹⁹ «Духовные стихи» Кузмина, написанные в начале века, были впервые опубликованы в том же 1912 г., когда дебютировала книгой Ахматова, сам же Кузмин стал автором предисловия к ее

по мнению автора «Поэмы без героя», не уберегло поэта от дурных поступков и неблагоприятной «истории молвы»²⁰.

Литература

Ахматова 1976: *Ахматова А.* Стихотворения и поэмы / Сост., подгот. текста и примеч. В. М. Жирмунского. Л., 1976.

Богомолов 1995: *Богомолов Н.* Михаил Кузмин: Статьи и материалы. М., 1995.

Богомолов 1999: *Богомолов Н.* Русская литература первой трети XX века: Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999.

Богомолов 1999а: *Богомолов Н.* Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999.

Богомолов, Малмстад: *Богомолов Н., Малмстад Д.* Михаил Кузмин: Искусство. Жизнь. Эпоха. СПб., 2007.

Весы 1905: *Белый А.* Апокалипсис в русской поэзии // *Весы.* 1905. № 4.

Весы 1909: *Белый А.* Настоящее и будущее русской литературы // *Весы.* 1909. № 2.

Дмитриев: *Дмитриев П.* К вопросу о первой публикации М. Кузмина // *Новое литературное обозрение.* 1993. № 3.

Дневник 1905: *Кузмин М.* Дневник 1905–1907 гг. СПб., 2000.

Достоевский: *Достоевский Ф.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1976. Т. 14.

Кузмин 1907: *Кузмин М.* Комедия о Евдокии из Гелиополя, или Обращенная куртизанка. <http://kuzmin.lit-info.ru/kuzmin/dramaturgiya/komediya-o-evdoki-i-z-geliopolya.htm> (дата просмотра: 1 ноября 2023).

Кузмин 1934: *Кузмин М.* Дневник 1934 года. СПб., 1998.

Кузмин 1994: *Кузмин М.* Крылья // *Кузмин М.* Подземные ручьи. СПб., 1994.

Кузмин 1996: *Кузмин М.* Стихотворения. СПб., 1996.

Кузмин 2000: *Кузмин М.* Проза. Критика. Эссеистика. Т. III. М., 2000.

Кумпан: *Кумпан К. Д.* С. Мережковский-поэт (У истоков нового религиозного сознания) // *Мережковский Д.* Стихотворения и поэмы. СПб., 2000.

Лавров: *Лавров А.* Андрей Белый в 1900-е годы: жизнь и литературная деятельность. М., 1995.

первому сборнику стихов «Вечер» (1912). Таким образом Ахматова вряд ли могла не вспомнить о «грешниках» в стихах Кузмина.

²⁰ По мнению Р. Д. Тименчика, «“Поэма без героя” числит в своих исторических источниках не столько реальные происшествия (в реальности, например, Князев застрелился в Риге, а не на пороге у О. А. Судейкиной), сколько “историю молвы”» [Тименчик: 10].

Мережковский: *Мережковский Д.* Вечные спутники. Л., 1989.

Мережковский 2000: *Мережковский Д.* Стихотворения и поэмы. СПб., 2000.

Мясковский: *Мясковский Н. Я.* Статьи, письма, воспоминания. М., 1960. Т. II.

Некрасов 1981: *Некрасов Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Л., 1981. Т. 2.

Некрасов 1982: *Некрасов Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Л., 1982. Т. 4.

Некрасов 1988: Некрасов вчера и сегодня. М., 1988.

Песни: Песни и романсы русских поэтов: В 2 т. М.; Л., 1965.

Тименчик: *Тименчик Р.* Заметки о «Поэме без героя» // Ахматова А. Поэма без героя. М., 1989.

Успенский: *Успенский П.* Тайные поминки по Блоку: Некрасов, Блок, Ходасевич // Русская литература. 2013. № 1.

ЦИКЛ М. ЦВЕТАЕВОЙ «СТИХИ К СОНЕЧКЕ» (1919)

МАРИЯ БОРОВИКОВА

В статье рассматривается цикл Марины Цветаевой «Стихи к Сонечке» (1919), а также примыкающие к нему поздние незавершенные стихотворения (1937), посвященные актрисе С. Голлидэй. Подробно освещается связь некоторых из этих текстов с традицией жестокого ромansa и испанской народной песенной поэзией, известной Цветаевой по переводам К. Бальмонта (сб. «Испанские народные песни. Любовь и ненависть», 1911). Кроме того, в статье показано, что ориентация цикла на «песенность» не исчерпывается стилизаторством. В композиции этих текстов, по мнению автора статьи, перемежаются два стилистически различных слоя («голоса»), что отсылает к структуре песенного дуэта. Анализ цикла дополняется анализом цветаевской рефлексии над песенной традицией в русской литературе, содержащейся в мемуарах Цветаевой о Голлидэй («Повесть о Сонечке», 1937) и в ряде ее критических статей 1930-х гг.

Ключевые слова: М. Цветаева, С. Голлидэй, «Стихи к Сонечке», К. Бальмонт, Э. А. По, испанская народная поэзия, «песенность», стилизация.

Maria Borovikova. M. Tsvetaeva's cycle "Poems for Sonechka" (1919)

The article examines Marina Tsvetaeva's cycle "Poems for Sonechka" (1919) as well as the associated late unfinished poems (1937) dedicated to the actress Sofia Golliday. It covers in detail the connection of some of these texts with the tradition of cruel romance and Spanish folk song poetry, which Tsvetaeva knew by K. Balmont's translations (collection "Spanish Folk Songs. Love and Hate", 1911). In addition, the article shows that the cycle's focus on "songfulness" is not limited to stylization. According to the author of the article, two stylistically different layers ("voices") alternate in the composition of these texts, which refers to the structure of a song duet. The analysis of the cycle is complemented by Tsvetaeva's reflection on the song tradition in Russian literature, contained in Tsvetaeva's memoirs about Golliday ("The Tale of Sonechka", 1937) and in a number of her critical articles of the 1930s.

Keywords: M. Tsvetaeva, S. Golliday, "Poems for Sonechka", K. Balmont, E. A. Poe, Spanish folk poetry, "songfulness", stylization.

В исследованиях о Цветаевой стихотворный цикл «Стихи к Сонечке»¹ находится как бы в тени мемуарной «Повести о Сонечке» (1937), рядом с которой ему — наряду с записными книжками 1919 г. — отводится место своего рода документа эпохи, источника, к которому Цветаева обращается, чтобы освежить память при работе над повестью. Основу для такого восприятия заложила сама Цветаева, впервые опубликовав цикл только в 1938 г.² вместе с первой частью повести, тем самым отдавая ему роль документа, к которому повесть является комментарием [Цветаева 1938]³. Именно так воспринял цикл один из его первых рецензентов Владислав Ходасевич, написавший об этих стихах следующее:

Они написаны еще в 1919 году, и Цветаева хорошо делала, что их не печатала до сих пор: при всех своих достоинствах они имеют существенный недостаток: они непонятны без того обширного комментария, которым к ним служит «Повесть о Сонечке». В сущности, без комментария они даже и лишаются этих достоинств — остается от них только смутная магия слов, звуков. Таких стихов, написанных «на случай» и «для себя», выявленных в жизни обстоятельствами, известными только самому поэту, очень много было у Блока. Но он их печатал без пояснений, тоже «для себя», — а это уже хуже... [Ходасевич: 487–488].

Не оспаривая важности функции «комментария», которую цикл и повесть выполняют по отношению друг к другу, и отчасти продолжив работу по их взаимному сопоставлению, мы хотели бы в итоге подойти к вопросу об эволюции тех художественных средств, которые Цветаева использует в 1919 и в 1937 гг. и об авторской позиции, которая стоит за концепциями обоих текстов.

Первые замечания о поэтике цикла принадлежат его первым советским публикаторам — А. А. Саакянц и А. С. Эфрон, включившим цикл (в неполном виде) в сборник «Стихотворения и поэмы», вышедший в 1965 г. в серии «Библиотека поэта» [Цветаева 1965]. В комментариях издатели отмечают, что в ряде стихотворений этого цикла содержится лирическая пародия на

¹ Цикл обращен к актрисе Второй (т. н. Мансуровской) студии МХТ Софье Евгеньевне Голлидэй, с которой Цветаева дружила в Москве в 1919 г. «Повесть о Сонечке» Цветаева напишет в 1937 г., после получения известия о смерти Голлидэй.

² В рукописи 1919 г. цикл состоял из 10 стихотворений, из них в первую публикацию вошло шесть: «Кто покинут — тот поет...», «Пел в лесочке птенчик...», «В мое окошко дождь стучится...», «Заря малиновые полосы...», «Маленькая сигарера...», «Твои руки черны от загару...». Позднее Цветаева изменила состав цикла и включила в него еще два текста. Об истории создания цикла см. подробнее в комментариях к [Цветаева 2000].

³ Это впечатление усиливается и нарочитой похожестью названий.

«жестокие романсы», исполнявшиеся уличными певцами под шарманку⁴ и, по воспоминаниям Цветаевой, особенно привлекавшие С. Е. Голлидэй [Цветаева 1965: 741]. Эту мысль развил М. Мейкин в своей монографии «Поэтика усвоения», однако пришел к иным выводам: если первые усматривали в цикле пародию, то Мейкин, напротив, считает, что в этих стихах цветаевская задача исключительно стилизаторская.

Унаследованная литературная форма (народный «жестокий романс», сентиментальное сочинение на городскую тему с драматической развязкой) воспроизводится в целостности, с незначительным отходом от оригинала. Таково четвертое стихотворение цикла, «Заря малиновые полосы...», где рассказывается история девушки из благородного семейства, потерявшей невинность, честь, а в конце концов сведшей счеты с жизнью, — история, поведенная без тени иронии или других форм литературной нивелировки [Мейкин: 55].

Ориентация на жестокий романс в двух текстах цикла бесспорна⁵, однако более внимательный взгляд на них не позволяет согласиться ни с трактовкой их как пародии, ни, как считает Мейкин, чистой стилизации. В каждом из этих стихотворений, безусловно, стилизуется жестокий романс, но их эстетическая задача этой стилизаторской линией не исчерпывается⁶:

В мое окошко дождь стучится.
Скрипит рабочий над станком.
Была я уличной певицей,
А ты был княжеским сынком.

Я пела про судьбу-злодейку,
И с раззолоченных перил
Ты мне не рупь и не копейку, —
Ты мне улыбку подарил.

Но старый князь узнал затею:
Сорвал он с сына ордена
И повелел слуге-лакею
Прогнать девчонку со двора.

⁴ Первым сходство стихотворения «В мое окошко дождь стучится...» с «песней под шарманку» отметил еще Г. Адамович в своей рецензии 1938 г. [Адамович: 495].

⁵ Речь идет о стихотворениях «В мое окошко дождь стучится...» и «Заря малиновые полосы...».

⁶ Стилизации городского романса без «литературной нивелировки» в это время пишет, например, старший современник Цветаевой Даниил Ратгауз. Одну из таких его стилизаций — стихотворение «Из случайных встреч» — Цветаева вспоминает в «Повести о Сонечке», о чем речь пойдет ниже. В «Повести» оно цитируется без указания авторства, на Ратгауза впервые указал пользователь doxie_do (Т. Сигалова) на своей странице в социальной сети livejournal [Сигалова 2013].

И напилась же я в ту ночь!
 Зато в блаженном мире — *том* —
 Была я — княжескою дочкой,
 А *ты* был уличным певцом! [Цветаева 1994: 1, 469]

В приведенном стихотворении явно видны два отдельных поэтических языка, различающихся лексикой, синтаксисом, интонацией (обозначенной курсивом) и ритмом. Один язык принадлежит стилизуемой культуре (*сын, судьба-злодейка, рупь, девчонка* и т. п.). Иногда — здесь можно согласиться с комментаторами издания 1965 г. — он, действительно, пародируется: «*Но старый князь узнал затею, / сорвал он с сына ордена*» — в срывании орденов отцом с сына нам видится ироничное педалирование чрезмерности и шаблонности, свойственной жанру в целом⁷. Второй локально представлен в последней строфе и без труда опознается как авторский: на это работает и переключение стилистического регистра (*блаженный мир*) и хорошо опознаваемая, уже закрепившаяся к этому времени цветаевская манера смещать семантический центр строки со знаменательных слов на служебные с помощью тире и курсивов. Подобная структура — внезапное проявление авторского голоса внутри ролевого стихотворения — нередко встречается и в других стихах Цветаевой 1919–1920 гг. (например, в цикле «Комедьянт»). Она очевидным образом связана с ее увлечением в эти годы театром и стимулируется опытами по созданию собственных драматических текстов.

Крайне примечательно, что год спустя в стихотворении «Памяти Гейне» (не связанном с имитацией жестокого романа) Цветаева вспомнит и процитирует строки из этого стихотворения:

Хочешь не хочешь — дам тебе знак!
 Спор наш не кончен — а только начат!
 В нынешней жизни — выпало так:
 Мальчик поет, а девчонка плачет.
 В будущей жизни — любо глядеть! —
 Ты будешь плакать, я буду — петь! [Там же: 517]

Сама схема остается неизменной, и передана она теми же синтаксическими и графическими средствами. Этот текст тоже ориентирован на воспроизведение музыкального произведения, но отсылает совсем к иной традиции: ранее нам приходилось отмечать⁸, что ритмическая структура его «куплетов»

⁷ Пародирование присутствует и на уровне лексики — в четвертом стихотворении цикла: «в высокосветском заведении для *благороднейших* девиц» вместо *благородных* девиц.

⁸ Доклад на эту тему был прочитан на Лотмановском семинаре в Тарту в 2016 г.

с высокой точностью повторяет мелодию песни Ф. Шуберта «Любовное послание» (Liberbotschaft; стихи Л. Рельштаба), которая открывает вокальный цикл «Лебединая песнь». Но отсылка к более раннему тексту — стилизации жестокого романса указывает на подвижность для Цветаевой границы между высокой и низкой культурой (вокальный цикл Шуберта и память о жестоком романсе оказываются совместимы в едином пространстве).

Проблема «низких» поэтических жанров и их отношения с высокой культурой прямо будет поставлена в «Повести о Сонечке». Это важный для понимания всей концепции Цветаевой эпизод, в котором героиня повести — Сонечка — рассказывает о своих любимых стихах. Ее рассказ начинается с предупреждения о том, что все ее «любимые стихи» принадлежат к низкой, массовой поэзии:

И вот, Марина, так любя ваши стихи, я безумно, безнадежно, безобразно, позорно, люблю — плохие. О, совсем плохие! <...> такие, Марина, которых никто не писал, и все — знают. Стихи из «Чтеца-декламатора», Марина, теперь поняли? [Цветаева 1994: 4, 371].

После этой преамбулы следуют и сами стихи, однако они оказываются совсем не тем, чем их считает Сонечка. Она, сама о том не подозревая, начинает свое перечисление со стихотворения Г. Гейне «Женщина» (“Ein Weib”), открывающего цикл «Романсы» из сборника «Новые стихотворения» (1844). Стихотворение цитируется в «Повести» без указания авторства, в переводе А. Майкова⁹, в котором оно было опубликовано в альманахе «Чтец-декламатор»:

Ее в грязи он подобрал,
 Чтоб угождать ей — красть он стал.
 Она в довольстве утопала
 И над безумцем хохотала.
 <...>
 Он умирал. Она плясала,
 Пила вино и хохотала [Там же].

Следующий пример, как предупреждает героиня, еще «хуже» («Но, может быть, вы думаете, что это — плохие? Тогда слушайте!»), однако он также взят из высокой поэзии — из баллады А. Теннисона¹⁰ «Две сестры», которая,

⁹ В этом переводе стихотворение Гейне было положено на музыку Г. А. Лишиным и стало популярным романсом, см. [Русские песни и романсы].

¹⁰ То, что балладный жанр в ряду называемых Сонечкой стихотворений представлен именно Теннисоном, вероятно, связано с английским происхождением С. Э. Голлидэй (она была

как и стихотворение Гейне, цитируется в русском переводе без указания автора¹¹. Правда, Сонечка почти не помнит текста, кроме нескольких особенно «жесточких» строк:

А граф был демонски хорош!
 <... >
 А я впотьмах точила нож, —
 А граф был демонски хорош! [Цветаева 1994: 4, 372]

Ряд примеров продолжает уже упоминавшееся выше стихотворение Д. Ратгауза «Из случайных встреч», также известное как «Бледно-палевая роза». Оно было впервые опубликовано также в альманахе «Чтец-декламатор» в 1904 г. и получило широкую популярность, в том числе, в среде гимназисток¹². Это не единственный случай упоминания Ратгауза Цветаевой в 1930-е гг.: в 1935 г., рассуждая в письме к Юрию Иваску о поэзии Б. Поплавского, она сравнит его с Д. Ратгаузом как подражателем Фета [Там же: 7, 402], вероятно, помня разгромную рецензию Брюсова «Поэт банальностей» (1906 г.), в которой тот последовательно обвинял Ратгауза в том, что он «старается сочинять “под Фета”» [Брюсов 1990: 354]. Как видно, якобы спонтанное перечисление любимых строк, призванное, на первый взгляд, лишь показать наивность героини, выстраивается в своеобразную литературную генеалогию: от «Романсов» Гейне и баллад Теннисона к эпигонской поэзии Ратгауза (с подразумеваемым, хоть и не названным прямо Фетом как восприимчиком традиции Гейне в русской поэзии XIX в.¹³).

Прежде чем перейти к остальным цитатам, отметим, что стихотворение Ратгауза занимает особое место в кругу текстов, связанных с «мифом» о Сонечке и, вероятно, действительно было любимо цветаевской героиней, потому что его присутствие заметно и в цикле 1919 г., вне рамок концепции повести. Оно варьирует сюжет, использованный Цветаевой в еще одной стилизации жестокого романа в цикле (счастливая жизнь — грехопадение, за которым следует социальная деградация — смерть):

дочерью обрусевшего англичанина, пианиста Евгения Голлидэя); ср. в «Повести» цветаевскую концепцию Сонечки как героини Диккенса [Цветаева 1994: 4, 317], а также диккенсовские мотивы в некоторых стихах 1919 г., связанных с Голлидэй.

¹¹ Авторство этого текста также было раскрыто пользователем doxie_do социальной сети livejournal [Сигалова 2012].

¹² Это стихотворение не потеряло своей популярности и в эмиграции. Ср., напр., в воспоминаниях Аллы Головиной: ученица гимназии в Чехии рассказывает, что переписывала для предмета своего обожания «Бледно-палевую розу» [Головина].

¹³ Отметим, что Д. Ратгауз умер в Праге в июне 1937 г., во время работы Цветаевой над «Повестью», и известие о его смерти (если оно дошло до Цветаевой) могло дать дополнительный толчок воспоминаниям.

Ты в свет вступила в первый раз
 И вся от счастья трепетала.
 Была ты вся — мечта и греза
 В сияньи блещущих огней —
 <... >
 Тебя семьи объяла проза,
 Ты шла в кругу своих детей —
 <... >
 Твой грех душистая мимоза
 Скрывала средь своих ветвей...
 И **бледно-палевая роза**
 Дрожала на груди твоей.
 Бокалов звон... порок мятежный
 Всех охватил здесь как недуг.
 В толпе блудниц сверкнул мне вдруг
 Знакомый лик и взор твой нежный.
 <... >
 Вчера мне путь пресекали дроги,
 На них в гробу лежала ты <... >
 [Ратгауз].

<... > А я пою нежнейшим голосом /
 Любезной девушки судьбу.
 О том, как редкостным растением
 Цвела в светлейшей из теплиц:
 В высокосветском заведении
 Для благороднейших девиц.
 <... >
 И как перед самым Наследником
 На выпуске читала стих,
 <... >
 И как потом домой на праздники
 Приехал первенец-гусар.
 Посмотрим, как невинно-**розовый**
Цветок сажает на фаянс.
 Проверим три старинных козыря:
 Пасьянс — романс — и контраданс.
 <... >
 Предавши **розовое** личико
 Пустоголовым мотылькам,
 Служило бедное девичество
 Его Величества полкам...
 <... >
 И как рыбак на дальнем взмории
 Нашёл двух туфелек следы
 Вот вам старинная история,
 А мне за песню — две слезы
 [Цветаева 1994: 1, 470–471].

В этом стихотворении тоже отчетливо видна установка на сценичность, причем в двух формах: — в виде риторической «рамки», сопровождающей выступления шарманщика («А я пою нежнейшим голосом // Любезной девушки судьбу» и «Вот вам старинная история, // А мне за песню — две слезы») и внезапного появления авторских интонаций в середине текста (опознаваемых, в первую очередь, благодаря синтаксису с обилием эллипсисов и тире — принципиально отличному от синтаксиса остального текста¹⁴):

¹⁴ В этом тексте «авторские ремарки» дополнительно несут оценочность, не свойственную стилизуемому миру. Различия в авторской позиции в двух текстах-стилизациях можно связать с работой Цветаевой в это время над собственными пьесами и с сопутствующей этой работе попыткой освоения различных жанров драмы.

Гусар! — Еще не кончив с куклами,
 — Ах! — в люльке мы гусара ждем!
 О, дом вверх дном! Букварь — вниз буквами!
 Давайте дух переведем! [Цветаева 1994: 4, 470]

В этом цветаевском тексте дополнительно обращает на себя внимание использование *розового*, как цвета, связанного с героиней. В «Повести о Сонечке» этот мотив будет основательно развит — *румянец* героини станет одним из определяющих ее свойств, что предвосхищается в эпитафье, взятом из стихотворения Виктора Гюго, посвященного его погибшей дочери:

Elle était pâle — et pourtant rose,
 Petite — avec de grands cheveux...¹⁵.

Однако в то же время в звучании французских слов "*pâle — et <...> rose*" слышится та самая «палевая роза», которая, как мы узнаем из текста, так нравится Сонечке в русских стихах Ратгауза (строки «*И бледно-палевая роза // Дрожала на груди твоей*») повторяются в нем рефреном). При этом палевый цвет означает не розовый, а желтоватый и возводится не к *pâle* (бледный), а к *paillé* (соломенный). Но перед нами пример поэтического билингвизма, в котором семантика французского слова (*бледный*) и его звучание ('паль') вместе дают русский эпитет *бледно-палевый*. Такая языковая игра в эпитафье (впоследствии несколько раз повторенном в тексте) не просто подготавливает развитие образа Сонечки одновременно в двух плоскостях — как героини высокой романтической поэзии и низкой бульварщины, но подталкивает к мысли об их принципиальной неразрывности. Театральности, «маски» в представлении романского, «жесточкого» поэтического кода больше нет, напротив, есть тенденция к полному слиянию различных голосов — как показано и в эпитафье, и в разбираемом нами эпизоде с примерами «плохих стихов». В нем, кроме уже названных нами стихотворений (Гейне, Теннисон, Ратгауз), Сонечка «вспоминает» еще несколько, на этот раз действительно безымянных, заканчивая свой список городским романсом «Крутится-вертится шар голубой», который она не просто рассказывает, а пропевает:

Крутится, вертится, хочет упасть,
 Ка-валер ба-рышню хочет украсть! [Там же: 373]

После этого Цветаева предлагает свой пример, продолжающий игру в «плохие стихи». Предложенное ею стихотворение подхватывает образы

¹⁵ «Она была бледной — и все-таки розовой, / Малюткой — с пышными волосами» (фр.)

романса (*голубой и кавалер*), только вновь перенося их в плоскость высокой поэзии: Цветаева цитирует стихотворение А. Блока «День поблек, изящный и невинный...»¹⁶ (также без указания автора):

— А вот еще это, Сонечка:
Тихо дрогнула портьера.
Принимала комната шаги
Голубого кавалера
И слуги...

Все тут вам, кроме барышни — и шара. Но шар, Сонечка, — *земной*, а от барышни он — идет. Она уже позади, кончилась. Он ее *уже* украл и потом увидел, что — незачем было [Цветаева 1994: 4, 375].

Этот обмен безымянными цитатами наглядно демонстрирует проницаемость условных границ между «высокой» и «низкой» поэтическими культурами: литературный текст теряет авторство и уходит в массовую культуру, из которой потом вновь «прорастает» в культуре высокой, и особая роль отведена в этом процессе именно песенной, «романсной» традиции.

Укажем на еще одно место «Повести о Сонечке», в котором можно увидеть отголоски романсного сюжета (но не жестокого романса). Цветаева говорит о своей героине как об определенном типе, порожденном мещанским бытом:

Такие личики иногда расцветают в мещанстве. В русском мещанстве. <...> Кисейная занавеска и за ней — огромные черные глаза. («В кого уродилась? Вся родня — белая».) Такие личики бывали у младших сестер — седьмой после шести, последней. «У почтмейстера шесть дочерей, седьмая — красавица...» На слободах... На задворках... На окраинах... Там, где концы с концами — расходятся [Там же: 329].

Эти строки почти цитируют романс на слова Сергея Любецкого «Одинок стоит домик-крошечка»:

Одинок стоит домик-крошечка,
Он на всех глядит в три окошечка.
На одном из них занавесочка,
А за ней висит с птичкой клеточка.
Чья-то ручка там держит леечку,
Знать, водой поит канареечку.

¹⁶ Стихотворение написано в 1904 г. В «Собрании стихотворений» 1912 г. оно входило в раздел «Отравы» [Блок], позднее — в раздел «Город» второго тома лирики.

Вот глазок горит — какой пламенный! —
Хоть кого спалит, будь хоть каменный <... >
[Антология романса: 103].

Конечно, романсный код не является здесь определяющим — в этом отрывке трудно не заметить тугой узел из хорошо узнаваемых мотивов русской литературы XIX в.: Пушкина, Гоголя, Достоевского. И это, безусловно, также является частью авторской концепции: С. Голлидэй прославилась благодаря роли Настеньки в спектакле по «Белым ночам» (см. об этом в [Бродская]), и отсылки к творчеству Достоевского составляют важную часть цветаевского «мифа» о ней. Но в то же время Достоевский в этом «мифе» принципиально смешивается с Гоголем и Диккенсом (подобно тому, как А. Блок с городским романсом):

Диккенс в транскрипции раннего Достоевского, когда Достоевский был еще и Гоголем: вот моя Сонечка [Цветаева 1994: 4, 318].

Так же замысловато в повести переплетаются и национальные традиции: «русская мещанка» оказывается в большей степени англичанкой или испанкой:

К слову сказать, она гораздо больше была испаночка, чем англичаночка! <... >
Только — географическая <... > не оперная [Там же: 329].

Здесь нашла отражение вторая из двух главных тем цикла — испанская. В подборке, опубликованной в «Русских записках» в 1938 г., она представлена в двух стихотворениях: «Маленькая сигарера» и «Твои руки черны от загара». Уже в момент знакомства Цветаевой с Голлидэй вокруг последней был некоторый «испанский» ореол: она репетировала главную роль в спектакле второй студии МХТ «Кукла Инфанты» по пьесе П. Антокольского. На создание этого ореола могла работать и внешность актрисы — черноглазой брюнетки. Но только это не могло бы объяснить столь высокую значимость испанского кода при описании героини: спектакль «Кукла Инфанты» не был представлен зрителям (по-настоящему Голлидэй блистала, как было сказано выше, в «Белых ночах» Достоевского), и Цветаева в повести сама отмечает, что если и искать в ее героине что-то внешне-национальное, то самое напрашивающееся было бы «малороссийски-национальное» [Там же: 329]. Однако Цветаева решительно это отвергает, включая свою героиню внутрь испанского мифа, который активно разрабатывает в поэзии

начиная с 1917 г.¹⁷ (см. [Войтехович, Портнова; Portnova]). Но в циклах 1917 г. («Дон Жуан» и «Кармен») испанская тема представлена несколько в ином ключе, чем в цикле «Стихи к Сонечке»: ее испанец Дон Жуан «обрусел» — на шее у него православный крест, и с возлюбленной он встречается «под шестой березой», а образ Кармен — героини одноименного цикла из двух стихотворений — полностью построен на оперных ассоциациях, от которых Цветаева в «Повести о Сонечке» демонстративно отказывается: «<Сонечка> географическая испаночка, не оперная». Отказ от шаблонности в развитии испанской темы и поиск новых средств для ее выражения происходит уже в 1919 г., когда в цветаевских «испанских» стихотворениях начинают звучать новые интонации.

Это связано прежде всего с участвовавшими встречами Цветаевой с К. Бальмонтом — в 1918–1919 гг. они живут по соседству и много общаются. Весной 1920 г. Цветаева напишет полушуточное стихотворение «Бальмонту», обыгрывающее интерес поэта к Испании и испанской литературе и их совместный быт в полуголодной Москве:

<...> В вывернутой наизнанку
Мантии врагов народа
Утверждаем всей осанкой
Луковица — и свобода.

<...>
Царь! На пиршестве народа
Голодали — как гидальго! [Цветаева 1994: 4, 494]

То, что интерес Бальмонта — знатока и переводчика испанской литературы, прямо отразился в творчестве Цветаевой, начиная с самых первых ее стихотворных опытов, уже было отмечено исследователями [Portnova; Войтехович, Портнова]. Однако можно предположить, что именно в 1918–1919 гг. Цветаева знакомится с изданным в 1911 г. сборником переводов испанских народных песен, выполненных Бальмонтом¹⁸ (либо внимательно перечитывает его¹⁹). Прямым указанием на то, что они находились в поле ее

¹⁷ В статье [Portnova] указываются и более ранние примеры обращения Цветаевой к испанской теме (например, в сборнике «Волшебный фонарь»), но они отличаются гораздо меньшей самостоятельностью.

¹⁸ Отдельные переводы входили также в сб. «Горящие здания» (1904).

¹⁹ Анализу поэтики этих переводов Бальмонта посвящена основательная работа В. Полиловой [Полилова]. Эти переводы, по ее словам, были вычеркнуты из корпуса «основного» наследия Бальмонта. Исследовательница цитирует единственную, по ее словам, их научную

внимания в 1919 г., во время общения со студийцами МХТ, можно считать цитату из этих переводов в «Повести о Сонечке» — Цветаева в ней полностью приводит *коплу*²⁰, открывающую сборник Бальмонта. Впрочем, как и раньше, делает это без указания авторства, так что возникает иллюзия, что это наивное стихотворение принадлежит самой героине²¹:

Мать, что тебя породила,
Ранняя роза была,
Она лепесток обронила,
Когда тебя родила [Цветаева 1994: 4, 340].

Следы внимательного чтения всего сборника переводов обнаруживаются в разных текстах Цветаевой этих лет — но, в первую очередь, в «Четверостишиях» (24 текста, написанные в 1919–1920 гг.) и в «Стихах к Сонечке», и исследователями уже был отмечен ряд убедительных параллелей между ними и «Испанскими песнями» Бальмонта (см. [Калашникова; Portnova]²²). Его можно продолжить, отметив, например, явное влияние «Испанских песен» на начальную строфу первого стихотворения «Стихов к Сонечке»:

Кто покинут — пусть поёт!
Сердце — пой!
Нынче мой — румяный рот,
Завтра — твой [Цветаева 1994: 1, 468].

Цветаевский метод работы с «Испанскими песнями», как мы хотим показать, по преимуществу заключается не в цитировании отдельных текстов, а в усвоении опорных мотивов из «тематических блоков», в которые складываются песни внутри сборника Бальмонта. Так, например, процитированное выше начало «Стихов к Сонечке» развивает тему группы рядом стоящих текстов из раздела «Сетования»:

оценку, принадлежащую А. М. Гелескулу: «Курьезный и по-своему непревзойденный образец переводческого легкомыслия» [Полилова]. По мнению исследовательницы, такое отношение определялось некоторым косноязычием переводов, которое Гелескул счел следствием плохого знания Бальмонтом испанского, а Полилова связывает со стремлением Бальмонта к буквалистской точности перевода и с тем, что он не шел в передаче испанского стиха за предшественниками.

²⁰ В сборнике представлены три типа народной испанской поэзии, *копла* — один из них и представляет собой четверостишие.

²¹ Бальмонт как автор цитаты был впервые указан в [Полилова].

²² В работе [Portnova] отмечено большое количество отдельных лексических совпадений между стихами Цветаевой 1917–1919 гг. и «Испанскими песнями» Бальмонта, не все из которых убедительно указывают на заимствования.

14

Пой, жизнь моя, пой,
 Пой и больше не плачь,
 Если песни поются,
 Веселятся сердца.

15

Должен с песней умереть,
 Ибо с плачем я родился,
 Счастье кончилось навеки
 В этом мире для меня.

16

Кто поет, тот беду свою гонит,
 А кто плачет, ее умножает,
 Я пою, чтобы эти тоскишки
 Не терзали меня.

17

Хоть видишь, что пою я,
 Поет лишь рот,
 А сердце дышит болью,
 В нем боль растет.

18

Кто мое услышит пенье,
 Тот подумает — я весел,
 А неправда: я — как птица,
 Что поет и умирает
 [Бальмонт: 143–147].

Возникающее по прочтении этого раздела (и ряда других) впечатление тематической плотности, якобы свойственной испанским песням, является модификацией переводчика. В. Поилова, рассматривая эти переводы, подробно останавливается на вопросе о том, как Бальмонт работает с отбором и композицией песен в сборнике — и убедительно показывает, что при стремлении к максимальной точности в самих переводах, Бальмонт компонует их в «тематические» блоки, иногда даже с прослеживаемым микросюжетом (как, например, в разделе «Влюбленность»). Исследовательница отмечает, что, выстраивая сборник,

...поэт строго следовал своим представлениям об испанской нации, отсеивая «нехарактерное». <...> Через строгий отбор и выстроенную композицию Бальмонт создает в некотором роде самостоятельное и цельное произведение. Очень важно подчеркнуть, что таким образом поэт <...> пересаживал на русскую почву чужое слово, делая его одновременно своим. Бальмонту для этого <...> нужно усилить (exagérer) впечатление [Поилова: 159–160].

Цветаева переносит в свою собственную поэтическую практику (преимущественно) именно такие «акцентированные» Бальмонтом мотивы, что хорошо видно как по приведенному выше примеру, так и по нескольким следующим. Так, во втором стихотворении цикла отразились две песни, размещенные Бальмонтом друг рядом с другом в разделе «Ненависть и презрение»; имеющийся в них повтор строк, благодаря композиционному соседству, подталкивает нас к восприятию их как единого текста, состоящего из двух катренов:

34

Как **мне** **весть** **передавали**,
 Что меня не любишь ты,
В море я не утопилась...
 Холодна была вода.

35

Как мне **весть** **передавали**,
 Что меня не любишь ты,
В нашем доме даже кот,
На меня смотря, смеялся [Бальмонт: 130].

И именно их мотивы появляются у Цветаевой:

Пел в лесочке птенчик,
Под окном — шарманщик:
 — Обманщик, изменщик,
 Изменщик, обманщик! < ... >

А коровки в травке:
 — **Завела аму — уры!**
В подворотне — шавки:
 — **Урры, урры, дура!**

Вздумала топиться —
 Бабка с бороною:
 — Ничего, девица!
 Унесёт водою! [Цветаева 1994: 1, 469]

Отметим также, что и образность одного из самых известных стихотворений цикла — «Ландыш, ландыш белоснежный / Розан аленький...» также носит на себе следы чтения Цветаевой «Испанских народных песен». В разделе «Влюбленность» собрана подборка из девяти текстов, представляющих собой «развитие» сравнения возлюбленной с цветами и деревьями. Приведем некоторые из них:

45

Ты гвоздика апреля
 И ты майская роза < ... >

46

Ты мускатная роза,
 Ты душистая роза,
 И ты белый жасмин
 Средь апрельских долин.

49

Ты пальма роскошная,
Ты красивейший лавр,
Ты белая лилия,
Ты гвоздика гвоздик.

52

Ты как вербена²³
На зеленом луго,
Ты словно сладость,
Что тает во рту [Бальмонт: 45–53].

О сравнении своей героини с цветами Цветаева еще раз вспомнит в «Повести о Сонечке»: «Только когда я вспоминаю Сонечку, я понимаю все эти сравнения женщины с цветами, глаз с звездами, губ с лепестками <...> Не понимаю, а заново создаю» [Цветаева 1994: 4, 340]. Здесь Цветаева почти цитирует предисловие Бальмонта к его сборнику переводов, которое, конечно, тоже было ей хорошо знакомо. В нем Бальмонт развернуто рассуждает об особенностях поэтического женского портрета в испанской традиции и на отличии этой традиции от «скупой» северной поэзии:

Когда северянин влюблен, он просто чувствует красоту любимой женщины, он получает общее впечатление ее очарования. <...> Но южанин видит все лицо, и для каждой отдельной части его он находит чарующий образ. <...> он описывает подробно все лицо, поэтизируя каждую подробность. Он говорит о глазах. Но вы думаете, что глаза — не более как глаза? Какая ошибка! Глаза состоят из зрачка, всегда переменчивого, из белка с синими жилками, напоминающими облачное небо, из острых, как иглы, ресниц, черных, как ночь, из бровей, похожих на луну в новолуние [Бальмонт: 5].

На наш взгляд, не вызывает сомнений, что в 1937 г., работая над «Повестью о Сонечке», Цветаева хорошо помнила как сами испанские народные песни в переводе Бальмонта, так и это предисловие, содержащее практическое «руководство» по поэтическому описанию возлюбленной. Попытку создать поэтический портрет героини, следуя этому «руководству», Цветаева предпримет тогда же — в стихотворении памяти Голлидэй, за которое она примется после окончания работы над мемуарами:

²³ Особенно обращает на себя внимание сравнение с вербеной — неярким, ароматным цветком (как и ландыш).

Были огромные очи:	Брови — зачесывать за уши
Очи созвездья Весы,
Разве что Нида короче За душу
Было две чёрных косы	Хату ресницами мечь...
Ну, а сама меньше можного!	Нет, не годится!.....
Всё, что имелось длины	Страшно от стольких громад!
В косы ушло — до подножия,	Нет, воспоем нашу девочку
В очи — двойной ширины	На уменьшительный лад
Если сама — меньше можного,	За волосочек — по рублику!
Не пожалеть красоты —	Для довершенья всего —
Были ей Богом положены	Губки — крушенья Республики
Брови в четыре версты:	Зубки — крушенья всего... <...>

[Цветаева 1994: 2, 344].

Это стихотворение — несмотря на все отличия — сохраняет образную и стилистическую связь с блоком ранних посвящений Цветаевой Голидэй: его также отличает обнажение приема (хотя оно уже больше не связано с театральностью: «*Нет, не годится! / Страшно... <... > воспоем нашу девочку // На уменьшительный лад*»), обилие деминутивов, а сами образы (*губки, зубки, рублик*) без труда найдутся в сборнике «Испанских народных песен»²⁴. Космические мотивы в описании внешности возлюбленной мы тоже можем найти в коплах, напр.:

Брови твои — как две новых луны,
Очи — две утренних ярких звезды,
Светят и ночью и днем,
Светлей, чем на небе родном [Бальмонт: 26].

О сравнении глаз возлюбленной с облачным небом или луной Бальмонт также писал в «Предисловии», которое мы цитировали выше. Этот текст в целом кажется нам важным для понимания концепции цветаевской «Повести». На наш взгляд, в нем интересно не только то, как Бальмонт разграничивает «северную» и «южную» поэтические традиции, несколько схематично выделяя броские черты «южной» поэзии, но и то, как он пытается эти

²⁴ Напр.:

Твои губы — неясные кораллы,
Твои зубы — тонкий светлый жемчуг [Бальмонт].

Ср. также метафорический перевод степени красоты в ее стоимость — «*За волосочек по рублику*», тоже характерный для бальмонтовских переводов и уже обыгрываемый Цветаевой в «Четверостишиях»: «*Ты принес мне горсть рубинов / Мне дороже розы уст / Продаюсь я за миллионы, / За рубли не продаюсь*».

традиции связать, выделив в истории мировой литературы произведения, объединенные особым взглядом на женщину. По его мнению, такой общий взгляд отличает испанские народные песни, описание женщины-лотоса в индийской Камасутре, «Песнь Песней», поэму П. Б. Шелли «Эпипсихидион» и «Лигейю» Э. А. По:

Совершенно так же и в «Песни песней» мы видим, как великий царственный поэт, плененный смуглою дочерью пустыни, воссоздает перед нами, в частичных гимнах, образ своей возлюбленной, чьи поцелуи слаще мирры и вина. И Шелли <...> отдается тому же побуждению, когда, описывая идеальную Эмилию Вивиани, он нагромождает один образ на другой. И Эдгар По в своей гениальной фантазии «Лигейя», рисуя сказочную женщину, создает поэму женского лица [Бальмонт: 5].

В связи с той задачей, которая стояла перед Цветаевой и в стихотворении «Были огромные очи...», и в повести (создание детального поэтического портрета героини) особое внимание в этом перечне привлекает «поэма женского лица», созданная Э. А. По. Действительно, в этом рассказе По мы находим выразительный портрет такого типа, о котором пишет Бальмонт, содержащий яркие космические сравнения, определяющие, как мы понимаем в конце рассказа, сущность героини:

Мне кажется, они <глаза леди Лигейи> были гораздо больше, чем глаза обыкновенного смертного. Продолговатые, они были длиннее, чем газельи глаза, отличающие племя, что живет в долине Нурджагад. Но только временами — в моменты высшего возбуждения <...> ее красота <...> была красотой существ, живущих в небесах или по крайней мере вне земли — красотой легендарных Гуррий Турции. Цвет зрачков был лучезарно-черным, и прекрасны были эти длинные агатовые ресницы. Брови, несколько изогнутые, были такого же цвета. <...> О, эти глаза! эти большие, эти блестящие, эти божественные сферы! они стали для меня двумя созвездными близнецами Леды, а я для них — самым набожным из астрологов <пер. К. Бальмонта>.

О, глаза Лигейи! Эти огромные, эти сияющие, эти божественные очи! Они превратились для меня в **звезды-близнецы, рожденные Ледой**, и я стал преданнейшим из их астрологов [По: 156].

Думается, что на ключевую для стихотворения космическую образность повлияли не столько сравнения женских глаз с луной в самих песнях, сколько актуализация рассказа Э. А. По²⁵ в предисловии к ним, заставившая Цветаеву

²⁵ Ср. в связи с этим метаморфозы, которые претерпевает героиня. В них сквозь наивный стиль испанской народной поэзии просвечивает романтический балладный код (не случайно вторая половина текста маркирована словами «страшно» и «жутко»).

вспомнить описание глаз Лигеи, превращающихся в созвездия²⁶. Отдельного разговора заслуживает вопрос о том, почему Цветаева меняет созвездие Близнецов (в которое входят две яркие звезды, что оправдывает его сравнение с глазами), на Весы — одно из наименее заметных созвездий Зодиака. Одной из причин, по нашему мнению, может быть ее желание отмежеваться от близнечного мифа Б. Пастернака²⁷, тесно связанного с мифологией этого созвездия и двух его главных звезд — Кастора и Поллукса²⁸. Упоминание Близнецов могло сделать сходство слишком заметным. Ср. соединение *звезд, кос и воды* в одной строфе и у Цветаевой («*Очи созвездия Весы / Разве что Нила короче / Были две черных косы*»), и в стихотворении Пастернака «Близнецы» (1913):

Сердца и спутники, мы коченеем,
Мы близнецами одиночных камер.
Чья ж косы горящим водолеем,
Звездою ложа в высоте я замер? [Пастернак: 333]

Безусловно, выбор Весов может быть обусловлен и более простыми причинами: парностью, лежащей в основе его традиционного изображения, и тем, что по знаку зодиака Цветаева была Весы²⁹. Однако учитывая то, что в конце текста образ Сонечки приобретает не только космические, но и исторические проекции («*Губки — крушенье Республики / Зубки — крушенье всего*»), можно предположить, что выбор созвездия, в которое помещается героиня, был также связан с образом космических «мировых весов», показывающих расстановку исторических и мистических сил. Особый вклад в его разработку

²⁶ Не только в стихотворении 1937 г., но и в самой повести Цветаева все время подыскивает литературные источники, подходящие для описания глаз героини. Так, напр., она цитирует фрагмент из романа Эдмонда Абу «Горный король», представляющий собой развернутое описание глаз: «Они были темными, пламенными и бархатистыми, такой цвет встречается лишь в сибирских гранатах и некоторых садовых цветах. Я вам покажу скабиозу и сорт штокрозы, почти черной, которые напоминают, хотя и не передают точно, чудесный оттенок ее глаз. Если вы когда-нибудь бывали и кузнице в полночь, вы должны были заметить тот странный коричневый блеск, который отбрасывает стальная пластина, раскаленная докрасна, вот это будет точно цвет ее глаз» [Цветаева 1994: 4, 301].

²⁷ См. исследование близнечного мифа в творчестве Цветаевой — в том числе, в «Повести о Сонечке» — в работе [Гончарова].

²⁸ Также явственная мужественность героев, в честь которых звезды получили свои названия, могла нарушить образность стихотворения. Э. А. По это не мешало сравнивать их с женскими глазами, а в контексте русской поэзии 1930-х гг. могло стать помехой.

²⁹ За это наблюдение благодарим Р. С. Войтеховича; в то же время отметим, что зодиакальный знак Весов не связан с одноименным созвездием.

в нач. XX в. внесли символисты, в особенности, В. Брюсов и Вяч. Иванов³⁰. Ср., напр.:

Весы качнулись мировые,
Высоко подняты судьбой.
На чашу темную Россия
Метнула жребий тяжкий свой <1905> [Брюсов: III, 288].

Какой прозрачный блеск! Печаль и тишина...
Как будто над землей незримая жена,
Весы хрустальные склоняя с поднебесья,
Лелеет хрупкое мгновенье равновесья;
Но каждый желтый лист, слетающий с древес,
На чашу золота слагая легкий вес,
Грозит перекачнуть к могиле холодной света
Дары прощальные исполненного лета <1913> [Иванов: 2, 109].

Стихотворение «Были огромные очи...» осталось незаконченным, но его анализ позволяет подключить рассказ Э. А. По «Лигейя» к кругу источников образности самой «Повести о Сонечке», что, как кажется, помогает лучше понять ее финал, уже не связанный напрямую с портретным изображением героини. Его можно расценить как прямой намек на мистический сюжет Э. А. По, в котором Лигейя возвращается к жизни благодаря тому, что вторая героиня — леди Ровена — умирает:

Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, отмираю для жизни, — к вам, в вас — умираю. Чем больше вы — здесь, тем больше я — там. Точно уже снят барьер между живыми и мертвыми, и те и другие свободно ходят во времени и в пространстве — и в их обратном. Моя смерть — плата за вашу жизнь [Цветева 1994: 4, 409–410].

Этот трагический образ умирающего автора сложно соотносится и с поставленной Цветаевой проблемой взаимопроникновения текстов культуры (ведущего к размыванию их границ и безымянности) и с темой театральности, которая подспудно присутствует во всей повести, поскольку она посвящена воспоминаниям об актрисе. Цветаева по сути пишет о том же моменте

³⁰ Напомним, что созвездие Весов обладало особой семантикой для всего направления, поскольку такое название носил основной печатный орган русского символизма. Ср. шуточную эпиграмму Брюсова, обыгрывающую название журнала:

Наш мир храня от силы вражей
В чреде двенадцати имен,
У врат небес стоят на страже
В свой день Весы и Скорпион [Брюсов: III, 284].

«конца искусства» и «полной гибели всерьез» вместо «читки» заученной роли, о котором в 1932 г. писал Пастернак³¹.

Литература

Адамович: *Адамович Г.* <Рец. на:> Русские записки, кн. 3 // Марина Цветаева в критике современников: В 2 ч. Ч. 1. М., 2003.

Антология романа: Антология русского романа. Золотой век. М., 2006.

Бальмонт: *Бальмонт К.* Избранное: Стихотворения. Переводы. Статьи. М., 1990.

Блок: *Блок А.* Собрание стихотворений. Кн. 2. Нечаянная радость (1904–1906). М., 1912.

Бродская: *Бродская Г.* Сонечка Голлидэй. Жизнь и актерская судьба. М., 2003.

Брюсов: *Брюсов В.* Собрание сочинений: В 7 т. М., 1975.

Брюсов 1990: *Брюсов В.* Среди стихов. 1894–1924. Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990.

Войтехович, Портнова: *Войтехович Р., Портнова Т.* Литературные источники образа Испании в творчестве Марины Цветаевой // Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2022. Т. 19. Вып. 2.

Головина: *Головина А.* Избранная проза и переписка (<https://lit.wikireading.ru/2218>).

Гончарова: *Гончарова Н.* Цветаева: «Повесть о Сонечке» как сотворение мифа // Диалог культур-4: Сб. материалов IV межвуз. конф. Барнаул, 2002.

Иванов: *Иванов Вяч.* Стихотворения. Поэма. Трагедии: В 2 кн. Кн. 1., СПб., 1995.

Испанские народные песни: Испанские народные песни. Любовь и ненависть / Пред. и пер. К. Бальмонта. М., 1911.

Калашникова: *Калашникова Э.* Цветаева и Бальмонт. Испанские мотивы // Livejournal. (<https://e11enai.livejournal.com/37707.html>).

Мейкин: *Мейкин М.* Марина Цветаева: Поэтика усвоения. М., 1997.

Пастернак: *Пастернак Б.* Полное собрание сочинений: В 11 т. М., 2003. Т. 1. Стихотворения и поэмы 1912–1931.

По: *По Э. А.* Собрание сочинений в переводе с английского К. Д. Бальмонта: В 5 т. Т. 1: Поэмы, сказки. М., 1901.

Полилова: *Полилова В.* Испанские народные песни в переводе Бальмонта // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2013. № 1.

Ратгауз: *Ратгауз Д. М.* Полное собрание стихотворений: В 3 т. М.; СПб., 1907.

³¹ В контексте этого соположения пастернаковские аллюзии в стихотворении «Были огромные очи...», которые мы отметили выше, приобретают особое значение.

Русские песни и романсы: Русские песни и романсы. М., 1989.

Сигалова 2012: *Сигалова Т.* А граф был демонски хорош // Livejournal (<https://doxie-do.livejournal.com/35058.html>).

Сигалова 2013: *Сигалова Т.* Азбука забытых поэтов-2: Ратгауз («И бледно-палевая роза...») // Livejournal (<https://doxie-do.livejournal.com/63858.html>).

Ходасевич: *Ходасевич В.* Книги и люди: «Русские записки», книга 3-я // Марина Цветаева в критике современников: В 2 ч. Ч. 1. М., 2003.

Цветаева 1938: *Цветаева М.* Стихи к Сонечке // Русские записки. Париж-Шанхай. 1938. № 3. С. 166–170.

Цветаева 1965: *Цветаева М.* Стихотворения и поэмы. М., 1965.

Цветаева 1994: *Цветаева М.* Собрание сочинений: В 7 т. М., 1994.

Цветаева 2000: *Цветаева М.* Повесть о Сонечке / Вступ. ст. И. Кудровой, прим. Ю. Бродовской. М., 2000.

Чтец-декламатор: Чтец-декламатор: Художественный сборник. Изд. 4. Киев, 1904.

Portnova: *Portnova, T.* The Spain of Konstantin Balmont // The International Journal of Literary Humanities. Vol. 21 (2023).

МЕТАМОРФОЗЫ КРАСОТЫ: ОТ ЭЛЛИС ДО НЕКРАСИВОЙ ДЕВОЧКИ

РОМАН ВОЙТЕХОВИЧ

В статье рассматривается многослойность проблематики стихотворения Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка» (1955) и роль литературной традиции для понимания центрального вопроса «что есть красота». В дополнение к прецедентам из поэзии Семена Надсона и Евгения Боратынского выявляется ряд «отрицательных мадригалов» в поэзии В. Шекспира, М. Лермонтова, И. Анненского. Образ просвечивающего сосуда сопоставляется с образностью И. Тургенева («Призраки», 1864) и Д. Мережковского («О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», 1893). Центральный мотив «просвечивания» — важнейший концепт символизма (в частности, А. Белого), генетически связанный с романтической проблематикой «невыразимого» (В. Жуковского), что может трактоваться как девственное и детское.

Ключевые слова: Н. Заболоцкий, Шекспир, М. Лермонтов, И. Тургенев, Д. Мережковский, И. Анненский, мадригал, образ прозрачного сосуда, символизм, невыразимое.

Roman Voitekhovich. Metamorphoses of beauty: from Ellis to the Unbeautiful Girl

The article examines the multi-layered problematics of Nikolai Zabolotsky's poem "The Ugly Girl" (1955) and the role of literary tradition for understanding the central question "what is beauty?" In addition to precedents from the poetry of Semyon Nadson and Evgeny Boratynsky, a number of "negative madrigals" have been identified in the poetry of W. Shakespeare, M. Lermontov, I. Annensky. The image of a translucent vessel is compared with the imagery of I. Turgenyev ("Ghosts", 1864) and D. Merezhkovsky ("On the Causes of Decline and New Trends in Contemporary Russian Literature", 1893). The central motif of "translucency" is the most important concept of symbolism (in particular, A. Bely), genetically connected with the romantic problems of the "inexpressible" (V. Zhukovsky), which can be interpreted as virginal and childlike.

Keywords: N. Zabolotsky, Shakespeare, M. Lermontov, I. Turgenyev, D. Merezhkovsky, I. Annensky, madrigal, image of a transparent vessel, symbolism, inexpressible.

В своей книге «Анализ поэтического текста: Структура стиха» (1972) Ю. М. Лотман проанализировал стихотворение Н. А. Заболоцкого «Прохожий» (1948). Разбор этот соединил в себе детальный текстовый анализ

с кратким обзором поэтики Заболоцкого и изложением собственной методологии, включающей в себя следующий важный пункт:

Идеал поэтического анализа — не в нахождении некоторого вечного единственно возможного истолкования, а в определении области истинности, сферы возможных интерпретаций данного текста с позиций данного читателя [Лотман: 270].

Говоря об истолкованиях, Лотман, несомненно, имел в виду и соотношение текста с контекстом, и влияющий на истолкование объем общих знаний автора и читателя. Очевидно, что этот объем будет разным для разных аудиторий. Так, в стихотворении «Прохожий» появляется описание переделкинского кладбища, о чем знает первый публикатор, Н. А. Степанов («До предела конкретно показано переделкинское кладбище» [Степанов: 309]), но что остается заведомо неясным для большинства читателей, несмотря на максимально конкретное указание станции Нара, как подчеркивает Лотман:

Читатель может не знать, где расположена станция Нара <...> Но <...> введение в текст имени собственного — названия мелкой и мало известной станции — передает <...> установку на пространственную единственность [Там же: 264].

Таким образом, текст изначально допускает разную степень понимания упомянутых реалий, но не теряет смысла и в том случае, если эти реалии не известны читателям (подробнее эти идеи развиты в статье Лотмана «Текст и структура аудитории», 1977). Полагаем, что на такое же многослойное прочтение рассчитывал Заболоцкий и при создании стихотворения «Некрасивая девочка» (1955).

Для большинства читателей эстетическая проблема, заявленная в заглавии и сформулированная в финале, легко разрешается в соотношении с фабульной частью текста, что создает впечатление дидактизма. Действительно, соотношение фабульного отрывка с обобщением в финале напоминает преобразованную структуру басни. Финальный вопрос в этом случае интерпретируется как риторический. Но это — парадоксальная «басня», в которой доминирует не назидательная мысль, а острое чувство сострадания, острота которого не снижается справедливостью финального заключения — подразумеваемого ответа на финальный вопрос. Текст остается лирическим, трагедия — неотвратимой.

Однако за внешне неприязательной «детской» и «советской» проблематикой (позднего Заболоцкого нередко воспринимают как поэта, сломленного системой, приспособившегося к требованиям «советской» эстетики), «Некрасивая девочка» заключает в себе эстетические проблемы более

общего характера, отнюдь не сводящиеся к переживаниям из-за внешности конкретного ребенка. И это становится особенно ясно, когда вскрывается мощный культурный подтекст произведения.

Прежде всего это касается самой «некрасивой девочки», у которой обнаруживается довольно богатая литературная родословная, что не противоречит автобиографизму авторских переживаний: личные переживания падают в разбираемом случае на подготовленную почву. Как блестяще продемонстрировал в своей статье И. Е. Лошилов, «Некрасивая девочка» подключается к целому ряду стихотворений Семена Надсона (1862–1887), три из которых носят одинаковое название «Дурнушка», а четвертое начинается этим словом¹ [Лошилов: 49]. К одному из них («Бедный ребенок, — она некрасива!..», 1883) восходит крылатая фраза: «Красота — это страшная сила!» [Надсон: 223]. Но этот контекст как раз внешне вписывается в перспективу возможных источников советской эстетики. Надсон отчетливо ассоциировался с демократическим направлением в литературе 1880-х гг.: печатался в «Отечественных записках» и даже похоронен рядом с могилами Добролюбова и Белинского.

Однако уже этот контекст заставляет нас видеть в финальном вопросе стихотворения Заболоцкого более широкую историческую и культурную перспективу, поднимающую вопрос о красоте на более высокий уровень обобщения. Еще яснее это становится, если рассматривать финальное рассуждение и приведенную в нем аналогию не как риторические трансформации все того же детского образа, а как переход к, действительно, более общим проблемам («что есть красота») и более широкому спектру эстетических явлений, включающему в один ряд, наряду с пропорциями человеческого тела, например, и керамику. В этом плане особенно интересен образ «огня, мерцающего в сосуде», за которым кроется определенная литературная традиция, включающая и важнейший эстетический трактат младшего современника Надсона — Д. С. Мережковского (1865–1941).

Рассмотрим текст Заболоцкого подробнее. Как мы уже отметили, финальный вопрос только на первом уровне прочтения представляется риторическим, предполагающим однозначный ответ. Красота — категория сложная и исторически изменчивая². На персональном уровне — это предмет самых бесплодных споров. Заболоцкий отнюдь не дает однозначного ответа

¹ «Дурнушка» («Бедный ребенок, — она некрасива!..»), «Дурнушка» («Дурнушка! С первых лет над нею ...»), «Дурнушка» («Что стало с голубкой моей дорогой...») и «Дурнушка! Бедная, как много унижений...» [Надсон: 484].

² Ср.: «Мы исходим из принципа, что Красота никогда не была чем-то абсолютным и неизменным, она приобретала разные облики в зависимости от страны и исторического периода» [Эко: 14].

на свой вопрос. Пылкой обнаженностью личного отношения, тоном проповеди, компрессией разнородных чувств — страха и надежды («мне верить хочется, что сердце не игрушка...») — он лишь приглашает к дискуссии:

А если это так, то что́ есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде? [Заболоцкий: 273].

В предыдущем четверостишии дается подсказка:

И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить воображенье, —
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье [Там же: 272–273].

Возникает параллелизм образов огня, мерцающего в сосуде, и движения, в котором «сквозит» «младенческая грация души»: общей выступает сема 'просвечивания'. Антитезой «грации души» выступает внешняя телесная и материальная красота, которую, вероятно, и «обожествляют люди». Именно из этой презумпции исходит поэт, предчувствующий будущую трагедию героини. Поэтому, несмотря на всю убедительность поэтического рассуждения, поэт (лирический герой) видит себя, угадывающего эту «грацию», в меньшинстве.

Однако при всей вероятности такой интерпретации текст лишен однозначности. Действительно, те, кто обожествляют «пустую» красоту, возводят себе ложного кумира, но Заболоцкий не вводит пейоративного глагола или эпитета: глагол «обожествляют» может подразумевать и ложное обожествление, и истинное понимание красоты. Постигание (не)красоты может быть ступенчатым, как это и происходит в самом стихотворении Заболоцкого в восприятии лирического героя-поэта.

Не отвлекаясь на мотив «сквожения», просвечивания, интерпретаторы давно обратили внимание на явную дихотомию «душа–тело». Разумеется, в советском контексте она трактовалась материалистически, что вполне допустимо. Одна из параллельных дихотомий этой пары — противопоставление статических форм и движения. Эта дихотомия, в частности, выделялась в трудах по эстетике при сопоставлении искусства ренессанса и барокко (барокко сочетает возможность «неправильности» с идеей движения, текучести форм). Но если не держаться чисто стилистической (в духе формализма Г. Вёльфлина) и материалистической интерпретации, то дихотомия «душа–тело» вводит нас в проблематику, связанную с концепцией двоимирия, со-присутствия мира физического и метафизического.

В своем анализе поэтики Заболоцкого Лотман обратил внимание на то, что пространственная модель лирики поэта довольно строго вертикально ориентирована. Движение в этом пространстве семиотически оказывается движением вверх–вниз, даже если герой идет по плоской равнине. Заболоцкий — поразительный поэт: в молодости соединявший поздний авангардный стиль с державинским барокко, он двигался в направлении классицизма, в чем-то — подобно «акмеистам», преодолевшим символизм. В «Некрасивой девочке» Заболоцкий достиг классической ясности, в том числе и в плане постановки «вечных» вопросов. Но в искусстве, как подчеркивал еще Ю. Н. Тынянов (Лотман позднее настойчиво развивал эту мысль), любое достижение крайней точки уже чревато поворотом в обратную сторону, и мы видим, как этот неоклассический текст начинает «просвечивать» зачатками аллегоризма и символизма.

Доказательством может служить поразительное пересечение проблематики «Некрасивой девочки» с одним из ключевых образов первого манифеста русского символизма — цикла лекций, а затем эссе Д. С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (лекции 1892 г., брошюра — 1893-го). Тексты Мережковского и Заболоцкого разделяют более полувека: «Некрасивая девочка» (1955) написана в третий год оттепели. И вот Заболоцкий уже пишет о душе, о соотношении души и тела, об эстетике в сложном соотношении с этикой, подспудно и незаметно возвращаясь к проблематике Мережковского.

«Несоветская» смысловая штриховка скрадывалась общими классическими очертаниями. Афористичность финала привела к тому, что он оторвался от текста и фольклоризировался; до сих пор в Интернете он воспроизводится как мудрость Омара Хайяма (видимо, из-за частотной у Хайяма метафоры «тело – сосуд»). И в целом текст звучит в унисон со многими классическими произведениями, ставящими вечные вопросы и темы.

Уже отмечались в литературе переключки стихотворения с «Музой» Боратынского [Саломатин: 111]³. Отметим сходство и с одним из самых известных сонетов Шекспира (Сонет 130). Заболоцкий, как и все обэриуты, с первых шагов своих был опекаем С. Я. Маршаком, и, конечно, не мог

³ Ср.: «Но если стихотворение Заболоцкого представляет собой развернутое метафорическое рассуждение на тему выбора поэтических средств и целей, то приходится признать, что главная его героиня — не кто иная, как муза автора. Причем, очевидно, она состоит в родстве с музой Боратынского, признававшегося, что “красавицей ее не назовут”. Таким образом, основным претекстом “Некрасивой девочки” следует считать все же не “Дурнушку” Надсона, а “Неослеплен я музкою своею...” Боратынского» [Саломатин: 111].

обойти сенсации 40-х годов — появления Шекспира в переводе Маршака. Цитируем перевод последнего:

Ее глаза на звезды не похожи
 Нельзя уста кораллами назвать,
 Не белоснежна плеч открытых кожа,
 И черной проволокой вьется прядь.
 С дамасской розой, алой или белой,
 Нельзя сравнить оттенок этих щек.
 А тело пахнет так, как пахнет тело,
 Не как фиалки нежный лепесток.
 Ты не найдешь в ней совершенных линий,
 Особенного света на челе.
 Не знаю я, как шествуют богини,
 Но милая ступает по земле [Шекспир: 229].

Обратим внимание на приемы описания женщины. Шекспир/Маршак описывает свой объект так, как обэриут Заболоцкий, по его собственным словам в манифесте ОБЭРИУ, описывал мир в целом — «вплотную приблизив к глазам» (и другим органам чувств)⁴. Именно поэтому кожа видна ему во всех деталях, а волосы кажутся «проволокой». Но завершается обзор неожиданным пуантом:

И все ж она уступит тем едва ли,
 Кого в сравненьях пышных оболгали [Там же].

Этот пуант в концовке сонета идейно соответствует более протяженной, но функционально соответствующей перипетии в стихотворении Заболоцкого («И пусть черты ее нехороши ... » и т. д.). Смена точки зрения в финале наделяет «некрасивых» героинь Шекспира и Заболоцкого красотой, хотя и разного типа: у Шекспира меняется только риторическая точка зрения, тогда как у Заболоцкого сложным оказывается сам объект.

Заметим, что лирический портрет-мадригал, написанный «от обратного», имеет и другие классические примеры. Если даже допустить (хотя это маловероятно), что Заболоцкий по каким-то причинам не знал разбираемого сонета Шекспира, он едва ли мог пропустить стихотворение Лермонтова «Она не гордой красотою ... » (1832), имеющего ту же структуру:

Она не гордой красотою
 Прельщает юношей живых,
 Она не водит за собою

⁴ «Н. Заболоцкий — поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя» [ОБЭРИУ: 459].

Толпу вздыхателей немых.
 И стан ее не стан богини,
 И грудь волною не встает,
 И в ней никто своей святыни,
 Припав к земле, не признает.
 Однако все ее движенья,
 Улыбки, речи и черты
 Так полны жизни, вдохновенья,
 Так полны чудной простоты.
 Но голос душу проникает,
 Как вспоминанье лучших дней,
 И сердце любит и страдает,
 Почти стыдась любви своей [Лермонтов: 265].

И сонет Шекспира, и стихотворения Лермонтова и Боратынского построены на развернутом минус-приеме, причем у Боратынского героиня приобретает характер абстрактно-аллегорический («муза»). Еще большего обобщения достигает И. Ф. Анненский в стихотворении «Среди миров, в мерцании светил...» (1909), в котором объект преклонения («звезда») прямо отнесен к высшим сферам⁵. В этом плане текст выбивается из рассматриваемой категории, впрочем, как и текст Боратынского (поскольку само слово «муза» задает высокий эстетический стандарт, сколько бы автор ни скромничал).

Однако далее у Анненского «звезда» описывается через отрицание существенных достоинств: «Не потому, чтоб я Ее любил...»; «Не потому, что от Нее светло...» [Анненский: 153]. Афористичностью этот миниатюрный шедевр напоминает концовку стихотворения Заболоцкого. Сближает их и проблематика символически осмысляемого сияния, причем не открытого, а угадываемого, внутреннего, не требующего внешней яркости (но звезда — это то, что светит по определению). Представить, чтобы Заболоцкий, для которого астральная образность имела огромное значение (и не только «знаки Зодиака») не знал одного из самых хрестоматийных стихотворений Анненского, невозможно. В этом плане представляется, что совпадение зачинов двух стихотворений, написанных 5-стопным ямбом (заметим, что это размер и шекспировского сонета) могло быть осмысленным:

Анненский: «Среди миров, в мерцании светил...»

Заболоцкий: «Среди других играющих детей...»

⁵ Возможный источник образа — знаменитая эпиграмма (эпитафия) Платона Астеру: «Смотришь на звезды, Звезда ты моя! О если бы была я / Небом, чтоб мог на тебя множеством глаз я смотреть» [Платон: 694]. Своим переводом этой эпиграммы В. С. Соловьев открывал издания своей лирики.

Отождествление человека со светилом (с его судьбой-«планидой») вполне традиционно, как и сравнение мерцания с игрой, что повышает степень корреляции строк. Но Заболоцкий сразу снижает ситуацию, задавая бытовую картинку, а затем доводит ее до гротеска: «Она напоминает лягушонка...». Однако, начав с «приземленных» мотивов, он — в ходе развития описания, осмысления и обобщения — возвращает свой текст на высоту почти такой же абстрактности и возвышенности, как у Анненского. В финале появляется лексический маркер возможной связи — мерцание: «в мерцании светил» — «огонь, мерцающий».

Это мерцание определено нагружено глубоким символическим смыслом. Так, Д. С. Мережковский для объяснения понятия символа привел пример из Ибсена: служанка вносит лампу, и содержание драматической сцены сразу меняется: свет пробился сквозь мрак. Далее, характеризуя символическое восприятие как умение видеть сквозь внешнюю оболочку, он приводит сравнение символа с алебастровой вазой, тонкие стенки которой просвечиваются внутренним огнем:

«Мысль изреченная есть ложь». В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя... [Мережковский: 458].

Заболоцкий хорошо разбирался в эстетике символизма. Сохранилась его юношеская статья о символизме («О сущности символизма», 1922). Правда, в ней он не касается Мережковского, а углубляется в еще более отдаленные источники (например, в творчество Эдгара По [Заболоцкий: 515–520]). Однако и без упоминания всех имен очевидно, что основные труды по символизму были Заболоцким основательно проработаны.

Образ символического искусства как алебастровой вазы, просвечивающей внутренним огнем, по-видимому, также возник не на пустом месте, а восходит к образности одной из наиболее символических повестей И. С. Тургенева «Призраки» (1864). Как показала в своей диссертации Л. Л. Пильд, русские символисты находились в достаточно активном творческом диалоге с И. С. Тургеневым [Пильд]. Трактат Мережковского дает этому самые яркие подтверждения: отрицая ангажированные социальные произведения писателя, Мережковский восторгается одухотворенными образами тургеневских героинь, его богатейшей палитрой оттенков чувственного восприятия («импрессионизмом» в терминах Мережковского) и стихотворениями в прозе, родственными его «таинственным повестям», одна из которых —

повесть «Призраки». Поразительный образ главной героини повести — призрака Эллис, переносящего главного героя в разные страны и века, — определенно впечатлил и Мережковского, и, вполне возможно, Николая Заболоцкого:

<...> женщина с маленьким нерусским лицом. Иссе́ра-беловатое, полупрозрачное, с едва означенными тенями, оно напоминало фигуры на алебастровой, изнутри освещенной вазе... [Тургенев: 107–108].

Насколько образ призрака Эллис был важен для эпохи символизма, косвенно свидетельствует, по-видимому, псевдоним поэта-младосимволиста и антропософа Л. Л. Кобылинского (1874–1947). Что бы ни сподвигло его взять этот псевдоним (существовала фамилия Эллис, но Кобылинский использует этот антропоним как имя — без инициалов), он не мог бы пройти мимо совпадения с именем призрака-вампира. Мотив вампиризма был Тургеневым ослаблен в итоговой версии повести, но в образе самого Эллиса (Кобылинского) оказался значим, о чем свидетельствует характер Чародея (Эллиса) в поэзии Марины Цветаевой (в ранней лирике и в поэме «Чародей», 1914). В выборе псевдонима определенно сказалась и тяга Кобылинского к запредельному, и способность призрака Эллис переносить своих спутников через страны и века: Эллис-Кобылинский увлекался воображаемыми путешествиями, почти гипнотизируя своих слушателей. Своеобразный отчет об этих импровизациях — «Первое путешествие» и «Второе путешествие» Цветаевой [Цветаева: 21–23].

Примечательно, что слово «призрак» уже само по себе подразумевает семантику, связанную со зрением и прозрачностью: в образе Эллис «просвечивает» мир иной, а с другой стороны, в момент воплощения ее тело прозрачно. Прозрачность — одна из центральных концепций эстетики символизма. В статье «Вишневый сад» (1904) Андрей Белый выявляет символичность Чехова, повторяя слова «сквозь», «сквозить», «сквозной», не упуская и образа человека как сосуда «мистического содержания» (связь с библейским «сосудом скудельным» пояснять не надо):

Действительность стала прозрачней вследствие нервной утонченности лучших из нас. <...> Ныне реалисты, изображая действительность, символичны: <...> все стало прозрачным, сквозным. <...> смотреть сквозь что-либо — значит быть символистом. <...> Метерлинк делает героев драм сосудами своего собственного мистического содержания. <...> Чехов, истончая реальность, неожиданно нападает на символы. <...> Чехов, оставаясь реалистом, раздвигает здесь складки жизни и то, что издали казалось теневыми складками, оказывается пролетом в Вечность [Белый: 837–839].

Полагаем, что Андрей Белый, не задумываясь, признал бы в Заболоцком «Некрасивой девочки» того самого «реалиста», который, помимо воли, стал «символистом», соединив в одном тексте и символически изображенную картину, и символистскую рефлексию над ней.

Примечательно, что Мережковский в своем трактате сближал Тургенева и Чехова по критерию утонченности восприятия («импрессионизма»), умению ухватить тот непередаваемый момент, о котором писал Андрей Белый, а еще ранее немецкие и русские романтики — то «невыразимое» В. А. Жуковского, что может быть слито с «блестящей красотой» [Жуковский: 236], но не является ею, а как бы просвечивает сквозь нее. В стихотворении Заболоцкого след этой идеи можно опознать в предпоследнем четверостишии — в словах о том, за что красоту «обожествляют люди». В случае с главной героиней «невыразимая» красота оказывается слита уже не с блестящей красотой, а с ее отсутствием, как у Надсона, словно опрокидывающего знаменитый тезис Достоевского о спасительной силе красоты [Достоевский: 317]⁶.

Младший современник Надсона Мережковский искал синтеза внешней и внутренней красоты, как искал он и синтеза язычества и христианства. Заболоцкий словно сделал шаг назад — к Надсону, но сохранил символистский образ просвечивающей красоты, по-разному воплощенный у Мережковского, Белого и Анненского. А за этим образом стоит и романтическая тема «невыразимого», наполненного смыслом молчания (*silentium*), и более отдаленный ряд «отрицательных мадригалов» (Шекспир, Боратынский, Лермонтов, Анненский и др.), и образ просвечивающей вазы — своеобразной лампы, к которому в разные эпохи прибегали Тургенев, Мережковский, Заболоцкий (и, вероятно, другие авторы, нами пока не выявленные), когда темой становилась красота особого — таинственного и одухотворенного типа.

Невозможно однозначно разграничить, какие из названных контекстов были автору достоверно известны (а главное — актуальны в момент написания текста), а какие лишь намечают культурные коды и общие места, на которые он мог опереться. Все же, как нам кажется, нам удалось очертить «область истинности» и «сферы возможных интерпретаций данного текста» (Ю. М. Лотман). Это относится и к типу композиции (развертывание характеристики красоты от противного), и к проблематике (тема прозрачности как символистская трактовка романтической темы невыразимого),

⁶ «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет "красота"? Господа, — закричал он громко всем, — князь утверждает, что мир спасет красота! А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен. Господа, князь влюблен; давеча, только что он вошел, я в этом убедился. Не краснейте, князь, мне вас жалко станет. Какая красота спасет мир?» [Достоевский: 317].

и к истокам конкретного образа «огня, мерцающего в сосуде» (прецеденты Тургенева и Мережковского).

Литература

Анненский: *Анненский И. Ф.* Стихотворения и трагедии. Л., 1990. (Библиотека поэта. Большая серия).

Белый: *Андрей Белый.* Чехов // А. П. Чехов: pro et contra. СПб., 2002. С. 831–842.

Достоевский: *Достоевский Ф. М.* Идиот // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 8. Л., 1983.

Жуковский: *Жуковский В. А.* Невыразимое (отрывок) // Жуковский В. А. Стихотворения. Л., 1956. С. 235–236. (Библиотека поэта. Большая серия).

Заболоцкий: *Заболоцкий Н. А.* Собрание сочинений: В 3 т. Т. 1. Столбцы и поэмы 1926–1933; Стихотворения 1932–1958; Стихотворения разных лет; Проза. М., 1983.

Лермонтов: *Лермонтов М.* Полное собрание стихотворений: В 2 т. Т. 1. Стихотворения и драмы. Л., 1989.

Лотман: *Лотман Ю. М.* Анализ поэтического текста: Структура стиха / Пособие для студентов. Л., 1972.

Лоцилов: *Лоцилов И. Е.* «Некрасивая девочка» Н. А. Заболоцкого: функция лексической цитаты // Русский язык в школе. 2008. № 3. С. 46–51.

Мережковский: *Мережковский Д.* Вечные спутники: Портреты из всемирной литературы. СПб., 2007. (Серия «Литературные памятники»).

Надсон: *Надсон С. Я.* Полное собрание стихотворений. СПб., 2000. (Серия «Новая библиотека поэта»).

ОБЭРИУ: ОБЭРИУ (Декларация) // Ванна Архимеда: Сборник. Л., 1991. С. 456–462.

Пильд: *Пильд Л.* Тургенев в восприятии русских символистов. Тарту, 1999.

Платон: *Платон.* Эпиграммы // Платон. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. М., 1994.

Саломатин: *Саломатин А. В.* Выражение поэтического кредо в стихах позднего Н. Заболоцкого // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. 2014. Т. 156. Кн. 2. С. 106–114.

Степанов: *Степанов Н.* Памяти Н. А. Заболоцкого // Тарусские страницы. Калуга, 1961. С. 307–309.

Тургенев: *Тургенев И. С.* Призраки // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 7. М., 1981. С. 191–219.

Цветаева: *Цветаева М.* Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1: Стихотворения. М., 1994.

Шекспир: *Шекспир У.* Сонеты. М., 2016. (Серия «Литературные памятники»).

Эко: История Красоты / Под ред. Умберто Эко. М., 2010.

ЛИНГВИСТИКА И ЕЕ ИСТОРИЯ, ОТРАЖЕННЫЕ В ПОЭЗИИ: СБОРНИК СЕРГЕЯ БИРЮКОВА «УНИВЕРСУМ»

ЕКАТЕРИНА ВЕЛЬМЕЗОВА

В статье предлагается анализ книги «Универсум» известного современного поэта Сергея Бирюкова с точки зрения изучения того, как история лингвистики отражается в литературе, а также с учетом возможности использовать соответствующий материал в университетской практике преподавания языкознания. Содержание анализируемой книги отражает интеллектуальный путь ее автора, получившего филологическое образование и известного сегодня своими исследованиями поэтического языка. Внимание в статье обращается на интерес С. Бирюкова к проблеме многоязычия, проблеме создания и разрушения языка, взаимосвязи лингвистики и семиотики, говорится о его внимании к важным направлениям истории языкознания, а также ставится вопрос об имплицитной концепции языка самого автора книги «Универсум».

Ключевые слова: Сергей Бирюков, история лингвистики в истории литературы, преподавание лингвистики в университете, многоязычие, поэтический язык, семиотика, знак.

Ekaterina Velmezova. Linguistics and its history as reflected in poetry: Sergey Biryukov's "Universum"

The article offers an analysis of "Universum" by the famous modern poet Sergei Biryukov from the viewpoint of the history of linguistics, particularly in relation to how the latter is reflected in literature. The article takes into account the possibility of using the corresponding material in university practice to teach linguistics. The content of the book under analysis reflects the intellectual evolution of its author who received a philological education and is known today for his studies of poetic language. The article draws attention to S. Biryukov's interest in the problem of multilingualism, the problem of the creation and destruction of language, the relationship between linguistics and semiotics; it looks at his attentiveness to important trends in the history of linguistics and raises the question of the implicit concept of language that the author of "Universum" raises himself.

Keywords: Sergey Biryukov, history of linguistics in the history of literature, teaching linguistics at the university, multilingualism, poetic language, semiotics, sign.

тебе вдруг открывается
язык неведомого племени
ты начинаешь понимать
беглый говор:
универсум-универсум-универсум
[Бирюков: 361]

Тема истории лингвистики, отраженной в литературе, уже исследовалась на примере анализа художественной прозы не только в чисто теоретическом, но и в прагматическом аспекте, связанном с практикой университетского преподавания [Вельмезова 2014] — однако и поэзия порой предоставляет здесь ученым замечательный материал. Кроме того, современные исследователи уже неоднократно писали о «лингвистической» и о «лингвоцентричной поэзии» как отсылающих к особым видам поэтических текстов, а также о прикладном — дидактическом — возможном их применении [Буре 2020; Фещенко 2022] и др. «Лингвистическая поэтика» (см., напр., [Зубова 2010]) также привлекала внимание исследователей, изучавших, в частности, то, как в текстах с доминирующей, по Р. Якобсону, поэтической функцией языка с помощью художественных приемов исследуется сам язык как таковой. В какой-то степени продолжая прежние исследования — имея в виду в данном случае прежде всего лингвистику в ее диахроническом аспекте, — мы обратимся к изданному в 2022 г. большому (содержащему около трехсот текстов, разделенных в книге на несколько частей) сборнику известного поэта, педагога, исследователя авангарда, основателя и президента Академии Зауми Сергея Бирюкова.

Сам год выхода сборника неслучаен: книга издана «В память Велимира Хлебникова (1885–1922)» — следовательно, в память о столетии его смерти. В сборник включены тексты, написанные в течение как минимум сорока последних лет (впрочем, датированы в книге не все тексты; самые ранние из датированных были написаны в 1983 г., а наиболее поздний — в начале декабря 2021 г.). Название «Универсум» замечательно отражает ее содержание — можно говорить о своего рода универсальной энциклопедии богатейшего интеллектуального (и не только!) багажа его создателя, известного сегодня как своими поэтическими работами, так и целым рядом теоретических трудов (внушительные списки которых приведены в самом начале книги). Обычно в энциклопедии каждый ищет и находит для себя то, что ему интересно в первую очередь. Литературоведы и литературные критики творчество Сергея Бирюкова уже исследовали; можно отметить хотя бы тот факт, что послесловие к книге было написано известным московским филологом

Наташей Фатеевой. В ее тексте точно подмечено, что и лексикон поэта содержит довольно много лингвистических терминов («Словарь Бирюкова исключительно разнообразен, но прежде всего он включает множество филологических терминов, как лингвистических, так и стиховедческих (*фонетика, фонология, артикуляция, архифонема, рифма смежная, опоясывающая* и др.) <...>» [Бирюков: 396]), и имена лингвистов в этой книге тоже упоминаются («<...> мы находим имена лингвистов, чьи теоретические труды повлияли на становление языковой творческой манеры поэта (В. Гумбольдт, Ф. де Соссюр, Н. Трубецкой, Ф. Бопп, Р. Якобсон, В.П. Григорьев)» [Там же: 394]). Все это — явления для современной поэзии не столь уж частые, и здесь, несомненно, дает о себе знать интеллектуальный путь автора, получившего филологическое образование и известного своими исследованиями поэтического языка.

Внимание лингвиста и историка языкознания книга Сергея Бирюкова, несомненно, привлечет (впрочем — привлечет она внимание и философа, и историка философии, и историка литературы, и т. д.). И в данном случае речь не идет лишь о поэтических приемах, заслуживающих лингвистического комментария — как, например, особенности пунктуации книги или игра с многозначностью слов. Имеется в виду теоретическая лингвистика, непосредственно присутствующая в книге, а не привлекаемая потенциальным исследователем для анализа. Думается поэтому, что университетские преподаватели языкознания и его истории могли бы использовать книгу Сергея Бирюкова на своих занятиях, предлагая студентам-лингвистам прокомментировать тот или иной текст или его фрагменты и тем самым напоминая своим ученикам о весьма условном характере границы, отделяющей языкознание от литературоведения. В этой связи отметим лишь некоторые аспекты последней поэтической книги Сергея Бирюкова, отсылающие к науке о языке и языках; полноценный же и детальный ее комментарий сделать еще только предстоит.

Прежде всего, обращает на себя внимание многоязычность сборника¹. Эта книга многоязычна уже и в традиционном понимании этого слова: помимо содержащихся в ней нескольких текстов, написанных по-немецки (раздел

¹ Особая тема — упоминаемые в текстах Сергея Бирюкова названия языков:

<...>
Из комнаты выходила
Наташа
и уходила в комнату
изучать японский
<...> [Бирюков: 278];

«Из стихов на немецком языке» — в связи с интересом к лингвистике упомянем особо текст об «отмене» артиклей [Бирюков: 295–296]: в самом деле, кто из университетских студентов, изучая немецкий и выучивая многочисленные формы артиклей, не желал хотя бы однажды, чтобы их отменили?), внимание привлекают и отдельные иноязычные вкрапления в тексты, изначально созданные по-русски — это и тот же немецкий, и латынь, и итальянский, и английский, и еще многие другие языки. Более того, порой поэт замечательно играет на гранях языков, в отдельных случаях словно напоминая об эпохе глобализации, во время которой во многом и создавалась эта книга. Так, в тексте «Стихи на “инг”» (предваряемом посвящением «Виктору Петровичу Григорьеву, вдохновенинг докладом оногo “Славное будущее «инговых» форм в русском поэтическом языке”»)² от нейтрального «маркетинг» первой строки текст постепенно перетекает в «приколинг», «перепутинг», «скептинг» ... заканчиваясь «любовингом»

<...>

Маринетти! вспомните
как будет по-итальянски
смерть

<...> [Бирюков: 72]

— и т. д. И тут же — уже по прочтении книги — вспоминается следующий текст, отсылающий к идее языковой «чужести»:

Чужое лицо
может показаться страшным,
чужой почерк —
неразборчивым,
чужое слово —
диким.

<...>

Я узнаю лицо
чужое,
почерк понимаю
и слово
ласкает слух [Там же: 368].

² Такой доклад действительно был сделан на состоявшейся в мае 2005 г. в московском Институте русского языка международной научной конференции «Художественный текст как динамическая система». Конференция была посвящена восьмидесятилетию В. П. Григорьева, и участие в ней принимал и сам Сергей Бирюков — причем как с научным докладом, так и с «поэтико-музыкальной композицией на темы В. Хлебникова “Звуковые соответствия”» (http://www.gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_376). По материалам конференции был издан сборник, в котором и В. П. Григорьев, и Сергей Бирюков также приняли участие [Фатеева (отв. ред.) 2006]. Текст «Стихи на “инг”» — не единственное место в сборнике, где упоминается В. П. Григорьев (см. также [Бирюков: 199 и 176], где в послесловии к поэтическому тексту его имя стоит в одном ряду с именами художников, поэтов и литературоведов — в том числе и исследователей наследия В. Хлебникова).

и «ливнингом» [Бирюков: 138]: как известно, заимствование в морфологии (в отличие от лексических заимствований) — это явление гораздо более редкое, и (с точки зрения языковой экологии) в каком-то смысле и не безопасное для заимствующего языка, собственная морфология которого даже может в какой-то момент перестать играть определяющую роль при воспроизведении ожидаемых словесных форм [Velmezova 2018]. В стихах поэта язык тоже может разрушаться — но в этом случае речь идет о разрушении позитивном: это разрушение языка привычного и создание языка нового (разделим здесь, разумеется, соссюрские *langue* и *langage*³). Например:

<...>

сотворяющих тут же язык языка то есть в кубе язык надязык и язык и язык и ядык и ямык и янык и ябык и яык и ярык и ясык и язык и еще пятитысячеслишним слоев поверх языка [Бирюков: 136].

Игра с разными языками-*langues* также приводит к созданию особого поэтического языка Сергея Бирюкова — опять же, отсылающего к его профессионально-филологической осведомленности либо же к богатейшему багажу начитанного интеллектуала. Так, например, в «Големе в Праге» упоминается «площадь *Кафки* / над которой носятся / *галки* или вороны» ([Там же: 134]; выделено мной. — Е. В.: «галка» по-чешски — *kavka*).

Нельзя не отметить и замечательной осведомленности поэта в истории лингвистических идей — с именами известных лингвистов прошлого он, несомненно, играет, однако игра эта отнюдь не случайна, не арбитрна. Думается, что речь идет даже не столько о «лингвистах, чьи теоретические труды повлияли на становление языковой творческой манеры поэта», как пронизательно предположила Н. А. Фатеева, сколько об именах языковедов, оказавших важное влияние на развитие лингвистики как таковой — о чем ученый поэт оказывается прекрасно осведомленным. Обратим в этой связи внимание на текст, озаглавленный «Общее языкознание»:

Франц Бопп глядит в окно,
он видит в нем Соссюра.
Соссюр идет в кино,
где Гумбольдт ждет давно.
Петух-широкохвост,
как будто на смех курам,

³ Последний — в сборнике, к примеру, — это и «высокое косноязычье / деревьев / трав / цветов» [Бирюков: 352], и даже звучащий, в той же «Тропой Зангези», «язык богов», который можно записать, нажав «на кнопку диктофона» [Там же: 353]. Как и «первое открытие» кукушки, кукующей «как будто с некоторым / акцентом» [Там же: 354].

над фонологией клюет
жемчужное зерно.
Князь Трубецкой, зачем
ваш вывод так поспешен? —
Спирантов век
еще совсем не предрешен.
Но звук еще живой
за горлышко подвешен
и в Данию бредет
из Праги Якобсон.
Франц Бопп глядит в окно,
чтоб видеть Якобсона,
но слишком едок дым
и кончилось кино [Бирюков: 22].

Здесь упоминаются имена известнейших лингвистов прошлого, стоявших у истоков особых направлений языкознания, которые задавали тон целых эпох. В 1816 г. книга Франца Боппа «О системе спряжения санскритского языка в сравнении с таковым греческого, латинского, персидского и германского языков» дала «официальное» начало сравнительно-историческому языкознанию. О последнем речь специально заходит далее в тексте «Компаративизм»:

я не знаю ни одного языка
я знаю все языки
я нигде не был
я всюду был
я никогда
я всегда [Там же: 390].

В какой-то степени этот текст действительно можно считать одной из квинт-эссенций сравнительно-исторического языкознания: лингвисты-компаративисты, рассуждая об изучаемых ими языках, порой действительно могут толком не «знать» (в традиционном, не-лингвистическом понимании этого слова) ни одного из них (в том смысле, что не могут на них общаться); им не нужно куда-то ехать, чтобы найти материал для изучения — но они как будто бы там побывали, анализируя соответствующие языки. А «никогда» и «всегда» напоминают о вечных дискуссиях вокруг языковых реконструкций: восстанавливаются ли реальные формы, существовавшие когда-то (и благодаря реконструкции получающие своего рода вечное существование — «всегда»), или же речь идет о формах гипотетических, никогда («никогда») не существовавших на самом деле, реконструируется ли сам язык —

или же гипотетическая система соответствий между языками в рамках языковых групп или семей.

Если же вернуться к Францу Боппу и его упомянутой выше книге 1816 г., то ровно через столетие после ее издания вышел опубликованный под именем Фердинанда де Соссюра «Курс общей лингвистики», давший начало структурализму — в том числе и своим порой осознанным невниманием к ряду аспектов содержательной стороны языка, во многом противоположным гумбольдтианскому учению о связи языка и мышления, которое зародилось в первой трети XIX в. и обрело новую жизнь в современной когнитивистике (или же, если говорить об истории идей, — косвенным образом — например, в течении имяславия, также упомянутого в книге [Бирюков: 199]). Триумфом же структурализма в языкознании стала фонология, основателем (или по крайней мере одним из основателей) которой часто считают Николая Трубецкого, автора «Основ фонологии». Другом же Трубецкого (действительно, еще по Праге — вот и тема Пражского лингвистического кружка) был Роман Jakobson, вхожий во многие сообщества (в том числе и в сообщества поэтические — когда-то он прятельствовал и с Владимиром Маяковским, и с Хлебниковым, которым восхищался и о котором писал), сумевший пересечь многочисленные географические границы и поработать в рамках сразу нескольких направлений языкознания — это и та же фонология, и анализ текста (о его «формалистских» годах напоминает читателю в связи с ОПОЯЗом и сам Сергей Бирюков [Там же: 127])⁴, и исследования афазий, и еще многое и многое другое (“Linguista sum; linguistici

⁴ Об ОПОЯЗе в книге можно упомянуть отдельно (см., например, текст «Остранение и остранение» [Бирюков: 127], где автор приводит небольшой комментарий об этом сообществе) — как и об именах некоторых других его представителей, прежде всего — Виктора Шкловского (которого автор книги — как выясняется из того же упомянутого выше комментария — лично знал):

Виктор Борисович
Шкловский
мне говорил,
что возможно
не ошибся ОПОЯз,
возводя прием
в степень,
<...> [Там же].

Или еще:

<...>
итак революция.doc:
всё обставлено подлинными вещами,
подлинными жизнями и смертями,
актеры подчеркивают подлинность,

nihil a me alienum puto”). В этой книге имя Якобсона встретится еще неоднократно: в «Самопроизвольных стихах» [Бирюков: 20] его имя рифмуется со «СНОМ» — «якобы» «якобсоннн», появится оно и среди имен, рассыпанных в «Коде Велимира» [Там же: 199]. Тем самым в «Общем языкознании» случайных имен действительно не оказывается.

Целая россыпь имен лингвистов появляется (среди прочих значимых имен) в том же «Коде Велимира» [Там же: 199–200]. «Якобсон», «Успенский», «Степанов» др. — и вот какое экзаменационное задание для студентов можно было бы тут же предложить: найти в этих рядах имена лингвистов и о них рассказать (вероятно, кто-то сочтет «лингвистом» упомянутого здесь Шкловского, речь о котором уже шла выше, — как и Ломоносова, упоминаемого прежде всего в ряду создателей поэтических текстов [Там же: 283 и 392]). А наиболее сильные студенты могли бы попробовать сделать то же, читая и следующий отрывок того же текста [Там же: 198]:

<...>

Тигр. Я сегодня глубокомысл

Я откры кни

Я когтем водил по стро

Я хочу спросить о том,

Что значат такие имена:

Гри, Фат, Степ, Фещ

Бир, Лощ, Аренз

Или напр Дуг

<...>

Это — текст с ключом: [В. П.] Гри[горьев], [Н. А.] Фат[еева], [Ю. С.] Степ[анов], [В. В.] Фещ[енко], [С. Е.] Бир[юков], [И. Е.] Лощ[иллов], [Е. Р.] Аренз[он], [Р. В.] Дуг[анов].

Отсылки к ряду отдельных упомянутых выше направлений языкознания появляются и в других текстах Сергея Бирюкова. Если, к примеру, говорить о фонологии, то один из поэтических текстов называется так же, как упомянутая выше книга Трубецкого — «Основы фонологии» [Там же: 33], и такой выбор названия очевидно является преднамеренным:

например В. Шкловский ведет броневик,

на который должен взойти большевик

Ленин В. И.

<...> [Бирюков: 260].

(Действительно, как здесь не подумать о том, что революция социалистическая могла начаться в России с революции филологической — с тех замечательных открытий, которые были сделаны филологами в начале прошлого века.)

<...>
 фонетика
 фонология — иное
 выбор между архифонемой и
 ее коррелятом
 боже это не релевантно!
 <...>

Вся эта лексика, разумеется, знакома студентам-лингвистам. К этому можно добавить еще и отсылки к «нулевой фонеме» [Бирюков: 28], как и «поэтическое» (в данном случае) упражнение на выделение того, что называется «минимальной парой» и позволяет говорить о тех или иных фонемах изучаемого языка:

<...>
 1. Я только вижу, что тень удаляется
 2. Удаляется тень и день вслед за ней
 интересно, что по-русски тень и день различаются
 только одной согласной в начале слова «д» и «т»
 <...> [Там же: 224].

Если же говорить не о фонологии, а о фонетике (ср., правда, «фонемный гул» в «Тропой Зангези» [Там же: 352]; выделено мной. — Е. В.), то и здесь найдется место комментарию: даже на университетском занятии небесполезно будет вспомнить о делении звуков на определенные группы, к примеру, согласных — на звонкие и глухие:

<...>
 другие согласные стал слышать я
 в собственной речи
 глухо звучат в небной дуге
 «К» и «Х»
 <...> [Там же: 99].

А еще — и о выделении назальных [Там же: 151], сонорных, плавных и т. д.:

согласие сонорных
 сон и сом и сор
 и соль
 возможно
 перетекание плавных
 осторожно
 в ткань лабиальных
 уль [Там же: 104].

Или еще — в тексте об «Удвоенье», где речь заходит об именах известных поэтов (что в еще более эксплицитной форме напоминает о теме лингвистики в истории литературы):

кто-то это придумал наверно
 Белла Юнна Новелла
 удвоенье согласных
 удвояючи гласных
 в лоне третьего Рима
 а четвертая Римма
 потому другие не вписались,
 что не удвоались
 соглаааасные в их именах
 <...> [Бирюков: 255].

А одна из рекомендаций в «Стихах для зевающих» [Там же: 158] и во-все приводится в соответствии с «Общей фонетикой» С. В. Кодзасова и О. Ф. Кривновой:

<...>
 далее произносить
 по «Общей фонетике»
 С. В. Кодзасова и О. Ф. Кривновой
*поезд в степи /зdvст/>здфст>зтфст> [стфст]
 хвост сгнил /стсг/>стзг>сдзг>[здзг]
 (стр. 497)
 <...>*

В «Общей фонетике» этот фрагмент действительно присутствует, и именно на указанной 497-ой странице, речь идет об оглушении и озвончении цепочек согласных (напомним, в заглавии соответствующего текста Сергея Бирюкова говорится о «стихах для зевающего»: в этом случае можно подумать прежде всего о гласных — однако не только).

В связи с фонетикой обращает на себя внимание и упоминание о «старомосковском произношении»:

<...>
 Я — Древо называюсь
 и тут же каюсь
 я спасаюсь
 спасус
 в этом слове слышится
 Исус

благодаря старомосковскому
произношению⁵
<...> [Бирюков: 213].

Даже «опредмеченное» в своей «социальности» время может восприниматься как одно из времен глагольных («будущее прошедшее» — ср. с более знакомыми лингвисту временами «предпрошедшим», «предбудущим», «будущим в прошедшем» и т. д.), и тем самым морфология также кажется обретающей телесное измерение:

не скажете ли как пройти
на улицу глобализма = тоталитаризма
не скажете ли как проехать в трамвае
зайцем за 40 евро
в светлое будущее прошедшее [Там же: 132].

Из других отсылок к лингвистике, которыми так богата книга, — напоминание о разнице между *langue* и *discours* ([Там же: 9]; см. также упоминание об «ошибке дискурса» [Там же: 222] — здесь можно вспомнить об Эмиле Бенвенисте и его понимании дискурса, отсылающем к функционированию языка в живом общении), между *langue* и *parole* ([Там же: 30] — опять же, имплицитной отсылкой к уже упоминавшемуся «Курсу общей лингвистики») и т. д.

Именно в «Курсе общей лингвистики» едва ли не в первый раз речь эксплицитно зашла о лингвистике как о части семиологии, науки о знаках, которую сегодня принято называть семиотикой. Отсылки к таковой в книге также присутствуют — к примеру, и в названии одного из текстов — «Семиотическое» [Там же: 256]; и на уровне терминологии («сигнификат», «денотат» [Там же: 114], «обозначающее» [Там же: 198], и даже «знак знака» [Там же: 267] — слово *знак* в книге вообще довольно частое), и в упоминании [Там же: 221] «Иванова Комы» и (имплицитно) его семиотической по своему характеру книги *Чет и нечет* [Иванов 1978] — впрочем, в созвездии имен, в ряду которых упоминается Вяч. Вс. Иванов, приведены не только имена семиотиков:

<...>
Пожалуйста, еще Иванов Кома,
Аверинцев, нет, кажется, не он,
Гаспаров, я забыл — Б. М. или М. Л.,
а, м. б., Смирнов И. П.
<...>

⁵ Имеется в виду, очевидно, твердое произношение возвратного *-сь* в глаголе, что действительно соответствует «старомосковской норме». — Е. В.

Отсылки к семиотике присутствуют и в посвященном одному из известнейших польских русистов, литературоведу и семиотику Ежи Фарыно тексте «В сторону знака» [Бирюков: 93]:

узнать как пятятся корни
деревьев
в сторону знака
<...>

«<...> из Ежи Фарыно» называется и один из «видов и разновидностей поэзии» (всего их выделяется девяносто девять): «Поэзия возвращения, обращения к речегенным инстанциям» [Там же: 108] (ср. многократные отсылки к «возвращению» в известной книге Е. Фарыно «Введение в литературоведение»⁶, а также упоминание в той же книге о «речегенной (текстогенной) инстанции» [Там же: 416]). На той же странице сборника «Универсум» находим и «Поэзию носовых в старославянском и польском» (опять же, *владеющему ключом достаточно*: из всех славянских языков лишь в польском сохранились носовые гласные), и «Поэзию кинем и акусм и кинакем» — вспомним несохранившиеся термины, введенные И. А. Бодуэном де Куртенэ, имя которого также закономерно появляется в книге:

параллельные линии букв
преображаются в звук
согласно теории Бодуэна де Куртенэ [Там же: 323].

Бодуэн де Куртенэ действительно интересовался и графикой, и фонетикой (в этой связи — уже без упоминания имени Бодуэна — отметим и смежность, и противопоставление *буквы* и *звука* у Сергея Бирюкова: «ищут букву / и звук» [Там же: 251]).

Однако помимо прекрасной осведомленности Сергея Бирюкова в области лингвистики и ее истории (как, впрочем, и в области истории других гуманитарных дисциплин), при чтении книги возникает вопрос и о концепции языка самого автора сборника: каким видится поэту язык? Опять же, в рамках небольшого очерка исчерпывающий ответ на этот вопрос дать едва ли

⁶ В свете отсылки Сергея Бирюкова к семиотике в связи с именем Е. Фарыно см. и мнение о том, что книга последнего «Введение в литературоведение» «вводит в круг проблем современного литературоведения на мощнейшем фундаменте семиотики, теории коммуникации, общей филологии» [Шмелева 2011: 255], а ее автор «ставит в центр внимания <...> семиотизацию обыденного (практического) языка в художественном тексте» [Там же: 266]. Кроме того, Е. Фарыно известен и как переводчик текстов тартуских семиотиков (прежде всего — Ю. М. Лотмана); с тартуской школой он поддерживает дружеско-научные отношения уже давно.

возможно. К тому же было бы интересно начать поиски ответов на этот вопрос с рассуждений о концепции языка, присущей тому, кому и посвящена эта книга, — Велимиру Хлебникову. А об этом уже было написано так много (в том числе и самим Сергеем Бирюковым), что один — даже весьма поверхностный — обзор этих работ вышел бы далеко за рамки этой небольшой статьи. И тем не менее, выделим то, что сразу бросается в глаза: язык для Сергея Бирюкова — сущность прежде всего материальная, телесная — как и для Хлебникова, слова «касавшегося»: о его «глубоких касаниях в области языка» пишет и сам Сергей Бирюков [Бирюков: 169]. Недаром в «лингвосерии» (подзаголовок одного из текстов [Там же: 28]) речь заходит о «теле языка»; речь же материальна настолько, что можно говорить и о «Гимнастике речи» [Там же: 17].

не выдернешь колючку
 языка из языка
 не выпадешь из речи
 без увечья
 без просто та... [Там же: 101].

Само слово как основополагающая единица языка для Сергея Бирюкова материально *par excellence*: слово прежде всего звучит, и слово всемерно, потеря голоса становится равносильной исчезновению логоса:

<...>
 умирание голоса —
 логоса
 <...> [Там же: 372].

Обращают на себя внимание и авторские декларации в открывающем сборник «Слове о слове»: «Слово говорит. Слово представляет. Слово звучит. Слово утверждает. Слово отрицает. Таким образом есть слово и Слово. <...> Звуковая оболочка слова материальна, поэтому слова, произнесенные определенным образом, имеют заклинательную силу. Слово ведет за собой слово — и образуется Текст» [Там же: 7]. Эта материальность проявляется и в том, что слова, подобно соли (ср. «филологическая соль» [Там же: 70]), «выпариваются» «из влаги» [Там же]; их можно пить [Там же: 388], есть и откусывать [Там же: 198]; и в том, что кто-то может пастись «на пастбище слов» [Там же: 96], и в возможности прививать слова (к лучу, к дереву — одной из любимейших лингвистических метафор) или закреплять их проволокой на балконе (чтобы не разлетелись, подобно сохнувшему белью?):

Внимание! Проводятся испытания
 надежности фиксации
 прививки слова к темноте
 к утреннему лучу
 к дереву возле дороги
 так зацепит что мороз
 по коже
 обдерет и не встанешь
 не оторвет ли ветром
 не вырвет ли с корнем
 не обнаружит ли
 полной несостоятельности
 a rгiогi a rгopos
 до и после
 между
 в промежутке
 в синонимическом ряду
 между прочим (!)
 когда ты закрепляешь слово
 на балконе проволокой
 и всё продумано до мелочей
 ты думаешь о том
 что оно оторвется и улетит
 туда где злые колючие
 острорежущие
 легковоспламеняющиеся
 что с ним будет
 что с ним будет
 о что с ним будет [Бирюков: 151]

(ср. написанное Сергеем Бирюковым о творчестве Хлебникова: «Рождалось необыкновенное “словесо” — колесо слово, словоптица» [Там же: 169]).

Материальными — «плотными» — оказываются даже знаки препинания («<...> и многоточия / долго не гасли...» [Там же: 300]) и даже буквы [Там же: 68], если обратиться к истории языка (в самом деле, если вспомнить об истории создания алфавитов, то когда-то знаки букв были гораздо более иконически «опредмечены», чем сегодня):

Охватить пространство одной рукой,
 понять, что происходит с тобой,
 то есть со мной,
 выйти из города напрямик,
 осознать предел, т. е. тупик,

внезапно стенку рукой разъять,
 увидеть букву древнюю ЯТЬ,
 предшествование — ЕРЬ, ЕРЫ, ЕР,
 понять значение буквы ХЕР,
 там будет плотность, как пустота,
 ноль с пресечением, или ФИТА,
 войти в пространство и время АЗ
 на расстоянья движенья глаз

— или же если обратиться к современности, как в «Принципе алфавита»,
 отсылающем к имени известного поэта-палиндромиста [Бирюков: 121]:

образ букв
 из ветра и солнца
 создается
 можно ветер
 представить как букву **А**
 и крутить на пальце
 как солнце
 и тогда возникнет
В — словно два оконца
 и снова перетечет
 в **А**
 и в **Л** разомкнется
 и обнаружится **И**
А вернется
 и разорвется угол
 и станет **Н**
 чтобы в финале **И**
 Авалиани

Более того, буквы способны даже воевать друг с другом — или же выбирать
 собственный (жизненный?) путь [Там же: 172]:

<...>
 где буквы **Х** и **М**
 сходились в битве
 и **Б** искало путь не зла ...
 <...>

Подобно знакам препинания, буква светится — в конечном итоге она ока-
 зывается не просто материальной, но живой:

<...>
 но буквица засветится бывая
 она жи-вая
 пыль [Бирюков: 376].

Эта материальность языка, его звуков и букв («звубукв») — основа творчества поэта:

<...>
 я попадал в разрывы слов
 и фонетической слюной
 я склеивал разрыв миров
 звубуквицей сквозной
 <...> [Там же: 262].

Причем о материальности можно говорить не только в связи с буквами кириллицы, но и по отношению к неродным для поэта буквам греческим, как мы видим это в «Альфе и омеге» — тексту, по которому этот алфавит можно и заучивать⁷:

Все-таки бывает улыбка
Альфа
 Но так зыбко-зыбко
Бета
 Что другими совсем письменами
 Пропиталась бумага
 И нет ответа
 Ни криво ни прямо
Гамма
 Твой треугольник волнист
Дельта
 Приблизительно лета лист
Эпсилон, дзета
 И дрожаньем напомнит листву
Эта
 Как зовунью в ночи назову
Тхета
 И ступени парят в тишине
Йота

⁷ В другом тексте упоминаются «альфа и омега существования» [Бирюков: 320] — а через несколько строк речь заходит уже о «клинописи шумеров» [Там же: 321]. Ср.: «Я есмь **Альфа** и **Омега**, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр. 1: 8).

И крестом умирает в огне
Каппа
 Лишь луна
 Как настольная лампа
 В эту ночь остается со мной
Лямбда
 Но другую совсем песнь
 Затянуть надо
 Все-таки улыбка бывает
Мю!
 Когда взгляд тебя задевает
Ню
 Когда выйдет из-под контроля
Кси
Омикрон твоего поля
Пи
 Эта линия номер 15
Ро
Сигма тянется в *n*-пространство
Тау, ипсилон
 Улетаю
 Наступает окончание алфавита
Фи
 Кажется что ваза разбита
Хи
 Но на самом деле лепет и нега
 Где минуя *пси*
 Возлежит *омега* [Бирюков: 75–76].

В другом тексте [Там же: 84] *омега* «вплывает» «в колючий сумрак» «сквозь мелкий морок дождя и снега» — для того, чтобы «вспыхнул» «глагол начальный»: Слово.

«Ты — Некто — состоящий из любви слов», — пишет Сергей Бирюков [Там же: 29]. Слово (слово материальное) поэт, несомненно, любит:

<...>
 слова имеют свойство исчезать
 произнесенные они от нас
 уходят
 а я люблю слова
 и каждое мне жаль
 и боязно как будто за ребенка

когда его пускаешь в мир
а он в слезах приходит
а тех кто понимает и
не гонит —
тех единицы
все наперечет
<...> [Бирюков: 390].

Любовь эта оказывается взаимной настолько, что и сам себя поэт определяет через Слово, Словом оказывается он сам: «имя — это им — я» [Там же: 66].

Но если в том, что касается отражения в поэтическом сборнике Сергея Бирюкова истории языкознания, его профессионализм лингвиста-теоретика, несомненно, оказывается определяющим, вопрос о непосредственной связи имплицитной концепции языка, присущей поэту Сергею Бирюкову, с его академическими занятиями языкознанием пока остается открытым.

Литература

Бирюков: *Бирюков С.* Универсум. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2022.

Бодуэн де Куртенэ 1917 [1963]: *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Введение в языковедение // Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды: В 2 т. М.: Издательство Академии наук СССР, 1963. Т. 2. С. 246–293.

Буре 2020: *Буре Н. А.* Лингвистическая поэзия в курсе «Русский язык и культура речи» // Актуальные проблемы преподавания филологических дисциплин. Материалы докладов и сообщений XXV международной научно-методической конференции. СПб.: ФГБОУВО «СПбГТД», 2020. С. 99–104.

Вельмезова 2014: *Вельмезова Е. В.* История лингвистики в истории литературы. М.: Индрик, 2014.

Зубова 2019: *Зубова Л. В.* Языки современной поэзии. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Иванов 1978: *Иванов Вяч. Вс.* Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М.: Наука, 1978.

Кодзасов, Кривнова 2001: *Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф.* Общая фонетика. М.: Российский гос. гуманитарный университет, 2001.

Трубецкой 1939 [1960]: *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М.: Издательство иностранной литературы, 1960.

Фарино 2004: *Фарино Е.* Введение в литературоведение. СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2004.

Фатеева (отв. ред.) 2006: Художественный текст как динамическая система. Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию В. П. Григорьева. 19–22 мая 2005 г. / Отв. ред. Фатеева Н. А. М.: Азбуковник, 2006.

Фатеева 2022: *Фатеева Н.* Поэтическая амплитуда Сергея Бирюкова // Бирюков С. Универсум. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2022. С. 393–396.

Фещенко 2022: *Фещенко В. В.* Лингвоцентричная поэзия в США и в России: траектории взаимодействия // Литература двух Америк. 2022. № 12.

Шмелева 2011: *Шмелева Т. В.* Словесность Ежи Фарино // Слово.ру: балтийский акцент. 2011. № 3–4. С. 251–258.

Якобсон 1977 [2000]: *Якобсон Р. О.* Из воспоминаний // Мир Велимира Хлебникова / Сост. Иванов В. В., Паперный З. С., Парнис А. Е. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 83–89.

Benveniste 1966–1974: *Benveniste, É.* Problèmes de linguistique générale. Vol. 1–2. Paris: Gallimard, 1966–1974.

Вопп 1816: *Вопп, F.* Über das Konjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache. Frankfurt am Main: Andreae, 1816.

Saussure 1916: *Saussure, F. de.* Cours de linguistique générale. Paris; Lausanne: Payot, 1916.

Velmezova 2018: *Velmezova, E.* Keeled versus ökosüsteemid: bioloogiliste analoogiate kasutamise ohustatud keelte probleemid // Schola Biotheoretica XLIV. Ökosüsteemid / Toim. Laanisto L., Hiiesalu I., Öpik M., Vanatoa A., Tammaru T., Tinn O., Kull K. Eesti Looduseuurijate Selts, 2018. Lk. 185–194.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ З. С. ПАПЕРНОГО С Ю. М. ЛОТМАНОМ И З. Г. МИНЦ

Вступительная заметка, подготовка текста и комментарии
ВАЛЕРИЯ ОТЯКОВСКОГО

Впервые публикуются письма Зиновия Паперного к тартуским ученым и одно обратное письмо З. Г. Минц. Небольшая переписка иллюстрирует двадцатилетнюю дружбу ученых и освещает новые детали тартуско-московского научного быта. В Приложении публикуется пародия Паперного, написанная по мотивам третьей Блоковской конференции.

Ключевые слова: З. С. Паперный, З. Г. Минц, Ю. М. Лотман, пародия, А. А. Блок, Блоковская конференция.

From Zinovy Paperny's correspondence with Yuri Lotman and Zara Minz.

Published by Valerii Otiakovskii

The publication includes 17 letters from Zinovy Paperny to the scholars from Tartu and one response letter from Zara Minz. The short correspondence illustrates the twenty-year long friendship of the scholars and shows new details of the academic life in Tartu and Moscow. The Appendix contains Paperny's parody on the third Blok conference (1975).

Keywords: Zinovy Paperny, Zara Minz, Yuri Lotman, parody, Alexander Blok, Blok conference.

Советский литературовед и автор известных пародий Зиновий Самойлович Паперный (1919–1996) не входил в Тартускую школу семиотики, но при этом дружил и сотрудничал с Ю. М. Лотманом и З. Г. Минц. Несколько лет назад автор этих строк обнаружил в одном из букинистических магазинов книгу Минц о Блоке с теплым инскриптом Паперному, в книгу было вложено и письмо к ученому. Желая его опубликовать, я обратился в отдел рукописей научной библиотеки Тартуского университета, где обнаружил 17 писем и телеграмм Паперного к Лотманам [Паперный 1969–1988].

В этих небольших, но харизматичных посланиях запечатлен эстонский и московский научный быт, а также очерчены границы общения ученых на протяжении двадцати лет: от знакомства уже известных к тому моменту

литературоведов и до разгара перестройки. Постепенно определилась и основная тема переписки — это Блок и связанные с ним проекты, поэтому естественным образом фокус внимания Паперного сместился от Ю. М. Лотмана к З. Г. Минц, с которой обсуждаются совместные конференции и сборники.

Особенность писем Паперного в том, что их автор — не только ученый, но и пародист; человек, перманентно охваченный стихией юмора. М. О. Чудакова вспоминала: «Он будто терял иногда власть над комическим, прозреваемым им повсюду, безвольно отдаваясь этому устройству своего зрения» [Чудакова 1998: 710]. Сразу после знакомства с Лотманами Паперный наполняет свои письма к ним шутками и каламбурами, и апофеоза эта склонность достигает во время третьей Блоковской конференции, когда Паперный гостит в Тарту — именно днями конференции датируется акrostих, посвященный Заре Григорьевне, а также пародия на тартуский научный быт — «У попа была собака или вот, где собака зарыта! Итоги III Блоковской конференции», публикуемая в Приложении I. В этом небольшом тексте Паперный вполне последовательно применяет собственный принцип¹, обвешивая известный стишок целым арсеналом тартуской методологии.

Рядом с этой пародией по-особенному начинает звучать и «серьезный» Паперный, будто подмигивая погруженному в контекст читателю — именно для иллюстрации этого процесса в Приложении II републикуется вполне официальный отчет ученого о той же самой конференции, напечатанный в «Вопросах литературы».

В личном письме сын ученого Владимир Зиновьевич Паперный так прокомментировал отношения отца с тартускими структуралистами:

Мы с моей младшей сестрой Таней, учившейся на филфаке МГУ, были в восторге от шуток и сатирических песенок отца, но к его «серьезному» литературоведению мы относились скептически. Мы с Таней уже читали тартуские сборники по семиотике, статьи и книги Ю. М. Лотмана и В. В. Иванова и научились пользоваться «модной» терминологией. Мы тогда относились к отцу с юношеским максимализмом, нам казалось, что в литературоведении он застрял где-то на эпохе Белинского. Он окончил легендарный ИФЛИ, где с 1935 года преподавали

¹ «Как делается пародия? Довольно просто. Каждый человек со средним образованием легко напишет среднюю пародию. Надо взять что-нибудь очень известное: “Жили-были дед да баба”, “Уронили Мишку на пол”, <...> “У попа была собака” или “Я люблю тебя, жизнь!”. Затем вы берете разных поэтов по очереди» [Паперный 1990: 104].

возвращенные из коммунальных квартир дореволюционные профессора² — Н. К. Гудзий, Д. Н. Ушаков, С. И. Радциг, Л. И. Гроссман и другие.

Примерно так же, как мы, относилась к его литературоведению Майя Туровская, известный историк культуры и друг нашей семьи:

— Что было его главным делом? Быть человеком общества. В этом он был неповторим. Он был павлин. Невозможно забыть: вот все садятся за стол, и Зяма³ начинает распускать свой хвост. Это было прекрасно. Если представить себе эти годы без твоего отца, они были бы намного скучнее. Весь наш скепсис и цинизм по поводу власти никогда бы не были осознаны и сформулированы, если бы не было Зямы. А если бы не было его книжек о Чехове, ничего бы не произошло⁴.

Когда он познакомился с Юрием Михайловичем и Зарой Григорьевной, вызвавшими у него искреннее восхищение, он нашел правильную стратегию. Если бы отец стал добросовестным учеником тартуской школы, они потеряли бы к нему интерес, таких добросовестных учеников вокруг них было более чем достаточно. Вместо этого он построил общение с Зарой Григорьевной на своей территории юмора. В его письмах — шутки, каламбуры, даже посвященный ей акростих. Зара Григорьевна, как видно из печатаемого ответа, охотно откликнулась в том же духе.

Публикация сохранившейся части переписки З. С. Паперного с Ю. М. Лотманом и З. Г. Минц добавляет в «копилку» знаний о тартуской гуманистике еще одно свидетельство ее разнообразия и витальности в период расцвета.

За справки в процессе подготовки публикации благодарю Л. Н. Киселеву, Р. Г. Лейбова, А. А. Пильд и М. В. Трунина.

² К 1935 году, когда создавался «советский лицей» ИФЛИ, старые профессора или эмигрировали, или были высланы на философских пароходах, или умерли от неустроенности и голода (М. О. Гершензон), или ютились в коммунальных квартирах, забытые и ненужные. Когда Сталин решил порвать с марксизмом (сохранив его как знамя) и постепенно начал восстанавливать Российскую империю, эти чудом выжившие старые профессора оказались востребованными. Они были приглашены в ИФЛИ, и им было сказано: преподавайте так, как вы это делали до революции. После этого они уже не жили в коммунальных квартирах. — *Прим. В. З. Паперного.*

³ Домашнее прозвище З. С. Паперного.

⁴ См.: [Паперный 2019: 13].

Письма З. С. Паперного к Ю. М. Лотману и З. Г. Минц

1. З. С. Паперный – Ю. М. Лотману. 29.11.69 г.

Дорогой Юрий Михайлович!

Простите, что отнимаю у Вас время.

С большим опозданием я начал читать Труды по знаковым системам. Понимаю, что первые три выпуска мне уже не достать. Обращаюсь к Вам с огромной просьбой — посодействуйте мне в получении четвертого выпуска с Вашей статьей о Пастернаке⁵. Я послал письмо в издат.<ельскую> группу ТГУ со слезным прошением о 4-ом выпуске и дальнейших, но боюсь, что без Вашей помощи ничего не получится.

Если будет у Вас время, посмотрите мою главу о Пастернаке в т. 3 четырехтомной истории рус.<ской> совет.<ской> литературы, выпускаемой нашим Ин-том (ИМЛИ им. Горького)⁶.

Давно я собирался с Вами познакомиться и не думал, что начну прямо с просьбы, с причинения Вам хлопот.

Желаю Вам всего доброго и просто не знаю, каким знаком выразить всю системность моего к Вам уважения.

Ваш З. Паперный

2. З. С. Паперный – Ю. М. Лотману. 26.12.69 г.

Дорогой Юрий Михайлович!

Я получил четвертый выпуск, даже пришло два экземпляра — шлю Вам за это мое двуединое спасибо.

Пусть в Новом году так же исполнятся все Ваши желания. Так что не надо ни на кого, как Вы пишете, нажимать с суровостью — наоборот, я посылаю в издательскую группу мою благодарную слезу наложенным платежом.

Шлю Вам мой многозначный сердечный привет, такой наполненный, что даже Вы не сразу разберетесь в его сложной, но цельной структуре.

Ваш З. Паперный

3. З. С. Паперный – Ю. М. Лотману. 30.12.69 г. (Открытка)

Дорогой Юрий Михайлович, Вы меня очень обяжете, если будете счастливы.

Ваш З. Паперный.

⁵ [Лотман 1969].

⁶ [Паперный 1968].

4. З. С. Паперный – Ю. М. Лотману. 12.05.70 г.

Дорогой Юрий Михайлович, рад буду попытаться Вам помочь, понимаю всю важность этого дела, поистине общего. Но сразу натолкнулся на трудности. Комитета еще нет, а писательское начальство засомневается: что это мы будем подсказывать ректору? Лучше всего попробовать через С. Наровчатова⁷. Сейчас я этим займусь.

В Тарту я пока не собираюсь. Очень хотелось бы с Вами повидаться и познакомиться.

Ваш З. Паперный

5. З. С. Паперный – З. Г. Минц. 09.01.75 г.

Уважаемая Зара Григорьевна!

Рад обратиться к Вам с письмом и перевести мое заочное знакомство с Вами в хотя бы эпистолярное состояние — в нем уже чудится мне предвещье чего-то более очного и непосредственного.

Шлю прежде всего горячий (до t° кипения) привет Юрию Михайловичу и желаю ему датировать, атрибутировать нездоровье прошедшим годом, а в наступившем году — быть здоровым на радость всем нам, его разнообразным приверженцам. Очень хочется участвовать в Тартусском <sic> «симпозиуме». Давно мечтаю побывать в Тарту — этой славной столице современной лотманистики! Моя тема, как я уже передавал, «Чехов и Блок». Хочу попытаться показать, как чеховские художественные (и не только) принципы оказывались существенными, важными, м. б. даже в чем-то исходными для Блока. Тезисы вышлю, как только эта туманность, имеющая быть во мне, прояснится — что ожидается к концу января.

⁷ Как предположила Л. Н. Киселева, речь может идти о сложностях с изданием «внеочередного» сборника: «Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. 17–24 авг. 1970 г.» (Тарту, 1970). Скорее всего, он не был включен в издательский план, следовательно, приходилось добиваться от университетского руководства (ср. в письме: «что это мы будем подсказывать ректору») специального разрешения и выделения дополнительной квоты на бумагу. Книга была сдана к печати 3 августа 1970, т. е. буквально накануне конференции. Совет обратиться за содействием именно к С. С. Наровчатову мог быть связан с его не совсем обычным статусом в писательской среде: несмотря на принадлежность к номенклатуре, он был из семьи репрессированного, окончил МИФЛИ и в 1970 г. выпустил научно-популярную книгу «Необычное литературоведение». Такие обращения Ю. М. Лотмана к писательскому сообществу встречались и ранее (в частности, просьбы о поддержке тартуских изданий к К. И. Чуковскому), но постоянно использовать одни и те же каналы было невозможно.

Если Вас не очень затруднит, сообщите, пожалуйста, через Татьяну Мих. Родину⁸ или мне (адрес указываю), когда точно будет конференция (с 15 по 25 апреля мне надлежит быть в Душанбе с курсом лекций)⁹; и как это должно выглядеть практически: т. е. должны ли мы просить командировку у себя на работе или же это возьмет на себя Тартус. ун-тет. Скажите прямо, как Вам удобнее — так и сделаем.

В заключение желаю Вам всего новогоднего.

Кстати, есть ли у Вас и у Юрия Михайловича наш сб. «В творч.<еской> лаб.<оратории> Чехова»¹⁰? Если нет — вышлю незамедлительно.

Ваш и Юрия Михайловича личный З. Паперный

6. З. С. Паперный – З. Г. Минц. 11.04.75 г. (Телеграмма)

Зара Григорьевна пожалуйста вышлите срочно <в> дирекцию ИМЛИ Воровского 25-А письмо <с> просьбой командировать меня <с> докладом <на> Блоковскую конференцию привет Паперны<й.>

7. З. С. Паперный – З. Г. Минц (первая буква каждого стиха выделена цветом)¹¹.

За Ваш доклад, такой научный,
Азартный, жаркий и нескучный
Решусь ли Вам послать поклон
А пожеланий — миллион?

Мы в Университетском зале
И слушали, и так внимали,
Нам всем хотелось, так сказать,
Цело... *Pardone*... боюсь сказать!

З. Паперный
20/IV–75 г.

⁸ Т. М. Родина (1914–1989) — московский театровед, автор книги «А. Блок и русский театр начала XX века» (М., 1972). В 1967 году, узнав, что готовится вторая Блоковская конференция, она написала З. Г. Минцу, положив начало теплой дружбе. Во время подготовки третьей Блоковской конференции тартуские ученые включили Родину в оргкомитет, вследствие чего она пригласила к участию московских коллег, среди которых был Паперный — переданное через Родину приглашение и возобновило угасшую было переписку.

⁹ III Блоковская конференция прошла 20–24 апреля, Паперный выступил с докладом «Блок и Чехов» на утренней сессии второго дня.

¹⁰ [Опульская и др. 1974].

¹¹ Известен и акростих Паперного, посвященный рукописному альманаху «Чукоккала»: [Паперный 2019: 356].

8. З. С. Паперный – З. Г. Минц и Ю. М. Лотману. 21.05.75 г.

Дорогие и, не побоюсь сказать, любимые Зара Григорьевна и Юрий Михайлович!

Я продолжаю пребывать в приподнятом Тартувидном состоянии. Просыпаюсь и думаю: что это было такое хорошее? Ах, да, Тарту, Блок, Минц, Лотман ...

Посылаю вам прежде всего сочинение по собачьим мотивам¹².

Зара Григорьевна, Гуковского Вам я вышлю либо сразу же, либо, если не успею до отъезда, — когда вернусь из Душанбе.

«Вопросы литературы» поручили мне написать отчет о блоковской конференции. Дают 9 стр. на машинке. Покорнейше прошу — пришлите мне точный список выступавших и их тем, т. е. «оглавление» конференции.

Разумеется, когда я сдам отчет в журнал — копию пошлю Вам. А сдам я до 20 мая.

А пока шлю вам пламенный привет — эстонский по душе и еврейский по содержанию, благодарю за все то «несказанное», что и определить нельзя.

Ваш З. Паперный

9. З. С. Паперный – З. Г. Минц и Ю. М. Лотману. 07.11.75 г.

Дорогие Зара Григорьевна и Юрий Михайлович!

Вы, конечно, согласитесь со мной, что мы с Вами живем в век контактов, когда сокращаются расстоянья, правда, путешествуя без виз, люди коммунируются (или коммунируются) при помощи говорящих писем и видеотелефонов.

И в такой-то век бурного взрыва средств информации ничего не знаю о Вас, нахожусь в состоянии проклятой неизвестности.

Последний раз я писал Вам, посылая копию отчета о тартуской конференции. Вы, простите меня за прямоту, не ответили. Теперь этот отчет уже появился в 9 номере «Вопросов»¹³.

В Тарту Вы нас ужасно разохотили, мы — как задутая домна — пылаем, но Вы — район безмолвия, и я хочу Вас просить или, как говорит профессура, понудить Вас к тому, чтобы Вы написали хоть несколько слов. Сообщите о себе, о здоровье, о Блоке, о перспективах (или наоборот) блоковского тома¹⁴.

¹² См. Приложение 1.

¹³ См. Приложение 2.

¹⁴ Третий «Блоковский сборник» вышел в Тарту в 1979 году.

Хоть Вы и не спрашиваете — несколько слов о себе: здоров, вычитываю верстку книжки о зап. книжках Чехова¹⁵, после Б. А. Сучкова перепривыкаю к новому директору¹⁶.

Очень хочется Вас видеть. Будете ли в Москве? Или же придумать какой-нибудь повод для приезда в Тарту?

Вам кланяется Таня Шах-Азизова¹⁷ и Т. М. Родина. А я так просто Вас обнимаю и жду ответа, как соловей в аналогичных обстоятельствах ждал лета.

Ваш З. Паперный

10. З. Г. Минц — З. С. Паперному. 17.11.75 г.¹⁸

Дорогой Зиновий Самойлович!

Прямота поставленного Вами вопроса о причинах моего молчания заставляет меня ответить Вам с большевистской прямотой, т. е. не ссылаясь

- 1) на плохую работу почты (она ужасна, но тут ни при чем),
- 2) на здоровье (хотя Юр. Мих. с начала этого учебного года, действительно, много болеет) и
- 3) на занятость (хотя с начала этого года численность нашего семейства возросла до 7 чел.<ове>, а к декабрю, в результате ожидаемого демографического взрыва, достигнет 8 чел.<овек> + нет няньки + лекции + все хозяйство + статьи ...)

Если снять эти штампованные (хотя, как видите, не лишённые смысла) оправдания, то остается

- 4) покаяться в своей эпистолярной неполноценности и
- 5) <это по поводу присланного Вами «проекта» рецензии>¹⁹ напомнить анекдот о юном английском лорде, которого считали немым до 13 лет,

¹⁵ [Паперный 1976].

¹⁶ Младший коллега Паперного О. П. Смола вспоминал: «После смерти Б. А. Сучкова <...> в ИМЛИ все более насаждался дух брежневского застоя и партийной дисциплины <...>, олицетворением которого стал новый директор Г. П. Бердников. Угрюмоватый, неприступный, он медленно передвигался по коридорам Института, при встрече не улыбался. Казалось, он презирает всех (впрочем, было за что) и ничего хорошего не ждет от своих подчиненных» [Паперный 2019: 103].

¹⁷ Татьяна Константиновна Шах-Азизова (1937–2015) — московский театровед, специалист по Чехову.

¹⁸ Судя по дате инскрипта, с тем же письмом была послана книга З. Г. Минц «Лирика Александра Блока. Выпуск 4: 1910-ые годы» (Тарту, 1975): «Дорогому и искренне уважаемому Зиновию Самойловичу Паперному от лаконичной (!) в переписке, но многоречивой в брошюрах З. Минц. 17.XI.75. Тарту» (собр. публикатора).

¹⁹ Ломаные скобки принадлежат З. Г. Минц.

а когда он однажды сказал: «а бифштекс-то жестковат!», то на вопли родителей, отчего он раньше не говорил ни слова, ответил: «а раньше все было в порядке».

б) Так вот, в статье «было все в порядке». Хотела я, правда, просить смягчить про Ленчика²⁰, но из соображений не деловых, а общегуманных, так что это не принципиально — пусть лучше отругают перед защитой, чем после! А так — очень понравилось. Большое спасибо!

Раз уж решила писать, то напомним и просьбы:

а) о Ваших воспоминаниях

б) поговорить с вдовой Твардовского, чтоб меня допустили к архиву военных лет²¹.

Вашу статью (сказал мне Юр. Мих.) берет Зильберштейн для Блоковского тома «Литнаследства»²². Так ли? Это, в известном смысле, м. б. для Вас и лучше, т. к. нам общий объем срезали до 10 (!!!) печ.<атных> листов,

²⁰ Замечания Паперного см. в Приложении 2. Лев Ефимович Ленчик (1937–2020) — литературовед, критик, поэт, прозаик. В 1970-е годы работал преподавателем в Барнаульском пединституте, писал диссертацию о Блоке. Судя по его письмам, Ленчик стремился перевестись в Эстонию и работать под руководством Минц, однако невозможность устроить семью не позволяла ему этого сделать, Тарту он посещал лишь во время Блоковских конференций. Работа над диссертацией, над которой Зара Григорьевна взяла неофициальное шефство (в том числе благодаря просьбам Т. М. Родиной, также участвовавшей в судьбе Ленчика), шла трудно, прерываясь личными неурядицами и депрессией аспиранта. Упомянутый доклад на третьей конференции был раскритикован — Ленчик писал через две недели после конференции: «Дорогая Зара Григорьевна! Я прошу у Вас прощения за внезапное бегство с конференции. Причина самая банальная: сгорал от стыда за свою неуклюжесть, провинциализм и, видимо, невежество. Кроме того, мне показалось, что и Вас что-то во мне раздражает, м. б. некоторый рабоче-крестьянский примитив (позиция мещанина во дворянстве!), который я сам болезненно ощущаю, в особенности при встречах в Тарту, и ненавижу в себе и в других. <...> Иногда мне кажется, что Вы опасаетесь какой-нибудь политической выходки с моей стороны, но уверяю Вас, что если раньше это еще и могло быть возможным, то сейчас (при взрослых сынах и жене иных взглядов и иного происхождения) я ни о чем подобном почти не думаю. Во всяком случае, если бы я решился на что-то, то сумел бы оградить Вас от неминуемого в таких случаях рикошета» [Ленчик 1964–1985: 90]. Уже после выхода обзора Паперного он спрашивает: «Надо ли в работе ответить на критику З. Паперного («В.<опросы> Л.<итературы>», 1975, № 9)? Ведь все, что он заметил о “субъективности”, “бесплотности”, по-моему, верно, это я и доказываю в работе (кроме того, здесь я могу сослаться на самого Блока, а также на книгу Т. Родиной), — неверно лишь слово “однако” в его контексте и упрек в том, что у меня снят трагизм» [Там же: 95]. Незадолго до планируемой защиты Ленчик уехал в эмиграцию. Жил в США, публиковал прозу в «Синтаксисе» А. Синявского, стихи — в американских русскоязычных изданиях.

²¹ О контактах Паперного с Твардовским см. [Паперный 1979].

²² Здесь и в следующем письме речь идет о публикации [Паперный 1987].

а у Зильберштейна в этом смысле, я думаю, лучше²³. Но, на всякий случай, наш объем — 1 печ.<атный> лист, срок — начало года.

Впрочем, дней через 10 буду в Москве — постараюсь дозвониться и тогда все уточним.

Вот — пока — и все! Всего, всего Вам доброго! Привет большой от Юр. М.
Ваша З. Г.

11. *З. С. Паперный – З. Г. Минц. 09.09.76 г. (Открытка)*

Дорогая Зара Григорьевна, очень обрадован Вашим откликом, как раньше радовался отзыву Юрия Михайловича. «Блок и Чехов» тихо зреют, как дыни. Без Вас и Юрия Михайловича мне жить скучно, очень хочется что-нибудь учинить.

Ваш всегда З. Паперный.

12. *З. С. Паперный – З. Г. Минц. 12.09.86 г. (Открытка)*

Дорогая Зара Григорьевна, пишу Вам открытку-привет и напоминание о том, что к 1 февр. 1987 г. мы надеемся получить Вашу чудную статью в поллиста «Блок и Фет»²⁴. Пишу Вам так рано исключительно потому, что я мудр и дальновиден. Лучше, конечно, было бы дать статью к концу этого года, но — уж как получится.

Привет Юрию Михайловичу! Ваш З. Паперный.

13. *З. С. Паперный – З. Г. Минц. 12.01.87 г.*

Добрый день, дорогая Зара Григорьевна!

Как метко выразился А. А. Блок, что ж, пора приниматься за дело...²⁵ Мы приступаем к сдаче колл.<ективного> труда «Блок и литература народов СССР», где в разделе «Блок и русская литература» числится Ваша статья: «Поэтическая родословная — Блок и Фет». Как мы договаривались, статья нужна до февраля.

Кстати, примечания — не в конце статьи, а под строкой, но нумерация сносок сквозная.

²³ В итоге Паперный из тартуских изданий о Блоке печатался лишь в сборнике тезисов: [Паперный 1975].

²⁴ Здесь и далее речь идет о публикации: [Минц 1991]. Паперному в этом сборнике принадлежит статья «Чехова принял всего» (с. 127–133).

²⁵ Из стихотворения «Превратила всё в шутку сначала...» (1916).

Напишите мне, пожалуйста, когда реально я могу рассчитывать на получение статьи.

Передайте, пожалуйста, мой по-хорошему пламенный привет Юрию Михайловичу, жду ответа и остаюсь

Вашим

З. Паперным

14. З. С. Паперный – З. Г. Минц, 27.05.87 г.

Дорогая Зара Григорьевна, пишу Вам не сразу, п.<отому> ч.<то> только вчера обсудили Вашу статью на <sic> блоковской группе. Обсуждение было просто бравурным и тамбур — мажорным! Л. М. Долотова²⁶ говорила о том, как все убедительно, Д. М. Магомедова, что это самая лучшая, исчерпывающая статья на тему «Блок и Фет», Гришунин, что это украшение сборника, И. Б. Павлова — в том же духе, я говорил о том, как последовательно проведена мысль о переводе романтического начала в символистское. Критических замечаний и пожеланий было немного. Гришунин нашел одну опечатку на с. 5 «мистическое лето» 1912 г. вместо 1901.

На с. 11 он считает, что непонятно место — в скобках — «Ср. комически-абсурдное...»²⁷ Нельзя ли пояснить? Или вовсе снять? Как Вы считаете?

Я все время вспоминаю вечер у Вас и у Юрия Михайловича. Для меня это был просто праздник²⁸.

И — резкий переход: после высокой лирической прозы сугубо бытовой вопрос — я послал сразу же командировку и билет, что мыслит по этому поводу бухгалтерия?

Низко кланяюсь Вам и Юрию Михайловичу, остаюсь Вашим персональным, верным Паперным.

²⁶ Долотова Лира Михайловна (1925–1998) — сотрудница Блоковской группы ИМЛИ, текстолог.

²⁷ В итоговом тексте: «...реминисценции из Фета, при всей их смысловой незавершенности, в контексте блоковского стихотворения вполне понятны. <...> Напротив, цитаты из Апокалипсиса, грамматически и семантически завершенные, без обращения к цитируемому тексту не понятны совсем или же могут быть поняты лишь крайне упрощенно, “профанически” (ср. комически-абсурдное, с авторской точки зрения, истолкование текста, возникающее при попытках связать образ “умершего дитяти” с реальными обстоятельствами биографии Блока <...>)» [Минц 1991: 114].

²⁸ Паперный снова посетил Тарту в мае 1987 года, когда выступал оппонентом диссертации А. П. Юловой «Идеал и “повседневность” в лирике А. Блока периода первой русской революции (мифопоэтические аспекты)» (Тарту, 1987; научный руководитель З. Г. Минц).

15. З. С. Паперный – З. Г. Минц. 27.07.87 г.

Дорогая Зара Григорьевна, простите, что так поздно откликаюсь — меня не было в Москве. Как вернулся — меня ждали на почте переводы, так что спасибо, все получил, мое материальное равновесие восстановлено.

Вы спрашиваете про «Фетовский сборник». Я Вас понял, речь идет о Блоковском сборнике, который следует строго по расписанию и осенью должен быть утвержден на ученом совете.

Обо всем сообщу.

А пока шлю Вам и Юрию Михайловичу мой пламенный привет, исполненный гласности и всяческого ускорения.

С удовольствием вспоминаю о Тарту и о Вас с Юрием Михайловичем.

Ваш З. Паперный.

16. З. С. Паперный – З. Г. Минц и Ю. М. Лотману. 14.11.87 г. (Открытка)

Милая Зара Григорьевна! Дорогой Юрий Михайлович! Вы будете смеяться, но у меня под рукой нет конверта, пишу на открытке. По-моему это соответствует сегодняшним требованиям демократии и гласности. Наш труд о Блоке, как я уже писал, утвержден и находится в Ереване. Включил я туда и Вашу (али нашу?) главу. Лучшими статьями рецензенты и все остальные считают — Гаспарова²⁹, Комы Иванова³⁰ и Зары Григорьевны. Вот такой триумвиратик...

Зара Григорьевна! Наш институт утверждает Блоковские чтения еще двугодично³¹. Хотим, чтобы Тарту с Ленинградом были бы нашими соучастниками. Проводить хотим в самый день 28 ноября³². Начнем с 1988 г. Как Вы на это смотрите? Жду ответа, как соловей, грубо говоря, ждал лета. На базе «Чтений» можем издавать чего-нибудь такое.

В заключение стесняюсь сказать, что я Вас люблю — выразусь так: Вы мною любимы.

Ваш З. Паперный.

²⁹ [Гаспаров 1991].

³⁰ [Иванов 1991].

³¹ Проводившиеся в ИМЛИ Блоковские конференции не назывались Чтениями, роль связанного с ними неперIODического издания играл «Шахматовский вестник».

³² День рождения Блока.

17. З. С. Паперный – З. Г. Минц, 19.12.87 г.

Дорогие Зара Григорьевна и Юрий Михайлович, в конце февраля 1988 г. наш Институт совместно с Литературным Институтом и МГУ проводит «Мандельштамовские чтения»³³. Позже мы Вам пошлем приглашения, а пока, поскольку составляется программа, мы хотим узнать: можно ли надеяться на Ваши выступления? Очень прошу Вас дать ответ, желательно — утвердительный. «Чтения» продлятся два дня.

Шлю Вам новогодний привет и мечтаю о Вашем согласии.

Ваш З. Паперный.

18. З. С. Паперный — З. Г. Минц, 23.01.88 г.

Дорогая Зара Григорьевна!

Благодарю Вас с опозданием за милую открытку, но должен внести поправку. Вы пишете: «Когда “наш” сборник вернется в Москву и пойдет в издат<ельст>во?» Дело в том, что он и пошел в издат<ельст>во, которое находится в Ереване. Эту серию ИМЛИ издает вместе с ЕТУ (Ереванск. ун-тетом)

Я тоже поздравляю Вас и Юрия Михайловича с Новым годом.

Михаила Юрьевича ждем на «Мандельштамовские чтения»³⁴.

Обнимаю Вас всех троих —

Не говоря уже об остальных.

Ваш З. Паперный.

Приложение 1³⁵

У попа была собака или вот, где собака зарыта!

Итоги III Блоковской конференции

На первый взгляд, сказал Д. Е. Максимов, история о том, как у попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил и в землю закопал, и надпись написал, что — эт цетера, история обо всем этом строится по принципу круговорота с тождественными компонентами. Однако в первом цикле перед нами изустное бытование мира, во втором — текст надписи,

³³ Конференция прошла в ИМЛИ 24–26 февраля 1988 года. См.: [Нерлер 1988].

³⁴ М. Ю. Лотман на «Мандельштамовских чтениях» не выступал.

³⁵ Другая машинописная копия пародии отложилась в собрании И. Г. Ямпольского: РО РНБ. Ф. 1386. Д. 763.

в третьем — текст надписи о надписи. Иначе говоря, очевидна спиралевидность развития сюжета с псом и попом на разных витках.

З. Г. Минц отметила основные моменты некоего инвариантного сюжета с трехчленной композицией: I — идиллическое сосуществование попа и пса, иначе говоря — поп и пес с ним; II — страшный мир, где поп собаке пес, и, наконец, III — финал, где собака зарыта, но — в свете концепции Ивана Коневского не просто заземлена, а как бы разземлена в почве. Это в свою очередь допускает истолкование как в духе соловьевского синтеза, так и — демократического стремления к почве.

По совместному заявлению С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова смерть собаки еще раз подчеркивает актуальность федоровской идеи воскрешения мертвых.

В. В. Иванов обращает внимание на специфичность произнесения слова «она» в стихе «Она съела кусок мяса», где практически «она» звучит, как «ана» или даже «ána съéла кúсок мýса», что осторожно намекает на то, что кусок мяса съела не собака, но «Анна», что в свою очередь вызвало чисто командорскую реакцию со стороны попа. В то же время фонологический лейтмотив «собака» заявлен с первой строки:

У попа была соба...

(Ср. рукописный вариант: «У попа была папаха, он ее носил», где переключка глухих «па» еще сильнее подчеркивает мысль.)

В то же время В. В. Иванов настоятельно рекомендует молодым исследователям не гнушаться подсчетами — сколько реально стоил кусок мяса на рынке начала XX века.

По мнению В. С. Баевского в стихотворении про попа и собаку речь идет не просто об аллитерированности темы «попа-соба», но именно об анаграммированности и даже гипограммированности собаки. Подсчеты показали, что анаграмм тут килограмм, а элементы гиппограмм примерно 200 грамм — на человека.

С точки зрения М. Б. Мейлаха трагическая гибель пса напоминает смерть собачки у Введенского, чисто обернутскую: пес опал, увял, усох и утоп, его пристрелили, повесили и четвертовали на три неравные половины.

По мысли Н. И. Гаген-Торн пес удивительно напоминает ей микрофон, который тоже кусается и даже может откусить нос.

З. С. Паперный акцентирует бездомность пса — более того, у него нет даже конуры; а это вызывает параллель с собачкой из «Дамы с собачкой», вынужденной скитаться по ялтинским номерам.

Т. М. Родина демонстрирует пометы поэта, свидетельствующие о том, что именно собака и только собака является единственным камнем преткновения между поэтом и Августом.

Т. К. Шах-Азизова стремится определить процент собачьего бреда в монологе Треплева о мировой душе.

По мнению Л. Е. Ленчика поп вообще не убивал собаку, все произошло в его сознании — он сам съел кусок мяса и, закусив, но не выпив, закусил удила и дал простор самому густопсовому солипсизму.

М. А. Гаспаров обращает внимание на характер рифмы «собака — кусок мяса»: с одной стороны, это рифма неточная, с другой — поскольку собака съела кусок мяса полностью, эту рифму следует назвать полной.

Л. А. Батурина предлагает взглянуть на всю историю глазами ветеринара, чего, к сожалению, до сих пор не делалось. Поведение псины указывает на хроническое психостеническое состояние, аффектированный лай с элементами запущенного тонзиллита, переходящего в глубоко собачий делириум.

С. С. Аверинцев указывает на внесредиземноморскую породу, окраску и общую ориентированность собаки — в противном случае мы имели бы дело не с псом, но с котом. Однако и в том, и в другом случае мы сталкиваемся с односложными существами — пес, кот и поп. В поступке пса он усматривает отсвет хохмы в древне-еврейском смысле, но в византийском преломлении, не чуждом, впрочем, и здоровой сакральности. В самом деле, не съешь пес этого пресловутого куска мяса, он выглядел бы отвлеченным псом, напыщенным, в нем не было бы этой звонкой болтливой цикадности.

Ю. М. Лотман отметил карнавалльно-кинематографическую природу пса, в частности, его чисто киношную черно-белую масть.

В заключение Ю. М. Лотман выразил глубокое удовлетворение по поводу того факта, что собака съела кусок мяса, а поп ее убил.

З. Паперный
23 апреля³⁶ 1975.
Тарту.

³⁶ Возможно, датировка неверна: некоторые из спародированных докладов были прочитаны на следующий, последний день конференции, а предварительно напечатанный сборник тезисов не полностью отражал состав участников — там, например, нет публикации А. Лаврова и С. Гречишкина. Также в сборнике тезисов нет публикации М. Мейлаха, но его доклада также нет ни в программе конференции, ни в ее протоколе, ни в «серьезном» отчете Паперного. Скорее всего, пародия была дописана уже после завершения конференции, иначе у автора не было бы надобности прикладывать ее к более позднему письму (см. выше).

Приложение 2³⁷

Блоковская конференция в Тарту

Очередная III конференция — «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века», проходившая в Тарту в апреле 1975 года, явилась первой всесоюзной: собрались многочисленные исследователи из Москвы, Ленинграда, разных городов страны. Напомним, что материалы первых двух конференций (1964 и 1972 гг.) были изданы в «Блоковских сборниках».

Участники конференции посвятили III конференцию 70-летию Д. Максимова, авторитетного «блоковеда», автора труда <sic> о русских поэтах — Блоке, Брюсове, Лермонтове. Много сделано им по исследованию путей развития поэзии начала XX века, и в особенности символизма.

К началу работы III Блоковской конференции Тартуский университет выпустил сборник тезисов предстоящих докладов и сообщений (всего их было сделано 35).

Поэзия Блока, ее связь с творчеством предшественников и современников, писательская лаборатория, стиль и композиция лирических стихотворений и циклов Блока, проблемы его стиха, ритма и звукописи — таков круг вопросов, стоявших перед участниками.

Д. Максимов в докладе об эволюции Блока, открывшем конференцию, говорил об особенностях творческого развития поэта. В предисловии к неоконченной поэме «Возмездие» Блок писал, что ее план представляется ему «в виде концентрических кругов». Это не случайное выражение. На каждом новом этапе он как будто возвращается к прежнему кругу образов, мотивов, ситуаций, но решает их по-новому. В «Балаганчике» поэт вновь воссоздает свои прежние лирические мотивы, но — пародирует их. А образы Пьеро, Коломбины и Арлекина неожиданно возрождаются почти в неузнанном виде (Петруха, Катька и солдат Ванька) в «Двенадцати».

В докладе З. Минц «О поэтике третьего тома лирики Блока» также предпринимается попытка рассмотреть путь поэта в его целостности. З. Минц подошла к блоковскому трехтомнику как своеобразному «роману в стихах», стремилась наметить основные моменты развития единого «инвариантного» сюжета, который проступает сквозь более частные ситуации и положения отдельных стихотворений (райский мир и Прекрасная дама, уход в «страшный мир», муки и страдания, устремление к счастливому будущему, уже не только идеальному, небесному, но и являющему синтез «земли и неба»).

³⁷ Вопросы литературы. 1975. № 9. С. 307–310.

Авторы первых двух докладов подчеркивали, что лирику нельзя изучать только как лирику. Они — каждый по-своему — предлагали искать в лирике Блока и некоторые объективно-эпические ситуации, выходящие за пределы отдельных стихотворений. Чтобы распознать их — необходимо улавливать композиционно-сюжетное единство трехтомника блоковской лирики.

В сущности, к этой же мысли, но другим путем пришла И. Правдина (в докладе «Из истории формирования третьего тома Блока»). Сличая все прижизненные издания, она обнаруживает некое «ядро», стихи, из которых прорастает тема цикла. Детально прослежено ею развитие цикла «Родина» и других главных циклов — они определяют структуру блоковского тома и подготавливают главное произведение поэта «Двенадцать».

Анализу этой поэмы был посвящен доклад Б. Гаспарова и Ю. Лотмана. В центре их внимания — связь поэмы Блока с традициями русского народного театра, со святочным карнавалом, кукольным балаганом, с народными песнями. Интересно и сопоставление поэмы с кинематографом (неожиданная переключка с черно-белой контрастностью кино, появление красного, «кровавого» флага в конце поэмы — как и в «Броненосце “Потемкин”»).

Из докладов, посвященных отдельным произведениям Блока, назовем «Символический строй драмы “Незнакомка” Л. Ленчика. По его мнению, герой пьесы Поэт — не просто персонаж, участник действия, но и «автор» всего происходящего. Все действие — воплощение его сознания. Реальность лирической драмы — лишь проекция сознания Поэта, своего рода «опытная площадка», на которой он ставит свои эксперименты.

Однако при таком истолковании блоковская драма с ее трагическим контрастом мечты и «пошлой» реальности — субъективизируется, становится как бы бесплотной: порожденной воображением главного персонажа.

Широко была представлена на конференции тема историко-литературных связей Блока — творческое взаимодействие с символистами, с представителями других течений и с предшественниками.

С. Гиндин в докладе «Поэтическое слово у Блока и Брюсова» рассматривал двух поэтов как представителей двух типов поэтического мышления. В первом случае структура лирики организуется вокруг авторского «я» (Блок). Во втором это «я» не входит в мир изображенного или же легко оттуда вычлняется (Брюсов).

На наш взгляд, вернее было бы говорить не о двух равноправных типах лирики, но о первом — как определяющем. В лирике поэт «невывлечен» из структуры содержания.

Доклад С. Аверинцева «Структура отношения к поэтическому слову в творчестве Вяч. Иванова», в сущности, был шире своего названия. Автор

наметил два отношения к слову в стихе, выявившиеся к началу XX века. С одной стороны, когда преодолевается обособленность отдельного слова. С другой стороны, есть традиция, где слово весомо, оно держит полноту своего значения.

Историко-литературные связи поэзии Блока затрагивались в докладах и сообщениях С. Шоломовой (Блок и Л. Рейснер), Р. Тименчика (о Блоке и Ахматовой), В. Беззубова (Блок и Клюев, к вопросу о «неонародничестве» Блока), О. Пилюгина (Блок и Мандельштам), З. Минц (о забытом поэте И. Кожевском), К. Азадовского (об А. Добролюбова), Т. Хмельницкой (об А. Белом), Л. Мандрыкиной (о рукописном наследстве Ахматовой), С. Гречишкина и А. Лаврова (о рукописях А. Белого), Н. Котрелева (о Вяч. Иванове и Вл. Соловьеве), Л. Иезуитовой (о Леониде Андрееве).

Теме «Блок и Чехов» были посвящены доклады З. Паперного и Т. Шах-Азизовой. В первом рассматривались мотивы дома и сада у Чехова: дом — как вместилище унылого, пошлого быта; сад — всегда в ином поэтическом измерении. Блок наследует «антидомашность» Чехова: его контраст дома и сада обретает черты символистского двоемирия³⁸.

В центре второго доклада стояла «Чайка», включенная в ее текст треплевская «пьеса» — при всей своей странности — предвещала многое из того, что отзовется в поэзии Блока и его современников.

Об эволюции жанра романа в стихах говорилось в докладе Ю. Чумакова (Пушкин, Я. Полонский, Блок).

Некоторым вопросам изучения русского символизма были посвящены доклады И. Смирнова, О. Сакуровой, Ю. Шичалина³⁹, Е. Белькинд.

³⁸ В архиве З. Г. Минц сохранились заметки о прениях после прочитанных докладов, выступлению Паперного посвящена следующая запись:

«1. С. С. Лесневский (Москва, ССП): Разве слова Блока “Разве дом этот — дом в самом деле” означают отрицание дома. “Дом” для позднего Блока — высокая ценность (стих. “Приближается звук...”);

2. Ю. М. Лотман: По-видимому, справедливость и докладчика, и вопроса — в том, что безусловное отрицание “дома” в ряде произведений Блока и Чехова воспринимается нами на фоне “домоутверждающей” традиции в русской культуре XIX в.

3. З. С. Паперный — соглашается.

4. З. Г. Минц — вероятно, речь должна идти не о двух, а о трех рядах образов: “дом – сад – лес”. “Сад” в противопоставлении с домом выявляет свою причастность к миру природы, а в противопоставлении лесу — причастность к миру культуры.

5. О. Пилюгин — Блок относится к дому сложно. Современный Блоку дом — рутина, торьма. Но ему противостоит настоящий дом, отнесенный Блоком к прошлому и будущему» [Материалы 1975: 104].

³⁹ Как сообщила нам Д. М. Магомедова, их совместный доклад с Ю. Шичалиным «О мотивах Луны в «Стихах о Прекрасной Даме» Блока» не был включен в программу официально, однако был произнесен на одном из последних заседаний конференции.

Новыми материалами о журналах «Аполлон» и «Золотое руно» поделились в сообщениях Н. Ашимбаева и Н. Фрумкина.

Еще одна тема — Блок и Запад. Д. Магомедова, выступившая с докладом «Блок и Вагнер», говорила об операх и теоретических работах немецкого композитора, оставивших свой след в творчестве Блока. Особенно важен вагнеровский образ «мирового оркестра» — он окажет известное воздействие на концепцию «духа музыки» в творчестве Александра Блока октябрьских лет.

Т. Родина разбирала пометы Блока на повести Августа Стриндберга «Одинокий» («Уединение») в декабрьской книжке журнала «Новый путь» за 1904 год. Сообщение «Блок — читатель Ницше» сделал В. <М.> Паперный.

Большое место на конференции было отведено проблемам изучения блоковского стиха.

Р. Папаян, говоривший о динамике четырехстопного ямба в лирике Блока, также подошел к выводу о внутреннем единстве трехтомного лирического «романа в стихах», — тенденция развития стиха связана с моментами идейно-образной эволюции поэта.

Доклад М. Гаспарова был посвящен рифме Блока. Опираясь на работы В. Жирмунского и на огромный материал статистических подсчетов, автор уточнил представления о развитии и обогащении русской рифмы XVIII–XX веков. В ходе обсуждения этого доклада было подчеркнуто: изучение структуры русской рифмы должно быть продолжено. Рифма — не отдельный компонент стиха, она часть общего «звукового поля».

Г. Васюточкин обратил внимание на особую семантическую насыщенность рифмующихся слов у Блока.

В докладе В. Иванова был предпринят монографический анализ одного из центральных стихотворений Блока — «Шаги командора». Он разбирает синтаксический строй, соотношение именных и глагольных конструкций, развитие своего рода звуковых лейтмотивов, несущих главные образы стихотворения.

В. Баевский, говоря об акустической стороне поэзии Блока, прослеживал звуковые повторы, варьирующие основные слова-понятия (доклад в соавторстве с А. Кошелевым).

Достоинство докладов и сообщений об особенностях блоковского стиха в том, что они были свободны от описательности; формальные характеристики, как правило, получали выход к содержательному, идейно-образному, смысловому началу.

Не все доклады и сообщения в Тарту были равноценны; порой интерес к «периферийным» вопросам не сочетался с должным вниманием к ведущим

темам блоковского творчества. Однако в целом конференция, собравшая видных литературоведов, исследователей Блока, историков литературы, стиховедов, лингвистов, дала много нового — неизвестные ранее материалы, документы, наблюдения, концепции, вынесенные на широкое обсуждение, бесспорно, обогатили наше представление о Блоке, о его связях с русской литературой, о единстве и органичности его творчества.

На основе I Всесоюзной (III) Блоковской конференции будет подготовлен очередной — третий — «Блоковский сборник».

З. Паперный

Приложение 3⁴⁰

Программа III (I Всесоюзной) конференции «Творчество А. А. Блока и культура XX века»

20.IV, утро

Пленарное заседание

1. Д. Е. Максимов — К вопросу об эволюции А. Блока
2. З. Г. Минц — О поэтике «третьего тома» лирики Ал. Блока
3. И. С. Правдина — Формирование цикла «Родина»

20.IV, вечер

1. В. В. Иванов — «Шаги Командора»
2. И. П. Смирнов — Русский символизм и поэзия 1910-х гг.
3. Д. М. Магомедова — Блок и Вагнер
4. О. Н. Пилюгин — Образ города в поэзии Блока и Мандельштама

21.IV, утро

1. З. С. Паперный — Блок и Чехов
2. Т. К. Шах-Азизова — Чехов и русский театр XX века
3. Т. М. Родина — Из книжных помет А. Блока
4. Л. Е. Ленчик — Символический строй драмы «Незнакомка»
5. О. В. Сакурова — Концепция символа в литературной критике нач. XX века

⁴⁰ [Материалы 1975: 8–9]. С рядом опечаток эти материалы были приведены в бакалаврской работе М. Э. Ралли (Таллинн, 2023).

21.IV, вечер

Заседания не было, состоялся вечер воспоминаний о советской литературе 1920-х гг.⁴¹

22.IV, утро

1. С. И. Гиндин — Поэтическое слово у Блока и В. Брюсова
2. В. С. Баевский — Об акустическом уровне в поэзии Блока
3. М. А. Гаспаров — Рифма у Блока
3. Р. А. Папаян — Блоковские ямбы

22.IV, вечер

1. Г. С. Васюточкин — Семантика рифмы в «первом томе» лирики Блока
2. С. С. Аверинцев — Поэтическое слово у Вяч. Иванова
3. Р. Д. Тименчик — Поэтика цитаты у Блока и Ахматовой

23.IV, утро

1. Ю. Н. Чумаков — «Свежее преданье» Я. Полонского и «Возмездие» Ал. Блока (К эволюции жанра романа в стихах)
2. С. Б. Шоломова — Блок и советская литература 1920-х гг. (Л. Рейснер)
3. Т. Ю. Хмельницкая — «Вторая симфония» А. Белого
4. В. <М.> Паперный — Блок — читатель и критик Ницше

23.IV, вечер

1. В. И. Беззубов — Клюев и Блок (К вопросу о «неонародничестве» Блока)
2. Н. Т. Ашимбаева — И. Анненский в редакции журнала «Аполлон»

⁴¹ В документе эта запись вынесена в примечание, и далеко не случайно. Как вспоминает Л. Н. Киселева, на вечере, проходившем в студенческом кафе университета, выступала Нина Ивановна Гаген-Торн (1900–1986) с воспоминаниями о Вольной философской ассоциации (ВОЛЬФИЛА, 1919–1924), активной участницей которой она была. Там она общалась с А. З. Штейнбергом, А. Белым, Р. В. Ивановым-Разумником, А. А. Блоком и еще мн. др. из тех, чьи имена в 1970-е гг. было произносить нежелательно. Тема в программе была вынуждено закамуфлирована, а имя выступающей не названо, хотя Н. И., проведшая многие годы в лагерях, была давно реабилитирована. Вечер был устроен в кафе, а не в аудитории тоже не случайно. Поскольку слушатели сидели в связанных между собой залах, то пришлось снабдить выступающую микрофоном, к которому она относилась с большим недоверием, опасаясь нежелательной записи на магнитофон (отсюда и слова в пародии Паперного: «По мысли Н. И. Гаген-Торн пес удивительно напоминает ей микрофон, который тоже кусается и даже может откусить нос»).

3. Н. А. Фрумкина — Из истории «Золотого руна» (Борьба Белого с Рябушинским)
4. З. Г. Минц — И. Коневской

24.IV, утро

1. Л. А. Мандрыкина — Из рукописного наследия Ахматовой
2. Г. А. Левинтон — Из поэтики Ал. Блока
3. С. С. Гречишкин, А. В. Лавров — Из рукописного наследия А. Белого
4. Н. В. Котрелев — Вяч. Иванов и Вл. Соловьев

Литература

Гаспаров 1991: *Гаспаров М. Л.* Блок в истории русского стиха // Блок и литература народов Советского Союза. Ереван, 1991. С. 184–199.

Иванов 1991: *Иванов Вяч. В.* Теоретические взгляды Андрея Белого на ямб и ритм «Ямбов» Блока // Блок и литература народов Советского Союза. Ереван, 1991. С. 134–143.

Ленчик 1964–1985: *Ленчик Л. Е.* Письма к З. Г. Минц // Библиотека Тартуского университета. Ф. 135: Лотман Юрий, Минц Зара. Эпистолярный архив (1944–1999). Ед. хр. 783.

Лотман 1969: *Лотман Ю. М.* Стихотворения раннего Пастернака и некоторые вопросы структурного изучения текста // Труды по знаковым системам. Тарту, 1969. Вып. IV. С. 206–238 (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 236).

Материалы 1975: Материалы III (I Всесоюзной) конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века» // Библиотека Тартуского университета. Ф. 137: Фонд З. Г. Минц. Ед. хр. 51.

Минц 1991: *Минц З. Г.* А. Блок и Фет («Фетовский пласт» в «Стихах о Прекрасной Даме») // Блок и литература народов Советского Союза / Сост. К. В. Айвазян. Ереван: изд. ЕГУ, 1991. С. 107–120.

Нерлер 1988: *Нерлер П. М.* Первые мандельштамовские чтения // Вопросы литературы. 1988. № 6. С. 269–273.

Опульская и др. 1974: В творческой лаборатории Чехова / Ред. Л. Опульская и др. М., 1974.

Паперный 1968: *Паперный З. С.* Б. Л. Пастернак // История русской советской литературы. М., 1968. Т. 3. С. 350–389.

Паперный 1969–1988: *Паперный З. С.* Письма к Ю. М. Лотману и З. Г. Минц // Библиотека Тартуского университета. Ф. 135: Лотман Юрий, Минц Зара. Эпистолярный архив (1944–1999). Ед. хр. 1077.

Паперный 1975: *Паперный З. С.* «Вишневы сад» Чехова и «Соловьиный сад» Блока // Тезисы I Всесоюзной (III) конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века» / Ред. З. Г. Минц. Тарту, 1975. С. 116–117.

Паперный 1976: *Паперный З. С. Записные книжки Чехова*. М., 1976.

Паперный 1979: *Паперный З. С. Поэтическое слово у Твардовского* // Вопросы литературы. 1979. №7. С. 46–65.

Паперный 1987: *Паперный З. С. Блок и Чехов* // Литературное наследство. М., 1987. Т. 92. Кн. 4. С. 123–150.

Паперный 1990: *Паперный З. С. Музыка играет так весело...* М.: Советский писатель, 1990.

Паперный 2019: *Зиновий Паперный: Homo ludens* / Сост., прим. В. Паперного. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

Чудакова 1998: *Чудакова М. О. Смех вместо слез* // Тыняновский сборник. Вып. 10. М., 1998. С. 710.

СПЕЦКУРС Ю. М. ЛОТМАНА О ДЕКАБРИСТАХ Неавторизованные конспекты лекций, прочитанных в Тартуском университете

Вступительная заметка, публикация и комментарии
ЛЮБОВИ КИСЕЛЕВОЙ

Публикация воспроизводит неавторизованные конспекты двухлетнего специального курса на тему «Декабристы и русская культура и литература», который был прочитан Ю. М. Лотманом студентам отделения русского языка и литературы в 1973/74 и 1974/75 учебных годах. Лекции записаны от руки Л. Киселевой. Несмотря на неизбежную неполноту, записи дают представление о лекторской манере Лотмана, а также об эволюции его взглядов на движение декабристов, его философско-политические истоки и генезис.

Ключевые слова: Ю. Лотман, лекции, декабристы, философские корни движения, исторический контекст.

Yuri Lotman's special course on the Decembrists. Unauthorized lecture notes of the lectures given at the University of Tartu. Published by Ljubov Kisseljova

The publication reproduces unauthorized lecture notes of the two-year special course "Decembrists and Russian culture and literature", which was read by Yuri Lotman to the students of the Department of Russian Language and Literature in the 1973/74 and 1974/75 academic years. The lecture notes were handwritten by Ljubov Kisseljova. Despite the inevitable incompleteness, the recordings give an idea of Lotman's lecturing style as well as the evolution of his views on the Decembrists movement.

Keywords: Yu Lotman, lectures, Decembrists, philosophical background of the movement, historical context.

Ю. М. Лотман любил читать лекции, и лекционная деятельность — неотъемлемая и важная часть его наследия. Хорошо известны признания Лотмана, что по ходу лекций он придумывал новые идеи, которые проверял на аудитории и потом формулировал в печатных трудах. Несмотря на загруженность научными, издательскими и административными делами, на усталость и недомогания, он отдавал очень много времени лекционной практике.

Кроме предусмотренных университетской программой общих курсов, он ежегодно обязательно читал специальные (иногда и не один) и посвящал их важным для него темам, к которым хотел приобщить аудиторию. Из 26 спецкурсов, которые он прочитал в Тартуском университете с 1968 по 1993 г., два были посвящены декабристам: один двухлетний в 1973–1975 гг. и один в 1988 г., волею судеб оказавшийся семестровым и даже в этом временном пределе не завершенный. Как представляется, выбор темы имел глубокий смысл.

Лотман не так часто писал о декабристах¹, хотя его первая научная публикация, еще студенческая [Лотман 1949], была связана как раз с ранним декабризмом; потом исследователь вернулся к Мамонову через десять лет [Лотман 1959]. Следующий большой труд был посвящен Вяземскому [Лотман 1960]. Эти работы в той или иной мере отразились в спецкурсах, но особое положение занимает статья «Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория)» [Лотман 1975] (о ней речь пойдет ниже). В ходе спецкурса 1973–75 гг. как раз и собирался материал, и вырабатывались идеи этой статьи, так что спецкурс в полной мере можно рассматривать как своего рода лабораторию для этой очень важной в научной биографии Лотмана работы.

Предваряя публикуемые записи лекций, напомним еще раз о той специфике конспектов как источника, о которой уже шла речь во вступительной заметке к публикации конспектов карамзинских спецкурсов [Лотман 2022]. Лекции — устный жанр, они позволяют гораздо большую, чем в печатных трудах свободу высказывания, в этом их преимущество, но и уязвимость. Но в данном случае перед нами еще и неавторизованные записи, сделанные мною от руки нестенографическим путем (оригиналы хранятся в моем архиве). Конечно, они предоставляют читателям заведомо неполную информацию о том, что говорил лектор. Не считая утраты жестов, мимики, интонации, всегда столь богатых и интересных у Лотмана, возможны также и ошибки, и неточности записи, которые лишь отчасти можно распознать, исправить или оговорить в комментариях. И все же даже эти несовершенные записи дают представление о лекторской манере Лотмана и о понимании им задач лектора и педагога. Именно это заставляет нас через полстолетия обращаться к неавторизованным конспектам его лекций.

¹ Мы имеем сейчас в виду специальные работы; касался этой темы он во многих трудах, посвященных русской литературе и культуре начала XIX в., а также в телевизионных беседах и в созданной на их основе книге: [Лотман 1994].

Разумеется, с тех пор наука о декабристах продвинулась вперед, и читателю необходимо мысленно встать на позицию начала 1970-х гг.²; что-то возможно оговорить в комментариях, но далеко не все. Необходимо учесть и еще одно обстоятельство. Годы, о которых идет речь, — это советская эпоха, когда любое историческое событие предписывалось трактовать с марксистских позиций, тем более когда дело касалось революционного движения, о котором писал Ленин и которому посвящалось множество идеологизированных трудов. Тем знаменательнее полное отсутствие этих «идеологизмов» в лекциях Лотмана, хотя можно было ожидать, что в аудитории окажутся особого рода слушатели, заинтересованные в проверке его лояльности (напомним, что обыск в его квартире состоялся в начале 1970 г. и слежка за ним продолжалась). Когда в лекциях Лотман говорит о марксистской историографии (М. Н. Покровский, М. В. Нечкина), то вписывает эти работы в общую историографию по декабризму, которую начинает с дореволюционных исследований. Контекст у него другой — он смотрит на формирование декабристского движения, исходя из актуальных для его участников философских, исторических и политических течений. В настоящее время эти особенности лекционной стратегии уже не замечаются, воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.

Ю. М. Лотман всегда адресовал лекции конкретным слушателям, чутко следя за их реакцией, в зависимости от нее меняя манеру изложения и в то же время стараясь в полтора часа лекционного времени вложить максимум информации — и фактической, и информации к размышлению. Состав студенческой аудитории по определению неровен по подготовке, а также непостоянен — то один отсутствует, то другой, появляются и вовсе случайные слушатели. При двухлетнем курсе, каким является публикуемый, это особенно сложно — часть слушателей присутствовала на лекциях в предыдущем году или в предыдущем семестре, а часть появилась впервые. Как сохранить баланс между неизбежным повторением и новой информацией, тем более что временные промежутки между лекциями могут быть значительными? Лотман часто начинал лекцию с краткого резюме предыдущей, предваряя

² На тот момент даже основные труды Н. Я. Эйдельмана о декабристах (за исключением монографии о Лунине) еще не были изданы. С тех пор было опубликовано много нового документального материала, была проделана большая и плодотворная работа по осмыслению роли отдельных деятелей и движения в целом. В обзоре Лотмана важно не это «отставание» от известного нам теперь уровня науки, а то уважительное отношение к предшественникам, с которыми он расходился и в подходах, и в методологии. Для него было важно сформировать у студентов историческое отношение к предшествующим концепциям, пусть и оспариваемым, и уважение к традиции.

его фразой: «Как вы, конечно, помните...», но никогда не повторял уже сказанного буквально, однако порой увлекался экскурсом в исторический и философский контекст, с чем также связаны повторные обращения к одним и тем же темам.

Прослеживая за тем, как строит Лотман свои лекции, мы убеждаемся в том, что, с одной стороны, каждая из них самодостаточна, т. е. может функционировать как самостоятельное целое. С другой, не упускается и связь с предыдущими и последующими лекциями. Однако самое главное — это неизменный выход за пределы узкой темы, стремление Лотмана к максимальному расширению контекста. Любое рассуждение или факт всегда вписывается в общее движение русской и европейской культуры. Такой подход или такая стратегия имели огромное просветительское значение — каждая лекция была направлена на расширение у студентов эрудиции, способности сопоставлять разные, иногда весьма далекие факты. При этом приходилось заполнять и лакуны университетской программы: у русских филологов не было тогда ни лекций по европейской философии (история философии читалась обзорно за один весенний семестр четвертого курса — от античной философии до марксизма включительно), ни по европейской истории, поэтому необходимых сведений для понимания явлений, о которых говорил Лотман, катастрофически не хватало. Если обратиться к тем же декабристам, то они-то были полностью включены в движение европейской мысли, прекрасно начитаны в философии Просвещения, а историю Французской революции знали не только по печатным, но и по устным источникам, читали в оригинале сочинения европейских писателей — и вошедших потом в классический канон, и ныне забытых. В исторических событиях, непосредственно повлиявших на формирование их мировоззрения, они участвовали сами. Нельзя понять феномен декабризма без хотя бы некоторых сведений по всем этим темам. Лотман по мере возможности старался заполнить катастрофические пробелы в студенческих знаниях, углубляясь в основные концепции просветителей, масонов, в исторические события XVIII – начала XIX вв., давал представление о социальной истории, системе государственного устройства Российской империи, о чинах, о дворянском быте и т. п.

Лотман полагал, что знакомство с личностями участников движения, их характерами и судьбами — необходимое условие для понимания декабризма. Отсюда лекции, специально посвященные Александру Муравьеву, Николаю Тургеневу, Павлу Пестелю, Михаилу Орлову. Эти портреты субъективны, они передают лотмановский взгляд, его очень личное отношение к деятелям давно ушедшей эпохи, что делает эти очерки живыми и притягательными.

В лекциях давалось и представление об историографии движения декабристов, следовательно — о развитии русской исторической науки и ее основных деятелях. Разумеется, лекции по определению не могли охватить всего, поэтому предполагалось, что студенты не ограничатся конспектами, а будут читать рекомендованные источники и исследования. В реальности это оставалось скорее благим пожеланием. Конечно, Лотман понимал и то, что многие детали в его изложении пройдут мимо сознания слушателей, но это были зацепки на будущее, и те, кто потом обращались к углубленному изучению темы, находили в своих конспектах важные установки и рекомендации.

Еще одна существенная особенность лекций: Лотман всегда строил их на сочетании уже известного в науке и того нового, к чему пришел сам и над чем работал в настоящее время (и не только над тем, что было непосредственно связано с темой лекции). Эти вкрапления актуальных для Лотмана тем и идей дают много информации об истории развития его концепций.

Максимально широкое толкование Лотманом задач своих университетских лекций накладывало отпечаток и на их текст. Тот читатель, что будет ожидать от этих неавторизованных конспектов полного и систематического раскрытия темы, обозначенной в заглавии курса, может быть отчасти разочарован. Лекции производят неровное впечатление — иногда в изложении ощущается недоговоренность, иногда незаконченность, а иногда «отступления» от основной темы кажутся слишком обширными. Во время самих лекций эти «шероховатости» не замечались, ибо, как уже говорилось, каждая лекция была самодостаточна, а разворачивавшийся увлекательный поток ярких фактов и рассуждений полностью втягивал в себя слушателей. Читатель конспектов должен все время держать в памяти специфику источника, с которым знакомится.

Имелись ли у лекционных курсов заранее составленные программы? Да, имелись, но студентам их не раздавали. В 1970–80-е гг. программы или календарные планы воспринимались как бюрократические бумажки, которые требовалось представить в деканат, хотя, конечно, они не могли быть чистой отпиской³. Вместо программ лектор по ходу изложения ссылался на те или иные источники и исследовательскую литературу и рекомендовал их слушателям.

³ Прекрасное тому доказательство — программа курса «Эпоха декабристов» 1988-го г. Ю. М. Лотман подарил копию своему ученику В. С. Парсамову, а тот опубликовал ее в качестве приложения к своей статье [Парсамов 2016а]. Парсамов окончил Тартуский университет в 1987 г. и уехал из Тарту, поэтому сам спецкурса не слушал и почему-то предположил, что он не был прочитан. Меж тем курс был лишь не дочитан — второй семестр Лотман провел в Германии, где тяжело заболел.

Обратимся теперь к замыслу публикуемого спецкурса. По-видимому, он был задуман в преддверии 150-летия восстания на Сенатской площади. Лотман был чуток к юбилейным датам и считал важным вспоминать годовщины тех или иных событий или юбилеи писателей (хроника заседаний кафедры русской литературы тому свидетельство). Второй импульс — это занятие дворянским бытом, к которому Лотман обратился на рубеже 1960–70-х гг. Декабристы давали яркий материал для формирования концепции бытового поведения и анализа разных типов поведения людей, принадлежавших к одному социальному слою, иногда ровесников, имевших сходные политические взгляды, но разделенных принадлежностью / непринадлежностью к тайным обществам. Как уже было сказано выше, в процессе чтения курса «Декабристы и русская литература и культура» складывались положения будущей статьи «Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория)», опубликованной в конце 1975 г. Сборник «Литературное наследие декабристов» был сдан в набор 5 июня и подписан к печати 11 сентября 1975 г. Как свидетельствуют письма Л. М. Лотман к Ю. М. Лотману, статья была сдана в редакцию в конце лета 1974 г. [Лотманы. Переписка 2022]⁴. Сопоставление текстов статьи и части спецкурса 1974–75 уч. г. показывает, что основной ее материал излагался в лекциях тогда, когда статья была уже написана, но еще не опубликована. Тем больший интерес представляет то, в чем лекции отличаются от печатного текста. Концепция бытового поведения и его стилей, примеры с использованием литературных сюжетов для кодирования поведения достаточно близки по изложению и по приводимым примерам. Поэтому далее мы остановимся на аспектах, не вошедших в статью и касающихся других сторон истории декабризма.

Одним из лейтмотивов спецкурса является стремление Лотмана вписать декабризм как явление в историю и типологию русской культуры. Лотман стремится ответить на вопрос, что означает феномен *дворянской революционности*, с акцентом на обоих понятиях: другими словами, как влияет на выбор жизненного пути декабристов то, что они были *дворянами*, и как феномен

⁴ См. письмо от 28.09.1974, где говорится о получении неназванной статьи Юрия Михайловича [Лотманы. Переписка 2022: 290], а в письме от 13.10.1974 [Там же: 291] Лидия Михайловна пишет, что В. Э. Вацуру, одному из редакторов сборника, «очень понравилась» статья. Далее сказано, что «Вацуре он <Лотман. — Л. К.> нужен для ред. подготовки сборника» [Там же: 292], из этого можно сделать вывод, что речь идет именно об интересующей нас статье. Ср. также сведения о корректуре, которую сестра послала Юрию Михайловичу 1.08.1975 [Там же: 294].

революционности связан со спецификой русской истории и культуры, насколько глубоко он вкоренен в русскую культуру.

Лотман считал декабризм уникальным явлением в европейской истории (и можно только сожалеть, что эта мысль не была раскрыта им в лекциях с достаточной полнотой) и одновременно явлением глубоко национальным: «Мы найдем ему параллели и в предшествующей, и в последующей культуре. Поэтому он имеет всегда не только исторический, но и нравственно-человеческий смысл». Лотман определял дворянскую культуру как культуру чести, долга и служения отечеству. Именно это заставило будущих декабристов пойти против правительства. Как «дети 12-го года» они научились чтить народ и были готовы отдать жизнь для прекращения его рабского существования. Однако очень важно основополагающее замечание Лотмана об отсутствии в тайных обществах полного тождества во взглядах: «Мы ничего не поймем, если будем считать, что все члены общества были единодушны во всех основных положениях. Были молодые люди, которые были согласны в одном: положение в России нетерпимо, а далее контексты расходились. <...> Круг людей был всегда кругом **разномыслящим**, поэтому всякая попытка реконструировать позицию **всего общества** по точке зрения **одного лица** неверна в корне». Нетрудно заметить, что эта установка Лотмана коренным образом отличается от того понимания движения, которое доминировало тогда в декабристской историографии.

Очень интересен ход рассуждений Лотмана о том, что значит *революционность в русском контексте*, и о том, что стремление к коренной ломке, тотальной переделке действительности — не «новаторство» декабристов. Это, по Лотману, неотъемлемая принадлежность русской культуры и русского сознания. Важно, что в декабристском спецкурсе Лотман излагает свою концепцию русской истории, которая далеко не в полном виде отразилась в его печатных трудах. Согласно спецкурсу, русская история нестабильна, дробна и «очень специфична»: «Она делится на ряд периодов, настолько самостоятельных, что возникает сомнение в их преемственности. Киевский период закончился огромной военной и социальной катастрофой, и связь его с московским периодом достаточно проблематична. Катаклизмы XVI века — разрушение Новгорода, уничтожение Твери <...>. Разгром русского Северо-Запада был частью резкого катаклизма, уничтожившего строй XIV–XVI вв. (снизу доверху)».

Задолго до своей книги «Культура и взрыв» Лотман употребляет в спецкурсе 1973 г. понятие «взрыв», относя его к петровской эпохе и к эпохе Крещения, когда происходит накопление новых текстов и новых слов, часто

непереводимых. Далее следуют рассуждения о природе русской революционности, которые Лотман связывает в первую очередь с правительственной политикой. Он суммирует их фразой Пушкина в беседе с великим князем Михаилом Павловичем: «Все Романовы революционеры и уравниатели». Хотя склонность к революционным переменам (Лотман подчеркивал, что слово «революция» в переводе с латинского означает «переворот»), т. е. к коренным переменам социального и политического порядка лектор усматривает и в средневековой Руси, особенно в период Ивана Грозного и Смуты, однако наиболее отчетливо, по его мысли, ориентация на коренную ломку развивается в XVIII в.: «Мы с удивлением заметим, что правительственная идеология исходила из необходимости переворота <...> Новое правительство начинает с убеждения, выраженного в манифесте, что страна находится накануне гибели. <...> Нигде не было того, чтобы царь с отвращением или ужасом говорил о стране, которой начинает управлять. Однако вторая часть такого заявления состояла в обещании, что абсолютное зло сменится абсолютным добром. Это накладывало на русское самодержавие устойчивый элемент утопизма».

Этот утопизм, таким образом, имеет эсхатологическую природу. Эсхатологизм, по Лотману, свойствен русской ментальности и русской культуре, в отличие от западноевропейского образа мысли. В спецкурсе он не останавливается на этом подробно, но затем развивает эти идеи в работах, написанных в соавторстве с Б. А. Успенским [Лотман, Успенский 1974 и 1977]. Зато одним из лейтмотивов спецкурса становится мысль, что движение декабристов было как бы логическим продолжением правительственной политики: «Само правительство в XVIII в. несколько раз делало попытки изменить существующий строй в России»; «... политический порядок в России XVIII в. давал представление **не о незыблемости** государственной системы, а о том, что **система колеблема**, и любой дворянин мог считать себя вправе изменить эту систему, как Петр или Павел, т. к. сама жизнь сняла “право крови”». Декабристы, в изложении Лотмана, оспаривают у правительства монополию права на изменения. Поскольку «перестройка мира мыслится как акт, требующий некоторых усилий, поэтому встает вопрос о том, кто будет ее осуществлять», и когда правительство упускает инициативу, декабристы берут ее на себя.

Включение Лотманом в генезис декабристского движения этого нового исторического контекста существенно меняет перспективу и дополняет традиционную идею о декабристах как «детях 12-го года». Ее Лотман тоже, конечно, развивает, и фрагменты о Наполеоне и о войне 1812 года — одни из самых увлекательных в спецкурсе. Но он не сводит к 12-му году истоков

движения. Лотман видит его смысл и значение не в идеях, которые вторичны, не в программах, которые не были дописаны и не всеми декабристами приняты, а в выборе жизненного пути и личном поведении. Именно поэтому он придавал главное значение Союзу благоденствия, который создал тип человека, оставившего огромный след в русской жизни и истории. В моральном воздействии личностей участников движения и их поведения Лотман видел непреходящее значение декабристов для русской культуры, как видел и одну из целей своих лекций в том, чтобы его слушатели ощутили этот высокий строй жизни, когда «сердца для чести живы». Он стремился к тому, чтобы его аудитория видела перед собой живых людей — энергичных, страстных, противоречивых, которые не вмещались в марксистские схемы развития революционного движения в России и которые могли оказать воздействие на внутренний мир слушателей.

В настоящую публикацию включен двухлетний спецкурс 1973–75 гг. (подчеркнем, что конспект записан чужой рукой и самим лектором к печати не предполагался). Я отказалась от публикации курса 1988 г. — он был прочитан очень фрагментарно, Лотман часто уезжал из Тарту, кроме того плохо себя чувствовал, да и в конспекте немало моих собственных пропусков, поэтому публикация была бы заведомо неполной и не давала бы представления о взглядах Лотмана на декабристов в конце 1980-х гг.

При подготовке текста к печати я пользовалась ценными указаниями А. С. Немзера и А. Л. Осповата, которым выражаю свою живейшую благодарность. Благодарю также А. Куц за помощь в перепечатке текста.

Ю. М. Лотман

Декабристы и русская культура и литература

Спецкурс для студентов отделения русского языка и литературы
Тартуского университета в 1973/74 и в 1974/75 учебных годах

Часть 1. 1973/74 учебный год

18 сентября 1973 г. Первая лекция⁵

Само слово «декабрист» получило историческое гражданство в середине XIX века. Сами участники тайных обществ в период 1815–1825 гг., конечно, себя так не называли.

Кого же следует считать декабристами? Впервые над этим задумался Николай I. По его приказу был сделан Алфавит лиц, причастных к следствию. Он был опубликован Б. А. Модзалевским в 8-м томе «Восстания декабристов»⁶. Туда были записаны **все**, чьи имена упоминаются в процессе, даже те, кто получил очистительный аттестат. Многие лица были «оставлены без внимания». В Алфавит не попал ряд, видимо, важных деятелей — или по халатности, или по счастливой случайности, или по ходатайству влиятельных лиц. Таким образом, главный источник изучения движения декабристов — материалы следствия — очень тенденциозен.

Мы точно знаем лиц, пострадавших по следствию, но это еще не список членов тайных обществ. Из конспиративных соображений общества списков не составляли. При вступлении в общество давались расписки, но они

⁵ В 1973/74 учебном году спецкурс читался осенью по вторникам, а весной по средам. Все страничные комментарии принадлежат публикатору.

⁶ «Алфавит членам бывших тайных злоумышленных обществ и лицам, прикосновенным к делу, произведенному высочайше учрежденною 17-го декабря 1825-го года Следственной Комиссией, составлен 1827-го года», или «Алфавит Боровкова» (по имени его составителя А. Д. Боровкова) был подготовлен Б. А. Модзалевским и А. А. Сиверсом, опубликован в VIII томе серии «Восстание декабристов» (Л., 1925) и републикован в издании [Декабристы 1988: 215–345]. В «Алфавит» были включены: 121 декабрист, осужденный судом, 57 человек, наказанных во внесудебном порядке, 290 человек, оправданных следствием, а также «прикосновенные» лица, вовсе не привлекавшиеся к следствию, в том числе высшие государственные чиновники, а также вымышленные имена, упоминавшиеся подследственными. Издание 1988 г. — это наиболее полный источник сведений, но Лотман мог опираться только на публикацию «Алфавита» 1925 г. Нужно учесть, что во всех источниках статистические сведения подаются, исходя из разных принципов классификации, и свести их воедино с полной точностью трудно, поэтому приводимые в лекциях данные поневоле оказываются приблизительными.

уничтожались (хотя сами члены не знали об этом). Однако путем последовательных усилий можно составить довольно полный список членов. Но мы знаем не все общества. В частности, кавказское общество (спас их Ермолов)⁷, полтавское общество⁸ (видимо, спас князь <Н. Г.> Репнин-<Волконский>, генерал-губернатор Малороссии) остались нераскрытыми. Неясна оренбургская организация — существовала она или нет до провокации Ипполита Завалишина. Может быть, он использовал остатки прежнего общества⁹.

На следствии упоминалось общество садовников — ничего о нем неизвестно¹⁰. Не раскрыта организация Ф. Глинки, который стремился к замене власти Александра I регентством императрицы Елизаветы Алексеевны¹¹. До сих пор не до конца понятно, был ли Орден русских рыцарей — или это только фантазмагории¹².

⁷ Секретарь следственной комиссии А. Д. Боровков составил специальную записку «Краткое описание различных тайных обществ, коих действительное или мнимое существование обнаружено Следственной комиссиею», которая была впервые опубликована в издании [Декабристы в воспоминаниях 1988: 187–199]. В разделе, посвященном «Обществу Кавказскому или в Кавказском отдельном корпусе», сказано, что тайное общество, которое якобы имело целью отделение Кавказа и Грузии от России и создание отдельного государства под управлением А. П. Ермолова, отнесено следствием к выдумке Якубовича [Там же: 198]. Однако, как указано в комментариях, общество фигурировало во многих показаниях и было вполне реальным: «Расследование этого вопроса на заключительном этапе было прекращено по указанию Николая I из-за более чем возможной причастности к нему А. П. Ермолова», которого Николай, согласно исследованию М. В. Нечкиной, собирался дискредитировать иным путем [Там же: 465].

⁸ Согласно записке А. Д. Боровкова, «Общество малороссийское», которое собирался основать в Полтаве М. Новиков, в результате не было создано [Декабристы в воспоминаниях 1988: 192].

⁹ Феномен братьев Завалишиных Лотман анализировал в статье [Лотман 1975а]. Об Ипполите Завалишине см. [Там же: 44–48]. Лотман прямо говорит о существовании в Оренбурге «кружка свободолюбивой молодежи» [Там же: 45], ссылаясь на кн.: [Колесников 1914], а также на архивный текст.

¹⁰ В записке А. Д. Боровкова об «Обществе вольных садовников» сказано следующее: «Члены Южного общества, вошедшие в сношения с Польским тайным обществом, слышали от агентов одного, будто в Курляндии существует под наименованием Вольных садовников тайное политическое общество, связанное с Польским или имеющее с оным сношения. Кроме сего, никаких сведений о сем обществе никто из допрошенных в Петербурге злоумышленников не имел. Показание сего передано для исследования в Варшавский комитет» [Декабристы в воспоминаниях 1988: 197].

¹¹ См.: [Шебунин 1936].

¹² На следствии «Общество русских рыцарей» фигурировало как неосуществленный проект М. Ф. Орлова, М. А. Дмитриева-Мамонова и Н. И. Тургенева 1816 года [Декабристы в воспоминаниях 1988: 189]. Однако сам Лотман писал об этом обществе как о реальном [Лотман 1959].

Но еще более непонятен вопрос, можем ли отождествлять состав движения декабристов со списками членов тайных обществ — даже полными. Ведь было много случайных членов. Их было настолько много, что в 1821 г. было предпринято закрытие Союза благоденствия с целью чистки движения. Однако большинство русских писателей, тесно связанных с декабризмом, не были членами тайных обществ (Пушкин, Грибоедов, Денис Давыдов, Вяземский).

Если членство — не главный критерий, то где же он? Сразу на этот вопрос ответить нельзя. Необходимо проследить эволюцию общественных идей и движения. Необходимо выявить облик декабриста-человека. Конечно, это будет приблизительная гипотеза, но необходимая.

Все люди, которых мы называем декабристами, — приблизительно одного возраста, только несколько более старших — В. И. Штейнгель, генералы М. А. Фонвизин, С. Г. Волконский, М. Ф. Орлов. Однако обычная возрастная разница будет примерно в четыре года.

Первая группа — начавших войну в кампанию 1805–1807 гг., вторая — начавшая в 1812–14 гг. Не участников войны было мало. Это были люди приблизительно одной судьбы. Почти никто в тайных обществах не был без мундира — это люди примерно одного круга, одних занятий. Штатскими были Николай Тургенев, Кюхельбекер, С. М. Семенов. Некоторые выходили в отставку с военной службы и переходили на гражданскую, но это другое дело: Пушин, Рылеев, Михаил Новиков. Людей, никогда не надевавших военного мундира, вообще было мало. Даже такой невоенный человек, как П. А. Вяземский, накануне Бородинского сражения потребовал от Милорадовича взять себя в адъютанты. Значит, сутки он был в мундире¹³. Те, кто никогда не надевал военного мундира, стремились показать, что они храбрее военных (Пушкин постоянно дрался для этого на дуэли).

Нельзя увлекаться желанием построить стройную концепцию и забыть реальных живых людей. Нельзя автоматически соединить людей в группу. Эти две опасности подстерегают исследователей.

В штабе Александра I в Вильне под руководством князя П. М. Волконского состояла группа картографов. Среди них был Н. Д. Дурново — потом флигель-адъютант Александра. В 1812 г. он был адъютантом Беннигсена;

¹³ Этот эпизод, затронутый Лотманом в карамзинском спецкурсе, откомментирован нами в публикации [Лотман 2022а: 194].

убит в 1828 г. в сражении под Шумлой в Турции¹⁴. Известно о нем чрезвычайно мало. В ГБЛ <ныне РГБ. — Л. К.> хранятся 17 томов его дневников — очень аккуратным почерком описана его жизнь с 1811 по 1828 гг. (он был влюблен в свою тетку всю жизнь)¹⁵.

Дурново приехал в штаб вместе со своим другом — адъютантом П. М. Волконского М. Ф. Орловым. Находились в Вильне и части колонновожатых. Это были люди, ведавшие передвижением частей, — топографы. Людей с возможностью топографического мышления и образования было немного. Генерал Николай Николаевич Муравьев-старший организовал школу колонновожатых в Москве и также Математическое общество. Он отдал школе свой дом, а был человеком очень небогатым (его отчим Урусов требовал, чтобы он не служил и обещал огромное наследство — Н. Муравьев не захотел). Его сыновья Михаил, Александр, Николай кончили это училище и были направлены в Вильну¹⁶. Дурново пишет об их жизни, и вдруг встречается запись от 25 января 1812 г.: «исполнился год, как я вступил в тайное общество» — «Рыцарство», общество рыцарей. Больше к этому он не возвращается.

Об обществах тех лет известно мало. В школе колонновожатых было два общества — «Чока», образованное братьями Муравьевыми, это полудетское общество (см. записки Н. Н. Муравьева-Карского). Они решили расширить его состав. Поговорили со своими товарищами, и выяснилось, что уже есть общество — Мейендорф, Рамбург. Но когда общества договорились о слиянии, нужно было ехать в Вильно. Может быть, Дурново имеет в виду это общество, может быть, нет.

Жизнь в Вильно до начала войны — умеренно веселая и относительно спокойная. Все эти молодые люди пройдут войну и пройдут безупречно.

Александр Муравьев в 1815 г. стал учредителем Союза спасения, а в 1817 напишет вторую часть устава Союза благоденствия — Зеленой книги. Однако в 1817–1818 гг. с этим очень революционным человеком что-то произошло. Он всегда был человеком чрезвычайно религиозным — пламенным масоном с юности до конца жизни. Перелом связывают с женитьбой, но, видимо, все сложнее. Он вышел из тайного общества и порвал все связи. Однако он одним из первых был привлечен к следствию и приговорен по

¹⁴ В статье «Декабрист в повседневной жизни» Лотман дает ссылку на «Русский инвалид» (1828. № 304 от 4 декабря), однако А. Г. Тартаковский во вступительной статье к публикации дневника [1812 год: 35] указывает, что Дурново был убит под Варной.

¹⁵ Публикацию дневника за 1812 г. см. в издании: [1812 год]. Брат Павел Дмитриевич — герой книги «Великосветские обеды» [Лотман, Погосян 1996].

¹⁶ Комментарий к рассуждениям Лотмана о Школе колонновожатых см. ниже.

второму разряду (остальных, отошедших в 1821 г., оставили без внимания, а он отошел раньше). Потом Николай I смягчился и выслал его в Восточную Сибирь с сохранением дворянства и сделал Иркутским городничим. Там его травил взяточники и т. д. Он все-таки как-то выбился и стал губернатором Архангельской губернии (поднадзорным!). После прощения в 1855 г. стал военным губернатором в Нижнем Новгороде и плакал, увидев рескрипт реформы 1861 г., — бедные крестьяне! Пригрел и учил ссыльного Короленко¹⁷.

Братья Александра Муравьева: Николай-младший — Муравьев-Карский, Михаил — Муравьев-вешатель, граф Виленский.

Михаил Орлов — незаконный сын Федора, младшего из братьев Орловых, фаворитов Екатерины. Богатый, потенциальный наследник незамужней тетки, сильный, красивый, человек чрезвычайно хладнокровного мужества и необычайного честолюбия. Он ездил к Наполеону с Балашевым со специальным разведывательным заданием и его выполнил. Его донесение заставило отказаться от Дрисского лагеря — Наполеон двигался в другую сторону. Орлов тогда имел двухчасовую беседу с Александром. Он подписал капитуляцию Парижа и принес императору ключи города. Он стал генерал-майором. В 1826 г. был привлечен к следствию и вел себя чрезвычайно смело. Брат Алексей вымолил ему прощение, что нанесло Михаилу огромную душевную травму¹⁸.

Дурново в день 14 декабря был дежурным в Зимнем дворце. Весь день он находился около царя. Он идет увещевать мятежное каре после митрополита Серафима, потом выполняет различные поручения — арестовывает Рылеева. Далее он конвоировал Орлова в Петропавловскую крепость.

Вот, что ждет этих молодых людей, собравшихся в Вильно. Пока они поют под клавесин, играют в карты и флиртуют с барышней Вейс (потом женой В. С. Трубецкого — двоюродного брата Сергея Трубецкого). Они не знают, что их ждет. Одинаковое воспитание, интересы — разные судьбы. Почему?

Источники

Декабристский документарий складывается следующим образом:

1. Созданные в 20-е гг. XIX в. документы подпольного движения. Наше мышление — письменное мышление (об этом впервые заговорили сенти-

¹⁷ Более подробно речь об Александре Муравьеве пойдет ниже в специально посвященной ему лекции. Там же см. комментарии.

¹⁸ М. Ф. Орлову была посвящена специальная лекция, см. ниже, где приводятся также комментарии.

менталисты). Бумаг после людей всегда остается много, но они и уничтожаются. В 1826 г. жгли бумаги, причем необязательно бумаги политического характера (Пушкин в январе 1826 г. устроил в своем архиве самое большое аутодафе). Это образовало в декабристском фонде большие провалы. Фонд складывается из политических публикаций, записок, проектов, написанных в 1815–1825 гг. Декабристы постоянно задавались вопросом, что будет после заговора? Лидеры упорно создавали конституции, полагая провозгласить конституцию после победы. Это характерно для юридического типа мышления многих декабристов (в противоположность мышлению Наполеона, хотя он тоже был законник, но говорил: «Нужно ввязаться в драку, а там будет видно»). Лунин насмешливо говорил: «Они сначала хотят писать конституцию»¹⁹; нужен не Тугенбунд, а бунт (немецкий *Tugendbund* — Союз добродетели). Лунин — почти что уникальная фигура в декабристском движении со своим противопоставлением революции («драки») и конституции («бумаги»). Вообще же декабристы очень обращали внимание на программы.

К сожалению, конституция Союза спасения до нас не дошла (Нечкина сделала попытку ее реконструировать), сохранилась конституция Н. М. Муравьева, исследованная Н. М. Дружининым в 1932 г. Другой памятник — «Русская правда» Пестеля, имевшая многоступенчатую трагическую судьбу. Пестель был арестован 13 декабря 1825 и не успел поднять Вятский полк, как должен был сделать и как сделали потом черниговцы. Пестель перед арестом успел спрятать «Русскую правду» (вероятно, он сделал это для истории, как и потом, когда давал показания на процессе. Установка на историю заставила его быть предельно откровенным — он считал, что некоторые жертвы нестрашны для России, страшно отсутствие революционной традиции). Она не была закончена. В очень детальных признаниях Пестель указал, что «Правда» не писалась у него в последние месяцы. Тем не менее он чрезвычайно аккуратно спрятал документ. Место захоронения было известно его денщику и Бобрищеву-Пушкину. Была организована специальная экспедиция, и «Русскую правду» привезли в Петербург. Она вместе со всеми делами находилась под специальным хранением. В 1906 г. М. В. Довнар-Запольский ее опубликовал, очень дефектно. Потом она исчезла вместе со всем делом Пестеля. В 1920 г. при ремонте здания Генерального штаба дело Пестеля было обнаружено замурованным в камине. «Русская правда»

¹⁹ В статье «Декабрист в повседневной жизни» Лотман приводит высказывание Лунина в следующей огласовке: Пестель предлагает «наперед Энциклопедию написать, а потом к Революции приступить» [Лотман 1975: 28].

должна была быть опубликована в 7-м томе «Восстания декабристов». Ее подготовка была поручена С. Н. Чернову. Он обнаружил, что было несколько редакций, и проделал огромную работу по их анализу. Она вся погибла в блокаду (ибо до этого рассыпали набор из-за того, что исследователь не слал корректуру). «Правда» все-таки вышла в 7-м томе со вступительной статьей М. В. Нечкиной.

В 1818–21 гг. декабристы, считая нужным влиять на правительство, написали императору большое количество записок по самым разным вопросам экономики, политики и т. д. Одновременно записки пускались по рукам (с целью влияния на общество). Копии частично сохранились в разных архивах. Записки по крестьянскому вопросу подавали Н. И. Тургенев и барон Штейнгель, Пестель подал фактически проект переустройства армии (см.: Е. А. Прокофьев «Борьба декабристов за передовое военное искусство», 1953).

Из уставов не сохранился устав Союза спасения, сохранилась «Зеленая книга» — первая часть устава Союза благоденствия, опубликованная А. Н. Пыпиным в третьем издании его книги «Общественное движение в России при Александре I», потом — в издании «Декабристы. Сборник отрывков из источников». М., 1926.

То, чем мы располагаем, — копии, оригинал не сохранился. Ю. Г. Оксман высказал предположение, что оригинал «Зеленой книги» может быть был не только рукописным, но и литографированным (у декабристов было два литографических станка — их издания неизвестны).

2. Письма, дневники участников движения. Дневников мало, один из ценнейших — Николая Тургенева.

3. Дела следственной комиссии — опубликованы в основном в серии «Восстание декабристов», но не все. Дела следственного комитета были недоступны историкам до 1906 г. До этого поверхностно ознакомились генерал-историк М. И. Богданович (почти не воспользовался) и Н. Ф. Дубровин — серьезный историк. Реальное изучение фонда началось с 1906 г. Довнар-Запольский опубликовал ряд работ и выдержек из источников. Они сыграли большую роль, но в настоящее время представляют только исторический интерес.

В 1909 г. вышла книга В. И. Семевского «Политические и общественные идеи декабристов». Семевский — брат Михаила Семевского, издателя «Русской старины», был историк народнического толка, но высококвалифицированный человек и большой труженик. Книга сразу ввела в науку огромный материал по процессу, без нее обойтись нельзя.

Потом фонд начал издаваться. М. Н. Покровский создал комиссию, правильно считая, что нельзя исследовать без публикации документов. Начала

выходить серия «Восстание декабристов». Но мертвая фиксация документов ничего (или мало что) дает. Нужно учитывать, в какой ситуации и с какой целью документы были созданы. Без этого мы будем составлять программу рукописей, но не программу реальных людей. **Документ — не объект цитации, а материал для реконструкции.**

Серия «Восстание декабристов» — слепое издание, это только материал. Н. И. Мордовченко хотел написать историю процесса день за днем²⁰. П. Е. Щеголев показал Николая I в роли следователя как артиста, и талантливого²¹. Но надо его тактику объяснить и проанализировать.

4. Писания декабристов в Сибири. Это замечательные документы. Тактика правительства — молчание. Прерывали это молчание сами декабристы.

Николай Тургенев в 1847 г. издал свои мемуары²², книга эта тенденциозна. Он писал, что тайные общества имели единственной целью помочь правительству.

Письма Михаила Лунина к сестре²³ — героическая попытка прервать молчание.

Записки декабристов, написанные в Сибири и потом, — Якушкина²⁴, Басаргина²⁵, Волконского²⁶ и его жены, Трубецкого²⁷ и т. д.

Всякая история, а особенно русская состоит совсем не только из письменных источников и памятников материальной культуры. Сумма источников и вещей составляет только часть исторических документов, вторая часть — устные разговоры. Мысли вынашиваются в разговорах или в устных выступлениях. Иногда они отражаются в мемуарах, но очень неполно и неадекватно. Декабристская история — почти вся в разговорах. Это — дружеские споры, такие, как, например, между Онегиным и Ленским. Культура устной беседы была гораздо выше, чем культура письменной речи. И разговоры нам не даны. Когда нам удастся реконструировать беседу, на это нужны годы. Очень часто наше представление о человеке не совпадают с письменными источниками. Например, Грановский. По значению его ставили рядом

²⁰ См. об этом в статье Лотмана о Мордовченко [Лотман 1973].

²¹ См.: [Щеголев 1919].

²² См. научное издание: [Тургенев Н. 2001].

²³ См.: [Лунин 1988].

²⁴ [Якушкин 1951].

²⁵ Воспоминания Н. В. Басаргина, А. П. Беяева, М. А. Бестужева, И. И. Горбачевского, И. Д. Якушкина, П. Е. Анненковой, М. Н. Волконской опубликованы в изд.: [Декабристы в Сибири 1973].

²⁶ [Волконский 1902].

²⁷ [Трубецкой 1906].

с Белинским, а написано им мало²⁸. От Станкевича тоже осталось мало сочинений²⁹.

У устных рассказов и письменных документов совсем разная логика. В письменной речи человек более осторожен, трафаретен. Это характерно и для декабристских документов — гораздо более умеренных, чем их разговоры. Например, хотя бы голосование Коренной думы в 1820 г. на квартире полковника Шипова: чем будет Россия, республикой или монархией? Участники, конечно, не подозревали, что этот разговор некоторых приведет на каторгу (потом следственный комитет не делал разницы между словом и делом). Все высказались за республику, Федор Глинка один высказался за монархию, проявив большую смелость и мужество. Николай Тургенев, убежденный конституционный монархист, сказал: «Президент без разговоров!» — цитата из аббата Сийеса, его фраза в Конвенте, когда решался вопрос о судьбе вчерашнего короля: «Казнь без разговоров!». Для Тургенева это было *mot*, но это дало основание причислить Н. Тургенева к царевубийцам и приговорить к отсечению головы. Наверное, в письменном виде Н. Тургенев, юрист и доктринер, а не трибун, подал бы мнение в духе своих сочинений. Кроме того, игра в Конвент — это еще не сам Конвент, где Тургенев никогда не разместился бы на «горе».

Письменные источники в декабристике имеют смысл только в отношении к разговорам, спорам.

Историография по декабризму

Литература о декабризме идет в двух руслах:

1. Расширение источников, документов — хотя наряду с находками документов они постоянно теряются (например, мемуары Г. С. Батенькова, последняя хранилище, свято чтя его память, попросила положить их в гроб).
2. Общее понимание того, что есть восстание и вообще движение декабристов, что значит оно в русской истории и что значит для нас — концепционное объяснение.

²⁸ Полное собрание сочинений Грановского в двух томах было опубликовано четвертым изданием в 1905 г., а его лекции по средневековой истории, прочитанные в Московском университете, публиковались в 1961 г. (переизданы в 1987 г. в серии «Памятники исторической мысли»), лекции по позднему Средневековью по студенческим конспектам с авторской правкой — в 1971.

²⁹ См.: [Станкевич 2008].

Первое, что получили люди, не участвовавшие в восстании, о декабристах, — это правительственная легенда³⁰. Во-первых, распространялась через печатные сообщения о событиях и о суде над декабристами, а также через внедрение ложных слухов. Правительственная версия: событие 14 декабря — случайное, оно вызвано преступными замыслами очень небольшого числа людей, имевших целью уничтожить царскую семью. Солдаты были обмануты и ничего в замыслах не понимали (легенда о жене Константина — Конституции). Ростопчин ядовито сказал в Москве, что в Европе сапожники (голытьба) для того, чтобы стать богатыми, делали революцию, это понятно; в России революцию делали баре, видимо, хотели сделаться сапожниками. Брошюра Корфа «Восшествие на престол императора Николая I-го»³¹ повторила ту же версию, распространив ее в Европе.

Другая легенда была сформирована Николаем Тургеневым в 1847 г. в книге «Россия и русские»: тайное общество не преследовало революционных целей, оно преследовало реформаторские цели и хотело помочь правительству. Он точно излагал позицию Союза благоденствия и распространял ее на **всю** историю движения, и делал это совершенно сознательно. Он настаивал на том, что после 1812 года Александр собирался осуществить давно обещанные реформы. Тургенев основывался на реплике императора на параде в Париже. Тогда и возникло общество для помощи правительству в этих его намерениях. Здесь он не уклонился от истины: в 1815–16 гг. Н. Тургенев сам его разделял. Он считал, что крепостное право может быть уничтожено только правительством. Для этого нужно самодержавие, ибо помещичий парламент никогда свободу крестьянам не даст. Тургенев доказывал, что не тайное общество изменило правительству, а наоборот: Александр I впал в мистицизм и попал под влияние Аракчеева, а тайное общество стояло на прежних позициях.

³⁰ Никакой другой версии, кроме правительственной, в печати не допускалось, да и сами участники восстания должны были умереть для общества. В своей книге «Великоветские обеды» Ю. М. Лотман и Е. А. Погосян приводят характерный анекдот. По воспоминаниям внука декабриста Волконского, тоже князя Сергея Волконского, когда Николай I увидел в ложе министра двора князя Петра Михайловича Волконского красивую юную девушку, он осведомился, кто это. Это была дочь декабриста Елена, которой в 1850 г. разрешили приехать в Петербург. Министр ответил: «Моя племянница Волконская, дочь Сергея. — Ах, это того, который умер. — Он, Ваше величество, не умер. — Если я говорю, что он умер, значит умер» [Лотман, Погосян 1996: 49].

³¹ Первые варианты труда барона М. А. Корфа о 14 декабря были отпечатаны в 1848 и 1854 гг. тиражом в 25 экз. и составляли семейную тайну императорского дома. Первое публичное издание появилось в 1857 г. уже после амнистии декабристов. Оно представляло публике официальную версию событий, но было тщательно документировано. См. научное издание: [14 декабря 1825 года].

Эта концепция перешла в сочинения А. Н. Пыпина. Потом она повлияла на либеральную историографию и на незаконченный труд Г. В. Плеханова «История общественной мысли в России». О XIX веке Плеханов написать не успел, дал только отдельные очерки, но мысли о декабристах рассеяны во многих местах. Концепция эта повлияла на М. Н. Покровского, как это ни странно.

Третья мощная концепция высказана в 1851 г. Герценом в брошюре «О развитии революционных идей в России» на немецком и французском языках. Герцен не был ни участником движения, ни историком. У него было мало источников и очень недостоверные. Но он был погружен в воздух, которым дышали декабристы, и имел в распоряжении огромный комплекс устных разговоров.

По Герцену, декабристы — это особое поколение: цельные люди, богатыри, выкованные из стали рыцари без страха и упрека³². Психологическая цельность декабристов для Герцена очень важна. Это люди дела и борьбы — отцы, люди 1820-х годов. Далее — люди 1840-х годов, люди рефлексии, загубленные внутренним разломом между словом и делом, идеалом и действием. Герцен у декабристов противоречий не видит. Потом он достроил схему до триады — люди 1860-х годов, снова цельные люди, но уже не люди дворянской культуры, для которых главное — честь, это — новое поколение практиков, Базаровых.

Герцен подмечает много очень конкретного, ибо знал декабризм конкретно. Хотя, конечно, его легенда не может быть отождествлена с истиной, но должна быть предметом серьезного изучения. Она очень повлияла на труды М. В. Нечкиной и ее школы.

Когда возникла научная литература о декабризме? С 1906 г., когда появились публикации и монографии (работы Павлова-Сильванского о Пестеле в «Былом» за 1906 г., работы Семевского и других), это внесло совсем другую степень конкретности и пошатнуло все существовавшие легенды о декабристах.

Герценовская легенда жила в умах русских людей с 1860–70-х гг. как истина. Но с развитием научной литературы стало очевидно, что легенды страдают схематизмом. Сразу стало понятно, что общество до 1821 г. и после — разные вещи, выявился антагонизм между Северным и Южным обществами. На месте рыцарей без страха и упрека возникли реальные люди XIX в. с политическими взглядами и теориями, не всегда созвучными людям XX в. Семевский выяснил, что декабристская конституция отделяла крестьянам

³² Здесь Лотман вольно цитирует письмо пятое книги Герцена «Концы и начала» (1862).

меньше земли, чем Аракчеев по своему проекту. Стало ясно, что легенда должна замениться фактом.

Дореволюционная марксистская историография не очень значима. Первое выступление принадлежит М. Покровскому и К. Левину — они написали совместную статью в энциклопедию «Гранат». Они же написали еще несколько работ. К ним нужно прибавить высказывания Ленина.

Труды Покровского имели большой резонанс после революции. Он пытался выяснить экономическую природу декабризма, в противоположность Герцену, объяснившему декабризм историко-психологически. Покровский связал движение с развитием русского и европейского помещичьего хозяйства. Начало русского экспорта хлеба за границу привело к повышению производительности русского хозяйства. К концу XVIII в. цены на хлеб на европейском рынке очень выросли. Непроизводительность крепостного крестьянского хозяйства привела к идее уничтожения крепостного права. Но Покровский бессознательные экономические рычаги трактовал как сознательные и превратил декабристов в корыстных помещиков. Разницу между программами Северного и Южного обществ он разъяснил большей интенсивностью южного хозяйства. Покровский — большой историк, хотя и высказывал парадоксальные концепции, фигура, напоминающая Н. Я. Марра. В концепции Покровского была здравая и сильная сторона — деромантизация декабризма. К сожалению, здесь он перехватывал через край. Но он указал и на реальную ограниченность движения, которая была закрыта в легенде Герцена.

Скачком в изучении декабризма стали 20-е гг. XX в. Он был связан с открытием государственных архивов для молодых историков. Добавочным стимулом явился столетний юбилей восстания в 1925 г. Он был широко отмечен и в СССР, и за рубежом. В 1925 г. вышел первый том «Восстания декабристов» — в ту пору сенсационное издание; сборник научных статей «Бунт декабристов» под редакцией Ю. Г. Оксмана и П. Е. Щеголева (1926) и целый ряд публикаций, продолжавшихся приблизительно до 1934 г. Черту подвел двухтомник, написанный учениками Покровского, разгромивший его труды³³.

Интенсивное изучение творчества Пушкина также способствовало изучению декабризма. Потом был спад. Подъем вызвал юбилей в 1950 г. Вышли новые тома «Восстания декабристов» и второй том библиографии (первый

³³ Имеется в виду издание: [Против Покровского]. В первом томе была опубликована статья М. В. Нечкиной «Восстание декабристов в концепции М. Н. Покровского».

том Н. М. Ченцова охватывал литературу до 1925 г. включительно)³⁴, «Литературное наследство»³⁵. Это всё создало оживление, длившееся приблизительно до 1966 г. (С. С. Волк «Исторические взгляды декабристов»). Работы этого периода отталкиваются от концепции Покровского. Надо иметь в виду, что концепции Покровского и Ленина не совсем совпадают. Покровский считал декабристов по классовой сущности представителями буржуазии, и его обвиняли в отходе от Ленина. Нечкина строит свои работы как восстановление ленинской мысли.

Работы Нечкиной сыграли в основном положительную роль. Она знает следственные дела великолепно. Но у нее есть и уязвимая сторона — это тенденция к заглаживанию противоречий, некое восстановление герценовской легенды. Декабристам приписывается бóльшая революционность (да, собственно, надо еще выяснить, что такое революционность).

Крайности приводят иногда и к фактическим ошибкам (книга В. А. Архипова «М. Ю. Лермонтов: поэзия познания и действия» 1965 г. скандальна). Цепь незначительных сдвигов приводит в конечном итоге к искажению истины.

Такое явление как дворянская революционность нигде в Европе не встречается. Что-то отдаленно похожее встречается только в Венгрии и Польше. Поэтому сравнение социально-экономического пути развития России с социально-экономическим строем Западной Европы необходимо, но не исчерпывает вопроса.

История России очень специфична. Она делится на ряд периодов, настолько самостоятельных, что возникает сомнение в их преемственности. Киевский период закончился огромной военной и социальной катастрофой, и связь его с московским периодом достаточна проблематична. Катаклизмы XVI в. — разрушение Новгорода, уничтожение Твери (на нее также обрушилась ярость Грозного). Псков не был разрушен, но был ограблен, не избежал и казней. Разгром русского Северо-Запада был частью резкого катаклизма, уничтожившего строй XIV–XVI вв. (снизу доверху).

В XVII в. происходит избрание царей, и возникает зародыш соборного управления, который так идеализировали славянофилы, но идет и постепенное укрепление самодержавия. Потом петровская реформа, также имевшая взрывной характер. Происходит эсхатологическое уничтожение социального

³⁴ [Ченцов 1929; Указатель 1960].

³⁵ [АН 1954–56].

строю³⁶. Оно сопровождается изменениями наиболее устойчивых сторон человеческой жизни — быта (Великая Французская революция не разрушила быта даже аристократии, не говоря о быте буржуа — костюм сохранился до сих пор). Между тем Смутное время, петровские реформы разрушали быт.

Но процесс русской истории можно описать и с другой стороны. Можно было бы представить его как необычайно устойчивый. Это не только теоретическая возможность. Это характерная черта и русской историографии (ряд историков подчеркивает динамизм, ряд — устойчивый характер русской культуры).

Если мы обратимся к истории русской культуры, нам бросится в глаза такой, казалось бы, внешний признак, как двуязычие — сочетание письменной церковнославянской языковой культуры и разговорно-русской. В пределах средневековой культуры это общая закономерность. Для европейского Запада это латынь (язык культа) и национальные языки — как бытовые, так и языки различных литературных жанров, и язык государства. В России церковнославянский язык был более понятен, чем латынь для мирян Западной Европы. Но не во всех западных европейских странах это было так — староманский язык XII в. мало отличался от церковной латыни.

Однако тенденция к непонятности была сознательной — стремление к двуязычию характерно и для средневековых арабских стран, Индии, Армении, Японии. Это универсальный закон средневековой культуры. Но в России двуязычие было более глубоко, более длительно и более универсально. Два языка оказались выражением более глубоких процессов. В Киевской Руси было два культурных центра: Киев и Новгород — равные по значению, но разные по характеру; потом — это Петербург и Москва. Это не случайно, это внешний поверхностный симптом. Для культуры киевского периода характерны и две культурные ориентации: Киев ориентировался на мир Византии, эллинистической Азии и средиземноморской Европы — Франция, Италия, Болгария, славянские страны. Новгород ориентировался на Запад — Ганза, Англия, Скандинавия, Литва. Через Вильну он связан с Чехией — Моравией и Богемией. В Моравии сталкиваются Рим и Византия (там действовали Кирилл и Мефодий). Католический мир стремился завязать отношения с Русью через северные города — Новгород и Тверь, т. к. Византия блокировала римское влияние.

³⁶ Проблема дуальной модели развития русской культуры, в отличие от тернарной модели западно-европейской культуры, и эсхатологический характер, вызванный дуальностью, обсуждается в статье [Лотман, Успенский 1977].

Этот процесс двуориентации углубился потом альтернативой «Запад – Восток». Перед Русью стояла альтернатива — борьба с татарским нашествием или с надвигавшейся угрозой с Запада. Князь Данило Галицкий был сторонником сближения с Западом, ибо считал борьбу с татарами национальной задачей (статья Вернадского³⁷, книга Гумилева³⁸). Он был согласен на унию с Римом, подписал унию с Польшей и активно насаждал западное рыцарство. Другой путь — путь Александра Невского. Татары не были религиозно враждебны. Союз с Западом предполагал уступку в вопросах веры. Татары терпимо относились к другим религиозным системам. Кроме того, значительное число татаро-монголов XIII в. были христианами несторианского типа (принятого в Армении). Несториане, выброшенные из Китая, тоже сосредоточились в Монголии. Почти вся монгольская элита была христианской. Речь шла о союзе, наносившем удар по государственной целостности, но сохранявшем религиозную. Александр Невский пошел по этому пути очень далеко. Новгород не должен был платить дань, но Невский побратался с ханом и отвез дань. У Чудского озера появилась монгольская конница, произведшая большое впечатление на орденские войска. В XIV–XV вв. русские князья (почти все) свободно владели татарским языком, но

³⁷ По-видимому, имеется в виду статья Г. В. Вернадского «Два подвига св. Александра Невского» [Вернадский 1925], где он пишет: «Предстояло выбирать между Востоком и Западом. Двое сильнейших русских князей этого времени сделали выбор по-разному. Даниил Галицкий выбрал Запад и с его помощью попытался вести борьбу против Востока. <...> Политика Даниила Галицкого не была, впрочем, последовательной и прямолинейной. Даниил лавировал между римским папою, Уграми (Венгрией), Чехией, Польшей, Литвою, татарами, собственными боярами и родственниками-князьями. Первый страшный удар нанесен был татарами юго-западной Руси в конце 1240 г. (взятие Киева); вся Волынь и Галиция были затем опустошены <...> Даниил не пытался оказывать сопротивления. Еще до взятия Киева он уехал в Угры, ища против татар помощи у короля Угорского.хлопоты Даниила оказались тщетны». Далее подробно говорится о политике Даниила, о его визите в Орду в 1250 г., о соглашении с Батыем, успехах на Западе, переговорах с папой и о неудачных попытках бороться с татарами с помощью Запада. Вывод Вернадского неутешителен для Даниила: «Между тем надвигалась гроза с Востока. Даниил увидел, что не в силах справиться с этою грозою — предотвратить начавшееся опустошение своей земли татарами. Ему пришлось уступить и бросить все свои мечты. <...> Вся “большая политика” его таким образом кончилась неудачею; он имел успех только в “малой политике” — борьбе с непосредственными соседями литовцами, которых против него не поддерживали ни монголы, ни крестоносцы — латиняне. Даниил разменялся на повседневные политические мелочи и упустил из рук главные нити исторических событий». Вернадский противопоставляет Даниилу Александра Невского как дальновидного и успешного политика.

³⁸ Судя по хронологии выхода книг Гумилева, видимо, имеется в виду: [Гумилев 1970]. В ней основной сюжет, связанный с анализом легенды, вставлен в обширный исторический контекст, в частности, связанный с образованием империи монголов в XIII в. и ее историей в XIII–XIV вв.

заимствования из него, как потом из французского, очень невелики — то есть он воспринимался как иностранный язык.

Итак, ориентация на две культуры была отчетливой и проходила в сердцеvine культуры. Двужычие оказалось очень серьезным явлением. Церковнославянский язык уступил свое культурное место (после реформы Ломоносова это — стилевой элемент русского языка, а не два разных языка). Для Ломоносова церковнославянский и бытовой русский языки были двумя элементами, из которых складывался новый язык. Он смешал два языка и регламентировал это смешение. В 1730 г. Третьяковский предложил создать одноязычие, полностью отказавшись от церковнославянского языка вне церковной сферы. И Ломоносов, и Третьяковский создавали одноязычие³⁹.

В петровскую эпоху наметилось русско-голландское двужычие, при Анне — переходное русско-немецкое двужычие, с Елизаветы — русско-французское двужычие. Говорение на двух языках очень характерно для Европы XVIII в. Только Франция была одноязычной страной, в остальных странах элита говорила по-французски. Поэтому для России XVIII в. неизвестно, сложилось ли двужычие на русской почве или было перенесением немецкой системы.

В допетровскую эпоху церковнославянский язык был языком письменных памятников, а русский язык — бытовым языком (первые грамматики русского языка создавались для иностранцев, для русских первыми грамматиками были грамматики церковнославянского — это очень показательно). В XVI–XVII вв. сложился и нецерковный литературный язык, т. е. письменный язык. Французский язык проникает на русскую почву и как язык письменной высокой культуры, и как язык небрежной светской речи. Но и русский язык существует в двух формах, поэтому взаимодействие будет гораздо более сложным.

В первом случае (французский — письменный, русский — устный) — это и Татьяна Ларина, и Яковлев, отец Герцена, спросивший сына в 1830-е гг., существует ли русская литература (он не допускал и мысли об этом — русский язык не мог быть для него языком литературы). Для этого типа носителей письменный язык — нормирован, а устный язык не нормирован. Во втором случае (французский и русский — письменные) — есть правильная нормированная речь и по-французски, и по-русски. В третьем случае (французский — устный, русский — письменный) противопоставляется правильная

³⁹ Идеи о церковнославянско-русской диглоссии в допетровской Руси и о двужычии в послепетровской, равно как анализ феномена двужычия излагались в совместной с Б. А. Успенским статье: [Лотман, Успенский 1975].

русская речь и неправильная французская (Фонвизин, Новиков). Может быть и два ненормированных говорения — и по-русски, и по-французски (провинциальная речь — и русская, и французская в комедиях Крылова).

Но сложную систему языка, двуязычия можно подвести под еще более общий знаменатель — альтернатива языка дворянского общества и языка народа. Петровская реформа была ориентирована на уничтожение средневековья, но неслыханно углубила процесс двуязычия. Петр разорвал национальный организм на две части: народная и дворянская культуры пошли разными путями и оформились в два разных явления. Конечно, граница не была абсолютна. В быте дворян (не только провинциальных) сохранилось много элементов крестьянского быта. И все же — это разные явления. Нигде в Европе различие не было так глубоко, в частности, не существовало такого глубокого двуязычия.

В XVIII в. уже начало оформляться это разделение культур. Возникновение, с одной стороны, Шляхетного кадетского корпуса (рыцарской академии) в Петербурге; с другой стороны — университета в Москве. Университет и Киевская академия были окрашены в более демократические тона, не имели характера замкнутого учебного заведения. Тенденция к созданию закрытой дворянской культуры (Сумароков, Щербатов) не увенчалась особым успехом, она была отмечена чертами искусственности, но ставился вопрос о долге дворян перед нацией. Одновременно идет борьба за привилегии (вырывание у правительства уступки за уступкой), но обретение каждой привилегии осознается как вина, за которую надо платить. Появляется идея долга перед народом — она синхронна существованию дворянской культуры и пережила ее. Н. К. Михайловский в статье «Г. И. Успенский как писатель и человек» отмечал в русской культуре два типа героев: героя «уязвленной совести» и «возмущенной чести». В статье «О Тургеневе» им соответствуют Рудин (он перед всеми чувствует себя виноватым; для Михайловского таковы и народники) и Базаров (ему ни перед кем не стыдно, он пришел делать, а не рефлексировать). Дело здесь не в социальном происхождении, а в психологическом комплексе (для Тургенева в статье о Гамлете и Дон-Кихоте первый тип — бессилён, для Михайловского — нет). Чехов в принципе не признавал своей вины ни перед кем. Он не считал человека интеллигентного труда хуже человека из народа, в чем его резко упрекала народническая критика — Скабичевский прогнозировал, что Чехов умрет под забором⁴⁰.

⁴⁰ О чем Чехов с горечью рассказывал Бунину: «Скабичевский <...> писал, что я умру под забором от пьянства, так как у меня "искры Божьей нет"» [Бунин 1956: 5, 277].

Идея вины оказывается у колыбели дворянской культуры и имела сходные черты в допетровской традиции. Одно из догматических различий католичества и православия заключается в троичном и двоичном представлении о загробном мире: «рай – чистилище – ад» и «рай – ад». В католической системе, чтобы попасть в рай, необязательно быть святым, можно пройти через чистилище и попасть в рай, поэтому этическое мышление было менее максималистическим. Но для православного представления всякое несвятое поведение — греховно. Это максималистическая этическая концепция. Вся государственная сфера оказывается или греховной, или бесконечно государственно-святой (то есть всякий князь — святой). Православная система резко противоречила бытовой норме поведения, поэтому вводилась система заступников (праведник искупает наши грехи, беря их на себя). Заступник, праведник должен взять на себя добровольно тяготы других и нести их. Отказ не допускается. Потом — это идея службы человека государству как идея долга.

Декабризм — явление уникальное⁴¹ и одновременно глубоко национальное. Поэтому он имеет не только исторический, но и нравственно-человеческий смысл.

В XVIII в. определилась такая характерная черта русской культуры, как разрыв между культурой образованной части общества (дворянской) и народной. В 1826 г. Грибоедов, только что выпущенный из Генерального штаба, где находился во время следствия, написал памфлет «Загородная поездка». Смысл его — разрыв народной и дворянской культур: разные типы нравственности, образования. Сюжет прост: воскресная загородная прогулка дворян, когда автор становится свидетелем народного праздника. Он во фраке, опершись о березу, смотрит на пляшущих крестьян и чувствует себя иноземцем (чужие между своими). Таким образом, разрыв культур осознавался очень рано. Белинский в 1834 г. в «Литературных мечтаниях» сказал, что Петр своей реформой разорвал Россию на две части. Это была мысль кружка Станкевича.

Мысль эта стала тривиальной. Но она чересчур резка, было много промежуточных ступеней. Жизнь дворянина в XVIII в. в поместье близка во

⁴¹ К сожалению, Ю. М. Лотман, дважды повторив мысль об уникальности движения декабристов, не раскрыл ее и не показал, в чем отличие этого движения от революций в Испании и Неаполе 1820 г., на которых всегда останавливался в лекциях о Пушкине, не только в связи со строками из X главы «Онегина»: «Тряслися грозно Пиренеи, / Волкан Неаполя пылаал» и т. д., но в связи с кризисом, пережитым Пушкиным в 1823 г., и его разочарованием в революционных выступлениях.

многим к народной. В XVIII в. вольнодумцами в быту были немногие, как, например, в начале XIX в., когда нехождение в церковь было обычным явлением. В XVIII в. это было значимым: быт был еще крепок старыми устоями и образовывал точки пересечения двух культур. Церковный обряд был мостиком между ними. Язык церковной службы был одинаково понятен и одновременно чужд и народу, и дворянам. Фольклор, особенно календарный, еще очень широко входил в дворянский быт. Он был общим.

Дворянская культура была не единственной культурой книжного (ненародного) типа. Церковь, получившая сильный удар в петровскую эпоху и потерявшая монополию в культуре, принужденная защищать узкий угол культуры, продолжала влиять на культуру в целом. Иногда церковная цензура делала «вылазки». Синод угрожал Ломоносову костром — это вызвало только смех, хотя в 1714 г. по решению собора во главе со Стефаном Яворским был сожжен иконоборец Федор Иванов. В 1701 г. к Григорию Талицкому была применена казнь копчением.

Поскольку необходимы были семинарии и академии, то в руках у церкви находилась большая сфера духовных учебных заведений, но готовили они далеко не только духовных лиц. Многие чиновники, а затем люди академических кругов — профессора — были выпускниками духовных учебных заведений. На Украине, где дворянство было образовано несколькими законодательными актами и было очень необеспеченное (да и в некоторых русских южных губерниях, особенно в Курской, были дворяне, пахавшие землю), некоторые дворяне учились в Киево-Могилянской академии, но и богатые дворяне год-два учились в академии. Например, П. В. Завадовский, будущий фаворит Екатерины II, учился в иезуитском училище, потом в Киевской академии, вступил в армию, служил в канцелярии Румянцева. Он был очень порядочным человеком и очень меланхоличным — постоянно плакал, когда Екатерина хоть на час его оставляла.

Церковная культура в определенном смысле сохраняла достоинство национальной культуры. Архаизированным, с сильными церковнославянскими элементами был язык правительственных манифестов эпохи 1812 года. Он имел «национальную» окраску. В 1812 г. «архаист» Шишков был назначен государственным секретарем (при всей глубокой неприязни к нему Александра I). Позднее редактирование манифеста об освобождении крестьян было поручено митрополиту Филарету.

Мы могли бы продолжить дробление культур — Санкт-Петербургская, Московская и т. д. Но предмет нашего рассмотрения — декабризм — определяется как **дворянская** революционность. Поэтому нам надо обратиться к русскому дворянству этой поры как к социальному организму. Нельзя

вкладывать в эпитет только отрицательный смысл, это не исторично. Нужно представить явление как целое.

Декабристы были в подавляющем большинстве дворянами, хотя и недворянская культура существовала в России. Кроме того, в большинстве своем декабристы были военными на службе или в отставке. Мало было людей старше 40 лет. Таким образом, движение было дворянским, военным и молодежным⁴².

Итак, дворянским. Слово «дворянин» появилось в XII–XIII вв. — люди, принадлежащие к привилегированному сословию, но не имеющие наследственной земли. Они служат великому князю, их за то помещают на земли. Таким образом, поместье — владение временное (это жалование, зарплата), а вотчина — постоянная. То есть выделяются две группы: владеющих по наследственному праву благородства (бояре) и по службе; дворянство — служилое сословие. Американский историк Марк Раев (Раефф) связал служилое происхождение русского дворянства с психологией декабризма. Вопрос о социальной психологии в России конца XVIII – начала XIX вв. совсем не исследован, поэтому концепция Раева выделяется: русское дворянство воспитано на идее долга, а западноевропейское — на идее чести. В допетровскую эпоху это был долг перед князем, в петровскую эпоху — перед отечеством. С начала XVIII в. дворянин служит государству и превращается в патриота, с началом XIX в. дворянство ощущает долг перед народом. Идея Раева закончена и красива, но не глубока.

Боярство не было экономически связано с княжеским двором. Считалось, что боярство — реакционная сила, а дворянство — прогрессивная. С. Ф. Платонов определял петровскую реформу дворянской (антибоярской) революцией. Реальная картина более сложна. Действительно, дворянство в XVI–XVII вв. ведет борьбу за землю — за расширение экономической базы. Но в России уже к XVI в. не было резкого деления на боярство и дворянство. Мы не имеем деления, похожего на деление на магнатов и шляхту в Польше. Магнат имел список шляхтичей, подвластных ему, они должны были голосовать за него на сейме, становиться под его знамя в ополчении. У них был общий герб. В России это присутствовало как тенденция, но уже

⁴² Аналогичной точки зрения придерживался и Н. Я. Эйдельман в своей книге о Лунине. В частности, он высчитал средний возраст декабристов: «Средний возраст тех, кто был наказан каторгой, поселением, крепостью, солдатчиной, Кавказом, надзором, составлял 27,4 года (от 17-летнего Львова до 59-летнего Горского). Если же прибавить сюда тех, кто был в Союзе благоденствия и других ранних обществах, то средний возраст заговорщиков — всего 30,3 года; многим из вождей не было и тридцати; 38-летний Лунин был среди декабристов — стариком» [Эйдельман 1970: 195].

к XVI в. замутнилась по инициативе самодержавной царской власти. Академик С. Б. Веселовский провел социологическое обследование опричнины⁴³ — там было одинаковое количество и бояр, и дворян. То же и среди жертв опричнины. Смысл опричнины остается загадкой, может быть, что-то прояснит некоторый параллелизм. Иногда повторяемость событий многое проясняет. Гибель царевича Алексея Петровича загадочна и кажется уникальной, но имеется еще целый ряд смертей — сыновья Ивана Грозного Иван, Дмитрий, затем Иоанн Антонович и т. д. Параллелизм больше прояснит: опричина XVI в., стрельцы XVII в. и гвардия XVIII в. Все эти виды войск не сложились исторически, а были учреждены законодательным актом, они были новыми войсками и создавались, в основном, не для военных целей — они были ориентированы на политическую роль.

Каждый раз это войско становилось опасным: опричников и стрельцов казнили, гвардия была Павлом I «разбавлена» гатчинскими полками. Власть создавала себе искусственную базу из наличного социального материала (боярство и дворянство, городской посад). Смысл — перемешивание социальных слоев. Грозный настолько перемешал боярство и дворянство, что к XVII в. мы имеем одну социальную силу, а не две. При Алексее Михайловиче эта сила стала опасной. Алексей Михайлович имел ясную социальную доктрину: безграничное самодержавие и слияние с Западом. Он расширил стрельцкие полки. Это было войско, задабриваемое правительством. В конце концов оно стало хозяином правительства (как всегда). То же потом сделал Петр. Не надо поэтому преувеличивать скачок начала XVIII в. Во второй половине XVII в. уже наметился курс реформ, аналогичных петровским.

Петр создал единый социальный организм — дворянство. Его обязанности определялись по отношению к правительству и народу. Петр сделал попытку предотвратить превращение дворянства в замкнутую касту — указ о единонаследии, табель о рангах. Все акты последних лет царствования Петра, очень сложных психологически, были лихорадочными попытками остановить стихийный, неотвратимый процесс гниения государственного аппарата. Лозунг царствования Петра — *польза всенародная*⁴⁴. Но выполнение его оказалось невозможно. Это стало лишь демагогической вывеской. Начала складываться дворянская диктатура. Табель о рангах открыл доступ

⁴³ См.: [Веселовский 1963].

⁴⁴ Ср.: «Настойчиво твердя в своих указах о государственном интересе как о высшей и безусловной норме государственного порядка, он <Петр. — Л. К.> даже ставил государя в подчиненное отношение к государству как к верховному носителю права и блюстителю общего блага. <...> Самые эти выражения: *государственный интерес, добро общее, польза всенародная* — едва ли не впервые являются в нашем законодательстве при Петре» [Ключевский 1989: 193].

в дворянство, потом он был сведен на нет многочисленными поправками. В начале 1720-х гг. дворянство сделалось правящей социальной группой. Но петровское дворянство было пестрым по составу.

В социальной жизни дворянства XVIII в. было две тенденции: к **замкнутости** (введение гербов, пересмотр дворянских актов, стремление замкнуть элитарную группу наследственного дворянства — это привело к образованию придворной элиты, с одной стороны, и провинциального дворянства — с другой) и **разомкнутости**. Фонвизину, Щербатову казалось, что фаворитизм — следствие испорченности нравов правителя, т. е. является некоей болезнью. Но фаворитизм не был аномалией царствования Екатерины II, это некий институт, без которого самодержавное государство не может существовать. Он создает вокруг правительства группу лиц, связанных с правительством не политическими связями — дружбой, личной привязанностью. Иногда фавориты стоят стране очень дорого. Орловы с 1762 по 1771 гг. получили 45 тысяч душ и 17 миллионов рублей, Васильчиков — 100 тысяч рублей, 50 тысяч драгоценностями, дворец в 100 тысяч и т. д.⁴⁵ Потемкин — все посчитать невозможно: он украл рекрутский набор 1791 г. вместе с женами. Потемкин, правда, поделился с приближенными. Были Завадовский, Корсаков, Ланской; Зорич получил даже город Шклов, но он все проиграл и начал делать фальшивые деньги; и т. д. Всего фавориты стоили более 92 миллионов (самая жестокая крепостная повинность — 10 рублей в год, корова стоила 1 рубль). Но иногда фавориты не стоили ничего — фаворитка Павла I Нелидова ничего не взяла и не была его любовницей. Были среди фаворитов люди государственного ума и — брадобрей Кутайсов. Фавориты — особый политический институт и по значению для дворянства как сословия может быть поставлен рядом с гвардией. Фонвизин называл гвардию толпой пьяных буян⁴⁶. В XVIII в. гвардия ею и была, а в XIX в. оттуда вышли декабристы. Фаворитизм — отвратительная вещь, а внуки фаворитов были и на следствии, и в Сибири.

Нельзя себе представить самодержавное государство без двора, а это сходное явление с фаворитизмом и гвардией как институтами.

Фаворитизм — присутствие рядом с самодержцем любимца, находящегося вне структур государства и связанного с личностью и характером монарха. Это явление оценивалось как беспорядок в государственном правлении,

⁴⁵ «Точные данные о цене пожалований фаворитам отсутствуют, но публицист начала XIX века оценивал их в 92 500 тысяч рублей. Орловы, например, получили 45 тысяч душ и 17 миллионов рублей, братья Зубовы — 3500 тысяч рублей и т. д.» [Павленко 2003: 389].

⁴⁶ «... государство <...> которого собственный престол зависит от отворения кабаков для зверской толпы буян, охраняющих безопасность царския особы» [Фонвизин 1959: 265].

например, Фонвизиным («Рассуждение о непременных государственных законах»⁴⁷). Документ вызвал в литературе полемику. Рука, бесспорно, Фонвизина, но вопрос об авторстве открыт — предполагают, что автор — Никита Панин, а Фонвизин только записал. Но так или иначе в этом документе и фаворитизм, и гвардия отнесены к политическим аномалиям. По Панину и Фонвизину, в России вообще нет никакой формы правления — по системе Монтескье. Положение характеризуется как переход от анархии к деспотизму и наоборот (это уже под влиянием Тацита)⁴⁸.

Та же мысль не менее отчетливо проведена в сочинениях князя Щербатова, который в ряде политических памфлетов нападал на гвардию и на фаворитизм («развратная государыня развратила свое государство» — вольный пересказ Щербатова у Пушкина в <Заметках по русской истории XVIII века>, 1822). Последователям Монтескье эти два института кажутся эксцессами, аномалией и не вытекают из сути самого правления. Эта идея близка Павлу I, воспитаннику Панина. Павел хотел уничтожить фаворитизм и гвардию. Он задумал новые формы организации войска (Петербург был **военной столицей**). Он хотел заменить ее наемными немецкими войсками, голштинцами (как голштинский принц он считал себя вправе объявить добровольный набор в своем княжестве⁴⁹). Екатерина считала этот проект вредным. Она самовластно отказалась от голштинского престола⁵⁰. Но в 1770-е гг. Павел подал матери и другую записку, вызвавшую сильное недовольство Екатерины. Павел резко критиковал систему управления и был против захватнических войн⁵¹. Он считал, что у России довольно территории,

⁴⁷ См.: [Фонвизин 1959: 256].

⁴⁸ [Фонвизин 1959: 258].

⁴⁹ В записке «Рассуждение о государстве вообще, относительно числа войск, потребного для защиты оного, касательно обороны всех пределов» 1774 г. Павел предлагал в дополнение к рекрутскому набору вербовать наемные отряды в немецких землях и Польше, не смешивая их с частями, набранными из рекрутов. См. об этом: [Юркевич 2007: 20; Скоробогатов 2005].

⁵⁰ Наследником голштинского престола после своего отца Петра III считался великий князь Павел Петрович. В 1773 г., без всякого совета с наследником, Екатерина II, заключив договор, признала присоединение Голштинского герцогства к Дании и отказалась от наследования русским великим князем голштинской короны.

⁵¹ В той же записке «Рассуждение о государстве вообще...» Павел писал, что война «изнуряет государство людьми, а через то и уменьшает хлебопашество, опустошая земли. Хотя в нашу пользу война сия была, но сколько мы претерпели в то самое время недородами, язвой <...> беспокойствами внутренними, а более того еще рекрутскими наборами. Теперь только остается желать долгого мира, который доставил дабы бы нам совершенный покой, дабы возобновить тишину, привести вещи в порядок <...>. К достижению сего, надобно начать восстановление внутреннего спокойствия <...>. Когда сняты будут налоги, пресечены наряды с земли <...> и тогда пресекутся главные причины неудовольствия» (цит. по: [Кобеко 1882: 102]). Как

и предполагал, намекая на необходимость уничтожения гвардии, военные поселения⁵². Он предполагал концентрировать их на границах — они могли бы исполнять и оборонительную, и внутриволицейскую функции. Этот проект напоминает некоторые утопические сочинения Щербатова («Путешествие в землю Офирскую г-на С... шведского дворянина») и стрельцов Алексея Михайловича. Александровская идея военных поселений не была результатом необдуманного импульса, а была следствием всей императорской реформистской политики. В его сознании военные поселения должны были противостоять гвардии, на которую с 1815 г. император наступает все более резко, а с так называемого Семеновского бунта начинается экстренное насаждение военных поселений. Таким образом, и гвардия, и фаворитизм — органическое следствие самой государственной системы, и избавиться от них нельзя. Павел, разогнав екатерининских фаворитов, оказался окруженный своими, а гвардию уничтожить так и не смог.

Нас интересует связь государственных учреждений России с воспитанием будущих декабристов. Франция шла в XVIII в. к революции. То, что катастрофа неизбежна, стало ясно с 40-х гг. XVIII в. Хотя в салонах обсуждались права народа и произносились смелые слова (личная жизнь этих мыслителей была очень мирной, в отличие от их сочинений: Гельвеций был откупщиком), государственный механизм Франции действовал регулярно — после Фронды не было ни одного дворцового переворота, неуклонно осуществлялся существующий порядок, никакие гвардейцы не вторгались в него. Психология французского дворянина складывалась из чтения теоретических сочинений, очень революционных, и из очень устойчивого стабильного быта. Кроме того, фаворитизм, пышно расцветший в эпоху Людовика XIV, почти не касался политической, государственной структуры Франции. Фаворитки могли влиять на настроение Людовика, принести много отдельных

замечает Кобеко, Павел предлагал «отказаться от наступательных войн и устроить всю военную систему России для обороны» [Кобеко 1882: 103].

⁵² Д. Ф. Кобеко указал, что «в этой записке впервые явилось предположение о содержании армии от земли, осуществившееся гораздо позднее, в военных поселениях» [Кобеко 1882: 102]. Как о прообразе военных поселений об этом предложении сказано в статье 1974 г. «К семиотической типологии русской культуры XVIII века»: «В системе политического мышления Павла I идеал и реализация вновь сливались, однако образом такого воплощения становился вахт-парад или прообраз военных поселений, о которых Павел писал еще в 1774 г. в знаменитой записке “Рассуждение о государстве вообще, относительно числа войск, потребного для защиты оного, касательно обороны всех пределов”», и в сноске приводится ссылка на статью Я. А. Баркова «Проекты военных реформ царевича Павла» (Русский исторический журнал. 1917. № 3) [Лотман, Успенский 1974: 269].

неприятностей (например, мадам Помпадур упрятала на всю жизнь в Бастилию молодого человека Жана Анри Латюда) или добиться повышения того или иного человека, но частного порядка. Мы не находим резкого смещения в иерархии чинов, наград. Нельзя было выдвинуть человека на первый план, минуя устоявшуюся иерархию дворянских родов.

В России благодаря дворцовым переворотам и фаворитизму система знатности перестала быть стабильной, начиная с Петра. Причем нельзя вывести никакой социальной закономерности: среди фаворитов Петра — и Меншиковы (из низов), но и Шереметевы (Шереметев был настолько знатен, что мог бы стать выборным царем), Долгоруковы, Апраксины, Головкины, Головины — дети бояр, стольников и т. д., т. е. родовитые бояре. Принцип выбора — не социальный — ловкие авантюристы оттесняют менее талантливых, менее расторопных, менее склонных к интригам. Например, Стефан Яворский был оттеснен Феофаном Прокоповичем. Яворский не был человеком «старини» — учился в иезуитской коллегии, принимал католичество. Феофан ориентировался на протестантизм. Оба они пишут низкопоклонные письма Петру. Но их разница в другом — Яворский не хотел превращения церкви в канцелярию, не мог быть участником петровских кошунственных попок, не мог оклеветать врага так ловко (хотя бывал очень кровожаден — мог жечь еретиков). Оба боролись за власть, и победил более ловкий.

Происходит перемешивание той социальной группы, которая стоит у власти. Фаворит тянет за собой огромную нить родственников. Так было в течение всего XVIII в., поэтому та группа дворян, которая управляла государством и жила в Петербурге, постоянно менялась. Старинных титулов, кроме княжеского, не было (бароны, графы — новые титулы). Новая титулованная знать не являлась родовитой. Личность опирается не на род, поэтому европейская геральдика, т. е. то, что связано с родом, искусственна в России — это не связь человека с родом, а герб — знак отношения двора к этому человеку. Человек больше связан со своими личными качествами, это уже, по сути, не феодальный принцип. Исключительно развивается роль личной инициативы в этом кругу. Тип холеного выродившегося европейского аристократа редок в России XVIII в. Он уверен в своей несменяемости — его можно казнить, но он не может перестать быть родовитым. Пушкин подчеркнул еще в «Борисе Годунове» то, что Борис хотел сжечь разрядные книги. Но Басманов — раб, в отличие от боярина, он зависим от царя. Он — аппарат, он — ничто без царской милости, служит тому, кто больше платит. Боярство — плохая опора, но Борис, рубя ее, повисает в воздухе. На смену приходит тайная канцелярия (пытка) и родственные связи.

Но не только фундаментальные изменения в социальной структуре дворянства и дворцовые перевороты давали представление о возможности переворота государственного строя в России. Само правительство в XVIII в. несколько раз делало попытки изменить существующий строй. В Европе давней традицией было определено разделение духовной и светской власти⁵³. Это далось не сразу, но потом было неизменно столетиями. В России Иван Грозный резко вмешался в деятельность церкви, т. к. заявил о своей ответственности перед Богом за нравственность народа. Петр сам написал предисловие к «Духовному регламенту». Его суть — государь почел себя обязанным привести в порядок церковь. После уничтожения патриаршества глава государства одновременно становится во главе церкви. Политическая власть оказывалась носительницей всей совокупности власти: и светской, и духовной. С XVIII в. правительство и в теории, и практически признавало себя дубликатом божественной власти и перенесло на себя мифологическое представление о власти. И исправление недостатков мыслится как полное уничтожение прошлого и новое рождение. Постепенные исправления не признаются, как заплаты на старом.

Такого рода эсхатологический цикл был чужд государственному мышлению в Западной Европе и присущ лишь духовным мыслителям (еретической ориентации). В России дело пошло иначе. Царь был представителем государственной власти, но и божественной, и часто смешивал эти сферы. В связи с этим государственная власть многократно начинала с утверждения того, что **всё** предшествующее было плохо. С этого начали Грозный, Петр, Павел, Александр I. Нигде не было того, чтобы царь с отвращением или ужасом говорил о стране, которой начинает управлять. Однако вторая часть такого заявления состояла в обещании, что абсолютное зло сменится абсолютным добром. Это накладывало на русское самодержавие устойчивый элемент утопизма. Николай I решил сделать нечто подобное, и учреждение корпуса жандармов было очередным утопическим актом (жандармы — ангелы, личные представители царя, управляющие от его имени и помимо чиновников). Отсюда и явление жандарма в финале «Ревизора» — *deus ex machina*.

С XVIII в. в России власть начиналась с переворота и часто стремилась сломать все (Екатерина единственная не соблюдала этот принцип полной ломки). Павел сделал лишь чисто внешние изменения, но ему казалось, что он сломал всю Россию. Таким образом, политический порядок в России XVIII в. давал представление не о незыблемости государственной системы, а о том, что система колеблема, и любой дворянин мог считать себя вправе

⁵³ Хотя в Англии с XVI в. король является верховным правителем церкви.

изменить эту систему, как Петр или Павел, т. к. сама жизнь сняла «право крови», т. е. право наследования престола. Грозный уничтожил этот принцип, а Петр закрепил. Факт убийства наследника или слухи об этом значимы.

У того, кто наследовал престол, не было на него прав. XVIII в. так перепал государственный систему, что сам как бы подсказывал возможность его изменения. Когда Пушкин в 1830 г. писал о 1762-м: «Попали в честь тогда Орловы...», то он помнил, что в 1821–22 гг. он сидел за столом с племянником Г. Г. Орлова — Михаилом Орловым и тщетно домогался быть принятым в тайное общество, которого этот Орлов был главой.

Культура XVIII в. в России отличалась еще одним свойством: она очень подвижна в смысле скорости исторического времени. Если в начале XVIII в. русская культура несколько отличалась в историческом времени от Европы, то к концу XVIII в. эта хронология выровнялась. Субъективно люди за сто лет пережили большее время. Это важно, т. к. в 10-е гг. XIX в. об этом очень много говорили: в «Горе от ума», в описании Якушкина, в «Письме другу в Германию о петербургском обществе» Улыбышева (вероятно)⁵⁴: общество разделяется на молодежь и стариков, и разница между ними — приблизительно в сто лет. В итоговом смысле это выразил в 1832 г. в статье «Девятнадцатый век» Иван Киреевский: в России в одной гостиной можно видеть людей четырех веков⁵⁵. Являлось ли это чисто риторическим поворотом, субъективным размышлением или неким объективным различием между поколениями?

Вся европейская жизнь в эпоху Наполеона протекала с убыстренной скоростью. Государственная жизнь юношей начиналась в 14–15 лет и в России, и по всей Европе. Пушкин в 1821 г., создавая, как бы нечаянно, в черновике комедию об игроке, характеризуя своих современников писал: «...пустясь в пятнадцать лет на волю, / Привыкли — как же быть? — лишь к пороху да к полю...». Представление об ускоренном развитии культуры XVIII в. было

⁵⁴ Об этом тексте подробнее см. ниже.

⁵⁵ И. В. Киреевский относил сосуществование людей разных поколений к «отпечатком особого века» к европейскому обществу в целом: «Но взгляните на Европейское общество нашего времени: не разногласные мнения одного века найдете вы в нем, нет! вы встретите отголоски нескольких веков, не столько противные друг другу, сколько *разнородные* между собою. Подле человека *старого времени*, найдете вы человека, образованного духом *Французской революции*; там человека, воспитанного обстоятельствами и мнениями, *последовавшими непосредственно за Французскою революцией*; с ним рядом человека, проникнутого тем порядком вещей, который начался на твердой земле Европы с падением Наполеона; наконец, между ними встретите вы человека *последнего времени*, и — каждый будет иметь свою особенную физиогномию, каждый будет отличаться от всех других во всех возможных обстоятельствах жизни, одним словом, каждый явится пред вами отпечатком особого века» [Киреевский 1979: 81].

всеобщим. Впервые в науке об ускоренном культурном движении заговорил Г. Д. Гачев на материале болгарской культуры XIX в.⁵⁶, где за век был пройден путь от Средневековья до XX в. Но теоретического обоснования механизма книга не дает, а для России такой механизм очень важен.

Конечно, в основе того, что в России периодически время то как будто останавливается, то бежит, лежит неравномерность исторического развития. Но это не все объясняет. Историки культуры исторической школы связывали это со схемой развития культуры, где предполагалась некая конечная цель — финиш. Если какая-то культура отстает по уровню, она должна пробежать этот отрезок быстрее. Но что такое уровень развития культуры, жизни — в достаточной мере спорно (что такое уровень развития экономики — более или менее понятно). Надо иметь рядом культуру иного типа.

Если мы говорим о детском и взрослом сознании, то увидим, что перед нами две системы (неизвестно, какая из них лучше, какая хуже — по словам Руссо) с разным объемом алфавита. Причем ребенок постоянно сталкивается с текстами взрослых, которые он переводит на свой язык, и никто не спрашивает, может ли он их воспринять адекватно. Получается упрощенное «то же самое». Кроме того, в сознании откладывается целый ряд непонятных или приблизительно понятных текстов. Так и в переводе. Например, в петровскую эпоху неуклюжие слова, еще не нашедшие себя, — это как будто заявка на будущие слова. И скорость будущего развития зависит от количества этих новых текстов, которые адекватно не переводятся. В конце концов происходит взрыв и начинается очень быстрое развитие. Так было в Киевской Руси с привнесением христианских текстов. То же произошло в начале XVIII в. — большое количество новых текстов на новых языках — от этого перевод и упрощение или изучение иностранных языков как внутренняя потребность культуры. Значит, очевидно, между этими двумя процессами можно найти связь.

Характерен большой интерес людей XVIII в. к переводу — часто это перевод всем известных текстов, например, сочинений Руссо, которые большинство читали в подлиннике. Иногда при переводе выявляются стороны культуры, незаметные при имманентном рассмотрении (например, восприятие Руссо в России). Перевод из Руссо и из «Энциклопедии» создавался далеко не с информативными целями.

Когда мы говорим об ускоренности, нам надо остановиться еще на одной стороне. Можно отметить, что русская культура XVIII в. **в целом** была ориентирована на переводоты и в области политической реальности, и в области

⁵⁶ См.: [Гачев 1964].

идей. Мы с удивлением заметим, что правительственная идеология исходила из необходимости переворота, реформы (Екатерину II надо пока оставить в стороне — там все очень запутано и сложно, и не изучено). Новое правительство начинает с убеждения, выраженного в манифесте, что страна находится накануне гибели (да и Екатерина II в неосторожном манифесте 1762 г. сказала то же самое — статья С. Н. Чернова о последних одах Ломоносова в сборнике «XVIII век»⁵⁷). Заявления Александра I при вступлении на престол и в 1815 г. после парада в Париже: «Возьмемся за внутреннего врага» — т. е. за свой собственный государственный аппарат. Таким образом, переустройство, реформа равна государственному управлению. Деятельность есть перестройка — так заявляли и Петр I, и Павел I, ориентировавшийся на Петра и субъективно, и в государственной практике (ср. естественную для всякого христианского мышления пару 'Петр и Павел', в Петербурге — Петропавловский собор. Инициатива названия будущего императора принадлежит Елизавете, дочери Петра)⁵⁸.

Реформа в том сознании вовсе не то, что мы представляем — это религиозно-эсхатологический акт, изменение **всего**: имен, внешности, перемещение столиц. Это не свойственно западноевропейскому сознанию — там изменение быта не входило в юрисдикцию правительства. Перестройка мира мыслится как акт, требующий некоторых усилий, поэтому встает вопрос о том, кто будет ее осуществлять.

В XVIII в. на этом счет было создано две концепции: просветительская и масонско-утопическая.

Философы (т. е. просветители), полагая, что мир будет переделан очень скоро — в XVIII в. исходили из представления о том, что собственный интерес каждого человека влечет его к добру. Человек, создавая благо для себя, создает благо для всех. То есть речь шла о разумном поиске собственного счастья, равного общенародному. Для этого достаточно было знать конечную

⁵⁷ См.: [Чернов 1935].

⁵⁸ Ср. в совместной с Б. А. Успенским статье: «К семиотической типологии русской культуры XVIII века»: «Эпохи Петра I и Павла I, при всем отличии их внутренней ориентированности, характеризовались резко выраженной установкой на семиотичность. Отличаясь первая от предшествующей, а вторая — от будущей эпохи, они составляют как бы композиционную рамку, придающую цельность всей культуре XVIII в. В самом имени императора Павла была заложена знаковая соотнесенность с воспоминаниями о петровской эпохе, что придает этим рамкам значение осознанного факта» [Лотман, Успенский 1974: 264]. Далее в примечании: «Ср. наречение первого храма новой столицы Петропавловским собором, наименование фрегата, лично выстроенного Петром в Амстердаме, «Апостолы Петр и Павел». В самом имени Петра уже было как бы заложено ожидание имени Павла <...> Елизавета, давая новорожденному сыну Екатерины имя Павла, также подчеркивала связь с Петром» [Там же: 278–279].

цель. Понятие о тактике исключалось, т. к. в ней не было надобности, ибо конечная цель гармонировала с частным интересом.

Концепция масонов основана на тактике. Конечная цель та же — всемирное братство людей, но человек по природе зол, он не будет служить общему благу, которое противостоит личному счастью, ибо для того необходима жертва. Необходим длительный период самоподготовки, дисциплины (это понятие чуждо просветителям — у них люди объединяются в коллективы по эгоистическим соображениям), внешнее принуждение не признается. С масонской точки зрения, эгоизм — антисоциальное чувство. Они соглашались с Гельвецием, что это — могучий голос, но считают, что он вреден. Поэтому освобождение человека начинается с его духовного совершенствования, а не с отмены крепостного права. Сразу конечную цель человеку открывать нельзя, ибо он испугается и отойдет — человека нужно обмануть для него самого. Необходимо создать градуированную цель — лестницу. Так создаются масонские степени с их сложной иерархией. Истина разбивается на этапы, и вводится понятие тактики. Масоны в XVIII в. были чужды политики. А Вейсгаупт в сочинении «Пифагор»⁵⁹ писал: «Вас ведет рука, которую вы не видите». Но как проверить, это рука добра или зла? Рейхель сказал Новикову, что масонское общество, ставящее перед собой политические цели, — не истинно⁶⁰. Масонское общество — моральное, а не политическое.

Но как же получилось, что именно масонские идеи оказали на тайные общества начала XIX в. непосредственное влияние, а окрашенные политически идеи просветителей — опосредованное? Сочинения иллюминатов читали все, но нигде, кроме Баварии, иллюминатов не было ('иллюминат' в переводе — просвещенный).

В политике не только деятельность политических заговорщиков, но и тайная политика правительства играют ведущую роль и при Павле (Мальтийский орден), и при Александре. Внешняя политика Александра строится на том, что император ведет переговоры втайне от своих собственных дипломатов и аннулирует их переговоры. Да и во внутренней политике — поручение Балашева до сих пор загадочно (эксперимент конституционного

⁵⁹ Имеется в виду сочинение: *Weishaupt Adam*. Pythagoras, oder Betrachtungen über die geheime Welt- und Regierungskunst. Erster Band, Frankfurt/ Leipzig, 1790.

⁶⁰ Лотман подробно развивал идею о том, что русское масонство XVIII в., в отличие от европейского, не преследовало политических целей, в спецкурсе по Карамзину он специально останавливался на ответе барона П.-Б. Рейхеля Н. И. Новикову на вопрос о том, как отличить истинное масонство от ложного: истинное масонство не имеет политических целей [Лотман 2022: 375].

управления в центральных губерниях⁶¹). Правительство и заговорщики против него говорили на одном языке и понимали друг друга, хотя были и противоположных взглядов.

Люди начала XIX в. во всей Европе чувствовали себя реалистами. В 1830 г. Пушкин в поэтическом обзоре европейской истории в стихотворении «К вельможе» пишет: «Свидетелями быв вчерашнего паденья, / Едва опомнились младые поколенья. / Жестоких опытов собирая поздний плод, / Они торопятся с расходом свесть приход...». Пушкин имеет в виду поколение людей 1830 г., затронутых дыханием денежного века — Германн, французы перед июльской революцией 1830-го г. Но реалистами чувствовали себя и наполеоновские генералы, и прусские дипломаты, и люди бюрократического Петербурга, и Карамзин, и декабристы. Слово «мечта» произносилось иронически (мечта может иметь значение «обман»). XIX в. иронически оглядывался назад на предшествующее столетие утопий.

На самом деле это противопоставление поколения утопистов и реалистов в достаточной мере условно. Потом декабристов стали считать мечтателями и т. д. Но пока это неважно. Посмотрим на XVIII век с позиций XIX века.

1790-е годы воспринимались в Европе как отрезвление, скорее горькое, чем радостное, от надежд, которые были близки к реализации. Это видно по очеркам Карамзина, опубликованным в «Аглае», во второй части, в 1795 г., но написанным в 1793 — «Мелодор к Филалету» и «Филалету к Мелодору», Н. И. Новиков приоткрыл завесу, говоря, что это переписка Карамзина и Петрова. Это было утверждено исследовательской традицией, но не стоит трактовать слишком прямолинейно. У Карамзина образы энтузиаста и скептика встречаются потом и в «Чувствительном и холодном». В этих очерках Карамзин заставил двух друзей обмениваться письмами. Энтузиаст в отчаянии,

⁶¹ Назначение А. Д. Балашева в 1819 г. генерал-губернатором Рязанского округа, куда вошли Воронежская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская губернии, было связано с задуманной Александром I реформой центрального и местного управления империи на конституционной основе, выработанной в «Уставной грамоте Российской империи». Это был проект конституции, разрабатывавшийся втайне по поручению императора под руководством Н. Н. Новосильцева в 1818–19 гг. и связанный с развитием идей польской конституции. Документ был найден в бумагах Новосильцева во время польского восстания и отпечатан в Варшаве в 1831 г., но большая часть тиража была изъята после взятия Варшавы и уничтожена по приказу Николая [Шильдер 1905: 465–466]. См. об «Уставной грамоте» [Предтеченский 1957: 382–395], о реформе местного управления и миссии Балашева [Там же: 396–405]; см. также специальную работу: [Вернадский 1925а]. В области местного управления проектировалось создание двухпалатных наместнических сеймов, причем вторая, посольская, палата должна была состоять из выборных членов. Россия делилась на 12 округов (наместничеств), и Рязанская губерния была избрана в качестве поля для эксперимента. Наиболее подробно проект и участие в нем А. Д. Балашева рассмотрены в кн.: [Мироненко 1989: 178–181; 200–202].

он напоминает другу о надежде на грезившееся близкое слияние теории и практики (потом Герцен вспоминал это в Париже в 1848 г. в книге «С того берега»). Карамзин был не одинок. Тяжелый духовный кризис пережил Радищев. В 1797–1800 гг. он, находясь в ссылке в Немцове, внимательно следил за европейскими событиями и трагически относился к ним, как и Карамзин (который лучше понимал европейские события, побывав в Париже 1789 г.) — это было чувство разбитых надежд. Об этом Радищев говорит в стихотворении «Осьмнадцатое столетие» — столетие протекло в крови. Интересно заметить отрицательное отношение Радищева к якобинской диктатуре и Робеспьеру⁶², но Карамзин относился к Робеспьеру положительно⁶³. Глубокое разочарование пережили деятели разных лагерей и направлений от Крылова до Гете.

Но чтобы реально понять это, нужно представлять мысль XVIII века. Все политические концепции XVIII столетия можно было бы охарактеризовать словом «утопичность», т. к. они не были ориентированы на практическую реализацию, игнорировали тактику и даже презрительно к ним относились — они были способны принести реальность в жертву программе. Они смотрели на реальность как на нечто нестабильное, способное меняться постоянно. Поэтому они и предполагали возможность мгновенной реализации. Утопическое мышление сродни мифологическому, а «реалистическое» — историческому. Мифологические тексты фиксируют общие законы мира, т. к. пишутся с позиции создателя мира. Но когда мир создан, живет по определенным законам, то можно фиксировать необычные происшествия — их фиксирует историк и летописец. Все классификаторы — мифологи, они фиксируют общие законы. Утопическое мышление ориентируется на норму, а если будет сталкиваться с эксцессами, то будет их не замечать.

Мыслители XVIII в. ориентируются на законы. Если они сталкиваются с тем, что закон невыполним, то будут «жаловаться на историю», проклинать ее, но не будут с ней считаться. Концепцию общественного договора: общество — не божественный дар, а результат договора между людьми (это старая мысль, еще античная, развивавшаяся в средние века и в эпоху барокко) Руссо повернул следующим образом⁶⁴. В человеческом обществе он увидел два начала — то, что существует, он объявил мнимым, ибо это не закономерность человеческой жизни: человек рожден свободным — человек

⁶² См. об этом [Лотман 1965].

⁶³ См. в спецкурсе по Карамзину: [Лотман 2022: 388].

⁶⁴ Здесь и далее в изложении позиции Руссо Лотман развивает основные положения своих работ: [Лотман 1962; Лотман 1967].

езде в оковах, но для Руссо реально первое, а не второе, хотя первое нигде не зафиксировано, а второе зафиксировано везде. В этом он близок к Гегелю, для которого в духовной сфере существует чистая закономерность, а в недуховной сфере закономерность загрязняется. Руссо писал, что существуют философия и история. Философия рассказывает, каким человечество должно было бы быть, а история — каково оно реально. С точки зрения XIX века реальна история, но с точки зрения XVIII века, наоборот, реальна философия, ибо она говорит о закономерностях, а не о случайностях, о которых говорит история. Руссо писал, что можно придумать более хороший способ времяпрепровождения, чем изучать историю, — в ней заинтересованы тираны, а свободные граждане заинтересованы в изучении философии, т. к. она пишет о том, как должно быть на самом деле. С точки зрения Руссо, не только изучение истории должно прекратиться, но и история должна прекратиться, т. к. общество, где все будет протекать в соответствии с идеалом, не будет иметь истории. Это любопытно, т. к. мифологические общества, где все течет циклично, не имеют истории. В общем, XVIII век был ориентирован на теорию, закон, а не на историю, эксцесс. Это наложило отпечаток на разные концепции.

Наиболее мощной идеей XVIII в. была просветительская концепция. Это понятие в достаточной мере неопределенное. Отвлекаясь от этого, будем называть просветителями энциклопедистов, Радищева и др.

Энциклопедисты оформили свою концепцию в противопоставлении голландской школе права — Г. Гроций, Пуфендорф, которые исходили из представления о том, что государственное право сложилось исторически и закон есть скопление реальных исторических фактов, и реальная политическая жизнь современности должна исходить из традиции, из того, что существует. Из этого они выводили законность существующих монархов. Ссылки на божественное происхождение власти уже не возымели кредита (критики монархии в XVI–XVII вв. — в основном, католические богословы — Бароний, из которого выписывал царевич Алексей, что насторожило Петра⁶⁵) — именно ссылка на традицию и на то, что сложившееся — свято.

Но наиболее интересен конфликт между просветителями и физиократами (которые называли себя экономистами). Физиократы — это отчетливо буржуазное направление в философии. Они ориентировались на реальность.

⁶⁵ Алексей делал выписки из церковно-исторического труда Ц. Барония «Церковные анналы» (*Annales ecclesiastici*), который читал в польском переводе Петра Скарги. Частичную публикацию выписок см.: [Устрялов 1859: 324–326]. См. о выписках: [Петров 1924: 401–411]. См. новейшую работу: [Гордин 2022].

Тут дело не только в том, что физиократ Ж. Неккер был министром, а один из основателей школы Ф. Кенэ — лейб-медиком. Они полагали, что **зло** — в неэкономическом вмешательстве в область экономики. Жизнь должна идти по своим стихийным законам, она не может быть подавлена теорией. Ни монарх, ни министр не имеют права вмешиваться в промышленность. Реальная человеческая жизнь протекает не в политике, а в экономике, поэтому политики не должны вмешиваться в экономику (не нужно управлять, это лишнее). Казалось бы, это заманчивое для врагов монархии учение, однако, с одной стороны просветители, а с другой стороны — Мабли напали на них очень резко. Полемика Мабли с физиократами стала одним из центральных событий духовной жизни века. Радищев перевел Мабли именно из-за полемики с физиократами⁶⁶. Противником физиократов был Руссо.

Их отталкивало то, что это дает власть стихии, а спасет человечество именно теория. Физиократы говорили, что разница между бедностью и богатством благотворна, т. к. отражает разницу способностей людей от природы. Если уничтожить богатство и роскошь, то исчезнет стимул в развитии человечества (эту мысль разделял Монтескье). Таким образом, вопрос упирался в центральную мысль века — идею равенства.

Просветители говорили, что люди рождаются равными, на этом базировался демократизм, и отказаться от этого они не могли. Люди рождаются одинаковыми — с одинаковыми потребностями, одинаковыми понятиями о счастье. Просветители избегали упоминания о талантах, гениях (что культивировали потом романтики, как реакцию на просветителей). Просветители полагали, что неравенство ведет к рабству, поэтому они предполагали вмешательство в экономику (ибо полагали, что общество не переделается само собой, и давали советы по переделке общества).

Руссо в основном исходил из эгалитаристской концепции частной собственности, которая предполагала справедливое распределение (т. е. частная собственность со справедливым распределением, что уравнивало бедность и богатство). Собственность есть то, что сделано своими руками (человек может владеть таким участком, который он может обработать): это мысль просветителя-эгалитариста. Радищев писал, что собственность есть у крестьянина, у помещика нет собственности, его собственность — это кража (эту мысль продолжил Пнин). Мабли, споря с просветителями и с физиократами, говорил, что если распределить собственность поровну, то через сто лет картина повторится. Он предполагал вообще уничтожить собственность, однако стоял одиноко.

⁶⁶ См.: [Лотман 19586].

Эти утопические концепции повлияли на русскую мысль XVIII века.

Концепция русских масонов была также утопична — они предполагали, что зло уничтожится само путем постепенного самосовершенствования человека. Масоны, будучи людьми очень религиозными, расходились со всеми существующими церквями, ибо стремились к **земному** счастью — к царству добра и справедливости на земле, к вселенскому братству людей. Это будущее могло быть достигнуто просвещением каждого отдельного человека и его самосовершенствованием. Такое движение было рассчитано на века. Первоначально масонская концепция была совершенно безопасна для правительства, и масонские ложи представляли собой мирные просветительные клубы. Но ситуация изменилась в конце XVIII в. До этого их основной тезис был — **мирный** путь к совершенствованию. Они считали свою концепцию противоядием революционным идеям века, которые считали разрушительными и губительными. Это была отчетливо либеральная идея. В 1780-х гг. стало очевидно, что рассчитывать на столетия мирного движения нельзя — в Европе запахло кровью. Поэтому просветить человечество нужно немедленно или никогда. Отсюда возник странный интерес масонов к чудесам.

Это была уязвимая черта деятельности масонов для просвещенных людей, которые воспринимали их действия как чудачество или обман с целью наживы. Екатерина высмеивала масонов, посмеивался над ними и Державин — «мартышки в воздухе явились» («На счастье»; «мартышки» — от мартинистов, от Сен-Мартена). Однако интерес к чудесам, гомункулусу был устойчив среди очень умных и просвещенных людей (Пыпин и Плеханов считали Новикова просто необразованным человеком). А. М. Кутузов получил такое же образование, как Радищев, и был гельвецианцем. Между тем именно он был главным инициатором алхимических опытов и умер в Берлине от голода, не продав масонских алхимических рукописей (Новиков холодно относился к ним, хотя не был их противником и в 1810-е гг. переписал собственной рукой 30 томов алхимических рукописей). Кутузова, в основном, интересовал гомункулус. Другая идея — философский камень. Эти две, казалось бы, бредовые идеи — искусственное золото (философский камень) и искусственный человек (гомункулус) интересовали естествоиспытателей (Гёте, см.: «Фауст»)⁶⁷.

Масоны в 1780-е гг. жили под мыслью о надвигающейся катастрофе, которую можно избежать только чудом, а это чудо надо сделать. Экономические трудности они предполагали избежать обилием золота (сам Новиков не пользовался ни барщиной, ни оброком).

⁶⁷ См. подробнее: [Лотман 1963].

Но гораздо важнее — зло в душе человека. Нужно переконструировать человека. Долгое время надежды возлагались на века просвещения, но потом — на таинственную колбу, где может быть создан новый человек. Однако интересно, что не только масонская концепция, но и правительственная мысль в 1790-е гг. склонилась к утопизму.

Если мы взглянем на общественные настроения первых пяти лет александровского царствования (1801–1805), то мы обнаружим две различные тенденции.

1. Практицизм — политика начнет руководствоваться соображениями практики. XVIII век будет рассматриваться как век химер — неважно, чем закончившихся — гильотиной в эпоху революции или разнуданным разворотом в период Директории.

В начале XIX в. журналист П. И. Макаров, издатель «Московского Меркурия», настойчиво пропагандировал парижские моды. Это он делал с эпатажной смелостью. Мы называем Макарова карамзинистом, предполагая, что много тем говорим. Макаров — весьма загадочная фигура, он отправился в Англию, не зная языка, питался буквально Христовым именем⁶⁸, вернулся тонким поклонником английской музыки. О нем с восторгом отзывался Белинский⁶⁹. Макаров избрал своей этической позицией ту, которая господствовала в Париже в эпоху Директории, — реакция на принудительную добродетель эпохи Робеспьера.

Но не только политика в Париже — политика Павла казалась такой же химерой с его попыткой восстановить рыцарство, с его дипломатией, основанной на иллюзиях. Павел разослал во все дворы Европы ноты, приглашающие на дуэль всех монархов, имевших к нему претензии (незачем лить кровь народов!). Он объявил себя Мальтийским командором, чем совсем запутал папу римского, ибо был православным и женат два раза.

Естественная реакция была реакция отрезвления — представители всех лагерей пережили периоды упований, надежд и переход к величайшему разочарованию. Надежды XVIII века не оправдались ни у кого. Довольно гоняться за призраками и думать о всеобщем счастье — надо трезво строить политику! Может ли политика быть циничной — этот вопрос обсуждался очень широко. Два типических пути — Карамзин и Крылов. Это люди

⁶⁸ «В 1795 г. М.<акаров> почти без средств отправился в Лондон и прошел пешком часть Англии. Его путевые заметки были изложены в «Письмах из Лондона»» [Лейбман 1999: 263]. См. также: [Уварова 1994: 473–474].

⁶⁹ Белинский назвал Макарова «одним из замечательнейших писателей и критиков того времени», т. е. начала XIX в., и полагал, что он «должен занять свое место» в истории русской критики [Белинский 1955: 321].

совершенно разных биографий, психологий, идей. В 1793 г. Крылов и Клушин напали в «Санкт-Петербургском Меркурии» на Карамзина. Карамзин писал Дмитриеву, объясняя свое нежелание вступать в полемику с Крыловым: «что общего между нами?» (т. е. Карамзиным и Крыловым)⁷⁰. Никаких следов контактов между ними не было. Тем интереснее общность позиций.

Карамзин в 1790-е гг. колеблется⁷¹. С одной стороны, он только что резко порвал с масонами по самому фундаментальному вопросу — масоны чают благоденствия людей через самосовершенствование, а Карамзина интересует европейская цивилизация. Он чает благоденствия от цивилизации, понимаемой очень широко: не только как просвещение, но как развитие торговли, экономики. С этим масоны согласиться не могли, ибо все, что пахло деньгами, было им чуждо. А Карамзин с интересом следит за прогрессом индустрии, коммуникаций, за распространением просвещения в провинции — швейцарский крестьянин пашет землю и читает стихи; газета — вовсе не отрицательный символ (как для Пушкина и для Гоголя в «Риме»). Цивилизация и Западная Европа в 90-е гг. для Карамзина — идеал.

Карамзин как сторонник Монтескье говорит об успехах соревнования (конкуренции), т. е. сочувствует разрыву между бедностью и богатством. Но, с другой стороны, в тех же «Письмах русского путешественника» Карамзин — сторонник утопий. Он прорецензировал очень сочувственно «Утопию» Мора. Утопию он понимал по Платону: государство ограничивает личную свободу и, значит, эгоизм людей. В этом он сходен с Руссо. Характерно, однако, что Дижонская речь Руссо вовсе не встретила сочувствия Карамзина. Интересной для него была идея общественного договора. Брошюра Руссо «Об общественном договоре» не была при выходе замечена современники во Франции. Общественный договор стал знаменем в эпоху якобинской диктатуры.

Политическая концепция Руссо состоит в следующем: отдельная человеческая личность абсолютно свободна — обладает максимумом свободы и прав. Но отдельно человек существовать не может — он должен заключить

⁷⁰ Основной памфлет против Карамзина в «Санкт-Петербургском Меркурии» — «Похвальная речь Ермалафиду» Крылова. В переписке с Дмитриевым 1793 г. Карамзин крайне иронически отзывался об изданиях Крылова и Клушина. Об отказе полемизировать с журналистами Карамзин писал Дмитриеву 18 июля 1792 г. по поводу их предшествующего издания — «Зритель»: «Что принадлежит до *Зрителей*, мой друг, то я столько уважаю себя, что не войду с ними ни в какой бой. Пусть они уничтожают примечания на “Кадма и Гармонию” и все, все, что им угодно! *Qu'est ce qu'il y a de commun entre nous?* скажу я с одним Французом» [Письма Карамзина 1866: 28].

⁷¹ Далее Лотман, касаясь Карамзина, излагает основные положения своих печатных работ по Карамзину, а также идеи спецкурса 1970–1973 гг. [Лотман 2022: 363–544].

договор с другими людьми. Далее Руссо совершенно оригинален. Гельвеций и Радищев (материалисты) утверждали, что, становясь гражданином, человек не перестает быть человеком, а Руссо утверждал, что между человеком и гражданином нет ничего общего.

Гельвеций и Радищев полагали, что человек, имея вне общества полную свободу, вступает в общество только тогда, когда сохраняет и в нем полную свободу. Вступление в общество — эгоистический акт, альтруизм — основа рабства и угнетения. Счастье основано на **эгоизме**, по Гельвецию и Радищеву. С точки зрения Радищева, пока подданные терпят правителя, договор существует; критерий справедливости общественного договора — **счастье отдельного человека**. Таким образом, отдельная личность обладает в обществе всей полнотой счастья, и ее судьба — критерий справедливости общества. Поэтому для Радищева были одинаково неприемлемы и феодальное угнетение, и революционная диктатура.

Руссо смотрел на вещи иначе и тем предвосхитил якобинскую диктатуру. С его точки зрения, человек, став гражданином, теряет часть своей свободы — это становится основой **общего счастья**: это не только счастье отдельной личности. Вступая в общество, человек подчиняет себя общему благу. Общее благо выше личного счастья, хотя не может быть оправданием деспотизма. Деспотизм наступает тогда, когда человек теряет свою добродетель, — римский пафос добродетели был свойствен Руссо. Общая воля это — не воля всех. Общая воля — философское понятие. Во имя ее можно перебороть волю всех. В этом смысле очень интересна «Новая Элоиза»: первая часть — торжество страсти, вторая — торжество общественного договора. Не всех удовлетворил такой конец, гельвецианская поправка на «Новую Элоизу» — роман Федора Эмина «Письма Эрнеста и Доравры». Вторая часть «Новой Элоизы» — концепция идеальной утопической республики.

Этот элемент утопизма проявлялся и в деятельности Робеспьера, особенно на пике 1793 г. Париж голодал и жил под знаком митингов и речей в римском духе. Деревня же богатела (конфисковав земли эмигрантов), процветала бешеная спекуляция. Робеспьер решил обуздать экономику (эгоизм) путем гильотины (мораль).

Карамзин в 1790-е гг. настойчиво повторяет, что ради общего счастья возможна и платоновская республика насилия. Насилие его не пугало — в «Мыслях для похвального слова Петру I» он писал, что великие события

не бывают бескровными⁷². Его очень привлекало равенство: в Швейцарии он восхищался запретом на роскошь (как, кстати, в Лондоне — вольной торговлей). В Робеспьере он видел героя равенства.

Эти колебания между надеждой на мирный ход цивилизации и на римскую добродетель оказались иллюзиями. В 1794 г. Карамзин пережил глубокий кризис. К концу 1790-х гг. его позиция сформировалась окончательно: добродетели нет, истина неизвестна. Трезвый политик может рассчитывать на пороки, только так он сделает жизнь людей сносной. Этим объясняется бонапартизм Карамзина в «Вестнике Европы».

Бонапарт смирил эгоизм французов и подчинил индивидуальные воли общей воле, привел Францию к миру. Отношение к Франции в русской публицистике было скорее отрицательным, хотя в последние месяцы царствования Павла наметился франко-русский союз. Но отношение к Франции оставалось все-таки настроженным, и в этом смысле пламенный бонапартизм Карамзина не был официозным.

Однако нас интересует карамзинская апология трезвой политики. Все политики (и либералы, и аристократы) жаждут личной выгоды. Идеи никого не убеждают. Каждый отдельный человек стремится к личным выгодам, а политические программы прикрывают их. Лучшая власть, по мнению Карамзина, — та, которая руководствуется военной силой (все определяется силой — кроме Бога, дающего силу⁷³, хотя сам Карамзин был к религии скорее холоден, религиозное обоснование силы — только отговорка). Государство — неизбежное зло, и лучше откровенно это признать и быть политическим циником, чем утешаться иллюзиями. В «Гимне глупцам» политика — царство глупцов, она может сделать человека несчастным, но не может сделать его счастливым. Это скорее горестное признание status quo, чем апология.

Совсем другой человек — Крылов — в начале 1790-х гг. также находился на взлете своих надежд. Крылов всегда относился к либералам отрицательно, считая либерализм интеллектуальным барством, а барства Крылов не выносил. Он самым язвительным образом нападал на Княжнина, который ассоциировался в сознании современников с Радищевым. Княжнин был высмеян в комедии «Проказники», и когда Княжнин, покровительствовавший Крылову, выставил его из дома и из театра (отобрал через Соймонова бесплатный билет), Крылов ответил ему и Соймонову страшно язвительными

⁷² «Оправдание некоторых жестокостей. Всегдашнее мягкосердечие несовместно с великодушием духа. Les grands hommes ne voient que le tout. Но иногда и чувствительность торжествовала» [Карамзин 1862: 202].

⁷³ Карамзин писал в «Мыслях об истинной свободе» (1826): «И так сила выше всего? Да, всего, кроме Бога, дающего силу!» [Карамзин 1862: 195].

письмами. Крылов выступил как гордый плебей. Общественные идеи привлекали его лишь тогда, когда они сочетались с социальной правдой личного положения. Это было новое требование (Крылов и к Радищеву относился настороженно).

В середине 1790-х гг. и Крылову пришлось несладко. В 1800 г. он написал шуто-трагедию «Трумф». Сам жанр интересен и горек — осмеянию подвергнуто решительно все: и высокие идеи классической трагедии, и государство. Счастливый конец более чем ироничен. Нет ни одной идеи XVIII века, которая не была бы осмеяна. Цензура запрещала «Трумф», широко ходивший в рукописи, он был напечатан в России в 1871 г. Из глубочайшего кризиса Крылов вышел только как автор басен где-то в 1807 г. Басня «Воспитание льва» — насмешка над воспитанием Александра. Крылов резко отрицательно относился к теории. Александра он проецирует на Дон-Кихота. «Лягушки, просящие себе царя» — очень горькая басня.

Лозунг практики, трезвости разделялся не только группой писателей, но широко захватил государственную и общественную сферы. Но рядом существовала другая группа.

2. Энтузиасты 1801–1805 гг. Это были старшие братья декабристов, почти все они были убиты в войнах 1805–1807 и 1812 гг., и целое поколение оказалось потом забытым. Мы перескакиваем через 1800-е гг., а это было время очень ярких дарований и интенсивной духовной жизни⁷⁴. Люди, начавшие душевно жить, когда Карамзин уже разочаровался, были поклонниками не практики, а Шиллера. Интересно, что среди декабристов были люди, принадлежавшие и к той, и к другой группе. К первой принадлежал Пестель.

Это поколение формировалось в период 1790–1800-х гг. Еще надо отметить, что это — московская молодежь. В Петербурге настроения были иными, даже среди молодежи. Пансион при Московском университете был неким инкубатором энтузиазма.

Это интересный и трудно объяснимый исторический закон — несмотря на обилие людей, втянутых в культуру, в определенный период плеяда деятелей культуры выходит из одного учебного заведения, являющегося в эту эпоху центром. В следующую эпоху центры меняются (Лицей в пушкинский выпуск и потом гимназия Поливанова). Причем деятели полярных лагерей часто сидели в школе на одной скамье. Не всегда это определялось

⁷⁴ Ср.: «Молодежь этой эпохи отдавала свои жизни с неслыханной простотой и щедростью. Из истории они как бы выпали, их заслонили блестящие деятели последующего времени» [Лотман 1971а: 10–11].

направлением учебного заведения. Мы несколько придумываем прогрессивное направление преподаванию в пушкинском Лицее. Пансион при Московском университете по составу своих преподавателей был совсем не выдающимся заведением. Его директором был А. А. Прокопович-Антонский — человек скорее анекдотический, выдвинувшийся благодаря связям с масонством и новиковским кружком. Он был человеком мелочным и корыстным — пытался организовать себе выгодную женитьбу на вдове генерала Соковнина, а преподавал он предмет «Энциклопедия всех наук». И несмотря на то, что видимых причин стать культурным центром пансион не имел, он им стал.

Но стоит поговорить об идеях, повеявших в 1790-е гг.

XVIII век, идеи просвещения выработали определенный круг идей, выраженных Гельвецием. Это были свободолюбивые идеи — свобода человеческой личности, которая зиждется на эгоизме, разумном и благотворном, и общество не имеет права ни на грамм человеческой свободы. Робеспьер посвятил свою первую речь бессмысленности смертной казни — это сила, а не право. Невозможность обосновать смертную казнь — эта идея привлекала и русских студентов 1760-х гг. в Лейпциге: Радищев, Кутузов, Ушаков. Это риторическое развитие этических принципов Гельвеция.

Но в 1790-е гг. положение изменилось. Этика Гельвеция стала лозунгом жироидистов и тех, кто был правее их. Лозунги Робеспьера были иными, и якобинцы подозрительно относились к материализму как к аристократизму, идеализм — народен. Культ Вольтера заменился культом Руссо, и энтузиазм официально предписывается. Идеализм становится более прогрессивным, чем материализм (этого не принимал Радищев). Но интересно, что переход к идеалистическим построениям произошел во всех лагерях. Обычно считают, что Париж был центром материализма — но так писал о Париже де Местр, а на деле ситуация была иной. Переход к идеализму — общеевропейский процесс. Он окрашивается в тона резко антиреволюционные и в тона предельно либеральные. Имя, которое для поколения стало знаменем, было имя Шиллера. 1800–1802-е гг. были эпохой русского шиллеризма⁷⁵. С чем это связано?

Этика Шиллера была в значительной мере новым словом. Нельзя полагать, что «как писатель отсталой Германии он не мог подняться до французской

⁷⁵ См. статью Лотмана о русском шиллеризме, опубликованную вначале по-немецки: *Neue Materialien über die Anfänge der Beschäftigung mit Schiller in der russischen Literatur // Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst Moritz Arndt-Universität Greifswald*. 1958/59. Jg. 8. S. 419–434. Русский оригинал: [Лотман 2001].

мысли 1790-х гг.», как считали некоторые советские исследователи, это не так. Шиллер — следующий этап философской мысли. Он почувствовал многие этические противоречия, которые оказали глубокое и трагическое воздействие на мысль XIX в. Одна из идей Шиллера — трагичность деятеля революционной эпохи. Для просветителей не было противоречия между народом и личностью (т. к. история одной личности = истории народа). Народ, как и отдельный человек, легко усвоит идеи свободы. Народ, пассивная масса ↔ активная личность, деятель — к такому противоречию просветители не были подготовлены. Для Шиллера оно — основное.

С точки зрения просветителей, уничтожение деспотизма автоматически приводит к установлению всеобщего счастья — мгновенный, пусть кровавый, переход приведет к утверждению философского рая. Но то, что борьба подразумевает пути борьбы, т. е. имеет тактику, об этом просветители не подзревали. Для Шиллера это был также основной вопрос, и он имел самые разные аспекты. В «Разбойниках» — это мысль о дозволенности средств. Несмотря на некоторую, может быть, наивность пьесы, поставленные в ней проблемы исключительно важны. В «Заговоре Фиеско в Генуе» — другая проблема: судьба власти после победы. Эту пьесу перечитывал Карамзин, услышав о взятии Бастилии. В 1824 г. Пестель пережил тяжелейший душевный кризис. Он говорил, что после победы не войдет в правительство и уйдет в монастырь (в какой? — будучи лютеранином!). Проблема власти очень важна для декабристов: борьба между бунтом и примирением с властью. Быть или не быть русскому маркизу Поза — очень важный вопрос. Вплоть до «Вильгельма Телля» с его этикой народного бунта Шиллер очень важен для русского читателя. Этика личного поведения — центр этих пьес (в противоположность просветителям). Люди одинаковы от природы, живя в одинаковых условиях, они одинаковы — вот мысль просветителей. Интересы отдельной личности равны интересам других людей, и вопрос о трагичности коммуникабельности у просветителей не возникает.

Даже если оставить в стороне экстравагантные идеи солипсизма Тончи или А. М. Тургенева, то московские масоны и Карамзин полагали, что люди отделены друг от друга стеной. Душевный мир отдельного человека — это его отдельное от других, микрокосмическое пространство. Никаких «внешних» реакций не происходит. Внешнее воздействие фиктивно, это лишь повод для того, что совершается во внутреннем мире. Поэтому А. М. Кутузов болезненно реагировал на «Письма русского путешественника» как на изображение реального мира. Выйти из мира некоммуникабельности человек мог лишь путем внутреннего совершенствования: слияния отдельной

личности с великим светом (а не с другим человеком, что невозможно) — с внечеловеческим.

Новое поколение искало других путей — путей общественной активности. Рациональное, материалистическое сознание разгораживает людей. Это феодальное, угнетательское сознание (Франц Моор у Шиллера). Новое поколение — люди героического аскетизма, борцы-энтузиасты. Энтузиазм, высокое напряжение эмоций позволяет людям слиться в человечество. Идея единения людей очень важна.

Это тот круг идей и произведений, с которым мы сталкиваемся в «Дружеском литературном обществе». Это общество выросло из кружка Андрея Тургенева, который образовался в 1797–98 гг. (знакомство Андрея Тургенева, Жуковского и Мерзлякова; 1801-й г. — приезд Воейкова при загадочных обстоятельствах. Он был очень осведомлен о заговоре 11–12 марта. У него была связь с Беннигсеном и гвардейскими кругами). В январе 1801 г. кружок сформировался в «Дружеское литературное общество». Их было человек 12. Нескольким было 14 лет — зеленая молодежь. Потом из кружка вышли очень разные люди. Почему и как могли эти люди соединиться? Объединились они на базе Шиллера. Существовать — это значит выражать себя, отсюда потребность писать письма и дневники — это потребность ощущать себя живым. Поэтому переписка чудовищно растет. Чтобы существовать, нужно общаться. Для этого нужен друг, это адресат писем. Письма друг к другу — письма самому себе. Письма — факт самовыявления. Каждодневные встречи не препятствуют, а побуждают писать письма. Шиллер дает готовые формы для выражения чувств и переживаний (братья Тургеневы — архивные юноши). Переписка идет под знаком шиллеровских пьес. Упоминание их проходит из письма в письмо. Это «Дон Карлос», «Заговор Фиеско в Генуе», «Разбойники», «Коварство и любовь». Они переживаются как нечто личное. Но интерес к Шиллеру — это не только интерес к его пьесам и этике, он воспринимается как поэт энтузиазма и энергии в противоположность Карамзину, который называется истощенным. Энергичная литература противопоставляется литературе сентиментальной, а энтузиазм становится главным положительным свойством и будет сочетаться с энергией, силой.

Андрей Тургенев произнес в «Дружеском литературном обществе» очень важную речь о русской литературе⁷⁶. В этой речи впервые выдвигается требование народности (хотя понятие это не употребляется). Тургенев

⁷⁶ См. подробно о речи: [Лотман 1958: 54–57].

выдвигает тезис об отсутствии в России *русской* литературы. Карамзин вреден и тем вреднее, что хорошо пишет. Он разнеживает чувства.

Антитеза Карамзин — Шиллер будет иметь и другую сторону. Гимном «Дружеского литературного общества» была шиллеровская ода «К радости», пением которой открывалось заседание.

Пожалуй, самым общим, тем, что важнее даже свободолюбия, для современников в Шиллере был энтузиазм. XVIII век воспринимался как сухой, а новая эпоха окрашена энтузиазмом. Это отразилось и в языке документов: дневниках, письмах. Стилль Карамзина воспринимался как мертвый, бессильный язык, лишенный героизма, он противопоставлялся пламенному языку. Карамзин соединял фразы с помощью тире, шиллерианцы — восклицательными знаками. Андрей Тургенев записывает в дневнике рассказ Кайсарова об издевательствах офицера над унтер-офицером, вынужденным молча смотреть на бесчестье собственной жены: «Я все еще думаю об этом молчании»⁷⁷. Расшифровывается это так: офицер заставляет жену унтер-офицера жить с ним. Она — женщина нестрогого поведения, а муж грозит ее убить. В дневнике это изложено в духе Шиллера. Для того, чтобы понять событие, ему нужно придать эмоционально-возвышенный характер.

Кузницей таких представлений становятся трагедии Коцебу⁷⁸. Под влиянием Ан. Тургенева его приятель Журавлев издал в Смоленске 12 томов сочинений Коцебу⁷⁹.

Повышенная эмоциональность распространяется не на всех людей. Для декабристов «мы» — это кружок умных людей, ум — отличительный признак; для начала XIX в. «мы» — это чувствующие люди, т. е. герои и люди с признаком народности, ибо народ сильно чувствует, в отличие от аристократов. Мир народа — это сильные страсти. Темы народных драм

⁷⁷ Изложение эпизода уточнено по книге [Лотман 1958: 73–74].

⁷⁸ О переводе Андреем Тургеневым драмы Коцебу «Негры в неволе» см.: [Там же: 85–87]. В Генеральном алфавитном каталоге книг на русском языке (1725–1998) Российской национальной библиотеки отмечен еще один его перевод: Клеветники. Драма в пяти действиях, сочинения Г. Коцебу. Перевод с немецкого [Андрея Тургенева]. М.: В Типографии С. Селивановского, 1803. Второе издание — 1825. В той же типографии в 1803 г. были изданы и «Негры в неволе», второе издание — 1825.

⁷⁹ В Смоленске в губернской типографии в первые годы XIX в. было напечатано по крайней мере 28 отдельных изданий сочинений, в основном, драм Коцебу (установлено по Генеральному алфавитному каталогу РНБ). Из имен переводчиков указаны: Петр Сергеевич Кайсаров, известный переводчик Коцебу Н. С. Краснопольский, студент Павел Иванов и Янкович. Кто такой Журавлев, установить, к сожалению, не удалось. «Театр Августа фон Коцебу» в 12-ти томах издавался в Москве.

Н. Н. Сандунова — любовь, ревность, убийства⁸⁰. Мерзляков перерабатывает песни Д. Кашина (бывшего крепостного московского музыканта, потом издававшего «Музыкальный журнал» и там печатавшего свои песни), пропуская их через шиллероподобную фразеологию, считая, что так они становятся более народными⁸¹.

XVIII век связывал людей эгоизмом. Считалось, что эгоизм — основное этическое свойство человека. С позиции Шиллера это подразумевало всеобщую разобщенность людей. Объединяет их энтузиазм (или, что то же, слава, радость, но в любом случае — космическое чувство). Потребность объединения становится чертой века. Возникает идея организации, т. е. вопрос о том, как люди должны существовать в обществе.

XVIII век не знал организации. Во время Великой французской революции организацией был парламент — но это не система партий, а вся нация в ее представителях. Причем это встречало противодействие руссоистов: они считали, что свобода неотчуждаема, поэтому никто не может быть представителями нации. Должны править все. От этого и две формы организации: Конвент и секции Парижа, где правил именно народ в целом (контры между Конвентом и секциями). У масонов была идея организации, но она была направлена на отдельного человека, что же касается общественных организаций, т. е. материала для тайных обществ, то они не имели организационных принципов: например, новиковское общество, которое имело широкие пропагандистские цели, или научные организации, например, Академия. Но научное общество — это должностное, государственное, правительственное общество. И «Вольное экономическое общество» было инспирировано правительством. Российская Академия — тоже как будто вольное общество, но имеет официально назначенного президента. Т. е. все открытые общества строились по одной схеме, имели официально утвержденные уставы. Вершиной такого рода архаического общества была «Беседа любителей русского слова». Она воспроизводит государственную систему. Председатели разрядов назначались по чинам — с этим связан отказ Гнедича от участия в обществе.

Эта официальная структура в принципе противостоит тому, что росло из-под земли и зарождалось в кружках молодежи. В Пансионе Прокопович-Антонский завел официальное литературное общество с регулярными

⁸⁰ О пьесах Сандунова и их восприятии в «Дружеском литературном обществе» см.: [Лотман 1958: 87–93].

⁸¹ Об этом Лотман писал в своей статье о Мерзлякове: [Лотман 1958а: 31–37].

официальными заседаниями. Общество Тургенева, Жуковского, Мерзлякова возникло как отталкивание от этого официального пансионского общества.

В начале XIX в. возникло несколько десятков почти нам не известных обществ. Что характеризует эти общества? Они объединяют единомышленников, они невелики и не проявляют стремления к расширению. Единомыслие — это дружба (не так, как в 1840-е гг., когда политические убеждения разводят друзей, — Герцен и Аксаков⁸². Белинский о статье Герцена о «Москвитянине»⁸³ — семейные, дружеские связи рвутся, братья редко встречаются в одном кругу). В 1800–1820-е гг. члены одного общества — друзья. Принимались люди, связанные дружбой, а чаще всего родством. Школа колонновожатых — целое гнездо Муравьевых, общество «Чока» — все родственники и друзья. Союз спасения тоже почти весь составлен из родственников. Это не вводилось в сознательный принцип. Полагалось, что человеческая любовь и дружба и есть истинный организационный принцип. Не общность политических взглядов, а общие чувства — энтузиазм объединяет людей. Так создавалось «Дружеское литературное общество»: братья Тургеневы, братья Кайсаровы (Андрей и его брат Михаил Кайсаров — самый яркий русский стернианец; брат Воейкова не присутствует, но поминается, кроме того, собрание общества связаны с домом Воейкова). В чинном доме Кайсаровых и казенной квартире Тургеневых собираться было нельзя, а у Воейкова был пустой, полуразвалившийся дом на Девичьем поле — там лился дождь через потолок, но варился пунш и произносились пламенные речи: этот дом стал фактом общества. От официального это общество сохранило наличие устава и письменный ритуал, который, наверное, никогда не соблюдался. Собрания сыграли большую роль — на них произносились пламенные политические речи (вопрос Андрея Тургенева: почему мы так много говорим о политике?), хотя политических целей общество не

⁸² Лотман вспоминает знаменитую сцену из главы XXX («Не наши») части 4-й «Былого и дум» о встрече Герцена и К. С. Аксакова в 1844 г. после окончательного разрыва из-за разногласий между западниками и славянофилами: «Он <Аксаков> быстро пошел к саням, но вдруг воротился; я стояла на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах. Как я любил его в эту минуту ссоры».

⁸³ Видимо, имеется в виду сочувственный отклик Белинского в «Литературных и журнальных заметках» (Отечественные записки. 1845. № 5. Отд. «Смесь». С. 33–39) на статью Герцена ««Москвитянин» и вселенная» (Отечественные записки. 1845. № 3. Отд. «Смесь». С. 48–51, за подписью: Ярополк Водянский). Предметом обеих заметок были первые номера обновленного «Москвитянина», к которому оба автора отнеслись весьма иронически, выделяя талантливую статью И. В. Киреевского, но отмечая ее пристрастность и необъективность по отношению к Европе и к литературным противникам. В обеих статьях ясно ощущается противостояние западников и славянофилов.

преследовало. Литературных рамок хватало для него, хотя оно постоянно выходило за чисто литературные рамки. Незадолго до убийства Павла I Воейков произносит лукавую речь в честь Петра III⁸⁴.

Члены общества занимались не выработкой программ, а воспитанием своих чувств. Таким же было и общество «Чока». Оно нам мало известно, часть документов сгорела в 1812 г., на следствии его участники по возможности скрывали факт его существования. Мемуары — но часть участников погибла на войне, а кто не погиб, те мало потом думали о полудетских опытах.

Известный математик Николай Муравьев организовал школу колонновожатых. Он собирался готовить математиков и картографов, умеющих разводить полки по местам (Наполеон в принципе отрицал диспозиции: он концентрировал армию и утром в день сражения принимал решения). В неофициальной школе Муравьева не было строевой подготовки и даже верховой езды, зато проходили полный курс математики; было там даже общество математиков под председательством Муравьева-отца и Муравьева-сына, гениального математика, будущего Муравьева-вешателя. География, геодезия, политические науки были представлены широко; предполагалось, что основные языки все знали, поэтому преподавали испанский. Школа носила ярко выраженный гуманитарный характер (молодые люди собирались основать на Сахалине республику по Руссо — братство). Это была школа энтузиазма, бедности (бедность начинает поэтизироваться), поэтому члены общества не могли шить себе специальных костюмов, они ограничились значком: =. Они распределили между собой новые будущие обязанности и начали изучать ремесла.

Подобные общества возникли, например, в Смоленске. Там были Каховские. В конце XVIII в. они лелеяли тираноборческие планы против Павла и даже что-то предлагали Суворову (с чем, возможно, и связана опала Суворова⁸⁵). В XIX в. смоленские дворяне — это И. Якушкин, М. Фонвизин и др.

⁸⁴ О речи Воейкова, произнесенной на заседании Общества, видимо, 19 января 1801 г., см.: [Лотман 1958: 29–31]. Здесь же — о политической ориентации и о политизированном характере заседаний «Дружеского литературного общества».

⁸⁵ Имеется в виду кружок смоленских «якобинцев», как их назвали в процессе следствия, или «канальский цех», «галерники», как они сами себя называли. Лидером кружка был полковник А. М. Каховский, долгое время служивший в суворовском штабе. В кружок входили его родственники, его сводный брат А. П. Ермолов и другие офицеры. Члены кружка занимались чтением «вольнодумных» сочинений, планировали заговор против Павла, вплоть до цареубийства. Подробно их деятельность 1797–1798 гг. рассмотрена в статье: [Снытко 1952]. Полагаем, что Лотман опирался именно на эту статью. Во время следствия в 1798 г. капитан В. С. Кряжев показал, что Каховский в начале павловского царствования пытался уговорить Суворова выступить против нового императора, т. е., фактически, совершить переворот. Впоследствии

Некое общество было и вокруг Михаила Новикова, племянника Н. И. Новикова⁸⁶. С 1813 г. армия стала буквально прорастать тайными обществами в Мобеже, в Дрездене.

1812 г. пресечет ранние общества, а в 1815 г. они вновь возродятся. Но рубеж 1812 г. играл роль катализатора организационных идей.

20 февраля 1974 года, первая лекция весеннего семестра

Попытаемся проанализировать фразу М. И. Муравьева-Апостола «Мы дети 1812 года»⁸⁷.

Действительно, 1812–14 гг. — это грань, которая пролегла между 1811 и 1815 гг. В 1811 г. — детские общества, в 1815 г. спонтанно возникает целая серия тайных обществ. Конечно, не следует преувеличивать — это было человек двадцать. Но важно не количество. В 1815 г. в четырех центрах мы можем зафиксировать попытки **организации** — это начало нового этапа, когда на смену туманным мечтаниям пришло движение. Но до этого пролегла война 1812–14 гг. Само объединение трех этих лет показывает нам, что мы ничего не понимаем: так можно объединять уже в далекой исторической перспективе.

Нужно вернуться к 1812 году, а для этого — к настроениям 1807–11 гг. — одному из самых туманных периодов русской истории. После Тильзитского мира антифранцузские (и антиправительственные) настроения усилились. Активно поддерживаемая правительством дружба с Наполеоном неизвестно куда могла привести. Неясно было это и самому Наполеону. Он

Ермолов в своих «Рассказах» подтвердил эти сведения, так описывая отказ полководца: «Суворов подпрыгнул и перекрестил рот Каховского. “Молчи, молчи, — сказал он, — не могу. Кровь сограждан!”» (цит. по: [Снытко 1952: 112]). Члены кружка были арестованы, посажены в крепость или сосланы, однако репрессии оказались менее суровыми, поскольку в Петербурге имелись влиятельные покровители, а после вступления на престол Александра заговорщики были освобождены [Там же: 120]. Докладная записка о «смоленском деле» была подана Павлу в начале 1799 г., хотя первые сведения он получил уже летом 1798 г. Связь заговорщиков с Суворовым вызвала подозрения императора насчет лояльности полководца. Этот сюжет рассматривается в позднейшей статье: [Сафонов 1993].

⁸⁶ Лотман писал о нем в статье: [Лотман 1959]. Под его руководством М. Н. Новиковым занимался А. Б. Рогинский. См.: [Рогинский 1972].

⁸⁷ Впоследствии Лотман посвятил этой теме специальную телевизионную беседу в 1986 г. (текст опубликован в кн.: [Лотман 2003: 380–386]) и на ее основе написал статью «Люди 1812 года» [Лотман 1994: 314–330]. Между этими текстами и спецкурсом имеются перекички и на уровне примеров, но в них Лотман подробно останавливается на «Дневнике» Александра Чичерина 1812–1813 гг. (М., 1966), о котором не упоминается в лекциях 1974 г., где гораздо подробнее дан исторический контекст.

предлагал Александру быть его равным партнером: в жертву принести Англию, а Россию Наполеон хотел компенсировать за счет Турции (потом — наоборот).

Восток всегда очень занимал воображение Наполеона. Он хотел был владыкой Востока, для чего ему нужно было разделаться с Европой. Это ему почти удалось, кроме Испании, Англии, России. Кроме того, наполеоновский ставленник Бернадот — шведский король — занял сперва осторожную, потом — антифранцузскую позицию. Победа России в войне со Швецией 1808–1809 гг. и мир с Турцией 1812 г. обеспечивал России многое — безопасность севера и юга. Испания не сдавалась. Португалия была оккупирована англичанами.

Наполеон не упускал случая задеть самолюбие Александра I, подчеркивая его подчиненное положение. Особенно вызывающим было поведение Коленкура, французского посла в Петербурге. Все это задевало Александра, тем более что Александр не был искренен в своем союзе с Францией.

Наполеон произвел на него сильное впечатление. Но Александр всегда соединял в себе тайное упрямство с внешней готовностью подчиниться: чем больше внешне он подчинялся чужой воле, тем больше начинал ненавидеть этого человека (порочный круг). Этому Наполеон не понимал, он был на вершине славы, упоен ею. Кроме того, у Александра были тайные (и неизвестные Наполеону) обязательства перед Пруссией.

Александр I усвоил от отца поклонение Пруссии. Он еще в 1805 г. тайно от своего правительства (его обычная манера двойной дипломатии) взял на себя военно-политические обязательства перед Пруссией, невыгодные для России. Эти пропрусские симпатии особенно сказались, когда в 1812 г. Пруссия была в лагере Наполеона.

Итак, в 1811 г. еще не было ясно, куда Александр двинет свою политику. Ясно было одно — внутренние преобразования были возможны только благодаря союзу с Францией, который обеспечивал мир. Пронаполеоновская партия была немногочисленной: Румянцев, Сперанский, Куракин. За разрыв с Францией были мощные политические силы, соединявшие ненависть к Наполеону с ненавистью к реформам (всем и всяческим) — русофильская партия Тверского двора великой княгини Екатерины Павловны, партия Шишкова. Была и другая — англофильская либеральная партия (Мордвинов, Чичагов, Воронцов) — за союз с Англией. Еще одна группировка была особенно сильна в армии.

Армейские настроения были очень сложными. До 1805 г. армия резко делилась на стариков и молодежь, но на Аустерлицком поле молодые обанкротились. Армия осталась в руках «стариков» (относительно старых по

возрасту) — Витгенштейн, Багратион, Барклай и т. д. Очень рано оформилась армейская оппозиция — сначала она объединялась антипавловскими настроениями, но потом к самому императору Александру возникло весьма непочтительное отношение. Антиалександровские настроения стали проявляться в литературе, в прессе.

Появилось нечто совершенно новое. Не было заговорщиков, все группировки были вполне благонамеренными. Однако появилась возможность политического выбора — молодой человек должен был выбирать, к какой группировке примкнуть.

Собирая армию в Вильне и готовясь к войне, Александр старался войну отвратить. Эта нерешительность правительства была достаточно явной. Шишков сделал очень интересный разбор проекта манифеста, в котором Россия должна была объяснить Европе свою позицию в войне. Проект подчеркивал миролюбие России, говоря о том, что Россия не сосредоточила своих сил и не воспрепятствовала переходу Наполеона через Неман. Шишков смело и открыто подчеркнул, что миролюбие преступно, когда война очевидна, и такого рода манифест — расписка в банкротстве правительства, а не в его миролюбии.

Время перед войной было временем растерянности. До сих пор неясно, имело ли правительство заранее разработанный план войны (В. В. Пугачев считает, что Барклай имел план — отступить⁸⁸). Наверное, плана-закона, подписанного командующим, не было. Конечно, были наметки. Но не в характере Александра I было принимать окончательное решение (он боялся упустить из рук хоть часть власти). Переход Наполеона через Неман застал армию и штаб врасплох. Отступление из Вильны было исключительно поспешным. Сперва полагали его незначительным, и вопрос о Дрисском лагере не был решен. В дневниках встречаются размышления о балах, которые не состоялись, но о которых можно полагать, что еще состоятся. Никому не было ясно, что произошло, — может быть, императоры договорятся и всё обойдется?

Но через двое суток стало очевидно, что армия идет в Дрисский лагерь. Это значит — война началась. Это не сразу доходит до сознания ее участников, тем более что *сражений* нет. Складывается военный быт — это серия неудобств: негде спать, негде есть. Начинается разъединение I и II армий

⁸⁸ Потом А. Г. Тартаковский документально доказал наличие заранее разработанного Барклаем и одобренного Александром плана «скифской войны» (см.: [Тартаковский 1996]).

и стремление к их соединению (см. Записки Бенкендорфа⁸⁹). Соединение у Смоленска положило начало новому этапу. Во-первых, состоялось первое очень сильное сражение. Дивизия Неверовского впервые приняла удар. Она была сформирована из молодых солдат и провалилась на смотре в Петербурге. Император услаал их в провинцию. Значительная часть дивизии составляли петербургские финны. Она была почти полностью уничтожена под Смоленском, но сопротивлялась так, что наполеоновские генералы не ожидали подобного⁹⁰.

Благодаря этой дивизии армии смогли соединиться, и командующим стал Барклай. Его назначение было трудным. Мы знаем о назначении из мемуаров Лёвенштерна (адъютанта Барклая). Положение Барклая было исключительно трудным. Багратион его ненавидел и писал Аракчееву страшные письма. Александр Муравьев писал об этом в мемуарах (случай с великим князем Константином Павловичем⁹¹). Александр, наверное, специально так подстроил, не желая наделять кого-то всей полнотой власти над армией. Барклай и Багратион имели одинаковые права быть командующими объединенной армией. Оба повели себя достойно.

Следующий этап войны — отступление после Смоленска. Начиналась коренная русская земля — белорусские земли еще воспринимались как польские. Отношение крестьян к войне — неясный вопрос. Партизанская война была очень жестока по формам — это надо иметь в виду, когда мы говорим об отношении декабристов к народным движениям: они видели отряды 1812 г.

Бородино — благодаря неправильно истолкованному донесению Кутузова — в Петербурге воспринималось как полная и окончательная победа над французами (это видно из дневника Николая Тургенева). Решение оставить Москву Кутузов принял единолично и не доносил об этом императору.

⁸⁹ До новейшего издания [Бенкендорф 2012], где изложена история публикации отрывков из текста, можно было пользоваться фрагментами, опубликованными в «Русской старине», а также в издании: [Харкевич 1903].

⁹⁰ Подвиг 27-й пехотной дивизии генерала Д. П. Неверовского, которая сражалась под Смоленском у Красного 14 августа 1812 г. против во много раз превосходивших сил французов, не позволила армии Наполеона захватить Смоленск, оставив в тылу русскую армию, отошедшую в тот момент к Рудне. Дивизия была сформирована в Москве и Подмосковье в 1811 г. из только что набранных рекрут, которых в кратчайший срок нужно было преобразить в боеспособных солдат. Неверовский сам обучал их стрельбе. Необходимы были и офицерские кадры, и система снабжения. За успешное выполнение возложенного на него задания генерал получил орден Анны I степени. См.: [Алексеевский 1914: 186–187]. Утверждения Лотмана о провале дивизии на смотре в Петербурге и о том, что рекруты были набраны именно из петербургских финнов, не подтверждаются.

⁹¹ Об этом Лотман будет говорить ниже в специальной лекции, посвященной Ал. Муравьеву.

Когда Александр получил донос Ростопчина из Черной Грязи и донесение от полицмейстера о занятии Москвы французами, он ответил Кутузову очень гневным письмом. В Петербурге наступило уныние. Оно охватило не только Петербург. Князь Вяземский, вступивший в армию накануне Бородине адъютантом Милорадовича, не вынес оставления Москвы и уехал в Остафьево, заявив, что война проиграна⁹². То же самое считал Карамзин. Он уехал в Нижний Новгород, где складывался особый быт эвакуации. Только несколько человек считали, что война не проиграна, — на них смотрели как на сумасшедших: Ал. И. Тургенев, Кованько (автор солдатских песен).

Тарутинский лагерь — отчетливый период в истории 1812 года и настроений 1812 года — был этапом мысли, благодаря передышке⁹³. Будущее войны было еще неясно, но стало понятно, что она не проиграна — удалось выстоять в самую трудную минуту.

Куда повернет Наполеон, было не совсем ясно. Были предположения — на Петербург, на Украину или перезимует в Москве. Кутузов исходил из потенциального похода на Украину. Возможно было думать и о мирных переговорах, ибо Наполеон мог рассматриваться двояко: как узурпатор власти, с которым невозможно вести переговоры, или как законный император, с которым переговоры возможны. Переговоры не означали бы уничтожения России — или контрибуция, или полное присоединение к континентальной блокаде, наше представление о том, что Отечественная война (при трагическом исходе) могла кончиться только полным уничтожением России, неверно. Однако в то время ни один человек в России не мог единолично решить направление политики.

Власть имел Кутузов. Он был великим дипломатом и царедворцем. Но в 1812 г. Кутузов вел себя совершенно особо. Император не хотел сменять Барклая, которому очень симпатизировал. Однако начала влиять особенность военной обстановки. Петербургское и московское дворянство одновременно избрали Кутузова начальником своих ополчений — это была невиданная в России демонстрация (при явном неблаговолении императора к Кутузову). Александр I был вынужден назначить Кутузова. Итак, Кутузов имел определенную и большую независимость. Он имел в руках армию, и это делало его поведение политически очень значимым. Кутузов ни в коей мере не был настроен антиправительственно (Суворову не были чужды оппозиционные настроения военной верхушки). Военная обстановка сама

⁹² Наш комментарий к позиции Лотмана по этому вопросу см. в публикации: [Лотман 2022а: 193–194].

⁹³ См.: [Лотман 1963а].

децентрализовала власть — император не был на поле боя, где решались события.

Ни Александр, ни Кутузов не определяли событий единовластно. Кутузов практически поступил вопреки петербургским указаниям: пройдя через Москву, он вышел на юго-восток и послал арьергард вперед, а сам свернул у Красной Пахры. Мюрат пошел за арьергардом и потерял на неделю армию Кутузова из виду. Это решило очень многое. Армия встала на коммуникационный узел связи с Украиной. Кутузов поставил тем самым Наполеона в необычайно трагическое положение в смысле запасов.

Оформилась идея партизанской войны (малой войны) — совсем не обязательно крестьянской, чаще всего — легкая кавалерия, гусары, казачья кавалерия — они обрастали крестьянами. Правительство неохотно шло на вооружение крестьян. Для Наполеона воюющие крестьяне тоже были не «воюющей стороной», а шайкой вооруженных бандитов. В Тарутинский период военных столкновений почти не было — шла штабная война (Беннигсен – Кутузов), с французской стороны были попытки переговоров. Обе стороны выжидали. Дальше война — уже наступление русской армии.

Как же события преломлялись в сознании людей? В Петербурге столкновение с Наполеоном означало усиление консервативной партии. Отставка Сперанского — предвестие этого. Консервативные и реакционные круги стремились стать официальными. Правительственная (умеренно-либеральная) концепция основывалась на том, что прогресс есть средство избежать революции (жизнь движется, и правительство должно двигаться вперед). Движение вперед должно быть постепенным, благоразумным и контролируемым. Ту же идею в области языка высказывали карамзинисты — язык не может стоять на месте. Эти идеи были близки и либеральным бюрократам, и Александру I.

Другая концепция (которую наиболее активно развивал Шишков): здоровые основы нации вечны, и потому то, что изменяется, — болезнь (та же идея — в области языка). Религия и политическая система неизменны, а изменения приведут к революции. Здоровые основы — национальны, изменения — заимствованы и, конечно, из Франции. Вопрос о столкновении с Наполеоном приобрел идеологическую почву — за французской армией идут французские идеи. Носители опасных идей в России — модники (мода изменчива, она — двойник фортуны, тоже изменчивой и вероломной). Переплетения борьбы с модой и борьбы с идеями характерно для публицистики начала XIX в. (модные безделушки в просветительской концепции воспринимались как ненужные и вредные). Интересно, что Наполеон со

своей стороны полагал, что моды смогут способствовать влиянию Франции в России.

Консервативная концепция была антиправительственной, ибо считала либеральные правительственные реформы причиной неудач России. Шишковско-ростопчинский лагерь обвинял правительство в гибельном курсе и гибельном сближении с Францией. Тильзитский мир был настолько непопулярен, что, критикуя его, этот лагерь мог говорить от имени всего общества. То, что Шишков, Ростопчин и Кутузов получили важные назначения, было символом победы этой партии.

Но петербургская либеральная партия не хотела допустить смешения Наполеона и Франции. Наполеон — корсиканское чудовище, узурпатор и т. д. Он — не Франция. Война ведется не с просвещением, не с идеями прогресса, а с Наполеоном и оккупационными войсками. Эта либеральная концепция смогла объединить довольно разные круги. На этой почве, например, образовался журнал «Сын Отечества», о его образовании рассказано в мемуарах Н. И. Греча. Греч прожил пеструю жизнь, но в 1813–1820 гг. он был одним из самых передовых людей в Петербурге (вдохновитель ланкастерских школ, благотворительных мероприятий, выкупа крепостных актеров и т. д., издатель «Сына Отечества», человек периферии Союза благоденствия). Уцелев в 1825 г., он стал весьма печальной фигурой (литературный Ванька-Каин, по определению Белинского). Когда Греч писал мемуары, началась уже новая эпоха: умер Николай I, и стали возвращаться декабристы. Перед Гречем встала трудная задача представить свою жизнь не такой уж гнусной. Поэтому он описывает 1810-е гг. с ретроспективной позиции молодого либерала. Организация «Сына Отечества» представлена очень интересно — политический журнал, проправительственный, но не правительственный. Журнал основан литератором и говорит от имени литературы, он не контролируется правительством и оказывает поддержку правительству от лица общества⁹⁴. Журнал противостоял ростопчинско-шишковской группе.

Третий политический центр зародился в армии. Еще до начала войны дерптские профессора Рамбах и Кайсаров выступили с предложением организовать походную типографию. Предложение их было принято императором, и они поехали в армию, настигнув ее уже после начала войны (см.: «Листовки Отечественной войны 1812 года» М., 1962; А. Г. Тартаковский. Военная публицистика 1812 года. М., 1967).

Психология армии, введенной в боевые условия, всегда меняется. Солдат в павловско-александровской армии чувствовал себя средством, а не целью,

⁹⁴ См.: [Греч 1930: 300–306].

статистом в большом спектакле парада. На войне ценности сместились — солдат стал целью, самостоятельной ценностью, и он понял это. Жестокие требования муштры на парадах отменились само собой. Все эти изменения гневил Александра и великого князя Константина Павловича. На параде в Калише армия оказалась в жалком виде, по мнению императора: солдаты были в крестьянской обуви, армия растянулась. Константин Павлович гневно сказал: «Эти люди только и умеют, что драться»⁹⁵. С его точки зрения, это был окончательный приговор.

Война изменила внутреннюю систему субординации и заставила критически относиться к приказам, даже самым высшим. Бенкендорф самовольно вооружил крестьян в поддержку своему отряду. Это вызывало недовольство в Петербурге, но Бенкендорф не разоружил крестьян. Он должен был соображаться с объективной ситуацией, с которой в обычных условиях не считается самодержавная система. Самодержец — монополист информации, все другие могут знать по своему социальному рангу. Но император знает меньше всех, т. к. получает только то, что хочет получить. Император живет не в реальности, а в химерах, это видно и по павловскому, и по александровскому, и по николаевскому царствованиям. Химеры становятся реальностью для государственной машины, для Петербурга, который казался городом химер. Война вторглась в этот химерический мир. Был еще мир поэтических, а не политических химер. Батюшков сказал о себе, что бесчинства французов в Москве «разрушили его маленькую философию». Его мир античности и гармонии был для него единственно реальным.

Армия, которая была погружена в мир парадных ценностей, где император был полновластным богом, попала в реальный мир. Тимотеус фон Бок писал в записке Александру о том, почему деспоты любят парад, — на нем ничтожество кажется богом, а герой — пешкой⁹⁶. Рассыпался мир парадных ценностей и мир тактики. Тактика — наука вечных ценностей, правил. Они сами по себе дают победу. Идеальная модель боя — шахматная игра. В XVIII в. шахматная игра была не только игрой, но и идеологией. XVIII век — век шахматной теории; появилась идея шахматного автомата. Идеал интеллектуального конфликта — шахматная игра, идеал стратега — искусственный

⁹⁵ Реплика Константина, имевшая широкое хождение, приведена в книге Н. И. Тургенева «Россия и русские» в такой форме: «Эти люди только и умеют, что сражаться!» [Тургенев Н. 2001: 27].

⁹⁶ Ср.: «Парад есть торжество ничтожества, — и всякий воин, перед которым пришлось потупить взор в день сражения, становится манекеном на параде, в то время как император кажется божеством, которое одно только думает и управляет». Эта цитата из «Записки» Т. Е. Бока приведена Лотманом в статье [Лотман 1975: 52].

автомат-шахматист (автомат был якобы создан бароном Вольфгангом фон Кемпеленом, но это был обман).

В чем секрет популярности шахматной игры? Он — в представлении о том, что 1) все конфликты человечества — конфликты ума, 2) все конфликты происходят по правилам. Так воспринималась и война. Хотя и в XVIII в. были попытки порвать с шахматной стратегией войны и тактикой, когда солдаты воспринимаются как шахматные фигуры и требуется абсолютное подчинение и дисциплина (прусская тактика). Таким отрицанием была система Суворова. Это было системой именно в том смысле, что отрицало систему. Другим великим нарушителем был Наполеон — он ставил неприятеля в положение, когда нельзя было действовать по шаблонам. Суворов и Наполеон были «безграмотными» стратегами, с точки зрения тогдашних полководцев.

Наполеон навязал Европе и России особую войну. Он выставил молодую армию и полководцев неизвестного происхождения. Война уравнивает положение, и Европа признала наполеоновскую империю и его маршалов — маршалами на поле боя. Она признала его выдуманные титулы, его королей и его тактику, которая состояла в нарушении канонов и в поклонении **воле человека**. Это давало огромный простор индивидуальному поведению личности. Перед Европой открылась колоссальная личность Наполеона. Но армия Наполеона открывала простор и честолюбию других. Армия Наполеона — это армия юношей, упоенных безумным честолюбием, перед которыми была реальная перспектива в 25 лет стать маршалами. Она была в принципе чем-то новым, отличным от всех европейских армий. Она давала возможность продвижения солдатам. Наполеоновская армия — закрытое учебное заведение романтизма.

Война — разговор, она требует понимания противника, т. е. возможность встать на его точку зрения. Война с недостойным противником губельна для народов, т. к. средства противника приходится перенимать. В этом смысле европейские армии должны были перенять взгляд Наполеона на армию. Пришлось отказаться от балетно-театрального представления о войне и быть готовым к тому, что на войне убивают.

Изменения психологии русской армии выявились в Тарутине. Во-первых, армия ожесточилась. Денис Давыдов считал, что ожесточение произошло раньше, в 1805 г. (хотя он пишет также и о том, как французский офицер спас его брата). К 1812 г. ожесточение достигло предела. Но дело не в этом — появилось представление о том, что ход войны — иной. Ценность командира и подчиненного была пересмотрена. Война — дело не армии, а нации. Армия — не место для военного, так считал Денис Давыдов. Он полагал, что

место военного — среди вооруженного народа. Давыдов был адъютантом Багратиона, которого страстно любил. Он отказался от этой должности и перешел в гусарский полк. Его вызвали в штаб накануне Бородинского боя. Он шел по местам, где играл ребенком (он вырос в районе Бородина), и хотел там умереть. Но его послали с 50 гусарами на коммуникации Наполеона, он не смог участвовать в генеральном сражении, в сражении под Москвой. Он пошел на эту жертву. С гусарами он поехал по тылам и столкнулся с тем, что крестьяне принимали их по одежде за французов. Ему пришлось переодеться в мужицкий кафтан и отпустить бороду — сословное отличие крестьян от дворян. Дениса Давыдова интересовала не теория, а военная практика, для этого ему нужно было изменить представление об армии, о войне, о тактике (война — это война народов, и место военного среди народа, т. е. в строю может быть храбрым каждый). От военного требуется не только храбрость и дисциплина. Он должен быть выше своей судьбы, быть выше своего предназначения — тогда он может стать партизаном, т. е. получить индивидуальное поведение, стать личностью. Нужно говорить народным языком и выбрать партизанскую жизнь, которая есть строфа из Байрона⁹⁷ (интересная параллель).

Этот взгляд был свойствен не только Давыдову, но в значительной мере всем кругам молодежи вокруг Кутузова. Это отразилось и в стихотворении Жуковского «Певец во стане русских воинов», напечатанном в типографии Кайсарова. Стихотворение передает ту систему ценностей, которая была свойственна молодежи кутузовского штаба. Форма стихотворения также любопытна: она была связана с гимном «К радости» Шиллера и «Славой» Мерзлякова — хор воинов и голос певца⁹⁸.

Каждая строфа — особая тема. Очень любопытно, как менялось количество строф и строк, отпущенных тому или иному генералу. Упоминание Кутузова было само по себе полемично, ибо было хорошо известно, что Кутузов не любим императором. Начальником штаба Кутузова был Беннигсен, который ненавидел Кутузова и писал на него доносы. Кутузову были посвящены две строфы, а Беннигсену четыре строчки. Соотношение строчек очень важно. Три строфы Жуковский посвятил партизанам, перечислил

⁹⁷ Соответствующую цитату из «Опыта теории партизанского действия» Д. Давыдова Лотман приводит в своей статье «Декабрист в повседневной жизни»: «Сие исполненное поэзии поприще требует романтического воображения, страсти к приключениям и не довольствуется сухою, прозаическою храбростию. — Это строфа из Байрона! — Пусть тот, который, не страшась смерти, страшится ответственности, остается перед глазами начальников» [Лотман 1975: 73].

⁹⁸ О связи «Славы» Мерзлякова с одой Шиллера см.: [Лотман 1958а: 21–23].

всех их начальников, которые были в небольших чинах и в армии были неизвестны. Текст Жуковского был подвижным — он менялся в зависимости от реальной обстановки (единственная параллель — «Василий Теркин» Твардовского). Текст был открытым — он сжимался и рос в зависимости от обстановки.

Таким образом, в психологию людей проникло сознание своего достоинства, сознание того, что личность — не пешка, а имеет ценность. Это было необычайно важным достижением, может быть, даже бóльшим, чем усвоение книжных свободолюбивых идей. Война научила чтить народ, чтить себя и не чтить государство. Личная независимость была огромным завоеванием.

С переходом армии в Европу характер ее изменился — Кутузов умер, сменился штаб, изменился характер войны. Александр считал, что теперь война только начинается. Его роль сильно возросла, он проявил себя как неутомимый деятель, умелый дипломат и счастливый (неожиданно для себя) полководец. Александр лично присутствовал при успешном сражении под Кульмом и всегда считал этот бой своим торжеством. Удачный опыт дал ему уверенность. Он активно участвовал в командовании под Лейпцигом и Парижем.

Австрия не хотела окончательного разгрома Наполеона. Наполеон был зятем австрийского императора, кроме того, победа усилила бы положение России, невыгодное для Австрии. Александр хотел уничтожения Наполеона.

Наполеон сделал под Парижем очень умный ход — стал обходить армии союзников и выходить на коммуникации (к незанятым пограничным крепостям). Фельдмаршал Шварценберг предлагал двигаться Наполеону навстречу. Александр проявил огромную настойчивость в достижении своих планов. Он не пошел на компромисс и поставил Шварценберга перед альтернативой: или совместное наступление на Париж (оставленный неприкрытым), или отдельное наступление русской армии. Александр вышел к Парижу, после взятия высот Монмартра маршал Мармон пошел на переговоры о сдаче города. Французы хотели избежать уличного боя и гибели культурных ценностей и подписали капитуляцию, которая гарантировала безопасность жителей и города. Михаил Орлов, составивший условия и подписавший капитуляцию, был произведен в генерал-майоры. Париж встретил русскую армию ликованием, которое осталось непонятным многим русским офицерам. Кампания закончилась.

По сути дела, заграничный поход — новый этап войны. Война в Европе позволила Александру I быть либералом в политике (в 1812 г. в России он должен был быть союзником Шишкова, терпеть вооружение народа, что было ему непонятно). Александр обещал Европе свободу, чего он России не

обещал. Прусский либерал Штейн, мечтавший сделать Пруссию центром Германии и либеральным буржуазным государством, в 1813 г. был назначен главой Центрального департамента по управлению завоеванными территориями, т. е. верховным комиссаром Европы. Он имел цель — объединение Германии и ее либерализацию. Штейн хотел прогнать с престола многих германских монархов, т. е. действовать по-наполеоновски. Король Саксонский был взят в плен в Лейпцигской битве, а генерал-губернатором Саксонии был назначен князь Н. Г. Репнин<-Волконский>. Вокруг него в Дрездене собрался кружок либералов.

С 1815 г. мы можем датировать возникновение тайных обществ, какое бы из них мы ни приняли за точку отсчета. Ранние опыты малоизвестны, т. к. обществами до 1821 г. правительство на следствии мало интересовалось. Подсудимые их мало касались, ибо, конечно, не все было невинно.

Окончилась эпоха наполеоновских войн, после Венского конгресса в Европе начался новый период. Слово «новый» бросается в глаза во всех источниках — чисто физическое ощущение прошедшей границы. «Старики», т. е. не участвовавшие в войне (независимо от возраста), не понимали юношей, которые, по выражению Якушкина, ушли вперед на сто лет.

В истории встречаются эпохи, когда современники не ощущают себя продолжателями чего-то, следствием чего-то, они воспринимают себя зачинателями новой эпохи (киевская эпоха — период Крещения, петровская эпоха, нигилисты) — новыми людьми. Это, конечно, самооценка, а не историческая оценка (историк может показать, в какой мере «новое» было действительно «новым»). Но нам важна именно самооценка, т. к. она во многом определяет действия людей. Это определяло представление о перерождении, характерное для «новых» людей. «Совлечь ветхого Адама» — масонский термин, который будущие декабристы, будучи детьми масонов и сами масонами, хорошо знали — так можно было бы определить это чувство.

Мир разделился на два коллектива: «мы» и «они». «Они» еще не определились. «Мы» — свободолюбцы, участники войны. Чацкий всегда говорит о себе во множественном числе. «Они» — к ним подбираются разные отрицательные названия. Хамы — так называет их Н. Тургенев. Интересно, что в XVIII в. хамами называли крепостных (хамово отродье, потомки Хама — плохого сына Ноя — т. е. от роду неблагородные, в отличие от людей благородного происхождения — дворян). Также имя Евгений (благоурожденный) сперва давалось положительным героям, а когда понятие благородного происхождения перестало котироваться, оно стало даваться отрицательным, сатирическим героям (вторая сатира Кантемира). «Евгений Онегин» был задуман как сатира, отсюда и имя. Н. Тургенев назвал крепостников

именем, которым они называли крепостных. Гасильник — технический значок для хамов. Позже Н. Тургенев был крайне возмущен стихами польского цикла Пушкина и назвал его хамом.

Если мы возьмем источники, исходящие из мира «стариков», то молодежи приписываются высокомерие, презрение к окружающему темному миру. Для «молодых» с этим было связано ощущение собственного избранничества, характерное для Н. Тургенева и других молодых людей. К чему готовит себя новое поколение, оно никогда не высказывало. Оно идет за своей звездой — слова Наполеона о себе (это очень тонко почувствовал Л. Толстой в Андрее Болконском).

Вяземский написал после получения известия о Семеновском бунте (до репрессий) страстную политическую исповедь⁹⁹. Он полагал, что Александр испугается бунта и введет конституцию, которую сам Вяземский и передаст Александру. Вяземский кончил записку размышлением о том, какие ужасные люди окружают в эту решительную минуту Александра. Вяземский был убежден, что ему не нужно покровительства этих людей, у него во лбу горит своя звезда¹⁰⁰. У разночинцев не будет чувства избранничества, которое они воспринимали как социальную вину дворян, и у них нет ощущения того, что их мало, — они полагают, что их большинство. У Герцена было это ощущение. «Былое и думы» — рассказ не только о себе, но и обо всей России.

К ощущению избранничества и своего меньшинства добавляются еще психологические моменты, в частности, понятие **чести**. Это — главный рычаг поведения. Пущин на вопрос о побудительных причинах 14 декабря ответил: «Нас по справедливости сочли бы подлецами, если бы мы пропустили этот единственный случай». С внешней точки зрения это выглядело как высокомерие, а с внутренней точки зрения — как вопрос чести.

⁹⁹ Документ, написанный Вяземским в форме письма и явно предназначенный «для общественного распространения», был опубликован Ю. М. Лотманом [Лотман 1960: 78–79].

¹⁰⁰ «Не могу при том без ужаса и уныния подумать об одиночестве государя в такую важную минуту. Кто отзовется на его голос? Раздраженное самолюбие, бедственный советник, или ничтожные холопы, еще бедственнее и того», — эти слова находятся во второй половине, а не в финале документа. Далее Вяземский обращается к некоему «ты», которое Лотман трактует в лекции как обращение автора самому себе: «Ты довольно умен, довольно возвышен душою, чтобы мериться с умом и великодушием. <...> У тебя довольно своего света: не пугайся. Свет чужой не затмит его, напротив, придаст новый блеск твоему, сольется с твоим и разольет пространнейшее сияние, которое на тебе же одном отразится» [Лотман 1960: 78]. Далее следует обращение к царю от имени «мы», к которым принадлежит и автор, с призывом прислушаться к их голосу. Вяземский продолжает: «Конечно, не самолюбие говорит в нас: <...> мне блеска Вашего не надобно, природа худо или хорошо, но зажгла мне во лбу звезду, огонешек малешек, который и без Вашего заимобразного сияния не потухнет» [Там же].

Когда мы говорим о любом типе социальной регуляции, мы говорим о системе разрешений и запретов. Причем на чисто физиологические запреты накладываются запреты культурные, которые часто характеризуются эпохой. Там, где есть запреты, должны быть и пути возможного их нарушения (то, что не может быть нарушено, уже не запрет).

Чем регулируются запреты? Чем регулируются они не с внешней точки зрения юридических норм, а с внутренней, психологической? Таким психологическим регулятором являются стыд и страх¹⁰¹ (страхом регулируется отчасти и поведение животного; орган стыда — краснение — есть только у людей). Например, в XVIII в. в России эти два механизма составляют две активные силы. Механизм страха — система управления человеком извне (помещик—крепостник — крестьяне, император и государство — подданные, начальник — подчиненный) — сфера во многом правительственная. Правительство, особенно Павел, стремилось расширить эту сферу. К себе Павел применял механизм чести, не позволяя себе бесчестного поступка (платоническая дружба с Нелидовой). Но Павел очень неприязненно относился к корпоративной дворянской чести, т. е., по сути, к рыцарству (в смысле XVIII в.) другого человека. Павел монополизировал сферу чести себе.

Шляхетный кадетский корпус в быту назывался «рыцарская академия». Он и как учебное заведение, и как психологическое единство противостоял Московскому университету, заведению более демократическому по своему преподавательскому и студенческому составу. Поэтому открытый и демократический университет был лояльнее к правительству, чем корпоративный закрытый корпус — к нему правительство в XVIII в. относилось настороженно, а к университету вполне безбоязненно. Для членов узкого корпоративного кружка важно, чтобы его члены руководствовались не страхом и выгодой, а честью.

Когда в 1820-е гг. литература стала бороться за гонорар, мы рассматриваем это как шаг вперед от дворянского дилетантизма к профессионализму. Этот вопрос имеет и другую сторону: на что существуют люди, не требующие гонорара и служащие не для жалования (Н. Тургенев)? — Отсюда апология крепостного права, например, у Дмитриева-Мамонова.

Для эпохи, где поведение регулируется стыдом, идеалом будет бесстрашие, а падением — страх (стыдно испытывать страх; последние слова князя Андрея перед ранением: «Стыдно, господин офицер»). Страх и стыд — две дополнительные силы, поэтому так важно понятие смелости, не только военной: порядочный человек не может быть робким. Необходимо доказать

¹⁰¹ См. об этом статью [Лотман 1970].

себе и другим, что ты храбр. Это объясняет нам дуэли и бретерство: возможность и необходимость проверять себя под выстрелами. Смелый человек **независим**. Это также обязательное корпоративное свойство. В связи с этим делается понятным сложное отношение правительства к дуэлям. Петр I объявил их худшим преступлением — хладнокровное нанесение ущерба государству, чьим достоянием является каждый воин. Чувство личной чести в принципе отменяется по петровскому уставу: сатисфакция должна быть получена через суд — он реабилитирует человека от бесчестья. Потом правительство неоднократно запрещало дуэли. Дуэль влекла за собой суд, но они продолжались. Далее происходит трансформация этих понятий. Дмитриев-Мамонов предлагал судить тайным судом чести государственных сановников и потом вызывать их на дуэль. Может быть, эта идея, оставшаяся на бумаге, была перенята Бенкендорфом (несколько загадочных дуэлей, малоизвестных, но не пушкинская и лермонтовская).

20 марта 1974 года

К концу XVIII в. образовалось два типа поведения, где регуляторами были честь и страх. Честью определялось корпоративное поведение. Сфера страха не отождествлялась со службой. Свойство добродетельного гражданина — бесстрашие в служебных и политических делах. Александр Иванович Тургенев не был политическим мятежником, но, заказывая свою миниатюру, попросил написать девиз рода Тургеневых «Без боязни обличаху». Это то, к чему стремился Сумароков. В его сознании сыны отечества — политически активная группа, не знающая страха. Она регулирует свое поведение стыдом и честью.

Что же означает честь? На рубеже средневековой и петровской эпохи понятие чести подверглось трансформации. В русском рыцарском средневековье (XI–XIII вв.) понятие чести было европейским: этические нормы представляли собой лестницу — те, кто в поведении руководствовались материальными побуждениями, находились внизу лестницы, те, кто в поведении руководствовались чисто знаковыми побуждениями, находились наверху. Феодальная этика складывалась как иерархия знаковых ценностей. Это ярко видно в последней редакции (XIII в.) «Русской Правды» — удар необнаженным мечом, чашей, рукоятью штрафуются больше, чем убийство мечом — наказывается не реальный вред, а обращение с противником как с низшим существом (оскорбление чести). Раннехристианская этика — это

свод практических предписаний («Вопрошание» Кирика, или «Вопрошание Кириково», XII в.). Со временем формируется иная система, система независимого духовного поведения, где практическое поведение заменяется непрактичным, нерезультативным (как и рыцарские поступки). Само понятие политической практики ориентируется не на реальные, а на идеальные, недостижимые требования. Реальные мотивы скрываются. В христианской этике тоже появляется идеал аскетизма, т. е. увеличение трудностей, непрактическое поведение.

Поэма о Дигенисе — типичный эпос пограничной культуры (например, русско-половецкие, испано-мусульманские тексты). Дигенис — сын гречанки и сирийского эмира, богатырь. Интересно, что этот эпос был переведен в XII в. на русский язык — «Девгениево деяние» — интересно именно с точки зрения передачи на русском языке рыцарской терминологии. Девгений сватается за женщину, дочь богатыря. Всех ее женихов убивали на поединке ее отец и братья. Девгений тут же поехал и не застал братьев и отца дома. Сперва добыв невесту, он дожидается отца и братьев трое суток, трубит в рог под их окнами, побеждает их, прощает и с великой честью удаляется.

Поведение обращено не на цель, а на средство ее достижения. Крестовые походы субъективно были вызваны не погоней за пряностями, а величием цели, трудностью ее достижения (L. Malkiel «Идея славы в кастильском средневековье»¹⁰²).

В Древней Руси честь — благородное действие за материальную компенсацию (низшая ступень иерархии), т. е. добыча¹⁰³. Уменьшение доли при дележе — оскорбление. Материальная сторона чести знакова всегда. Это проявляется в том, что воины сперва отдают добычу князю (акт *передачи* важен в средневековой символике) — она еще не честь; он же ее отдает им обратно — это честь (честь дают, получают). Теперь ее нужно сломать, растратить: хранение чести — не рыцарское поведение, ибо тогда человек ценит в чести ее практический смысл, а не знаковую сторону.

Более высокая категория — слава. Это — мысли и слова людей, она не передается, она возглашается. Слава принадлежит стоящим на вершине феодальной иерархии: князю — слава, дружине — честь. У Бога — и честь, и слава.

Это двуединая система ценностей к XVIII в. была утрачена (у Пушкина в «Сказке о царе Салтане» «Князю прибыль, белке честь» — всё перепутано).

¹⁰² Имеется в виду работа аргентинско-американской исследовательницы María Rosa Lida de Malkiel «La idea de la fama en la Edad Media castellana».

¹⁰³ См.: [Лотман 1967; Лотман 1971].

Государственная норма этики уже заменяет идею чести идеей службы. Служба — обязательное служение, феодальный вассалитет (универсальная категория, регулировавшая все виды поведения в Западной Европе — отношение мужчины и женщины, человека и Бога. На русской почве это менее развито — это проявляется на Руси в праве выхода: князья переходили из Москвы в Литву и т. д.; при Иване III это право еще широко осуществлялось) — служение добровольное, т. е. рыцарское обязательство. В государственной теории Ивана Грозного служение заменяется службой — высшая ступень по отношению к низшей дана Богом и не подлежит передоговору. Курбский мыслит категориями предшествующего периода. Он считал себя не частью государственной службы, а частью своего рода, поэтому считал свое достоинство вечным. Грозный полагал, что достоинство боярина определяется местом на службе. Царь — источник службы, он «творит из малого великого». Идея службы имеет еще одну важную сторону — она десемантизирует государственное поведение человека: от него требуются результаты, а ответственность за средства берет на себя царь.

В государственной публицистике нарастает протест против ненужных действий. Например, бояре отстаивали право охоты (важное феодальное право, привилегия). В XVIII в. — острые нападки на охоту и в России, и по всей Европе. В Московской публицистике охота встречает все большее раздражение. Если в «Поучении Владимира Мономаха» охота прославлена: за отсутствием турниров охота — упражнение в храбрости, то в Московской публицистике охота третируется как негосударственное действие: тот, кто не служит, охотится, и наоборот. Это — забава. Так расценивает охоту и Грозный. В его переписке с Василием Грязным Грозный упрекает опричника, что он думал, будто он на охоте, поэтому и попал в плен. На это Грозной очень обиделся и написал, что раны его получены не на охоте¹⁰⁴. И. Т. Посошков — верный представитель петровской государственности — в «Книге о скудости и богатстве» делил людей на тунеядцев и на служащих. Дворяне — тунеядцы, ибо имеют «приватный» интерес. Хороший дворянин служит в гвардии, а тунеядец — охотится.

Петровская государственная система обязывала **всех** служить. Это была самая большая тягота. При Петре крестьяне стали крепостными барина, а дворяне — служилыми. Обязательная служба — пункт петровской реформы, который больше всего подвергался критике. Указ о вольности дворянства практически его уничтожил, хотя правительство всегда отрицательно

¹⁰⁴ Приводимые здесь примеры Лотман подробнее рассматривает в своей статье: [Лотман 19626].

относилось к неслужилим дворянам (отзыв Екатерины II о Н. И. Новикове). Правительство воспринимало службу как дисциплинарную меру, своего рода наказание.

В послепетровскую эпоху складывалось две системы: 1) государственная служба, получившая наибольшее выражение в «Табели о рангах» (по идее она открывала простор таланту и инициативе в противовес родовитости, на деле же она превратилась в систему чинов). В николаевскую эпоху то, что было посеяно в петровскую, достигло пределов. Гоголя переводить очень трудно, ибо чин с его иррациональным значением непонятен в Европе. «Табель о рангах» — это та система, которую правительство хотело сделать единственным регулятором поведения дворян, но она находится в противоречии с 2) корпоративно-дворянской системой поведения, где чин оценивается как явление низшее.

Человек постоянно находится в двух системах и должен вести себя правильно в обеих: он должен продвигаться по службе и помнить понятие чести полка и др. На этой почве вырастает новое понятие чести и приводит к этике политической борьбы — декабристкой этике.

В конспекте пропуск двух лекций

24 апреля 1974 г.

[Ю. М. Лотману] удалось найти в Москве в 1840–50-е гг. следы новиковской традиции, свято и суеверно чтимой¹⁰⁵. Эта традиция шла через Василия Лёвшина, который получил великое магистерство от Новикова в Авдотьине. Этот круг: сын Алексея Орлова (шефа-жандармов), Шеншин, Арсеньевы¹⁰⁶.

¹⁰⁵ По-видимому, Лотман, занимаясь в рукописном отделе Ленинки (РГБ), обратился к фонду Н. П. Киселева (1884–1965), собирателя масонских рукописей и книг, историка и книговеда, где в оригиналах и в копиях сосредоточен большой массив материалов по русскому масонству, в том числе позднему. Труд самого Киселева увидел свет лишь через 40 лет после его кончины: [Киселев 2005]. Во многом на материале этого фонда, а также фонда Арсеньевых было подготовлено ценнейшее издание: [Арсеньев 2005]. Из этих фондов (но не только из них) были почерпнуты сведения о позднему масонстве в изданиях: [Серков 2000; Серков 2001].

¹⁰⁶ После указа Александра I от 1 августа 1822 г. о запрещении масонских и иных тайных обществ в России масонство своей деятельности не прекратило. В Москве новиковская традиция продолжалась в кругу Василия Алексеевича Левшина (1746–1826) и его родственников: зятя Василия Дмитриевича Комынина/Камынина (1776–1842), зятя Камынина Сергея Николаевича Арсеньева (1801–1860), его сына Василия Сергеевича Арсеньева (1829–1915) и др. Петербургские масоны сосредоточились вокруг Федора Николаевича Арсеньева (1795–1834), гр. Михаила Юрьевича Вильгельмского (1788–1856), Сергея Степановича Ланского (1787–1862, будущего графа и министра внутренних дел в 1855–1861), флигель-адъютанта Николая

В этой связи следует вспомнить сборник Аполлона Григорьева 1846 г., который расшифровал Б. Я. Бухштаб¹⁰⁷. Значит, масонство не прекратилось в 1822 г., со времени официального закрытия масонских лож.

На перекрестке двух типов организационных систем — конспиративной, со строгой системой внутренней организации, и открытой, без оной, — стоит ряд опытов, например, «Зеленая лампа». Является ли она тайным конспиративным обществом? Этот вопрос стоял уже перед следователями — назвал «Зеленую лампу» в числе тайных обществ Пестель. Его рискованная и обдуманная тактика на следствии не имеет однозначной интерпретации: он сознательно давал подробные показания; он не верил в возможность революции в России и считал, что опыт декабристов имеет педагогическое значение — для воспитания будущих граждан. Пестель не щадил ни себя, ни других, ибо считал, что частные интересы незначительны перед историей. Трубецкой давал после этого показания и назвал некоторых членов (Пушкина никто не назвал), сказал, что общество имело чисто литературные цели и в 1821 г. само уничтожилось. Он назвал Якова Толстого, который был тогда за границей и, желая оправдаться, подал царю записку о «Зеленой

Васильевича Шеншина (1827–1858). К петербургскому кругу принадлежал и сын шефа жандармов А. Ф. Орлова Николай Алексеевич Орлов (1827–1885), крестник императора Николая, в будущем генерал-адъютант. Как пишет А. И. Серков: «За сорок лет после запрета масонства в Орден было посвящено лишь несколько человек. Назовем некоторых из них: В. С. Арсеньев, правнук В. А. Левшина, внук секретаря теоретического градуса В. Д. Камынина, сын мазона С. Н. Арсеньева; еще один внук В. Д. Камынина — А. Д. Камынин; агроном В. И. Беликов; сын духовного лидера “мартинистов” П. И. Шварц; уже упоминавшийся Ф. А. Голубинский и его сын Дмитрий; отставной гвардии поручик Н. С. Долгорукий; смотритель Можайского уездного училища Е. С. Жарков; известный мемуарист М. А. Дмитриев (посвящен в 1830 г. «партикулярно» М. Я. Мудровым); флигель-адъютант Н. А. Орлов; будущий обер-гофмейстер В. А. Бибиков; приятель Ю. Н. Бартенева Р. М. Быков; друзья В. С. Арсеньева: А. Д. Философов, И. Ф. Дюмутьель, Ю. А. Долгоруков, И. С. Друцкий. Встречи “теоретистов” продолжались более или менее постоянно вплоть до 1870-х гг., а последние тайные принятии в масонство относятся уже к началу XX в., когда В. С. Арсеньев посвятил в Орден вольных каменщиков своего сына и внука» [Серков 2000: 286–287].

¹⁰⁷ Имеется в виду статья Б. Я. Бухштаба 1957 г. «Гимны” Аполлона Григорьева», где доказано, что тексты Григорьева являются переводами немецких масонских гимнов, изданных в 1813 г. [Бухштаб 1966: 38]. Еще В. Н. Княжнин в своей рецензии на издание А. А. Блоком стихотворений Григорьева писал о масонской природе григорьевских гимнов [Княжнин 1916: 20–21], хотя никаких конкретных сведений о принадлежности поэта к ложе у него не имелось. Бухштаб также основывался на текстах, но и на воспоминаниях Фета. Он сделал вывод, что четырехлетие 1843–1846 «прошло у Григорьева под знаком масонства» [Бухштаб 1966: 43], хотя нет сведений о конкретном кружке ни в Москве, ни в Петербурге, куда поэт переехал в конце февраля – начале марта 1844 г. (Фет даже полагал, что переезд состоялся из средства масонов), поскольку поэт тайл свои масонские связи даже от ближайших друзей [Там же: 42–43].

лампе». На основании этих документов следствие сделало вывод о неполитическом и неконспиративном характере «Зеленой лампы», о ее немногочисленности и незначительности.

Следующий этап нашего знакомства с «Зеленой лампой» связан с изучением биографии Пушкина. П. А. Бартенев в ряде работ, П. В. Анненков в книгах «Пушкин в александровскую эпоху», «Материалы к биографии Пушкина» впервые вывели «Зеленую лампу» на страницы печати. Они, ссылаясь на свидетельства современников, характеризовали ее как сообщество развратников (оргиастическое общество). Это утверждение надолго сохранилось в литературе, хотя рано начало вызывать возражения. Василий Семевский имел копии протоколов заседаний «Зеленой лампы», полученные из имения Всеволожского. Он говорил Ефремову, что «Зеленая лампа» имела политический характер и была связана с Союзом благоденствия. Ефремов выразил это в комментариях к своему изданию Пушкина.

В 1908 г. В. В. Сиповский последний раз высказался об оргиастическом характере «Зеленой лампы». Возразил этому П. Е. Щеголев в первой специальной работе о «Зеленой лампе». Он писал о ней как о свобододолюбивой политической организации. В 1932 г. в первом сборнике «Декабристы и их время» Б. Модзалевский впервые опубликовал протоколы «Зеленой лампы». Правда, это был весьма неполный отрывок, и судить по нему об обществе трудно.

Гораздо интереснее даже не протоколы, а два анонимных произведения, которые читались на заседаниях. Модзалевский приписал их Улыбышеву — это был человек либеральный, но мало проявивший себя в политике. Он был широко образованный дилетант; специалистом был в области музыки (автор классических монографий о Моцарте и Бетховене). Он был богатым нижегородским помещиком, в его доме бывал Н. А. Добролюбов и пользовался его библиотекой.

Однако нам важнее произведения (по-французски):

1. «Письмо другу в Германию о петербургском обществе»¹⁰⁸ — чрезвычайно характерный документ, прекрасный комментарий к «Горю от ума». Петербургский свет разорван на две части: правоверные (погасильцы) и еретики. Погасильцы отличаются чинопочитанием — это мир, где все иерархизированы по «Табели о рангах» и богатству (чины, богатство, ордена, этикет — принадлежат негативному миру) — это мир консервативный, невежественный. Ему противостоит мир «мы», замкнутый круг, но внутри себя не иерархичный, мир образованный, либеральный.

¹⁰⁸ См. об этом тексте: [Томашевский 1956: 230–231].

2. «Сон» — утопическое произведение, рисующее будущее общество¹⁰⁹.

Казалось бы, Щеголев и Модзалевский правы, и мысль Анненкова и Бартенева неверна. К сожалению, это не совсем так. Сейчас «Зеленая лампа» традиционно считается легальным филиалом Союза благоденствия, и это, вероятно, не так.

Анненков (да и Щеголев) считали, что оргиастический характер мог быть свидетельством неполитического характера общества. Это неверно. Для Николая I нравственность и политическая лояльность совпадали. Николай расправился с Полежаевым за неприличную поэму совсем не политического характера — непристойность и политическая неблагонадежность для Николая совпадали. Поэтому члены «Зеленой лампы» не могли оправдываться, ссылаясь на неприличный характер общества.

Анненков пишет, основываясь на устных свидетельствах, что в «Зеленой лампе» пародировали масонские и парламентские ритуалы. О том, что такой пародийный ритуал в обществе существовал, ясно из того, что это совпадало с «Арзамасом» (красный колпак — пародия на Французскую революцию), и из биографии Всеволожского. Дружеский вечер сопровождался вином и разговорами непостного свойства, что свидетельствовало о том, что идеалом в этом обществе был отнюдь не аскет. Это ярко проявляется и в лампийском цикле Пушкина, и в его письмах к членам общества, где присутствуют ритуальные ругательства и вольнолюбивые высказывания.

«Зеленая лампа» — общество политически окрашенное, свободолюбивое и этически противопоставленное аскетизму (не идеал оды «Вольность», а идеал мадригала к Голицыной «Краев чужих неопытный любитель...»). Союз благоденствия занимал иную позицию. Он порвал с ранней традицией конспирации.

9 февраля 1816 г. Александр и Никита Муравьевы, Якушкин, Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы, С. Трубецкой организовали тайное общество Союз спасения. Устав общества был оформлен как строго конспиративный, с законспирированной главной целью и со страшными клятвами. Устав был написан Пестелем, который разработал целую систему применения масонских средств в немасонских целях. Устав был единогласно отвергнут, и в 1817 г. общество практически перестало существовать. Выработали иной устав — устав Союза благоденствия, который ориентировался не столько на пропаганду определенных политических идей, сколько на нравственное изменение поведения людей.

¹⁰⁹ [Томашевский 1956: 231–234].

Общество закрытого типа ориентируется на действие одиночки в истории — на активность личности. Здесь проекция на античные политические легенды — заговор Брута и Кассия. Смысл — в решительном выступлении. Второй (открытый) тип ориентируется на общество, которое равно народу. Только в силу исторических условий знак равенства нельзя было поставить. Оно ориентируется на пропаганду, а не на заговор.

Изучая декабристскую литературу, мы изучаем мнения декабристов о тайных обществах. В основном это записки позднего периода. Документов, созданных между 1815 и 1825 гг., очень мало. При аресте В. Ф. Раевского не были взяты «Зеленая книга» и книга «Воззвание к сынам севера» — что такое эта последняя книга, неизвестно. Ю. Г. Оксман предложил отождествить ее с «Краткими наставлениями русским рыцарям» Мамонова, но сам скептически отозвался об этой идее. Что же это такое, важно хотя бы потому, что ее бесспорно читал Пушкин, работавший в это время над поэмой «Вадим», оставшейся незаконченной.

Подлинник «Зеленой книги» до нас не дошел. Ю. Г. Оксман предположил, что это была литографированная копия, сделанная на литографическом станке, купленном Луниным. Следствие очень заинтересовал этот станок. Сначала Лунин отмахнулся, но затем признался, что он был куплен на деньги тайного общества, но не был использован. Великий князь Константин тоже купил в Варшаве для правительственной переписки станок, но не мог достать камней (на станке Константина, может быть, была напечатана элегия П. Габбе «Байрон в темнице» — копия в РО ГПБ¹¹⁰). Может быть, он был побочным сыном великого князя Константина). Тайному обществу тем более было трудно раздобыть камни. Все допрошенные показали, что станок не был пущен. Конечно, это могла быть тактика самозащиты, поэтому концепция Ю. Г. Оксмана может быть верна.

С. Н. Чернов попытался восстановить текст «Зеленой книги». Вариант, опубликованный Пыпиным, очень безобиден и составляет только первую часть. Была ли вторая часть? Декабристы на следствии показывают о ней очень туманно. А. Муравьев показал, что она существовала, но никогда не была «прошнурована», а значит не была официально утвержденным документом. Значит, она была, но передать ее содержание он явно уклонился, как и другие декабристы. С. Н. Чернов проделал блистательную работу по реконструкции.

¹¹⁰ Элегия «Байрон в темнице» была напечатана в журнале «Сын Отечества» (1822. № 43). Она была включена в лотмановскую антологию [Поэты 1971: 737–741].

Устав Союза благоденствия имел двухступенчатую структуру. Первая часть была нарочито построена так, чтобы ее можно было показать посторонним. Вторая часть — устав внутреннего общества, цели которого были известны далеко не всем. Кроме того, цели даже самого тесного круга не совпадали, поэтому и нельзя было найти единого устава. Но все-таки «Зеленая книга» оставалась неофициальной и необязательной, она была известна хотя не всем, однако была очень важна. Ее полного текста у нас нет. Это лишнее доказательство того, какие у нас пробелы в декабристских документах.

Следственные документы имеют печать не только тактики самозащиты, но и отношения декабристов к тайному обществу. Это надо всегда учитывать. Тактику на следствии ряд декабристов избрал очень благородную — брать на себя вину за руководство обществом, не будучи руководителем (Норов). Хотяинцев, второстепенный член общества, принял иную тактику — он показывал, что вступил в благотворительное общество, а на деле оказалось совсем другое. Это очень раздражило Пестеля, который стал резко утверждать, что общество с самого начала было революционным, а «Зеленая книга» была для отвода глаз и для показа новичкам, которые, вступая в общество, уже знали, что это ерунда. Этот взгляд Пестеля ретроспективен — он представляет революционность так, как она ему мыслилась после 1821 г. — как насильственный переворот. В обществе не было такого единства и целеустремленности, поэтому никак нельзя считать всех членов общества сторонниками революционного насильственного переворота. Резким противником таких мер был, например, Ф. Глинка, поэтому у Пестеля — явная ретроспекция, такая же, как в книге «Россия и русские», где Н. Тургенев излагал концепцию, что тайное общество — реализация правительственных идей. Обе эти различные ретроспекции сходны в том, что выдают одну из возможностей за единую программу общества.

Ретроспекция Н. Тургенева дала материал для исследовательской концепции Пыпина, ретроспекция Пестеля — для концепции Нечкиной. Она создает (реконструирует) устав и программу Союза спасения, хотя известно, что его не было (в смысле, он не был утвержден). Была образована очень представительная «Статутная комиссия» — Пестель, Трубецкой, Шаховской, князь И. А. Долгоруков («осторожный Илья»); создавал же статут фактически Пестель. Статут был ориентирован на масонский ритуал. Никита Муравьев очень иронически пересказывал его на следствии. Но Якушкин показал, что у общества была скрытая цель — ограничить самодержавие. Все члены общества с раздражением вспоминали о наличии у Пестеля в статуте идеи о строгом подчинении.

Нечкина на основании показания Пестеля 1826 г. делает реконструкцию о революционности Союза спасения, но ничем другим, кроме этого показания, этого тезиса подтвердить нельзя. Идея немедленной революции возникла: идея Лунина убить Александра кинжалом — но никто тогда этого всерьез не воспринимал. Прав Вяземский, называвший это «жестокой болтовней»¹¹¹. Конечно, это нельзя считать программой Союза спасения. Вернее другое — в обществе были сторонники и закрытого, и открытого типа общества. Мы ничего не поймем, если будем считать, что все члены общества были единомышленны во всех основных положениях. Были молодые люди, которые были согласны в одном: положение в России нетерпимо, а далее контексты расходились. Могли считать, что правительство может справиться с реформой, но его надо подтолкнуть, другие — что правительство не способно к реформам; могло быть много других точек зрения. Круг людей был всегда кругом **разномыслящим**, поэтому всякая попытка реконструировать позицию **всего** общества по точке зрения одного лица неверна в корне. Нечкина переоценивает роль споров о формулировках. Декабристы в массе были военные, они ценили дело больше формул, а разномыслие входило в их программу.

Для реконструкции устава Союза спасения нужно было бы привлечь не показания Пестеля 1826 г., а его до сих пор не опубликованные бумаги более раннего периода («Русскую правду» печатать очень трудно, т. к. необходимо установить, к какой редакции принадлежит тот или иной листок). Пестель мало изучен, нет монографии о нем¹¹². Лучшая работа о Пестеле — Дружинин «Масонские знаки Пестеля»¹¹³ и страницы книги Нечкиной. Не опубликованы его сочинения по военным преобразованиям, политической экономии и др. Мало опубликована его переписка, т. е. мы по Пестелю не имеем даже корпуса документов.

Пестель, глядя на период Союза благоденствия как на период отрицательный, как человек, сделавший многое для изживания этого периода и принимавший за это ответственность, сказал, тем не менее, точно: все совещания Союза благоденствия ничем не кончались, были беспорядочные прения,

¹¹¹ В своей статье Лотман ввел в научный оборот слова Вяземского 1826 г.: «Убийственную болтовню (bavardage atroce, как назвал я, прочитавши все сказанное о них в докладе комиссии) ставите вы на одних весах с убийством, уже совершенным» [Лотман 1960: 134].

¹¹² В последние десятилетия положение исправилось. Пестелем много занимается ученик Ю. М. Лотмана В. С. Парсамов. См. главы в его книгах: [Парсамов 2001; Парсамов 2010; Парсамов 2016]. Недавно вышло замечательное исследование: [Эдельман 2022].

¹¹³ Работа была издана отдельным изданием: [Дружинин 1929]. При переиздании ей было дано другое название: [Дружинин 1985].

но не было решения, а о программе договориться никак нельзя было. Все были объединены неопределенным чувством либерализма, а определенных выработанных программ не было. Все сходились на том, что необходимо расширить круг членов, а конечная цель была неясна. Это объясняет нам разногласия в показаниях о второй части «Зеленой книги».

Обязательных решений в обществе вообще не было, никакой документации не велось. Пестель недооценивал роль легальной пропаганды. Члены общества впоследствии стали также иронично относиться к Союзу благоденствия как к пройденному этапу. Противопоставление 'Чацкий – Репетилов' возникло именно тогда, когда Чацкий стал восприниматься как болтун. О Союзе благоденствия знали все — император Александр I знал о нем еще до доноса Грибовского, до 1821 г., уже в 1819 г. — и был склонен преувеличивать размеры явления. Нечкина в 1952 г. опубликовала показания Горсткина, которые дословно совпадают... с X главой «Евгения Онегина», т. е. Пушкин был посетителем собраний общества совершенно бесспорно, а X глава — род протокольной записи. Так что деконспирированность была свойственна Союзу благоденствия. Грибоедов поставил рядом с истинным либералом (Чацким) неистинного (Репетилова). Но в 1825 г. Пушкину Чацкий не казался умным, в письме А. Бестужеву он писал: «А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, прошедший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело». Умный человек не выдает своих взглядов Фамусову и Скалозубу — агитатор Союза благоденствия был смешон Пушкину уже в 1825 г. Это — ретроспективная оценка. Она и происшедший далее сдвиг в понятии либерализма в 1860-е гг. повлияли на поверхностную оценку Союза благоденствия как переходного явления, незрелого общества, спада после Союза спасения между Северным и Южным обществами.

Это, конечно, историческая аберрация. У нее была и еще одна причина — правительство также смотрело на Союз благоденствия как на общество безопасное. Членов, уклонившихся от участия в обществе после 1821 г., правительство аресту почти не подвергало. Меры наказания были легкие — на каторгу никто не пошел. Это подталкивало историков к выводу о незначимости Союза благоденствия.

Союз благоденствия оказал глубочайшее влияние на литературно-общественную мысль, на русскую культуру. Он не создал программы, но он создал

тип человека — повлиял на образ мысли, жизни и статус целого поколения. Огромно **моральное** воздействие Союза благоденствия. Союз спасения был камерной и эпизодической организацией, не оставившей следа в русской культуре, в русской жизни. Вычеркнуть Союз благоденствия — вычеркнуть Пушкина.

Попробуем восстановить тип человека, созданный Союзом благоденствия. Во-первых, это совсем не обязательно член тайного общества. Он может быть членом, но может и не быть им. Это очень важно, когда мы ставим вопрос о том, кто является декабристом, а тем более — вопрос о декабристской литературе. Сами декабристы рассматривали какую-то литературу как *свою* (Пушкин и статья Муханова о мадам де Сталь¹¹⁴). Декабристская литература — реальность и для современников, и для нас. Но когда мы начинаем рассматривать конкретные произведения, то какие из них нужно причислить, какие — нет? Где критерий? По кругу членов тайного общества, по кругу сосланных и повешенных? Мы не о всех знаем, не все были членами, многие были членами случайно. По кругу идей? Очень трудно.

Гуковский пытался провести стилистический анализ: есть слова-символы, имеющие внетекстовые, тайные характеристики¹¹⁵. Но и это — неопределенный критерий. Когда сам Гуковский стал проводить эту идею на конкретных текстах, то получилось сложно — вошел весь Денис Давыдов, а в конце концов и Батюшков. Резкого критерия нет и, вероятно, и быть не может. Если понимать под декабристской поэзией поэзию периода Союза благоденствия, то никаких четких границ не было — были члены, а была и группа людей, к ним примыкавшая.

Пестель говорил, что Союз благоденствия имел своей целью расширить круг членов. Но не всем, тем не менее, предлагали быть членами: Пушкин добивается — ему не предлагают, а Жуковский не добивается, а ему предлагают. Якушкин очень интересно записал, что тех, кто и так «действовали в смысле общества», необязательно принимали. Нужно было принимать

¹¹⁴ Лотман отсылает к эпизоду 1825 г., когда в «Сыне отечества» появилась статья А. А. Муханова с критикой на книгу мадам де Сталь «Десять лет в изгнании». Пушкин не знал, кто был автором статьи, и откликнулся на нее резкой статьей в «Московском телеграфе» «О г-же Сталь и о г. А. М-ВЕ»: «О сей *барыне* <так назвал де Сталь Муханов> должно было говорить языком вежливым образованного человека. Эту *барыню* удостоил Наполеон гонения, монархи доверенности, Европа своего уважения, а г. А. М. журнальной статейки не весьма острой и весьма неприличной. Уважен хочешь быть, умей других уважить» [Пушкин 1978: 19]. Лотман имеет в виду, что Пушкин воспринимает мадам де Сталь как «свою» и требует к ней уважительного отношения.

¹¹⁵ Лотман имеет в виду монографию 1946 г., позднее переизданную: [Гуковский 1965].

людей, имеющих высокий авторитет в обществе и высокое служебное положение. Нужно было захватить в свои руки ключевые государственные позиции. Тайное общество — костяк, который обрастает нечленами и, вместе с тем, как бы членами общества. Союз благоденствия так крепко вошел корнями в русскую культуру, что, когда эти корни вырвали, культура оказалась отброшенной на 10 лет назад.

Культурное, нравственное понятие «честный человек» было в конечном итоге понятием политическим, хотя политическими актами не было зафиксировано. Честный человек отрицательно относится к эгоизму, к служебным отличиям, к карьере (отставка Чаадаева перед получением ордена за известие в Троппау¹¹⁶). Просветительская философия легко выродилась в гедонизм, в оправдание бытового материализма. Человек Союза благоденствия в своем бытовом поведении отвергал ценности существующего общества — он бравировал отношением к чинам, орденам. Характерна судьба Пущина — он хорошо кончил Лицей, начал с успехом служить (был из небогатой незнатной семьи, хотя и со связями) и к сорока годам мог бы получить полковника. Но в 1822 г. он перешел в статскую службу в Уголовную палату, т. е. на судебскую должность. Пущин считал себя гражданином и мерил Россию рангом римского общества, где должность судебного чиновника — почетная должность. Личным примером нужно было облагородить низшие должности и быть ближе к народу, к его каждодневным нуждам. Кроме того, Пущин не чувствовал себя судебским, он — Пущин. Это бытовое свержение застывших жизненных норм очень важно. Человек создавал в уме идеал жизни, который обязательно имел высокий литературный двойник, и этот идеал проводил в жизнь. Такой тип мышления существовал и ранее, в XVIII в.; чтобы почувствовать, что у нас есть поэзия, культура, необходимо было найти русских Пиндаров, Расинов, Руссо, это — чин. Имя собственное как чин очень интересно (Пугачев пожаловал своего подчиненного «графом Чернышевым», а не просто графом).

Пушкин писал о Чаадаеве: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес», т. е. Чаадаев — русский Брут. Взгляд на его жизнь укрупнен, мы смотрим на него сквозь античную призму. То есть в нас существует то, что содержится в античных параллелях, а остальное — не существует. Критика такого взгляда начинается с добавления к облику деталей, которых не было в античном образце: у Пушкина «важный Гримм» может чистить ногти, а Чаадаев — уделять пристальное внимание одежде («Второй Чадаев, мой Евгений, <...> / В своей одежде был педаант / И то, что мы назвали франт»),

¹¹⁶ Этот сюжет подробно рассматривается в статье [Лотман 1975].

в Михайловский период Глинка-Аристид из послания 1822 г. превращается в «наш друг Фита, Кутейкин в эполетах», хотя отношение к Федору Глинке — по-прежнему дружеское, но к его облику добавляются детали, не подвергающиеся литературной дешифровке.

В эту эпоху вводится понятие **исторический поступок**. Программа поведения — литературная программа. Человек эпохи Союза благоденствия получает целый набор будущих поведений, ибо поведение по образцам предполагает значение будущей судьбы и следование или отталкивание от судьбы литературного двойника. ‘Овидий–Август’ — ‘Пушкин–Александр I’ — зеркально перевернутое поведение.

Союз благоденствия вовлек в бытовое поведение широкий круг литературных и политических идеалов, которые, конечно, были известны и ранее — но в XVIII в. сфера жизни и сфера идей, искусства были строго разграничены (когда Сумароков написал Екатерине II эмоциональное письмо с жалобой на обиду, императрица ответила, что ей всегда приятнее видеть представления страстей в его драмах, чем в его письмах) и перенесение гражданских чувств в бытовое поведение было непристойным. Радищев внес новое в культуру: прочтя в молодости трагедию Аддисона о Катоне, он закончил свой жизненный путь по его образцу. Но в этом смысле он — фигура уникальная.

10 сентября 1974 года, первая лекция нового учебного года

Когда мы изучаем то или иное историческое явление, мы обычно изучаем определенный корпус документов, т.е. письменные источники. Мы приравниваем историю человечества к истории документов, созданных человечеством. За пределами письменных документов остается деятельность, устная речь, психология, выражающаяся в поведении. Эта часть очень трудно документируется: трудно выйти и здесь за пределы письменных источников — ничего более в руках историка нет. Поэтому-то историку и нельзя забывать, что у него в руках только симптомы истории, содержащиеся в письменных источниках. Они должны быть материалом для **реконструкции**. Для чего нужно знать, что такое Пушкин, Толстой и т. д. как человек? Это интересно всем. Но в таком интересе есть нечто от мещанского любопытства. Нас проблема будет интересовать с иной точки зрения.

Гегель сказал, что исторические закономерности реализуются путем нереализации, через бесконечное число отклонений и вариантов. Неслучайно люди имеют разные лица и характеры, а история действует через людей.

Нельзя поэтому предсказать результат при одинаковых предпосылках. Закономерность преломляется через личность. То, что в исторический процесс вводится личность (нечто сложное, что не позволяет однозначно предсказать преломление закономерности), — неслучайно и увеличивает вариативность¹¹⁷.

Типов поведения много, но все же ограниченное количество. Астрономически огромно количество комбинаций поведения (мужчина, инженер, тридцати пяти лет, определенной эпохи и т. д. — но эти типовые поведения иногда противоречат друг другу). Это — условие существования жизни. Уникальных сцеплений почти нет.

Когда нас будут интересовать декабристы как люди, мы будем обращаться к их бытовому поведению.

Понятие конспирации у декабристов появилось довольно рано, хотя значение этого слова было совсем иным, чем у нас. Декабристы прятали определенные тексты, но открыто говорили о своем участии в тайных обществах. Чацкий на балу выделяется не своими монологами, а своим поведением. Приблизительно до 1820 г. либерально держаться было условием хорошей

¹¹⁷ Чтобы расшифровать эту запись, мы обратились за помощью к философам. По нашей просьбе Н. С. Автономова обратилась за консультацией к специалисту по гегелевской философии проф. Марине Быковой. Вот ее комментарий, данный в письме к Н. С. Автономовой: «По-видимому, речь идет о том, что, согласно Гегелю, в истории нет ничего предначертанного (или жестко детерминированного), ибо творцами истории являются индивидуальные личности и народы (все мы), которые наделены свободной волей и способностью принимать самостоятельные и осознанные решения. Гегеля часто упрекают в телеологическом взгляде на историю. И сам Гегель этого не скрывал. Однако его телеология не имеет ничего общего с фатализмом или нечто подобным. Для Гегеля “телос” истории — это сознательная реализация свободы, и прогресс в истории связан с осознанием свободы. Данный прогресс рационален, поскольку он соответствует самому развитию. Это рациональное развитие есть эволюция духа (Geist), достигающая самосознания, поскольку сама природа духа есть свобода. Гегель формулирует данное понимание истории (хотя и весьма схематично) в своей “Энциклопедии философских наук” (в последней секции философии объективного духа, которая известна под названием “Всемирная история”), но подробно он излагает данные идеи в своих “Лекциях по философии истории” (Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte), которые он неоднократно читал в Берлине. Вот цитата из Введения к “Лекциям”: “Всемирная история есть прогресс в сознании свободы, — прогресс, который мы должны познать в его необходимости. <...> Итак, определением духовного мира и конечною целью мира было признано сознание духом его свободы, а следовательно была признана и действительность его свободы — так как духовный мир есть субстанциальный мир, физический же мир подчинен ему, или, выражая эту мысль в терминах умозрительной философии, оказывается не истинным в противоположность духовному миру”. <...> Лотман похоже, обращается к Гегелю, поскольку тот подчеркивал важную роль личности в истории. Действительно, согласно Гегелю, мировой историей движут “всемирно-исторические личности”; так называемые “великие люди”, такие как Сократ, Юлий Цезарь или Наполеон. Только они способны влиять на ход истории и продвигать вперед самосознание свободы». Приношу сердечную благодарность Н. С. Автономовой и проф. М. Быковой за разъяснения.

карьеры (Вигель писал об этом в своих мемуарах, говоря о Козодавлеве и Уварове). Характерны наставления Александра Ивановича Тургенева и Николая Ивановича Тургенева брату Сергею: незаговорщик Александр Иванович настаивал на необходимости вести себя скромнее, а Николай говорил, что, если человек усвоил себе либеральный образ мыслей, он должен отличаться от хамов не только образом мысли, но и поведением¹¹⁸.

В 1820-е гг. группа молодежи выделялась своим поведением. Что мы будем называть поведением? Мы будем отделять осознанные поступки от случайных или поступков по необходимости, т. е. мы будем рассматривать поступки по выбору — поступки, имеющие значение.

В XIX в. очень важно чувство корпоративности: включение в группу остается на всю жизнь (масонская ложа, полк, Геттингенский университет). Братство может ликвидироваться, но членство в нем продолжать существовать. «Арзамас» перестал существовать в 1818 г., но члены его остались арзамасцами всю жизнь, уже старые Жуковский и Вяземский продолжали называть друг друга арзамасскими именами. В «Горе от ума» к Чацкому по-иному относится Горич — они братья, товарищи по полку. Они не единомышленники, но говорят на одном языке, даже жаргоне («Ты обер или штаб?»).

Служить при Екатерине — обычно, не служить можно, но не поощряется. Не служить — это нарушает обычное течение жизни. Нас будут интересоваться нарушения обычной нормы — для этого нам надо знать эту рутину.

Словесное поведение нам почти не дано, ибо оно не фиксируется — зафиксированное словесное поведение настолько отличается от устного, что отождествлять их нельзя. Устная речь имеет свои законы. Человек может «ляпнуть», но перед тем, как он напишет записку даже на обрывке бумаги, он трижды задумается. Нас интересует стихия устной речи. Реконструировать устные тексты невозможно за редчайшим исключением. Но мы можем узнать, в каких случаях пользовались устной речью.

В каждом обществе существует целая система табу, в частности, словесных. В XIX в. сформировался небольшой круг тем, на которые можно было говорить в неспециальном обществе, т. е., например, на балу (неприличие уместно именно в контексте). Задается не только тема разговора, но и тембр голоса, жестикуляция. Руссо не владел аристократическим жестом и выглядел в салоне плебеем. Чаадаев обладал этим искусством в высшей степени,

¹¹⁸ Лотман опирается на кн.: [Тургенев Н. 1936] со вступительной статьей А. Н. Шebuнина «Братья Тургеневы и дворянское общество александровской эпохи».

Пушкин придавал этой стороне особое значение, но не владел этим искусством вполне.

Наряду со словесным поведением нас интересует жест, т. е. движение, соединенное со значением, движение, имеющее знаковый смысл, и система жестов, а также связь слов и жеста (жест в незафиксированном пространстве всегда свободнее). Кроме того, мы будем иметь дело с цепочкой жестов, которые складываются в поступки. Поступки же складываются в определенные сюжеты. Тот или иной поступок, естественный в одну эпоху, абсолютно невозможен в другую (пример с Карамзиным и Ф. Глинкой — орден¹¹⁹).

Онегин в начале романа — лишний человек с мертвой душой, но к концу романа перерождается, он влюбляется в Татьяну, т. е. способен к сильным чувствам, а значит он способен выйти на Сенатскую площадь — вот ход мысли в рассуждении о том, что Онегин к X главе становится декабристом¹²⁰. Но отождествление любви с политической активностью стало актуально со статьи Чернышевского «Русский человек на rendez-vous», для декабристов это не так, скорее наоборот. Декабрист вел себя как декабрист только в вершинные минуты жизни, но в обыденной жизни он мог вести себя как дворянин, человек, любящий танцы, или нет.

Положение бытового поведения в русской культуре представляет собой явление уникальное. В Петровскую эпоху функционально изменилось место обыденного поведения в культуре.

Социально-государственное поведение людей представляется нам в виде текстов. Но есть и другая сфера — человек в обычном быту. Между ними существует принципиальное различие: предполагается, что в социально-государственном обиходе человек ведет себя особым образом — это социально отмеченное поведение, социальная маска: поведение боярина, монаха и др. Другой этаж ассоциируется с внесоциальным бытием и отождествляется

¹¹⁹ Ф. Н. Глинка так описывает сцену с орденом: «Раз зашел я к Н. М.-<ихайлови>чу с Гречем. Мы застали его в хлопотах по туалетной части: он по особенному зову собирався на парадный обед во дворец. Он уж совсем был готов, как вошел Ал. Тургенев и, увидя на шее его огромный старинный Владимирский крест, объявил, что с ним нельзя показаться на парадный обед, что никто уж не носит теперь таких крестов, потому что по новой форме положено носить маленькие крестики. Что тут было делать? Н. М.-ч нашелся в затруднении. Тогда я снял у себя и предложил мой маленький, очень изящно отделанный Владимирский крестик. Николай Михайлович принял, благодарил и, сняв с шеи свой огромный крест, подал мне, сказав с любовью и ласкою: «Примите моего старого товарища, с которым я свыкся: по заветному русскому обычаю обменяемся крестами, и отныне мы будем крестовыми братьями»» [Глинка Ф. 1985: 249–250].

¹²⁰ Лотман вспоминает концепцию Г. А. Гуковского, писавшего: «... неосуществленное заключение романа о том, что Онегин погибнет в восстании, закономерно вытекает из всего смысла книги, из всего развития его сюжета и идеи» [Гуковский 1957: 274].

обычно с домом. Домашний быт — общечеловеческий, не социально маскированный. Стремление в домашнем быту вести себя как в государственной сфере — комично (картины Павла Федотова).

Два типа поведения: маркированное и немаркированное (признак его — отсутствие признаков первого типа. Второй тип будет *казаться* простым), культура ↔ природа. Разница типов поведения проявляется в том, что социальному поведению нужно учиться, а второе усваивается само собой, постепенно, незаметно. Есть два типа обычая: по традиции, стихийно и по правилам. Изучая язык, мы можем учить его как родной (стихийно) и как иностранный (по правилам). Чтобы вести себя по правилам, общество создает тексты-образцы. Так возникают судебники, «Русская правда», «Домострой» и т. д. До определенного срока бытовое поведение письменных норм не имеет: оно передается силой непрерывной традиции (первые грамматики создаются для иностранцев или иностранцами). При этом по письменным источникам установить бытовые нормы трудно, никто не станет описывать то, что все знают. Многие чисто бытовые подробности утрачены, видимо, навсегда: жест, мимика. Эта сфера — естественная, очень интимная. Вообще то, что она существует, человек осознает тогда, когда в нее попадают люди иного мира, иностранцы. В средневековье «наше» поведение (поведение данного коллектива) воспринимается как правильное, а поведение не членов данного коллектива — как неверное, причем как «наше» поведение наизнанку, т. е. одно и то же поведение, но одно с положительным, другое с отрицательным знаком (черные и белые заговоры. Белые заговоры — обращение к светлым силам и допускаются для христиан. Черные заговоры — все наизнанку: раб божий — пар (от *'par'*)). Свободы выбора нет — нормирована праведная жизнь, но нормирована и грешная, неправедная. Законы этой жизни описаны М. М. Бахтиным: в беспорядке карнавальной жизни существует тот же порядок, но наоборот.

В средневековье дано одно поведение, однако даже тут есть две сферы: будни и праздники. И чем больше запретов в будни, тем ярче выражены праздники. В средневековом мире они строго локализованы во времени и пространстве: дни указаны, задан их порядок, задано их место. Помещение дома тоже разделялось на праздничное и будничное пространства — только в интеллигентских квартирах XIX в. стерлась эта грань.

Итак, в силу того, что «свое поведение» принято считать единственно правильным, встает вопрос о том, как вести себя с иностранцами. Сперва считалось опасным общение с иностранцами и овладение иностранными

языками (патриарху Антиохийскому во время суда над Никоном предписали не говорить по-турецки), перенятие одежды иностранцев.

Нельзя не только «своим» вести себя как иностранцам, но и иностранцам перенимать одежду русских и их обычай. Русские послы XV–XVI вв. требовали неукоснительного соблюдения **московских** норм обращения с ними за границей. «Статейный список» боярина И. Воронцова — отчет о его путешествии в Швецию в XVI в.¹²¹, очень интересный документ. В первую очередь Воронцов следит, как соблюдается ритуал приема посла: его должны принять так, как принимали посла Швеции в Москве; никаких скидок на другие обычаи в другой стране Воронцов не делает. Это решительно противоположно поведению Петра I во время Великого посольства. Воронцов в чужой ситуации хочет говорить на родном языке, а Петр I в этой ситуации хочет говорить с иностранцами на их языке.

Особенность петровского переворота состояла в том, что бытовой мир перевернулся так же, как государственный. «Свое», исконная бытовая норма бытового поведения стали восприниматься как неправильные, что в корне противоположно средневековому взгляду. Был создан учебник по бытовым нормам — «Юности честное зеркало» — он издавался в течение всего XVIII в. Он учил вести себя с домашними, как с иностранцами. Это потрясающая перемена знаков. Бытовая область из «своей», простой переходит в сферу правильную, нормированную, иностранную. Бытовое европейское поведение для русского дворянства не просто переносится, а делается нормой. Европейские одежда, прическа совсем не нормированы в Европе, в России делаются *дворянской* одеждой, прической, почти мундиром. В XVII в. в России знали иностранное платье: польское и венгерское. Оно допускалось как детское и как одежда дома, на интимном приеме у царя. Иностранный мундир петровских потешных полков поэтому не вызвал возражений (как смесь детского и маскарадного платья). Но при перевороте в быту он стал нормой — мундиром русских гвардейских полков. В Европе одежда была в общем не нормирована, а в XVIII в. в России даже женское платье нормировалось.

В результате петровской реформы бытовое поведение разделилось на крестьянское и вообще недворянское (духовенство, купечество) поведение — оно придерживалось допетровских норм (даже в этнологических показателях были различия — браки с иностранцами поощрялись в среде дворянства и отсутствовали в другой среде, отсюда различия даже в типе лица), и дворянское поведение. Интересно, что эти типы сосуществовали

¹²¹ См. публикацию текста: [Статейный список 1954].

и пересекались, между ними не было непроходимой границы. В Санкт-Петербурге крестьянская жизнь проникала туго (в силу специфики губернии), но даже и туда проникала, не говоря о Москве и других городах.

Дворянин в XVIII в. жил и по законам европейского поведения, но также и по домашним законам, отчасти фольклорно-крестьянским. Он был билингвален в быту, т. е. это значит, что он ощущал быт как сферу поведения; быт идеологизировался, насыщался значениями — в Европе этого не было. В Европе быт оставался наивно-непосредственным, а в Санкт-Петербурге он стал знаковой системой.

В русской культуре та сфера, которая была отведена природному поведению, была отдана поведению социально нормированному, а отсюда — осознание себя как иностранца в своей стране, иностранца в быту. Народ тоже воспринимает дворян как иностранцев. Это в конечном счете подвело к той ситуации, о которой Грибоедов в 1826 г. писал в «Загородной поездке»: «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами».

Поведение становится книжным, поскольку оно значимо, и ему надо учиться по учебникам: что такое честь, долг, что есть сын отечества — об этом сперва пишут в книгах и публицистических текстах, т. е. культура сперва создается как норма, а потом норма реализуется. Культура оказывается очень зависимой от текстов — от литературы, поэзии. Это обычно в высоких сферах культуры, но непривычно в быту, в России это стало и законом быта. Поэтому индивидуальное творчество стало влиять на культуру, индивидуальная норма поведения — на общее поведение.

Повседневное и праздничное поведения — это противопоставление мифолого-архаического. Оно закрепляло за каждым человеком два типа поведения: одно каждодневное и другое, закрепленное за определенным пространством и календарными сроками. Эта антитеза связана с определенной психофизиологической необходимостью отдыха, который есть смена типов поведения.

К средневековью уже сложилась календарная система праздников. Здесь — не индивидуальное поведение, здесь переключение одного типа массового поведения в другой тип массового поведения. Он строго нормирован, и индивидуальности здесь нет. В средневековье обычная жизнь была менее нормирована, чем праздничная, которая была очень ритуализована.

В средневековом мире наряду с возникновением антитезы 'будни – праздники' выделяются и группы людей, которые полностью берут на себя те или иные функции: святость, военные функции, грех, праздник. В фольклоре царская жизнь ассоциируется с постоянным праздником (поэтому она ритуализована). В XVIII в. для царя возникает обязательность нецарского поведения — в частности, физического труда. Это возникает еще в полемике XVII в. (Симеон Полоцкий — стихотворение «Делати», аргумент: царю даны руки, значит, он должен работать¹²²), а распространение получает в XVIII в. (Ломоносов, Державин) и до Пушкина («Моя родословная», «Арап Петра Великого»). Но такой тип поведения вызывал и в достаточной степени сильную оппозицию.

Другая сторона смещения будничного и праздничного поведения была связана с изменением понятия службы. В Древней Руси служба имела уничижительный характер — она была знаком неполноценности дворянина по сравнению с боярином, а если вотчинник служил, то добровольно и в любую минуту мог уйти из службы (это было снято петровскими реформами и восстановлено указом о вольности дворянства). В начале XVIII в. дворянин должен был служить, как крестьянин — работать, это уравнивало всех дворян, заменяя родовитость чином.

Кроме того, в службе была поэзия. Мы ощущаем службу в свете гоголевских поздних представлений о ней. В начале XVIII в. все было по-другому. Люди петровской эпохи воспринимали себя как людей новых, а Россию как молодое государство. Служба воспринималась как патриотический долг и оценивалась очень высоко. В службе все — слуги отечества, все равны. Вне службы вступает в силу иерархия: князь и нетитулованный дворянин, а то и вообще недворянин. Поэтому неслужба стала восприниматься как нечто подозрительное, а служба — как постоянное состояние, состояние совести, которое подразумевает стояние солдата под ружьем. Это закреплялось и рядом демонстративных жестов и легенд. Петр прошел службу в армии и во флоте, начиная с нижних чинов, повышаясь, как все, за участие в действительных сражениях. Таким образом, будни — высокое занятие, которое стало очень нормативным в связи с Табелью о рангах, которая регламентировала и одежду, и поведение (в результате и нахальство — сильный кулак и громкий голос — воспринимались как высокий чин).

¹²² См. стихотворение из «Вертограда многоцветного»: «Альфонс краль арагонский неким обличися, / яко своими в дѣле рукама трудися. / Даде отвѣт краль мудрый: “Егда богом крали / и в естестве не к дѣлу рудѣ восприяли?” / Научи сим ответом: царем не срам быти, / рукама дѣло честно своима робити» [Полоцкий 1953: 18].

Праздное поведение — непатриотичное поведение — постоянное стремление праздновать. Скоро в публицистике оно стало восприниматься как дворянское и подвергаться нападкам (И. Посошков).

Охота в Древней Руси воспринималась как высокое занятие наряду со сражением (охота — упражнение в мужестве, адекват рыцарского турнира). В начале XVIII в. охота отождествляется с праздником и противоположна войне, которая есть служба. Охота — уклонение от нормы (Крылов «Похвальная речь в память моему дедушке», 1792).

В реальной жизни, конечно, уклонение от службы было нормой, а в высоких текстах быт, т. е. уклонение от службы, воспринимался как явление низкое и комическое.

По государственной этике (послепетровской) неслужащий человек — лицо второстепенное, а по незафиксированной, но очень актуальной дворянской этике неслужба оценивается положительно. Павел I решил вернуть петровские нормы (вызвал недорослей на службу). В промежутке после 1762 г. служить было необязательно, можно было выйти в отставку в малом чине. Но все-таки неслужащих дворян было мало — большинство служило фиктивно, хотя это требовало взяток и связей. Это понятно — надо было иметь чин, т. к. без чина человек социально неполноценен, чин может быть небольшой, но он давал некий статус в государственной перспективе, а присутствие дома давало статус в нефиксированной дворянской перспективе, т. е. человек служил и праздновал одновременно. В «Капитанской дочке» быт сделан демонстративно по Фонвизину. Сатира стала восприниматься как быт. Пушкин, публикуя в «Современнике» отрывок из Фонвизина¹²³, уже воспринимал его сатиру не как сатиру, а как описание быта.

Праздник в XVIII в. был еще очень устойчив и не вызывал стремления менять социальный статус (проводить время за кулисами, ездить к цыганам, переезжать из города в деревню и наоборот). Резкая специализация праздничного времени в петровскую эпоху была отменена. Екатерина II в Царском Селе в Екатерининском дворце жила в залах (в праздничных помещениях), интимное помещение — Эрмитаж — отличается не убранством, а избранным кругом посетителей и отсутствием слуг во втором этаже — это давало большую свободу поведения. Там стоял стол особой формы; каждый из приглашенных мог заказать блюдо по своему вкусу, Суворов демонстративно требовал щей и каши.

¹²³ Имеется в виду публикация отрывка из «Нескольких вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особое внимание» в статье Пушкина «Российская Академия» (Современник, Литтературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. СПб., 1836. Т. 2. С. 7–8).

Павел всегда вел себя как император, а Александр, как правило, — как частный человек. Павел оценивал себя как символ, а Александр занимался десимволизацией своей личности. Александр никогда не надевал короны, а Павел в короне командовал разводом караула. Суворов проецировал на себя миф чудака, а Потемкин — миф богатыря с повторением подвигов Геракла.

Праздники в екатерининскую эпоху были отмечены чертами богатырства — огромные блюда, описания быта Потемкина, но не только его: карлик Зубова описывает пребывание Зубова во вновь пожалованном имении¹²⁴. Праздничная жизнь — это преувеличенная обыденная жизнь: поэзия огромной еды и питья, некий раблезианский налет на быт. Это хорошо ощущается в Державине.

Если петровская эпоха отменила границу между праздничным и будничным поведением, то еще более сложным стало соотношение мужского и женского, взрослого и детского поведений.

В середине XVIII в. мы можем говорить о **поэтике** бытового поведения, которая становится системой знаков. Она преследует не только практические цели. Складывается иерархия поведения, которая соотносится с социальной иерархией. Это интересно проявляется в одежде — гражданская одежда имеет тяготение к мундиру (в то время, когда военный офицерский мундир еще не выработан). Нормируются предметы роскоши в одежде — кружева, золотые и серебряные галуны. Не нормируются меха — они дешевы и не приобретают в России знакового характера (во Франции иначе — случай с Фонвизиним¹²⁵). Нормируются лошади — от 2 до 8–12, даже 20 цугом. Но там, где есть норма, есть и аномалия — фаворит демонстрирует свой фавор тем, что имеет право на любое количество лошадей (складывается и иерархия фаворитов).

Соприкосновение бытового поведения с государственным не отменяет соприкосновения бытового поведения с поэтикой. Возникают стили поведения. В отличие от допетровской эпохи, когда поведение автоматически и дается человеку извне — традицией, календарем, и нарушение норм — не стиль, а грех, в послепетровскую эпоху поведение не автоматически. Петр перенес в Россию несколько типов норм: французского двора, голландской мастерской и т. д. Это создавало возможность выбора нормы поведения (синонимы поведения). Дворянин имел возможность выбрать род занятий: гражданская

¹²⁴ См.: [Якубовский 1968]. Якубовский Иван Андреевич (1770–1864) — польский шляхтич.

¹²⁵ Письмо Фонвизина к родным от 31 декабря 1777 / 11 января 1778: «Правда, что в рассуждении мехов те, кои я привез с собою, здесь наилучшие, и у Перигора нет собольего сюртука. Горностаевая муфта моя прибавила мне много консидарации» [Фонвизин 1959: 432].

служба — военная служба. Предполагалось, что гражданский чиновник не обладает развитым чувством чести, и гражданский чиновник не включается в тип поведения военного человека. Есть представление о государственной норме и о дворянском корпоративном чувстве чести — они не совпадают, и в бытовой практике дворянин руководствуется вторым. Пример — дуэль. Можно было отшутиться, можно было примириться через посредников. Предотвращение дуэли — постоянно действующее стремление, ибо дуэль — большая неприятность, в частности, для чести полка (государь будет недоволен). Опять равноценны две нормы — личная честь и честь полка, поэтому нет одного единственного правила поведения.

Дуэль обладает и феодальным демократизмом — у барьера встречается человек с человеком, чиновная разница снимается. Уравнивая людей, дуэль имеет лазейку — генерал не будет драться с прапорщиком. Нельзя вызывать на дуэль членов царствующей фамилии. Константин Павлович допускал по бешеному нраву любые вещи на смотрах. Начальник может обругать любого офицера лично, но не имеет права оскорблять воинскую честь. Коллективный протест и коллективная отставка не была возможна — но офицеры подавали в отставку по очереди. Тогда приходилось извиняться: Николай Павлович извинялся один раз, Константин Павлович — два раза. Константин даже предложил Литовскому уланскому полку драться: Лунин принял предложение, но дуэль не состоялась.

Могла быть еще возможность: человек считал себя нравственно и умственно настолько выше, что не считал себя оскорбленным. Чаадаев полагал, что не родился еще человек, который может его оскорбить. Этому Чаадаев учил Пушкина, которого спас, как писал потом поэт (послание «Чаадаеву», 1821).

Просветители XVIII в. воспринимали дуэль как варварский пережиток (глава «Крестьцы» из «Путешествия из Петербурга в Москву»). Басня А. Е. Измайлова «Поединок» (Лошак и Осел подрались в огороде, и Хозяин их отстегал). Пушкин осудил дуэль в «Онегине», но в быту руководствовался другими представлениями — дуэль давала гарантию личной чести и независимости.

служба				неслужба	
гражданская		военная		заграница	Россия
благородная	неблагородная	армия	гвардия		

Каждый полк имел свои нормы поведения: гусары пьянствовали и т. д.

Там, где есть много возможностей, возникает **стиль** (где нет альтернативы, нет и стилия). Как в середине XVIII в. в литературе создается иерархия трех стилей, так создается и иерархия стилей бытового поведения.

Стилистическая упорядоченность сразу же делит поведение людей на высокое и низкое — внутри этой общей классификации есть свои уточнения.

Петровская эпоха ввела понятие о моде и понятие щеголя. В допетровскую эпоху границы женского и мужского поведения незыблемы, их нарушение — признак греха (бритье бороды — женоподобие). Щеголь — это модник (в значении ‘мода = modus’). А мода — понятие специфическое: это особый поворот, особое проявление явления, это оттенок. Кроме того, это нечто новое (в значении ‘мода = modern’). В XVIII в. новый — понятие положительное. До XVIII в. история в представлении людей не имела времени (временное противопоставлялось вечному и мыслилось как нечто уничтожительное). Средневековые тяготеет к старому, которое воспринимается как вечность: вечность = долговечность, большая прочность, поэтому мода = непрочность и греховность (старобрядцы пытаются остановить время).

XVIII в. бичует щеголей как случайное явление, хотя в самом понятии моды есть глубокий корень — оно связано с петровской эпохой (это часть эпохи), оно было введено ею.

В XVIII в. в России время, по субъективным ощущениям, шло быстрее, чем в Европе, ибо важнейшие изменения в государственной жизни проходили перед глазами одного поколения. Во Франции быт был до конца 1780-х гг. так устойчив, что никто не верил в катастрофу.

Мода — метроном культуры, она отсчитывает культурное время. Мода не имеет смысловой нагрузки, она призвана менять и имеет свои имманентные законы: внешне не мотивированные изменения (всегда будут иметь внутреннюю мотивировку!) будут вызывать насмешки.

Щеголь — человек моды и в одежде, и в поведении. В основе своей это — европейское поведение (в сатирической литературе — заморская обезьяна). Но и в Европе были разные типы поведения — в бытовое поведение проник общекультурный стиль рококо. Это выразилось в определенном жаргоне; утонченная игра словами в письменной речи нормальна, но в быту смешна. Из быта был изгнан быт как нелитературная норма, хотя он и стал предметом изображения (Ватто, Фрагонар). Это возможно сделать: люди в жизни — как в театре, в реальной жизни они ведут себя, как на сцене. Плебейскому взору Мольера это казалось жеманством.

Выработался и особый жаргон, но выработалось и определенное произношение (начали картавить, шепелявить; собственно говоря, парижское груссирование — это щегольская норма). Русские щеголи только с 1760-х гг.

начали ориентироваться на Париж. В 40-е гг. — немецкая ориентация. Немецкий щеголь говорит по-французски и картавит и шепелявит, немецкий язык засорен французскими словами. К 1800 г., когда Крылов в «Трумфе» изображал своего Слюняя, французский язык резко демократизировался, появилось ораторство, которое требует иного произношения. Картавящих щеголей в Сен-Антуанском предместье избивали, а если человек с ораторским акцентом попадал в Итальянский квартал, его могли убить.

В течение XVIII в. в русской культуре произошли следующие изменения: поведение стало семиотичным (оно стало что-то обозначать), появилась стилистика поведения, а где-то к 80-м гг. мы можем почувствовать появление следующего этапа — появилось понятие **амплуа**. Это театральное понятие — не сюжет, не роль, а скорее маска — это тип роли, обобщенная маска (амплуа героя, злодея, несчастного любовника, предателя). Оно пришло из *commedia dell'arte* — это комедия очень высокой условности: необходима очень большая школа ученичества (300 способов ударить ногой под зад). У каждого персонажа есть свое языковое, речевое, жестовое поведение, всем персонажам задан сюжет и общая схема. В этих рамках актер импровизирует: партнер никогда точно не знает, что сделает его партнер, но он знает направление, ответные реплики. Это очень любопытная система — маска организует поведение актера, причем она не подсказывает отдельного эпизода, хотя в определенном смысле он предсказан.

В державинскую эпоху возникает индивидуализация по маскам, причем индивидуализируется именно неправильное, нетиповое поведение. Маска сформировалась на нетиповом (шутовском) поведении.

Тип бродячего шута в высокой английской трагедии, в немецких фарсах (Ганс Вурст) и в русской драме XVII в. Шут становится некоторой социальной маской. Возникает серия анекдотов о трагическом поведении комического персонажа.

А. Д. Копьев — в реальности гвардейский офицер, острослов со своеобразным шутовским поведением. Но в рассказах современников он превращается в героическую маску человека, который делает то, что никто не решается сделать (дернул за косу Павла I, понюхал табак из царской табакерки)¹²⁶.

¹²⁶ А. Д. Копьев (1767–1846) с 1775 г. был записан в гвардию. Быстрое продвижение началось вместе с фавором П. А. Зубова, который взял его в свой штат. Участвовал во взятии Варшавы в 1794 г., в конечном итоге дослужился до генеральского чина. Был известен как писатель, автор комедий «Обращенный мизантроп, или Лебединская ярмарка» (1794, самая известная), «Что наше, тово нам не надо» (1794) и др. Гораздо более известен был как герой «литературного фольклора»: «Подборка рассказов о поездке К. <опьева> на упряжке свиней, о проделках с косой и табакеркой Павла I попала в книгу А. Дюма «De Paris à Astrakhan» (1860) <...>.

Твердая схема: невозможное действие – совершение его – гнев – остроумный ответ – спасение.

Героями таких героико-анекдотических эпосов были С. Н. Марин, А. М. Пушкин. Человек принимает маску и уже начинает стилизовать свое поведение: ампула влияет на жизнь человека.

Такой же свободой, как поведение шута, обладает поведение пьяницы: он получает разрешение говорить то, что другим не положено. Выбитый из колеи, из своего социального поведения, он становится правдоискателем. «Пропавший человек» — Любим Торцов в пьесе Островского «Бедность не порок» — вовсе не ходульный образ: он становится совестью данного коллектива (очень характерно для купеческого доалександровского быта — очень мало европеизированного быта; быт связан с традицией). Такой тип поведения в XVIII в. закрепился за поведением литератора (наблюдатель и общество видят поведение человека гораздо более типическим). Мифологизированная биография И. С. Баркова создана уже задним числом, когда ампула ярко выступило на сцену.

Таким же писателем был университетский поэт Ермил Костров (замечательно образованный человек, переводчик Гомера, Оссиана, пропагандист английской поэзии)¹²⁷ — высокий поэт — русский Гомер, собрат Хераскова, но вместе с тем запойный пьяница. Но запойным пьяницей был и Сумароков, не был трезвенником и Ломоносов, но они не стали героями анекдотического эпоса, а Костров стал. Его биография членится на отдельные эпизоды — остроумные действия, словечки. Он освобождается от вещей — отсюда тема бессеребрничества как чуждачества (С. Глинка, Ф. Глинка, М. Невзоров). В 1812 г. Наполеон уже прошел Дорогомиловскую заставу, а Невзоров бежит по Москве и раздает жалование типографским рабочим. В поведении С. Глинки всегда акцентируется трагичность слов и комичность бытового жеста (С. Глинка разламывал арбуз и, указывая на Карамзина, говорил, что тот призвал французов в Москву¹²⁸). Появляются анекдоты о богатырях и в комическом, и в высоком смысле. Вокруг личности Потемкина возникает цепь историй о разнообразных богатырствах: героизм аномалии.

Биографическая достоверность всех этих сообщений сомнительна. Перечисленные биографические истории приписывались (часто с большим основанием) также А. М. Голицыну, Вакселею и др. современникам» [Степанов В. 1999: 125].

¹²⁷ Ермил Костров (1755–1796) был автором многочисленных торжественных од, перевода «Золотого осла» Апулея, незаконченного перевода «Илиады», прозаического перевода поэм Оссиана. Пристрастие к пьянству зафиксировано многими мемуаристами, отражено в Table-Talk Пушкина (см.: [Шишкин 1999: 132–133]).

¹²⁸ Этот эпизод со слов А. С. Пушкина, которому якобы рассказывал сам Карамзин, зафиксировал в своих воспоминаниях К. А. Полевой: «Накануне, или в самый день приближения французов

У Державина поэтическое — это всегда героическая аномалия: высокое всегда бьет через край. Это будет резко противопоставлено представлению о героизме как о стоицизме, воздержанности, которое возникает уже в революционную эпоху.

Интересна маска поведения Суворова — это продуманное строительство собственной личности и подготовка к восприятию этого поведения. Суворов стремится к непредсказуемому странному поведению — это и основной принцип его военной стратегии (что было потом возведено в норму Наполеоном). Суворов строит свое поведение как сочетание шутовского и героического, богатырского поведения, причем, когда он какое выберет, никто не знал. Это — двойное кодирование поведения.

После периода амплуа наступает период **сюжета**. Появление сюжета связано с романтической эпохой в широком смысле. В 1798 г. Шиллер, ставя в Веймарском театре свою пьесу «Лагерь Валленштейна», отказывается от быта на сцене (будучи прежде пропагандистом мещанской драмы). Он объясняет это тем, что быт исчез из жизни. Каждодневное поведение не есть бытовое поведение, по мнению Шиллера, т. к. на поверхность жизни в чистом виде вышли пружины, ранее скрытые — трагедия стала каждодневной сущностью жизни¹²⁹. (Когда это утверждал Андрей Белый, то быт реально исчез из действительности. Напряженная духовность в Петрограде 1918 г. или в блокадном Ленинграде связана и с реальным исчезновением быта). Шиллер считал, что все типы поведения сведутся к одному героическому поведению, отражающему законы истории. Этого не произошло. Возник еще один вариант — **стиль поведения**. Героическое шиллеровское поведение: исторические поступки — реальны, а обыкновенные действия — нереальны.

к Москве, Карамзин выезжал из нее в одну из городских застав. Там неожиданно он увидел С. Н. Глинку, который подле заставы, на груде бревен сидел окруженный небольшою толпою, разрывал и ел арбуз, бывший у него в руках, и ораторствовал, обращаясь к окружавшим его. Завидев Карамзина, он встал на бревнах и, держа в одной руке арбуз, в другой нож, закричал ему: — «Куда же это вы удаляетесь? Ведь вот они приближаются, друзья-то ваши! Или наконец вы сознаетесь, что они людоеды, и бежите от своих возлюбленных! Ну, с богом! Добрый путь вам!» Карамзин прижался в уголок своей коляски и, раскланиваясь с Глинкою, спешил удалиться» [Полевой 1934: 251].

¹²⁹ В «Лагере Валленштейна» быт мещанской драмы уступает быту военного лагеря. В «Прологе» Шиллер провозглашает новые драматургические принципы, соответствующие новой эпохе, и переносит зрителей «... из круга узкой жизни, / Мещанской, на арену много шире, / Не столь уж недостойную эпохи, / В которой мы стремительно живем». Современная жизнь требует новой поэтики: «И вот, к концу столетия, когда / Действительность подобна стала сказке, / Когда мы видим, как влечет великих / Достойная, значительная цель, / Когда борьба ведется в целом мире / За высшее, — за власть и за свободу, — / Пускай решится и искусство сценны / В игре теней подняться ввысь, пускай / Не устыдится и арены жизни» [Шиллер 1936: 4–5].

Второй тип — бытового карамзинизм. Оба типа — это перенесение в бытовое поведение литературных норм. Карамзин считал, что реально существует то, что до этого существовало в литературе. Высокий и низкий стили отвергаются (и герои, и невежды смешны). Средний стиль, строго нормализованный и пропущенный через фильтр литературного текста, соотносится с каким-то персонажем. Корова — нимфа Ио¹³⁰, это переводит ее в иной ранг и дает ей право на существование.

Героическое поведение (шиллеровское) также пропускается через литературный текст — чем выше литературный текст, тем выше мое поведение.

Большая Французская революция сильно изменила тип поведения — тенденция к унификации. Противопоставление этикетного аристократического поведения и природного как грубого было заложено еще до Французской революции в поведении чудаков, в частности, Жан-Жака Руссо. Он сознательно игнорировал светскую стилистику поведения и в своих теоретических трудах, и в своем реальном поведении. Уже по поводу трактата на конкурс Дижонской академии (где он доказывал, что цивилизация погубила человечество) в ходе полемики встал вопрос о вежливости. Она была присоединена к культуре, к цивилизации и противопоставлена природе. Это главный ход всех противников Руссо: природа — животное, зверское поведение (на четвереньках и с хвостом, по шутке Вольтера).

Природное ↔ этикетное поведение

природное	этикетное
наивное, неосознанное, импульсивное, поэтому эмоциональное	рациональное, рассудочное

Дикарь слушается сердца, а маркиз — рассудка. Цель цивилизованного поведения — скрыть природные чувства: там, где есть социальная неправда, возникает необходимость действовать не по велению сердца, а по правилам игры (этикету, который несет в себе ложь) — это вытекало из общего представления Руссо о ложности знаковых систем: там, где существует возможность замены, есть возможность обмана (мундиры, деньги и язык). Светское поведение — игра в шахматы.

¹³⁰ В статье «Бытовое поведение и типология культуры в России XVIII в.» Лотман привел пример с Ио в связи с карамзинистской эстетизацией быта, когда Батюшков в письме к Н. И. Гнедичу переводит бытовую ситуацию «корова и гуси забрались в сад» на мифологический язык: «Нимфа Ио ходит <...> и мычит <...> две Леды кричат немилосердно» [Лотман 1976: 296]. Ср. у Батюшкова «Мадригал Мелине, которая назвала себя нимфой»: «Ты нимфа Ио, нет сомненья! / Но только... после превращения!» [Русская эпиграмма 1975: 258].

Мысль о том, что язык может служить выражением ложных идей, — старая, античная — в средние века активно обсуждалась: на каком языке не лгут, на каком языке говорят ангелы. Тютчев считал, что стихи облакают язык во вторую материю (второе грехопадение)¹³¹. Таким образом, эта мысль не была у Руссо неожиданной. Кюхельбекер был русским Руссо — не по сходству идей, а по парадоксальности мысли.

В России спор о вежливости, для Франции актуальный в 1760-е гг., стал актуальным в 1790–1800-е гг. Статьи Карамзина в «Аглае» и «Вестнике Европы»¹³² — не эпизоды, а стержневые проблемы начала XIX в.

Для людей XVIII века их поведение не связывалось с их теоретическими сочинениями. Вольтер — некоронованный король Европы — в своем поведении в большинстве случаев находился не на уровне (поведение при дворе Фридриха Великого), а в своих декларациях он достиг такого огромного пафоса гуманизма, которого не достигали потом ни Золя, ни Лев Толстой. Вольтер строит перед Европой образы двух разных людей, не скрывая обоих: Вольтер трактатов и Вольтер-циник. Но для Руссо все его сочинения зависят от того, насколько читатель верит в его искренность: его реальная биография — это приложение к его сочинениям. Это было нечто совершенно новое в европейской культуре, и недаром Руссо оказал такое огромное влияние на русскую культуру и незначительное на французскую — до 1790-х гг. (Козельский цитирует Руссо в 1770-е гг., а Радищев цитирует трактат о неравенстве в Сибири). Руссо вспыхнул в эпоху революции,

¹³¹ Лотман цитирует по памяти французское письмо Тютчева И. Гагарину от 20–21.04/2–3.05.1836: “Ah! l’écriture est un terrible mal, c’est comme une seconde chute pour la pauvre intelligence, comme un redoublement de matière...” (Ах писание, — ужасное зло. Оно как будто усиление материи, как будто второе грехопадение злосчастного разума) — Русский архив. 1879. Кн. 2. С. 119–120). Письмо Тютчева было впервые напечатано в составе публикации И. С. Аксакова «Стихотворения Ф. И. Тютчева». Однако Тютчев имеет в виду не писание стихов, а писание писем, оправдываясь перед Гагариным за свое молчание. Источник цитаты был указан мне Р. Г. Лейбовым, которому приношу свою благодарность.

¹³² Лотман напоминает статью в «Аглае» «Нечто о науках, искусствах и просвещении» (1794), где, споря с Руссо, Карамзин утверждает, что учтивость «есть истинная добродетель общежития и следствие утонченного человеколюбия», «Учтивость, приветливость есть цвет общежития» [Карамзин 1984: 51 и 52]. Вежливость — неотъемлемое следствие просвещения, а «просвещение есть палладиум благонравия» [Там же: 56]. В «Вестнике Европы» мысль о просвещении как основе прогресса и цивилизации проходит красной нитью через большинство статей журнала. См., в частности, «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени» [Там же: 214–222].

а потом быстро угас и не имел уже значения. В России же он — властитель дум вплоть до Льва Толстого, который помнил все 32 тома наизусть¹³³.

Французская революция уничтожила культуру версальского поведения. Идеалом стал громкий голос, публичная эмоциональная речь и отсутствие этикета. В дальнейшем революционная грубость (которая ассоциировалась с римским поведением, римской грубостью и со спартанским поведением. В. Ф. Раевский — спартаец и в поведении — «Вечер в Кишиневе» — его собственное поведение¹³⁴) трансформируется в эпоху войн в грубость солдатскую — искреннее, энергичное, простое, естественное поведение. Бивуачная жизнь ломает некие перегородки и светские запреты, а тем более боевая жизнь — там многое обесценивается, а другое приобретает значение. В начале XIX в. жизнь и судьба Европы находилась в руках солдат, и быть историческим лицом значило быть солдатом. «Солдатское поведение» стало очень привлекательным на долгие годы — «Два гусара» Толстого.

Тяготение к однолинейности во Франции превратилось в Европе в противоположность — в добавку еще одного стиля поведения, т. к. другие не были устранены (как в период Французской революции). Таким образом, стремление к десятиотизации обернулось в России интенсивной семиотизацией поведения.

Иерархия стилей поведения высших лиц с низшими была отчетливой, хотя обращение всегда было ласковым: «любезнейший + имя-отчество», «мой любезнейший + имя-отчество», «здравствуйте, мой любезнейший — без имени». *Мой* — к подчиненному¹³⁵.

Стремление к унификации в России осуществлялось двумя путями:

1. На базе высокого стиля. Вся жизнь становилась героической, и бытовая сфера из жизни изгонялась. Поведение становилось сюжетным (т. е. приобретало начало и конец и определенную цель).

Самоубийство Радищева — пожилого человека, чиновника высокого ранга, прославленного своей книгой. В России было мало самоубийств до 1780-х гг., но даже вертерианская волна захватила только молодежь. Никакие толкования — ни современников, ни нынешние — не объясняют самоубийства Радищева. О героическом самоубийстве Радищев писал с первых произведений: Катон — герой-республиканец, который доказывает, что и в павшем Риме есть великие люди. Им двигала просветительская мысль:

¹³³ Конечно, это утверждение следует понимать не буквально, а как указание на известное увлечение Л. Толстого сочинениями и идеями Руссо. Собрания сочинений Руссо издавались многократно, в том числе в Швейцарии в 31 томе и во Франции в 33 томах.

¹³⁴ См.: [Раевский 1934].

¹³⁵ Этот пример приведен в статье: [Лотман 1976: 295].

самоубийство одного вызовет волну народного гнева. Радищев ошибся дважды: «Путешествие из Петербурга в Москву» и самоубийство, по его мнению, должны были вызывать иную реакцию¹³⁶.

2. Единство поведения в XIX в. осуществлялось обычно на основе высокого стиля, но единство могло осуществляться и на основе среднего стиля. Романтизм знал единство характера как положительную характеристику — идеал однолинейного неизменного характера, который выше обстоятельств. Но тогда же была высказана также категорически иная формулировка — Карамзин в стихотворении «Протей, или Несогласия стихотворца»:

Ты хочешь, чтоб поэт всегда одно лишь мыслил,
 Всегда одно лишь пел: безумный человек!
 Скажи, кто образы Протеевы исчислил?
 Таков питомец муз и был и будет век.
 Чувствительной душе не сродно, ль изменяться?¹³⁷

Но на фоне XVIII века даже карамзинский протейизм был упрощением системы, т. к. сводил ее к некоему единству. Поведение у карамзинистов подобно их теории стилей: средняя норма в стилистике, в построении характера — некая нейтрализация (нейтрализация оппозиций).

Интересно проследить, как эволюционировало личное поведение самого Карамзина. Молодой Карамзин испытывал сильное влияние штурмерского поведения (Якоб Ленц). Гениальное поведение в быту — это шокирующие крайности, необычное, экстравагантное поведение (бурный гений, *жени*). Слово «гений» употреблялось в двух смыслах: 1) гений — дух, смысл; 2) *жени* (*génie*) — слово, которое употребляли штурмеры. Это культурный германизм, хотя языковой галлицизм, и означает «бурный гений». Но затем экстравагантность Карамзина в штурмерском смысле сменится модничаньем, а потом — ритуальным размеренным поведением. Хотя типы поведения кажутся различными, по сути, это один тип.

Изображение поведения щеголей возникает в сатирической литературе XVIII в. Это было общеевропейским явлением: щеголь отождествлялся с обезьяной; появились сходные сюжеты. В английской, русской, немецкой литературах щеголь — галломан, во французской литературе он подвержен итальянскому влиянию. Но в русской литературе XVIII в. он имеет существенные вариации: традиция рококо, которая важна для европейской культуры, в русской культуре неважна, поэтому и комедия Мольера «Смешные жеманницы» — одно из самых ярких выступлений против щеголей

¹³⁶ См. подробнее: [Лотман 1962а].

¹³⁷ [Карамзин 1966: 242].

в европейской культуре — не прозвучала в России. Русская антищегольская литература возникает весьма рано, но в то же время возникает и открыто щегольская литература — попытка построить высокую культуру на щегольской основе.

Сама идея щегольства не есть сатирическая выдумка моралистов — она органически заложена в послепетровскую эпоху. Щегольская культура открыто ориентирована на Запад, в ней есть элемент культурного хулиганства, эпатажа. Предполагается, что европеизированной должна быть и сфера бытового поведения. Стремление поменять местами *свое* и *чужое* — основное стремление петровской эпохи (дамская культура должна быть щегольской — считал Пушкин). Именно поэтому щеголь вызывал такую бурю протеста, что не был случайным явлением в русской культуре, а вытекал из ее сущности. Первым человеком, который имел смелость заявить себя щеголем, был Тредиаковский: «Езда в остров любви» — попытка утвердить в России прециозную культуру, культуру рококо. Роман Поля Таллемана — средний и нейтральный европейский роман — в России стал программой и вызовом. Выступление против церковного языка, разграничение светской и духовной областей культуры — это было дерзко и ново. Тредиаковский был новатором более смелым, чем Ломоносов и декларировал крайности¹³⁸. Интересно, что в 1770-е гг. «Езда в остров любви» была переиздана, и ее читали Карамзин и Петров.

Карамзин привез из-за границы 12 лондонских фраков — его поведение было демонстративно щегольским, вольнодумным. Любовь демонстративно объявлялась главным занятием, а государственная служба, как занятие слишком высокое, исключалось. П. И. Макаров (рано умер), гвардейский офицер и артиллерист, в павловскую эпоху бежал из России, появился в Лондоне без гроша и без языка, но через три года вернулся, прекрасно владея английским языком, имел либеральные взгляды; Белинский оценил его очень высоко¹³⁹. В Москве в 1803 г. Макаров начал издавать журнал «Московский Меркурий» и прославился выступлением против шишковистов. В 1804 г. Макаров умер, его архива и мемуаров нет. Он прояснил эту сторону карамзинизма: «Московский Меркурий» — манифест щегольской

¹³⁸ Впоследствии Лотман развивал эти идеи в статье: [Лотман 1985].

¹³⁹ Лотман говорил о Макарове в одной из предыдущих лекций, где нами в сноске приводится комментарий и ссылка на литературу. П. И. Макаров (1764–1804) в юности служил в артиллерии. Однако в Англию он отправился в 1795 г., до начала павловского царствования. Первое письмо травелога Макарова «Россиянин в Лондоне, или письма друзьям моим» датировано 15 августа 1795 [ММ 1803: № 1. 19].

культуры. Он печатал модные картинки¹⁴⁰. Для него это был манифест, начиная же с него модные картинки стали средством привлечения подписчиков и лицом журналов некоторого типа, в 1820-х гг. эта традиция не поддерживалась, но с 1830-х стала обязательной принадлежностью журнала.

Моды вообще освещались в журнале Макарова довольно подробно: «Моды будут нашей точкой зрения, под которую будут подводиться все статьи»¹⁴¹. На этом основании Макаров построил концепцию культуры: в центре — идея движения, движение — закон культуры. Из этого вырос умеренный либерализм карамзинистов (Карамзин всегда отрицательно относился к попыткам реставрации. Потом это привело к историзму — что возникло, должно существовать). Обычно изменчивость моды — ее негативная характеристика, а для Макарова без этого культура невозможна, как язык невозможен без движения. Другая центральная мысль Макарова — просвещение нивелирует национальные культуры, есть единая европейская культура. Здесь и начинается расхождение карамзинистов и романтиков. Шишков — романтик, он предполагал, что есть национальный тип мышления.

Для Макарова кроме того важен демонстративный отказ от морализации: просвещение смягчает нравы, поэтому морализаторство — суровое осуждение, моральный суд — неуместно. Статья «Новая мебель», в ней дается инструкция, что нужно облажать¹⁴² (тут Макаров разошелся и с Карамзиным, см. его статью в «Вестнике Европы»¹⁴³). Мода и этикет — понятия

¹⁴⁰ См.: [Сводный каталог 2006: 309–318]. Раздел «Моды» имелся во многих номерах журнала, где приводились также модные картинки «с изъяснениями».

¹⁴¹ Предваряя раздел «Моды» в первом номере журнала, Макаров обещал, что читатели будут узнавать о модах «только неделеею позже Читателей *Парижского Журнала*»: «Моды будут нашей *точкою зрения*, под которую (что касается до времени) станем подводить и прочия свои статьи — наблюдая притом, чтобы известия о книгах были сколь можно *новые*» [ММ 1803: № 1. 73].

¹⁴² Мартовский номер «Московского Меркурия» открывался статьей «Модная Мёбель» [ММ 1803: № 3. 175–178], где даются пространные рассуждения о красоте облажаемого тела. Любимый предмет мебели у женщины — кровать, она принимает мужское общество, даже не коротко знакомых, «лежа на постеле»: «Как скоро Богиня сделает движение, чтобы перевернуться, тонкая ткань, обтягиваясь около тела, рисует все его выпуклости, показывает явственно все его формы. Сверх того, костюм <sic!> требует, чтобы груди были совершенно на руже <sic!>, и чтобы руки, голыя до самых плеч, никогда не прятались. Словом сказать: видишь настоящую Венеру, окруженную Купидонами и Грациями!.. Что может быть прелестнее такой картины» [Там же: 177–178]. В примечании Макаров ссылается на то, что подобная ситуация уже имела место во Франции во времена Мазарини и с иронией критикует французских журналистов, которые «очень сердиты на нынешнее вольное обхождение женщины, и даже на их наряд!».

¹⁴³ Статья Карамзина «О легкой одежде модных красавиц девятаго-надесять века» написана в резко обличительном тоне: «Наши стыдливыя девицы и супруги оскорбляют природную стыдливость свою, единственно для того, что Француженки не имеют ее, без сомнения те,

в основном противоположные. Идет речь и о модных болезнях (грипп), и о модных врачах.

Обсуждение подобных вещей в открытой печати, тон его имели характер вызова — это определяло границы карамзинизма по отношению к государственной культуре XVIII века и гражданской культуре XIX века.

Отличался ли член тайного общества каким-либо особым типом поведения в нормальном течении жизни? Для нас в понятие конспирации входит представление о необходимости в нормальной жизни жить максимально обывательской жизнью (это двойное поведение — в кругу единомышленников и во внешнем мире). В этой связи декабристы представляют собой особенность. Пушкин в 1825 г., а потом шестидесятники упрекали декабристов в болтовне, в афишировании своих взглядов. Для шестидесятников слова не имели самостоятельного смысла — они проверялись делами, тогда только имели ценность. Для 1860-х гг. ценны только действия — случайно стали говорить «политический **деятель**». В 20-е гг. говорили «пророк, трибун», и для этих людей говорение равно действию.

В 20-е гг. заговорщиков знали все и даже не по действиям, а по поведению в кругу других людей, и это характерно не только для членов Союза благоденствия. В 1824 г. Д. И. Завалишин вернулся в Петербург из кругосветного путешествия. Он еще не член тайного общества, но уже ведет себя как вольнодумец. Он отказывается ехать на поклон к Аракчееву. Аракчеев сказал о нем: «Он или гордец, или либерал»¹⁴⁴. Гордец и либерал — синонимы. Интересно, что либерал — почти характер.

Как посмотрели на это политические заговорщики? Как будто бы, поскольку Завалишин уже замечен как либерал, декабристы не могли принять его в тайное общество, но декабристы поступают как раз наоборот — они приглашают Завалишина в тайное общество. Грибоедов показал нам бытовое поведение Чацкого (в «деле» он его не вывел), но бытовое поведение было часто сигналом к принятию в тайное общество. Для конца XIX в. человек, с порога зарекомендовавший себя как единомышленник, был бы подозрителен, а для декабристов бытовое поведение служило некой гарантией. Пушкин не был приглашен в тайное общество, ибо его бытовое поведение

которые прыгали контрансы на могилах родителей, мужей и любовников! Мы гнушаемся ужасами Революции и перенимаем моды ея!» [ВЕ: 1802. № 7. 250–255].

¹⁴⁴ Лотман цитирует в своей статье соответствующее место из разговора Аракчеева с Батеньковым: «Так это-то Завалишин! Ну, послушай же, Гаврило Степанович, что я тебе скажу: он должно быть или величайший гордец, весь в батюшку, или либерал» [Лотман 1975: 37].

не соответствовало представлениям декабристов: не так должен был вести себя политический конспиратор, в представлении декабристов.

Но декабристы легко попадали впросак: имитация единомыслия — вещь очень легкая. Такое поведение могло иметь место только в обществе высокой чести, где предательство игнорировалось в принципе.

Как был принят в общество предатель Шервуд? Принявший его Вадковский не был политическим новичком — за его плечами был Семеновский полк, изгнание из гвардии и т. д. Они встретились на почтовой станции, а это важно, ибо существовало негласное братство почтовых путешественников: дорога, как война, смешивает ранги и сближает людей, жизнь дорожная более открыта, а жизнь на месте иерархична. Вадковский разговорился с Шервудом и через несколько минут принял его в тайное общество. Он вовсе не Хлестаков, он просто не подозревает предательства, оно не укладывается в его голове. Вадковский ввел Шервуда в свой дом, сделал братом. Но даже имени Шервуда Вадковский не знает¹⁴⁵. Шервуд через несколько дней написал донос, он-то думал о демаскировке.

Итак, Шервуд вел себя как свободолюбец — в основном речь идет о речевом поведении. И устав Союза благоденствия «Зеленая книга» фиксировал, что член общества должен отличаться добродетелью. Поведение декабриста отличается от обычного. Конспирация заключает в себе зло — маска прирастает к лицу: дискредитировав себя в глазах общества, человек не может уже совершить подвига.

¹⁴⁵ Сам И. В. Шервуд следующим образом излагает события. По поручению полковника Гревса он поехал к графу Якову Булгари, которого нашел в Ахтырке. Он подслушал в квартире Булгари разговор между хозяином и неизвестным, который убеждал Булгари в необходимости ввести в России конституцию и уничтожить царскую семью. Неизвестный оказался Вадковским, которому Булгари представил Шервуда, и он, якобы, очень Вадковскому понравился. Когда они остались наедине, Вадковский решил доверить новому знакомому важную тайну и сказал: «Наше общество без вас быть не должно», из чего Шервуд сделал вывод, что «существует общество, и, конечно, вредное». Затем Шервуд обещал Вадковскому приехать к нему в Курск, где располагался Арзамасский конно-егерский полк, в котором служил Вадковский. Итак, хотя встреча и беседа происходили не на почтовой станции, но исповедь Шервуда подтверждает, что он получает наименование друга буквально после нескольких минут разговора, и тут же заходит речь о тайном обществе и о намерении Вадковского принять в него в первый раз увиденного человека. Толчком служит аттестация Булгари, что Шервуд имеет связи в военных поселениях, и что он «человек умный, но опасного ума». По его словам, Шервуд тотчас написал письмо, т. е. донос, императору [Исповедь Шервуда 1896: 71–73]. Далее (с. 81–82) Шервуд повествует, как он побывал в Курске у Вадковского, который рассказал ему о «существующих обществах северном, среднем и южном, называя многих членов», на что Шервуд ответил, что давно принадлежит к обществу, «а как поступил в оное, я ему расскажу после», и уверил Вадковского в скором восстании военных поселений. «Исповедь» была перепечатана в книгах: [Троцкий 1931; Троцкий 1990].

Высказывание Н. Тургенева С. Тургеневу: «Мы не затем принимаем либеральные правила, чтобы нравиться хамам. Они нас любить не могут. Мы же их всегда презирать будем»¹⁴⁶. Сергей только вступает на путь самостоятельной жизни. Он в Константинополе в дипломатической миссии, поскольку Россия должна вступить в войну на стороне Греции, в Турции должны были перерезать всех дипломатов. С. Тургенев проявил удивительную твердость: когда Ал. Тургенев уговаривал его вернуться в Петербург, С. Тургенев отвечал, что в Европе начинаются такие события, что о себе некогда думать. Ал. Тургенев призывал С. Тургенева быть осторожным в словах, скрывать свои взгляды, а Н. Тургенев, политический заговорщик, учит противоположному — нужно афишировать свои взгляды. То же писал Катенин Бахтину: «Если мы хотим, чтоб наше мнение имело вес, мы должны говорить его прямо и твердо; пусть знают, что *есть* люди умные, которые не хотят в словесности принимать законов от шайки глупой; что они молчат не от робости, а от скромности, но что когда им вздумается слово молвить, то оно будет твердо и справедливо»¹⁴⁷.

Конечно, такое поведение предполагало высокий уровень чести в обществе, но и то, что правительство преследует не слова, а действия.

Уже начинаются «превентивные действия» — арест и ссылка Катенина в 1822 г. за то, что он освистал в театре любовницу Милорадовича — это не укладывалось в голове. Но многое не укладывалось. В. Ф. Раевский не мог поверить, что обер-офицера и дворянина можно арестовать по наговорам.

Между литературными текстами и, скажем, историческими действиями стоит **реальная жизнь**, каждодневная жизнь — шаг между ними.

Согласно В. Я. Проппу, ритуал порождает сказку; обычная жизнь порождает литературное произведение.

Когда мы переходим к бытовому поведению декабристов, мы видим, что главное место занимает речевое поведение. Они много говорят. Это вызывает скепсис не только у последующих поколений, но уже у Чацкого (двойственная фигура), а еще сильнее у Пушкина в 1825 г. (Чацкий соединяет в себе Онегина и Ленского второй главы). Чацкий — тоже говорун, хотя у него самого говорение Репетилова вызывает скепсис.

Если мы посмотрим книгу М. В. Нечкиной, то мы увидим, что между 1815 и 1825 гг. декабристы занимаются выработкой программы максимум и программы минимум. Но на самом деле, хотя программа и занимает большое место, они были офицерами, и для них главное было — действие, а действие

¹⁴⁶ Цитируется в статье [Лотман 1975: 61].

¹⁴⁷ [Письма Катенина 1911: 28].

включало в себя слова. Не перо, а **разговоры** были их оружием. Устная, а не письменная речь — самое важное. Вяземский подверг уничтожающей критике манифест по поводу дела декабристов: не было преступления, была «жестокая болтовня». Важны не оттенки слова «болтовня», а то, что Вяземский видит декабристов говорящими.

Но говорение может быть разделено на говорение в кругу единомышленников и говорение среди врагов (посторонних). Декабристы выделяются не только тем, что много говорят, а и тем, что говорят громко (неприлично) — нарушают ритуал светского поведения. Кроме того, их речь — монолог, а закон светского разговора — беседа, искусство сочетать свою речь с чужой. Для Пушкина светская беседа была одним из высших достижений культуры. Декабристу неважно, что ему кто скажет (это романтический стиль речи). Он вносит в речь культуру театрального монолога: пафос, патетика, высокий стиль; вносится стиль письменной речи в устную («говорит, как пишет» — в речи Чацкого нет разговорных сокращений).

Пропуск лекции от 20 ноября 1974 г.

26 ноября 1976 г.

(Резюме предшествующей лекции: попытка понять поступок П. Я. Чаадаева в 1820 г., предположив, что он действовал по сценарию литературного происхождения, восходящему к поведению Маркиза Позы Шиллера¹⁴⁸).

Когда у нас есть черепки, а мы хотим узнать, что это было, мы предполагаем для них какую-то форму (амфора, бочка для вина), и если, когда мы реконструируем, черепкам находится место, то мы считаем реконструкцию удовлетворительной.

Жест и поступок складываются для декабристов в сюжет поведения, завершающийся гибелью (как и в литературном произведении). Это определяло их жизненное поведение — поведение «пятого акта»: вершина сюжета и представление о конце (фраза Одоевского 14 декабря 1825 г.: «Умрем, братцы, ах, как славно умрем!»). Само мышление началами и концами — особое мышление: мифологическое и мышление литературными произведениями. Вопрос «чем кончилось?» уместен по поводу литературного произведения, но не уместен в жизни (хотя почему, собственно?).

¹⁴⁸ Можно полагать, что в этой лекции Лотман излагал свою концепцию отставки П. Я. Чаадаева и его стремления приблизиться к Александру, чтобы влиять на него и играть при нем роль «русского Маркиза Позы» [Лотман 1975: 41–47].

Но для декабриста это постоянный вопрос, причем смерть связывается со взлетом, с высшим течением жизни, т. е. смерть становится значимой.

Когда Андрей Болконский бежит со знаменем на поле Аустерлица, для него это значимо, это — подвиг, для Толстого — нет, т. к. он мыслит с точки зрения неба, на которое Болконский потом смотрит. Для Толстого категория времени была ложной, потому для него поступок Болконского был бессмысленным (лишен смысла) — дань тщеславию.

В какое трудное положение попали декабристы в крепости! Пятый акт кончился, за ним не должно было последовать ничего, но последовали долгие месяцы крепости. Они бы картинно и стойко выдержали казнь на другой день после восстания, и не было бы состояния растерянности, ошибок, нестойкости во время следствия. Это не было предусмотрено в сюжете, а с момента приговора, т. е. когда начался первый акт нового сюжета — ссылка в Сибирь — все вновь обрели стойкость. И характерно, что время в крепости не существовало потом для декабристов: они никогда не припоминали друг другу ужасных очных ставок и показаний (для народников поведение во время следствия было в высшей мере отмечено).

Поведение декабристок стало легендой, мифом, светлым мифом русской истории. Но как осмыслили они сами свое поведение? Возьмем пример М. Н. Волконской¹⁴⁹, которая оставила мемуары. Трудно найти среди декабристов более далекого для нее человека, чем С. Г. Волконский: она его не любила, хотя очень уважала. Он был очень рассудителен и храбр, но не подходил к ее интенсивному и поэтическому миру. Она его почти не знала до свадьбы, да и после, а он женился не по любви.

В Сибири дом Волконских был святыней. О сибирской жизни существует три типа источников: мемуары самих декабристов, письма, мемуары детей декабристов и детей сибиряков, воспитанных среди декабристов. Сами декабристы очень намеками говорят о событиях в доме Волконских, но интересные сведения дает молодежь, мемуары доктора Белоголового, который в юности часто бывал в доме Волконских.

Попав в Сибирь, Волконский совершил большую метаморфозу — он искренне опростился и скучал в салоне своей жены (которая везде держала салон из самых высших моральных побуждений — не опуститься, не отстать от морального уровня Европы). Волконский очень охотно беседовал с крестьянами, бывал на ярмарках и т. д., а Мария Николаевна жила в напряженном романтическом мире.

¹⁴⁹ Этот пример подробно анализируется в статье [Лотман 1975].

Историю ее поездки в Сибирь мы знаем по ее мемуарам, мемуарам С. Волконского и архиву Раевских. По архиву мы знаем о маневрах, предпринимавшихся в семье, чтобы удержать Марию Николаевну. Раевский-отец оправдывал свое поведение тем, что она не любила мужа. Раевский объяснял, что «волконские бабы» наговорили ей, чтобы сделать героиней. Но мать и сестра Волконского никакого влияния на Марию Николаевну не оказали. Мать, светская дама и фрейлина императрицы Марии Федоровны, когда Мария Николаевна приехала в Петербург, долго отказывалась ее принять, а ехать в Петропавловскую крепость на свидание с сыном отказалась. Софья Волконская была страстно привязана к брату, но и она не увидела Марию Николаевну.

Было ли решение жен декабристов таким необычным? Мы имеем мало примеров политических ссылок в Сибирь, но знаем ссылку Радищева. Радищев был вдов, домом правила свояченица Елизавета Рубановская, женщина замечательная. Во время следствия она привезла Шешковскому взятку — собрала все, что было драгоценного в доме, и это избавило Радищева от пыток. Она осталась одна с тремя сыновьями Радищева (братья не помогали, родители отстранились). Она продала дом, расплатилась с долгами, устроила старших сыновей, взяла младшего и догнала Радищева в Тобольске. В Сибири она стала его второй женой. Она сделала задолго до жен декабристов то, что они, и даже больше. Жены декабристов опирались на поддержку общества, они имели некоторую гарантию, благодаря гласности их судьбы, имели семейные связи, она этого не имела, а между тем ее поступок не стал мифом и легендой, никем не воспринимался как героический, а даже скорее как неприличный. Отец Радищева продолжал считать уже после ее смерти ее поступок «бездельничеством», а сына принять не захотел, т. к. он женился на сестре (хотя церковь такой брак допускала).

Следование за сосланным мужем в Сибирь было нормальным в народном быту — этап всегда сопровождался обозом женщин и детей. Для дворянки тоже был стереотип поведения — сопровождение действующей армии. До петровской реформы и солдат сопровождали жены, которые стирали белье и обеспечивали пропитание. Петр писал жене Екатерине из-под Полтавы, чтобы она приезжала, а то он обовшивел. Потом это было устранено, но офицеры сохраняли это право. Всегда возил за собой семью Н. Н. Раевский. Для детей (и девочек) переходы не были чем-то невозможным. Вся Россия ездила — и по каким дорогам! Это уживалось с французскими романами, клавесинами, вздохами.

Для того, чтобы поведение жен декабристов стало легендой, недостаточно было этой подготовки, этого «материала». Нужно было иметь представление,

что для женщины тоже открыт путь героического поведения. Этим мы обязаны К. Ф. Рылееву.

В мемуарах Басаргина мы находим любопытную деталь: в начале 1824 г. Басаргин, решительный деятель Южного общества, сделал предложение княжне Мещерской. Они уже были женаты, когда читали вместе поэму Рылеева «Войнаровский». Басаргин задумался и сказал, что его может ожидать судьба Войнаровского, жена сказала: «Что ж, ведь казачка поехала за ним». Она умерла в августе 1825 г.

Вероятно, и для других жен декабристов немаловажную роль сыграли произведения Рылеева. Рылеев сознательно считал, что героическое поведение превращается в программу — герой становится образцом. История становится цепочкой образцов для поведения реального человека, который пропускает свое поведение через призму литературного образца. «Думы» Рылеева представляли собой кодекс таких образцов (что возмущало Пушкина). Туда входили и образцы женского поведения — дума «Наталья Долгорукова». Дочь фельдмаршала Шереметева, единственного талантливого полководца в петровском окружении; в определенных кругах хотели детронировать Петра и возвести Шереметева, — она выросла в обстановке, где сохранилась живая традиция Московской Руси XVII в. с ее тенденцией к европеизации; сам Шереметев был европеизированным человеком, хотя и был боярин старого закала. Став женой Долгорукова, Наталья вошла в тот круг, который образовал по воцарении Петра II реальное правительство. Падение Долгоруковых было ужасно. Наталья Шереметева стала женой Ивана Долгорукова за три дня до его ареста. Но она последовала за мужем в две ссылки, пыталась спасти его от плахи, а после его смерти постриглась в монастырь, где скончалась¹⁵⁰.

Эту биографию Рылеев дал в ряду героических мужских примеров: Петра I, Дмитрия Донского, Вольнского и т. д. Это был женский вариант подвига. Конечно, жены декабристов не раз повторяли эти стихи. Очень типично для декабристов: сперва литература, сюжет, программа — затем воплощение в жизнь. Когда была создана программа, сюжет, общество смогло воспринять поступок жен декабристов. Миф определил поступок, а не наоборот.

Деятельность для человека декабристского круга была не поступком, а сюжетом, который осмыслялся как высокий, т. е. имеющий значение. Еще одна черта отличает декабристов от людей, близких им, в частности,

¹⁵⁰ Впоследствии Лотман подробно рассмотрел судьбу и мемуары Натальи Долгоруковой в статье «Две женщины» [Лотман 1994: 288–301].

от арзамасцев. В ряде работ (М. И. Гиллельсон, Б. В. Томашевский) эта разница стирается. «Арзамас» рассматривается Гиллельсоном как периферия декабристского движения, а декабристы считали периферию частью движения, а не нечто ей противопоставленное. Особенно это относят к «Зеленой лампе». Вообще в годы 1815–1818 – 1818–1820 возникают параллельно с Союзом благоденствия ряд обществ с одинаковой судьбой и похожим составом: «Зеленая лампа», «Арзамас», «Общество громкого смеха». Эти общества распадались, как только в них вступали декабристы. В 1934 г. Ю. Г. Оксман высказал предположение, что «Зеленая лампа» есть легальный филиал Союза благоденствия (в соответствии с «Зеленой книгой»). Это предположение принесло всем исследователям душевное облегчение, ибо никто не знал, что делать с «Зеленой лампой»¹⁵¹.

«Зеленая лампа» вошла в науку о декабристах из пушкинианы, где вокруг нее ходили темные слухи. «Зеленая лампа» фактически была приравнена к обществам развратников, которые периодически возникали с конца XVIII в. А. М. Тургенев писал об обществе адонитов <?>¹⁵²; в Петербурге в конце XVIII в. было двусмысленное общество «Галера» — в молодости членом его был В. А. Пушкин¹⁵³. Липранди и Шервуд в 1830-е гг. оба принимали участие в раскрытии очень грязного общества «Братья-свиньи» (унылое однообразие организационных форм и фантазии)¹⁵⁴. Репутация «Зеленой

¹⁵¹ Лотман обращался к «Зеленой лампе» в одной из предыдущих лекций, см. выше.

¹⁵² К сожалению, в опубликованных «Записках» Тургенева нет сведений о развратных обществах, кроме как о компании братьев Орловых на рубеже 1750–60-х гг., хотя он и пишет о разврате, охватившем высшее общество в постекатерининскую эпоху [Тургенев А. М.: РС 1886. № 1. 59]. С. П. Жихарев упоминает о Евином клубе, заведение которого приписывали масонам с целью их дискредитации, но, по его свидетельству, такой клуб никогда не существовал [Жихарев 1989: 1, 259]. Однако мемуарист пишет о склонности к разврату в светском обществе, в частности, подробно рассказывает о деятельности основанной на разврате мошеннической шайке авантюристов во главе с французом Дюкро (Перреном), вовлекшей в свою орбиту многих светских людей Москвы и Петербурга [Там же: 1, 259–260, 262–265; 2, 11–14, 20–24].

¹⁵³ Об этом обществе известно очень мало, все пишущие в основном опираются на Вяземского и цитируют приведенный им текст В. А. Пушкина («Пльви, Галера, веселися...»): «В конце минувшего столетия было в Петербурге вовсе не тайное, а дружеское и несколько разгульное общество, под именем Галера. Между прочим были в нем два Пушкина: Алексей Михайлович и Василий Львович — и Хитров, в свое время ловкий и счастливый волокита. Сей последний был что-то вроде Дон-Джовани. Любовные похождения были в то время в чести и придавали человеку известность и некоторый блеск. Нравы регентства были не чужды нам, и знаменитый по этой части Ришелье мог бы найти в России совестников себе, а может быть, у кого-нибудь и поучиться» [Вяземский 1883: 492]. Далее Вяземский пишет о Н. Ф. Хитрово, будущем муже Е. М. Хитрово (урожденной Кутузовой, в первом браке Тизенгаузен); стихотворение В. А. Пушкина приводится [Там же: 505].

¹⁵⁴ Общество существовало в Петербурге в 1824 г. Первые сведения о нем были опубликованы в «Русской старине» в 1881 г. (вместе со списком десяти членов, подвергшихся преследованиям).

лампы» была такой, что в ранних работах о Пушкине о ней предпочитали говорить скороговоркой. Но П. Е. Щеголев в 1900-е гг. резко выступил против такой интерпретации и трактовал «Зеленую лампу» как собрание политических единомышленников. Это предположение потом подтвердилось находкой части протоколов «Зеленой лампы» — публикация в сборнике «Декабристы и их время» Модзалевским. С тех пор общество это рассматривается как филиал Союза благоденствия. Томашевский, правда, сделал еще нечто: поскольку известно, что молодежь в доме Всеволожского пила вино и кипела бурным весельем, то Томашевский предложил отделить ужины у Всеволожского «с возлияниями» и заседания «Зеленой лампы». Томашевский приводит цитаты из «лампового» цикла Пушкина, но весь «ламповый» цикл строится на сочетании декабристской лексики и символики и бурных страстных стихов¹⁵⁵.

Мы говорили о типах бытового поведения людей декабристского круга, теперь предстоит поговорить о типах отдыха, которые очень важны для изучающих культуру. Мы подходим к важному вопросу о «серьезной» и «несерьезной» культурах. Жизнь человека делится на «серьезные» периоды и периоды, когда поведение человека полностью меняется, и, как правило то, что не дозволено в обычной жизни, дозволено в эти периоды. Но не надо углубляться в карнавал. Когда происходит смена поведения, происходит и смена одежды и т. д., однако характер смены бывает разный. В обществе, слабо организованном в обычной жизни, в период отдыха усиливается семитичность, знаковость. Например, дом Ростовых — в обычной жизни быт «простоватый», очень несветский, а бал подчеркнуто иерархичен.

На балу строго регламентировано время, распределены роли — порядок бала нельзя изменить. Люди приезжают на бал, чтобы включиться в машину повышенной организации, переключаются в сферу повышенной ритуализации. Но в мире, высоко организованном в обычной жизни, в период отдыха наступает период пониженной организации. Когда дворянин приезжал к цыганам, это воспринималось как освобождение — воля (Федя Протасов

Затем оно было кратко упомянуто в статье Н. К. Шильдера о Шервуде в «Историческом вестнике». Достаточно подробная информация об обществе и о приписании Шервудом себе заслуг по его разоблачению содержится в главе «Общество "Freres-cochons"» в книге [Троцкий 1990: 78–106]. По-видимому, Лотман не читал книги Троцкого о Шервуде (подчеркнем, что ее переиздание появилось позже!). Историк трактует общество гораздо более серьезно и говорит об интеллектуальных интересах ряда его членов, в том числе, о переводе на французский «Истории государства Российского», выполненный по собственной инициативе Жоффре, преподавателем французского в Смольном институте, и об одобрении перевода Карамзиным [Там же: 103].

¹⁵⁵ [Томашевский 1956: 200–213].

в «Живом трупе»: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля...». Но для самих цыган это вовсе не десятый век, а власть хора с его правилами и т. д.).

На этом же противопоставлении в 1810-е гг. строилась тема деревни, идущая от античности. Рим (высокий семиозис) — деревня (освобождение от него: Вяземский в стихотворении «Деревня»). У Пушкина в одноименном стихотворении деревня рисуется не только как «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья», но и как царство рабства:

Здесь *барство* дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.

Понятие и идеал отдыха заданы обычной жизнью — это смена маски, причем маски на двойника. Это модель деструкции мира (у Андрея Белого период антропософии сменился в Берлине в 1922 г. периодом фокстрота). Изучение истории «падений» очень характерично, ибо форма «дна» задана формой «неба». На фоне этого обычного состояния культуры существуют еще культуры, которые в принципе не допускают этой смены — т. е. культуры серьезные всегда, но рядом с ними обычно существуют их двойники: другие культуры, построенные наоборот. Идеи М. М. Бахтина очень важны, но они охватывают один пласт культуры, попытки перенесения на другой материал не всегда обоснованы. Опыт приложения их к русской культуре это доказывает. К эпохе Ивана Грозного что-то приложимо, что-то нет¹⁵⁶, а к Гоголю это уже не приложимо. Работа Бахтина «Гоголь и Рабле» менее убедительна.

Декабристы были в основном военными. Их отдых мог быть понят на фоне типового отдыха русского офицера (конечно, не отдых некоего Митрофана, попавшего в глухой гарнизон и пьющего мертвую чашу; речь идет о круге передовой молодежи 1820-х, молодежи либерального толка). Гвардейский полк — это не только место, где получают мундиры и чины, это тип жизни. Он не описывается в исторических источниках — есть описания в мемуарных и художественных текстах. В послепавловскую эпоху в моду вошел **разгул** — это была реакция на исключительную затянутость павловской казармы. В павловской реакции на екатерининскую распущенность было здоровое звено (ср. влияние на психологические импульсы Павла лозунгов

¹⁵⁶ См. рецензию Лотмана и Успенского на книгу: Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976 // Вопросы литературы. 1977. № 3. С. 148–166.

Е. Пугачева). Но наступил жесткий и суровый казарменный режим — он сменился узаконенным разгулом в александровскую эпоху. Вспомним «Выстрел» Пушкина. Буйство — и отдых, и мода, и антитеза парада. Это сфера, где развивается честолюбие и желание лидерства. С одной стороны, разгул — вольнодумство, но, с другой стороны, оно узаконено — идет двойной счет: строго спрашивается фронтовая служба, промахи ничем не извиняются, но в то же время полк имеет своих «гуляк». В этом смысле слово «гулять» приобретает только это значение — ‘праздновать непомерно’ (великий князь Константин у В. Ф. Раевского в Тираспольской крепости¹⁵⁷).

Поступок Лунина с купанием в полной военной форме обычно интерпретируется как знак непомерности лунинского поведения. Но когда теперь стал более известен круг Зубова, то понятно, что у этой истории было начало. Корочаров (внебрачный сын Валериана Зубова) вытворил похожую штуку: приветствовал, купаясь, великого князя в чем мать родила¹⁵⁸. Лунин, известный гуляка и бретер, не мог снести, чтобы уланы переплюнули кавалергардов, и полез в воду в парадном мундире. Постоянный мотив — переплюнуть, сделать нечто большее, чем кто-то уже сделал, это — фон, это — дозволенное начальством исключение из обычной жизни, норма отдыха.

Мемуары Д. И. Завалишина — это рассказ не о жизни, которую он прожил, а о жизни, которую он хотел бы или мог бы прожить. Завалишин родился в 1804 г. и ничего не успел сделать. Люди пестелевской эпохи были люди действия и жили в эпоху, когда действие было возможно, т. е. импульсы превращались в дела. Завалишин был человеком этого типа. Пятнадцати лет он стал преподавателем астрономии в Морском кадетском корпусе, затем отправился в кругосветное плавание. Письмо Александру I из Лондона, свидание с Александром в Петербурге, разговор с Рылевым, он принял в общество Дивова, Беляева, Арбузова¹⁵⁹. Завалишин был единственным человеком среди декабристов, жизнь которого строилась по законам игры. Среди

¹⁵⁷ Этот пример приводится в статье [Лотман 1975].

¹⁵⁸ В статье Лотман рассматривает оба эти эпизода и приводит соответствующие цитаты из мемуаров Н. А. Белоголового и из записок «карлика фаворита» И. А. Якубовского [Лотман 1975: 54].

¹⁵⁹ Вопрос о членстве самого Завалишина в Северном обществе до сих пор не решен однозначно (см.: [Декабристы 1988: 69]). Тайное «Общество Гвардейского экипажа», членами которого были А. П. и П. П. Беляевы, В. А. Дивов, А. П. Арбузов, М. А. Бодиско и др. образовалось в 1823–24 гг., независимо от Северного общества, контакты с которым были установлены незадолго до восстания благодаря Н. А. Бестужеву. По данным «Алфавита Боровкова», Завалишин принял Арбузова, Беляевых и Дивова в свой «Орден восстановления» [Там же: 257–258], о котором он писал в своей записке к императору Александру в 1824 г. (в 1822 г. Завалишин отправил императору письмо из Лондона, где просил личного свидания).

декабристов он был одинок, декабристы были люди серьезные. Впрочем, Заваалишин тоже, ибо он верил в свои маски. Но и это декабристам было чуждо. Декабрист был человеком дела и действия, и человеком серьезным.

В человеческой культуре есть типы, которые реализуют себя в смеховых воплощениях. Были люди, которые никогда не смеялись, и люди, которые только смеялись. Смех был социальным участком и календарным периодом. Вне этих границ смех был запрещен.

Есть серьезные тексты, авторы которых верят, что их описание равно реальности. Но если появляется второй тип текстов — изображение изображения (это не всегда будет смешной текст) — это первый шаг к смеху. Средневековый живописец считал себя кистью в руках Господа и в этом смысле полагал, что творит мир — не изображает действительность, а обнажает ее. Для него живопись — не знак, а символ. Потом появляется двойное изображение, а тем самым — изображение изображения, что дает нам понять, что первое изображение не равно реальности: Ян ван Эйк «Портрет четы Арнольфини», т. е. портрет банкира Арнольфини с женой — зеркало плоское и зеркало сферическое — дырка в пространстве картины. В этом осознании искусства как двойного изображения мира возникает возможность смешного. Это обычно не изображение жизни, а **текста**. Разыгрывается текст. Но то, что есть область трагических переживаний и комической игры, делится на две сферы только в средние века, а далее это области-двойники.

В конце XVIII в. карамзинская культура исключительно высоко подняла принцип игры. Литературное произведение стало ключом к действительности. Европа для Карамзина — сюжеты и имена, а реальность потому реальность, что она отсылает к сюжетам и именам. Это уже взгляд на жизнь как на **игру** воображения. Для Карамзина это источник вовсе не веселья, а скептических раздумий. Трагическая игра китайских теней не стóбит переживаний («опускаю занавес» — частая концовка карамзинских текстов).

Следующее поколение — арзамасцы. Они были людьми игры (осознание момента сознания), переживания жизни как игры, пародии (удвоение жизни в игре). Всякая пародийная культура строится как изображение текста: скоморошья культура — сборник Кирши Данилова — зачин «Высота ли, высота поднебесная» повторен три раза в разном контексте. Былина «Агафонушка» — страшный балаган (реминисценция есть в «Капитанской дочке»).

Переживание жизни как игры породило особый тип отдыха, который был принципиален и являлся типом мировоззрения. Мир делился на элиту (людей, которые со смехом смотрят на жизнь) и не элиту. Интересно, что именно арзамасцы вызывали у современников зависть и ненависть. Эта

элитарность была отрицательной тенденцией культуры, и дальнейшее развитие культуры вело к ее изживанию. Но важно возникновение мира, который отгораживается от остального, и в нем царит дружество и веселье. Положительное переживание веселья возникло в эпоху, когда всё философски и теоретически осмыслялось.

Философия XVIII в. связывала свободу и счастье, поэтому гедонист, гонящийся за радостью, осознавался как человек свободный. Но и в XVIII в. возникла иная концепция, Робеспьера: человек, который стремится к счастью, — раб или рабовладелец, свобода — отказ от счастья (принцип героического аскетизма). Сен-Жюст — воплощение этого принципа: он был красавец и жесток был в силу принципа. Сен-Жюст, обвиняя Дантона, заявил, что тот гурман и любит красиво жить, и это — свидетельство контрреволюции. От этой морали не были далеки Карамзин и Шиллер. Не мог принять ее Радищев — гельвецианец, для которого счастье = свобода.

В 1810-е гг. возникло два типа людей: человек, который веселился, т. е. хотел быть свободным, и человек, который запрещал себе веселиться, т. е. хотел быть свободным. Два типа свобододолюбца — разница между Рылеевым и Дельвигом (см. у Пушкина в “Table-talk”). Поэтому интересно, как «увядает» веселье, когда в него включаются декабристы.

«Общество громкого смеха» в Москве — организатором его был член Союза благоденствия князь Ф. Шаховской¹⁶⁰. Однажды он пригласил А. Муравьева и М. Фонвизина, которые на заседании заявили, что занятия общества несерьезны. Им не удалось завоевать общество. То же произошло, когда декабристы вступили в «Арзамас». «Арзамас» был пародией (о нем мы знаем достаточно много, в отличие от «Общества громкого смеха»). Он был пародией на тайное масонское общество и публичные торжественные собрания «Беседы», и на заседания Французской академии с похвальными речами. Речи в «Арзамасе» строились как похвальные слова «покойникам» «Беседы». Для арзамасцев это было значимо. «Арзамас» был направлен на ритуал. Исполнение шуточного ритуала есть содержание для самих членов, но бессмысленное занятие для посторонних. Именно с позиции декабристов в «Арзамасе» все время уходит неизвестно на что — люди теряют время, по мнению декабристов, а именно они, просвещенные и талантливые люди, могли бы заниматься серьезными вопросами. Николай Тургенев отзывается об «Арзамасе» довольно скептически, а М. Орлов пытается приспособиться к тону «Арзамаса». Он произносит речь, но в ней заявляет, что шутить не собирается, а в конце призвал отказаться от шуток. Декабристы

¹⁶⁰ Об этом обществе см.: [Грумм-Гржимайло, Сорокин 1963].

включали не только танцы, вино и шутки в число ненужных забав, но и поэзию (сперва элегическую, а потом и всякую).

27 февраля 1975 года

Первая лекция второго семестра

Мы рассмотрели декабристов как некий культурный тип, как нечто целое. Теперь нужно было бы рассмотреть декабристов в противопоставлении людям 1830–1840-х гг. и людям XVIII века.

Этично ли противопоставлять декабристов людям 1830–40-х гг.? Ведь они жили в эти же годы, но жили в искусственных условиях ссылки и заключения. Мы не очень себе представляем каторгу декабристов. Она отличалась от каторги Достоевского и т. д. Николай I поставил твердое условие: декабристы не должны ни с кем встречаться, поэтому организовать каторжные работы фактически не удалось. Декабристы жили за высоким забором в условиях подконтрольности, но в тесном дружеском кругу. Материальные условия были неплохими — богатые декабристы делились с бедными своими сбережениями, поэтому страшной бедности не было. Конечно, не следует идеализировать каторгу: декабристы были люди дела — шпаги и мундира, и переход к созерцательной жизни был для многих делом нелегким (не всегда материальное благополучие — самое главное). Перейдя с каторги на поселение, многие опустили и многие погибли. Они были разбросаны и предоставлены самим себе, материальное положение тоже резко ухудшилось. Но как бы там ни было, мир каторги и ссылки — мир искусственной изоляции.

Декабристы законсервировались в своем облике и взглядах. Это грустно наблюдать на примере Кюхельбекера. В крепости он много писал. Тынянов «сделал» Кюхельбекера. Стихотворение «Плач Давида по Ионафану» извлечено из огромной и нечитаемой поэмы «Давид». В Кюхельбекере проблески бесспорной гениальности сочетаются с такой же бесспорной графоманией, вызванной ощущением несправедливости личной судьбы. Это создает грустную картину — он замер на 1825 г. Это важно помнить, поскольку до него доходят новинки литературы, но время остановилось для него — он читает «Илиаду» и Гоголя, журналы начала века и современные — всё одновременно, не очень различая, когда что написано.

Не только для Кюхельбекера, но и для других декабристов время шло по другим законам. Центральной датой жизни было 14 декабря 1825 г. Они исходили из мысли, что нельзя разменивать жизнь. Отсчет шел не от этой

даты, а к этой дате. Вся мысль Лунина работала к тому, чтобы возвеличить 14 декабря. Когда наступило время возвращения декабристов из Сибири и люди типа Л. Н. Толстого стали встречаться со стариками-декабристами, то общее впечатление было такое: это люди удивительной чистоты, в 60–70 лет сохранившие взгляд двадцатилетних. Они были наивны, не понимали времени, но была мудрость в этой позиции, ибо они сохранили взгляды 1820-х гг. Декабризм был юностью русской интеллигенции, и он сохранил цельность юности. Поэтому можно считать, что противопоставление декабристов людям 30–40-х гг. вполне оправдано. Теоретически и практически жизнь не разделялась для декабристов вообще. Важнее всего поведение. Например, образ Николая Ростова определяется не суммой его идей, а поведением: он человек благородный — это его сущность.

Декабристы отличаются от людей последующих поколений вовсе не только тем, что происходит социальная дифференциация общества — появляется тип разночинца, поповича: в 30-е гг. этот тип не занял еще ведущего положения. Если взять интеллигентную (культурную) среду 1820-х и 1840-х гг., то увидим, что человек 40–70-х гг. — всегда с социальным сознанием и сознанием своей неполноценности, долга перед народом за благо своего просвещения и культурной жизни. Лунин считал, что человек должен делать то, к чему он призван, к чему имеет талант — если к политической борьбе, то этим, а если к музыке — то музыкой. В. М. Гаршин — манометр русской интеллигенции 70-х гг. — считал, что для нравственного человека есть одно дело — погибнуть. Его рассказ «Художники»: один считает, что нужно описывать «красоту», другой задумал написать «глухаря» — рабочего, глухнувшего от ударов молота при починке паровых котлов. Написав картину, он отказывается от искусства и поступает в учительскую семинарию. Художник — должник перед народом, долг нужно платить не картинками.

Сознание декабристов целостно. Они не считают себя виноватыми перед народом и не собираются искупать свою вину, они гибнут за народ по долгу честного и благородного человека. Чувство социальной зависти также было чуждо декабристам. Человек с чувством социальной зависти ощущает свое ничтожество, ненавидит мир, его обидевший, но и себя презирает. Это — гоголевские персонажи и герои Достоевского. Герой придумывает себе вторую жизнь из гадливого отвращения к себе самому. Для чиновников николаевской эпохи и даже для литераторов все силы души направлены на то, чтобы заглянуть в иной мир. Вторичный романтизм 1830-х гг. на этом основан.

Декабристы занимают в русской культуре то место, которое в литературе занимает Пушкин. Он для нас — норма, он наивнее Достоевского, но

он целостен, он еще не знает противоречий эпохи Достоевского. Декабристы тоже сохраняли целостность и гармоничность личности. Проблема отношения к народу у них существовала, но не была трагична, как и проблема «Россия – Запад» не воспринималась ими как безысходный тупик. Для них существовал вопрос этики тактических средств — что, какие средства оправдываются благородными намерениями? Какова этическая сторона власти? Вопросы эти возникли уже после Французской революции и ярко поставлены Шиллером. Круг проблем, возникших перед декабристами, был не проще проблем Герцена и славянофилов. Но история для них еще не раскрылась в своих трагических противоречиях, как после революции 1848 г. Декабристы поэтому были людьми оптимистического склада, они были проникнуты радостью. Этим старики-декабристы и поражали людей типа Л. Толстого.

Декабристы были в основном религиозными людьми, в отличие от Пушкина и Вяземского. Декабристы были тесно связаны с укладом русской дворянской жизни. Связь с бытом не выражалось в исполнении обрядов (регулярно почти никто не причащался), постов. Религиозные вопросы не были чужды никому, даже Пестелю. История для всех декабристов была прогрессом, для Лунина тоже. В облике декабристов выделялась здоровая жизненность. Это выражается в том, как легко они приняли свой новый социальный статус. Они обладали органичной способностью заняться иным трудом, не надломиться. После очень тяжелых месяцев крепости и следствия, когда они наговорили ужасных вещей друг против друга, вышедшие из камер люди обнялись и вычеркнули из памяти следствие и крепость и никогда не упрекали друг друга. Это было сделано без теорий и надрыва, а инстинктивно. Инстинкт играл большую роль в людях этого типа культуры.

Поведение декабристов в принципе включает самонаблюдение. В этом смысле пролегает черта между ними и их отцами — людьми XVIII века. Это выглядит, как отсутствие ребячества, наивности. Оценки «ребячества» людей XVIII века были разные — иногда наивная цельность, иногда наивный цинизм. Это не столько объективное свойство людей XVIII века, сколько свойство источников начала XIX в., к которым мы привыкли относиться некритически. Но все-таки даже в трагических фактах и трагических текстах проявляется одна черта. Это видно по завещанию И. М. Опочинина (ярославского помещика, покончившего с собой). Перед смертью он прощается с книгами из своей библиотеки, ибо именно с ними он находил радость

в общении¹⁶¹. Книги-друзья — это сочетание влечет за собой ряд устойчивых атрибутов: книга — спутник того, кто не знал игрушек.

Люди XVIII века, описывая свое место в мире, описывали внешний мир, а не свое поведение (исключение составляли масоны). Оно воспринималось как нечто положительное или отрицательное, но не становилось предметом исследования. Собственная личность не казалась особым миром, требующим особого языка.

Декабристы все время рассматривают не только внешний мир, но и мир собственной личности. Это видно на дневниках семьи Тургеневых.

Нам важно выделить группы, объединенные одинаковой самооценкой. Интересно, что в раннем декабристском движении не было поэтов, а в позднем (Петербург) почти все были поэты, и это неслучайно. Это изменяет отношение к практике. По тому, как человек себя воспринимает, Наполеоном или Байроном, меняется и представление о том, что есть политическая деятельность.

Интересно объединить декабристов по признаку «офицер — не офицер». Почти все были офицерами, тем более интересны фигуры, выпадающие из этого круга: Н. Тургенев, Раич, М. Новиков (перешел из военной службы в гражданскую), С. М. Семенов и т. д. Но и военные не все одинаковы. Совершенно разная психология у людей штаба, гвардейских и армейских полков, флота и сухопутных войск. Флотские вообще очень выделяются как особая группа. Выделяются и их образ жизни, и стиль отдыха, и стиль чтения. Их ориентация на иностранную литературу важна — моряки были первыми пропагандистами Оссиана в России.

Для нас важно также своеобразие семейно-культурных гнезд, где формировалось поведение декабристов.

Декабристский «муравейник» — семья Муравьевых

Генерал-майор Николай Николаевич Муравьев — математик и артиллерист, умер в 1840 г. сенатором, устроил школу колонновожатых (не желая воевать с великими князьями, руководителями военного образования), готовившую квалифицированных топографов

+

Александра Михайловна Мордвинова (ее племянник — начальник отделения канцелярии Бенкендорфа, управляющий III отделением. Исполнительный чиновник, А. Н. Мординов не отрекся от ссыльных братьев)

¹⁶¹ См.: [Трефолев 1883].

<p>Александр Николаевич Муравьев, организатор Союза спасения, женат на Прасковье Михайловне Шаховской</p>	<p>Николай Николаевич Муравьев (Карский)</p>	<p>Михаил Николаевич Муравьев (граф Виленский, Вешатель), женат на П. Шереметевой, сестре жены Якушкина. Шереметевы — один из немногих уцелевших боярских родов</p>
---	--	---

Никита Артамонович Муравьев		Матвей Артамонович Муравьев	
<p>Михаил Никитич Муравьев — выдающийся поэт, прозаик, оставшийся недостаточно известным, поскольку был принципиальным дилетантом. Его цитировали в своих стихах Пушкин и Батюшков. Он был одним из создателей русской эпистолярной прозы, учителем великих князей Александра и Константина Павловичей по русской словесности и истории. При Павле стал сенатором, затем товарищем министра народного просвещения + Екатерина Федоровна Колокольцева</p>	<p>Феодосия Никитична Муравьева, замужем за Сергеем Луниным</p>	<p>Захар Матвеевич</p>	<p>Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, дипломат, русский посол в Мадриде. Сыновья учатся в Париже, Мадриде и Гамбурге (в 1790-х гг. — центр левой эмиграции. Кобленц — ультрароялистский, Митава — средний. Гамбургский центр принимал революцию до 1791 г., не согласился с якобинской диктатурой и консулатом Бонапарта). В начале XIX в. Муравьевы-Апостолы появились в России. Это интересно, потому что потом Матвей Муравьев-Апостол будет наибольшим «славянофилом» среди декабристов — настаивал на православном катехизисе</p>
<p>Никита Михайлович Муравьев, женат на графине А. Г. Чернышевой</p>	<p>Михаил Сергеевич Лунин</p>	<p>Артамон Захарович Муравьев</p>	<p>Матвей Иванович Муравьев-Апостол</p>
<p>Александр Михайлович Муравьев, член Северного общества (попросил не отпускать его с каторги, пока не отпустят брата)</p>		<p>Матвей Захарович Муравьев</p>	<p>Сергей Иванович Муравьев-Апостол (повешен) Ипполит Иванович Муравьев-Апостол (застрелился)</p>

Вообще, среди декабристов не очень много людей новой послепетровской аристократии (М. Орлов). Не было ни Меншиковых, ни Новосильцевых,

ни Кочубеев, ни Воронцовых — этот тип почти не отражен в декабристском движении. Но зато есть князь Оболенский — прямой Рюрикович; М. А. Дмитриев-Мамонов старается забыть, что его отец был екатерининским фаворитом, а видит в себе потомка смоленских дворян и князей (княжеский титул был утрачен) — Голицыны, Шереметевы (потомки Бориса Шереметева, петровского фельдмаршала, которому бояре предлагали московский трон). Шереметевы — немногие, сохранившие родовое богатство. В России это редкость — состояние редко удерживалось дольше трех поколений. Шереметевы — подчеркнуто партикулярный московский род, редкий в государственной службе, время проводят в имениях, в Москве и Париже. Родство с Шереметевыми имело большое значение. И. Д. Якушкин женился на Анастасии Васильевне Шереметевой, мать которой (тетка поэта Ф. Тютчева) оказывала помощь сибирским каторжникам. А. В. Шереметева не смогла поехать в Сибирь за мужем, поскольку сам Якушкин противился ее решению.

Мы можем отметить, что начало тайных обществ — дело семейное: Александр Николаевич Муравьев, Никита Муравьев, М. Лунин, Сергей Муравьев-Апостол плюс Пестель и Якушкин. Итак, общество было связано не только общими политическими взглядами, возрастом, но и семейными связями, общим детством. В таком обществе доверие — нечто само собой разумеющееся. Ранние тайные общества — политические, дружеские и семейные общества.

Братья Тургеневы

Это гнездо менее многочисленно. К декабристскому движению прямо причастен Николай, Сергей не был уличен, но его симпатии бесспорны. Однако тургеньевский дом представляет собой культурный центр, тесно связанный с миром Московского университета, где отец, Иван Петрович, занимал должность директора (до реформы 1803). Их квартира на Моховой была тесно связана с квартирой Карамзина на Никольской улице. Архив Тургеневых основан на бумагах отца — масона Ивана Петровича, они немногочисленны, хотя очень ценны. Его супруга Екатерина Ивановна была почти неграмотна. Настоящий фонд начинается с братьев. У них было особое отношение к документам (см.: академик В. М. Истрин «Опыт методологического введения в историю русской литературы XIX века», 1907; работы академика В. Н. Перетца — продолжение метода А. Н. Веселовского). Братья Тургеневы стремились сознательно направлять свой собственный духовный мир — это наследие их отца-масона, который начинал воспитание детей

с подарка к семилетию тетради в переплете из телячьей кожи с *просьбой* писать дневник. Дом Тургеневых был очень патриархален, в домашнем быту держались допетровские нормы — это тем более парадоксально, что все братья были западники, русские европейцы и даже к жизни в России были не очень приспособлены — прожили большую часть жизни за границей.

Дневники Андрея Тургенева начинаются с размышления над Франклиновой таблицей:

Пороки	Даты		
	+	-	+

День должен кончаться размышлением над тем, как он прожит и как завтра нужно сделать лучше. Но скоро дневник становится летописью духовной жизни; богато продемонстрированы и внешние события культурной жизни.

В Москве вокруг Андрея Тургенева образовался кружок, куда тоже входили семьями: братья Кайсаровы (Андрей, Михаил), братья Тургеневы (Андрей и Александр). Мерзляков — человек иного мира, он из купцов, Жуковский — внебрачный сын — они входят не семьями, Родзянко — двое, Воейков — один, но в Петербурге есть брат, который заочно тоже член Дружеского литературного общества.

Приверженность этих людей к писанию объясняет мысль Лафатера в письме к Карамзину: человек существует тогда, когда он выражает себя¹⁶². Друзья всегда спешили записать в дневнике только что бывшие разговоры; в промежутках между встречами два раза в день они успевали интенсивно переписываться. Культ письма дополняется позднее мыслью Н. Тургенева о своем избранничестве, а также мыслью Ал. Тургенева о роли семьи Тургеневых для России. Он был уверен, что семья их — важная страница в истории России. Он был профессиональным историком и поэтому пополнял семейный архив околосо семейными материалами; позже он вообще занимался в архивах и собрал материалы о России. В руки следствия архив не попал, но Н. Тургенев сам «почистил» его. У архива была драматическая судьба.

К концу XIX в. потомки Н. Тургенева офранцузились, но понимали значение архива для России и передали его в 1909 г. в Императорскую Публичную

¹⁶² В переписке Карамзина с Лафатером, опубликованной Лотманом, не удалось обнаружить точного соответствия изложенной здесь мысли. Лафатер в письме от 16 июня 1787 г. пишет о необходимости размышления, что, однако, подразумевает и самовыражение: «...я существую — и размышляю о своем бытии, сравниваю его с другими видами бытия — и не знаю ни одного подобного человеческому, почему и называю его царственным, духовным, высоким, предназначенным на продолжение и совершенствование» [Переписка Карамзина с Лафатером 1984: 470].

библиотеку. Была образована комиссия по изданию архива. Было решено опубликовать полностью бумаги Ал. и Н. Тургеневых. Комиссию возглавил В. И. Саитов, потом стал руководить В. М. Истрин. Он энергично приступил к работе и стал печатать в «Журнале Министерства народного просвещения» свои исследования и публикации. Вслед за этим были опубликованы три выпуска «Архива братьев Тургеневых». В 1911 г. в первом выпуске были напечатаны дневники и письма Н. И. Тургенева за 1806–1811 гг., в 1913 — за 1811–1816 гг., в 1921 — за 1816–1824 гг.; в 1926 г. был издан том «Из переписки Николая Ивановича Тургенева в 40–60-е гг.». Важное значение имеет и второй выпуск «Архива» с большой вступительной статьей Истрина (дневники и переписка Ал. Тургенева Геттингенского периода — 1911 г.) и др. Потом в связи с войной работа приостановилась. Приват-доцент Е. И. Тарасов и Н. К. Кульман не успели довести до конца своих работ, в 1919 г. в Самаре была издана книга Тарасова о Н. Тургеневе. В 1915 вышла наконец по-русски книга Н. Тургенева «Россия и русские», которая в XIX в. была по сути дела единственным источником сведений о декабристах. Она же послужила основой концепции А. Н. Пыпина. В записке «О народном воспитании» Пушкина 1826 г. Николай Тургенев упомянут как самый просвещенный и разумный декабрист¹⁶³.

В 1936 г. А. Н. Шебунин опубликовал письма Николая к Сергею Тургеневу. См. также важную книгу Шебунина «Европейская контрреволюция в первой половине XIX в.» (Л., 1925)¹⁶⁴.

Больших архивных публикаций с тех пор не было¹⁶⁵. Из историков над архивом работал В. В. Пугачев, но сейчас он над ним не работает. В результате Н. Тургенев — самый документированный декабрист — мало изучен, не написана его полная политическая биография. Поэтому часто он выступает как «козел отпущения» — отрицательный герой кандидатских диссертаций.

Чем же отличается атмосфера тургеневского дома? Во-первых, в отличие от Муравьевых, все братья были штатскими. Все получили университетское

¹⁶³ «Н. Тургенев, воспитывавшийся в Геттингенском университете, несмотря на свой политический фанатизм, отличался посреди буйных своих сообщников нравственностью и умеренностью — следствием просвещения истинного и положительных познаний» [Пушкин 1978: 33].

¹⁶⁴ В иных контекстах Лотман часто упоминал книгу А. Н. Шебунина «Николай Тургенев» (Л., 1925) и его работу «Н. И. Тургенев в тайном обществе декабристов» (Декабристы и их время. М., 1929. Т. 1.).

¹⁶⁵ В настоящее время предпринята попытка возобновить издание «Архива»: [Архив братьев Тургеневых 2017]. В 2001 г. была переиздана книга «Россия и русские». См. также: [Тургенев С. 2022]. См. важное издание, подготовленное М. И. Гиллельсоном еще в 1960-е гг.: [Тургенев А. 1964].

образование. Это ставило их в особое положение среди декабристов. Декабристы были военными и кончали школу колонновожатых, Первый кадетский или Морской корпусы. Переходная линия — Грибоедов — три раза студент до 1812 года, далее гусар (портрет в ментике и в очках — это не случайно. Он всегда мыслил себя как некое *quid pro quo*, как нечто несовместимое), затем дипломат.

Тургеневы отчетливо ориентируются на германскую культуру, что было также необычно в контексте декабристской ориентации на Францию (англомания не была свойственна декабристам — это была ориентация «Арзамаса»). Германская ориентация была связана со штюрмерством (через Якоба Ленца, Клингера). В начале 1800-х гг. она оборачивается бунтом против Карамзина и масонского политического индифферентизма. Это приводит братьев Тургеневых в Геттингенский университет.

Александр Николаевич Муравьев

Один из самых интересных декабристов, т. к. он, будучи самым первым декабристом, основателем Союза спасения (за что был сослан в Сибирь, хотя не был лишен дворянства), рано перестал быть декабристом (в 1818 г. отошел от деятельности, в 1819 г. объявил окончательно о выходе из общества). Что мы знаем о Муравьеве? Его следственное дело опубликовано в третьем томе «Восстания декабристов». Записки Муравьева опубликованы М. К. Азадовским в Трудах Государственной библиотеки Ленина¹⁶⁶. Но, к сожалению, это только отрывок примерно за 1811–1814 гг. Интересны мемуары его брата Н. Н. Муравьева-Карского, но это тоже, в основном, Отечественная война. Далее — разрозненные свидетельства отдельных декабристов, а также очерк В. Г. Короленко «Легенда о царе и декабристе»¹⁶⁷. С исторической точки зрения — интересные люди, которые с наибольшей полнотой выразили черты эпохи. Кончил А. Муравьев как нижегородский гражданский губернатор и как деятель реформы 1861 г.

¹⁶⁶ Публикация «Автобиографических записок» А. Н. Муравьева была подготовлена Ю. И. Герасимовой и опубликована в «Трудах рукописного отдела Государственной библиотеки им. Ленина». Издание трудов, вышедшее под общей редакцией М. К. Азадовского, имело заглавие: «Декабристы. Новые материалы». См. записки Муравьева вместе со вступительной статьей и примечаниями Ю. И. Герасимовой [Декабристы 1955: 137–229]. Это полная публикация известного к настоящему моменту текста; повторена в издании [Муравьев А. Н. 1986].

¹⁶⁷ См.: [Короленко 1911]. Очерк касается деятельности Муравьева на должности нижегородского губернатора и противостояния тамошнего общества его радикальным проектам освобождения крестьян. Короленко включил в очерк сатирические стихи, направленные против Муравьева, которые циркулировали в нижегородском обществе.

Интересно, что первое общество основали Александр Муравьев и Павел Пестель. Это не случайно («только различное рифмуется», по словам Ивана Киреевского).

Вехи биографии А. Н. Муравьева

Он вышел из школы колонновожатых¹⁶⁸ (47 декабристов, а из Лицея — двое). Из школы выпускники направлялись в Генеральный штаб, они занимались подготовкой карт. В 1811 г. А. Муравьев был послан снимать карты между Житомиром и Полтавой¹⁶⁹. Здесь начинаются записки. Эти записки интересны упоминанием родственных лиц. Муравьевы были небогаты — 104 души крестьян и пять сыновей и дочь. Состояние фактически нищенское, и нужда преследовала их всех в молодости. Во время войны А. Муравьеву не на что было купить лошади, когда его была убита, и сапоги¹⁷⁰. Быт войны равен народному быту (солдаты находились в преимущественном положении). В ЦГАЛИ имеется анонимный дневник офицера Финляндского пехотного полка. Офицеру 15 лет, а в его роте самому молодому солдату 35 лет.

Но родственные связи Муравьевых влекут их в хороший интеллектуальный круг — Колошины, Мордвиновы (Николай Муравьев и Наталья Мординова¹⁷¹), Бурцевы.

¹⁶⁸ А. Н. Муравьев (1792–1863) учился в 1806–1810 гг. в Московском университете и в 1810 г. из студентов был принят на службу «колонновожатым в свиту по квартирмейстерской части». Однако его близость к школе колонновожатых, основанной его отцом, несомненна. Вместе с отцом и братом Михаилом он был основателем Московского общества математиков.

¹⁶⁹ В 1810–1811 гг. был направлен на топографические съемки в Киевскую и Волынскую губернии, о чем довольно подробно рассказывает в мемуарах.

¹⁷⁰ А. Н. Муравьев довольно выразительно описывает свои материальные трудности во время войны, хотя именно эпизода с невозможностью купить лошадь и сапоги не встречается. Братья не получали от отца денег, довольствовались скудным жалованием. Когда Николая и Михаила направили к штабу гвардейского корпуса, а Александра в главную квартиру, Ал. Муравьев был очень расстроен. Зато когда они вновь соединились, то «все трое очень тому радовались, ибо, независимо от бывших наилучших нравственных между нами отношений, по крайне скудным нашим материальным средствам нам легче стало содержаться, нам, нуждающимся постоянно во всем, даже в дневном пропитании. Лошади наши получили корм и были подкованы, и мы сами пришли в состояние иметь похлебку — картофель с сухарями, а иногда даже и чай, чего порознь иметь было трудно» [Декабристы 1955: 181–182].

¹⁷¹ Н. Н. Муравьев, будущий Муравьев-Карский, был влюблен в дочь адмирала Н. С. Мордвинова Наталью, но при сватовстве получил отказ. Матерью братьев Муравьевых была Александра Михайловна, урожд. Мордвинова, племянница Н. С. Мордвинова.

В 1811 г. в штабе Ал. Муравьев попадает под влияние офицера Сулимы, который принимает его в масонскую ложу. Он делается пламенным масоном¹⁷². Далее дневник Муравьева дополняется дневником Н. Дурново — это немногие из документов о пребывании армии в Вильне (А. Н. и Н. Н. Муравьевы, М. Ф. Орлов, С. Г. Волконский, князь В. С. Трубецкой, который в 1812 г. женился на дочери виленского полицмейстера Софии Вейс, князь С. П. Трубецкой). Муравьевы, Колошин и Бурцев жили в одном доме, туда часто приходил М. Орлов, и там все время происходили бурные споры. Ал. Муравьев серьезно занимался высшей математикой под руководством младшего брата Михаила Муравьева. М. Орлов приходил дразнить Ал. Муравьева, говоря, что масонство — политические химеры, Александр выходил из себя и уходил, прервав беседу.

Этот предвоенный период интересен зарождением тайных обществ, о которых мы ничего не знаем. А. Муравьев был адъютантом и деятелем партии Барклая¹⁷³. Национальные тенденции были сильны в декабризме. Эти чувства обостряла приближающаяся война. Начинается кампания 1812 г., и для Муравьева — это испытание нищетой.

В истории декабризма мы наблюдаем движение политической мысли, которое сопровождается сменой лидеров, уходом ряда активных членов, уходом на периферию. Около 1823 г. происходит омоложение движения. Политическое становление, радикализация движения могут быть восприняты через политические термины, но должны быть восприняты и через «человеческую» призму — персонологию.

В среде непоследовательных, «нерадикальных» декабристов А. Н. Муравьев занимает особое и значительное место. Он играет роль в период возникновения движения и является лидером. Потом — служебная неудача

¹⁷² Ал. Муравьев подробно пишет о своем поступлении в ложу *Елисаветы к добродетели* в Петербурге еще до начала войны, а также о самой ложе. «Вводителем» Муравьева был капитан Н. С. Сулима [Декабристы 1955: 164–166].

¹⁷³ А. Н. Муравьев состоял при главной квартире командующего Первой армией М. Б. Барклае-де-Толи, о котором оставил восторженные строки в своих записках, будучи убежден, что Барклай действовал по заранее обдуманному им плану и «неколебимо продолжал свои распоряжения с тою же настойчивостью. Дивиться надобно твердости характера сего полководца» [Декабристы 1955: 175]. Муравьев приводит неблагоприятные толки о Барклае в армии и описывает известный эпизод столкновения Константина Павловича с Барклаем, после чего великий князь был выслан из армии [Там же: 187–188]. Не скрывает автор записок и столкновений между Барклаем и Багратионом и Ермоловым, однако его собственная «пробарклаевская» позиция остается неизменной. Во время Бородинского сражения Муравьев находился при Барклае и засвидетельствовал, что тот «искал смерти, и почти все офицеры, при нем состоявшие, были убиты и ранены <sic!>» [Там же: 194].

и женитьба, этим современники объясняли его отход от декабризма. До 1826 г. неизвестно, что он делал. На следствии держался неплохо. Хотя не подлежал преследованию по общему правилу, но довольно сильно пострадал: был сослан в Сибирь, хотя без лишения дворянства и орденов. Он стал иркутским городничим. Должность была трудная в финансовом отношении — считалось, что должность иркутского городничего и так слишком доходная, чтобы платить ему жалование. Однако трудность была и в отношениях с сибирскими чиновниками. Потом его перевели в Западную Сибирь¹⁷⁴. После смерти Николая I пошел в гору и стал даже губернатором в Нижнем Новгороде, хотя и оставался под надзором полиции.

Этот жизненный путь можно сопоставить с путем Вяземского. Бунтарь, принципиально партикулярный человек, не сошедшийся с великим князем Константином Павловичем и Новосильцевым, затем долгие годы оппозиции, т. е. вел неслужебное партикулярное существование. В 1830-х гг. Вяземский все-таки вынужден был пойти в службу и был употреблен по министерству финансов (воспитательная мера Николая I!) под начальством педантичного Канкрин. При Александре II сделал благополучную карьеру — товарищ министра просвещения, начальник цензурного ведомства; выдал дочь замуж за Валуева, умер глубоким консерватором, всех пережившим и трагически не понимавшим мира.

Но несмотря на параллель между Вяземским и Муравьевым, между ними есть глубокая разница. Недаром Вяземский никогда не был ни заговорщиком, ни просто военным (за исключением Бородинского сражения, когда он был адъютантом Милорадовича). Вяземский отличался от А. Муравьева (хотя оба — либералы) тем, что сделал из эгоизма культ и идеологию, а А. Муравьев сделал культ из дисциплины. Вяземский считал, что всякое сообщество есть уничтожение личности, что главная обязанность человека — сохранение его собственной свободы. Кумиром его был индивидуалистически толкуемый Байрон.

Для А. Муравьева свобода состояла в самоограничении, свободное существование есть вхождение в некий коллектив, причем не в «материальный», а в духовный. Вхождение в материальное общество есть порабощение, ограничение свободы, а вхождение в духовное — освобождение. Тут есть параллель

¹⁷⁴ А. Н. Муравьев был в 1828 г. назначен на должность иркутского городничего, в 1831 г. переведен на должность председателя иркутского губернского правления, в 1832–1834 гг. — председателем Тобольского губернского правления и Тобольским гражданским губернатором. О дальнейших перипетиях его служебной карьеры в Вятке, в Симферополе, в Архангельске, затем в военной службе и, наконец, нижегородским военным губернатором см. статью Ю. И. Герасимовой «А. Н. Муравьев и его записки» [Декабристы 1955: 152–155].

с масонскими взглядами. К 1812 г. он был пламенным масоном, до этого был руссоистом. В руссоистской концепции государственности сталкиваются две точки зрения. С одной точки зрения, центр мира — человеческая личность, которая имеет право на счастье, ибо по природе наделена красотой, добром, благом. Мораль измеряется счастьем отдельной личности. С другой точки зрения, личность — это общество, а отдельная человеческая личность — часть этого общества. С первой точки зрения общество — зло, оно уничтожает человека: чем больше людей, тем хуже. Но вторая точка зрения (с позиции коллектива) предполагает, что человек должен жертвовать всем во имя коллектива. Это противоречие первой и второй частей «Новой Элоизы», где, с точки зрения Руссо, не было противоречия. В первой части — права на счастье каждой личности, во второй — части целого должны жертвовать частью своей свободы во имя общего счастья.

Социально-политическая концепция масонов — зеркально перевернутый руссоизм — строилась на иной основе. Отдельная личность зависима, это звено в цепи. Чтобы достигнуть совершенства, личность должна иметь учителя и ученика. Свобода воли гибельна, человек должен от нее отказаться. В 1822 г. С. С. Ланской (видный деятель масонства) записал: как прожить без этой блаженной подчиненности? Хотя реальной подчиненности не было, но была теоретическая доктрина.

Мундир не тяготил Муравьева, идея подчинения была ему глубоко свойственна.

Сложным вопросом, который возник перед политическими деятелями уже в 1770-е гг., был вопрос о соотношении тактики и этики, о том, какие средства дозволены. Для политических деятелей 1780-х гг. было характерно отрицание тактики. Радищев полагал, что политическая борьба строится на истине, а тактика состоит в том, чтобы провозглашать истину. Проблема конспирации (утаивание истины) была чужда Радищеву. Вопрос о тактике вставал и перед масонами. Он встает и в религиозных сектах — чудо можно совершать именем Бога и дьявола, откуда оно — это нужно познать верой. То же и у масонов — их обвиняли и в черной магии, и в безнравственности. И для самих масонов вставал вопрос Новикова: как отличить истинное масонство от ложного, если нет полного открытия тайны? Рейхель ответил четко: если будет хоть тень политики — это ложное масонство¹⁷⁵. Задача масонства — духовное совершенствование, а не материальное (политическое).

Мы же говорим о *политических* деятелях. Очень интересно, что А. Муравьев — и основатель политического общества, и ревностный масон. Для

¹⁷⁵ Лотман уже говорил об ответе Рейхеля в начале спецкурса.

Муравьева его политический либерализм и нравственный масонский пафос не были противоречием, ибо в политику он вкладывал иное значение. Политическая борьба была для него борьбой нравственной, объединением людей, у которых в душе господствовало нравственное начало. Торжествует не материальная сила, а духовные свойства. Необходимость благородства, по Муравьеву, — основа общества. Для Пестеля (как и для Наполеона) искусство управления людьми есть искусство использовать людские пороки, а не только добродетели: можно привязать человека к тайному обществу, играя на его пороках.

Как политический деятель Муравьев нестоек, но он исключительно последователен этически. Он не меняется и в 1815, и в 1861 гг. Он остается человеком, для которого единственно реальными ценностями являлись честь, духовное совершенствование, невозможность нарушить индивидуальные нравственные запреты (нравственность для него была персонифицирована). Исключение Муравьева из истории декабризма несправедливо, без него картина неполноценна.

Своеобразным антиподом А. Н. Муравьева был Н. И. Тургенев. Они отличны по характеру. А. Муравьев — не теоретик, он исходит из представления, что понятие добродетели естественно дано человеку и не требует комментариев. Н. Тургенев по складу характера значительно менее сентиментален, хотя дневник его полон энтузиастических восклицаний. Н. Тургенев — мыслитель, теоретик и даже доктринер: надо написать правила, тогда родится правильная практика. А. Муравьев не проделал эволюции, Н. Тургенев медленно движется по пути развития декабристской мысли и прошел несколько этапов. Устойчивым оставалось одно: в 1807 г. еще детским почерком он записал, что посвятит жизнь освобождению крестьян. Это была для него идея века. Все его действия — любые — обусловлены этим.

Константность социальной программы сочетается у Тургенева с эволюцией политических взглядов. До 1816 г. для него главное препятствие освобождению крестьян — невежество и эгоизм дворян. Поэтому необходима нравственная проповедь — осуждение рабства, и необходима гласность. Россия — страна рабская, поэтому в ней царит нравственный разврат. Кроме того, невежество и эгоизм помещиков не дадут освободить крестьян иначе, чем через правительство. Дворянство — сила реакционная, правительство — прогрессивная. Правительство освободит крестьян, поэтому пока крестьяне несвободны, не может быть речи о конституции и парламенте, ибо парламент будет крепостническим. Самодержавие в этих условиях — благо. Только с 1816 г. Тургенев начинает подозревать, что самодержавие не будет освобождать крестьян, хотя пару лет он еще будет жить

под этим лозунгом. В 1818 г. он думал об организации общества вельмож, которые освободили бы крестьян, воспользовавшись законом о вольных хлебопашцах¹⁷⁶. Следующий этап — 1819 г., эпоха Союза благоденствия.

У истоков декабристского движения стоял и другой психологический тип, который ярче всего представлен М. Ф. Орловым.

Михаил Федорович Орлов

Орлов тоже мало изучен. «История молодой России» М. Гершензона — книга очень ценная, но устаревшая. Синтетического портрета Орлова все-таки нет, кроме «Былого и дум» Герцена. Орлов часто упоминается в многочисленных работах.

Военно-судное дело опубликовано в 1926 г. в журнале «Красный архив». Прекращение дела Орлова не совсем ясно, хотя есть легенда, восходящая к Герцену, — заступничество брата Алексея Федоровича Орлова (его конно-гвардейский полк первым из правительственных войск прибыл на Сенатскую площадь). Но как бы там ни было, неожиданная милость легла тенью на репутацию М. Орлова и осложнила его отношения с сосланными декабристами.

К Орлову чаще всего можно применить слово «влюблены»: в него были «влюблены» Д. Давыдов и даже И. Якушкин в начале 20-х гг. Потом в мемуарах Якушкин очень тенденциозно-холодно писал об Орлове. Пушкин пытался преодолеть шарм Орлова и осыпал его эпиграммами.

Сам Орлов сознавал опасность своего положения на следствии и на допросах буквально нарывался на тяжелое наказание: садился без приглашения в присутствии Николая I, третировал молодого императора как мальчишку. Николай I решил участь Орлова до допроса, но хотел извлечь из него сведения о других — о крупных государственных деятелях — и играл с Орловым роль блестящего гвардейского офицера, Орлов отверг эту игру, но ему не удалось спровоцировать свое политическое самоубийство.

Дальнейшая его жизнь была неудачей: он стал «умной ненужностью» (выражение А. И. Герцена в «Былом и думах», которое он относил к людям 1830–40-х гг.). Ю. Г. Оксман изучил влияние Орлова на графа Киселева —

¹⁷⁶ В своей книге «Россия и русские» Н. И. Тургенев вспоминал о попытке создания в 1820 г. такого общества. Она отразилась и в его письмах и дневниках 1820-го г. Идею поддержали М. С. Воронцов, А. Д. Меншиков, Н. Г. Вяземский, И. В. Васильчиков, граф Потоцкий и др. Большую активность развил В. Н. Каразин, назвавший создававшееся объединение «обществом добрых помещиков». Попытка не удалась, Александр I, вначале поддержавший инициативу, от нее отказался. См.: [Миرونенко 1989: 126–137].

в этой связи Орлов вовсе не стоит в стороне. В серии Литературных памятников в издании книги Орлова «Капитуляция Парижа» есть библиография работ об Орлове¹⁷⁷.

Правда, поздний Орлов — другой человек. Он вел совсем не свойственный ему образ жизни. На каторге ему было бы легче. Орлов — уникальная фигура среди декабристов и по социальному, и по служебному положению, и по воспитанию, и по популярности. В какое тайное общество и когда Орлов вступил — толком неизвестно. Он был членом «Ордена русских рыцарей», но ни членом Северного, ни Южного общества он не был, в Союз благоденствия он если и вступил, то поздно, но кто и когда его принял — неизвестно. Он знал все тайны Союза благоденствия, а долго не был членом — после разговора, что это невеликодушно, кажется, вступил¹⁷⁸. Может быть, его приняли особенным образом без процедуры (как Лунина). А между тем Орлов явно был заговорщиком с 1815 г. (переписка Н. и С. Тургеневых, письмо Дениса Давыдова и ряд других свидетельств), но где его общество? В Кишиневе он был окружен неясной публикой. В. Ф. Раевский — ближайший сотрудник, член Союза благоденствия. Охотников — в какую организацию входит¹⁷⁹? Вяземский писал о нем в старости. Охотников исторически загадочная личность.

Ясно, что Орлов в движении 1820-х гг. занимал роль деятеля — того, кто держал шпагу. Он — самостоятельная держава, его стремились привлечь, а не он хотел вступать. Орлов не был строевым офицером, в отличие от своего брата — он был штабной офицер, хотя участвовал в сражениях и получил боевые награды. В свите П. М. Волконского он начал службу, во время войны стал флигель-адъютантом, часть времени провел вне действующей армии, выполнял дипломатические поручения. С солдатами в качестве командира он дела не имел. В 1817 г. назначен начальником штаба 4-го пехотного корпуса. Вдруг в 1820 г. он резко сломал свою карьеру, самую блистательную, попросив дивизию, — а ведь всякая просьба об уходе из свиты выглядела как измена в любви лично к императору. Армейская дивизия, которую получил

¹⁷⁷ См.: Основная литература об Орлове [Орлов 1963: 353–355].

¹⁷⁸ По данным биографического справочника, Орлов «один из основателей тайной преддекабристской организации «Орден русских рыцарей», был близок к членам Союза спасения, член Союза благоденствия (1818, член Коренного совета, участник Московского съезда 1821), руководитель Кишиневской управы тайного общества» [Декабристы 1988: 135].

¹⁷⁹ К. А. Охотников (ок. 1789–1824) — служил в дивизии генерала Орлова в Кишиневе, заведовал ланкастерскими школами после В. Ф. Раевского, привлекался по делу В. Ф. Раевского; уволен со службы 11.11.1822, скончался от чахотки; «член Союза благоденствия (1820), член Кишиневской управы тайного общества» [Декабристы 1988: 136].

Орлов, зачеркнула его в сердце императора. Карьера его в высшем смысле была кончена. Дивизию он рассчитывал получить в Нижнем Новгороде, а получил в Кишиневе — это уже был крах. Но все-таки 16 тысяч штыков — «с этим можно и пошутить», как он писал. Он — единственный из декабристов в 1820 г. имел реальную военную силу. Ради этих штыков он и пожертвовал карьерой. Поэтому равенства между ним и другими декабристами быть не могло. Среди декабристов С. Г. Волконский был, пожалуй, более «военный» человек, но не претендовал на роль вождя, а Орлов мог быть только вождем и в своих глазах, и в глазах современников. Недаром 13 декабря 1825 г. на квартире Рылеева возник безумный план: скакать в Москву и привезти Орлова. Орлов был человек очень театральный, он был в значительной мере более политик, чем военный.

Итак, Орлов — сын младшего екатерининского Орлова, Федора. Он был богат, но был выскочкой, а не аристократом. Для выскочек было характерно исключительно элитарное воспитание. Такое воспитание давал пансион аббата Николая. Однако не стоит преувеличивать впечатлений от этого пансиона. Орлов оказался в свите П. М. Волконского и сумел занять в Вильно в компании молодых людей особое положение. В первый день войны он получил шпионское задание — поехал с Балашевым к Наполеону с письмом Александра I и должен был считать французские полки, вступать в разговоры и выяснять направление движения войск¹⁸⁰. Эта его миссия не была ясна, пока не было обнаружено донесение Орлова императору Александру. Собственная инициатива исключалась, прямое донесение императору говорит о полученных им инструкциях. Эта поездка Орлова не была бесплодна: стало понятно, что Наполеон не пойдет на Дриссу. Потом Орлов — автор полемической листовки, обращения к французским войскам — ответ на бюллетени Наполеона¹⁸¹. Таким образом, Орлов боролся против Наполеона как публицист, а бюллетени Наполеона — высший памятник французской

¹⁸⁰ В «Записках» А. Н. Муравьева находим довольно подробную информацию об этой поездке: «Пока Балашев ездил к Наполеону, Орлов оставался во французском авангарде под начальством маршала Davoust. Орлову поручено было тайно высмотреть состояние французских войск и разведать о духе их». Далее рассказывается, как во время обеда у маршала Даву Орлов подшучивал над французскими офицерами, «не могущими устоять против остроумия Орлова», а на грозный окрик маршала и его удар по столу сам ударил по столу так, «что затрясся стол и застучали приборы». «Через несколько дней Балашев с Орловым воротились уже в лагерь под Дриссою, где Орлов донес, что вся дорога от Вильно до Дриссы покрыта трупами французских кавалерийских лошадей, насчитанных примерно до 800; таким образом, армия Наполеона еще без боя начала разрушаться от одних переходов, жара и неимения достаточного продовольствия» [Декабристы 1955: 176–177].

¹⁸¹ См.: [Листовки 1962: 128–140].

военной публицистики в этот период. Потом Орлов участвовал в партизанском движении, затем участвовал в капитуляции Парижа — один в сопровождении трубача едет через кордоны во французский штаб — тут и смелость, и дипломатия, и риск жизнью, но опять — не команда серыми шинелями. За эту миссию Орлов получил генерал-майора. Его дипломатия сыграла не последнюю роль в том, что Париж капитулировал без уличных боев. Третий этап Орлова — эмиссар русского правительства в Копенгагене в улаживании конфликта между Норвегией, Швецией и Данией. Тут он предпринял очень рискованный шаг, встав на сторону революционной Норвегии в противовес инструкциям, и уговорил Александра.

В отличие от Орлова, другой лидер — Пестель — не был обаятелен, хотя обладал, казалось, всем качествами вождя: ум, железная воля, ясное сознание цели, определенная беспринципность — их не имели ни Никита Муравьев, ни Рылеев. Рылеев был в политике поэт, а не борец. Успеха он не мог принести, как и А. А. Бестужев (Марлинский). Пестель не случайно искал около себя фигуру (та же трагедия была у Чернышевского — он понимал, что раздражает людей). Орлову не надо было искать фигуру — он сам ею был. Он соединил в себе всё и был готов к огромной политической карьере.

Павел Иванович Пестель

Уже М. В. Довнар-Запольский, В. И. Семевский, Н. П. Павлов-Сильванский, Н. М. Дружинин уделили Пестелю внимание в своих работах. Опубликовано дело Пестеля и «Русская правда», хотя архив его не опубликован. Писем сохранилось немного, но они не сведены воедино. Однако до сих пор мы не имели ни одной синтетической работы о Пестеле. Это не случайно, ибо верхний пласт уже снят, а рассмотрение глубинного пласта требует пересмотра некоторых основных положений о декабризме¹⁸².

Отношения Пестеля и его современников сложны, что напоминает отношения современников к М. Орлову, хотя люди они были совершенно разные. Пестель возбуждал опасения товарищей, и в письмах сквозит недоверие к нему — вплоть до миссий Трубецкого, Н. Муравьева контролировать его. Пестель же пытался обойти своих коллег по Северному обществу, даже основал крыло Южного общества в Петербурге помимо Северного общества. Пестель вел сложную работу в самом Северном обществе. Когда в 1824 г. он приехал в Петербург, Северное общество оказалось накануне развала.

¹⁸² Это не первое обращение к фигуре Пестеля в спецкурсе, см. выше, там же комментарии.

Пестель очень повлиял на Рылеева и вообще пытался выдвинуть молодую группу Северного общества.

Отзывы о Пестеле единодушно признают его исключительную роль. Все характеристики всегда начинались с указания на его выдающийся ум, его красноречие (хотя трибуном он не был), его образование. Пестель получил, в основном, домашнее воспитание. Отец его был почт-директором и основателем перлюстрации в России, а затем — наместником в Сибири. К матери Пестель был привязан и был почтительным сыном. Немецкая обстановка в семье (мать — саксонка), жил он в Петербурге и в Дрездене, домашний язык — немецкий. Поступил в Пажеский корпус и кончил блестяще (он органически не мог быть не первым) и получил назначение в действующую армию. За Бородино получил золотую шпагу «За храбрость». Участвовал в zahraniчном походе. После возвращения слушал частные лекции профессора Германа (см. работу Сыроечковского на эту тему¹⁸³). Тогда же он вступил в тайное общество. Принят он был М. Новиковым. По его свидетельству, он сам пришел к либеральным убеждениям, ибо это было в духе эпохи. Особенно он подчеркнул для себя эпоху Реставрации, ибо тут он переменил свое отношение к Французской революции. Он всегда полагал Французскую революцию заблуждением, но после Реставрации увидел, что революционные преобразования остались в силе, и понял их истину. Революция — зло, но она принесла благие плоды (так думали многие, например, Вяземский). Но позиция Пестеля была уникальна не этим. Пестель на фоне декабристов-практиков выглядит странно — он все время пишет. До нас дошло мало из его огромного наследия, а его колоссальная библиотека вообще не дошла. Казалось бы, он — книжник. Но ведь он воевал, ездил с полком, в 1821 г. ездил со странной миссией к гетеристам (здесь вступает загадочная тема «Пушкин и Пестель»¹⁸⁴).

Политическая программа Пестеля изложена в «Русской правде», хотя она и является тактическим документом. Она была задумана как документ, который соединит разномыслящих, хотя и на радикальной основе. Пестель разработал две программы будущего правления: монархического и республиканского, причем успел лучше разработать монархическое, как сам говорил. Он разграничил:

¹⁸³ См.: [Сыроечковский 1969].

¹⁸⁴ См. записи о нем в кишиневском дневнике Пушкина от 9 апреля 1821 и в дневниковой записи 24 ноября 1833 г.

самодержавие	самовастие
вельможедержавие	вельможевластие
народодержавие	народовластие
+	–

Что будет в конечном итоге в России: самодержавие, вельможедержавие или народодержавие — его не волновало. Лично он придерживался республиканского образа правления. Но существеннее для Пестеля другое — уничтожение царской семьи. Эта жестокость уже проскальзывает в первом доносе Майбороды, который очень тесно общался с Пестелем (ибо Пестель вытаскивал Майбороду, когда тот совершил уголовное преступление¹⁸⁵). Донос Майбороды важен тем, что он слышал «словечки», которые не попадают в исторические документы. Пестель настаивал на уничтожении **всей** царской семьи, невзирая на личности (это связано с его отношением к Французской революции). Этот вопрос не играл для декабристов решающей роли, его выпятило следствие. Это ясно из того, что убийство поручили Лунину и забыли его об этом предупредить! Для Пестеля важнее, что после революции не наступит демократия, а наступит директория из трех директоров. Они проведут длительную программу реформ: освобождение крестьян и наделение их землей, для этого нужно изъять половину земли у помещиков в государственный фонд. Каждого гражданина России он мыслил как земледельца и полагал, что он должен иметь минимальный участок земли; власть должна быть постепенно изъята у помещиков. Далее — реформа армии. Все это создаст предпосылку парламентского правления, хотя и при нем директора будут иметь силу. Вообще директория — хотя и переходный период, но его длительность не оговорена. С этим связан для Пестеля и важный вопрос о централизации. Никита Муравьев разработал систему федеративного правления: столица перенесена в Нижний Новгород, и государство ведет мирную внешнюю политику. Пестель хотел создать строго централизованное государство со столицей в Москве. Национальная политика очень его занимала. Он выделил поляков и финнов как способных к самостоятельному бытию, а других хотел централизовать и русифицировать. Одновременно — агрессивная внешняя политика, наподобие войн Наполеона.

¹⁸⁵ Капитан Вятского пехотного полка Аркадий Иванович Майборода, совершивший еще в 1820 г. растрату полковых денег, из-за чего был вынужден перейти из гвардии в армию, несмотря на это, был продвигнут Пестелем по службе и в 1824 г. принят в Южное общество. В 1825 г. в Вятском полку также совершил растрату и присвоил солдатские деньги. Стараясь замаять преступление, написал в ноябре 1825 г. донос на Пестеля и затем на следствии дал подробные показания против декабристов.

Наполеон воспринимался как император реалистов. Почему же именно Наполеон был реалистом? Для Пестеля это было психологически очень важно. Деятели Французской революции очень его привлекали: Сен-Жюст, в первую очередь (великий перелом в революционной войне совершился благодаря Сен-Жюсту). Но эти фигуры представлялись как мечтатели, чье поражение предостерегало. Декабристы боялись не террора (они видели много крови на полях сражений), кровь и война были поэтичны для них. Революция оказалась мечтанием, т. е. несостоятельным призраком, она не победила, а победила военная власть, реальность. Идея заключалась в том, что правда неотделима от власти и силы. Политика состояла в том, чтобы ставить не на идеальных, а на реальных людей. Робеспьер как последователь философии XVIII в. считал, что люди переродятся в минуту переворота. Он строил свою политику на добродетельных людях (остальных он отправлял на гильотину). Наполеон рассчитывал на реальных порочных людей, эгоистов. Порочные люди нуждаются в диктаторе.

Этот вопрос был очень важен для Пушкина. В 1823 г. в его сознании происходит раздвоение положительного идеала: энтузиаст и скептик, оба они свободолюбцы во второй главе «Евгения Онегина». Умный человек презирает людей и уважает энтузиастов, хотя не разделяет их убеждений. Про Пестеля Пушкин писал: «умный человек во всем смысле этого слова».

Для Пестеля такое состояние и убеждение не было легким. Он отступил от главного завета «Зеленой книги» — принял в общество мерзавца Майборода, хотя основное правило состояло в том, что член общества должен быть добродетелен. Пестель считал, что не только добродетельные люди нужны движению, но нужны и порочные.

Около 1824 г. Пестель пережил душевный кризис, хотел уйти в монастырь или покончить с собой после революции, хотя раньше было решено, что он будет первым директором. На следствии, когда он уже все про себя сказал, он прибавил, что к 1825 г. он уже видел вещи в другом свете, но было поздно отступать.

Изагая «Русскую правду», мы не получаем ни человеческого облика Пестеля, ни его политических взглядов. Он сказал Пушкину по-французски: «сердцем я материалист, но мой разум этому противится...»¹⁸⁶. Это не случайная оговорка, а ключ к этой загадочной и глубоко трагической фигуре. В крепости он смог переломить позицию протоиерея П. Мысловского, который оставил полные любви строки о Пестеле¹⁸⁷. Он производил впечатление

¹⁸⁶ Запись от 9 апреля 1821 г. [Пушкин. Дневники 1978: 16].

¹⁸⁷ См.: [Декабристы в воспоминаниях 1988: 308–310].

сухаря и педанта, бюрократа, но это — верхний слой, попытка снять хаос и разномыслие, внести организацию.

Совершенно неожиданным был конец Пестеля. Его колебания выразились здесь ясно. Он знал о доносе на него и знал, что сможет что-то сделать, пока он с полком. Но он не поднял полка на восстание, а сел в коляску и поехал в штаб, чтобы его там арестовали. Это не случайно — Пестель, который казался скалой, на самом деле был двойственным человеком, потерявшим волю к действию до его начала.

В истории декабризма сделано очень много, но еще слишком мало. Мы не знаем роли декабристов в истории России. Интересно отрицательное отношение революционных демократов к декабризму. Белинский боролся с Марлинским и отрицательно относился к политической лирике Пушкина, а Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» проигнорировал декабризм. В этом большое расхождение их с Герценом, который ближе к Л. Толстому. Достоевский сложно относился к декабристам.

Необходим анализ культурно-исторического типа и исторически-нереализованных возможностей.

Литература

Алексеевский 1914: *Алексеевский Б.* Неверовский Дмитрий Петрович // Русский биографический словарь. СПб., 1914. Т. 11: Нааке-Накенский – Николай Николаевич.

Арсеньев 2005: *Арсеньев В. С.* Воспоминания. Дневник. Материалы семейного архива. Генеалогия рода Арсеньевых / Предисл., сост., подгот. текста и коммент. А. И. Серкова, М. В. Рейзина. СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова, 2005.

Архив братьев Тургеневых 2017: Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева / Отв. ред. М. Ю. Коренева. СПб.: Нестор-История, 2017 (Архив братьев Тургеневых; вып. 7).

Белинский 1955: *Белинский В. Г.* Речь о критике. А. Никитенко. [Статья III] // Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1955. Т. VI.

Бенкендорф 2012: *Бенкендорф А. Х.* Воспоминания. 1802–1837 / Публ. М. В. Сидоровой и А. А. Литвина; пер. с фр. О. В. Маринина. М., 2012.

Бунин 1956: *Бунин И. А.* Собрание сочинений: В 5 т. М.: Правда, 1956. Т. 5.

Бухштаб 1966: *Бухштаб Б. Я.* Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М., 1966.

ВЕ: Вестник Европы.

Вернадский 1925: *Вернадский Г. В.* Два подвига св. Александра Невского // Евразийский вестник. Прага, 1925. Кн. 4. С. 318–337 <http://gumilevica.kulichki.net/VGV/>

Вернадский 1925a: *Вернадский Г. В.* Государственная уставная грамота Российской империи 1820 года: Историко-юридический очерк. Прага, 1925.

Веселовский 1963: *Веселовский С. Б.* Исследования по истории опричнины. М.: Изд-во АН СССР, 1963.

Волконский 1902: Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста) / С послесловием М. С. Волконского. СПб., 1902. Изд. 2-е., исправ. и доп.

Гачев 1964: *Гачев Г. Д.* Ускоренное развитие литературы (на материале болгарской литературы первой половины XIX века). М.: Наука, 1964.

Глинка Ф. 1985: *Глинка Ф. Н.* Мои воспоминания о Карамзине // Глинка Ф. Н. Письма русского офицера: Проза. Публицистика. Поэзия. Статьи. Письма / Сост., вступ. ст., коммент. С. Серкова и Ю. Удерева. М., 1985.

Гордин 2022: *Гордин Я.* Миф о «непотребном сыне» и реальная жизнь царевича Алексея Петровича // Звезда. 2022. № 6.

Греч 1930: *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.; Л.: Academia, 1930.

Грумм-Гржимайло, Сорокин 1963: *Грумм-Гржимайло А. Г., Сорокин В. В.* «Общество громкого смеха»: К истории «Вольных обществ» Союза благоденствия // Декабристы в Москве. М., 1963.

Гуковский 1957: *Гуковский Г. А.* Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: ГИХЛ, 1957.

Гуковский 1965: *Гуковский Г. А.* Пушкин и русские романтики. М., 1965.

Гумилев 1970: *Гумилев Л. Н.* Поиски вымышленного царства: (Легенда о «Государстве 'пре-свитера Иоанна'»). М.: Наука, 1970.

Декабристы 1988: *Декабристы: Биографический справочник* / Сост. С. В. Мироненко. М.: Наука, 1988.

Декабристы 1955: *Декабристы: Новые материалы* / Под ред. М. К. Азадовского. М., 1955 (Труды рукописного отдела Государственной библиотеки им. Ленина).

Декабристы в воспоминаниях 1988: *Декабристы в воспоминаниях современников* / Сост., общая ред., вступ. ст. и коммент. проф. В. А. Федорова. М.: МГУ, 1988.

Декабристы в Сибири 1973: *Своей судьбой гордимся мы: Декабристы в Сибири* / [Сост. и авт. предисл. М. Сергеев]. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973.

Дружинин 1929: *Дружинин Н. М.* Массонские знаки П. И. Пестеля. М., 1929.

Дружинин 1985: *Дружинин Н. М.* К истории идейных исканий П. И. Пестеля // Дружинин Н. М. Избранные труды: Революционное движение в России в XIX в. М.: Наука, 1985. С. 305–329.

Вяземский 1883: *Вяземский П. А.* Старая записная книжка // Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. СПб., 1883. Т. VIII.

Жихарев 1989: *Жихарев С. П.* Записки современника. Л., 1989. Т. 1–2.

Исповедь Шервуда 1896: *Исповедь Шервуда-Верного* / Вступ. ст. и публ. Н. К. Шильдера // Исторический вестник. 1896. Т. 63. № 1.

Карамзин 1862: [*Карамзин Н. М.*] Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина. Ч. 1. СПб., 1862.

Карамзин 1966: *Карамзин Н. М.* Полное собрание стихотворений / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Ю. М. Лотмана. М.; Л., 1966.

Карамзин 1984: *Карамзин Н. М.* Сочинения: В 2 т. Л., 1984. Т. 2.

Киреевский 1979: *Киреевский И. В.* Деятельный век // Киреевский И. В. Критика и эстетика / Сост., вступ. ст. и примеч. Ю. В. Манна. М.: Искусство, 1979.

Киселев 2005: *Киселев Н. П.* Из истории русского розенкрейцерства / Сост., подгот. текста и коммент. М. В. Рейзина, А. И. Серкова. СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова, 2005.

Ключевский 1989: *Ключевский В. О.* Лекция LXVIII // Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1989. Т. IV.

Княжнин 1916: *Княжнин В. Н.* Аполлон Григорьев — поэт // Русская мысль. 1916. № 5.

Кобеко 1882: *Кобеко Д. Ф.* Цесаревич Павел Петрович (1754–1796): Историческое исследование. СПб., 1882.

Колесников 1914: *Колесников В. П.* Записки несчастного, содержащие путешествие в Сибирь по канату. СПб., 1914.

Короленко 1911: *Короленко В. Г.* Легенда о царе и декабристе // Русское богатство. 1911. № 2. С. 113–140.

ЛН 1954–56: Литературное наследство. Том 59–60: Декабристы-литераторы. М.: Изд-во АН СССР, 1954–1956.

Лейбман 1999: *Лейбман О. Я.* Макаров Петр Иванович // Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 1999. Вып. 2. К–П.

Листовки 1962: Листовки Отечественной войны 1812 года: Сборник документов. М., 1962.

Лотман 1949: *Лотман Ю. М.* «Краткие наставления русским рыцарям» М. А. Дмитриева-Мамонова: (Неизвестный памятник агитационной публицистики раннего декабризма) // Вестник Ленинградского университета. 1949. № 7. С. 133–147.

Лотман 1958: *Лотман Ю. М.* Андрей Сергеевич Кайсаров и общественно-литературная борьба его времени // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Тарту, 1958. Вып. 63.

Лотман 1958а: *Лотман Ю. М. А. Ф.* Мерзляков как поэт // Мерзляков А. Ф. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1958.

Лотман 1958б: *Лотман Ю. М.* Радищев и Мабли // XVIII век. Сб. 3. М.; Л., 1958. С. 276–308.

Лотман 1959: *Лотман Ю. М.* Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1959. Вып. 78. С. 19–92. (Труды по русской и славянской филологии. [Т.] 2.).

Лотман 1960: *Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1960. Вып. 98. С. 3–23. (Труды по русской и славянской филологии. [Т.] 3.).*

Лотман 1962: *Лотман Ю. М. Восприятие идей Руссо в русской литературе конца XVIII – начала XIX века // Тезисы конференции, посвящ. 250-летию со дня рождения Ж.-Ж. Руссо: 1712–1962, 16–18 июня 1962 г. Одесса, 1962. С. 78–80.*

Лотман 1962а: *Лотман Ю. М. Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819–1822) // Пушкин и его время. Л., 1962. Вып. 1. С. 45–66.*

Лотман 1962б: *Лотман Ю. М. «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII – начала XIX в. // «Слово о полку Игореве» — памятник XII века: [Сборник статей]. М.; Л., 1962.*

Лотман 1963: *Лотман Ю. М. «Сочувственник» А. Н. Радищева А. М. Кутузов и его письма к И. П. Тургеневу / Вступ. ст. Ю. М. Лотмана // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1963. Вып. 139. С. 281–297. (Труды по русской и славянской филологии. [Т.] 6.).*

Лотман 1963а: *Лотман Ю. М. Тарутинский период Отечественной войны 1812 года и развитие русской общественной мысли // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1963. Вып. 139. С. 8–19. (Труды по русской и славянской филологии. [Т.] 6.).*

Лотман 1965: *Лотман Ю. М. Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII века // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1965. Вып. 167. С. 3–32. (Труды по русской и славянской филологии. [Т.] 8: Литературоведение.).*

Лотман 1967: *Лотман Ю. М. Об оппозиции «честь – слава» в светских текстах Киевского периода // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1967. Вып. 198. С. 100–112 (Труды по знаковым системам. [Т.] 3.).*

Лотман 1967: *Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII века // Эпоха Просвещения: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1967. С. 208–281.*

Лотман 1970: *Лотман Ю. М. О семиотике понятий «стыд» и «страх» в механизме культуры // Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. 17–24 авг. 1970 г. Тарту, 1970. С. 98–101.*

Лотман 1971: *Лотман Ю. М. Еще раз о понятиях «слава» и «честь» в текстах Киевского периода // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1971. Вып. 284. С. 469–474 (Труды по знаковым системам. [Т.] 5.).*

Лотман 1971а: *Лотман Ю. М. Поэзия 1790–1810-х годов // Поэты 1790–1810-х годов. Л., 1971.*

Лотман 1973: *Лотман Ю. М. Николай Иванович Мордовченко: Заметки о творческой индивидуальности ученого // Историографический сборник. Саратов, 1973. № 1 (4). С. 205–213.*

Лотман 1975: *Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов: [Сборник статей]. Л., 1975. С. 25–74.*

Лотман 1975а: *Лотман Ю. М. О Хлестакове // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1975. Вып. 369. С. 19–53 (Труды по русской и славянской филологии. [Т.] 26: Литературоведение.).*

Лотман 1976: *Лотман Ю. М.* Бытовое поведение и типология культуры в России XVIII в. // Культурное наследие древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976.

Лотман 1985: *Лотман Ю. М.* «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII в. // Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985. С. 222–230.

Лотман, Погосян 1996: *Лотман Ю. М., Погосян Е. А.* Великосветские обеды. СПб., 1996.

Лотман, Успенский 1974: *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* К семиотической типологии русской культуры XVIII века // Художественная культура XVIII века: Материалы науч. конф. (1973). М., 1974. С. 259–282.

Лотман, Успенский 1975: *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры: («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва) / Публ., вступ. ст. и коммент. // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1975. Вып. 358. С. 168–322. (Труды по русской и славянской филологии. [Т.] 24: Литературоведение.)

Лотман, Успенский 1977: *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Роль дуальных моделей в динамике русской культуры: (до конца XVIII века) // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1977. Вып. 414. С. 3–36. (Тр. по рус. и славян. филологии. [Т.] 28.)

Лотман 1994: *Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994.

Лотман 2001: *Лотман Ю. М.* Новые материалы о начальном периоде знакомства с Шиллером в русской литературе // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. IV (Новая серия). Тарту, 2001. С. 9–51.

Лотман 2003: *Лотман Ю. М.* Воспитание души. СПб., 2003.

Лотман 2022: Спецкурсы Ю. М. Лотмана по творчеству Н. М. Карамзина. Неавторизованные конспекты лекций, прочитанных в Тартуском университете / Вступ. заметка, публ. и коммент. Л. Киселевой // К 100-летию Ю. М. Лотмана: Acta Slavica Estonica, XIV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, XI. Тарту, 2022. С. 363–544.

Лотман 2022а: Дополнения к конспекту спецкурса Ю. М. Лотмана «Творчество Н. М. Карамзина», прочитанного в Тартуском университете в 1970/71 учебном году // Acta Slavica Estonica XV: Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia, XVIII: Опыт и небывалое в литературе и культуре. Тарту, 2022.

Лотманы. Переписка 2022: Из семейной переписки Лотманов. Переписка Лидии Михайловны Лотман и Юрия Михайловича Лотмана (1950–1993) // Acta Slavica Estonica, XIV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, XI. Тарту, 2022.

Лунин 1988: *Лунин М. С.* Письма из Сибири / Изд. подгот. И. А. Желвакова, Н. Я. Эйдельман. М., 1988 (сер. «Литературные памятники»).

Мироненко 1989: *Мироненко С. В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX века. М.: Наука, 1989.

ММ 1803: Московский Меркурий. 1803.

- Муравьев А. Н. 1986: *Муравьев А. Н. Сочинения и письма*. Иркутск, 1986.
- Орлов 1963: *Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа: Политические сочинения. Письма* / Изд. подгот. С. Я. Боровой и М. И. Гиллельсон. М., 1963.
- Павленко 1989: *Павленко Н. И. Фавориты* // Павленко Н. И. Екатерина Великая. М., 2003.
- Парсамов 2001: *Парсамов В. С. Декабристы и французский либерализм*. М., 2001.
- Парсамов 2010: *Парсамов В. С. Декабристы и Франция*. М., 2010.
- Парсамов 2016: *Парсамов В. С. Декабристы и русское общество 1814–1825 гг.* М., 2016.
- Парсамов 2016а: *Парсамов В. С. Об одном непрочитанном спецкурсе Ю. М. Лотмана («Эпоха декабристов»)* // Новое литературное обозрение. 2016. № 3 (139).
- Переписка Карамзина с Лафатером 1984: *Переписка Карамзина с Лафатером 1786–1790* / Подгот. текста Ю. М. Лотмана // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984.
- Петров 1924: *Петров А. В. Царевич Алексей Петрович в его выписках из Барония* // Историко-литературный сборник Посвящается Всеволоду Измайловичу Срезневскому, 1891–1916. Л., 1924.
- Письма Катенина 1911: *Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину (Материалы для истории русской литературы 20-х и 30-х годов XIX века)*. СПб., 1911.
- Письма Карамзина 1866: *Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву*. СПб., 1866.
- Полевой 1934: *Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов* / Ред., вступ. ст. и коммент. В. Н. Орлова. Изд-во писателей в Ленинграде, 1934.
- Полоцкий 1953: *Полоцкий Симеон. Дѣлати* // Полоцкий Симеон. Избранные сочинения / Подгот. текста и коммент. И. П. Еремина. М.; Л., 1953.
- Поэты 1971: *Поэты 1790–1810-х годов* / Сост. Ю. М. Лотман. Л.: Советский писатель, 1971.
- Предтеченский 1957: *Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века*. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1957.
- Против Покровского: *Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского: Сб. ст.: В 2 т. / Акад. наук СССР. Ин-т истории. Ред.: Б. Греков, Ем. Ярославский, С. Бушуев. М., Л.: Акад. наук СССР, 1939–1940.*
- Пушкин 1978: *Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1978. Т. 7.*
- Пушкин. Дневники 1978: *Пушкин А. С. Дневники* // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 8. Л., 1978.
- Раевский 1934: *Раевский В. Ф. «Вечер в Кишиневе»: (Из бумаг «первого декабриста» В. Ф. Раевского)* / Публ. Ю. Г. Оксмана // Литературное наследство. М., 1934. Т. 16/18. С. 657–666.
- Рогинский 1972: *Рогинский А. Б. О возможных истоках некоторых слухов вокруг имени декабриста Новикова* // *Quinquagenario*. Сборник статей молодых филологов к 50-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1972. С. 109–121.

Русская эпиграмма 1975: Русская эпиграмма второй половины XVII – начала XX в. / Вступ. ст. Л. Ф. Ершова, сост., подгот. текста и примеч. В. Е. Васильева, М. И. Гиллельсона, Н. Г. Захаренко. Л., 1975.

Сафонов 1993: *Сафонов М. М.* Суворов и оппозиция Павлу I // Вопросы истории. 1993. № 4. С. 127–134.

Сводный каталог 2006: Сводный каталог сериальных изданий России (1801–1825). СПб., 2006. Т. 3: Журналы (З–М). С росписью содержания.

Серков 2000: *Серков А. И.* История русского масонства XIX века. СПб., 2000.

Серков 2001: *Серков А. И.* Русское масонство. 1731–2000. Энциклопедический словарь. М., РОССПЭН, 2001.

Скоробогатов 2005: *Скоробогатов А. В.* Цесаревич Павел Петрович: политический дискурс и социальная практика. М.: РГГУ, 2005.

Снытко 1952: *Снытко Т. Г.* Новые материалы по истории общественного движения кон. XVIII в. // Вопросы истории. 1952. № 9. С. 111–122.

Станкевич 2008: *Станкевич Н. В.* Избранное. Воронеж, 2008.

Статейный список 1954: Статейный список И. М. Воронцова (Швеция) // Путешествия русских послов XVI–XVII вв. Статейные списки. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 7–62 (серия Литературные памятники).

Степанов В. 1999: *Степанов В. П.* Копьев (Копиев) Алексей Данилович // Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 1999. Вып. 2 (К–П).

Сыроечковский 1969: *Сыроечковский Б. Е.* П. И. Пестель и К. Ф. Герман (К вопросу о ранних политических взглядах Пестеля) // Сыроечковский Б. Е. Из истории движения декабристов. М., 1969.

Тартаковский 1996: *Тартаковский А. Г.* Неразгаданный Барклай: Легенды и быль 1812 года. М., 1996.

Томашевский 1956: *Томашевский Б. В.* Пушкин: Книга первая (1813–1824). М.; Л., 1956.

Трефолев 1883: *Трефолев Л. Н.* Предсмертное завещание русского атеиста // Исторический вестник. 1883. № 1.

Троцкий 1931: *Троцкий И. М.* Жизнь Шервуда-Верного: (Очерки и материалы). М.: Изд-во Всесоюз. о-ва полит. каторжан и ссыльнопоселенцев, 1931.

Троцкий 1990: *Троцкий И. М.* Жизнь Шервуда-Верного // Троцкий И. М. III-е отделение при Николае I. Жизнь Шервуда-Верного. Л., 1990.

Трубецкой 1906: Записки князя С. П. Трубецкого: издание его дочерей / [Авт. предисл. З. С. Свербеева]. СПб., 1906.

Тургенев А. 1964: *Тургенев А. И.* Хроника русского. Дневники (1825–1826 гг.). М.; Л., 1964 (Серия «Литературные памятники»).

Тургенев А. М.: Записки Александра Михайловича Тургенева. 1772–1863 // Публ., вступл. А. С. Сомова // РС (Русская старина). 1885. Т. 47. № 9. Т. 48 № 10–12; 1886. № 1, 10–11; 1887. № 1–2; 1889. № 2, 4; 1895. № 5–7; 1897. № 1.

Тургенев Н. 1936: Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936.

Тургенев Н. 2001: *Тургенев Николай*. Россия и русские / Пер. с франц. и ст. С. В. Житомирской, коммент. А. Р. Курилкина. М.: ОГИ, 2001.

Тургенев С. 2022: *Тургенев С. И.* Поездка в Голландию в 1811 году. СПб., 2022.

1812 год: 1812 год... Военные дневники / Сост., вступ. ст. А. Г. Тартаковского. М.: Сов. Россия, 1990 (Русские дневники).

Уварова 1994: *Уварова С. В.* Макаров Петр Иванович // Русские писатели, 1800–1917. М., 1994. Т. 3: К–М.

Указатель 1960: Движение декабристов: указатель литературы, 1928–1959 / Гос. публ. ист. б-ка РСФСР, Всесоюз. гос. б-ка иностр. лит.; сост. Р. Г. Эймонтова при участии А. А. Солениковой; под общ. ред. М. В. Нечкиной. М., 1960.

Устрялов 1959: *Устрялов Н. Г.* История царствования Петра Великого. Т. VI: Царевич Алексей Петрович. СПб., 1859.

Харкевич 1903: *Харкевич В. И.* 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Вып. 2. Вильно, 1903.

Фонвизин 1959: *Фонвизин Д. И.* Рассуждение о непременных государственных законах // Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1959. Т. 2.

Ченцов 1929: Восстание декабристов. Библиография / Сост. Н. М. Ченцов, под ред. Н. К. Пиксанова. М.; Л., 1929.

14 декабря 1825 года: 14 декабря 1825 года и его истолкователи (Герцен и Огарев против барона Корфа) / Изд. подгот. Е. Л. Рудницкой, А. Г. Тартаковским. М.: Наука, 1994.

Чернов 1935: *Чернов С. Н.* М. В. Ломоносов в одах 1762 г. // XVIII век: Сборник статей и материалов / Под ред. акад. А. С. Орлова. М.; Л., 1935.

Шебунин 1936: *Шебунин А. Н.* Пушкин и «Общество Елизаветы» // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Т. 1.

Шиллер 1936: *Шиллер И. Х. Ф.* Собрание сочинений: В 8 т. / Под общей ред. Ф. П. Шиллера. М.; Л.: Academia, 1936. Т. IV.

Шильдер 1905: *Шильдер Н. К.* Император Александр I: его жизнь и царствование. СПб., 1905. Т. 4.

Щеголев 1919: *Щеголев П. Е.* Николай I и декабристы: Очерки. Пг.: Былое, 1919.

Шишкин 1999: *Шишкин А. Б.* Костров Ермил Иванович // Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 1999. Вып. 2 (К–П).

Эдельман 2022: *Эдельман О. В.* Павел Пестель: Очерки. С приложением «Русской Правды» П. И. Пестеля. М., 2022.

Эйдельман 1970: *Эйдельман Н. Я.* Лунин. М., 1970.

Юркевич 2007: *Юркевич Е.* Военный Петербург эпохи Павла I. М.; СПб., 2007.

Якубовский 1968: Карлик фаворита. История жизни Ивана Андреевича Якубовского, карлика светлейшего князя Платона Александровича Зубова, писанная им самим. München, 1968.

Якушкин 1951: Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина / Ред. и коммент. С. Я. Штрайха. М., 1951 (сер. «Литературные памятники»).

СТАТЬЯ З. Г. МИНЦ О РОМАНЕ ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»

Вступительная заметка, публикация, обратный перевод
статьи с эстонского ЛЕА ПИЛЬД

Послесловие З. Г. Минц к эстонскому переводу романа Достоевского «Идиот» (1869) было написано по заказу издательства „Eesti Raamat“ / «Ээсти Раамат» и опубликовано по-эстонски в 1975 г. Из-за отсутствия оригинала эта важная статья публикуется в обратном переводе. В центре внимания З. Минц находится «концепция человека» и ее эволюция у Достоевского. Наиболее подробно исследуется «христианская идея» главного героя романа, князя Мышкина. Заслуживающими внимания мыслями применительно к роману «Идиот» являются и указание на важность мифологического пласта в романе, представленного многочисленными цитатами из Нового Завета, а также полемика с концепцией М. М. Бахтина, проигнорировавшего тенденциозность зрелых и поздних романов Достоевского.

Ключевые слова: Зара Минц, Достоевский, «Идиот», христианская идея, эволюция концепции человека.

Zara Minz' article on Dostoevsky's novel "The Idiot". Published by Lea Pild

Afterword by Zara Minz for the Estonian translation of Dostoevsky's novel "The Idiot" (1869) was commissioned by the publishing house "Eesti Raamat" and published in Estonian in 1975. As the original has gone missing, this important article is published in reverse translation. Z. Minz focuses on the "concept of man" and its evolution in Dostoevsky. The "Christian idea" of the main character of the novel, Prince Myshkin, is studied in most detail. Indications to the importance of the mythological layer in the novel, represented by numerous quotations from the New Testament, as well as the polemic with the concept of M. M. Bakhtin, who ignored the tendentiousness of Dostoevsky's later novels, are also noteworthy thoughts in relation to the novel "The Idiot".

Keywords: Zara Minz, Dostoyevsky, "The Idiot", Christian idea, evolution of the concept of man.

Сопроводительная статья З. Г. Минц „F. Dostojevski ja tema roman „Idioot““ к эстонскому переводу романа Достоевского «Идиот» (1869) была написана по заказу издательства „Eesti Raamat“ / «Ээсти Раамат» и опубликована в 1975 году. Хронологически она следует за статьей автора «Блок и Досто-

евский», напечатанной в 1971 г.¹ и главой под таким же названием в ее докторской диссертации². В настоящей статье, помимо анализа романа «Идиот», дается характеристика творческой эволюции Достоевского, начиная с его ранних произведений 1840-х гг. и заканчивая поздними романами. В центре внимания З. Г. Минц находится «концепция человека» и ее эволюция у Достоевского. Другой важной целью статьи становится сравнение поэтики и идеологической позиции Достоевского с «картиной мира» литераторов «натуральной школы» и позднейшими продолжателями ее эстетических принципов (Чернышевский, Некрасов и др.). Как полагает З. Г. Минц, «концепция человека» у раннего Достоевского в целом не отличается от концепции русских утопических социалистов³, т. е. он так же, как и некоторые другие петрашевцы, верит в исконную доброту человека и порицает искажающее влияние «среды». Тем не менее, Достоевский противопоставляется другим литераторам «натуральной школы» своей способностью вместить в социальную повесть 1840-х гг. иные пласты литературной традиции (романтизм и эпистолярный роман XVIII в.).

В годы каторги в мировоззрении Достоевского происходит перелом, он перестает верить в «доброе от природы человека» и, наблюдая за поведением каторжников, приходит к выводу о сложности человеческой природы. Писатель убеждается в том, что идея «бунта» принадлежит образованным дворянам, но она чужда уголовным преступникам «из народа» и людям, отбывающим каторгу за «неправильную» форму веры. Это противопоставление Достоевский проецирует на всю Российскую империю, усматривая в «простом народе» носителей таких исконных свойств, как религиозность и смирение.

После изменения взглядов Достоевский во многом отдаляется от «русской демократической культуры» (в частности, от позиции Чернышевского, так как не разделяет мысль о необходимости крестьянской революции) и отрицает «антропологическую этику» русских радикально настроенных литераторов, противопоставляя ей «теократическую» идею. Под «сложностью

¹ Минц З. Блок и Достоевский // Достоевский и его время. Л., 1971.

² Минц З. Блок и Достоевский // Минц З. Александр Блок и русская реалистическая литература XIX века / Дисс. на соискание степени доктора филолог. н. Тарту, 1972.

³ В 1920-е гг. появились работы Василия Комаровича, который указывал на то, что Достоевский был религиозен и верил в христианскую идею уже в 1840-е гг., и это отличало его от большинства петрашевцев. См., напр.: Комарович В. Мировая гармония Достоевского // Атеней: Историко-литературный временник. 1924. № 1–2. С. 112–142.

и противоречивостью»⁴ внутреннего мира героев Достоевского Минц понимает иррациональность их поведения, противопоставленную логике и рас- судку. Наиболее подробно в статье анализируется этическая позиция главного героя романа «Идиот» князя Мышкина. Важнейшим итогом этого анализа становится мысль о том, что доброта не является имманентным свойством души, а приходит к человеку «извне»⁵. Такой взгляд подразумевает полемику с концепцией человека у Чернышевского и отчасти с собственной позицией писателя 1840-х гг., поскольку теперь под внешним влиянием подразумевается не «среда», а христианская идея. Доброта, приходящая к человеку «извне», связана с поведением евангельского Христа, Его самопожертвованием с целью искупить грехи человечества и каждого отдельного человека. Князь Мышкин (или «князь-Христос», как называл его Достоевский в черновиках к роману) относится ко всем людям одинаково, не замечая социальной иерархии и различий в проявлениях человечности. Значимой для времени публикации статьи представляется также идея З. Г. Минц о том, что Мышкин не разделяет личные (интимные) отношения людей и отношения общественные, так как для него личные отношения «и есть общественные». Безусловно, здесь имеется в виду представление Достоевского о необходимости подчинения государства церкви и превращении России в теократическое государство («теократическая идея»), которому должно предшествовать кардинальное изменение всех людей. Заметим, что З. Г. Минц исследует роман «Идиот» безоценочно, не обвиняя Достоевского в «реакционных» взглядах, не противопоставляя их «правильному» мировоззрению Чернышевского и других радикально мыслящих литераторов. В советских работах о Достоевском это достаточно редкое явление.

Другой новаторской мыслью применительно к роману «Идиот» является указание на важность в нем мифологического пласта⁶. В статье не проводится дифференциация между библейскими и другими мифами (архаические

⁴ В следующей эстонской статье З. Г. Минц о Достоевском «сложность и противоречивость» внутреннего мира расшифровывается как противостояние сознания и бессознательного в душе персонажей писателя. См. наш обратный перевод статьи „Inimese probleem Dostojevski loomingus“: Минц З. Проблема человека в творчестве Достоевского / Вступительная заметка, публикация и перевод А. Пильд // Acta Slavica Estonica XVI: Slavica Tartuensia XII. Тарту в истории славянской филологии. Вып. 1. Тарту, 2023. С. 113–125.

⁵ Ср. с трактовкой христианской идеи у самого Достоевского, который в статье «Влас» пишет: «Можно очень много знать бессознательно. <... > Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит Его в своем сердце искони» (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. А., 1980. Т. 21. С. 37–38.

⁶ В 1972 году была опубликована работа В. Н. Топорова «О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления (“Преступление и наказание”»).

и античные мифы не упоминаются), но сам библейский пласт в романе именуется мифологическим, представленным у Достоевского преимущественно цитатами из Нового Завета, описывающими не только Христа, но и Марию Магдалину. Эта часть работы З. Г. Минц во многом предвосхищает ее ставшую теперь хрестоматийной статью «О некоторых неомифологических текстах в творчестве русских символистов» (1979), где уже раздельно рассматриваются отсылки к архаическим, античным и библейским мифам.

В рассматриваемой нами статье Достоевский становится своеобразным предшественником литературы модернизма и в другом отношении: З. Г. Минц относит мифологический пласт романа «Идиот» к важнейшему композиционному принципу, позволяющему писателю сжимать пространство текста посредством объяснения одного произведения другими в рамках небольшого фрагмента. «Экономия пространства» стала одним из главных художественных принципов в литературе модернистской эпохи, когда романы уже не были столь объемными произведениями, как во второй половине XIX в. (см., например, произведения Сологуба, Мережковского и Брюсова, где образование символов и мифологические подтексты позволяли сжимать повествование). Наконец, к литературе модернистской эпохи ведет и отмеченная Минц функция романа «Идиот», а также зрелых и поздних других романов Достоевского, куда включена тема «прогнозирования». По мысли З. Г. Минц, финал «Идиота» не следует рассматривать как несчастливый, так как евангельское повествование о Христе, являющееся главным «текстом-шифром» для романа «Идиот», предполагает последующее пришествие Христа к людям. Значима и частичная полемика исследовательницы с концепцией романа Достоевского у М. М. Бахтина. Ссылаясь на третье издание его книги «Проблемы поэтики Достоевского» и в целом соглашаясь, что роман писателя — это полифонический роман, З. Г. Минц уточняет, что «Идиот» — это еще и тенденциозный роман, так как наряду с равноценными «голосами» персонажей в тексте присутствует и авторский полемический голос (монолог князя Мышкина на приеме у Епанчиных, во время которого князь нечаянно разбивает китайскую вазу). Тенденциозность или полемичность, по мысли З. Г. Минц, характеризует и другие поздние романы писателя.

В заключение можно сказать, что в этой статье о Достоевском З. Г. Минц сжато излагает и свою концепцию истории русской литературы второй половины XIX (Достоевский рассматривается на фоне Тургенева, Гончарова, Некрасова, Л. Толстого) и начала XX вв., так как проводятся тематические и структурные параллели из произведений Владимира Соловьева, Горького и др. Статья подготавливает появление упомянутой нами выше работы

З. Г. Минц о Достоевском, которая носит более общий характер, но в ней обращение к внутреннему миру героев сопутствует сосредоточению исследовательницы на образах подсознательного в зрелом и позднем творчестве Достоевского.

Зара Минц. Ф. Достоевский и его роман «Идиот»

Достоевский задумал и начал писать роман «Идиот» осенью 1867 г. и завершил его в январе 1869 г. Уже в 1868 и начале 1869 гг. произведение было опубликовано в журнале «Русский вестник». В пору создания «Идиота» Достоевский был уже известным писателем, автором нескольких романов, повестей и новелл, журналистом и публицистом, за спиной которого был долгий и сложный путь развития.

Он вошел в литературу конца 1840-х гг. зрелым художником, с полностью сложившимся мировоззрением и своим особым жизнепониманием. Повесть «Бедные люди» закрепила за ним репутацию писателя гоголевской школы, демократа, гуманиста и реалиста.

Правда, не все в этой книге умещалось в рамки, характерные для социальной повести 1840-х гг. Некоторые ее черты были связаны с традициями романтизма (ненужная, с точки зрения эстетики «натуральной школы», атмосфера таинственности и загадочности), а некоторые восходили даже к литературе XVIII века; например, сам жанр эпистолярной повести. Справедливо и то, что в последующих произведениях Достоевского 1840-х гг. проявления романтизма еще более усилились, в то время как влияние «натуральной школы» несколько ослабло («Двойник», «Хозяйка» и др.). Но, как и Белинский, который радостно приветствовал повесть «Бедные люди» и холодно отнесся к «Двойнику» и «Хозяйке», так и другие чуткие современники не сомневались, что «подлинный» Достоевский — это писатель «гоголевского направления», изображающий реалистический быт, а все, что не вмещается в рамки этой школы, полагали случайным и преходящим.

Дальнейшее творчество Достоевского в каком-то смысле соответствовало подобного рода ожиданиям критиков и читателей, но все-таки опровергало их в другом отношении. Достоевский действительно стал великим писателем-реалистом, на протяжении всего творчества его волновала проблема тех самых причин человеческих страданий, которая была впервые раскрыта в «Бедных людях». С другой стороны, однако, он создал в высшей степени своеобразный реалистический роман, куда свободно вместились пласты романтической и многих других традиций, и дал ответ на вопрос,

«отчего плачут дети», существенно отличающийся от воззрений русских демократических писателей XIX века. Тем не менее в конце 1840-х гг. и сам Достоевский все еще чувствовал близость к демократической культуре XIX века как основному и определяющему для него направлению. Даже после разрыва отношений с Белинским и «Современником» он не отдалился от демократического лагеря. Напротив, он сблизился с социалистическими кружками и активно посещал их собрания. На обеде у Буташевича-Петрашевского Достоевский читал «Письмо» Белинского к Гоголю, которое было запрещено в России. И когда петрашевцев арестовали и посадили в тюрьму по тайному доносу провокатора, Достоевский разделил их трагическую участь. Достоевского приговорили к смертной казни, наряду с другими петрашевцами, и привели на площадь для публичного исполнения приговора. Он пережил всю чудовищную гамму чувств приговоренного к смерти, а после этого комедию «великодушного» помилования царем, который заменил расстрел каторгой и последующей высылкой на поселение. Еще важнее то, что в 1846–1848 гг. Достоевский как человек и литератор был близок русскому утопическому социализму. Несмотря на специфику его творческих взглядов, Достоевский разделял положения, которые определяли художественный метод и структуру образов реалистических произведений середины XIX века. Человек по своей природе добр. Все, что есть доброго в мире, проистекает из человека, его чистой и благородной души, а все тяжелое и ужасное зависит от искажающего влияния социальной среды. Чем теснее связь героя со своей эпохой, тем дальше он от природы, ее нормального существования; чем дальше герой находится от «великих мира сего», тем ближе он к природе, тем больше в нем сохранилось человечески прекрасного. Отсюда апология доброты «бедных людей» и злоба в адрес барских пороков. Отсюда и мысль о том, что господствующий общественный порядок нужно заменить другим — тем, который соответствует естественным склонностям и свойствам человека и обеспечит ему счастье, которого он достоин. И хотя Достоевский в то время не разделял настроений революционного протеста, мысль о необходимости основательной перестройки общества органически вытекает из всего его раннего творчества и связывает с утопическим социализмом, особенно с взглядами Фурье, вызывавшего симпатию писателя. Тюрьма и ожидание расстрела ненадолго изменили взгляды Достоевского, хотя, конечно, оставили неизгладимый след в его памяти и повлияли на его телесное и душевное здоровье. Однако каторга и годы, проведенные в ссылке, стали поворотным пунктом в развитии его мировоззрения.

Возникла странная парадоксальная ситуация. Во время каторги Достоевский внимательно изучал новый, ранее неизвестный ему мир. За его необычными внешними проявлениями писатель открыл знакомые ему контуры социальной действительности (например, разделение каторжных на дворян и крестьян в соответствии с их сословной принадлежностью, озлобление народа против «господ» и т. п.). Но писатель как будто снова и снова забывал специфику наблюдаемого круга жизни: каторжный мир стал для него моделью всей русской действительности, и здесь зародились многие его убеждения и предрассудки.

Так, например, политическими заключенными в 1850-е гг. были в основном образованные люди дворянского происхождения из социалистических кружков или участники польского национально-освободительного движения. И Достоевский стал искренне верить, что идеи «бунта» и социального протеста — это идеи «господ», а генезис этих идей не русский, а западно-европейский. Среди крестьян и мещан на каторге было много тех, кого преследовали за веру, и, в целом, уголовные заключенные были большей частью верующие люди. И Достоевский противопоставил «бунту» религиозность как исконное свойство русского народа. И, наконец, основной тип каторжника того времени — уголовный преступник, убийца, в характере которого писатель мог с неизбежностью наблюдать трогательную человечность, — сделался объектом размышлений Достоевского. Вслед за этим последовал в высшей степени решительный шаг: Достоевский отказался от концепции человека утопического социализма («человек по своей природе добр») и противопоставил ей идею сложности и противоречивости человеческой природы. Бывший последователь Фурье превратился в писателя, порицающего антропологическую (проистекающую из метафизического материализма) веру в исконную доброту и красоту человека.

Эта новая концепция человека, которой сопутствовала совершенно новая трактовка мира, общества и социального зла, постепенно превратилась в творчестве писателя в основную после его возвращения из ссылки (1859). Необходимо подчеркнуть, что речь идет только о понимании сложности человеческой природы, а не о том, что наивному тезису «человек от природы добр» противопоставляется столь же наивное представление: «человек от природы зол» (как считали иногда критики Достоевского). Герои позднего Достоевского всегда потрясают нас именно контрастами характера и мировосприятия, а также полярными гранями души. На дне самой мрачной, самой преступной души загорается вдруг чистый свет добра; но светлый, почти святой Алеша Карамазов вдруг ощущает в себе «карамазовское», низкое,

плотское начало. Хаотичность, иррациональность и стихийность — одни из главных черт человека и мира в творчестве Достоевского 1860-х годов.

Сложность и многоликость жизни отражаются уже в самой структуре больших романов Достоевского. С одной стороны, перед нами характерные для литературы XIX века полемические, остро тенденциозные произведения. Писатель движется от социально-утопических воззрений к христианской утопии и начинает страстно проповедовать свои новые взгляды. С точки зрения Достоевского, сложные «сущностные» противоречия человека могут разрешиться в дисгармоническом, кишасщем контрастами мире двумя путями: стихийным объединением с народным духом или сознательными усилиями воли современного человека. В результате сформируется русский национальный тип: смиренный, жертвенный, всепрощающий. Начиная с Сони Мармеладовой («Преступление и наказание») этот тип через Достоевского дошел до русской и мировой литературы как русский национальный символ. Идеал Достоевского имеет здесь точки соприкосновения со славянофилами, особенно близок он Аполлону Григорьеву и Тютчеву, который видел в нищете и жертвенности родины скрытую, но великую сущность Мессии. Но стихийная народная душа весьма восприимчива к соблазнам несправедливого общества. Влияние Европы, вступившей на капиталистический путь развития, вторгшиеся уже и в Россию буржуазные отношения (деньги, частная собственность) и эгоистические инстинкты господ формируют другой тип, социально и культурно чуждый нации, являясь противоположностью народному — это тип индивидуалиста (или романтического богоборца, что с точки зрения Достоевского одно и то же), для которого центром мироздания является не Бог, а человек; который руководствуется не христианскими, т. е. духовными, а человеческими, т. е. материальными интересами. Такой тип в зрелом творчестве Достоевского многократно варьируется. Если его простые представители — это буржуазные предприниматели или эгоистичные помещики, то более высокую его категорию образуют честные борцы за благоденствие человечества. Эти герои (например, Раскольников в «Преступлении и наказании») считают предварительным условием счастья людей разрешение социальных проблем, они находят, что у человека есть право на преобразование общества **н а с и л ь с т в е н н ы м** путем и вступают в противоречие с народной этикой, которая связывает счастье с добровольным самопожертвованием и смиренным духом. Общая картина жизни современного общества, представленная в романах Достоевского, не ограничивается лишь противопоставлением героев, относящихся к типам, описанным выше. Фоном для развития и формирования каждой из двух систем становится жизнь большинства, тех самых «стихийных» людей,

о которых уже шла речь. Смешение света и тени, альтруизма и эгоизма в «истинных» людях ставит вопрос, который из этих двух путей выберет каждая отдельная индивидуальность и весь народ в целом. Писатель считает, что разрешение этого вопроса для русского человека неизбежно, так как основной чертой русского национального характера является своего рода максимализм — потребность идти до конца, до последней черты — как в своей тяге к преступлению, так и в стремлении к добру.

Итак, писатель видит в современной ему действительности большей частью «стихийного» человека, который, однако, способен идти туда, куда его поведет основная «идея» его жизни. В своем крайнем, наиболее последовательном проявлении жизнь создает две системы «идей»: народную «теократическую» (христианскую) и идею буржуазной интеллигенции или «антропоцентрическую» систему «господ», которая выдвигает в центр интересы отдельной личности. Достоевский как «христианский социалист» и утопист, как автор полемических и тенденциозных романов видит свою задачу в том, чтобы проповедовать истинность первых идей, неизбежность их победы, и ложность других идей, а также ожидающий их крах. Идея глубокой диалектичности жизни и природы человека, антибуржуазная направленность творчества, борьба с индивидуализмом, острота отображения господствующей в России идеологической ситуации, великий гуманизм (но в христианском духе, как и у Льва Толстого), — уже этого достаточно, чтобы творчество Достоевского сохранило свою актуальность и в исторически далекой перспективе, смогло бы предложить много важного современному читателю. Но личность Достоевского, помимо того, что было сказано выше, гораздо сложнее и интереснее.

Советский исследователь М. Бахтин уже в 1920-е гг. сделал очень интересное наблюдение о структуре поздних романов Достоевского⁷. Он показал, что обычно Достоевский не дает изображаемому прямой публицистической оценки. Его герои бесконечно спорят о способах борьбы с повседневным злом и представляют остро полемические, противоречащие друг другу концепции, но автор со своей стороны почти ничего не говорит нам, где правда и свет, а где мрак и заблуждение. При этом идеи, которые сталкиваются друг с другом, нигде не обнаруживают своей в н у т р е н н е й неосновательности. Если их рассматривать как самостоятельные системы, то внутри себя они все логичны, гармоничны и обоснованы. И если иногда обнаруживается различие в их масштабе или охвате целей (личные интересы — общее

⁷ М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Изд.-е 3-е. Москва, 1972 (1-е изд. — 1929) — примечание З. Г. Минц.

благо), то большей частью и в тех случаях, когда сталкиваются самые важные идеи самых «достоевских» героев. Несмотря на противоположность взглядов, Иван и Алеша («Братья Карамазовы») решают «мировые проблемы», говорят и думают о судьбе и благе родины и человечества. Способность Достоевского честно показывать внутреннюю силу и убедительность неприемлемых для него социалистических, атеистических и т. п. идей удивительна, этому нет соответствующей параллели ни в русской, ни в мировой литературе XIX века. И дело здесь не только в честности писателя-реалиста или (как утверждали некоторые ученые) в том, что «Достоевский-писатель сильнее Достоевского-публициста». В «Проблемах поэтики Достоевского» М. Бахтин убедительно указывает на одну особенность романов писателя: у каждого героя есть свой «голос», каждый развивает свою систему идей. На таком сложном сплетении отдельных голосов и построен «полифонический роман» Достоевского, глубоко оригинальный роман нового типа. Автор не дает прямой оценки правильности или ложности, пользе или вреду представленных идей, а создает в первую очередь богатую полифонию «многоголосных» партий и только объединяет свой «голос» с партией какого-либо героя. Таким образом в поздних романах Достоевского сливаются композиционные приемы полифонического и тенденциозного романов. Первые из них — подчеркивают принципиальную многоплановость жизни. Вторые указывают на иерархию ценностей, придают роману определенность, отвечают на вопрос, какое должно быть оптимальное направление в этом сложном и противоречивом мире. Эти композиционные принципы определяют и проблематику «Идиота». В романе дана масштабная картина российской жизни в 1860-е гг., которая включает в себя быт, настроения и духовные искания представителей самых разнообразных слоев общества. Пореформенная эпоха в России изображается в первую очередь как время разложения сложившихся в течение веков культурных, семейных, бытовых и др. традиций. Знаменитое определение Толстого «все смешалось в доме Облонских» полностью приложимо и к изображенной в «Идиоте» действительности. В домах и семьях в этом романе также «все смешалось». Картина мира в «Идиоте» — это хаос, тьма, господство распада и преступлений — и рождение новых людей, новых отношений посреди этого «современного зла». «У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, — одна расправа, убьет!»; «взял меня родитель, и наверху запер, и целый час поучал»; «не убеги я тогда, как раз бы убил» — с этих слов купеческого сына Рогожина начинается знакомство с русской жизнью главного героя романа, приехавшего из-за границы князя Мышкина. На протяжении всего романа не прекращаются разговоры об убийствах и чудовищных

преступлениях. Один московский преступник «перевязал бритву шелком, чтобы перерезать одно горло». При разговоре об одном персонаже упоминается громкое уголовное дело конца 1860-х гг.: «то есть, аллегорически говоря, будущий второй убийца будущего второго семейства Жемариных, если таковое окажется». В сюжетном плане все эти разговоры подготавливают страшный исход романа, где Рогожин убивает страстно любимую им Настасью Филипповну. Их эмоциональная задача — воссоздать царящую в России атмосферу тьмы и зла. На фоне больших преступлений происходят маленькие, которые отличаются от первых только степенью тяжести, но не с точки зрения бесчеловечности и подлости. В уважаемом семействе Епанчиных почтенный глава семейства, 56-летний генерал, жаждет стать любовником Настасьи Филипповны и дарит ей «удивительный жемчуг, стоивший огромной суммы». Задолго до этого помещик Афанасий Иванович Тоцкий, «человек высшего света, с высшими связями и необыкновенного богатства», превратил свою 18-летнюю воспитанницу Настасью Филипповну в любовницу, втайне подготовив ее к этому уже с двенадцати лет.

Чтобы не препятствовать браку Тоцкого с дочерью Епанчина, бывший и будущий любовник Настасьи Филипповны решают выдать ее за бедного, но честолюбивого Ганю Иволгина. Ганя, хотя и был когда-то влюблен в Настасью Филипповну, почти ненавидит ее теперь за публичный меркантилизм своих собственных поступков, но не в силах отказаться от 75-ти тысяч приданого и соглашается на брак. Настасья Филипповна говорит о своей судьбе с убийственно горькой иронией: «Меня всегда торговали!». Образ «униженной», «поруганной», «продажной» красоты становится в романе символом ужаса жизни в России того времени.

Еще более общими символами становятся образы из Откровения Иоанна Богослова. «Толкователь» Апокалипсиса Лебедев утверждает, что в этой книге, где предсказан конец света, говорится именно о современности, и что именно это время не только в каких-то своих отдельных частях, но и «в целом проклято» и обречено погибнуть. И хотя сам Достоевский, как мы увидим ниже, не совсем согласен с этим страшным пророчеством, весь роман пронизывает отношение к России того времени как к «закалятому» государству зла. Это внезапно возникшее отрицательное отношение приближает Достоевского к другим великим писателям-реалистам конца XIX века. И хотя положительная программа Достоевского отделяет его теперь от писателей гоголевской школы — Некрасова, Чернышевского и Салтыкова-Щедрина — тем не менее с русской демократической культурой его связывает общая тональность произведений, изображение действительности как мира, где

страдают «униженные и оскорбленные», торжествуют эгоистические страсти и низкий буржуазный расчет.

На фоне этой мрачной и «закалятой» действительности изображаются судьбы героев романа. Большинство из них столь же противоречивы и запутаны, как сама жизнь. Конечно, в «Идиоте» есть и такие персонажи, которые прекрасно приспособились к хаосу и «современному злу», которые изображены не как его жертвы, но как один из его источников. Таков Тоцкий, чьи сановитость и «утонченная» жизнь тесно связаны с барским эгоизмом и похотливостью; или парвеню Епанчин, жаждущий по крайней мере в старости пожить столь же «утонченно» и приятно, как Тоцкий; или Ганя Иволгин, страстно мечтающий о власти, которая достигается лишь через деньги. Из менее важных героев такими же являются ростовщик Птицын и Варя Иволгина, воплощающие благовоспитанную серость и посредственность мещанского мира, и др. Но основной мир романа представляют герои совсем другого типа — сложные и хаотические натуры, готовые на самые неожиданные поступки, где соединяются «великий свет и злая тьма» (А. Блок)⁸. Особое место таких героев в романе связано с тем, что именно в них человеческая природа в своем обобщенном виде получает самое глубокое и точное выражение. В числе второстепенных персонажей, представляющих скорее фон основного действия, чем самостоятельную сюжетную линию, бросается в глаза образ мелкого чиновника Лебедева. Мы встречаемся с ним уже на первых страницах романа. Лебедев, добровольный верный лакей любой силы, богатства и господства, с каким-то особым восторгом занимается разными пакостями и принимает в них участие. Даже тем людям, к которым Лебедев относится действительно хорошо (например, князь Мышкин), он с привычной веселостью причиняет зло. Но мы видим того же Лебедева и в роли любящего, исполняющего свой долг отца семейства или в роли такого человека, который всем сердцем сочувствует чужому и далекому от него горю. После иронического замечания его юного родственника: «За мошенников в суде стоит, а сам ночью раза по три молиться встает, вот здесь в зале, на коленях, лбом и стучит по полу, и за кого-кого ни молится, чего-чего ни причитает, спяна-то? За упокой души графини Дюбарри молился, я слышал своими ушами!» — следует поразительная реплика Лебедева. Этот «пьяница, и потаскун, грабитель и лиходей», как называет себя сам Лебедев, объясняет свое поведение так: графиня Дюбарри, которая «из позору выйдя, вместо королевы заправляла», попросила на помосте палача дать ей

⁸ Цитата из стихотворения А. А. Блока «Я — тварь дрожащая. / Лучами...» (1902): «В Тебе таятся в ожиданьи / Великий свет и злая тьма — / Разгадка всякого познания / И бред великого ума».

...еще одну минуточку <...> об одной минуточке, я как прочитал, у меня точно сердце захватило щипцами. И что тебе в том, червяк, что я, ложась на ночь спать на молитве вздумал ее, грешницу великую, помянуть. Да потому, может, и помянул, что за нее, с тех пор как земля стоит, наверно никто никогда и лба не перекрестил, да и не подумал о том. Ан ей и приятно станет на том свете почувствовать, что нашелся такой же грешник, как и она, который и за нее хоть один раз на земле помолился...

Ложь и мошенничество, и в то же время способность пережить чужую трагедию как свое собственное несчастье — таков, по Достоевскому, диапазон человеческих возможностей.

Среди отданных во власть стихийных сил персонажей в центре находятся двое: Настасья Филипповна и Рогожин. Настасья Филипповна — одна из самых запоминающихся героинь в мировой литературе, — она необыкновенно, ослепительно красивая женщина, о лице которой Аделаида Епанчина говорит, что «с такою красотой можно мир перевернуть», женщина, у которой неплохое образование, тонкий ум, чувствительная душа, чьим очарованием может плениться каждый, кто ее видит, — но которая, тем не менее, глубоко несчастна, так как она — любовница богатого человека, женщина с двусмысленной репутацией, объект отвратительного «торга» — таково первое и очень существенное впечатление об этом удивительном образе. Но сказанное отнюдь не исчерпывает характера героини. Из-за пережитого в ранней юности унижительного чувства любовница Тоцкого превращается в женщину с мучительными психическими комплексами. На поверхности они проявляются в гневе и презрении к «джентльмену» Тоцкому, ко всему торгующему миру. Но в глубине души Настасья Филипповна действительно считает себя падшей женщиной и великой грешницей, не обвиняя в своей разрушенной жизни никого, кроме себя. Гордость и болезненное самолюбие, а также полное отсутствие доверия к себе формируют принцип героини: чем хуже, тем лучше. Глубокая душевная мука, колкая ирония, насмешка над всем самым дорогим, целенаправленные вульгарность и истеричность, декларация: «Я Рогожину подходящая пара!» обретают изо дня в день все больший вес в ее поведении, делают ее душевно больным человеком, превращают жизнь в совершенно непереносимую. Безжалостно уничтожая себя, дойдя в своем самоуничтожении до крайней черты, Настасья Филипповна отвергает единственный путь спасения — чистую, жертвенную любовь князя Мышкина — и уходит с Рогожиным, чья темная страсть имеет только один исход (и героиня это прекрасно знает) — убийство.

Удивительная сложность характера героини достигается в романе тем, что Достоевский, как это вообще свойственно для его творчества, выстраивает ее образ, ориентируясь одновременно на разные, иногда прямо противоположные культурные традиции. С одной стороны, судьба Настасьи Филипповны напоминает судьбы женских персонажей в раннем творчестве Достоевского. Как Варенька в «Бедных людях» и ее двоюродная сестра Саша, так и Наташа Ихменева в «Униженных и оскорбленных» или Нелли — это девушки из бедных (точнее, обедневших) семейств (лишь Нелли по материнской линии — внучка фабриканта). Варенька, Саша и Нелли живут как нахлебницы у «благодетельниц», потихоньку торгующих их молодостью и красотой, стремясь продать их как любовниц богатым и развратным старикам. Все эти героини с детства узнают все унижение бедности и бесправия, все они так или иначе надломлены этим бесконечным унижением. Достоевский изображает судьбу Настасьи Филипповны, напоминающую судьбы Вареньки, Саши, Нелли и Наташи, в согласии с гуманистическими традициями русского реалистического романа середины XIX века. И действительно трагизм ее жизни, сложность характера можно с легкостью объяснить влиянием среды и условиями жизни. Это неслучайно, что Достоевский описывает детство Настасьи Филипповны, ее и с х о д н о е п о л о ж е н и е, что было очень важным для концепции человека в демократической литературе прошлого века. Но писатель делает это гораздо основательнее, чем в других своих романах 1860–1870-х годов. Путь развития героини от «прелестного ребенка», резвой, милой, умной девочки, которая обещала стать исключительной красавицей, до крайне измученного и больного существа, идущего навстречу своей гибели с улыбкой горькой иронии, можно рассматривать как историю искажения редкостных врожденных свойств человека.

Но такая трактовка образа героини не полностью раскрывает его смысл. Демократическое истолкование считало правильным оценивать доброту как первичное и вместе с тем основное, неуничтожимое начало; в соответствии с этим и влияние среды считалось примарным, но лишь внешним фактором. Стоит только уничтожить среду и условия — и скрытое в человеке добро одержит победу. Отсюда и следовало большое количество историй о «воскресении» персонажей вплоть до «Воскресения» Л. Толстого, которое А. Блок метко назвал «завещанием» русской литературы XIX века. Именно отсюда ведут свое происхождение многие сюжеты «о воскресении падшей женщины». Чистая любовь и подлинно человеческое отношение могут спасти такую героиню от «мрака заблужденья» и вернуть присущую ей чистоту и красоту (стихотворение «Когда из мрака заблужденья...», Катюша Маслова в «Воскресении» Толстого). История Настасьи Филипповны

разворачивается по-иному. Она не обратима, и никакого «воскресения» героини произойти не может. Когда она встречает Мышкина, то его любовь и предложение могли бы стать началом совсем новой жизни: «... ведь я и сама мечтательница <...> Разве я сама о тебе не мечтала? <...> давно мечтала <...> думаешь-думаешь, бывало-то, мечтаешь-мечтаешь, — и вот всё такого, как ты, воображала, доброго, честного, хорошего и такого же глупенького, что вдруг придет да и скажет: “Вы не виноваты, Настасья Филипповна, а я вас обожаю”». Но потерявшая веру в себя и болезненно самолюбивая Настасья Филипповна предпочитает путь Рогожина, т. е. смерть. Очевидно, что надломленность героини не является чем-то внешним, тем, что можно легко устранить, изменив внешние «условия». Вероятно, склонность к таким необратимым изменениям также входит в человеческую природу. И, вероятно, природа человека совсем не является столь простой, какой она казалась другим писателям-реалистам, современникам Достоевского. Доброта и горечь разочарования, чистота души и наслаждение гибелью, «свет и тьма» образуют сущность героини, меж тем как «тьма» в ее душе столь же глубока и органична, как красота и «свет», стремления к идеалу. Результат тем убедительнее, если учесть, что Настасья Филипповна, как уже говорилось, не изображается лишь в духе традиции социальной повести или романа. В ней можно увидеть также «демоническую» женщину, роковое существо, чья «нестерпимая красота» безжалостно губит всех и все на своем пути, и, следовательно, это образ, восходящий к романтической традиции. Конечно, и такое истолкование образа героини явилось бы неполным. Но постоянное помещение персонажа в контекст то одной, то другой традиции, постоянное акцентирование то одних, то других его особенностей — это сознательный художественный прием Достоевского при создании сложных и противоречивых характеров в его поздних произведениях.

Еще более глубоко погружен в экзистенциальный хаос и первобытность Парфен Рогожин. Противоречия его натуры отражены уже в его внешности:

Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы непрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагоприятно развитую нижнюю часть лица. <...> приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид <...> и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонизировавшее с нахальной и грубой улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом.

Страстность, стремление доходить до «последней черты» как в любви, так и в ненависти — наиболее характерное свойство Парфена Рогожина. Рогожин как сын купца-миллионера направил бы всю свою страсть («в нем много страсти, и даже какой-то большой страсти», замечает князь Мышкин) и силу характера на увеличение богатства отца, если бы не случилась любовь к Настасье Филипповне. Эта любовь, которая превратилась в центр жизни Рогожина и придала ей содержание, раскрывает его характер, присушие и ему глубокие противоречия. С одной стороны, Рогожин мрачен и ревнив, туго уверен, что любовь Настасьи Филипповны можно купить, как и все остальное в этом мире, если только денег не жаль (а Рогожину не жаль!), там же, где купить нельзя, выход найдется в самом примитивном, грубом насилии. Но одновременно любовь Рогожина глубоко человечна. Она не сводится лишь к желанию обладать (чего сам Рогожин даже не ощущает), но заключается и в тоске по совершенной (в том числе и духовной) гармонии. Жажда гармонии также присуща Рогожину, как и ясно проступающее в его поведении разгульное безобразие. Одно серьезное, сделанное без издевки замечание Настасьи Филипповны, что образование — вещь необходимая, — и Рогожин трогательно стремится побороть свою действительно абсолютную необразованность: начинает читать «Историю России» С. Соловьева. Несмотря на убежденность в «лакейской» сущности страстей Рогожина, Настасья Филипповна в конце концов признает: «все-таки ты не лакей».

Тем не менее, в Рогожине, как и в Настасье Филипповне, побеждает не светлое, а темное начало. Герой, который так жаждал «дышать как живой человек», проходит путь от попытки купить Настасью Филипповну до ее безобразного убийства. Сложность сущности человека и «тьма» русской жизни обуславливают победу безобразной бесчеловечности.

Однако эта победа, как считает Достоевский, только мнимая. В России есть огромный исторический потенциал, огромная сила добра. Его воплощение представляет в романе князь Мышкин. Главный герой романа Достоевского разительно отличается от большинства других персонажей. Его сходство с Настасьей Филипповной, Рогожиным и Аглаей Епанчиной заключается только в одном: его противоречивость отнюдь не меньше, а даже, наверное, глубже, чем у них. Если для Толстого правда крайне проста и ясна, то для Достоевского спасение мира заключается не в преодолении экзистенциального хаоса противоречий, а в п р и в н е с е н и и, во введении идеалов Истины, Добра и Красоты в этот мир. Но «привнести» хаос может только тот, кто проникает в него сам, кто становится столь же сложным и противоречивым, как сама действительность. Достоевский не видит пути от «современного

зла» к «свету» в упрощении человека и мира, но в их все более усложняющемся преобразовании.

Достоевский называет главного героя своего романа «положительно прекрасным человеком». За спиной Мышкина неоднократно звучит слово: «Идиот!» И это не только низкая, шаблонная оценка далеко не шаблонного поведения Льва Мышкина, но и констатация страшной истины: князь действительно тяжело болен психически. Мышкин является носителем двух любимых идей Достоевского: развитие России по некапиталистическому пути и «мессианское» будущее России. Но в то же время он является человеком, только что приехавшим из-за границы, который почти не знает России. Как говорит он сам: представитель одного из древнейших княжеских родов и вместе с тем нищий, у которого нет ни связей, ни денег, почти гоголевский «маленький человек», Акакий Акакиевич из «Шинели», обладающий только одним «талантом»: очень хорошим почерком. Мышкин — проповедник идей христианского гуманизма и аскетизма; и одновременно — человек, вполне способный к «земной», «посюсторонней» любви; простодушный ребенок, которому 26 лет, совсем незнакомый с «практической жизнью», но, тем не менее, умный человек, интуитивно постигающий глубины жизни и человеческой души. Во всех этих и других противоречиях открывается перед нами характер героя. Изображая духовный мир Мышкина, Достоевский пронизательно начинает характеристику его взглядов с того, что показывает отношение героя к буржуазной цивилизации Западной Европы (рассказы Мышкина о смертной казни во Франции и о насмешках швейцарских крестьян над «падшей» Мари). Отрицая буржуазные и мещанские бесчеловечные нравы, а также мораль, князь Мышкин, подобно самому автору, противопоставляет им отношения, которые основаны на братской любви, сострадании и самопожертвовании (история о детях, которые начали любить умирающую Мари и трогательно ухаживали за ней). Такого рода отношения истолкованы в духе утопического христианского социализма и одновременно predeterminedного «неевропейского» пути будущей России. В случае Мышкина важнее то, что для него главным является не та или иная формулировка абстрактных взглядов, в высшей степени близких Достоевскому, но их воплощение в повседневном поведении. Неслучайно, что Мышкин формулирует свои взгляды на жизнь (исключение представляет его монолог у Епанчиных) в виде воспоминаний о каких-то событиях. Подобное построение характера довольно-таки знаменательно. С одной стороны, это обусловлено свойственным Достоевскому недоверием к «теориям» и логическим построениям плоской «арифметики», т. е. убеждениями писателя, что жизнь, поведение и факты важнее и интереснее, чем абстрактные доказательства.

Но, с другой стороны, в таком изображении героя отражается важная особенность литературы эпохи Достоевского. Одной из характернейших черт культурного процесса является то, что основной вопрос, на который пытаются ответить культура того или иного периода, непрерывно меняется. В этом отношении весьма символично, что в первой половине XIX века вышла повесть Герцена «Кто виноват?», а во второй его половине — роман Чернышевского «Что делать?». Реалисты «гоголевской школы» отвечали, в первую очередь, на вопрос, каким является общественный порядок, в чем заключается причина аномалий современной жизни. В отношении Евгения Онегина, Печорина, Бельтова и др. вопрос, что нужно делать человеку, чтобы жить нормальной, гармоничной жизнью, был бы художественно ложным и поэтому детски наивным. Потому что весь пафос первых произведений «натуральной школы» заключался в том, что герой не может быть ничем иным, как тем, кем он сформировался под давлением определенных установленных внешних (и внутренних) обстоятельств. Писатели второй половины XIX века строят свои произведения по-иному. Инстинктивные предчувствия глубоких исторических перемен заставляет их перенести основной вопрос познания в сферу поведения, социально-психологической тактики и стратегии. Для героев Чернышевского, народников, Л. Толстого и позднего Чехова вопрос о том, как должен (или должен бы) жить тот или иной герой, больше не является выражением любопытства наивного читателя. Это проблема самого автора, и он пытается на этот вопрос ответить. Такой подход углубляет утопические черты литературы второй половины века (утопический социализм народников, христианский утопизм Вл. Соловьева и Достоевского, толстовство и т. д.). Но та же самая особенность культуры служит толчком к литературному прогнозированию, прославлению активности человека и стремлению «спасти мир». В 1860–1880-е гг. Достоевский также стремится ответить на основной вопрос времени «что делать?», но действует иначе, чем Чернышевский или народники, полемизируя с ними в некоторых случаях весьма остро. Именно поэтому главный герой в «Идиоте» в полном смысле этого слова косноязычен («Я всегда боюсь моим смешным видом скомпрометировать мысль и главную идею. Я не имею жеста. Я имею жест всегда противоположный, а это вызывает смех и унижает идею», — с горечью признается Мышкин). Но тот же «не имеющий жеста» персонаж на протяжении всего романа неустанно осуществляет свою «главную идею» как свою жизнь. Братское, разрушающее все конвенции отношение к людям, отделяет Мышкина почти от всех героев романа. Человек, который разговаривает с прислугой в передней и ведет себя так же, как с генералом в его кабинете, сразу противопоставляет

себя действующим, общим нормам поведения, хотя он этого совершенно не хочет. В таком поведении «опытный камердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с человеком». Но относясь именно к в с е м, как «человек к человеку», князь Мышкин проявляет свой собственный стиль поведения, от которого он нигде ни на шаг не отступает. «Демократ» — говорят одни в смятении, «идиот» — находят другие с необъяснимым гневом. Но и эти оценки свидетельствуют о нестандартности поведения героя.

Вторая и по крайней мере столь же важная особенность князя Мышкина — это одинаковое (точнее, одинаковое — в некоторых смыслах) отношение к людям, которые имеют разную человеческую ценность. Не только Настасья Филипповна, Рогожин, Аглая и все семейство Епанчиных, но и хитрый подхалим Лебедев, бесстыдный старый лгун генерал Иволгин, своекорыстный Ганя, тупой Келлер — все они находят в князе бескорыстного друга, терпеливого собеседника, доброжелательного советчика. Ипполит, озлобившийся в ожидании смерти, постоянно пользуется деньгами, квартирой и временем Мышкина, называет его идиотом в лицо и выливает на него свой гнев именно из-за доброты князя. Эта доброта действительно кажется бесконечной. Именно таким образом п р а к т и ч е с к и реализуется существенная черта миропонимания героя, мысль о том, что отношение к человеку н е д о л ж н о определяться особенностями его духовного мира (как оно не должно определяться и особенностями его социального положения).

Антропологическая этика основана на рационалистических принципах. Человек заслуживает счастья и подлинно человеческого отношения п о т о м у, что он добр от природы. Поэтому гуманное отношение не распространяется на людей и общество, которые отклонились от естественной жизни: таких людей нужно вернуть на пути добра (хотя бы насильно) или устранить с пути общественного блага (обычно также через насилие).

В 1860-е гг. Достоевский неоднократно декларировал свое отрицательное отношение к идеям «разумного эгоизма». Уже роман «Преступление и наказание» должен был однозначно продемонстрировать, что человеческая жизнь имеет абсолютную ценность и не зависит от места человека на ступени социальной иерархии, а также от его внутренних, рационально измеряемых ценностей. Основную ошибку Раскольниковца Достоевский видит в том, что герой стремится логически возвести свою этику к основным особенностям природы человека, в то время как понятие добра нельзя ни к чему «возвести», оно дано человеку извне. Природа человека и этические нормы — это совершенно разные вещи, их онтологическое происхождение тоже разное.

На это опирается и поведение князя Мышкина. Он понимает, столь же хорошо, как и другие, что представляет собой Ганя или его отец, Келлер или господин Бурдовский. Но он понимает и то, чего не дано понять большинству персонажей романа: все они — люди, и единственное «нормальное» поведение с людьми — это глубокое и доходящая до последней черты человечность.

Наиболее последовательно и четко все эти особенности героя выявляются в истории его любви. Как и большинство реалистов XIX века, Достоевский полагал, что интимное поведение человека (его отношение к любви, дружбе и т. д.) проистекает из тех же глубоко антропологических источников, что и социальное поведение (отсюда и типичное для реализма отождествление семьи, друзей, коллектива и т. п. с моделью социальной структуры общества). Но одновременно отношение Достоевского к самообнаружениям Мышкина глубоко своеобразно.

С одной стороны, проявления «частной жизни» Мышкина для Достоевского важнее, чем, например, «частная жизнь» его персонажей для Тургенева. Так, для Тургенева, Чернышевского, Гончарова, как и для большинства писателей эпохи Достоевского, частная жизнь героев — это модель, проясняющая механизмы общественного процесса. И если представления о структурном сходстве разных жизненных сфер становятся очень важными для реалистов XIX века, главными для них все-таки остаются общественные отношения — они представляют основной объект художественного изображения и глубинное содержание произведений. В случае творчества Достоевского дело обстоит во многом так же, только с одним исключением: для него частные отношения — это не только модель, но и идеал общественных отношений. Простодушная и до самого конца верная дружба, беззаветная любовь и доказанная всем поведением героя самоотверженная готовность отдать жизнь за своих друзей — это не модель отношений между людьми, подразумеваемая, но не изображенная в романе параллель общественной деятельности, но это и есть общественная деятельность, ее содержание. Князь Мышкин не является борцом или организатором типа Инсарова («Накануне») или Рахметова («Что делать?»), а является «ловцом душ», который «дальних» делает «ближними» и трактует все свои отношения с людьми как интимно-братские. Именно поэтому «частная жизнь» в романе «Идиот» — это не суррогат общественной жизни, а своеобразное, с точки зрения Достоевского, самоценное явление.

Своеобразие Достоевского проявляется и в том, что он считает в отношениях между людьми ценным. В середине XIX века литература и, в особенности, революционно-демократическая критика создали в сознании читателя

представление, что отказ персонажа от частной жизни по одним или другим причинам, «бегство от любви» — это проявление его общей жизненной и, в частности, социальной пассивности (ср.: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Обломов» и в особенности «Русский человек на rendez-vous»). Достоевский демонстративно и сознательно претендуя на полемику, помещает своего персонажа в ситуации, которые напоминают коллизии тургеневских романов и повестей. Писатель дает героям, обладающим внешне сходным поведением, диаметрально противоположную трактовку по сравнению с Тургеньевым или Чернышевским.

Кстати, в «Идиоте» художественная полемика не ограничивается романами середины века. Например, первые сцены, связанные с линией Мышкин — Настасья Филипповна (от знакомства через портрет до личной встречи, потрясение героя необыкновенной красотой Настасьи Филипповны, слухи о ее удивительном успехе и т. д.), дают основание предположить, что отношения героев будут основаны на схеме «демонической», «черной» страсти. Кроме романтической традиции здесь роль «подсказки» играют произведения Тургенева с его темой трагической, иррациональной любви. Но, к сожалению, действие у Достоевского развивается совсем в другую сторону. В героине обнаруживаются черты «униженной и оскорбленной» женщины, и отношение князя Мышкина к Настасье Филипповне оказывается не «черной» страстью, а большим, самоотверженным чувством. И, наоборот, чувства к Аглае уже с самого начала приобретают повесенному светлую и дружескую тональность (записку, посланную Аглае, Мышкин подписывает: «Ваш брат»). Традиция обуславливает ожидание, что возникшее чувство должно потом уступить место всепоглощающему, иррациональному чувству. Но по отношению к тургеневской коллизии «долг – “страсть”» роли героинь перераспределяются. Сильное, гармоничное, лишенное сомнения чувство притягивает Мышкина к Аглае, но страдание, понятое как долг, оставляет его с Настасьей Филипповной. В связи с этим особенно важной становится сцена встречи Мышкина и Аглаи в парке и все последующее, постоянно ускоряющееся действие. Подобно пушкинской Татьяне и известным тургеневским героиням, Аглая назначает встречу Льву Николаевичу п е р в о й и говорит ему, по сути, первой о своей любви. И подобно тургеневским героям Мышкин в конце концов также спасается бегством от любви. Но, как выясняется, мысль о стандартном поведении «русского человека на rendez-vous», получает в истолковании Достоевского диаметрально противоположный смысл. «Бегство от любви» не становится знаком несостоятельности и пассивности героя в любви, но, наоборот, проявлением его воли и активного гуманизма (христианского

гуманизма, по Достоевскому). Фантастический, обреченно нереальный план сочетаться с Настасьей Филипповной браком, бегство безрассудной женщины к Рогожину, кошмарное убийство Настасьи Филипповны и жуткая ночь, которую князь Мышкин проводит с убийцей возле трупа, — все это как будто показывает полное крушение героя. И действительно, все как будто катится в какую-то ужасную бездну, все, кроме норм поведения персонажа, которым он до последнего сознательного момента и даже после возвращения болезни остается верен себе:

... слезы текли из его глаз на щеки Рогожина, но, может быть, он уж и не слышал тогда своих собственных слез и уже не знал ничего о них <... > по крайней мере, когда, уже после многих часов, отворилась дверь и вошли люди, то они застали убийцу в полном беспамятстве и горячке. Князь сидел подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провести дрожащею рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его. Но он уже ничего не понимал, о чем его спрашивали, и не узнавал вошедших и окруживших его людей.

Для полного понимания финала романа необходимо немного отклониться в сторону. Как мы видим, в «Идиоте» легко уловимы черты, характерные для поздних романов Достоевского. Это полемический роман, который декларирует идеи утопического христианского гуманизма. В то же время он является и полифоническим романом (в понимании М. Бахтина), который изображает действительность как столкновение отрицающих друг друга «голосов», то есть воль и позиций (барский гедонизм Тоцкого, буржуазный эгоизм Гани, неверие и пессимизм Ипполита, упрощенные «социальные идеи» Бурдовского и его друзей, принципы «стихийной жизни» и, наконец, противопоставленная всем этим идеям «главная идея» Мышкина). Но в композиции «Идиота» заметна еще одна важная особенность, которая в какой-то мере определяет его индивидуальный облик, но также дополняет в некотором отношении наше представление о литературных принципах позднего Достоевского.

Важнейшая проблема полифонического романа (которую, к сожалению, не разрешает М. Бахтин) заключается в том, как, каким образом могут сосуществовать в одном романе многоплановость «полифонии», представляющей несколько миропониманий, и одноплановость тенденциозного романа, где среди всех миропониманий выбирается одно, самое близкое автору, и доказывается его самая высокая ценность. В поздних романах Достоевского в большинстве случаев роль «определителя относительной ценности идей» играет сюжет (отсюда и столь важное значение сюжета в творчестве

писателя). В ходе сюжетного действия с а м а ж и з н ь проверяет разнообразные полярные воззрения, раскрывая их внутреннюю сущность. Именно так раскрывается относительная ценность идей Раскольникова и Сони Мармеладовой, Ивана и Алеши Карамазовых.

Но в «Идиоте» этот метод оценки относительной ценности идей не имеет столь определяющего значения (именно поэтому в романе нет особенно сложных сюжетных ходов, которые нуждались бы в разгадке и т. п.). Более того, изображение «живой жизни» в романе, которое ясно показывает гибельность столкновения эгоистических сознаний и волю, как будто демонстрирует бессилие «главной идеи» Мышкина: в реальной жизни он не может предотвратить ни одной трагедии и гибнет.

С ослаблением роли сюжета активизируются другие методы относительной оценки идей. Наряду с приемами, широко используемыми и вне полифонического романа (оценка одних персонажей другими, апелляция к способности читателя самостоятельно определить относительную ценность героев и идей и т. п.), Достоевский привлекает также композицию, что является необычным для романов XIX века, хотя этот прием встречается в традиции и имеет широкие перспективы в литературе будущего.

«Идиот» — это не только полемизирующий полифонический роман. Это еще и «мифологический роман». Сюжет, проблематика и особенно образ главного героя раскрываются не только внутри структуры романа, не только в связи с исторической действительностью 1860-х гг. или с ситуацией литературной борьбы. Важные содержательные пласты можно понять полнее с помощью других текстов, по отношению к которым роман выступает как «вариация темы» (хотя и очень вольная!).

Таких текстов в романе несколько. Так, например, неоднократно упомянутый Аглаей «Дон Кихот» Сервантеса и стихотворение Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» дают важный ключ к характеру Мышкина и к пониманию его отношений с Аглаей. Иронические отсылки к «Даме с камелиями» Дюма-сына помогают понять линию Тоцкого и Настасьи Филипповны и т. д. Но основное место среди текстов такого типа принадлежит мифологии Нового Завета. Вдохновленный утопическими христианскими идеями, Достоевский прямо называет своего героя Христом. Но это не только отсылка к проблематике романа (исследователи неоднократно рассматривали этот его аспект). Гораздо интереснее то, что речь идет о композиционных принципах. Глубинная тема книги — это «Христос в “железный век” буржуазной цивилизации» (ср. вариацию темы в «Легенде о Великом инквизиторе» в «Братьях Карамазовых»). Князь Мышкин не столько христианин,

сколько именно Христос, и без «освещения» этой стороны текста невозможно до конца понять ни сюжет романа, ни персонажей.

Постоянные намеки на духовное родство этих двух героев пронизывают роман уже с самых первых страниц: о Мышкине говорится, что у него нет места, куда приклонить голову, что он — Человек, и его послал Бог. По отношению к герою применяются и другие евангельские цитаты (например, воспоминание о «нищих духом» или «убогих»); его поведение постоянно иллюстрирует те или иные евангельские заповеди (Мышкин не отвечает Гане на полученную пощечину). И наконец Мышкин сам постоянно упоминает Христа, цитирует Евангелие и т. д. Эти и другие многочисленные отсылки активно формируют идеи. Они дают ключ, с помощью которого осмысляются основные поступки персонажа, его отношения с другими персонажами. Например, совершенно явно, что «братское» чувство Мышкина к Мари рассматривается сквозь призму легенды о Марии Магдалине (ср. хотя бы имена: Мари – Мария), а затем оба этих сюжета становятся ключом в осмыслении линии ‘Мышкин – Настасья Филипповна’. Таким же образом можно «дешифровать» отношения Мышкина и Рогожина, обратившись к легенде о Христе и разбойниках, отношения с Колей и Верой Лебедевой — через ситуацию Христа и апостолов и т. д. И, наконец, вся история с князем Мышкиным близка евангельским сюжетам (нахождение героя вдали от родины, вдали от людей, его приход «к народу», сострадательная, жертвенная любовь как несение крестной ноши, взятие на себя «грехов мира» и в конце концов «распятие на кресте» вместе с разбойником и возвращение болезни). Такое использование мифологического «шифра» представляет возможность двояко истолковать и финал романа. Душевная болезнь князя Мышкина отнюдь не означает, с точки зрения Достоевского, бессилия его «главной идеи» (как можно решить, игнорируя мифологический аспект романа, как это делают иногда некоторые исследователи). «Идиот» заканчивается возвращением болезни героя в равной степени и в том же значении, как евангельская легенда распятием. И, подобно тому, как после смерти происходит воскресение, так и «главная идея» Мышкина, потерпевшая поражение, столкнувшись с Россией 1860-х гг., одержит победу в будущем. Именно такая мысль содержится в словах Лизаветы Прокофьевны Епанчиной, которой заканчивается роман: «Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить. И всё это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, всё это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия... помяните мое слово, сами увидите...». Значение этого финала имеет гораздо более широкий смысл, чем надежды Достоевского на христианскую миссию России. Мы видим глубоко исторический подход писателя к действительности, его способность

видеть изображаемый мир в исторической перспективе и показывать его читателям в форме образов. Следует подчеркнуть, что идея «воскресения» у Достоевского (как и у Толстого) свободна от специфического мистического колорита и не предполагает веры в чудо при толковании происходящего на бытовом уровне (например, выздоровление Мышкина). Достоевский здесь крайне реалистичен, а также жестоко и беспощадно верен истине. Он неоднократно свидетельствует, что подлинные убеждения не нуждаются в подтверждении чудом (см. также «Легенду о Великом инквизиторе» и главу «Кана Галилейская» в «Братьях Карамазовых»). Речь идет о другом: о противопоставлении настоящей и будущей России и — в более широком плане — о том, что произведение способно, помимо того, что происходит с миром в рамках сюжета, передать информацию и о том, что может с ним случиться в будущем. Такой глубокий историзм Достоевского особенно ценен тем, что он не связан с привлечением внехудожественных («назидательных») рассуждений: «мифологическая» структура произведения, дешифровка одного произведения через другие делает возможным показать то, о чем прямо не говорится, и это происходит с помощью специфических литературных изобразительных средств. Существенно также, что при подобном изображении уровень плотности, сжатости и «экономности» мысли становится высоким; при «мифологической» композиции один образ, одна ситуация отсылает к целым сюжетам и как по своему значению, так и объему становится огромной «сводной программой» больших текстов.

Поэтому совсем не случайно, что найденные Достоевским принципы композиции стали на редкость перспективными и оказали влияние также на русскую и мировую литературу нашего века, в том числе на произведения, которые по своей проблематике далеки от христианской утопии, «мессианизма» и других любимых идей Достоевского. А. Блок, Т. Манн, М. Булгаков и десятки других больших художников нашего столетия использовали в своих произведениях «мифологическое освещение» и создавали образы огромной плотности. Что же касается менее общих особенностей в «Идите», амбивалентной концовки романа, то историческая судьба этого приема особенно интересна. Благодаря творчеству полемизировавшего с Достоевским, но широко применявшего его приемы Горького, финал, который переносит текст из «художественного настоящего» в «художественное будущее», стал классическим приемом в русской пролетарской («Мать», «Лето») и позднее в советской литературе («Разгром» А. Фадеева, «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского и др.).

СТАТЬЯ З. Г. МИНЦ О СОЛОГУБЕ

Вступительная заметка, публикация, обратный перевод статьи с эстонского МАРИИ БОРОВИКОВОЙ

Статья «Федор Сологуб и его роман “Мелкий бес”» была написана З. Г. Минц по заказу издательства „Eesti raamat“ / «Ээсти раамат» и опубликована по-эстонски в 1987 г. в качестве вступительного текста к эстонскому переводу романа. Из-за отсутствия оригинала статья публикуется в обратном переводе. Ее основная часть посвящена описанию структуры романа Сологуба «Мелкий бес» как неомифологического романа — текста, в котором разные пласты смыслов, отсылающие к разным литературным традициям и мифам, соотносены между собой единым планом символов во всеобъемлющую романтически-символистскую концепцию.

Ключевые слова: Зара Минц, Сологуб, «Мелкий бес», неомифологический роман.

Zara Minz' article on Sologub. Published by Maria Borovikova

The article “Fyodor Sologub and his novel “The Petty Demon”” was written by Z. G. Minz at the request of the publishing house “Eesti Raamat” and published in Estonian in 1987 as an introductory text to the Estonian translation of the novel. As the original has gone missing, the article is published in reverse translation. Its main part is devoted to describing the structure of Sologub's novel “The Petty Demon” as a neomythological novel – a text in which different layers of meanings, referring to different literary traditions and myths, are correlated with each other into a single romantic-symbolist concept by the plane of symbols.

Keywords: Zara Minz, Fyodor Sologub, “The Petty Demon”, neomythological novel.

Вступительная статья З. Г. Минц «Федор Сологуб и его роман “Мелкий бес”» была написана для издания романа в переводе на эстонский язык, выполненном П.-Э. Руммо и Ю. Пярном, с комментариями Н. Пустыгиной. Перевод вышел в издательстве „Eesti raamat“ / «Ээсти раамат» в 1987 г. — за год до первого позднесоветского переиздания романа с предисловием В. А. Келдыша «О “Мелком бесе”» [Сологуб 1988].

Статья З. Г. Минц начинается с краткой характеристики эволюции поэтического творчества Сологуба, в которой подчеркивается неразрывность всех его этапов. Отдельно автором выделяется влияние на поэзию Сологуба творчества Достоевского, позднего народничества, идей Вл. Соловьева и

утопии Н. Федорова. Основная часть статьи посвящена анализу структуры романа Сологуба «Мелкий бес» и во многом опирается на более раннюю работу З. Г. Минц «О некоторых “неомифологических” текстах в творчестве русских символистов» (1979) [Минц], представляя ее основные положения в сокращенном и адаптированном для широкого круга читателей виде.

Стихотворные цитаты были приведены во вступительной статье Минц на двух языках, оригиналы цитировались по изданию Сологуба в «Библиотеке поэта» (1975) [Сологуб]. Цитаты из романа были даны сразу в переводе на эстонский, ниже они приводятся нами по изданию [Сологуб 2004].

Зара Минц. Федор Сологуб и его роман «Мелкий бес»

Федор Сологуб — один из виднейших русских писателей-символистов начала XX в. Поэт, прозаик, драматург, переводчик, критик, теоретик литературы и публицист — Ф. Сологуб был очень разносторонней и оригинальной творческой личностью. Прожив долгую жизнь, он оставил после себя огромное литературное наследие, сыграв значительную роль в развитии русского «нового искусства» и — шире — русской литературы всего пред-революционного десятилетия.

Ф. Сологуб (настоящее имя Федор Кузьмич Тетерников) родился 17 февраля 1863 г. в Петербурге. Его отец был портным и умер от туберкулеза, когда мальчику было четыре года. Его мать, по происхождению крестьянка, поступила в услужение, чтобы прокормить детей. Но тяжелый труд не спас семью от бедности.

Конечно, не только Сологуб с ранних лет мог чувствовать нищету и унижения. Жизнь Алеши Пешкова, будущего Максима Горького, была намного труднее. Крайнюю бедность испытал в детстве А. Куприн. Мещанство, лакейское пресмыкание перед вышестоящими, неуважительное отношение к себе подобным и нижестоящим характеризовали атмосферу, в которой вырос А. Чехов. Однако влияние таких, во многом схожих, условий жизни на этих будущих русских писателей было различным. Реакция на «свинцовые мерзости русской жизни» сделала юного Пешкова бесстрашным бунтарем, выработала у Чехова в гимназии упорную волю «день за днем выдавливать из себя раба» и посеяла ужас и презрение к насилию в обществе в чувствительной душе корнета Куприна.

Пережитое Федором Сологубом вызвало у него отвращение к действительности и попытку уйти от нее в мир грез. Но на первый взгляд жизнь будущего писателя не была такой безнадежно мрачной. В доме «бабушки»

Агаповой, где мать Сологуба была прислугой и где он жил вместе с матерью, поощрялся интерес ребенка к книгам, театру и опере, а также к учебе. Однако подверженная настроению своевольная «бабушка» могла в любой момент выгнать сына горничной из господских комнат на кухню. К тому же мать Сологуба, очень любившая своих детей, была убеждена, что к сиротам, растущим без отца, нужно относиться особенно строго, чтобы не избаловать их. Властная, а иногда даже жестокая, она заставляла сына ходить босиком с ранней весны до поздней осени и подвергала его унижительным наказаниям (порка, пощечины, стояние на коленях в углу). По прочтении биографических записей Ф. Сологуба создается впечатление, что его мать была садисткой. Но на самом деле это не так: Татьяна Сергеевна Тетерникова просто воспитывала сына по исконной «крестьянской педагогике». И не исключено, что и мать Ф. Сологуба, и «бабушка» изливали на мальчика накопившееся в душах двух несчастных женщин раздражение. Конечно, никто из них не понимал, что эти пощечины и побои наносились не крестьянскому мальчику, выросшему «как все», а нервному, чувствительному и начитанному городскому ребенку, ненавидевшему унижения и считавшему себя отверженным, одиноким и несправедливо осужденным всеми — и дома, и в школе, и на улице.

После школы шестнадцатилетний Ф. Сологуб поступил в Учительский институт. За его окончанием последовала десятилетняя служба в провинциальных школах, гимназиях и семинариях. «Уездное, одичавшее захолустье», о котором писал Достоевский, было знакомо учителю Тетерникову, пожалуй, больше, чем многим другим русским писателям. К тому же он увез с собой стареющую, но все еще непреклонную мать, которая в целях экономии запрещала сыну ходить по городу в обуви, когда на улице не было снега.

Лишь в 1892 г. Ф. Тетерников вернулся в родной город. В Петербурге он получает место учителя математики и — что для него гораздо важнее — заводит дружбу с несколькими поэтами-символистами, связанными с журналом «Северный вестник»: Д. Мережковским, Н. Минским, З. Гиппиус, К. Бальмонтом. Он начинает сотрудничать в журнале и тогда же берет себе псевдоним Ф. Сологуб, с которым неизвестный учитель вступает в литературу.

Ф. Сологуб с детства буквально пожирал книги и с юности, «не переводя дыхания», писал стихи. В его первых, наивных по замыслу и исполнению стихотворениях, на самом деле отражается тот же круг переживаний, который характерен для его позднейшей лирики: уход из мира человеческих отношений, окружавших поэта, попытка бегства в прекрасную страну грез (реже — к природе), и в то же время горькое осознание того, что мечты совершенно бессильны противостоять беспощадной действительности.

Возьмем, к примеру, одно из таких стихотворений, написанное 16-летним Сологубом, еще толком не освоившим тайны поэзии (или даже нормы письменной речи):

В мечтанья погруженный,
 По улице я шел.
 Я был король влюбленный,
 Пред мной¹ стоял посол.
 От милой королевы
 Кольцо принес он в дар.

 От счастья мои щеки
 Пылают горячо,
 И вдруг удар жестокий
 Я получил в плечо.
 И голос грубый, строгий
 Над ухом прогремел:
 «Мальчишка босоногий!
 Толкаться как ты смел!»
 Как из лазури ясной
 Я на землю упал,
 И фронт, от злости красный,
 Мне уши натрепал.
 С поникшей головою
 Плетуся я вперед,
 Мальчишки надо мною
 Смеются из ворот [Сологуб: 77–78].

В 90-е годы, уже вполне сформировавшийся Ф. Сологуб, самобытный прозаик и поэт, общающийся с «декадентами» «Северного вестника», сохраняет все ту же юношескую триаду в отношении к миру: жизнь ужасна – мечты прекрасны – жизнь разрушает мечты. Но теперь эти образы находят отражение не в переданных с дневниковой точностью событиях жизни ребенка или провинциального школьного учителя, в них виден универсальный характер человеческого бытия. Лирический герой Сологуба всегда предпочитает мир своей души пошлой действительности:

Я люблю всегда далекое
 Мне желанно невозможное [Там же: 49].

¹ Грамматически верные «предо мной», «передо мной» не поместились в размер стихотворения!

«Туманные видения» — одна из центральных тем лирики Ф. Сологуба 1890-х гг. Пошлость жизни хоронит под собой мечты:

Короткая радость сгорела,
И снова я грустен и нищ,
И снова блуждаю без дела
У чуждых и темных жилищ.
Я пыл вдохновенья ночного
Больною душой ощущал,
Виденья из мира иного
Я светлым восторгом встречал.
Но краткая радость сгорела,
И город опять предо мной... [Сологуб: 167].

Исходная поэтическая картина мира Ф. Сологуба порождает еще две важные группы мотивов в его творчестве. Во-первых, это мотив смерти, где смерть — единственное спасение от зла, пошлости и убожества земной жизни:

О смерть! Я — твой. Повсюду вижу
Одну тебя, — и ненавижу
Очарования земли.
Людские чужды мне восторги,
Сраженья, праздники и торги,
Весь этот шум в земной пыли... [Там же: 120].

Во-вторых, из этих поэтических настроений рождается угрюмое и ненавидящее лирическое Я, противопоставляющее злу мира зло его бессильной, но искренней мечты о мести:

О, если б яростным желаньям
Была действительность дана, —
Каким бы тягостным страданьям
Земля была обречена! [Там же: 121].

Лирический герой Ф. Сологуба с его кошмарными страстями, патологией и болезненным отворачиванием к другим людям является прямым потомком «подполья» Ф. Достоевского. Но поэзия Ф. Сологуба 90-х гг. не уместается в рамки декаданса. В ней сохраняется гуманистический тон сочувствия к людским страданиям. Горе — это общий закон человеческого существования; а для Сологуба сострадание становится возможным благодаря непрерывному ощущению собственного бессилия, невозможности помочь ближнему:

В поле не видно ни зги.
 Кто-то зовет: «Помоги!»
 Что я могу?
 Сам я и беден и мал,
 Сам я смертельно устал,
 Как помогу? [Сологуб: 186].

Единственное решение — жертвенная смерть вместе с другими:

«...Если не сможем идти,
 Вместе умрем на пути,
 Вместе умрем!» [Там же].

Этот важный для Сологуба мотив сближает его с поздненароднической поэзией, с теми последователями Надсона, которые трагически переживали крушение веры в народ, в революционность народа, но сохраняли демократическое чувство «ближнего» и участие к другим людям.

И, наконец, третья особенность ранней лирики Ф. Сологуба, важная и для понимания его прозы. В кругу сотрудников «Северного вестника» Сологуб знакомится с эстетической утопией, которая позднее, в начале 1900-х гг., станет ядром творчества «младших символистов»: А. Блока, А. Белого и др. Пошлый и уродливый современный мир можно спасти только переделав его по законам Красоты. Красота же понималась прежде всего в духе философа и поэта конца XIX в. В. Соловьева — как мистическая сила, которая должна синтезировать духовные и материальные начала жизни, основав царство Духа на земле — «царство Божие на земле». Правда, Сологуб был скептик и по большей части не верил в возможность воплощения Красоты в пошлом земном мире; Любовь, рожденная Красотой, может стать на земле только грубой и злой чувственностью. И, как романтик, Сологуб предпочитает реальным воплощениям идеала преобразование жизни в мечтах (или в смерти).

Не ужасай меня угрозой
 Безумства, муки и стыда,
 Навек останься лёгкой грёзой,
 Не воплощайся никогда... [Там же: 182].

Однако вера в новую жизнь как в *Царство Красоты* постоянно мелькает в лирике и прозе Ф. Сологуба, особенно в конце 90-х гг. Красота предстает как прекрасная природа («Никого и ни в чем не стыжусь...»), как мечта о создании счастливой страны для «голодающих детей», как человеческая жизнь «во имя истинной красоты» («Постройте чертог у потока...») или символистский миф о пробуждении «спящей красавицы» («На меня ползи

туманы...»). Следует отметить, что именно у Ф. Сологуба символистский миф сохраняет наиболее яркую связь с народнической мечтой о мире всеобщего счастья, хотя в воображении Сологуба социальные признаки этого будущего государства остаются в тени эстетических характеристик («Красота и любовь как триумф всего Прекрасного над уродливым мещанским миром»).

Поэтический мир Ф. Сологуба, сложившийся в 90-е гг., в основных чертах сохранился и в его творчестве последующего десятилетия. Однако бурные предреволюционные годы и годы Первой русской революции вывели на первый план разные черты сложного, противоречивого мировоззрения писателя.

Так, годы рубежа веков характеризуются усилением декадентских настроений: «Я» становится единственной ценностью мира, Богом («Я — Бог таинственного мира»), противостоящим как небесным, так и земным (народ) «идолам». Новый лирический герой Ф. Сологуба, как и прежде, унижен жизнью и готов мстить, но теперь ему дана «сатанинская» сила, и он может противостоять «болезненному и злему существованию». Появляются колдовские мотивы («Я томился в чарах лунных...», «На распутье злом и диком...», «Ведьме»). Это уже не робкая мечта, которая тут же рассеивается перед легчайшим порывом жизни: «колдовство» помогает лирическому герою игнорировать земные законы:

Преодолев тяжелое косненье
И долгий путь причин
Я сам — творец и сам — свое творение... [Сологуб: 246].

и создавать мир по своему желанию.

Тогда же возникают и мотивы богоборчества (и солнцеборчества); герой заявляет, что продал душу сатане и преданно выполняет его приказания:

Когда я в бурном море плавал,
И мой корабль пошел ко дну,
Я так воззвал: «Отец мой, Дьявол,
Спаси, помилуй, — я тону.

Не дай погибнуть раньше срока
Душе озлобленной моей, —
Я власти тёмного порока
Отдам остаток черных дней».

.....
И верен я, отец мой, Дьявол,
Обету, данному в злой час...
.....

Тебя, Отец мой, я прославлю
В укор несправедному дню,
Хулу над миром я восставлю,
И соблазняя соблазню [Сологуб: 278–279].

Но что означает этот сатанизм в лирике Ф. Сологуба? Может быть, это проявление крайнего индивидуализма, столь распространенного в декадентском искусстве, и апология мистического зла? Как мы увидим далее, к мистицизму у Сологуба восходит только представление об иррациональности и непознаваемости устройства «злого мира» логическим мышлением. Он не верил в Сатану (как, вероятно, не верил и в Бога). В этом отношении Сологуб принципиально отличался от «мага» В. Брюсова, серьезно интересовавшегося оккультизмом, спиритизмом и т. д., а также от «соловьевцев» (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев и др.), твердо веривших в мистическую, божественную мировую душу (Weltseele), приносящую всем людям «счастливую весну». Для Сологуба «сатанизм» был образным языком, с помощью которого он решал вполне земные проблемы. Мир не только злой и пошлый — он активно защищает свое зло, уродство и пошлость. Злу мира и его Создателю — Богу, забывшему свой по ошибке созданный мир («Позабыл он о мире, / и от творческих дел опочил» [Там же: 279]), поэт хочет противопоставить иное зло — творческое, которое с помощью «оскорбления» и «искушения», стремится разрушить «миропорядок», исторически сформированный «старым злом». «Колдовство» в лирике Сологуба это способ игнорирования мира и способ ухода от мира и оправдания бунта.

Другая грань творчества Ф. Сологуба, не случайно проявившаяся именно в эти годы, — утопия о душах, освободившихся от своей пошлой земной оболочки и скитающихся на других планетах, в других звездных системах (цикл «Звезда Маир» (1898–1901) и связанные с ним стихи). Под влиянием утопического учения Н. Федорова (конечным результатом развития христианской цивилизации и науки должно стать воскрешение всех людей, живших на Земле) этот цикл рисует картины идеального мира, где правят Гармония, Природа, Любовь и Искусство. Мечта создает идеальный мир — Творчество (и неотделимое от него, по мнению Сологуба, творческое зло), перекраивает реальность по идеальному образцу.

Так Ф. Сологуб пошел навстречу Первой русской революции. Его непосредственная реакция на эти события ясно подтверждает, что демократические идеалы 1905 г. были близки сердцу художника. В лирике Сологуб приветствует революцию циклом «Соборный благовест», где он безболезненно отказывается от своего раннего индивидуализма.

Давно в степи блуждая дикой,
 Вдали от шумного жилья,
 Внезапно благовест великий,
 Соборный звон услышал я.

Охвачен трепетным смятеньем,
 Забывши тесный мой шалаш,
 Спешу к проснувшимся селеньям,
 Твержу: «Товарищи, я — ваш!» [Сологуб: 302].

Подобный отказ от одиночества был свойственен и другим «старшим» символистам, ср., напр., «Кинжал» В. Брюсова, созданный в 1903 г. (т. е. за год до «Соборного благовеста»). В обоих стихотворениях (как и в позднейших размышлениях А. Блока) одиночество и индивидуализм явно связаны с временем реакции, а приближение к человеку — с революцией. При этом если Брюсов очарован героизмом революции, то Сологуб считает самым главным в ней — возможность увидеть в другом человеке не врага, а товарища. В 1905–1906 гг. Ф. Сологуб открыто прославляет народное восстание («Швея», «Великого смятения...» и т. д.). В эти годы он становится одним из самых активных сатириков («Шут», «Воцарился, злой и маленький...»), он пишет обличительные «Политические сказочки», несколько статей о преображении жизни в свободную Красоту, драму «Победа смерти», где нашли отражение его размышления о революции и пр.

Но революция закончилась поражением, и Сологуба вновь стали тревожить мысли о мировом зле, вечности и непобедимости «змея» («Змий» — название сборника Ф. Сологуба, опубликованного в 1907 г.), об искупительной смерти и т. д. Правда, в творчестве Сологуба теперь на передний план выходит эстетическая утопия, возникшая в конце 1890-х гг.: именно искусство, мечты художника способны претворить «грубую жизнь» в «пленительную легенду» (роман «Навыи чары»). Но к концу первого десятилетия XX в. поэзия Ф. Сологуба исчерпала свои основные возможности развития. И неслучайно Сологуб постепенно переходит от поэзии к прозе и драматургии, а в его произведениях проявляется все меньше индивидуальности и новаторства. В 1910–1920 гг. Ф. Сологуб все больше повторяет мотивы своего более раннего творчества и постсимволистской литературы. Федор Сологуб умер в 1927 г., так и не приняв фактического участия в создании нового постреволюционного искусства.

«Мелкий бес» — лучшее прозаическое произведение Ф. Сологуба и один из самых значительных романов начала XX в. Он был написан Ф. Сологубом в 1892–1902 гг., а целиком опубликован в 1907 г. (в 1905 г. вышел без последних глав). Таким образом роман был создан в период расцвета творчества

Ф. Сологуба. «Мелкий бес» (как и более ранний роман Сологуба «Тяжелые сны» и рассказы рубежа веков) имеет весьма заметную связь с русской реалистической прозой XIX в. — как с бытовой, так и, особенно, сатирической. На каждой странице романа есть ощутимые «гоголевские», «чеховские» и, пожалуй, больше всего «щедринские» элементы. Уездный город в российской провинции конца прошлого века. Грязные и пыльные улицы, исходящее от низких выцветших домов уныние, скучная буржуазная жизнь: мечты вдов и девиц о замужестве, пьянство и карточная игра как главное «веселье», озлобленность, ругань, тоскливые, душераздирающие песни... Но бедные, убогие окраины затронуты писателем лишь вскользь: главная тема романа — мещанство, жизнь мелкобуржуазной интеллигенции города. Здесь нет материальной скудости: кажется, что люди заняты в основном едой и питьем. И оттого более заметна их духовная нищета.

Главный герой, «мелкий бес» романного мира, — школьный учитель литературы Передонов. Трудно представить себе более антипатичного персонажа (даже учитывая, что этот персонаж сатирически гиперболизирован). Этот «угрюмый» человек с «обыкновенно равнодушно-сонным лицом» [Сологуб 2004: 11] кажется олицетворением духовной убогости и нищеты во всех ее проявлениях. Он тупоумен и крайне необразован. Учитель литературы (!) Передонов знает о Пушкине только то, что он «был камерлакей» (!); по его мнению, Мицкевич издавал «Колокол»; Передонов никогда не слышал о рассказе Чехова «Человек в футляре», потому что он «не читает пустяков» и, по его мнению, «в повестях и романах все глупости пишут» [Там же: 54]. Но дело не только в профессиональной некомпетентности учителя литературы: Передонов не интересуется ничем, что непосредственно его не касается, от чего ему нет никакой выгоды или опасности: люди его не интересуют, «как все предметы, с которыми не были кем-то установлены для него приятные или неприятные отношения» [Там же: 18]. Однообразная жизнь и безграничная скука — таков интеллектуальный мир Передонова.

Но еще страшнее моральное обличье «мелкого беса». Его абсолютный эгоизм содержит в себе в равной степени как безграничную трусость, так и безграничную агрессивную жестокость, порождающую цепь отвратительных поступков: издевательство над котом, месть квартирной хозяйке перед переездом в новую квартиру и т. д. Наиболее ярко проявляется характер этого «учителя литературы» в его отношении к своим ученикам. Здесь Передонов — законченный садист: он любит ходить к родителям или владельцам квартир и, очерняя мальчиков, заставляя взрослых подвергать детей телесным наказаниям. Обратная сторона этого садизма проявляется

в грязной, патологической сексуальности Передонова. Он может думать о женщинах (и своих будущих невестах) только в примитивном эротическом смысле. Грязные эротические мечты Передонова неразрывно связаны с окружающей его физической грязью. Не случайно Передонов глубоко презирает «чисто вымытых» гимназистов: ему близки и понятны только перезревшие распутники старших классов.

Так какую же идею несет в себе этот чудовищный «мелкий бес»? Конечно, Передонов не является отрицательным героем нравоучительного повествования, иначе он был бы однобоким и тривиальным преступным типом. Нет, перед нами глубокий и объемный символ. Его смысл раскрывается по-разному на разных уровнях произведения, но одни смыслы не отменяют других, а существуют рядом, как бы просвечивая друг сквозь друга. На бытовом и психологическом уровне Передонов — душевнобольной, точнее, человек, который на наших глазах погружается в пучину безумия. Его убожество оборачивается маниакальной мечтой стать инспектором. Это обеспечило бы ему основанное на страхе уважение: все учителя глубоко кланяются, а все школьники боятся и испуганно шепчут: «Инспектор идет». Его трусость перерастает в манию преследования — страх доносов, из-за которых он может не получить вожаемой должности инспектора. И тогда действия Передонова совершенно теряют связь с реальностью: он тычет в глаза своим врагам игральными картами, сам пишет на них доносы, воображает, что его глупый друг Володин задумал с ним обменяться: жениться на невесте Передонова Варваре и самому стать инспектором. Больного атакуют чудовищные видения, самое чудовищное из которых — недотыкомка — подстрекает Передонова поджечь здание клуба во время маскарада, а затем убить своего соперника Володина.

Психопатологический пласт «Мелкого беса» обнаруживает в романе влияние Достоевского. Это проявляется во всем — от названия (ср. «Бесы» Достоевского) до самой истории о крайнем индивидуалисте, который проходит путь от «подпольного» существования к безумию и преступлению.

Однако «Мелкий бес» — это не психологический роман (точнее, не только психологический роман). Не менее важную роль в романе играет социальный пласт, в котором на первый план выходят сатирические элементы. В первой половине романа Передонов предстает крайним реакционером, шовинистом (см. «польская тема»), невежественным учителем и доносчиком. Эволюцию главного героя можно рассматривать как путь «щедринского» либерала. Передонов признается: «Социалистом я никогда не был, а что там иной раз, бывало, скажешь лишнее, так ведь это в молодые годы кто

не кипятится» [Сологуб 2004: 81]. Когда-то Передонов хотел иметь «конституцию, но только без парламента». «Но и то это давно было...», «а теперь я ничего такого не думаю» [Там же]. Символом его «эволюции» является сцена с переменной портретов. Передонов, чтобы подчеркнуть свое свободомыслие, переносит портрет «камер-лакея» Пушкина в отхожее место, но в ожидании должности инспектора он стремится продемонстрировать лояльность государству и портрет Пушкина возвращает в столовую, а в отхожее место выносит портрет Мицкевича. Передонов похож и на либерала у Щедрина, и на «человека в футляре» Чехова (который также был учителем литературы в провинциальной гимназии).

Сатирический аспект романа позволяет рассматривать Передонова как часть социальной среды, как тип русского провинциального мещанина конца XIX в. С Передоновым можно соотнести реакционного прокурора Авиниовицкого, заявляющего, что «смертная казнь <...> не варварство» и что «из мужиков в баре выводить — глупо, смешно, нерасчетливо и безнравственно» [Там же: 77], и других гимназических учителей, таких же чрезвычайно закостенелых, ограниченных и глупых. И даже там, где нет явного сходства, очевидно родство мелкобуржуазного мира провинциального города с Передоновым и его «бесовством» — и главный герой, и его окружение изображены с одинаковым гротеском.

В предисловии ко второму изданию «Мелкого беса» Ф. Сологуб с иронической упрощенностью, но вполне четко соотносит произведение с типизирующей линией социальной сатиры и подчеркивает связь тем и персонажей книги с собственным жизненным опытом: «Я не был поставлен в необходимость сочинять и выдумывать из себя; все анекдотическое, бытовое и психологическое в моем романе основано на очень точных наблюдениях, и я имел для моего романа достаточно “натуры” вокруг себя» [Там же: 5]. Исследования советских литературоведов полностью подтвердили это утверждение автора: в гимназии в Великих Луках, где Сологуб служил в 80-е годы, один учитель, довольно грубый и жестокий человек, оказался душевнобольным, но болезнь его в течение длительного времени не была замечена, так как он не сильно выделялся среди здоровых коллег своим культурным и нравственным обликом. Этот эпизод лежит в основе сюжета «Мелкого беса».

Там же Ф. Сологуб указывает и на социальную типичность романа, поскольку, по его мнению, объектом картины является не столько сам Передонов, сколько передоновщина, «явление довольно распространенное» [Там же]. Использование неологизма с суффиксом *-щин-* приближает это понятие к представлениям русской демократической критики XIX в. (ср. «обломовщина» и др.). Не случайно термин «передоновщина» был принят в языке

демократической и социал-демократической критики начала XX века как характерная черта определенного общественно-исторического явления русской жизни на рубеже веков.

И наконец, в финале предисловия к пятому изданию романа, Ф. Сологуб дает «затекстовый» вариант жизни Передонова, описывая его дальнейшую жизнь в стольпинское время. Он пишет, что его главный герой не умер, но после выхода из психиатрической лечебницы «поступил на службу в полицию <... > Чем-то отличился в этой должности и делает хорошую карьеру» или, по другим слухам, «занялся литературною критикою» [Сологуб 2004: 7]. Передонов трактуется здесь как объект политической сатиры.

Как видим, бытовой, психологический и социальный слои очень важны как для понимания проблематики «Мелкого беса», так и его гротескно-сатирического характера. И с точки зрения Сологуба, и с точки зрения его читателей, роман надо было понимать именно так. Но только ли так? Объясняет ли такой подход все в этом «странном» романе?

Несомненно, нет. Мы понимаем это уже с первых страниц «Мелкого беса» и даже раньше — из названия и эпиграфа («Я сжечь ее хотел, колдунью злоую»). Если мы имеем дело с историей душевной болезни, то откуда взялось это ужасное всеобщее безумие? Или, если мы читаем бытовой роман, то что это за среда, которая так откровенно корчится в путах ужасающих кошмаров недотыкомки?

Мы сможем ответить на эти вопросы только если признаем существование мистического слоя «Мелкого беса». Правда, мистика Сологуба уникальна. Она вырастает не из представлений о том, что сверхъестественное действительно существует, но из убеждения, что материальный мир иррационален и зол. Неважно, можно или нельзя научно объяснить происходящее в романе (конечно, можно), если действительность в целом непредсказуема, если возможно, что красивый и чистый душой Саша Пыльников объявляется... девочкой, или что самых прилежных учеников по наущению Передонова может высечь не только квартирная хозяйка, но и любящая истеричная мать. Гоголю пришлось ввести персонификации зла, чтобы объяснить страшное и внезапное превращение всего во все. Но Сологубу не нужны были ни Панночка, ни Вий: сама жизнь губительна и враждебна ко всему хорошему и прекрасному в своей бытовой, психологической, исторической, социальной, политической и национальной специфике. Все сверхъестественное, что может случиться с Хомой Брутом в «Вие», непредсказуемо ужасно. Но так же ужасно и непредсказуемо все, что можно «научно объяснить», что может случиться с Передоновым и что происходит изо дня в день в одном провинциальном городе России.

Сказанное объясняет эстетические предпосылки романа Сологуба. Авторская точка зрения постоянно двойится, так что изображенное может быть истолковано и как относящееся к реалистической эстетике, и как дальнейшее развитие романтических традиций. Действительности в романе приданы черты, которые могут характеризовать как реалистические (особенно социально-сатирические, гротескные) произведения, так и «мир» романтических текстов. Так, например, жизнь городского мещанина характеризуется как крайне алогичная и нелепая (см., например, настойчивое желание учителя Рутилова отдать Передонову в жены одну из своих любимых сестер). Жизнь эта кажется перевернутой с точки зрения всех норм общежития: ложь там выглядит правдой, правда ложью (Передонов думает о фальшивом письме княжны: «Вот, наконец, ясное и положительное обещание» [Сологуб 2004: 65]), а несомненно искреннюю и наивную поддержку Володина он считает притворством и подозревает его в преступном умысле). Эта жизнь механически безжизненная, кукольная (очки в золотой оправе прыгают на носу танцующего Передонова «механически, как на неживом»; купец Тишков, постоянно говорящий в рифму, «действовал с неуклонностью хитро придуманной машинки-докучалки», и кажется, что он «не живой человек, что он уже умер, или и не жил никогда» [Там же: 74] и т. д.). Это жизнь сна, жизнь кошмара. Но все эти черты реальности можно найти в произведениях Э. Т. А. Гофмана, Э. А. По, а также Н. Гоголя, А. Герцена или М. Салтыкова-Щедрина. В реалистической литературе такое изображение действительности подчеркивает исторически сложившуюся аномальность общественного строя, а в романтической — вечную «нереальность» материального мира. Творческая мысль Сологуба свободно перемещается между этими двумя точками зрения (в литературе XIX в. явно противоположными), как бы сливая их или не замечая их коренного противоречия. То же самое можно сказать и о характеристике действительности как злой и нелепой: такого рода мировоззрение можно встретить как в произведениях реалистов, так и в произведениях романтиков.

Отдельно следует отметить значение эстетических особенностей в описании мещанского мира (и его противоположности) в романе. Мещанство, «передоновщина» — это не только мир, стоящий вне этики, но и подчеркнуто неэстетичный мир. Жестокость и уродливость в нем неразрывно связаны. Подчеркивание грязного и уродливого обусловлено символистским панэстетизмом Ф. Сологуба — осмыслением мира в эстетических категориях. Реальный мир — это бесконечное «порушение Красоты» (см. описание карнавального костюма мещанки Грушиной: тело было красиво, «но какие противоречия. На коже — блоши укусы, ухватки грубы, слова нестерпимой

пошлости. Снова поруганная телесная красота» [Сологуб 2004: 222]). Неэстетичное проявляется также как скучное и бесконечно тягостное. Реабилитация красоты в «Мелком бесе» связана с любовью (роман гимназиста Саши Пыльникова со взрослой девушкой Людмилой Рутиловой), апологией природы и искусства, яркими фигурами детей («вечные, неустанные сосуды божьей радости») — со всем, что не подвержено влиянию «передоношщины» и прекрасно благодаря своей молодости, жизнерадостности и т. д.

Первоочередное значение эстетических черт в противопоставлении реального мира поэтическому идеалу явно отличает роман Ф. Сологуба от социальной критики действительности писателей-реалистов XIX в., но в то же время в «эстетизме» «Мелкого беса» нет ничего мистического. В прозе Ф. Сологуба 1890-х гг. красота означает не «небесную» Вечную Женственность, а утверждение поправленных прав прекрасного человеческого тела. Не случайно Людмила Рутилова называет себя язычницей, безумно влюбленной в красоту человеческого тела. Да и вообще, «преображенный» мир «Мелкого беса» (в отличие от лирики Сологуба), несмотря на всю свою поэтичность, все-таки слишком земной. Это жизнь тех самых провинциалов, единственные достоинства которых — юношеская красота, искренность и смелость.

Не случайно Блок, в своей статье «О реалистах» (1907) высоко оценивший роман Сологуба и увидевший в отношениях Саши и Людмилы триумф плоти «прозрачной, легкой и праздничной», не может скрыть некоторого разочарования, потому что для него персонажи романа еще слишком «земные»: «Жаль только одного; того, что с таким малым духом может ужиться их благоухающая плоть» [Блок: 60], что Пыльников и Рутилова — «заоблачные мещане, небесные обыватели». Но для Сологуба, как мы видели, такое представление мира красоты имело принципиальное значение.

Таким образом символистский эстетизм Сологуба, как и другие грани его картины мира, позволяют трактовать «Мелкого беса» как в перспективе романтической традиции («апология красоты»), так и в плане реалистического описания действительности.

Последнее обстоятельство особенно бросается в глаза при сравнении его с художественными тенденциями второй половины XIX в.: и у Достоевского, и особенно у Чехова мир мещан кажется вульгарно уродливым. Таким образом, отличительной чертой художественного видения «Мелкого беса» является одновременное ориентирование на две основные художественные традиции XIX в. и попытка их синтеза (в духе литературной программы «Северного вестника»). Но картина мира романа раскрывается не только через эту попытку синтеза. Реалистическая ориентация на

конкретизацию персонажей и сюжета в бытовом, психологическом, социальном и т. д. планах, и одновременно их романтическое обобщение позволяют играть с объемом изображаемого. Речь идет то о типичных обстоятельствах жизни русского провинциального мещанства конца XIX в., то о противопоставлении чудовищной пошлости рассеянной в мире красоте. Более глубокий смысл этих персонажей и сюжетных коллизий создается с помощью еще одного новаторского приема, который связан с поэтикой символизма. Это неомифологическая структура романа.

Для того, чтобы понять главную и «тайную» символику образов, появляющихся в романе, необходимо в единичном и мимолетном узнать его вечную и исконную сущность.

Эта сущность с течением времени проявляется в очень разных формах, но остается неизменной. Она обширнее, чем любое детальное или историческое («реалистическое») толкование того или иного факта, и воплощается в наиболее совершенной форме не в абстрактных («романтических») идеях, а в «художественных» мифах, этих хранителях общечеловеческой мудрости.

Иными словами, изображенное должно быть поднято на уровень мифа (или мифов), воспринято как его (их) проявление и в то же время должно быть само более глубоко понято через этот миф (или эти мифы). Миф становится как будто ключом к раскрытию образного языка произведения. В числе таких мифов у символистов встречаются как чисто мифологические тексты, берущие свое начало из античности, Евангелия и т. п., так и приравненные к ним тексты, берущие начало из народных песен и литературы, — «вечные» произведения искусства, которые, подобно народным творениям, сохраняют в своих образах (символах) намеки на «тайны мира» и их разгадки. В случае Сологуба, в силу его ориентации на синтез культур, особенно важно, что содержание романа может быть дешифровано не только как символ старых мифов, но и с помощью реалистических произведений русской литературы XIX в., от Пушкина до Чехова, которые сами предстают здесь в новой роли — как носители символов, имеющих универсальное общечеловеческое значение.

Противопоставление пошлой «передоновщины» и ярких элементов Красоты в «Мелком бесе» раскрывается через две контрастирующие группы «мифов» и связанные с ними символы. Передонова можно понимать прежде всего как отражение «мифов» русской классической литературы. Здесь главную роль играют произведения с сатирическими и (или) фантастическими элементами. Первым таким текстом, раскрывающим характер

героев романа, пожалуй, мог бы стать уже упомянутый рассказ Чехова «Человек в футляре». В обсуждении этого произведения в романе обнаруживается не только глупость Передонова (о которой говорилось выше). Основная идея эпизода состоит в том, что для сочувственно изображенной молодой и интеллигентной барышни Адаменко и ее брата-гимназиста, как и для самого Сологуба, Передонов является двойником Беликова, а точнее оба они — проявления «передоновщины». Их объединяет страх реальности, стремление спрятаться от нее, реакционность и замкнутость «в футляре».

Нарастание причудливости и вздорности поведения Передонова подчеркивает введение еще одной аллюзии — на сюжет «Мертвых душ». Готовясь получить фантастическое место инспектора, Передонов наносит визиты «первым людям» города: городскому голове, предводителю дворянства, прокурору и др. На каком-то этапе передвижения Передонова по городу начинают формировать сюжет. С одной стороны, это дает Сологубу (как и Гоголю) возможность открыть галерею сатирических портретов русских провинциальных чиновников рубежа веков: открытых или маскирующихся реакционеров, болтунов-либералов, толстовцев и т. д. С другой стороны, эти визиты, с постоянно возобновляющимися разговорами о вымышленном инспекторстве Передонова, создают фантазмагорическую картину мира «мелкого беса» как нереального и воображаемого, находящегося в абсолютном логическом противоречии с действительностью — мира «мертвых душ».

Однако тема бюрократического и мертвенного, «замкнутого в футляре» существования и реакционного застоя «уездного, одичавшего захолустья» проливает свет лишь на одну грань «передоновщины». Важнейшая мысль Сологуба — показать, что обратная сторона «замкнутости в футляре» и неподвижности — это безумие и хаос, что зародыши крушения и обреченности присутствуют в буквоедском чиновничьем сознании Передонова еще до того, как он наполовину сошел с ума в ожидании места инспектора. Постоянно углубляющееся безумие проявляется в сопоставлении «передоновщины» с несколькими образами, уже существовавшими в русской классической литературе. Не только название романа «Мелкий бес» отсылает к «Бесам» Достоевского, но и темы безумия и садизма, а также лейтмотив пожара. Последнее очень важно для Сологуба и пронизывает все произведение от сцены, где Передонов предлагает гимназисту Нартановичу «подпалить» платье сестры, до поджога дома, в котором происходил маскарад. Именно через этот мотив раскрывается «тайная» связь неподвижности и всеохватывающего хаоса. (Кстати, отношение «Мелкого беса» к «Бесам» также полемично: если «бесовство» у Достоевского связано с элементами социального протеста и сопротивления, то у Сологуба — с крайней реакционностью).

Рассуждения Сологуба о том, что современный мир — это мир погрязшей, проданной и продажной Красоты [Сологуб 2004: 51] звучат как реминисценции из «Идиота», так же как и сюжетная линия Передонова, которая завершается зверским убийством в финале романа².

Изображение маниакального бреда Передонова раскрывается через параллели с «Пиковой дамой» Пушкина: мотив оживающих карт («Пиковая дама все ко мне лезет», — говорит «мелкий бес» с ужасом [Там же: 165]), отождествление пиковой дамы с обещавшей покровительство княгиней, которую главный герой, подобно пушкинскому Германну, готов для своих честолюбивых планов сделать любовницей и т. д.

Здесь к «дешифрующим» мифам классической литературы добавляются персонажи русской народной демонологии (оборотни-люди, оборотень-кот и т. д., вызванные к жизни большой фантазией Передонова). И наконец — в центре этого бреда ужасная недотыкомка. Это тоже цитата (точнее, автоцитата), и полный смысл этого образа становится понятен, если сравнить его со стихотворением Ф. Сологуба «Недотыкомка серая...», в котором она символизирует ужасающий хаос, окружающий лирического героя и одновременно живущий в его душе.

С последним фактом связана еще одна интерпретация романа. Многие современники — как символисты, так и те, что были далеки от «нового искусства» — увидели в «Мелком бесе» психологическую исповедь, «автобиографический» роман, «лирику». Попытка через роман понять Сологуба как человека, конечно, наивна и вульгарна: Сологуб не был ни тупицей, ни садистом, ни шантажистом. Но как выражение идейно-эстетической сущности «Мелкого беса» «лирическую» (точнее, гуманистически-сочувственную) многослойность романа нельзя отбрасывать, хотя она и не является ни единственной, ни главной. Несмотря на неприятие Передонова, автор не утратил сочувствия к этому персонажу. Хотя Передонов (и передоновщина) активно создают вокруг себя атмосферу безумия, они и сами становятся его жертвами (см. постоянное ощущение «предсмертных чудовищных мук» [Там же: 200] больного «мелкого беса», его мучительное одиночество

² С «Идиотом» роман связан также мимолетными отсылками и аллюзиями: совпадают весьма редко встречающиеся имена Ардалион и Варвара (в романе Достоевского эти имена носят помещански тщеславные и ограниченные брат и сестра Птицыны), в обоих романах убитые в финале персонажи сопоставлены с (жертвенными) баранами-агнцами (Настасья Филипповна *Барашикова* в «Идиоте» и баран Володин у Сологуба) и т. д. Сюжетное значение фамилии Настасьи Филипповны малозаметно (может быть, даже случайно), в то время как Сологуб постоянно подчеркивает тему «барана» Володина и таким образом как бы раскрывает «дешифрующую» идею.

и полное непонимание ближними его болезни). В этом смысле Передонов — не только символ мещанской пошлости, но и воплощение человека в этом страшном мире: ужас гнездится в его душе, разрушая все вокруг него и его самого. Такое понимание человеческой природы отражено и в лирическом Я поэзии Сологуба, и в сатирически-отстраненных образах героев романа. Поэтому лирика Сологуба может выступать как текст, раскрывающий характер главного героя.

Итак, уродливая «передоновщина» сочетает в себе бюрократически и механически организованный «футлярный» мир, где все полностью предсказуемо, с полным смертоносным хаосом, где все может обернуться чем угодно.

Хаосу противостоит Красота как космос (ср. «порядок», «мировой порядок»). Но в отличие от «нормальных», «естественных» и простых идеалов русских писателей XIX в., космос Сологуба сложен и внутренне противоречив. Его характер раскрывается в сюжетной линии Людмилы Рутимовой и Саши Пыльникова и связан с «дешифровкой мифов», составляющих отдельный «блок» концентрических кругов, идущих из совершенно иной культурной традиции, чем та, о которой говорилось выше.

Мир красоты сразу воплощен в романе в очень сложной форме. Во-первых, это совершенно «языческий» мир, где главной ценностью является «цветущая плоть». Но в то же время это еще и христианский мир жертвенности и евхаристии. В снах и любовных играх Людмилы попеременно упоминаются миф о Леде и Лебеде — и любовь как распятие. Здесь эстетические утопии «Северного Вестника» отражаются в преображающейся Красоте как синтезе языческих («земных») и христианских («небесных») элементов эстетики и этики.

Во-вторых, язычество представлено прежде всего как отсылка к античной мифологии и литературе, но и сама античность предстает двояко. Поначалу кажется, что отношения Саши и Людмилы — это просто странная и притягательная идиллия. На то, что это идиллия, указывает не только характер взаимоотношений героев, но и то, что — как и везде в «Мелком бесе» — «этот сюжет» насыщен цитатами, аллюзиями и реминисценциями. Еще до начала истории Саша и Людмила слышат песню Дарьи (романс?), в которой действуют идиллические персонажи: мальчик-пастушок и пастушка, упоминаются их атрибуты («свисток»), а сюжетная коллизия указывает на возможное «счастливое разрешение»:

Где делось платье, где свирель?
Нагой нагу влечет на мель.
Страх гонит стыд, стыд гонит страх,
Пастушка вопиет в слезах [Сологуб 2004: 116].

«Идиллический» колорит создают и придуманные Людмилой игры, в которых Саша переодевается в «рыбака с голыми ногами» и в «хитон афинского голоногого мальчика». Наиболее полно, однако (хотя и вне прямых текстовых экспликаций), отношения Людмилы и Саши раскрываются произведением, постоянно бывшим в круге внимания символистов «Северного вестника» — позднеантичным романом Лонга «Дафнис и Хлоя», в котором описывается путь пастуха и пастушки от невинной детской дружбы до страстного эротизма.

Тема развития чувств привносит в роман иную «античность»: идиллия оборачивается страстными «дионисийскими» восторгами, в Людмиле-Хлое просвечивают черты не только Афродиты, но и фурий или менад, а в Саше-Дафнисе — черты Диониса. То же бурное, страстное восприятие мира подчеркивается и ассоциациями героев с персонажами русского демонологического фольклора: сестры Рутиловы так бурно веселятся, что «ведьмы на Лысой горе позавидовали бы этому хороводу» [Там же: 118], Людмила хохочет как «русалка» и т. д.

Прямой отсылкой к мифам о Дионисе является эпизод, в котором Саша на маскараде наряжается в костюм гейши, разъяренная толпа, пытающаяся сорвать маску с получившей приз «дамы», почти убивает его, но ему удается сбежать. Здесь присутствуют все характерные мотивы: изменение внешности (особенно важна смена признаков «мужчина – женщина»; ср. слухи в предыдущих главах романа о том, что Пыльников — переодетая девушка), «растерзание» героя и его «чудесное спасение-возрождение» — все это «цитаты» из древнейших культов умирающего и воскресающего божества. Заметим, что культ Диониса и дионисийские элементы человеческого бытия подробно рассматривал Фр. Ницше в своих произведениях; интерес к ним был также весьма характерен для «ницшеанцев» «Северного вестника».

Обобщая особенности характеров и ситуаций, возникающие при сравнении «Мелкого беса» с различными «культурными мифами», приходим к более глубокой идее этого романа как символистского «романа-мифа». Мир раскрывается для Сологуба в противостоянии двух фундаментальных, космически-универсальных элементов бытия — хаоса и космоса. Хаос проявляется иногда как абсолютный и смертоносный порядок, иногда как

абсолютная дезорганизованность; как одно, так и другое губительно. Космос (согласно сочинению Фр. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки») понимается как единство и борьба двух неразрывно связанных элементов — «аполлонического» и «дионисийского». Оба этих элемента полны жизни, хотя в «аполлоническом» («дневном», рациональном) одерживает верх «чистая гармония», а в «дионисийском» («ночном», чувственном, иррациональном) гармония объединяется с дисгармонией, что иногда ужасает и приносит гибель, но всегда ведет к возрождению, как любовь-страсть (Amour-Passion). «Передоновщина» связана с символикой правящего миром хаоса, а мир Саши и Людмилы — это красота счастливой жизни, иногда «аполлонически» светлая, «дневная», иногда «дионисийски» мерцающая и волнующая неопределенным предчувствием любви.

Наслоение символов в романе Ф. Сологуба не умаляет сказанного выше о бытовом, сатирическом и других исторически сложившихся аспектах. Но именно план символов организует все изображаемое в единую всеобъемлющую романтически-символистскую концепцию. Материальное, «земное» в «Мелком бесе» — меняющийся во времени мир явлений, а то целое, что отражается в противопоставлении хаоса и космоса, уродства и Красоты — это истинная сущность бытия. Явления, подобно пене на поверхности жизни, адекватно изображены в сатирических тонах, а познание истинной сущности дано через высокое искусство, «миф».

Нетрудно показать, что все «внешние» признаки реальности в «Мелком бесе» можно считать разнообразными проявлениями Бытия. Так, например, в бытовом плане хаос — это мещанское прозябание с его бесконечной депрессией, а космос и гармония — любовь, искусство и игра, которые наполняют тревожно-счастливый мир Саши и Людмилы. Социально-политическая интерпретация произведения отождествляет хаос с реакцией и разрушением жизни, а космос — с блаженной свободой. В психологическом плане это противопоставление проявляется как антитеза болезни и сумасшествия здоровью и расцвету молодого человека; в этическом плане — безграничного эгоизма и садизма Передонова и всеобъемлющей любви; в эстетическом плане — как оппозиция уродства, «поруганной красоты» и торжествующей Красоты.

Выше уже было сказано, что в романе не показано полного преображения мира. Не случайно Сологуб в «светлой» части романа вместо утопии создает идиллию. Мир утопии всегда был отделен от исторической данности во времени или в пространстве (например, символисты говорят о торжестве Красоты «здесь», в материальном мире, но... после «конца света», когда придет «новое небо» и «новая земля»). Идиллия — это островки

идеала в мире здесь и сейчас. Но эта идиллия в романе не завершена: мы не знаем, чем эта «странная» любовь закончилась. И чем она могла бы закончиться? И нужно ли вообще, чтобы эта сюжетная линия чем-то заканчивалась? (Неужели законным браком?) Конечно, нет.

Незаконченность темы «спасающей мир красоты» показывает нечто большее, чем просто трезвое отношение Ф. Сологуба к «фантастическому» мировоззрению, о котором уже говорилось выше. Несформировавшееся чувство, оборванная сюжетная линия также являются символами. Исчерпанности и конечности Передонова как человека противопоставлено предчувствие «нисходящей в мир Красоты»; прошлому, которое все еще живет сегодня, — будущее, которое сегодня лишь выпускает трепещущие листочки. В мрачном, ужасном «Мелком бесе» есть проблески ярких лучей света. Здесь есть место Надежде. И в этом и заключается предреволюционность романа Ф. Сологуба.

Литература

Блок: Блок А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 5. М., 1999.

Минц: Минц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Учен. зап. Тартуского ун-та. 1979. Вып. 459: Блоковский сборник. III. С. 76–120.

Сологуб: Сологуб Ф. К. Стихотворения. Л., 1975.

Сологуб 1988: Сологуб Ф. К. Мелкий бес. М., 1988.

Сологуб 2004: Сологуб Ф. К. Мелкий бес. СПб., 2004.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абу Э. 187
Авалиани Д. Е. 216
Аверинцев С. С. 212, 235, 237, 241
Автономова Н. С. 16, 27, 328
Агапова Г. М. (Витберг Г. М.) 417–418
Адамович Г. В. 172, 189
Аддисон Д. 327
Азадовский К. М. 238
Азадовский М. К. 46, 369
Айвазян К. В. 242
Аксаков И. С. 343
Аксаков К. С. 298
Александр I 32–33, 41, 56, 76, 81, 83, 90, 94–96, 254–255, 257, 262, 276, 278, 281–284, 292, 300–302, 304–305, 307, 310, 312, 323–324, 327, 336, 351, 358, 372, 375, 377–378
Александр II 372
Алексеевский П. А. 303
Алексей Михайлович 273, 276
Алексей Петрович 273, 285
Амелин М. А. 78, 81, 97
Анастасевич В. Г. 32
Ангальт Ф. Е. 57
Андреев Л. Н. 238
Андрущенко Е. А. 135
Анна Иоанновна 58–61, 268
Анненков П. В. 56, 319–321
Анненкова П. Е. 260
Анненский И. Ф. 13, 191, 197–198, 200–201, 241
Антокольский П. Г. 179
Аракчеев А. А. 264, 303, 348
Арбузов А. П. 358
Арензон Е. Р. 209
Арпенбек Г. 59, 71
Арсеньев В. С. 317–318
Арсеньев С. Н. 317–318
Арсеньев Ф. Н. 317
Архипов В. А. 265
Астер 197
Ахвердов Н. И. 78–79, 82, 96
Ахмадулина Б. А. 211
Ахматова А. А. 167–169, 238, 241–242
Ашимбаева Н. Т. 239, 241
Багратион П. И. 302–303, 309, 371
Баевский В. С. 234, 239, 241
Байрон Дж. Г. 120, 309, 364, 372
Бакунина П. М. 114
Балашев А. Д. 257, 282–283, 377
Бальмонт К. Д. (Balmont, K.) 13, 170, 180–186, 189–190, 418
Баранов В. В. 118, 134
Барклай де Толли М. Б. 302–304, 371
Барков И. С. 340
Бароний Ц. 285
Барсков Я. Л. 276
Барсов А. А. 51–52, 68
Барт Р. 26
Бартнев П. А. 319–321
Бартнев Ю. Н. 318
Басаргин Н. В. 260, 354
Басманов П. Ф. 277
Батай Ж. 23
Батеньков Г. С. 261, 348
Баттё Ш. 78, 81
Батурина Л. А. 235
Батюшков К. Н. 74, 84–86, 88, 90, 92, 97, 132, 134, 307, 325, 342
Бахтин М. М. 331, 357, 391, 394, 399–400, 412
Бахтин Н. И. 350

- Беззубов В. И. 238, 241
 Беки Г. (Bechi, G.) 125, 136
 Белавенец П. И. 66, 68
 Беликов В. И. 318
 Белинский В. Г. 37–38, 193, 222, 261, 270, 288, 298, 306, 382, 395–396
 Белоголовый Н. А. 358
 Белый А. (Бугаев Б. Н.) 15, 20–23, 27, 148, 154, 162–163, 165–166, 168, 191, 199–201, 238, 241–242, 341, 357, 421, 423
 Белькинд Е. Л. 238
 Беляев А. П. 260, 358
 Беляев П. П. 358
 Бенвенист Э. (Benveniste, É.) 212, 220
 Бенкендорф А. Х. 303, 307, 314, 364
 Беннигсен Л. Л. 255, 297, 305, 309
 Берников Г. П. 228
 Берков П. Н. 36, 44
 Беринда П. (Беринда П.) 138, 151
 Бестужев (Марлинский) А. А. 324, 378
 Бестужев М. В. 260
 Бестужев Н. А. 358
 Бетховен Л. ван 319
 Бецкий И. И. (Бецкой И. И.) 57, 61, 63
 Бибииков В. А. 318
 Бирюков С. Е. 14, 202–220
 Бланк Б. К. 78
 Блок А. А. 10, 124, 134, 148, 154, 162, 166, 169, 171, 178–179, 189, 221, 225–232, 236–243, 318, 391–392, 402, 404, 415, 421, 423–424, 430, 437
 Бобринский А. Г. 53, 62, 71
 Бобрищев-Пушкин А. С. 258
 Бобров С. С. 34, 46
 Богданов И. 54
 Богданович М. И. 259
 Богомолов Н. А. 154–155, 159, 161–162, 164, 168
 Бодиско М. А. 358
 Бодуэн де Куртене И. А. 213, 219
 Бодэн Р. 47
 Бойнович А. Д. 56, 71
 Бок Т. Е. фон 307
 Бонне Е. 35
 Бооль В. Г. фон 64
 Бопп Ф. (Ворр, Ф.) 204, 206–208, 220
 Боратынский Е. А. 13, 191, 195, 197, 200
 Борис Годунов 277
 Боровикова М. В. 12–13, 170, 416
 Боровков А. Д. 253, 358
 Боровский Я. М. 70
 Борхес Х. Л. 114
 Бринк Э. (Brinck, E.) 59–60, 72
 Бродовская Ю. И. 190
 Бродская Г. Ю. 179, 189
 Бругт Марк Юний 321, 326
 Брюллов К. П. 117–119, 135
 Брюсов В. Я. 113, 127, 133–134, 175, 188–189, 236–237, 241, 394, 423–424
 Буало Н. 78
 Букатина-Дараган Г. Е. 49–50, 66, 68
 Булвер-Литтон Э. Дж. Э. Л. 133
 Булгаков А. Я. 100
 Булгаков М. А. 415
 Булгаков Я. И. 49
 Булгари Я. Н. 349
 Бунин И. А. 133, 269
 Бунин И. П. 75, 78
 Бунин П. М. 74
 Бунина А. П. 12, 73–92, 95–98
 Бурачок С. А. 104
 Буре Н. А. 203, 219
 Буташевич-Петрашевский М. В. 396
 Бухмейер К. К. 134
 Бухштаб Б. Я. 318

- Быков Р. М. 318
Быкова М. Ф. 328
Бюшинг А. Ф. 50
Бялый Г. А. 47
Вагнер Р. 239–240
Вадковский Ф. Ф. 349
Вайскопф М. Я. 120–121, 134
Валицкий А. 109, 111
Валлериус И. Г. 53, 68
Валуев П. А. 372
Василенко С. В. 134
Васильчиков И. В. 273, 375
Васюточкин Г. С. 239, 241
Ватто Ж. А. 338
Вацуро В. Э. 249
Введенский А. И. 234
Вдовин А. В. 111
Вейс С. А. 257
Вейсгаупт А. 282
Велижев М. Б. 13, 99, 100, 104, 111
Вельмезова Е. В. (Velmezova, E.) 14,
202–203, 206, 219–220
Вельтман А. Ф. 104
Вельфлин Г. 194
Венути Н. М. (Venuti, N. M.) 115,
136
Вергилий 93, 96
Верещагин В. А. 58, 68
Вернадский Г. В. 267, 283
Веселаго Ф. Ф. 66, 68
Веселова А. Ю. 47
Веселовский А. Н. 366
Веселовский С. Б. 273
Вехтер И. Г. 54
Вигель Ф. Ф. 329
Виельгорский М. Ю. 317
Вилламов А. Г. 93
Вилламов Г. И. 93
Висковатов А. В. 58–62, 68
Висконти П. Э. (Visconti, P. E.) 118–
119, 136
Витгенштейн П. Х. 302
Вишневецкий В. В. 320
Владимир Мономах 316
Воейков А. Ф. 295, 298–299, 367
Вознесенский А. А. 21
Войтехович Р. С. 13, 180, 187, 189
Волгин В. П. 28
Волк С. С. 265
Волконская Е. С. 262
Волконская М. Н. 260, 352
Волконская С. Г. 353
Волконский П. М. 255–256, 262
Волконский С. Г. 255, 260, 262, 352–
353, 377
Волконский С. М. 262, 376–377
Волошин М. А. 126, 134
Вольнский А. П. 354
Вольтер 293, 342–343
Воронцов А. Р. 301
Воронцов И. М. 332
Воронцов М. С. 375
Востоков А. Х. 84
Всеволожский А. В. 319–321, 356
Вяземский Н. Г. 375
Вяземский П. А. 101, 245, 304, 312,
323, 329, 351, 355, 357, 363, 372,
376, 379
Вяземский П. И. 255
Габбе П. А. 321
Гагарин И. С. (Gagarin, I.) 99–100,
103, 108, 110, 343
Гаген-Торн Н. И. 234, 241
Гайденкова Н. М. 135
Гальцова Е. Д. 27
Ганнибал А. П. 334
Гаршин В. М. 362
Гаспаров Б. М. 212, 237
Гаспаров М. А. 15–16, 23, 27, 135,
212, 232, 235, 239, 241–242
Гачев Г. Д. 280
Гегель Г. В. Ф. 126, 285, 327
Гей Д. (Gay, D., Girardin, D. de)
116–117, 119, 134, 136

- Гейне Г. 173–175, 177
 Гелескул А. М. 181
 Геллерман С. (Gellerman, S.) 35, 47
 Гельвеций К. А. 276, 282, 290, 293
 Георгий Амартол 140
 Герасимова Ю. И. 369, 372
 Гердер И. Г. 103, 111
 Герман К. Ф. 379
 Герсеванов Н. Б. 125, 134
 Герцен А. И. (Герц) 110, 429, 263–264, 268, 284, 298, 312, 363, 375, 382, 408
 Гершензон М. О. 100, 111, 223, 375
 Геснер С. 93
 Гете И. В. фон (Goethe, J. W. von) 133, 136, 284, 287
 Гиллельсон М. И. 355, 368
 Гиндин С. И. 237, 241
 Гишпиус З. Н. 10, 418
 Глебова О. А. (Судейкина О. А.) 154, 168
 Глинка С. Н. 57–58, 62, 68, 340–341
 Глинка Ф. Н. 254, 261, 322, 327, 330, 340
 Гнедич Н. И. 84, 297, 342
 Гоголь Н. В. 38, 100–102, 179, 289, 317, 357, 361–362, 407, 428–429, 432
 Голицын А. М. 340
 Голицын М. А. 110
 Голицына Е. И. 321
 Голицына Н. А. 320
 Голлидэй Е. Г. 175
 Голлидэй С. Е. 13, 170–172, 174–175, 178–179, 184–185, 190
 Головина А. С. 175, 189
 Голубинский Д. Ф. 318
 Голубинский Ф. А. 318
 Гольденберг Л. А. 53–54, 69
 Гомер 78, 340
 Гончаров И. А. 394, 410
 Гончарова Н. А. 187, 189
 Гораций 85, 96, 127
 Горбачевский И. И. 260
 Городецкий С. М. 133
 Горский О.-Ю. В. 272
 Горсткин И. Н. 324
 Горький М. (Пешков А. М.) 42, 394, 415, 417
 Гофман Э. Т. А. 429
 Грановский Т. Н. 105–106, 110–111, 260
 Грачева Е. Н. 137
 Гревс А. А. 349
 Грессе Ж.-Б.-Л. 88
 Греч Н. И. 306, 330
 Гречишкин С. С. 234–235, 238, 242
 Грибовский М. К. 324
 Грибоедов А. С. 255, 270, 333, 348, 369
 Григорьев А. А. 318, 398
 Григорьев В. П. 204–205, 209, 220
 Гримм, братья 126
 Гримм Ф. М. 326
 Гриц Т. С. 75, 76
 Гришунин А. Л. 231
 Гроссман Л. И. 223
 Грот К. Я. 74, 81, 97
 Грот Я. К. 141
 Гроций Г. 285
 Грязной В. 316
 Гудзий Н. К. 148, 151, 223
 Гуковский Г. А. 12, 29–30, 32–33, 36–47, 227, 325, 330
 Гумбольдт В. 204, 206
 Гумилев Л. Н. 267
 Гумилев Н. С. 10, 162
 Гусев В. Е. 166
 Гюго В. 177
 Даву Л.-Н. 377
 Давыдов Д. В. 255, 308–309, 325, 375–376
 Даниил Галицкий 267
 Данилов К. 359

- Дантон Ж. 360
Делиль Ж. 93
Дельвиг А. А. 360
Демидов А. Н. 118
Державин Г. Р. 73, 79, 84–85, 89–90, 92, 95–96, 287, 334, 341
Деррида Ж. 27
Джунковский С. С. 94–97
Дивов В. А. 358
Диккенс Ч. 175, 179
Димитрий Иванович 273
Дмитриев И. И. 289
Дмитриев М. А. 113–115, 122, 132, 134
Дмитриев П. В. 161, 168
Дмитриев-Мамонов М. А. 32, 245, 254, 313–314, 321, 366
Дмитрий Иванович (Донской) 354
Добролюбов А. М. 238
Добролюбов Н. А. 193, 319
Доватур А. И. 135
Довнар-Запольский М. В. 258–259, 378
Долгова А. И. 50, 56, 69
Долгорукий Н. С. 318
Долгоруков И. А. 322
Долгоруков Ю. А. 318
Долгорукова Н. Б. (Шереметева Н. Б.) 354
Долинин А. А. 13, 113
Долинский И. Г. 50
Долотова Л. М. 231
Доницетти Г. 154
Донская Н. В. 49, 69
Достоевский Ф. М. 13, 137, 146–148, 151, 156, 162, 168, 179, 200–201, 362, 382, 391–416, 418, 420, 426, 430, 432–433
Дружинин Н. М. 258, 323, 378
Дружинин П. А. 43, 49–50, 69
Друцкий И. С. 318
Дубровин Н. Ф. 259
Дуганов Р. В. 209
Дунаева Ю. А. 56, 69
Дурново Н. Д. 255–256
Дурново П. Д. 256–257
Дуров В. А. 63, 69
Дюбарри Ж. 402
Дюма А. (отец) 339
Дюма А. (сын) 413
Дюмутьель И. Ф. 318
Дюси Ж.-Ф. 88
Евгений, митрополит (Болховитинов Е. А.) 89
Егоров Б. Ф. 9, 33, 35, 37, 39, 45–46
Екатерина I 353
Екатерина II 54, 59, 61, 63, 71–72, 76, 89–91, 94–96, 271, 278, 317, 327, 329, 335
Екатерина Павловна 301
Елагин А. А. 108
Елагина А. П. 108
Елизавета Алексеевна 79–81
Елизавета Петровна 59, 61, 66, 254, 268, 281
Ермолов А. П. 254, 300, 371, 390
Еропкин П. Д. 83
Ефремов П. А. 319
Жарков Е. С. 318
Жирмунский В. М. 168, 239
Жихарев С. П. 355
Жомини А.-А. 64
Жоффре А. 356
Жуковский В. А. 13, 77, 84, 86, 88, 92, 97, 115, 134–135, 191, 200–201, 295, 298, 309–310, 325, 329, 367
Заблоцкий Е. М. 53, 69
Заболоцкий Н. А. 13, 191–201
Заборов П. Р. 144, 151
Завадовский П. В. 271, 274
Завалишин Д. И. 348, 358–359
Завалишин И. И. 254
Западов А. В. 97

- Зарубин И. Н. («граф Чернышев») 326
- Зенкин С. Н. 11, 15, 28
- Зильберштейн И. С. 229–230
- Золя Э. 343
- Золян С. Т. 27–28
- Зорин А. Л. 36, 45
- Зорич С. Г. 274
- Зубков К. Ю. 111
- Зубов В. А. 274, 358
- Зубов П. А. 274, 339
- Зубова А. В. 203, 219
- Ибсен Г. 198
- Иван III 316
- Иван IV (Иван Грозный) 251, 265, 273, 278–279, 316, 357
- Иван Иванович 273
- Иванов В. В. 212, 219–220, 222, 232, 234, 239–240, 242
- Иванов В. И. 148, 154, 164, 188–189, 237–238, 241–242
- Иванов Федор 271
- Иванов-Разумник Р. В. 241
- Иваск Ю. П. 175
- Ивашкина Л. Ю. 56, 69
- Игнатьева Е. И. 60
- Иезуитова Л. А. 238
- Измайлов А. Е. 337
- Илизаров С. С. 70
- Иоанн Антонович 273
- Иоанн, апостол 155, 401
- Истрин В. М. 366, 368
- Ицкович Д. С. 10
- Казакова Р. Ф. 211
- Кайсаров А. С. 9, 31, 40–45, 306, 309, 298, 367
- Кайсаров М. С. 298, 367
- Кайсаров П. С. 298
- Калашникова Э. 181, 189
- Каменский З. А. 104, 111
- Камынин А. Д. 318
- Камынин В. Д. 317–318
- Канкрин Е. Ф. 372
- Кант И. 102, 111
- Кантемир А. Д. 311
- Кантор В. К. 27
- Капнист В. В. 84
- Каразин В. Н. 375
- Карамзин Н. М. (Karamzin, N.) 12, 18, 29–47, 55–56, 72, 84, 110, 283, 288–289, 291, 294–296, 304, 330, 340–343, 345–347, 356, 359–360, 366–367
- Карл XIV Юхан Бернадот 301
- Карнап Р. 16
- Карнеев Е. В. 56
- Карпов А. А. 120, 134
- Кассий (Гай Кассий Лонгин) 321
- Катенин П. А. 350
- Катон Младший 327, 344
- Кафанова О. Б. 32, 45
- Кафка Ф. 206
- Каховский А. М. 300, 390
- Кашин Д. Н. 297
- Кашутина Е. С. 50, 69
- Кван Ким Су 16, 27
- Келдыш В. А. 416
- Кельберт О. Я. 46
- Кемпелен В. фон 308
- Кене Ш. (Quenet, Ch.) 104, 112
- Кенэ Ф. 286
- Кий 114
- Киреевский И. В. 106, 110, 279, 298
- Кирик Новгородец 315
- Кирилл, епископ Туровский 138
- Киселев Н. П. 317
- Киселева Л. Н. 12, 29, 46, 223, 225, 241, 244
- Киселев-Сергенин В. С. 135
- Классовский В. И. 115, 123, 125–127, 134
- Клемент Ф. Д. 9
- Клинггер Ф. М. 369
- Клушин А. И. 289

- Клюев Н. А. 238, 241
Ключевский В. О. 273
Княжнин В. Н. 318
Княжнин Я. Б. 291
Князев В. Г. 155, 168
Кобеко Д. Ф. 275–276
Кобылинский Л. Л. 199
Кованько И. А. 304
Кодзасов С. В. 211, 219
Козельский Я. П. 343
Козодавлев О. П. 329
Коленкур А. де 301
Колумб Х. 45
Комарович В. Л. 392
Коневской И. И. (Ореус И. И.) 234, 238, 242
Константин Павлович 79, 96, 262, 303, 307, 321, 337, 358, 371–372
Копанев Н. А. 52, 69
Коптев 110
Копьев А. Д. 339
Короленко В. Г. 257, 369
Корочаров В. И. 358
Корсаков И. Н. 274
Корф М. А. 262
Костров Е. И. 340
Котрелев Н. В. 238, 242
Коцебу А. фон 296
Кочеткова Н. Д. 47
Кошелев А. Д. 239
Краснопольский Н. С. 296
Крешев И. П. 115
Кривнова О. Ф. 211, 219
Крок Е. И. 379
Кромвель О. 58
Кросс Э. (Cross, A.) 94–95, 97
Крутоус В. П. 19, 28
Крылов В. М. 59, 61, 69
Крылов И. А. 269, 284, 288–289, 291–292, 335, 339
Кряжев В. С. 390
Кудрова И. В. 190
Кузмин М. А. 13, 153–169
Кузмина Н. Д. (Федорова Н. Д.) 158, 159
Кузнецов А. А. 63, 66, 69
Кульман Н. К. 368
Кумпан К. А. 131, 135, 159, 168
Купер Дж. 51, 69
Куприн А. И. 417
Куракин А. Б. 301
Курбский А. М. 316
Курочкин А. В. 118, 134
Кутайсов И. П. 274
Кутузов А. М. 31, 287, 294
Кутузов М. И. 293, 303–306, 309–310
Куц А. Д. 252
Кюхельбекер В. К. 74, 255, 343, 361
Лавров А. В. 134, 162, 168, 234–235, 238, 242
Лагарп Ж. Ф. 78
Ланской А. Д. 274
Ланской С. С. 373
Лафатер И. К. 367
Лебедева О. Б. 115, 134
Левенсон Л. Б. 56, 70
Левенштерн В. И. 303
Левин К. Н. 264
Левинтон Г. А. 242
Леви-Стросс К. 18–19, 24
Левшин В. А. 317–318
Легуве Э. (Legouvé, E.) 117–119, 136
Лейбов Р. Г. 13–14, 137, 223, 343
Ленин В. И. 209, 246, 264–265
Ленц Я. 43, 345, 369
Ленчик Л. Е. 229, 235, 237, 240, 242
Лермонтов М. Ю. 13, 23, 191, 196–197, 200–201, 236, 264
Лесков Н. С. 158
Лесли А. 59
Лесневский С. С. 238
Лившиц А. Л. 50, 70
Липранди И. П. 355

- Лихачев Д. С. 357
 Лишин Г. А. 174
 Лозина-Лозинский А. К. 133
 Ломоносов М. В. (Lomonossov, M.)
 13, 50, 52, 66, 69–72, 84, 87, 137,
 143–146, 148, 151, 209, 268, 271,
 281, 334, 340, 346
 Лонг 435
 Лотман Л. М. 249
 Лотман М. Ю. 233
 Лотман Ю. М. 9, 11–12, 15–47, 57–
 58, 60, 68, 70, 111, 146, 151, 191–
 192, 195, 200–201, 213, 221–243,
 244–391
 Лоцилов И. Е. 193, 201, 209
 Лунин М. С. 246, 258, 260, 365–366
 Лупанова Е. М. 58, 70
 Львов В. Ф. 272
 Любецкий С. М. 178
 Людовик XIV 276
 Людовик XVI 32
 Лямина Е. Э. 83
 М. П. 113, 121–122, 132, 135
 Мабли Г. Б. де 286
 Магомедова Д. М. 231, 238–240
 Мазарини Дж. 347
 Мазур Н. Н. 104, 111
 Майборода А. И. 380
 Майков А. Н. 174
 Макарий, патриарх 332
 Макаров П. И. 288, 346–347
 Макналли Р. (McNally, R. T.) 104,
 112
 Макогоненко Г. П. 36
 Маколей Т. Б. (Macaulay, Th. B.)
 116, 136
 Максимов Д. Е. 233, 236–237, 240
 Максимовский М. С. 66, 70
 Малевич О. М. 16
 Малиновский В. Ф. 50
 Мамстад Д. 154, 161–162, 164, 168
 Мальтс А. 111
 Мандельштам Н. Я. 124, 134
 Мандельштам О. Э. 124, 238, 240
 Мандрыкина Л. А. 238, 242
 Манн Т. 415
 Марин С. Н. 340
 Маринетти Т. 205
 Мария Федоровна 12, 73, 75, 78–83,
 86, 90, 92–96
 Мармон О. Ф. Л. 310
 Марр Н. Я. 18, 264
 Мартынов Г. Г. 69
 Марченко Н. А. 34, 46
 Маршак С. Я. 195–196
 Маслов П. К. 154
 Матвеева Н. Н. 211
 Маяковский В. В. 208
 Мей Л. А. 113, 124–127, 134
 Мейендорф А. К. 110
 Мейкин М. 172, 189
 Мейлах М. Б. 234–235
 Мельницкий Н. Н. 59, 61, 65, 70
 Менцов Н. 66–67
 Меншиков А. Д. 60, 71, 277, 375
 Мережковская В. В. (Чесно-
 кова В. В.) 159
 Мережковский Д. С. 10, 13, 113, 129,
 131–135, 147, 153, 159–163, 168–
 169, 191, 193, 195, 198–201, 394,
 418
 Мерзляков А. Ф. 33, 46, 295, 297–
 298, 309, 367
 Местр Ж.-М. де 293
 Метерлинк М. 199
 Мещерская М. М. 354
 Мещерский А. В. 110
 Миллер Ф. Б. 115
 Милонов М. В. 83
 Милорадович М. А. 255, 304, 350,
 372
 Мильчина В. А. 111
 Минский Н. М. 128, 132, 135, 418

- Минц З. Г. 9–12, 46, 221–243, 391–437
- Минцлова А. Р. 164
- Мироненко С. В. 283
- Михаил Павлович 78, 82, 93, 96, 251
- Михайловский Н. К. 269
- Михалик О. М. 49, 69
- Мицкевич А. 425, 427
- Модзалевский Б. Л. 253, 319–321, 356
- Можейко И. В. 63, 69
- Мольер (Поклен Ж.-Б.) 338, 345
- Монтескье Ш. Л. де 275, 286, 289
- Мор Т. 289
- Мордвинов А. Н. 364
- Мордвинов Н. С. 370
- Мордвинова А. М. 364, 370
- Мордвинова Н. Н. 370
- Мордовченко Н. И. 12, 29–30, 32, 36–47, 260
- Мориц Ю. П. 211
- Морозов П. О. 131, 135
- Моцарт В. А. 319
- Мудров М. Я. 318
- Мукарежовский Я. 16–17, 22
- Муравьев А. З. 365
- Муравьев А. М. 247, 257, 365
- Муравьев А. Н. 256, 365–366, 369–374, 377
- Муравьев З. М. 365
- Муравьев М. А. 365
- Муравьев М. З. 365
- Муравьев М. Н. 40, 152, 256–257
- Муравьев Н. А. 365
- Муравьев Н. Е. 390
- Муравьев Н. М. 258, 321–322, 365–366, 378, 380
- Муравьев Н. Н. (Муравьев-Карский Н. Н.) 256, 364–365, 369
- Муравьева Ф. Н. (Лунина Ф. Н.) 365
- Муравьев-Апостол И. И. 365
- Муравьев-Апостол И. М. 365
- Муравьев-Апостол М. И. 320, 365
- Муравьев-Апостол С. И. 320, 365–366
- Муханов А. А. 325
- Мысловский П. Н. 381
- Мюрат И. 305
- Мясковский Н. Я. 155, 169
- Надсон С. Я. 13, 161, 191, 193, 195, 200–201, 421
- Наполеон I Бонапарт 64, 279, 300, 301–306, 308–310, 328, 340–341, 364, 374, 377, 380–381
- Наровчатов С. С. 225
- Наумов В. А. 154, 164
- Неверовский Д. П. 303
- Невзоров М. И. 340
- Неккер Ж. 286
- Некрасов К. Ф. 154
- Некрасов Н. А. 13, 119, 153–169, 392, 394, 401
- Нелединский-Мелецкий Ю. А. 80–81, 97
- Нелидова Е. И. 80–81, 97, 274, 313
- Немзер А. С. 111, 252
- Нерлер П. М. 134, 242
- Нестеренко М. А. 75, 78, 81, 87, 97
- Низовский А. Ю. 56–57, 70
- Никитин 75–76
- Николай I 78–80, 82, 92–93, 96, 123, 253, 257, 260, 262, 278, 306–307, 321–320, 329, 337
- Никон, патриарх 332
- Ницше Ф. В. 239, 241, 436
- Новиков М. Н. 254–255, 300, 364, 379, 390
- Новиков Н. И. 68, 269, 282–283, 287, 317, 390
- Новосильцев Н. Н. 283, 372
- Ной 311
- Норов В. С. 322
- Нурок А. П. 160
- Образцова Н. Ю. 36

- Овидий (Ovid) 78, 125–126, 135–136
 Одоевский В. Ф. 110–111, 351
 Ожегов М. И. 166
 Озерецковский П. 53
 Оксман Ю. Г. 37, 39, 259, 264, 321, 355, 375
 Опочинин И. М. 363
 Опульская Л. Д. (Громова Л. Д.) 226, 242
 Орлов А. Ф. 257, 317–318, 375–379
 Орлов Г. Г. 379
 Орлов М. Ф. 247, 254–257, 310, 360, 365, 375
 Орлов Н. А. 317–318
 Орлов Ф. Г. 257
 Осповат А. А. 100, 104, 109–111, 252
 Осповат К. А. 36, 41, 47, 143, 151
 Оссиан 340, 364
 Островский А. Н. 340
 Отяковский В. С. 12, 43, 47, 221
 Охотников К. А. 376
 Ошеров С. А. 135
 Павел I 59, 73, 90, 95, 251, 273–278, 281–282, 288, 291, 299–301, 307, 313, 335–336, 339, 357
 Павел, апостол 101, 138
 Павлова Г. Е. 52, 71
 Павлова И. Б. 231
 Павлова К. К. 123–124, 135
 Павлов-Сильванский Н. П. 363, 378
 Паевич М. 137
 Панин Н. И. 275
 Панченко А. М. 357
 Папаян Р. А. 239, 241
 Паперная Т. З. 222
 Паперный В. З. 222–223, 243
 Паперный В. М. 239, 241
 Паперный З. С. 12, 220–243
 Парнис А. Е. 220
 Парсамов В. С. 248
 Паскаль Б. 145
 Пастернак Б. Л. 187, 189, 224, 242
 Патрикеев С. Б. 56, 71
 Пачини Дж. 117
 Перетц В. Н. 366
 Пестель И. Б. 379
 Пестель П. И. 247, 258, 292, 294, 318, 320, 322–325, 363, 365, 370, 374, 378–382
 Петерсон 166
 Петина Л. И. 12, 48, 53, 59, 71
 Петр I 100, 103–105, 109, 141, 251, 269–270, 273, 278–279, 281, 290, 314, 316, 332–333, 336, 353–354
 Петр II 354
 Петр III 275, 299
 Петров А. А. 283, 346
 Пильда Л. А. 12–13, 153, 198, 201, 223, 391
 Пильщиков И. А. 28
 Пилюгин О. Н. 238, 240
 Пиндар 326
 Пирс Ч. 26–27
 Пифагор 282
 Платон 197, 201, 289
 Платонов С. Ф. 30, 43, 47, 272
 Плеханов Г. В. 263, 287
 Плиний Младший 118–120, 131–132, 135
 Плиний Старший 118
 Пнин И. П. 286
 По Э. А. 170, 186–189, 198, 429
 Погодин М. П. 104
 Погосян Е. А. 256, 262
 Покровский И. 116–117, 134
 Покровский М. Н. 246, 259, 363–365
 Полевой К. А. 340
 Полевой Н. А. 104
 Полежаев А. И. 117–118, 135, 320–321
 Поливанов А. И. 292
 Полилова В. С. 180–182, 189
 Полонский Я. П. 161, 238, 241

- Полоцкий С. 334
Полторацкий С. Д. 106, 108, 110
Померанц Г. С. 147, 151
Помпадур Ж.-А. де 277
Поплавский Б. Ю. 175
Порошин С. А. 58
Портнова Т. В. (Portnova, T.) 180–181, 189–190
Посошков И. Т. 316, 335
Потемкин Г. А. 274, 336, 340
Похлебкин В. В. 52, 71
Правдина И. С. 237, 240
Прево А.-Ф. 58
Предтеченский А. В. 44, 283
Прокопович-Антонский А. А. 293, 297
Прокофьев Е. А. 259
Пропш В. Я. 46, 350
Проскурин О. А. 74, 97
Проскурина В. А. 104, 111
Пугачев В. В. 302, 368
Пугачев Е. И. 358
Пустыгина Н. Г. 416
Пуфендорф С. фон 285
Пушкин А. М. 340, 355
Пушкин А. С. 18, 30, 36, 38–40, 69, 94, 129, 131, 136, 179, 238, 251, 255, 258, 340, 364, 377, 425, 427, 431, 433
Пушкин В. Л. 355
Пуцин И. И. 255, 326
Пыпин А. Н. 259, 263, 287, 321–322, 368
Пярн Ю. 416
Рабле Ф. 357
Радищев А. Н. 31, 33, 39, 41–42, 44–46, 284–287, 290, 292–293, 327, 343–345, 353, 360, 373
Радциг С. И. 223
Раев М. И. 272
Раевский В. Ф. 321, 344, 350, 358, 376
Раевский Н. Н. 353
Раич С. Е. 364
Ралли М. Э. 240
Рамбах Ф. Э. 306
Расин 326
Ратгауз Д. М. 172, 175–177, 189–190
Рейснер Л. М. 238, 241
Рейхель П.-Б. 373, 382
Рельштаб Л. 174
Репнин-Волконский Н. Г. 254, 311, 353
Рихтер В. фон 63, 65–66, 71
Робеспьер М. 284, 288, 290–291, 293, 360, 381
Рогинский А. Б. 300
Родина Т. М. 226, 228–229, 235, 239–240
Розанов М. Н. 43
Россель В. 67
Россет А. О. (Росетти А. О., Россети А. О.) 110
Росси К. И. 93
Росслин В. (Rosslyn, W.) 74, 79–82, 98
Ростопчин Ф. В. 262, 304, 306
Ростопчина Е. П. 124, 135
Рубановская Е. В. 353
Руммо П.-Э. 416
Румянцев Н. П. 301
Румянцев П. А. 271
Румянцева М. Ф. 69
Руссо Ж.-Б. 18, 84, 87
Руссо Ж.-Ж. 280, 284–286, 288, 290, 293, 299, 326, 329, 342–344, 373
Руше Ж. А. 93
Рылеев К. Ф. 255, 257, 354, 358, 360, 377–379
Рябушинский Н. П. 242
Саакянц А. А. 171
Савенко С. Ф. 258
Савицкий С. А. 97
Сайтов В. И. 368

- Сакурова О. В. 238, 240
 Саломатин А. В. 195, 201
 Салтыков Н. И. 95
 Салтыков-Щедрин М. Е. 40, 427, 429
 Самборский А. А. 94–95, 97
 Сандунов Н. Н. 297
 Сапрыкина Н. Г. 50, 69
 Сартр Ж.-П. (Sartre, J.-P.) 20, 23, 28
 Сарычева К. В. 148, 152
 Свербеев Д. Н. 108, 110
 Свербеева Е. А. 108–110
 Свинын П. П. 94, 97
 Сегал Д. М. 19
 Семевский В. И. 259, 264, 319, 378
 Семевский М. И. 92–95, 259
 Семенов Н. П. 97
 Семенов С. М. 255, 368
 Семенова Е. С. 350
 Сен-Жюст Л. А. 360, 381
 Сен-Мартен Л. К. де 287
 Сенокосов Ю. П. 19
 Сен-Симон А. 22, 28
 Серафим (Глаголевский),
 митрополит 257
 Сервантес 413
 Сергеенко М. Е. 135
 Серио П. 19, 28
 Серков А. И. 317–318
 Сиверс А. А. 253
 Сигалова Т. П. 172, 175, 190
 Сийес Э. Ж. 261
 Синявский А. Д. 229
 Сиповский В. В. 319
 Скабичевский А. М. 269
 Скарга П. 285
 Склабовский А. В. 116, 135
 Смирнов И. П. 212, 238, 240
 Смола О. П. 228
 Смолярова Т. И. 95, 97
 Снытко Т. Г. 299–300
 Соймонов М. Ф. 54, 69
 Соймонов П. А. 291
 Соколов Д. И. 54–55, 66, 71
 Соколов П. И. 78, 83
 Сократ 328
 Соловьев В. С. 147, 197, 238, 242,
 394, 408, 416, 423
 Соловьев К. А. 111
 Соловьев С. М. 133, 153, 163, 406
 Сологуб Ф. К. (Тетерников Ф. К.)
 12, 394, 416–437
 Соссюр Ф. де (Saussure, F. de) 27,
 204, 206, 208, 220
 Сперанский М. М. 301, 305
 Срезневский И. И. 138, 140, 151
 Сталин И. В. 223
 Сталь, мадам де (Сталь-Голь-
 штейн А.-Л. Ж. де) 133–134, 325
 Станкевич Н. В. 105, 261, 270
 Степанищева Т. Н. 12, 14, 73
 Степанов Н. А. 192, 201
 Степанов Ю. С. 209
 Стефан (Яворский), митрополит
 271, 277
 Стогов Э. И. 78–79, 82, 97
 Стриндберг А. 239
 Строев С. М. 71
 Суворов А. В. 299–300, 304, 308,
 335–336, 341
 Судейкин С. Ю. 154
 Сулима Н. С. 371
 Сумароков А. П. 84, 87, 269, 314,
 327, 340
 Сучков Б. Л. 228
 Сыроечковский Б. Е. 379
 Сюар Ж.-Б.-А. 84
 Талицкий Г. 271
 Таллеман П. 346
 Тарасов Е. И. 368
 Тартаковский А. Г. 256, 302, 306
 Тассо Т. 132
 Татарников К. В. 59, 71
 Тацит 275

- Твардовская М. И. (Горелова М. И.)
229
- Твардовский А. Т. 229, 243, 310
- Теннисон А. 174–175, 177
- Терский А. 54
- Тетерников К. А. 417–418
- Тетерникова Т. С. 417–418
- Тименчик Р. Д. 125, 135, 168–169,
238, 241
- Тимофеев А. В. 113, 119–120, 122,
134–135
- Тихонович П. В. 126, 136
- Толстогузов П. Н. 145, 152
- Толстой А. Н. 13, 137, 149–150, 152,
162, 312, 327, 343–344, 352, 362–
363, 382, 394, 399, 400, 404, 408,
415
- Толстой Н. И. 46
- Толстой Я. Н. 318
- Томашевский Б. В. 38, 40, 43, 46,
319–321, 355–356
- Тончи С. 294
- Топоров В. Н. 144, 152, 393
- Третьяковский В. К. 84, 268, 346
- Тренин В. В. 75–76
- Трубецкой В. С. 257
- Трубецкой Н. С. 204, 207–209, 219
- Трубецкой С. П. 257, 260, 318, 321–
322
- Трубинов Ю. В. 61, 71
- Трунин М. В. 223
- Тургенев А. И. 100, 108, 110, 295–
296, 298, 304, 329–330, 367
- Тургенев А. М. 294, 314, 355
- Тургенев И. П. 366
- Тургенев И. С. 13, 191, 198–201,
269, 394, 410–411
- Тургенев Н. И. 247, 254, 259–262,
303, 307, 311–313, 322, 329, 350,
364, 366, 368, 374–376
- Тургенев С. И. 329, 350, 366, 376
- Тургенева Е. И. 366
- Туровская М. И. 223
- Тынянов Ю. Н. 19, 195, 361
- Тютчев Ф. И. 13, 137, 145–147, 149,
151–152, 343, 366, 398
- Тютчева Н. Н. 366
- Уваров С. С. 74, 329
- Улыбышев А. Д. 279
- Улыбышев А. М. 319
- Урусов А. В. 256
- Успенский Б. А. 31, 34–35, 46, 209,
251, 266, 268, 276, 281, 357
- Успенский Г. И. 269
- Успенский П. Ф. 166, 169
- Устрялов Н. Г. 285
- Ушаков Д. Н. 223
- Ушакова Г. А. 50, 72
- Фадеев А. А. 415
- Фарино Е. (Фарыно Е) 213, 219
- Фасмер М. 138, 152
- Фатеева Н. А. 204–206, 209, 219
- Федоров Е. К. 97
- Федоров Н. Ф. 416, 423
- Федотов П. А. 331
- Феофан (Прокопович),
архиепископ 277
- Фет А. А. 13, 137, 148–149, 152, 175,
230–231, 242, 318
- Фещенко В. В. 203, 209, 220
- Филарет (Дроздов), митрополит
271
- Философов А. Д. 318
- Фонвизин Д. И. 141, 269, 273, 275,
335
- Фонвизин М. А. 255, 360
- Фофанов К. М. 161
- Фрагонар Ж.-О. 338
- Франклин Б. 367
- Франц II 310
- Фрейдин Ю. А. 134
- Фридман Н. В. 134
- Фридрих II 64, 343
- Фридрих Август III 311

- Фрумкина Н. А. (Рогинская Н. А.)
 239, 242
 Фуко М. (Foucault, M.) 23, 27–28
 Фурье Ж.-Б. Ж. 396–397
 Хайям О. 195
 Харкевич В. И. 303
 Харламов Е. С. 58
 Хвостов Д. И. 83–84, 86, 97, 118–
 119, 136
 Хемницер И. И. 53
 Херасков М. М. 41
 Хитрово Е. М. 355
 Хитрово Н. Ф. 355
 Хлебников В. В. 203, 205, 208–209,
 214–215
 Хмельницкая Т. Ю. 238, 241
 Ходасевич В. Ф. 124, 129, 133, 136,
 169, 171, 190
 Хомяков А. С. 104–106, 108–112
 Хорошкевич А. Л. 56, 72
 Хотяинцев И. Н. 322
 Хьюз Р. 136
 Цветаева М. И. 13, 170–190, 199,
 201
 Цезарь Гай Юлий 328
 Чаадаев П. Я. 13, 99–112, 326, 329,
 351
 Чемерисская М. И. 104
 Ченцов Н. М. 265
 Чепурнов Н. И. 63, 66, 69
 Черневич М. Н. 134
 Чернышев П. П. 53
 Чернов С. Н. 259, 281, 321
 Чернышевский Н. Г. 330, 378, 382,
 392–393, 401, 408, 410–411
 Чехов А. П. 199–201, 223, 225–226,
 228, 230, 238, 240, 242–243, 269,
 408, 417, 425, 427, 430–432
 Чехов Ал. П. 81
 Чичагов П. В. 301
 Чичерин А. В. 300
 Чудакова М. О. 222, 243
 Чуковский К. И. 162, 225
 Чулков М. Д. 114, 136
 Чумаков Ю. Н. 238, 241
 Шаликов П. И. 78
 Шах-Азизова Т. К. 228, 235, 238, 240
 Шаховская П. М. 364
 Шаховской Д. И. 100, 112
 Шаховской Ф. 322, 360
 Шварц П. И. 318
 Шварценберг К. Ф. 310
 Шебунин А. Н. 329, 368
 Шевырев С. П. 49–51, 72, 104
 Шекспир В. 13, 191, 195–197, 200–
 201
 Шелли М. (Shelley, M.) 133, 136
 Шелли П. Б. 186
 Шенле А. 32, 47
 Шеншин Н. В. 317–318
 Шервинский С. В. 126
 Шервуд-Верный И. В. 349, 355–356
 Шереметев Б. П. 366
 Шереметева А. В. 366
 Шереметева П. В. 364
 Шешковский С. И. 353
 Шиллер Ф. 113, 115–116, 123, 292–
 296, 309, 341, 351, 360, 363
 Шильдер Н. К. 283, 356
 Шипов И. П. 261
 Шичалин Ю. А. 238
 Шишков А. С. 74, 79–80, 82, 84, 271,
 302, 305–306, 310, 347
 Шкловский В. Б. 208–209
 Шлаттер И. А. 53, 68
 Шмелева Т. В. 213, 220
 Шнор И.-К. 64
 Шоломова С. Б. 238, 241
 Шофьен Д.-Э. (Choffin, D.-E.) 57,
 63, 72
 Штейн Г. Ф. 311
 Штейнберг А. З. 241
 Штейнгель В. И. 255, 259
 Шторх А. К. (Storch, H.) 93, 98

- Шуберт Ф. 174
Щеголев П. Е. 260, 264, 356
Щербатов М. М. 269
Шукин П. И. 101
Шукина Е. С. 52, 54, 72
Эйдельман Н. Я. 246
Эйк Я. ван 359
Эйхенбаум Б. М. 30, 41, 43, 46–47
Эко У. 193, 201
Эльбеф Э. М. (Elbeuf, E.) 115
Эмин Ф. А. 290
Эрнести И. А. 50
Эсхил 132
Эфрон А. С. 171
Юлова А. П. 231
Юнг Э. (Young, E.) 144–145, 151–152
Юркевич Е. И. 59, 71
Яacobсон Р. О. 24, 28, 203–204, 207–209, 220
Яковлев И. А. 268
Яковлев М. А. 115
Якубович А. И. 254
Якубовский И. А. 336, 358
Якушкин И. Д. 260, 279, 311, 321–322, 325, 364, 366, 375
Ямпольский И. Г. 47, 233
Янь (Ян Вышатич) 140
- Addison, J. 143
Bankowski, M. 47
Barker, A. M. 98
Dahl, C. 116, 136
Ferrari, G. 132, 136
Gheith, J. M. 98
Kroeber, H. T. 136
Malkiel, M. R. L. de 315
Moormann, E. 116, 136
Pope, A. 143
Vowles, J. 74, 98

Составители:

Марина Булахова

Валерий Отяковский

Сергей Халтурин

KOKKUVÕTTED

Töid vene ja slaavi filoloogia alalt. Kirjandusteadus

I

Artiklid

Semiootika ja dialektika (Juri Lotmani kogemus)

Sergei Zenkin

Artiklis uuritakse mõiste „dialektika“ mitmetähenduslikkust Juri Lotmani teadusloomes. See dogmaatilise marksismi terminoloogiasse kuuluv mõiste oli mõnikord kasutusel ideoloogilise lojaalsuse märgina, kuid paljudel teistel juhtudel on Lotman andnud „dialektikale“ originaalse ja arvestatava tähenduse. Olulisimad komponendid, millest moodustus selle mõiste semantika, on dialektika kui totaalsus (erinevalt positivistlikust „mehaanilisest konglomeraadist“), dialektika kui energeetiline protsess (eriti värsiõpetuses, Andrei Belõi järgi „rütmi dialektika“ arengus) ja dialektika kui metalepsis – sisemise ja välise muundumine kas eraldi tekstis või terve kultuuri arengus.

Võtmesõnad: Juri Lotman, dialektika, kirjandusteooria, kultuuriteooria, totaalsus, energia, metalepsis.

Karamzini koht Juri Lotmani ajaloolis-kirjandusliku kontseptsiooni evolutsioonis

Ljubov Kisseljova

Artiklis vaadeldakse Juri Lotmani teadustegevuse etappe ja kogu selle tegevuse jooksul Karamzinile pühendatud kohta. Näidatakse „lotmanliku Karamzini“ evolutsiooni. Lotmani huvi Karamzini vastu tekkis juba üliõpilasaastatel. Analüüsitakse põhjuseid, mis sundisid üliõpilast Juri Lotmanit eelistama

N. Mordovtšenko seminari G. Gukovski omale. Tõestatakse, et põhjus peitub Leningradi ülikooli juhendajate-professorite erinevas lähenemises Karamzini loomingule ja isikule. Kuigi Lotman vaimustus Gukovskist kui hiilgavast ja silmapaistvast teadlasest, oli Mordovtšenko hillitsetud ja täpne teaduslik meetod talle lähedasem. Üliõpilaspõlves omandatu avaldas Lotmani teadusteele olulist mõju.

Võtmesõnad: Juri Lotman, Karamzini käsitlusviisi evolutsioon, üliõpilane Lotman, juhendaja valik, N. Mordovtšenko, G. Gukovski.

„Auhinna“ superekслиibrise emblemaatika 18. sajandi Venemaa õppeasutuste süsteemi kontekstis

Larissa Petina

Artiklis vaadeldakse Keiserliku Moskva Ülikooli, Mägikadettide Korpuse ja Maaväe Kadetikorpusse auhinnaraamatute vapp-superekслиibriseid. Vappidel kujutatud embleemide semantilise tähenduse analüüs erinevates kasutusvaldkondades lubab mõista nende semantilist olemust ja leida emblemaatiliste kujutiste verbaalseid vasteid. Vapp-superekслиibrise kasutamise iseloom tehakse kindlaks auhindade ja auhinnamärkide kontekstis ning seoses auhinnaraamatute funktsiooniga, mille mõjul kujuneb ka omaette medaliliik.

Võtmesõnad: superekслиibris, embleem, sümboolsed atribuudid, vapp, korporatiivne vapp, raamat, autasu, ametimärgid, medal, Keiserlik Moskva Ülikool, Mägikadettide Korpus, Maaväe Kadetikorpus.

Poem „Õnnest“ Anna Bunina autori biograafias (süžee ja kontekst)

Tatjana Stepaništševa

Artiklis käsitletakse Anna Bunina väheuuritud „didaktilist luuletust“ „Õnnest“ (1810). Esimeses osas vaadeldakse teose kohta autori eluloos. Luuletajanna püüdis muuta luule kirjutamise sissetulekuallikaks, kuid 19. sajandi alguse Venemaal ei olnud veel arenenud kirjandusturgu; pealegi olid aadlinaise jaoks paljud autorsuse teostamise võimalused ebareaalsed. Seetõttu tugines

Bunina vananenud, kuid endiselt elujõulisele patronaaži traditsioonile, adresseerides oma teoseid keisriperekonna liikmetele. „Didaktiline luuletus“ „Õnnest“ oli pühendatud leskkeisrinna Maria Fjodorovnale. Artikli teises osas vaadeldakse luuletust keisrinna loodud „Pavlovski idüll“ kontekstis. Tõlgendamise taustaks on Bunina tähtsaima eelkäija Deržavini looming, samuti muud Pavlovskiga seotud kirjanduslikud tekstid. Autor esitab hüpoteesi Bunina luuletuse seotuse kohta keisri nooremate poegade kasvatamisega, millega nende ema usinalt tegeles.

Võtmesõnad: A. Bunina, „Õnnest“, patronaaž, keisrinna Maria Fjodorovna.

Pjotr Tšaadajevi „Hullumeelse apoloogia“: redaktsioon ja kontekstid

Mihhail Veližev

Artiklis võetakse teaduslikku kasutusse P. Tšaadajevi „Hullumeelse apoloogia“ uued redaktsioonid. Äsja leitud allikad lubavad täpsemalt dateerida „Apoloogia“ loomist ja aitavad vastata laiema tähendusega küsimusele, kuidas dateerida teksti nendel juhtudel, kui selle täpset tekkeaga on raske kindlaks määrata. Kas on võimalik rekonstrueerida ajaloolist konteksti, milles tekst omandab oma semantika?

Võtmesõnad: P. Tšaadajev, „Hullumeelse apoloogia“, tekstoloogia, poliitilise mõtte ajalugu, ajaloolise konteksti rekonstrueerimine.

Pompei hävimine vene 19. sajandi poeesias: tekstid ja kontekstid. Esimene artikkel

Aleksandr Dolinin

Artikkel kujutab endast analüütilist ülevaadet Pompei teemast vene poeesias 80 aasta vältel (1821–1901). Selle perioodi käsitlustes eristuvad kaks peamist liini. Üks nendest pärineb Schilleri teosest „Pompeii und Herculaneum“ (1796), kus kunstnikule pakutakse võimalust „elustada“ Pompei elanikud ja rekonstrueerida nende eluviis, kombed ja maitsed. Rida poeete alates A. Timofejevist kuni V. Brjussovini püüdsid kujutada pompeilasi Vesuuvi purske eel ja

„asustada“ sel moel „surnute linn“. Teine liin ühendab historiosofia eshatoloogiaga, käsitledes linna hukku kui Jumala nuhtlust patustamise eest või maailmalõpu protüüpi. Siia kuulusid eelkõige M. Dmitrijev ja tundmatu poeet allkirjaga M. P., kelle „Pompei viimane päev“ (1847) võetakse esmakordselt teaduslikku käsitusse; teise liini lõpetab D. Merežkovski triptühhon „Pompei“. Omaette seisab L. Mei „Pompeilanna“ – ainuke kuulsate Pompei freskode põhjal tehtud ekfraasikatsetus 19. sajandi poeesias.

Võtmesõnad: Pompei hävimine, Vesuuvi purse, Pompei teema vene kirjanduses, A. Timofejev, L. Mei, D. Merežkovski, V. Brjussov.

Kaks märkust kahekordse kuristiku kohta

Roman Leibov

Artiklis tehakse katse jälgida „kuristiku“ mõiste ühte ajaloo aspekti vene keeles ja luuletraditsioonis. Kõigepealt kirjeldatakse lühidalt selle lekseemi muutuvat semantikat – kuidas on seda esitatud leksikograafias, uurides sõna peamiseid semantilisi nihkeid – ja näidatakse, kuidas see järk-järgult kaotas oma esialgse kirikliku konnotatsiooni ja leidis Peetri-järgsel ajastul kasutust kõnekeeles. Teiseks jälgitakse „kahekordse kuristiku“ kujundit kirjanduslikes tekstides. „Taevase kuristiku“ kujund ilmub esmakordselt Lomonossovi 1743. aastal kirjutatud klassikalises oodis. 19. sajandi keskel võttis Tjuttšev kasutusele poeetilise väljendi „kahekordne kuristik“. Seda poeetilist kontseptsiooni arendasid edasi järgmise põlvkonna vene autorid, kes pakkusid välja oma isiklikud „kahekordse kuristiku“ psühholoogilised ja moraalsed interpretatsioonid.

Võtmesõnad: vene kirjandus, leksikograafia, poeetiline mütoloogia, „õine luule“, „kahekordne kuristik“, M. Lomonosov, F. Tjuttšev, F. Dostojevski, A. Fet, L. Tolstoi.

Kuzmini Nekrassovi-tsitaadi kirjanduslikust kontekstist

Lea Pild

Artiklis vaadeldakse modernistliku luuletaja Mihhail Kuzmini pöördumist Nikolai Nekrassovi poeesia poole. Tsitaat Nekrassovi luuletusest „Vlas“ (1855)

sisaldub Kuzmini poeetilise tsükli „Teekonnajuht“ («Вожатый») (1908) esimeses tekstis. Nekrassovi „Vlas“ kuulub vene luule tüvitekstide hulka. Sellest kirjutasiid paljud kirjanduskriitikud juba Nekrassovi eluajal, see oli lisatud 19. sajandi teise poole ja 20. sajandi alguse koolilugemikesse ning see on selgelt seotud ballaaditraditsiooniga. Tõenäoliselt tutvus Kuzmin sellega juba gümnaasiumis ja võis seda peast teada. Artiklis tehakse järeldus, et Nekrassovi tsitaat sobitub täielikult poeedi sümbolistliku retseptiooni konteksti, kuna mõned vene sümbolistid (D. Merežkovski, S. Solovjov) pöörasid samuti tähelepanu religioossele teemale tema poeesias. Kuid Kuzmini pöördumises Nekrassovi poole on oma individuaalne tähendus, poet ei idealiseeri nagu Nekrassov vene rahva religioosust ja tema vaimset jõudu. Ta asendab oma luuletuses religioosse Vlasi püha peaingli Miikaeliga, näidates sellega keskendumist oma erilisel mõistetavale „rahvalikule maailmale“.

Võtmesõnad: M. Kuzmin, N. Nekrassov, luuletus „Vlas“, vene luule kaanon, püha peaingel Miikael.

M. Tsvetajeva tsükkel „Luuletused Sonjakesele“ (1919)

Maria Borovikova

Artiklis vaadeldakse Marina Tsvetajeva tsükli „Luuletused Sonjakesele“ (1919), aga ka sellega külgnevaid hiliseid lõpetamata luuletusi (1937), mis on pühendatud näitlejanna S. Hollidayle. Üksikasjalikult valgustatakse mõnede nende tekstide seost julma romansi traditsiooni ja hispaania rahvalaulude poeesiaga, millega Tsvetajeva tutvus K. Balmonti tõlgete kaudu (kogumik „Hispaania rahvalaulud. Armastus ja vihkamine“ – «Испанские народные песни. Любовь и ненависть», 1911). Peale selle tõestatakse artiklis, et tsükli orientatsioon „laululisusele“ ei piirdu stiliseerimisega. Nende tekstide ülesehituses vahelduvad artikli autori meelest kaks stilistiliselt erinevat kihti („häält“), mis juhatavad laulduettide struktuuri juurde. Tsükli analüüsi täiendab Tsvetajeva refleksioon laulutraditsioonist vene kirjanduses, mis sisaldub tema Holliday-memuaarides („Jutustus Sonjakesest“ – «Повесть о Сонечке», 1937) ja mitmes 1930. aastate kriitilises artiklis.

Võtmesõnad: M. Tsvetajeva, S. Holliday, „Luuletused Sonjakesest“, K. Balmont, E. A. Poe, hispaania rahvaluule, „laulusus“, stiliseerimine.

Ilu metamorfoosid: Ellisest inetu tüdrukuni

Roman Voitehhovič

Artiklis vaadeldakse Nikolai Zabolotski luuletuse „Inetu tüdruk“ («Некрасивая девочка», 1955) problemaatika mitmekihilisust ja kirjandustraditsiooni rolli keskse küsimuse „Mis on ilu?“ mõistmisel. Lisaks pretsedentidele Semjon Nadsoni ja Jevgeni Boratõnski luulest tuuakse esile rida „negatiivseid madrigale“ W. Shakespeare'i, M. Lermontovi ja I. Annenski luulest. Läbipaistva anuma kujundit kõrvutatakse I. Turgenevi („Viirastused“, 1864) ja D. Merežkovski („Allakäigu põhjustest ja uutest vooludest vene kirjanduses“ – «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе», 1893) kujundlikkusega. „Läbipaistvuse“ keskne motiiv on sümbolismi (eriti A. Belõi) olulisim kontsept, mis on geneetiliselt seotud „väljendamatu“ (V. Žukovski) romantilise problemaatikaga, mida võib vaadelda kui süüütut ja lapsikut.

Võtmesõnad: N. Zabolotski, W. Shakespeare, M. Lermontov, I. Turgenev, D. Merežkovski, I. Annenski, madrigal, läbipaistva anuma kujund, sümbolism, väljendamatu.

Lingvistika ja selle ajaloo peegeldumine luules: Sergei Birjukovi kogumik „Universum“

Ekaterina Velmezova

Artiklis analüüsitakse nüüdisaja tuntud poedi Sergei Birjukovi raamatut „Universum“, lähtudes vaatenurgast, kuidas lingvistika ajalugu peegeldub kirjanduses, ja arvestades ka selle materjali kasutamise võimalust keeleteaduse õpetamisel ülikoolis. Analüüsitava raamatu sisu peegeldab filoloogilise hariduse saanud ja tänapäeval oma luulekeealaste uurimustega tuntud autori intellektuaalset teekonda. Artiklis käsitletakse Birjukovi huvi mitmekeelsuse, keele loomise ja hävitamise probleemi ning lingvistika ja semiootika vastastikuse seose vastu. Räägitakse tema tähelepanust keeleteaduse ajaloo oluliste suundade vastu ja tõstatatakse küsimus keele kontseptsiooni implitsiitsusest autori enda raamatus „Universum“.

Võtmesõnad: S. Birjukov, lingvistika ajalugu ja kirjanduse ajalugu, lingvistika õpetamine ülikoolis, mitmekeelsus, poeetiline keel, semiootika, märk.

II

Publikatsioonid

Z. Papernõi kirjavahetusest J. Lotmani ja Z. Mintsiga

Valeri Otjakovski saatesõna, teksti ettevalmistus ja kommentaar

Esmakordselt avaldatakse Zinovi Papernõi kirjad Tartu teadlastele ja üks Zara Mintsu vastuskiri. Põgus kirjavahetus illustreerib teadlaste kahekümneaastast sõprust ja valgustab uusi detaile Tartu-Moskva teaduse olustikus. Lisas avaldatakse Papernõi paroodia, mille ta kirjutas kolmanda Bloki konverentsi motiividel.

Võtmesõnad: Z. Papernõi, Z. Mints, J. Lotman, paroodia, A. Blok, Bloki konverents.

J. Lotmani erikursus dekabristidest. Autoriseerimata konspektid Tartu Ülikoolis peetud loengutest

Ljubov Kisseljova saatesõna, publikatsioon ja kommentaar

Publikatsioonis taasesitatakse 1973/74. ning 1974/75. õppeaastal Tartu Ülikooli vene keele ja kirjanduse osakonna üliõpilastele loetud J. Lotmani erikursuse „Dekabristid ning vene kultuur ja kirjandus“ autoriseerimata konspektid. Loengud on üles tähendanud L. Kisseljova. Vaatamata vältimatule puudulikusele annavad ülestähendused ettekujutuse Lotmani loengustiilist, aga ka tema vaadete evolutsioonist seoses dekabristide liikumisega, selle filosoofilis-poliitilistest lätetest ja tekkeloost.

Võtmesõnad: J. Lotman, loengud, dekabristid, liikumise filosoofilised juured, ajalooline kontekst.

Z. Mintsi artikkel Dostojevski romaanist „Idioot“

Lea Pildi saatesõna, publikatsioon ja artikli tagasitõlge eesti keelest

Zara Mintsi järelsõna Dostojevski romaani „Idioot“ (1869) eestikeelsele tõlkele kirjutati kirjastuse Eesti Raamat tellimisel ja avaldati eesti keeles 1975. aastal. Originaali puudumise tõttu avaldatakse see oluline artikkel tagasitõlkes. Z. Mintsi tähelepanu keskmes on Dostojevski „inimese kontseptsioon“ ja selle evolutsioon. Täpsemalt uuritakse romaani peategelase vürst Mõškini „kristlikku ideed“. Tähelepanu väärivad ka viited mütoloogilise kihi olulisusele romaanis „Idioot“ – neid esindavad mitmed tsitaadid Uuest Testamendist – ning poleemika M. Bahtini kontseptsiooniga, milles ta ignoreeris Dostojevski hiliste romaanide tendentslikkust.

Võtmesõnad: Z. Mintsi, F. Dostojevski, „Idioot“, kristlik idee, inimese kontseptsiooni evolutsioon.

Z. Mintsi artikkel Sologubist

Maria Borovikova saatesõna, publikatsioon ja artikli tagasitõlge eesti keelest

Zara Mintsi kirjutas artikli „Fjodor Sologub ja tema romaan „Saadanasigidik““ kirjastuse Eesti Raamat tellimisel ja see avaldati 1987. aastal eestindatud romaani eestikeelse sissejuhatusena. Originaali puudumise tõttu avaldatakse artikkel tagasitõlkes. Selle põhiosa on pühendatud Sologubi teose „Saadanasigidik“ kui neomütoloogilise romaani ülesehituse kirjeldamisele. See on tekst, mille erinevad tähenduskihid viitavad erinevatele kirjandustraditsioonidele ja müütidele. Seejuures on nad üksteisega korrelatsioonis ühtse sümbolite kihistuse kaudu ning moodustavad kõikehõlmava sümbolistliku terviku.

Võtmesõnad: Z. Mintsi, F. Sologub, „Saadanasigidik“, uusmütoloogiline romaan.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Мария Боровикова (Тарту) — Ph.D., сотрудник кафедры русской литературы Тартуского университета. Основные направления научной работы: история и поэтика русской литературы начала XX в., творчество М. Цветаевой, экранизация произведений русской литературы, теория и практика перевода.

Михаил Велижев (Гренобль) — Ph.D., научный сотрудник Лаборатории исторических исследований Рон-Альпы университета Гренобль Альпы. Основные направления научной работы: история русской литературы и культуры XIX века, история русской и европейской политической мысли, интеллектуальная история, микроистория.

Екатерина Вельмезова (Тарту / Лозанна) — Dr. Hab., приглашенный профессор отделения славистики Тартуского университета и ординарный профессор отделения славистики Лозаннского университета. Основные направления научных интересов: русская и чешская этнолингвистика, история структурализма и семиотики в Восточной и Центральной Европе, лингвистический анализ текста.

Роман Войтехович (Тарту) — Ph.D., лектор кафедры русской литературы Тартуского университета. Области научных интересов: литература XX в., творчество М. Цветаевой, рецепция античности в русской литературе, поэтика, риторика, стиховедение.

Александр Долинин (Мэдисон, Висконсин) — Ph.D., профессор-эмеритус по русской литературе университета штата Висконсин-Мэдисон (США). Основные области научных интересов: история русской литературы XIX–XX вв., русско-английские и русско-американские литературные связи, творчество Пушкина и Набокова.

Сергей Зенкин (Москва) — доктор филологических наук. Основные направления научных интересов: теория литературы, история теоретических идей XIX–XX веков, история французской литературы.

Любовь Киселева (Тарту) — Ph.D., профессор-эмеритус по русской литературе Тартуского университета. Основные области научных интересов: история русской литературы и культуры XVIII – первой половины XIX вв.,

русская литература в инонациональном культурном контексте, взаимодействие русской и эстонской культур, наследие Ю. М. Лотмана, имперская и националистическая идеологии.

Роман Лейбов (Тарту) — Ph.D., доцент кафедры русской литературы Тартуского университета. Сфера научных интересов: русская поэзия XIX в., Тютчев, русский литературный канон, точные методы в гуманитарных науках, песенная культура советского периода.

Валерий Отяковский (Тарту) — докторант кафедры русской литературы Тартуского университета. Основные направления научных интересов: история филологии, рецепция формализма и авангарда. Сейчас работает над диссертацией об институциях формального метода в Ленинграде 1920-х гг.

Лариса Петина (Таллинн) — Ph.D., независимый исследователь. Сфера научных интересов: поэтика русского литературного альбома конца XVIII – первой половины XIX вв., западноевропейская альбомная культура XVIII в., история русских библиотек Эстонии XVIII – начала XX вв., книги кирилловской печати в эстонских книгохранилищах, редкие книги и коллекции книжных владельческих знаков Национальной библиотеки Эстонии.

Леа Пильд (Тарту) — Ph.D., доцент кафедры русской литературы Тартуского университета. Основные направления научных интересов: история и поэтика русской литературы второй половины XIX – начала XX вв., русский символизм и предсимволизм, творчество И. Тургенева, К. Случевского, А. Фета и др.; взаимодействие русской и эстонской культур, теория и практика перевода, наследие З. Г. Минц.

Татьяна Степанищева (Тарту) — Ph.D., лектор по русской литературе и зав. отделением славистики Тартуского университета. Основные направления научных интересов: история и поэтика русской литературы первой половины XIX в., русская культура в Эстонии, творчество А. С. Пушкина, П. А. Вяземского и В. А. Жуковского.

ABOUT THE CONTRIBUTORS

Maria Borovikova (Tartu) – Ph.D. in Russian Literature, Research fellow, Department of Slavic Studies, University of Tartu. Field of research: Russian poetry of the 20th century, issues of the film adaptations of Russian literature, Russian culture in Estonia, creativity of M. Tsvetaeva.

Alexander Dolinin (Madison, Wisconsin) – Ph.D., professor emeritus of Russian literature at the University of Wisconsin-Madison. The main research areas: Russian literature of the 19th and 20th centuries, Russian-British and Russian-American literary ties, works of Alexander Pushkin and Vladimir Nabokov.

Ljubov Kisseljova (Tartu) – Ph.D. in Russian Literature, Professor Emerita of Russian Literature at the Department of Slavic Studies, University of Tartu. Field of research: Russian literature and culture of the 18th and 19th centuries, Russian culture in Estonia, heritage of Y. Lotman, various aspects of imperial and nationalistic discourse.

Roman Leibov (Tartu) – Ph.D., Associate professor of Slavic Languages and Literatures at the University of Tartu. Research interests include 19th century Russian poetry, Feodor Tiutchev, the Russian canon, DH, and songs of the Soviet period.

Valerii Otiakovskii (Tartu) – Ph.D. student at the Department of Russian Literature of the University of Tartu. Field of research include reception of the formal method and literary avant-garde, history of theory. Currently is working on PhD thesis on institutions of Formalism in Leningrad of the 1920s.

Larisa Petina (Tallinn) – Ph.D., independent researcher. Sphere of scientific interests: poetics of a Russian literary album of the late 18th – first half of the 19th centuries; culture of Western European handwritten album of the 17th century; history of Russian libraries in Estonia of the 18th – early 20th centuries; Cyrillic books in Estonian book depositories; rare books and collections of book ownership marks of the National Library of Estonia.

Lea Pild (Tartu) – Ph.D. in Russian Literature, Associate Professor of Russian Literature, Department of Slavic Studies, University of Tartu. Field of research: history and poetics of Russian literature of the 19th and 20th centuries, Russian

symbolism and pre-symbolism, creativity of Afanasy Fet, Ivan Turgenev, Alexander Blok, Russian culture in Estonia, translation theory and practice, heritage of Zara Minz.

Tatiana Stepanishcheva (Tartu) – Ph.D. in Russian Literature, Lecturer of Russian Literature and the Head of the Department of Slavic Studies at the University of Tartu. Fields of research include the history and poetics of Russian literature of the first half of the 19th century, Russian culture in Estonia, and the work of Alexander Pushkin, Piotr Viazemsky and Vasily Zhukovsky.

Mikhail Velizhev (Grenoble) – Ph.D., researcher at the Rhône-Alpes Historical Research Laboratory of the University of Grenoble Alpes. Main fields of study: history of Russian literature and culture of the 19th century, history of Russian and European political thought, intellectual history, microhistory.

Ekaterina Velmezova (Tartu/Lausanne) – Dr. Hab., invited professor at the Department of Slavic Studies of the University of Tartu, and full professor at the Department of Slavic Studies of the University of Lausanne. Main fields of research interests: Russian and Czech ethnolinguistics, history of structuralism and semiotics in Eastern and Central Europe, linguistic analysis of text.

Roman Voitekhovich (Tartu) – Ph.D. in Russian Literature, Lecturer of Russian Literature, Department of Slavic Studies, University of Tartu. Field of research: Russian poetry of the 20th century, creativity of M. Tsvetaeva, image of Russia in European sources.

Sergey Zenkin (Moscow) – doctor of philology. Main areas of scholarly interests: literary theory, history of theoretical ideas of the 19th–20th centuries, history of French literature.

ИЗДАНИЯ СЕРИИ “ACTA SLAVICA ESTONICA”

Acta Slavica Estonica I

Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика, XV: Очерки по истории и культуре староверов Эстонии, III / Отв. редактор И. П. Кюльмоя. Тарту, 2012. 337 с.

Acta Slavica Estonica II

Works on Russian and Slavic Philology. Literary Criticism, VIII: Jaan Kross and Russian Culture / Managing editor L. Pild. Tartu, 2012. 256 p.

Acta Slavica Estonica III

Slavica Tartuensia, X: Славистика в Эстонии и за ее пределами / Отв. редактор А. Д. Дуличенко. Тарту, 2013. 289 с.

Acta Slavica Estonica IV

Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, IX: Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон / Отв. редакторы А. Вдовин, Р. Лейбов. Тарту, 2013. 345 с.

Acta Slavica Estonica V

Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика, XVI: Антропоцентризм в языке и речи / Отв. редактор И. П. Кюльмоя. Тарту, 2014. 365 с.

Acta Slavica Estonica VI

Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia, XIV: Russian National Myth in Transition / Managing editor L. Kisseljova. Tartu, 2014. 300 p.

Acta Slavica Estonica VII

Блоковский сборник, XIX: Александр Блок и русская литература Серебряного века / Отв. редактор Л. Пильд. Тарту, 2015. 269 с.

Acta Slavica Estonica VIII

Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика, XVII: Свое – чужое в языке и речи / Отв. редактор И. П. Кюльмоя. Тарту, 2016. 356 стр.

Acta Slavica Estonica IX

Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, X: Стратегии перевода и государственный контроль. Translation Strategies and State Control / Отв. редактор Л. Пильд. Тарту, 2017. 395 с.

Acta Slavica Estonica X

Studia Russica Helsingiensi et Tartuensi, XVI: Серебряный век в русской литературе и культуре конца XIX – первой половины XX вв. К 90-летию со дня рождения З. Г. Минц. Silver Age in Russian Literature and Culture in the Late 19th Century and the First Half of the 20th Century. On the 90th Birth Anniversary of Zara Minz / Отв. редакторы Л. Пильд, Т. Степанищева. Тарту, 2018. 460 с.

Acta Slavica Estonica XI

Пушкинские чтения в Тарту, 6. Выпуск 1: Пушкин в кругу современников. Pushkin among his contemporaries / Отв. редакторы Р. Лейбов, Н. Охотин. Тарту, 2019. 385 с.

Acta Slavica Estonica XII

Пушкинские чтения в Тарту, 6. Выпуск 2: Пушкинская эпоха. Pushkin's Era / Отв. редакторы Р. Лейбов, Н. Охотин. Тарту, 2020. 394 с.

Acta Slavica Estonica XIII

Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика, XVIII: Вопросы сопоставительных исследований: языки и варианты языка. Issues of Comparative Research: Languages and Language Variants / Отв. редакторы Е. И. Костанди, И. П. Кюльмоя. Тарту, 2022. 267 с.

Acta Slavica Estonica XIV

Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, XI: К 100-летию Ю. М. Лотмана. To the centenary of Yuri Lotman / Отв. редакторы Л. Киселева, Т. Степанищева. Тарту, 2022. 668 с.

Acta Slavica Estonica XV

Studia Russica Helsingiensi et Tartuensi, XVIII: Опыт и небывалое в литературе и культуре. Experience and Non-Existence in Literature and Culture / Отв. редактор Т. Степанищева. Тарту, 2022. 276 с.

Acta Slavica Estonica XVI

Slavica Tartuensi, XII: Тарту в истории славянской филологии. Вып. 1: Tartu in the History of Slavic Philology. Issue I / Отв. редактор Е. Вельмезова. Тарту, 2023. 193 с.